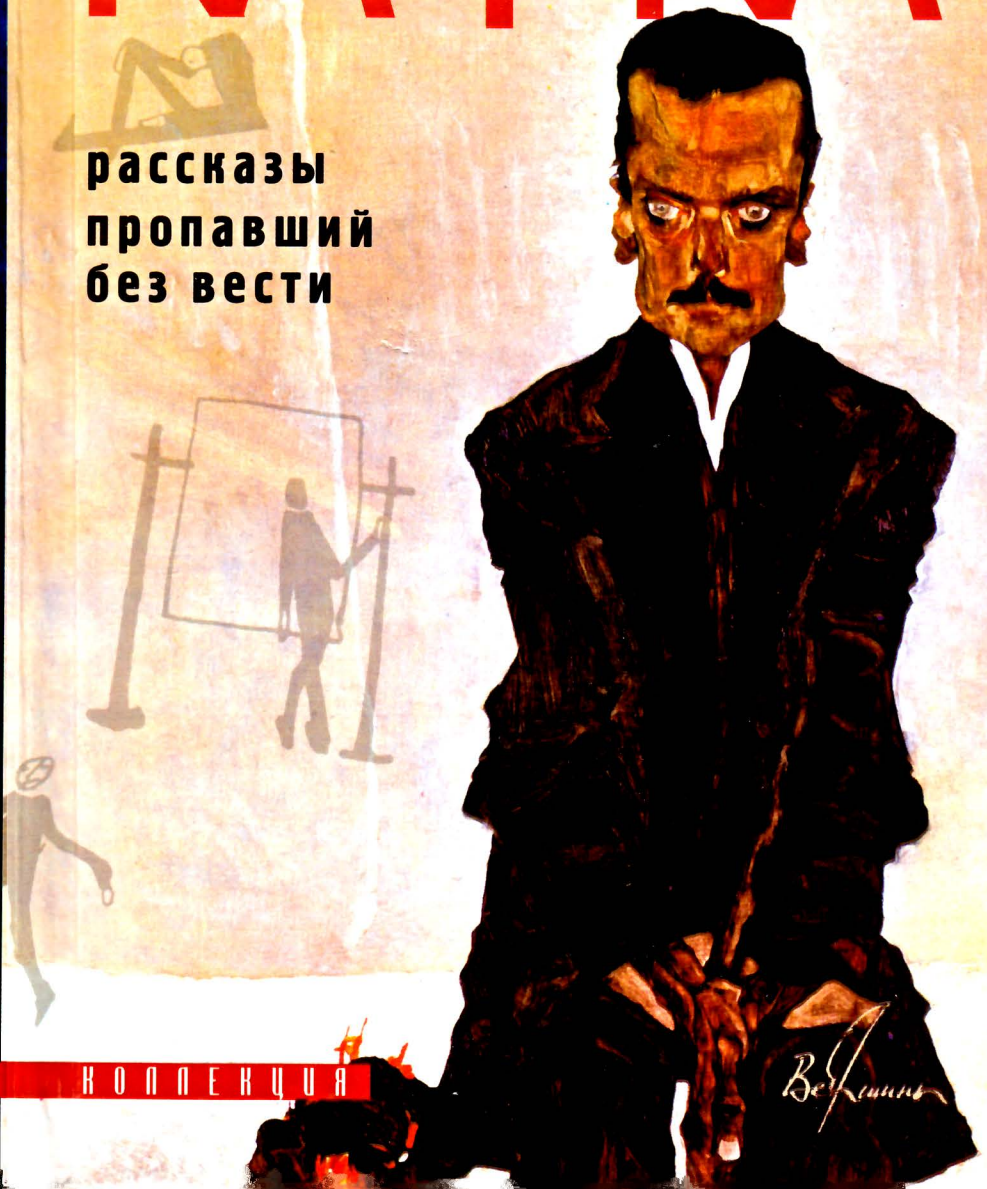
ФРАНЦ КАФКА

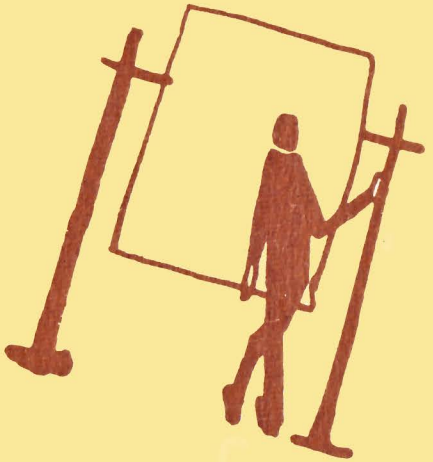
рассказы
пропавший
без вести

FOLIO КОЛЛЕКЦИЯ

ФРАНЦ КАФКА

рассказы
пропавший
без вести





КОЛЛЕКЦИЯ

FRANZ

KAFKA

erzählungen
der verschollene

ФРАНЦ
КАФКА

рассказы
пропавший
без вести

Перевод с немецкого

ИЗДАТЕЛЬСТВО ФОЛИО
Москва
2000

УДК 830 (436)
ББК 84 (4А)
К30

Серия «Вершины. Коллекция»
основана в 1999 году

Текст печатается по изданию:
Кафка Ф. Сочинения. В 3 т. Т. 1. — М.: Худож. лит.;
Харьков: «Фолио», 1995

Перевод с немецкого

Предисловие и комментарии Д. В. Затонского

Художник-оформитель Б.Ф. Бублик

На переплете — «Портрет Эдуарда Космака» Эгона Шиле

Кафка Ф.

К30 Рассказы: Пропавший без вести (Америка): Роман: Пер. с нем. / Предисл. и коммент. Д.В. Затонского; Худож.-оформитель Б. Ф. Бублик. — М: ООО «Издательство АСТ»; Харьков: «Фолио», 2000. — 544 с. — (Вершины. Коллекция).

ISBN 5-17-006591-4 (ООО «Издательство АСТ»)
ISBN 966-03-0629-6 («Фолио»)

В книгу известного австрийского писателя Франца Кафки вошли рассказы 1904—1922 годов и роман «Пропавший без вести (Америка)».

© Д.В. Затонский, предисловие, комментарии, 1994
© М.П. Рудницкий, перевод романа
«Пропавший без вести (Америка)», 1994
© С. К. Апт, перевод рассказов,
отмеченных в содержании*, 1994
© Б.Ф. Бублик, художественное оформление, 1999
© Издательство «Фолио», марка серии, 1999

1. ПРОСТО ГЕНИЙ?

Нет доводов, с помощью которых мыслимо убедить читателя, что один писатель велик, а другой незначителен, если не вообще бездарен. Поэтому встречаются читатели, считающие Кафку непонятным и оттого скучным. Но встречаются и такие, кого он привлекает, завораживает именно этой своей непонятностью.

Она превратилась как бы в его лейтмотив, а слово «странный» стало при нем постоянным эпитетом. При этом лексикон наш обогатился выражениями: «кафкианская ситуация», «кафкианский кошмар», «кафкианский мир». И подразумевают они не просто абсурдность сущего, но и какую-то запредельность абсурда.

Кафка и в самом деле так видел мир — как мир «кафкианский». Но почему? Было ли это видение заложено в доставшиеся ему гены, всосано с молоком матери? А может, причиной всему было дурное отцовское воспитание, превратившее его в неврастеника? Или таким его вылепили привходящие обстоятельства — личные и общественные? С тех пор как Кафка покинул мир и посмертно стал великим писателем, накопилась тьма ответов на эти и им подобные вопросы. И все они — разные, нередко взаимоисключающие.

Если уж нет доводов, с помощью которых можно бы убедить, что этот «странный» Кафка — попросту гений, то хочется верить, что не окажется лишней попытка хотя бы прикоснуться к его странностям.

2. СУДЬБА, СУДЬБА, СУДЬБА.

Еврей по происхождению, пражанин по месту рождения и жительства, немецкий писатель по языку и австрийский писатель по культурной традиции, он (уже в силу одних этих обстоятельств) оказался средоточием вопиющих противоречий: общественных, семейных, творческих. Оказался как человек и как художник. Они — обстоятельства эти — превратили Кафку и в предмет ожесточеннейших споров: эстетических, философских, идеологических. Но превратили лишь посмертно.

Правда; контраст между равнодушием к живому Кафке и его последующей канонизацией нередко преувеличивали. В Центральной Европе 20-30-х годов он пользовался известностью, пусть и негромкой, но прочной. Его издавали в Германии, переводили в Чехословакии и Венгрии. Еще в 1915 году ему присудили премию имени Фонтане — одну из наиболее почетных на немецкой земле. Издательства «Курт Вольф» в Лейпциге и «Ровольт» в Гамбурге охотно печатали все, что он соглашался им

передать. Отчасти еще задолго до «бума», начавшегося где-то под конец 40-х годов, Кафку заметили и оценили столь известные собратья, как Гессе, Т.Манн, Верфель, Деблин, Музиль, Брехт. Но, разумеется, степень тогдашней кафковской известности не шла ни в какое сравнение со славой, выпавшей на долю автора «Приговора», «Превращения», «Процесса», «Замка» после Второй мировой войны.

Кое-что здесь может быть объяснено причинами субъективного свойства. Кафка неохотно (как правило, под нажимом друзей и со смешанным чувством желания и сожаления) извлекал свои рукописи из ящика письменного стола. Оттого при его жизни увидела свет лишь малая толика им сочиненного. Это восемь этюдов, опубликованных в 1908 году в журнале и позднее вошедших в сборник «Созерцание» (1913), два отрывка из новеллы «Описание одной борьбы» (1909), первая глава романа «Америка» под названием «Кочегар» (1913), новеллы «Приговор» (1916) и «Превращение» (1916), новелла «В исправительной колонии» (1919), сборники рассказов «Сельский врач» (1919) и «Голодарь» (1924).

Три незавершенных романа Кафки стали доступны читающей публике уже после его смерти: «Процесс» — в 1925 году, «Замок» — в 1926-м, «Америка» — в 1927-м. Ныне наследие писателя (кажется, уже полностью собранное) слагается из десяти объемистых томов: кроме романов, новелл, притч, афоризмов, набросков, сюда входят «Дневники 1910 — 1923», «Письма 1902 — 1924», «Письма к Милене» (их адресат — подруга Кафки, чешский литератор и переводчик М. Есенская), «Письма к Фелиции» (их основные адресаты — невеста Кафки Ф.Бауэр и ее приятельница Грета Блох), «Письма к Оттле и семье» (их адресаты — любимая сестра и родители).

То, что сам Кафка счел возможным обнародовать, составляет едва ли шестую часть созданных им художественных произведений.

Долгое время вновь открываемый миру Кафка как бы оставался «собственностью» Макса Брода — в прошлом тоже пражского жителя, тоже писателя и друга покойного. Брод был чем-то вроде официального душеприказчика, хоть и не выполнившего волю завещателя: тот просил сжечь все его неопубликованные рукописи. Бродовское ослушание подарило миру полного Кафку. Но Брод и злоупотребил своими привилегиями: кафковские рукописи превращались в книги, составленные рукою Брода и снабженные его предисловиями и послесловиями, предопределявшими толкование текстов. Брод стал и первым биографом, даже первым апостолом Кафки, старавшимся, сотворить себе Бога по собственному образу и подобию. Художник Кафка привлекал Брода куда меньше, чем Кафка — «идеолог». Брод видел в нем вариант иудейского законоучителя, воспитанного на мистике Каббалы. Соответственно и книги Кафки интерпретировались в качестве религиозных аллегорий.

Однако волны «кафковского ренессанса» разрушили бродовский приоритет. Теперь каждый тянул Кафку в свою сторону и возвеличивал его по-своему. Начался «ренессанс» этот в США, оттуда перекинулся на Британские острова и в Европу. Инициативу захватили менеджеры от искусства, а профессиональная критика как бы силилась от них не отставать: американец Бентли объявил Кафку одним из отцов сюрреализма и новейшего символизма, подвизавшийся в Америке француз Жак Гишарно — литературным пророком экзистенциализма. И кафковский культ все ширился в послевоенном западном мире.

Немецкий исследователь Ганс Майер пытался объяснить это следующим образом: «Разочарование в реальностях войны и послевоенного времени; отказ от прежних утопий... Администрирование, автоматизация, картина мира, всесторонне управляемого бюрократией, — все это, казалось, удается найти в пророческих высказываниях Кафки». Возникло великое множество «легенд о Кафке»: религиозных и экзистенциальных, авангардистских и консервативных, психоаналитических и структуралистских, даже экспрессионистских. Разразившийся в 40-50-е годы «бум», который превратил в бестселлеры не только романы Кафки, но и ученые книги о нем, нес в себе что-то нездоровое, расчетливо-сенсационное. И появилось подозрение, будто Кафка отнюдь не великий писатель, а просто баловень судьбы. Или даже орудие в чьих-то «нечистых руках» — орудие пропаганды. «Бум», однако, кончился, а Кафка остался: его и сегодня широко издают, охотно читают, интенсивно изучают. Было создано немало книг, представляющих несомненную научную ценность. Например, «Кафка. За и против» (1951) Гюнтера Андерса; «Франц Кафка. Годы молодости: 1883—1912» (1958) Клауса Вагенбаха; «Франц Кафка» (1958) Вильгельма Эмроха; «Франц Кафка» (1974) Эриха Хеллера. В последней из них, между прочим, ревизуется бродовское толкование Кафки. «Замок», — говорится там в одном месте, — не в большей мере религиозная аллегория, чем фотография черта — это аллегория зла». И в другом: «Без сомнения, замок есть высшая инстанция, которая дается К. в ощущение. Это вводит критиков Кафки, но не его самого, в заблуждение: они отождествляют замок с Богом». Что же до коменданта из новеллы «В исправительной колонии», так он, по Хеллеру, «пародия на Бога».

Начиная с 70-х годов кафковедение, наконец, вошло в довольно спокойное русло. Эра «сенсационных открытий», кажется, завершилась, никто уже не делает из Кафки «знамя», его просто продолжают изучать. Правда, работ синтетического характера стало явно меньше. В поле зрения чаще попадают отдельные аспекты творчества. Статьи во всех отношениях преобладают над книгами. В них подвергается критике установленный Бродом порядок следования глав в «Процессе»; истолковывается смысл «эпизода с Амалией» в «Замке»; анализируется рассказ «Нора» (1923); освещаются отношения Кафки с Миленой Есенской; он сопоставляется с Гамсуном или Альфредом Вебером; как насквозь интуитивный интерпретируется его творческий процесс и т.д. и т.п.

«...Нет сомнения, — так начинает свою речь перед следователем герой романа «Процесс» Йозеф К., — что за всем судопроизводством, то есть в моем случае за этим арестом и за сегодняшним разбирательством, стоит огромная организация. Организация эта имеет в своем распоряжении не только продажных стражей, бестолковых инспекторов и следователей, проявляющих в лучшем случае похвальную скромность, но в нее входят также и судьи высокого и наивысшего ранга, с бесчисленным, неизбежным в таких случаях штатом служителей, писцов, жандармов и других помощников, а может быть, даже и палачей — я этого слова не боюсь. А в чем смысл этой огромной организации, господа? Чтобы арестовывать невинных людей и затевать против них бессмысленный и по большей части — как, например, в моем случае — безрезультатный процесс».

Вряд ли, прочтя эти строки, кто-нибудь усомнится, что держит в руках произведение острой социально-критической направленности.

Но, взятый в целом, этот роман не укрепит в этом впечатлении, скорее его поколеблет. Отчего суд, занимающийся делом Йозефа К., так таинственно неофициален? Отчего при всем своем всесилии он ютится на чердаках обветшалых домов, в тесноте и духоте, рядом с бельем жильцов, развешанным для просушки? Впрочем, и это можно еще как-то объяснить общей иносказательностью произведения.

Но как быть с теми его эпизодами, местом действия которых является пансион госпожи Грубах? Разумеется, там Йозеф К. проживал, именно там был поутру захвачен врасплох арестом, лишен завтрака, допрошен в комнате отсутствующей соседки, фрейлейн Бюрстнер, и как бы отпущен на свободу. Однако и после этого пансион и его обитательницы, фрейлейн Бюрстнер и фрейлейн Монтаг, продолжают играть, казалось бы, непропорционально большую роль в судьбе Йозефа К. Особенно фрейлейн Бюрстнер: она неожиданно появляется и в финале. Палачи (как и все здесь, неофициальные) ведут Йозефа К. через вечерний городок к заброшенной каменоломне, чтобы там зарезать. Вдруг он замечает фрейлейн Бюрстнер или девушку на нее очень похожую. Палачи «дали ему возможность направлять их шаги, и он направил их в ту же сторону, куда шла перед ним фрейлейн Бюрстнер, но не потому, что хотел ее догнать, не потому, что хотел видеть ее подольше, а лишь для того, чтобы не забыть то предзнаменование, которое он в ней увидел».

Ясно, что фрейлейн Бюрстнер в этом романе не из хористок: у нее сольная партия. Но какая? Ответа следует искать в личной жизни автора. 12 июля 1914 года Кафка расторг помолвку с жительницей Берлина Фелицей Бауэр, а в первой половине августа засел за «Процесс». Совпадение дат не случайно: роман в некотором роде продукт разрыва с Фелицей, его литературное перетолкование. Сам образ суда навеян тем, что происходило 12 июля в Берлине. В гостинице «Асканишер хоф» собрались жених, невеста, их родичи и друзья. И запись в дневнике от 23 июля, воспроизводящая события того дня, начинается словами: «Заседание суда в отеле». Фрейлейн Бюрстнер — и есть Фелица Бауэр (недаром в рукописи романа ее, как правило, обозначали инициалы Ф.Б.), фрейлейн Монтаг — ее подруга Грета Блох, активно обвинявшая Кафку на том судилище, но и сама состоявшая с ним в близких отношениях (она позже утверждала, будто родила от него ребенка).

В своем сочинении «Другой процесс. Письма Кафки к Фелице» Элиас Канетти (тоже сочинитель, но еще и лауреат Нобелевской премии) задался целью показать, как функционировала кафкианская метода «заманивания» Вселенной к собственному письменному столу. Мысль Канетти состояла в том, что роман «Процесс», если глядеть на него сквозь призму частной жизни автора, ничего в себе не содержит, кроме «добросовестного» отчета о болезненных отношениях между ним и его невестой Фелицей Бауэр:

«Два решающих события в жизни Кафки, которые он, как это ему вообще было свойственно, хотел бы рассматривать как сугубо личные, разыгрывались в обстановке мучительнейшей гласности: официальная помолвка на квартире семейства Бауэр 1 июня и шесть недель спустя, 12 июля 1914 года, «судебный процесс» в берлинском отеле «Асканишер хоф», который привел к разрыву. Легко показать, что эмоциональное содержание обоих событий вошло в «Процесс», работа над которым началась уже в августе. Помолвка воплотилась в первой главе в арест, а «суд» обернулся казнью — в последней».

Итак, материал мучительно интимный, требовавший в глазах Кафки-человека тщательного сокрытия, а согласно его завещанию — даже сожжения, дал тем не менее жизнь одному из значительнейших экзистенциальных романов XX века. И эта, так удивительно начавшаяся жизнь оказалась столь причудливой, что «Процесс» взялись перетолковывать в нечто *социальное,* чуть ли не *политическое.* Все творчество Кафки — в сущности, если не рассказ о себе, то глубоко субъективное переживание внешнего мира. Взять хотя бы другой его роман — «Замок». Его герой именуется просто К., без «Йозефа», чем еще теснее сопрягается с автором. Он прибыл в Деревню, управляемую сонмом графских чиновников, чтобы здесь осесть, получить работу, завести семью, и ради реализации своих целей играет с канцеляриями Замка в сложную и опасную «игру». Словом, как и в «Процессе», на сцене выведен бюрократический аппарат, да еще подвергающийся уничижительной критике. Но и здесь далеко не все подчиняется логике разоблачения репрессивной системы.

В гостинице «Господский двор», где, наезжая в Деревню, останавливаются чиновники из Замка, при буфете служит девушка Фрида. Будучи любовницей шефа 10-й канцелярии Кламма (то есть в некотором роде — избранницей судьбы), она тем не менее влюбляется в К., этого мнимого землемера, отдается ему и с ним уходит, не забыв прокричать под дверью Кламма: «А я с землемером! А я с землемером!» Вскоре, однако, их отношения разладились, и главная тому причина — Кламм: Ольга (еще одна влюбленная в К. девушка) говорит, что он — «командир над женщинами, он приказывает то одной, то другой явиться к нему, никого долго не терпит, и как приказал явиться, так приказывает и убраться».

Это лишь выглядит плодом странной фантазии, а на деле — опять-таки взято из жизни, собственной жизни писателя. Осенью 1919 года он познакомился с чешской журналисткой Миленой Есенской: она заинтересовалась творчеством Кафки и пожелала перевести некоторые его рассказы. Завязалась переписка, начался бурный роман. Как и с Фелицей, то был по преимуществу роман в письмах, но отличала его истинная глубина чувства. Милена была, по-видимому, единственной большой любовью Кафки; ради нее он был готов преступить им самим над собой установленные правила: после горлового кровотечения, случившегося в августе 1917 года, он вторично расторг помолвку с Фелицей, ибо полагал, что не имеет более права на семейное счастье, кроме того, Милена была замужем, и все же он предложил ей руку и сердце...

Миленин брак был несчастлив: муж открыто ей изменял, лишал ее средств к существованию; Кафку она любила, ценила свою к нему близость, но бросить мужа не смогла, ибо была болезненно к нему привязана.

Все это по-своему отразилось в «Замке» — книге, над которой Кафка начал работать скорее всего с февраля 1922 года, когда отношения с Миленой практически уже прекратились. Слегка окарикатурив, он и вывел ее под именем Фриды; Миленин муж Эрнст Поллак послужил прототипом для Кламма. Был прототип и у Ольги: это Юлия Вохрыцек, дочь сапожника, с которой Кафка (уж совсем от отчаяния) обручился осенью 1919 года и которая оказалась «соперницей» Милены.

Милену Кафка окарикатурил не из мести: он и себя окарикатурил в образе К. Он обладал своеобразным чувством юмора: это не был «юмор висельника», скорее тот, что позже стали называть «черным». Но в принципе кафковский юмор ни на что не похож, он необычен и стра-

нен. Однажды Кафка читал вслух друзьям — Максу Броду, Феликсу Вельчу, Оскару Бауму — кое-что из «Замка»: те хохотали, а ему хотелось плакать; но поручится ли кто-нибудь за то, что он заранее не знал, в каких местах их будет разбирать смех?

Автобиографичен (хотя и в ином смысле) и роман «Америка». О нем, вслед за Флобером, Кафка говорил: «Роман — это я, мои истории — это я» (из письма к Фелице, со 2 на 3.1.1913). Автобиографичны и многие его рассказы. Упомяну лишь некоторые: «Приговор» — это воссоздание отношений с отцом; «Сельский врач» — переведенная на язык символов история горлового кровотечения и второго разрыва с Фелицей; «Голодарь» — кривое зеркало кафковских отношений с искусством и одновременно нечто трагически личное (из-за боли в горле он не мог глотать и буквально умирал с голоду).

Примеры можно бы множить, но стоит ли? Все равно кто-нибудь скажет, что это не имеет большого значения: каждый писатель, дескать, кормится личным опытом, вне личного опыта писателя, как и всякого вообще человека, попросту не существует. Решает, однако, степень использования личного опыта и степень авторского к нему доверия...

Кафка не только бывал недоверчив, он еще и страдал от собственного эгоцентризма. «Желание изобразить мою исполненную фантазий внутреннюю жизнь, — записал он в дневник 6 августа 1914 года, — сделало несущественным все другое, которое потому и хирело и продолжает хиреть самым плачевным образом». Он от этого страдал, но и в мыслях не имел от этого отказаться. Более того, исповедовался Фелице (26.6.1913): «Для моей работы я должен быть от всего отгорожен, даже не как отшельник, этого недостаточно, но как мертвец». Он мечтал быть запертым в глубоком подвале, пристроиться в самом дальнем его углу и раз в сутки совершать долгую прогулку к двери, чтобы забрать миску с едой.

Однако было бы заблуждением полагать, будто все это необходимо ему, чтобы раз и навсегда отгородиться от мира. Просто он довольствовался личным опытом. «Тебе не надо выходить из дому, — читаем в одном из афоризмов. — Оставайся за своим столом и слушай. Даже не слушай, только жди. Даже не жди, просто молчи и будь в одиночестве. Вселенная сама начнет напрашиваться на разоблачение, она не может иначе, она будет упоенно корчиться перед тобой».

Естественно, мир не разоблачал себя перед каждым, кто ждал, был «неподвижен и одинок». Ни талант, ни даже гениальность не выручили бы Кафку, если бы к ним не присоединилось еще одно решающее обстоятельство.

Его рассказ «В исправительной колонии» (1914) изображает изуверскую казнь, в ходе которой хитроумная машина накалывает на спине осужденного текст неведомого тому приговора, и осужденный «узнает его собственным телом». Так и Кафка: телом своим, душою, их ранами он «расшифровывал» капризы и беззакония окружающего бытия; мир «разоблачал» себя перед ним, и основательнее всего, когда отчуждал его, унижал, насиловал.

Возможно, не было на свете писателя, в творчестве которого собственная жизнь и собственная судьба играли бы столь решающую роль, как в творчестве Кафки. И не потому, что он к чему-то такому стремился (я уже говорил: он от этого только страдал), а потому, что так сложилось.

Да он и не понимал, наверное, до конца всей весомости, всей показательности своей судьбы, ее как бы наизнанку вывернутой «образцовости». Но он это чувствовал и потому с таким неусыпным вниманием, с таким неутолимым любопытством, с такой неодолимой тревогой всматривался, вчувствовался, вживался в самого себя, во все свои до удивительного банальные и до банального удивительные обстоятельства.

Кафка — писатель, сотворенный своей биографией. Не будь у него такой биографии, ее следовало бы выдумать. Ведь «выстроил» же для себя жизнь Хемингуэй — выдумывал ее и, выдумывая, реализовал: боксировал, охотился, плавал по морям, воевал. Кафка, однако, никогда не играл никаких ролей: трудно найти человека более, чем он, бесхитростного, более, во всей отчаянной непоследовательности, последовательного. Аналогия с Хемингуэем неверна еще и потому, что нет в жизни Кафки и грана авантюрности: она из тех, какие принято именовать «мещанскими». Впрочем, его жизнь такова лишь снаружи, а внутри полна «приключений души», то и дело взрывается трагедиями, не уступающими тем, что некогда сотрясали царственный род Атридов.

3. ЛИЧНОСТЬ.

Франц Кафка родился 3 июля 1883 года в Праге. Его отец был коммерсантом средней руки: владел галантерейным магазином; одно время семье принадлежала и небольшая фабрика. Герман Кафка, сын деревенского резника, выбился в люди сам, упорно борясь с нищетой. Его жена Юлия, урожденная Лёви, происходила из семейства более обеспеченного и образованного: в нем встречались раввины, а один из братьев матери Франца даже служил директором железных дорог в Мадриде.

Франц окончил немецкую гимназию и юридический факультет Пражского университета. Пройдя стажировку в окружном суде и адвокатской конторе, он поступил на службу в страховое общество. Но уже через год перешел в полугосударственную организацию, страховавшую производственные травмы. Новое место службы оказалось и последним: Кафка прослужил там четырнадцать лет и в 1922 году вышел по болезни на пенсию. Жить ему оставалось менее двух лет. Он провел их частью в Берлине, частью в санаториях и больницах. Скончался он 3 июня 1924 года в курортном городке Кирлинг под Веной. Похоронен в Праге.

Это, так сказать, официальный curriculum vitae, обрисовывающий лишь самую поверхность кафкианской жизни Кафки. Прочее и основное вершилось в глубине, даже как бы в стороне. В «Письме к отцу» (1919) — этой отчаянной попытке объясниться — сын сказал, что стремился «найти такую профессию, которая с наибольшей легкостью позволяла бы, не слишком ущемляя тщеславие, проявлять безразличие. Значит, самое подходящее — юриспруденция». Иными словами, ему годилась лишь такая служба, которая не слишком бы мешала литературным занятиям. Ведь они и только они определяли, направляли всю его жизнь, были ее альфой и омегой, чем-то большим, чем цель или даже миссия; он писал в 1914 году Фелице: «У меня нет интереса к литературе, литература — это я сам, это моя плоть и кровь, и быть другим я не могу».

Его сочинительство началось на переломе столетий (первую из сохранившихся рукописей, «Описание одной борьбы», датируют 1904 годом) и оборвалась смертью: за день до нее он еще правил верстку «Го-

лодаря». Были, однако, и перерывы: самый из них продолжительный — между 1917 и 1920 годами. Но их обусловливала лишь полная физическая неспособность взять в руки перо. А когда мог, Кафка трудился с редкостным, несокрушимым упорством.

Служба устраивала его еще и тем, что длилась лишь до обеда. Вернувшись домой, он несколько часов спал (вернее, пытался спать, ибо страдал бессонницей и болезненно реагировал на малейший шорох), а когда дом затихал, садился к письменному столу и, преодолевая головную боль, тошноту, удушье, строчил ночи напролет. Кафку можно было бы принять за графомана, если бы из-под его пера не выходила совершеннейшая проза и если бы он сам не был ею так недоволен. О сочинениях своих он по большей части отзывался уничижительно: «...Я ценю лишь мгновения, в которые они писались», — сообщал он Броду.

Он писал о себе и для себя. Но способно ли творчество столь «эзотерическое» пробудить хоть мало-мальски общественный интерес? Некогда этим вопросом задавались многие. Австрийский писатель Франц Верфель, с Кафкой друживший, тем не менее твердил: «Далее Тетчен-Боденбаха Кафку уже никто не сумеет понять», — дескать, слишком он узок, слишком локален. Верфель в пророки не вышел...

Как человек Кафка был неизбывно несчастен, но как писателю ему «повезло»; можно даже сказать, что «везло» тем больше, чем неизбывнее становилось несчастье. Он, умевший удивляться, столкнулся с действительностью удивительной, во всей своей обыденности фантастичной. То была рушившаяся на его глазах Австро-Венгерская монархия — своего рода кунсткамера, где тысячелетия, точно старец Ной на своем ковчеге, сберегли все социальные раритеты прошлого, настоящего и будущего, собрали все хвори и деформации человеческой истории. Но и этого мало: судьба уготовила ему, такому, каков он был, специальную роль изгоя, когда сделала евреем, поселила в Праге, да еще в семье выбившегося в люди галантерейщика. «Как еврей, — писал один из немецких его биографов, — он не был своим в христианском мире. Как индифферентный еврей — ибо таковым Кафка был вначале — он не был своим среди евреев. Как человек, говорящий по-немецки, он не был своим среди чехов. Как говорящий по-немецки еврей, он не был своим среди немцев. Как богемец, он не был вполне австрийцем. Как служащий по страхованию рабочих, он не вполне относился к буржуазии. Как бюргерский сын — не вполне к рабочим. Но и на службе он не был весь, ибо чувствовал себя писателем. Но и писателем он не был, ибо отдавал все силы семье. Но «я живу в своей семье более чужим, чем самый чужой» (Последняя фраза заимствована из письма Кафки к отцу Фелицы).

Беспримерность его отчуждения не только усиливала боль, но и обостряла все чувства: он зрил, слышал, осязал, обонял творящуюся окрест дисгармонию, которая от большинства оставалась сокрытой.

Ему и правда незачем было выходить из дому: больной мир сам вползал к нему в комнату, как тот толстый, зеленый, безногий дракон, что ему однажды пригрезился, оттого и попал в дневник... Кафка и в семье был почти таким же чужим, как в городе, стране, эпохе. Было у него три сестры, и только самая младшая — Оттла — его любила, но тоже не понимала. Никто его не понимал — даже мать, хотя и она по-своему любила сына. Но сложнее всего и всего безнадежнее складывались отношения с отцом. Что Герман Кафка без чьей-либо помощи вы-

бился в люди, донельзя испортило ему характер: он стал упрямым, самовлюбленным, нетерпимым, властолюбивым, непрестанно похвалялся своими жизненными успехами и попрекал тем детей, что не довелось им познать нужды, что росли они на всем готовом. Сына он предназначил в продолжатели своего дела и не мог взять в толк, что тот — другой, что интересы, верования, цели у него другие. Отец давил, сын, как умел, сопротивлялся. Но поскольку относились они к разным весовым категориям («я — худой, слабый, узкогрудый, — писал Кафка-младший в письме, которое мать отцу так и не передала, — Ты — сильный, большой, широкоплечий»), давление со стороны отца искалечило сына: «Я потерял веру в себя, зато приобрел безграничное чувство вины», — грустно констатировал он в том же письме. И сообщал Фелице, что «я и отец, мы ненавидим друг друга...». Но то была особая ненависть, граничившая с поклонением: «Если бы мир состоял только из Тебя и меня — а такое представление мне было очень близко, — тогда чистота мира закончилась бы на Тебе, а с меня, по Твоему совету, началась бы грязь». Отец для сына — «высшая инстанция», из тех, с которыми каждый обречен считаться вне зависимости от того, даны ли они ему во благо или на погибель. И отсюда как бы сами собою тоже протягиваются нити к шефу 10-й канцелярии Кламму и ко всей вообще чиновной иерархии из «Замка» или «Процесса». Милениному мужу Эрнсту Поллаку шеф 10-й канцелярии обязан чем-то вроде индивидуальности, а от Германа Кафки он получил еще и некую социальную плоть.

Поллак как прототип вступил в «Замок» исключительно в окружении женщин, а они играли в жизни Кафки и, соответственно, в его творчестве весьма примечательную роль. В жизни их было совсем не много, по пальцам легко перечесть: три-четыре случайных связи, уже известные нам Фелица Бауэр, Грета Блох, Юлия Вохрыцек, Милена Есенская и, наконец, Дора Димант (или Диамант) — спутница последних месяцев кафковской жизни. С каждой из них (исключая лишь Грету) Кафка намеревался сочетаться браком (с Фелицей даже дважды), и если с Дорой до помолвки дело не дошло, то лишь потому, что ее отец, правоверный восточноевропейский еврей, обратился за советом к ребе, а тот, не колеблясь, сказал: «Нет!» Судя по всему, Кафка был натурой страстной, и — как свидетельствует Макс Брод — «женщины всегда к нему тянулись». Тем не менее в его дневнике имеется такая запись: «Коитус как кара за счастье быть вместе. Жить по возможности аскетически, аскетичней, чем холостяк, — это единственная возможность для меня переносить брак». Разве отсюда не следует, что брак (а значит, и женщина) для Кафки нечто совсем иное, нежели для прочих людей, — не только нечто большее, но и вообще тяготеющее к «идеальным», чуть ли не «религиозным» сферам, как бы подлежащий исполнению обет. Он писал отцу: «Жениться, создать семью, принять всех рождающихся детей, сохранить их в этом неустойчивом мире и даже повести вперед — это, по моему убеждению, самое большое благо, какое дано человеку». Но в «Письме к отцу» находим и такое: «Я совсем не предвидел, возможен ли и что будет означать для меня брак; этот самый большой кошмар моей жизни обрушился на меня почти совсем неожиданно». Надо думать, поначалу он был движим желанием эмансипироваться от отца, выйти из-под его власти, стать независимым. Но — так уж Кафка устроен — на это чуть прагматичное желание тотчас наложились и устремления «идеаль-

ные», «религиозные». И тогда стряслось непредвиденное: долг человеческий (или лучше сказать: «гуманистический»?) столкнулся с долгом писательским. Совместиться одно с другим решительно не пожелало.

Правда, в первые месяцы романа с Фелицей (они познакомились 13 августа 1914 года в гостях у Брода) Кафка и как писатель был на подъеме: в ночь с 22 на 23 сентября он единым духом, почти в состоянии экстаза создал «Приговор» и посвятил его Фелице; между 17 ноября и 7 декабря написал «Превращение»; спорилась у него работа и над начатой несколько ранее «Америкой». Не следует выпускать из виду и «Письма к Фелице» — долгое время они сочинялись ежедневно, а то и по нескольку раз в день, так что в конце концов составили без малого восьмисотстраничный том убористого шрифта. Письма эти — тоже явление литературы, произведение художественное, занявшее свое место среди шедевров эпистолярного жанра. Но не как гимн любви или ей адресованное проклятие, а в качестве анатомического среза связанных с ней мучений. Письма Кафки порождены внутренним разломом, когда «за» и «против» пожирают друг друга.

Он рвется приехать к Фелице в Берлин и тут же находит смехотворные предлоги, чтобы поездки избежать; он упрекает ее, что она ему редко пишет, и тут же начинает умолять вообще прекратить переписку. А с приближением первой помолвки начинает испытывать «безумный страх перед нашим будущим», прежде всего вызванный тем, что женитьба с его писательством несовместима: воистину ни для одной женщины не нашлось бы места в том глубоком подвале, в самый дальний угол которого ему хотелось бы забиться...

«Эта неудачная попытка жениться, — писал М. Брод, — не имела индивидуального значения и не зависела от личности невесты...». После первой встречи с Фелицей Кафка отметил в дневнике, что она похожа на горничную и что у нее «костистое пустое лицо», а в письме к Грете Блох сознался, что первое время пугался блеска ее золотых зубов. Вдобавок ее совершенно не интересовали его книги — она их просто не понимала. Словом, она никак не была ему парой, и когда он хотел ее похвалить, то именовал «дельной»: она и правда успешно делала карьеру в фирме, где начинала конторщицей.

Кафка, вероятно, и особого влечения к ней не испытывал: близки они стали лишь в 1916 году, спустя два года после знакомства. А все же долгие шесть лет его короткой жизни были отданы ей: наверное, так и должно быть, если главенствуют не чувства, а принцип, если исполняется долг. Кафке не было суждено свой долг исполнить. А все же отданные Фелице годы не пропали даром: ведь она была его «музой» не только в начале их связи. Более того, как уже писалось, именно первый с нею разрыв породил роман «Процесс». Не менее горькая связь с Миленой имела своим результатом роман «Замок» и, конечно же, «Письма к Милене». Книга эта не так толста, как «Письма к Фелице» (Миленина с Францем любовь — а следовательно, и лихорадочная переписка, — длилась лишь с апреля по ноябрь 1920 г.), но в значительности им не уступает. С Миленой у него была любовь, Милена его хорошо понимала, оттого он чаще перед ней раскрывался. И во всем этом было больше трагизма: неудача с Фелицей рушила только принцип (недаром Кафка как бы почувствовал удовлетворение, узнав, что она все-таки вышла замуж и родила двоих детей), а с уходом Милены еще и перечеркивалась жизнь.

Но, видно, этого писателя вдохновляли лишь такие необычные «музы» — покровительницы дисгармонии: они выводили его из тесноты мучительно-личного в мир всеобщих абсурдов. И сами при этом входили в его романы. Женщин там было больше, чем в жизни автора. Некоторых я уже упоминал — фрейлейн Бюрстнер и фрейлейн Монтаг в «Процессе», Фриду и Ольгу в «Замке». Но в «Процессе» есть еще жена служителя при суде и Лени, прислуга адвоката Гульда, а в «Замке» — хозяйка трактира «У моста» и хозяйка гостиницы «Господский двор», сестра Ольги Амалия и горничная в «Господском дворе» Пепи, наконец госпожа Брунсвик. Большинство из них и здесь тянется к Кафке — то бишь к литературным его воплощениям: Йозефу К. и К. Только еще откровенней, по временам — бесстыдней, чем в жизни. Да и он беспардонно их использует: то как заслон от суда, то как посредниц в переговорах с Замком. Священник, с которым Йозеф К. беседует в соборе, даже выговаривает ему: «Ты слишком много ищешь помощи у других... особенно у женщин». А Фрида подозревает, что К. лишь затем с ней связался, что она — любовница Кламма. Женщины помогали и Карлу Росману, герою «Америки»: я имею в виду старшую кухарку гостиницы «Оксиденталь» и ее воспитанницу Терезу. Но делали они это по собственному почину, без понуканий со стороны шестнадцатилетнего юнца, наивного, простосердечного и потому еще невинного.

4. ЕСЛИ ТВОРЧЕСТВО, ТО ПОЧЕМУ СЛУЖБА?

Противоречие между творчеством и службой — вот еще одна неразрешимая проблема, будто нарочно Кафкой выдуманная, так она осложняла ему жизнь. Казалось бы, все ясно: он избрал профессию и нашел место работы, которые бы его минимально обременяли, потому что писатель, «если хочет избежать безумия, вообще не вправе удаляться от письменного стола». И когда отец требовал его участия в делах семейной фабрики, это приводило Кафку в такое отчаяние, что он подумывал о самоубийстве.

Но ясности нет: ежедневная шестичасовая служба — помеха неизмеримо большая, чем периодические посещения фабрики. Тем не менее Кафка однажды возразил Фелице, что вряд ли когда-нибудь сможет оставить свою службу. Разумеется, служба даровала ему некоторую — по крайней мере финансовую — независимость от отца. Но этим никак не объяснишь, почему, тяжело заболев, он соглашался на отпуск с половинным содержанием, но на пенсию, что обеспечила бы его не хуже, уходить не хотел. Видно, еще что-то удерживало его в конторе.

14 декабря 1911 года в дневнике проскользнула мысль, что ему не хотелось бы «высвободить все свое время для литературы». Служба мешала творчеству, тем не менее Кафка ее не бросал. «Вы можете спросить, — писал он отцу Фелици, своему несостоявшемуся тестю, — почему я не отказываюсь от своей службы и не пытаюсь — состояния у меня нет — жить литературным заработком. На это я могу дать лишь жалкий ответ, что у меня нет сил для этого и, насколько я могу судить о своем положении, скорее погибну из-за службы...». Погибнет из-за службы, которая ему постыла, которая его терзает, но ее не бросит! Бессмыслица какая-то?! Но в том-то и дело, что нет. Единственная истинная причина, по которой Кафка не бросал службу, не мог ее бросить, названа в его

письме: он не хочет стать профессиональным литератором. Как художнику это ему ничего бы не дало, но как бы лишало «права собственности» на то, что выходило из-под пера. Он хотел владеть своими созданиями безраздельно: ведь писал он только о себе и для себя!

Впрочем, были, кажется, и другие причины, его к постылой службе привязывавшие. «...Для меня бюро, — признался Кафка Милене 31 июля 1920 года, — как это было и со школой, гимназией, университетом, со всем вообще — живой человек... с которым я каким-то непонятным образом связан». И с этим признанием корреспондирует другое, сделанное когда-то Фелице: «Заботы о тебе и обо мне — это житейские заботы, они принадлежат к сфере жизни и потому могут в конечном итоге сочетаться с работой в конторе, но вот моя писательская работа и контора по сути несовместимы, так как писательство лежит в глубине, а контора помещается на поверхности жизни. Так все и раскачивается вверх-вниз и неизбежно должно нас разорвать». Здесь существен не разлом, констатируемый во втором высказывании (он касается лишь отношений с Фелицей, и правда порвавшихся), а та связь, о которой речь идет в письме к Милене. Но Кафка ведь не бросил службы, может быть, потому, что не только «состоял из литературы», но и был комочком жизни? Вряд ли он сам ощущал эту диалектику более или менее ясно. Однако, утверждая, что как писателю ему «повезло», надо иметь в виду и ее.

Кафка служил по ведомству страхования производственных травм и ежедневно сталкивался с несправедливостью, с унижениями, выпадавшими на долю клиентов ведомства. Брод приводит следующее о них высказывание: «Как скромны эти люди… Они приходят к нам с просьбами. Вместо того чтобы штурмовать наше заведение и все разнести в куски, они приходят с просьбами».

Кафка не был критиком социальным. Он склонен к метафоризации действительности и тем самым к возвращению общего в лоно частного, как бы к его «одушевлению»: недаром школа, университет, бюро для него — «живой человек». Но все же его книги переварили в себе и тот опыт, какого он набрался, общаясь с рабочими. Иной раз это даже вырывалось на поверхность: например в первой главе «Америки» (она была издана при жизни Кафки в качестве отдельной новеллы под названием «Кочегар»). Юный Росман сопровождает кочегара парохода, на котором приплыл в Нью-Йорк, в каюту начальства. Затравленно молчащий кочегар и там не находит правды. И Карл его спрашивает: «Почему ты ничего не говоришь?.. Почему все это терпишь?»

Если даже считать, что логика, в согласии с которой Кафка, проклиная службу, ее не бросал, более или менее прояснилась, то этого никак не скажешь о его отношении к собственному творчеству. С одной стороны, творчество для него — все, а с другой — ничто. Если, конечно, верить ему на слово. А верить, думаю, следует, ибо более правдивого человека, более беспощадного к себе художника, к тому же лишенного малейшей манерности, какого бы то ни было позерства, земля, кажется, еще не носила.

Конечно, то, что он завещал Броду сжечь после его смерти все его рукописи, может показаться уловкой и вызвать скептическую ухмылку. Дескать, если хотел уничтожить рукописи, то и сделал бы это сам, а не оставлял себе надежды, что Брод, может быть, его ослушается. (И Брод в самом деле не только не выполнил волю завещателя, но и, пережив

того на 44 года, озаботился, чтобы свет увидело все, что после покойного друга осталось.) Тем не менее Кафка — вне подозрений. Рукописи (из тех, что были при нем) Дора Димант сожгла по его указанию в Берлине. Большая же их часть (в том числе романы) хранилась либо у Брода, либо у Милены. Брод рукописей, надо думать, все равно не вернул бы, а к Милене Кафке, возможно, неловко было уже обращаться, поскольку ей и так было велено, когда его не станет, все передать Броду. И вообще: если и были у него задние мысли, касавшиеся рукописей, то они не имели ничего общего с игрой в литературное самоубийство, а порождались вечной неуверенностью, вечными колебаниями.

Он начинал и бросал писать: один роман, другой, третий; одну новеллу, другую, шестую, пятнадцатую. Он собирался писать автобиографию и предвкушал, что такое писание «было бы большой радостью, потому что оно давалось бы так же легко, как записывание снов...». Но разве не все у него, по сути, автобиография? Его творчество — автобиографично в смысле самом прямом, куда более буквальном, чем у любого другого художника.

Он говорил Фелице Бауэр: «У меня нет литературных интересов, я состою из литературы». И тогда уже неважно, отливается ли эта «литература» в роман, в новеллу, в дневниковую запись или даже в письмо. Перед нами все тот же Кафка: действительный в вымышленном и вымышленный в действительном.

Его сочинения часто оставались неоконченными не потому, что талант сочинителя (так сам он считал) «незначителен», и не потому, что тот не находил истины. Любое его сочинение — это он сам, и по-настоящему поставить точку способна была лишь его смерть.

Кафка был к себе как к сочинителю беспощаден, что подтверждается не только его последней волей, но, по сути, и всей его творческой жизнью. Прежде всего тем, что издателям он передал (да и то, как правило, неохотно, под нажимом) лишь малую толику написанного. Всего сорок один рассказ или отрывок. Есть среди них вещи покрупнее — такие как «Превращение», «В исправительной колонии», «Певица Жозефина, или Мышиный народ» (1924), но есть и совсем крохотные, вроде «Деревьев» (1908), «Нового адвоката» (1917), «Императорского послания» (1917). По-своему каждая из них великолепна. Но они не принесли бы автору той славы, какую он заслужил и в конце концов обрел, потому что настоящий Кафка — это он весь, с его незавершенными (а возможно, и незавершимыми) романами, с его дневниками и письмами, со всеми фрагментами. Только таким его мыслимо хоть как-то постичь и хоть как-то оценить. Ведь творчество Кафки — не что иное, как колоссальный, отчаянный и гениальный фрагмент, сколок с фрагментарного бытия человечества. Отказываясь печататься, Кафка, видит Бог, себя обделял... Однако и в этом можно усмотреть все тот же страх перед профессионализацией: передавая рукописи в печать, он не только как бы терял на них право, но и в самом буквальном смысле «выпускал в свет», чем обрекал на самостоятельное, от него уже не зависимое существование.

Труднее понять его там, где он начинает вообще отрицать себя как художника. Ни один настоящий писатель не бывает сочинениями своими вполне доволен: любоваться собою — привилегия графоманов или не лишенных способностей глупцов (что нередко среди литераторов встречается). Но у Кафки самоотрицание переходило все границы. Казалось

бы, в такой ситуации надлежало бросить писательство. Но он не бросал, не мог бросить — писал и постоянно хулил написанное.

О «Превращении» он сообщил Фелице, что это «омерзительный рассказ», а отсылая Броду в декабре 1917 года некоторые свои манускрипты, присовокупил: «Романы я не посылаю. Зачем будоражить старые опыты? Только потому, что я их до сих пор не сжег?»

Вместе с тем (и об этом уже шла речь) ни для кого всячески им поносимое творчество не имело такого колоссального значения, как для него самого. «Все, что не относится к литературе, наводит на меня скуку и вызывает ненависть...». Если подобная антиномия может быть вообще как-то объяснена, то лишь тем, что Кафка-художник предъявлял к себе явно завышенные, заведомо невыполнимые, можно бы сказать, сверхчеловеческие требования: «...счастлив я был бы только в том случае, если бы смог привести мир к чистоте, правде, незыблемости». Брод усматривал в этом поиске абсолюта устремление последовательно религиозное. И делил сочиненное покойным другом на две части: с одной стороны, романы, рассказы, притчи, этюды, с другой — афоризмы. (В виду имеются и тексты под названиями «Размышления о грехе, страдании, надежде и истинном пути». «Он. Заметки 1920 года» и «К заметкам «Он»). Все это создавалось в конце 1917 — в начале 1918 годов, когда после горлового кровотечения Кафка поправлялся в деревне Цюрау, у Оттлы, а позднее лишь дополнялось, сокращалось, упорядочивалось.

Афоризмы, не составившие и двух десятков страниц, тем не менее, представлялись Броду равновеликими всему остальному творчеству писателя. Среди них, несомненно, встречаются и такие, что оставляют человеку надежду: «Мы были созданы, чтобы жить в раю, рай был предназначен служить нам. Наше предназначение было изменено; случилось ли это и с предназначением рая, сказано не было». Но есть и вполне негативные: «Существует цель, но нет пути; то, что мы зовем путем, — сплошные колебания».

Кафка всегда жил в состоянии разлома: жаждал одиночества и страшился его, стремился к человеческому общению; всегда отчаивался, но и всегда надеялся. Кроме того, недуг, приведший его в Цюрау, и правда побуждал задумываться над «нетленным». Но Броду хотелось большего (он ведь видел в покойном друге иудаистского пророка), и он как бы ставил творчество Кафки в тень его афоризмов, им его «подчинял». Так что Замок со всеми своими чиновниками оказывался воплощением божественной справедливости. Но поскольку уловить в нем отблеск горней благодати затруднительно (немецкий исследователь Г. Андерс даже принял канцелярии за видение нацистского режима, Кафкой будто бы наперед оправдываемого), Брод нашел для себя выход несколько неожиданный: канцелярии, дескать, лишь «промежуточные инстанции» между человеком и Богом...

Но ведь Кафка все же стремился «привести мир к чистоте, правде, незыблемости». И вряд ли путем создания теократических утопий. Несовершенству мироздания он пытался противопоставить некое свое безукоризненное творчество. Вряд ли он надеялся этим способом исправить мир — скорее, лишь доказать (и не миру, а себе самому), что совершенство все-таки мыслимо. Так что в конечном счете была у него не столько эстетическая, сколько и в самом деле этическая цель, а значит, по его понятиям, — невыполнимая. Оттого я и сказал, что он предъ-

являл к себе требования сверхчеловеческие. Более скромный талант был бы этим, возможно, разрушен. Кафка «отделался» проклятием вечной неудовлетворенности собой. А что до искусства слова, то под воздействием высокого давления и высоких температур оно лишь выиграло, превратившись в неразрушимый алмаз.

5. ВЕХИ, ИЛИ РОМАНЫ.

Намечать в творчестве Кафки сколько-нибудь определенно некие «периоды» — задача неблагодарная, если вообще доступная. Хотя бы потому, что далеко не все его произведения могут быть точно датированы. Четкая периодизация неоправданна и потому, что творчество Кафки не было самому себе равным и в каждый данный момент. Оно — не прямая линия восхождения или упадка, а ломаная, логически непостижимая кривая лихорадочных метаний: среди вещей мрачных, отчаянных вдруг проглядывает луч надежды, и напротив — на проблески оптимизма внезапно падает черная тень.

Ясности содержания в ранних произведениях Кафки ничуть не больше, чем в поздних. Ранним сверх того присуща общая экспрессионистская раздерганность, отсутствующая в поздних. Чего в последних действительно больше, так это ощущения безысходности, необоримости зла, загнанности в каменный тупик. Конечно, еще героем «Описания одной борьбы» капризная, непредсказуемая жизнь играет, как мышью, но и он с каким-то веселым отчаянием навязывает ей свои капризы: «Беззаботно шагал я дальше. Но поскольку в качестве пешехода я опасался трудностей горной дороги, я принудил ее становиться все более ровной, а вдали — опускаться в долину. Камни исчезли по моей воле, и ветер прекратился». Здесь все возможно, в том числе и то, что мир не таков, каким кажется. «Всегда, милостивый государь, — говорит некий молодой человек, — мне очень хотелось увидеть вещи такими, какими они могут быть до того, как мне являются. Они тогда, наверное, красивы и спокойны. Это должно быть так, ибо я часто слышу, как люди так о них отзываются». В 1903 году юный Кафка писал О. Поллаку, что «можно уважать крота и его манеру, но не следует делать из него для себя святого», а Кафка больной, умирающий изобразил в «Норе» человека в образе животного (скорее всего, того же крота), которое вырыло систему подземных укрытий и все равно в страхе ожидает прихода врага — более сильного зверя. В «Описании одной борьбы» присутствовало настроение полета, в «Норе» господствует каменный тупик. Некая игра с сущим сменяется у Кафки более сложным к нему отношением, даже более глубоким пониманием его противоречий, его антагонизмов. Однако за эти сложность и глубину писатель уплатил высокую цену: он утратил остатки веры.

Подобная, только как бы спрессованная во времени эволюция прослеживается и в романах. «Америка», «Процесс», «Замок» — это малая спираль, аналогичная той большой, с помощью которой можно бы графически выразить все кафковское творчество. Романы сочинялись в определенной хронологической последовательности: «Америка» — в 1911—1916 годах, «Процесс» — в 1915—1918-м, «Замок» — в 1921 — 1922-м, хотя еще в 1914 году в дневнике появился отрывок, озаглавленный «Искушение в деревне» и представляющий собою первоначальный вариант «Замка».

«Америка» — это рассказ о шестнадцатилетнем мальчике, которого с жалким чемоданишком в руках родители отправили из Праги в далекий Нью-Йорк, отправили в наказание за то, что его совратила служанка. Мальчик — зовут его Карл Росман — на редкость скромен, наивен, добр, отзывчив, исполнен готовности всем помогать. По вине разного рода себялюбцев и демонических проходимцев, использующих его доверчивость, Карл то и дело попадает впросак, оказывается замешанным в таинственные и неприятные авантюры. Здесь, как и во всех вообще произведениях Кафки, человек противопоставлен чужому и враждебному миру. Правда, мир этот еще относительно конкретен. Кафка говорил, что находился тогда под влиянием Диккенса. И в самом деле в романе проглядывает нечто от обстановки «Оливера Твиста» или «Дэвида Копперфилда». Присутствуют там и реалии современной Кафке Америки: праздные миллионеры, бастующие металлисты, замученная безработицей женщина, которая бросается со строительных лесов...

Но вот что примечательно: это не есть конкретность собственного жизненного опыта, не есть реалии, лично Кафкой увиденные. Он не бывал за океаном, но как бы и не делал для себя из этого проблемы. «Видела ли ты когда-нибудь демонстрации, происходящие в американских городах накануне выборов окружного судьи? — читаем в его письме к Фелице Бауэр. — Конечно, не видела, так же как и я, но в моем романе эти демонстрации как раз в разгаре». О том, чего сам не видел, Кафка писал не из-за отсутствия житейского опыта. Этот опыт не был велик, но его хватило бы на роман, воссоздающий действительность Средней Европы, в том числе и действительность социальную. И все-таки Кафка строил свой первый роман из материала не чешского, а американского.

Думается, на это имелось несколько причин, и притом самого разного свойства. Я уже говорил, что среда понимается Кафкой как нечто глубоко чуждое человеку. Осязаемо, зримо это легче выразить, если взять среду чужую, ту, на которую и герой, и сам автор смотрят глазами этакого вольтеровского гурона. Протагонист повести «Простодушный» был, правда, наивным и простодушным индейцем, лицезревшим пороки предреволюционной Франции. В кафковской «Америке» все как раз наоборот. Но важен принцип: остраняющий, очуждающий взгляд; он преображает действительность, извлекая абсурды из антуража привычного, примелькавшегося.

Это с одной стороны, а с другой — то, что Кафка хорошо знает, становится его непосредственным переживанием, частью его души, его субъективным миром и, следовательно, претворяется в согласии с законами его индивидуальной образности, его мифотворческой символики. А он еще хотел создать по-своему традиционный роман, в некотором роде роман диккенсовский. Такому роману нужны люди и предметы, не искаженные болезненным сращением со своим наблюдателем, сохраняющие по отношению к нему дистанцию. У Кафки они могли быть только людьми и предметами вторичного мира, то есть взятого из книг, заимствованного из чьих-то рассказов, даже логически домысленного. Ведь и будучи вторичным, это типично кафковский мир — с коридорами-лабиринтами, с бесконечными грязными лестницами, с теряющейся в заоблачной выси «чудовищной иерархией» провинциальной гостиницы «Оксиденталь». Противопоставленный ему человек куда для Кафки не-

обычнее: в несчастьях и поражениях повинны силы, действующие вне воли и сознания героя. Если бы изменились условия, если бы такое было возможно, Карл победил бы, привел бы сущее в соответствие со своим идеалом. Он лучше всех антагонистов, но, увы, слабее их. Потому он должен погибнуть. Однако не как преступник — как кроткая жертва благосклонной к нему и бессильной что-либо исправить судьбы...

«Америка» — это нечто вроде кафковской утопии. И как во всякой утопии, ее действию следует разыгрываться в стране если не вымышленной, то по крайней мере малоизвестной. Чтобы мыслимо было поверить в возможность счастливого финала.

В «Процессе» действие развертывается в Праге, хотя город и не назван. Там по делу Йозефа К., прокуриста крупного банка, ведет следствие некий неофициальный, но всесильный суд: его присутствия размещены на чердаках всех домов. Герою, который не знает за собой никаких грехов, кажется, что стоит лишь сделать вид, будто ничего не произошло, и все само собою образуется, неясная угроза развеется. Ведь говорит же ему священник в соборе: «Суду ничего от тебя не нужно. Суд принимает тебя, когда ты приходишь, и отпускает, когда ты уходишь». Однако со временем тихий омут процесса все более затягивает Йозефа К. И именно потому, что разбирательство ведется в глубочайшей тайне, что все неясно, смутно, зыбко, как бы и вовсе нереально, основано на слухах, на допущениях. Герой не прячется от судьбы; он бросает ей вызов и, сражаясь с нею, все дальше запутывается в паутине процесса. В его сопротивлении есть немало трагического достоинства: некоему коммерсанту Блоку, который пресмыкается перед адвокатами и судейскими, удается растянуть рассмотрение своего дела на целых пять лет, а у Йозефа К. страшный конец наступает скоро, ибо он отказывается принять несправедливый закон.

На Западе иногда склонны сводить проблематику этого романа к суду человека над самим собой. Но кафковский текст не дает для этого полных оснований. Вспомните хотя бы обличительную речь героя, произнесенную в как бы импровизированном суде и выше уже цитировавшуюся.

Суд, так охарактеризованный, — нечто вполне объективное; это именно та социальная система в целом, посреди которой существовал Кафка, социальная система, какой он ее видел. Но это и мир, который автор хорошо знает, с которым болезненно сросся и который преображается, мифизируется за счет такого сращения. Сказывается это и на герое. Если Карл в «Америке» был резко противопоставлен окружению, внутренне не имел с ними ничего общего, то Йозеф К. плоть от плоти системы, породившей этот кошмарный суд. С одной стороны, он «просто» человек, преследуемый, гонимый, а с другой — крупный бюрократ, защищенный заслоном секретарей от всех неожиданностей и случайностей (арест произошел утром, в пансионе и застал едва проснувшегося героя врасплох). Иными словами, Йозеф К. — часть враждебного ему самому бытия, и это делает его «нечистым» в собственных глазах, вызывает все усиливающееся чувство вины. Оттого он не может уйти от суда, хотя суд его не держит.

Надо полагать, суд у Кафки — это и внешний мир, где даже угадываются черты новейшего тоталитаризма, и высшая справедливость, индивидуальный закон, который каждый создает для себя. Благодаря каф-

ковскому феномену сращения второе значение постепенно как бы берет верх. Йозеф К. начинает не столько осматриваться, сколько всматриваться в себя. Оттого все, что его обступает, так туманно, расплывчато, капризно, метафорически-фантастично, беспросветно. Ведь и в себе он видит лишь то, что делает его сопричастным «всеобщему преступлению», чудовищной и бессмысленной организации бытия. И даже как личности ему не остается ничего, кроме стоицизма отчаяния. «Всегда мне хотелось хватать жизнь в двадцать рук, — думает он, — но далеко не всегда с похвальной целью. И это было неправильно. Неужто и сейчас я покажу, что даже процесс, длившийся целый год, ничему меня не научил? Неужто я так и уйду тупым упрямцем? Неужто про меня потом скажут, что в начале процесса я стремился его окончить, а теперь, в конце, — начать сначала? Нет, не желаю, чтобы так говорили!» И Йозеф К. безропотно разрешает двум похожим на отставных актеров субъектам заколоть себя в ночной каменоломне. Сравнивая героев «Америки» и «Процесса», Кафка записал в дневник 30 сентября 1915 года: «Росман и К., невинный и виновный, в конечном счете равно наказанные смертью, невинный — более легкой рукой, он скорее устранен, нежели убит».

Схемой построения «Замок» напоминает «Америку», а по духу как бы развивает и углубляет «Процесс». Его герой К. прибывает, шагая напрямик по глубокому снегу, в Деревню, подчиненную юрисдикции графа Вествеста или, точнее, юрисдикции необозримо разросшихся канцелярий графской администрации. Ибо сам граф — фигура легендарная: его никто никогда не видел и ничего не знает о нем. Цель К. — проникнуть в Замок, резиденцию графа, и получить от него право осесть в Деревне, пустить здесь корни, обрести дом, семью, службу.

Как и Карл Росман, К. является издалека в чужой ему мир. Но в отличие от Карла он не вырван насильственно из какой-то прежней жизни, а принадлежит к породе извечных аутсайдеров, архиэмигрантов, и даже его профессия землемера — фальшивка, фиговый листок на дрожащем нагом теле. И потом, его желание врасти в быт во всем послушной Замку Деревни не проистекает из идеализирующих этот быт доверчивости и незнания. К. знает, с кем имеет дело. Замок — его враг, жестокий, коварный, неумолимый. К. явился ради борьбы, но борьбы не против чего-то, как то было в «Процессе», а за что-то, за свое право на жизнь в этом мире. Такое стремление не свободно от привкуса капитуляции как со стороны героя, так и со стороны автора. «Когда я проверяю себя своей конечной целью, — гласит дневниковая запись Кафки от 28 сентября 1917 года, — то оказывается, что я, в сущности, стремлюсь не к тому, чтобы стать хорошим человеком и суметь держать ответ перед каким-то высшим судом, — совсем напротив, я стремлюсь обозреть все сообщество людей и животных, познать его главные пристрастия, желания, нравственные идеалы, свести их к простым нормам жизни и в соответствии с ними самому как можно скорее стать таким, чтобы быть непременно приятным...»

Однако ни Кафке, ни его «землемеру» К. не суждено было осуществить этого. Правда, Брод свидетельствует: «Заключительную главу Кафка не написал. Но о д н а ж д ы — в ответ на мой вопрос, как должен кончаться роман, — рассказал следующее. Мнимый землемер получает по крайней мере частичное удовлетворение. Он не прекращает своей борьбы, однако умирает от истощения сил. У его смертного одра собирается

община, и приходит решение Замка, гласящее, что, хотя от К. и не поступило соответствующее ходатайство, ему, с учетом некоторых побочных обстоятельств, разрешается жить и работать в Деревне». Но это, если угодно, пародия на «Америку». Кто-то играл судьбою Росмана, и даже если он был «легкой рукой... отодвинут в сторону», для него это означало избавление. Но К. ведь приближался к замку и сражался с ним не затем, чтобы умереть, а чтобы жить здесь.

Кто же в первую очередь ответствен за поражение, за неудачу? Сам К. — вот ответ, лежащий на поверхности, ответ, напрашивающийся на язык. Ценою многих усилий герою, например, удалось отстоять свое право на свидание с начальником 10-й канцелярии Кламмом. Увидев у дверей деревенской гостиницы сани Кламма, К. решает дождаться того любой ценой. Он прогуливается по двору. И тут ему начинает казаться, что, «хотя он теперь свободнее, чем прежде, и может тут, в запретном для него месте, ждать, сколько ему угодно, да и завоевал он себе эту свободу, как никто не сумел бы завоевать, и теперь его не могли тронуть или прогнать, но в то же время он с такой же силой ощущал, что не могло быть ничего бессмысленнее, ничего отчаяннее, чем эта свобода, это ожидание, эта неуязвимость». И К. уходит.

Однако что было бы, если бы герой не ушел со двора или не заснул в комнате мелкого чиновника Бюргеля, который вроде бы уже готов был решить его дело? Пока К. торчал у его саней, Кламм не вышел бы во двор: лошадей ведь отпрягли, и правитель канцелярии уехал лишь после того, как назойливый проситель ретировался. И вообще, существует ли уверенность, что то были сани Кламма? Даже те, кто разговаривал с ним в замке, никогда не знали, точно ли это Кламм. Он — каждый раз иной, неопределимый, неуловимый, неописуемый. Замковую бюрократию не застанешь врасплох и не поймаешь на слове; она необорима именно в своей податливости: там все всем занимаются и никто ни за что не отвечает, включая собственные слова и собственные циркуляры. Что же до истории с Бюргелем, то тоже нет уверенности, не розыгрыш ли это, не шутка ли. Ибо слова Бюргеля: «...тут все возможно. Правда, бывают возможности, в каком-то отношении слишком широкие, их даже использовать трудно, есть такие дела, которые рушатся сами по себе, а не от чего-то другого», — слова эти могут быть истолкованы и так и эдак. В том числе и в смысле нежелания К. отстаивать свое право на путях нечистых и неправедных, совсем случайных.

И герой, и автор бредут по черте заколдованного круга: Кафку в равной мере пугали и свобода, и несвобода. «Был у Баума... — писал он в дневнике 21 декабря 1910 года. — Такое ощущение, будто меня связали, и одновременно другое ощущение, будто, если бы развязали меня, было бы еще хуже». Из этой дьявольской одновременности несводимых противоречий нет выхода — даже того иллюзорного, что порой проглядывал в «Америке».

27 января 1922 года Кафка сделал в дневнике следующую запись: «Несмотря на то, что я четко написал свое имя в гостинице, несмотря на то, что и они уже дважды правильно написали его, внизу на доске все-таки написано «Йозеф К.». Просветить мне их или самому у них просветиться?» При жизни автора «Процесс» не издавался, так что отождествлять его с героем романа не мог ни один гостиничный портье. Это сделал сам Кафка, ибо ощущал себя Йозефом К. Всех своих протаго-

нистов он в некотором роде писал с себя. Так что его жизнь никак не была отделена от его творчества; они легко и таинственно друг в друга переливались. Что же до самого творчества, то и в нем, по сути, не было границ между художественным и нехудожественным. Дневники оборачивались художественными текстами, а романы или новеллы — «документами» кафковской биографии. Тут все было сочинено и одновременно ни одно слово не было выдумано.

6. ВЕЛИЧИНА «МАЛЫХ ФОРМ».

Все сочинения Кафки — исповеди. Но «Голодарь» (1924) — исповедь вдвойне, да еще исполненная отчаяннейшей самокритики. Это рассказ об искусстве. Правда, об искусстве непродуктивном, только собою занятом, берущем, а не дающем. Герой рассказа — мастер, так сказать, художник голодания, и публика от него в совершеннейшем восторге. Собираются толпы, чтобы поглазеть на человека, имеющего такую железную волю. Но никакой воли у него нет, просто он не находит пищи, что была бы ему по вкусу. В сущности, голодарь обманывает своих зрителей. И хоть в его тайну они не проникли, он им в конце концов наскучил. Наверное, не совсем случайно. Всеми забытый, он продолжает голодать на задворках цирка, пока не прибирает его смерть.

Другой рассказ того же ряда — "Певица Жозефина, или Мышиный народ" (1924). Но он занимает в наследии Кафки куда более значительное место: ведь автор пытается здесь по-своему ответить на вопрос о роли и месте искусства. И этот ответ, как всегда, неожидан.

Мышь Жозефина — певица, до чрезвычайности в народе популярная. Но причины ее популярности не следует искать в каком-то особом таланте, даже просто умении. В сущности, она не поет, а, как оно и водится у мышей, пищит. И голос у нее слабее и жиже, чем у других. Слушателей берет за душу ее энтузиазм, вера в собственное призвание и избранность. Ей прощают многие капризы, о ней заботятся, но не оттого, что она лучше других, скорее, оттого, что она хуже, слабее, беспомощнее. Ей дозволено то, что воспрещено другим. Но ей кажется, «что это она защищает народ. Ее пение якобы спасает народ от всяких политических и экономических трудностей». И самое удивительное, что это — правда, но соединяющая между собой причину и следствие совсем не так непосредственно, как то кажется исполненной самомнения Жозефине: «Ведь писк — язык нашего народа, только иной пищит всю жизнь и этого не знает, здесь же писк освобожден от оков повседневности и на короткое время освобождает и нас».

В конце рассказа Жозефина исчезает, потому что более не желает петь. Что ж, резюмирует рассказчик, «она лишь небольшой эпизод в извечной истории нашего народа, и народ превозможет эту утрату...» Финал не пессимистичен, скорее, трезв. Он не отрицает роли искусства, лишь отводит ему в жизни людей достаточно скромное место. Кафка как бы разрушает давний романтический миф: в его представлении художник не велик, не всесилен, не богоравен, но он, вне всякого сомнения, нужен народу — и прежде всего тем, что побуждает людей узнать в нем самих себя, всех вместе и каждого в отдельности.

XX век породил лишь горстку художников, сегодня столь же, как и Кафка, почитаемых. Одна из причин состоит в этой самой его абсо-

лютной честности, в бескомпромиссности, в полном отсутствии позы. «Голый, выставленный на мороз нашего злосчастного века, с земной коляской и неземными лошадьми, мыкаюсь я, старый человек, по свету... Обманут! Обманут! Послушался ложной тревоги моего ночного колокольчика — и дела уже не поправишь!» — так заканчивается рассказ «Сельский врач» (1917).

В нем как бы сконцентрирована вся кафковская особость. Врач вызван к больному, в другое село, на дворе вьюга, и лошадь околела. Но в свинарнике обнаруживаются два горячих коня и даже конюх Тот запрягает, но ехать с врачом отказывается, предпочитая поразвлечься с его служанкой Розой. Кони вмиг доставляют врача к больному, будто нет между селами никакого пространства. Болен мальчик. Сначала он казался здоровым, а потом на боку у него обнаружилась глубокая розовая рана, полная червей. Родственники умирающего мальчика раздевают врача и кладут к тому в постель. Схватив одежду в охапку, врач сбегает через окно. Но теперь кони едва плетутся, и врачу не добраться до дому, не вырвать Розу из рук конюха...

Образы то беспощадны, нестерпимо резки для глаза, то разорваны, метафорически-сумеречны. Господствует логика сновидения, его ускользающе-многозначная, откровенно субъективная символика. Это затрудняет расшифровку заложенного в рассказ смысла. И все-таки ключ к нему есть. Ключ этот — жизнь, жизнь самого Кафки. В том же году, когда был написан рассказ, произошло два события: Кафка вторично обручился и вторично разорвал помолвку с Фелицей Бауэр и у него впервые пошла горлом кровь. Он принял решение принести семейную жизнь в жертву своему писательству, и обострение болезни его в решении этом укрепило. Решение принято, но боль остается, и остаются, даже нарастают сомнения. Вот конфликт, что лег в основу рассказа.

Уяснив себе конфликт, мыслимо проникнуть и в ту знаковую систему, через которую он художественно себя реализует. «Ночной колокольчик», вызвавший врача к больному, — это писательское призвание Кафки. Откликнувшись на его звон, герой платит непомерную цену: оставляет Розу в объятиях конюха. Вряд ли ее следует прямо отождествлять с Фелицей Бауэр. Но связь между ними существует: рана больного мальчика имеет розовый (rosa) цвет, служанку зовут Роза (Rosa). Так служанка соприкасается с болезнью. Но в дневнике Кафка называет своей «болезнью» Фелицу. И уже через «розовое» имя служанки между собою связанными оказываются врач и больной. Они — различные ипостаси Кафки. Недаром врач мгновенно попадает к больному, недаром он оказывается в постели больного. И бежит он от самого себя, почему и терпит неудачу...

Но «Сельский врач» впечатляет и без расшифровки. Рассказ засасывает и не отпускает: все помнишь, всему удивляешься и чувствуешь себя странно взволнованным. Будто притронулся к тайне — глубокой и важной.

Писателей делает большими не только литературный талант, а и способность почувствовать жизнь. Важно не просто узнать ее тайны, а именно их почувствовать, ибо знание немногого стоит, если им обладает стоящий снаружи. Кафка же всегда пребывал внутри: был погружен в свой мир и копил в себе всю его тяжесть.

Могут возразить, что кафковский художественный мир необычен: мелок, тривиален, бессобытиен, ужасен своей агрессивной абсурднос-

тью, смешон своей трагической пародийностью. Но разве нет в нем сходства с тем действительным миром, который всех нас окружает? Из мира людей тот превратился в мир математических чисел, где смерть — повседневность, а убийство — профессия, где гибель рода человеческого приобрела научную перспективу и концу света препятствует лишь собственное его орудие — избыток термоядерных бомб, где прогрессу сопутствует экологическое бедствие, готовое истребить и сам прогресс...

Разумеется, кафковский мир не копия всего этого, не натуральный с этого слепок. Кафковский мир — идея реального мира, его иносказание, его метафора. Но, как и всякая настоящая метафора, он прообразу своему конгениален. Тут напрашивается сравнение с геометрией Лобачевского, которая во всем аналогична евклидовой, за исключением того, что криволинейна. И если математический мир Лобачевского расширяет представления о природе пространства, то художественный мир Кафки делает то же с природой человеческих отношений, что сложились в нашем столетии, необычном как раз своей никого уже не удивляющей усредненностъю.

7. КРУГ ЧТЕНИЯ

Дневники содержат высказывания Кафки о других писателях; о литературе он порой говорил с Бродом, с Яноухом, с Велчем, с Есенской. Но как? «Я не критик», «я плохой читатель» — нота эта звучит постоянно. Как правило, он не оценивал предшественников и современников; по большей части лишь сравнивал их с собой и, почти всегда отдавая им преимущество, соглашался или не соглашался с ними.

Гёте был его кумиром. Ни о ком он не упоминает так часто, ни перед кем не преклоняется так открыто. Но Гёте слишком здоров для него, слишком целен, классичен, спокоен. Гёте — тоже «отец», чью власть Кафка ежеминутно ощущает, власть могучую и подавляющую, власть, которая вызывает краску стыда. И когда он находил у Гёте признаки смятения или хотя бы беспокойства, он, коленопреклоненный, испытывал нечто вроде тихого злорадства. Сходно и его отношение к Бальзаку. «На трости Бальзака, — писал он, — было начертано: «Я ломаю все преграды». На моей: «Все преграды ломают меня». Общее у нас — это словечко «все». Путь Клейста, напротив, кажется ему похожим на собственный. И он выбирает в жизнеописаниях Клейста «кафковские» ситуации. Для самоуспокоения? В целях самозащиты? Или чтобы не чувствовать так остро свое одиночество? Одиночество человеческое и писательское. То же и с Достоевским. Кафку влекло к нему, но и отталкивало. Достоевский был «злее», был борцом против овеществления, обесчеловечивания человека, против социальных обстоятельств, тому способствовавших. И как борец он сродни Бальзаку. Кафка не то чтобы «добрее» — он снисходительнее и беспомощнее. Его позиция довольно точно определяется словами «резиньяция» и «тупик».

Философов он почитывал. Но своего рода путеводителем из них был для него, кажется, только Сёрен Кьеркегор, датский теолог прошлого века, считающийся одним из предтеч экзистенциализма. Потому что и сам Кафка, философствуя, тяготел не к логическим построениям, не к законченным формулировкам, а к некоей ветхозаветной иносказатель-

ности, притчевости, метафоричности, ко всему тому, что чурается однозначных толкований.

Одним из истинных его кумиров был Флобер, впрочем, Флобер «выборочный». «Госпожа Бовари» оставляла Кафку равнодушным, а «Саламбо» и вовсе отвращала. Он любил «Воспитание чувств» — полагал, что там выражена вся необоримая бессмысленность человеческого существования. «Моисей не дошел до Ханаана, — читаем в дневнике, — не потому, что его жизнь была слишком коротка, а потому, что такова человеческая жизнь». Конец Моисеева Пятикнижия сходен с заключительной сценой «Воспитания чувств». Но еще примечательнее, что Кафке постоянно хотелось декламировать «Воспитание чувств», причем — в оригинале. Иными словами, его завораживал прежде всего Флобер-стилист. Тот трудился день и ночь, по крупицам извлекая непогрешимость слога из ржавчины словесной руды. Его периоды не звенели торжественной медью, не поражали величием: он не творил эпическую поэзию, а сочинял художественную прозу. И тем был близок Кафке.

8. СОЧИНИТЕЛЬ.

Но Кафка работал совсем по-иному: полагаясь, почти как старые мастера, не на умение, а на вдохновение. Я уже упоминал, что «Приговор» был написан в течение одной ночи. «Только так можно писать, — резюмировал Кафка в дневнике, — только в таком состоянии, при такой полнейшей обнаженности тела и души». И он уверял Брода, что не бодрствование — первое условие писательского творчества, а «самозабвение». В этом есть, по его разумению, даже что-то «нечистое»: «Это нисхождение к темным силам, это высвобождение духов, в естественном состоянии связанных, сомнительные объятия и все прочее, что оседает вниз и чего уже не знаешь наверху, когда при солнечном свете пишешь свои истории. Может быть, существует иное творчество, я знаю только это... И дьявольское в нем видится мне очень ясно».

«Дьявольское» не следует здесь толковать в строго теологическом смысле, но лишь как нечто, вершащееся самопроизвольно, без участия разума, пребывающее «внизу» и потому ни с какой конторой не согласуемое. «Кафка не любил теорий, — свидетельствовал Брод. — Он изъяснялся образами, потому что мыслил образами. Образный язык был для него естественнейшим. Даже в так называемом повседневном общении». «Еще раз я во всю силу легких крикнул в мир. Потом мне заткнули рот кляпом, надели кандалы на руки и ноги, завязали платком глаза. Несколько раз меня протащили взад-вперед, посадили и снова положили... дали немножко полежать спокойно, а потом стали глубоко всаживать в меня что-то острое...», — это запись от 3 августа 1917 года. Разумеется, с Кафкой ничего подобного никогда не случалось. Перед нами чистая метафора его душевных состояний, нравственных мук. Но духовное замещено чувственным, осязаемым, предметным. «Особый метод мышления, — читаем в дневнике от 21 июля 1913 года. — Оно пронизано чувствами. Все, даже самое неопределенное, воспринимается как мысль». Это и есть его творческая манера, художественная, и тогда, когда речь идет о дневниках, письмах, устных высказываниях.

Романная плоть, разумеется, всегда сложнее, многозначнее, неопределеннее. Так что малая проза Кафки, пожалуй, более показательна

в качестве примера: ее метафорику легче распознать. Чуть ли не каждый его рассказ (тем более малый фрагмент) — это персонифицирующая внутреннюю жизнь предметная («внешняя») метафора: и вползающий в комнату безногий зеленый дракон, и меч, торчащий в спине собравшегося на прогулку человека, и барьер театрального балкона, оказавшийся телом длинного, очень худого мужчины... Это — как сон, где все тоже непонятно, алогично и одновременно — непреложно, бессомненно, вроде бы само собой разумеется.

Кафка любил пересказывать сны: «И вот входит девушка, которую я знаю (мне кажется, ее зовут Френкель), она перелезает как раз около моего места через ряд кресел, и я вижу, когда она перелезает, что спина у нее голая, кожа не очень чистая, а выше правого бедра есть даже налившийся кровью расчес величиной с кнопку дверного звонка. Но потом на сцене, когда она оборачивается и стоит с чистым лицом, она играет очень хорошо». Поражает точность деталей: здесь все так четко, так реально, будто глядишь сквозь увеличительное стекло.

Сон по природе своей визуален. Он — чистое действие, лишенное мотивировок и потому не предполагающее прямых толкований. Если и можно говорить о туманности сновидения, то именно в смысле его «нетолкуемости». В этом же смысле художественный мир Кафки можно определить как «сновидческий».

Кафка редко бывал категоричен. Но от издательства «Курт Вольф», когда оно выпускало в свет «Превращение», он категорически потребовал, чтобы среди иллюстраций к книге не было рисунка, изображающего Замзу многоножкой. И требование это надежнее всех прочих доводов свидетельствует, что многоножка — метафора: только поэтому ее и нельзя рисовать. Ведь она — образ непоправимого человеческого отчуждения. И непоправимость опредмечивается лишь тем, что человек, превращенный в нечто нечеловеческое, оставлен в прежней своей среде. Он и *уже* многоножка, и еще человек. Возникает трагикомическая «перевернутость» его отношений со службой и семьей. Однако только это и вписывает «нового» Замзу в структуру «обыкновенного» рассказа, препятствует его соскальзыванию в ходячую аллегорию, наконец, сообщает всему, что здесь происходит, удивительную последовательность. Ведь стоит даже не поверить в возможность такого, как с Замзой, превращения, а лишь принять его в качестве «условия игры», и ты вынужден будешь согласиться с тем, что если бы человек стал многоножкой, то в жизни все происходило бы так, как случилось в рассказе, и что это вовсе не игра, а сама действительность, каким-то странным манером смещенная.

Здесь все смещается по тем же примерно законам, что и во сне. Что придает нашим снам фантастичность? Как правило, не так ирреальность происходящего, как несогласуемость между его отдельными компонентами, несочетаемость последних. Это во-первых. А во-вторых — непонятность, необъяснимость событий и этим обусловленная их неожиданность. Что, однако, ничуть не мешает принимать все за непреложную данность. Те же признаки присущи и кафковской прозе. «Для чего вы делаете вид, будто вы — настоящие? Вам что, желательно убедить меня, будто ненастоящий — это я, что так смешно смотрится на зеленом булыжнике мостовой? Но сколько же времени протекло с тех пор, когда ты, небо, в последний раз было настоящим; а ты, Рингплац, вообще никогда

настоящей не была». С такими словами обращается к миру персонаж рассказа «Описание одной борьбы».

Из сохранившихся сочинений Кафки это — самое раннее. Но и в нем уже сквозит недоверие к данной нам в ощущение реальности. Позднее оно усугубится и станет чем-то вроде главной приметы всего творчества писателя. В основе своей недоверие это «романтично», потому что проистекает из упрямого неприятия той скучной, пустой, меркантильной жизни, которая окружала художника. И ей противопоставляется мечта, фантазия. Поскольку и они ищут для себя хоть какого-то воплощения, возникает «двоемирие», раскалывающее бытие на обыкновенное и чудесное, вещественное и идеальное, прозаическое и поэтическое.

Ведь Кафку отличает не только то, что самое невероятное, самое бессмысленное и необъяснимое вершится в его романах и рассказах посреди жизни обыкновеннейшей, внутри тривиальнейшего быта. Отличает его и то, что, вопреки всем предустановленным правилам, вторжение фантастики здесь не сопровождается никакими красочными эффектами. Напротив, оно выдается за нечто само собою разумеющееся, ни у кого удивления не вызывающее. Да и следует ли вообще говорить о вторжении в кафковский мир чего-то чудесного? Ведь чудесное как бы всегда в нем пребывает, составляя одно из непременнейших свойств этого мира. И потом: в самом ли деле речь идет о чем-то чудесном, по крайней мере о «чудесном» в общепринятом значении слова? Там нет ни фей, ни волшебников, ни глиняных гигантов, оживляемых властью чернокнижников. Персонажи Кафки — это ловкачи-бродяги, наивные мальчики-лифтеры, злобные гостиничные портье, болезненные адвокаты, самоотверженные коммивояжеры, утратившие точку опоры врачи...

Что же до фантастики, до странностей, то они возникают в момент, когда люди и вещи кафковского мира вступают во взаимодействие: начинают двигаться, друг к другу притягиваться, друг от друга отталкиваться.

Суд и чердак — понятия если не совсем безобидные, то во всяком случае вполне обиходные. Достаточно, однако (как то сделано в романе «Процесс»), разместить суд на чердаке, по соседству с сохнущим бельем жильцов, да еще сообщить, что его присутствия располагаются на всех чердаках всех домов, чтобы суд превратился в некий абсурд, неясную угрозу, стал навязчивым кошмаром. И неизбывность кошмара тем многократно умножается, что нам рассказывают о нем с чуждой всяким там эмоциям безмятежностью. Но не «эпической», «рапсодической», а той, что отличает профессиональных чиновников, скучнейших, прозаичнейших людей на свете. Язык Кафки — это язык канцелярии: точный, строгий и беспощадный. Главная его сила в безличности, более того, в безликости, за которой, однако, кроется «простой» человеческий ужас. Контраст между безликостью и ужасом — вот формула кафковского стиля.

К канцеляриям Замка было бы не придраться, если бы, по рассказам очевидцев, они не были столь необъятными, до краев наполненными тьмой усерднейших чиновников, которые предпочитают вести допросы жителей Деревни в номерах гостиницы «Господский двор», да еще по ночам, да еще лежа в постели. Внутри себя Деревня обходится старостой, секретарем, при котором состоит жена и которому как бы еще помогает школьный учитель. Последний вместе с учительницей управляется и со школой. Следовательно, Деревня невелика? Но над нею нависла громада бесчисленных канцелярий...

Это — к вопросу о несогласуемости, несочетаемости. А теперь — о непонятности поведения персонажей, необъяснимости их поступков.

В «Приговоре» отец Георга Бендемана — «богатырь», а в следующее мгновение — уже немощный, впавший в детство старец, играющий цепочкой от часов сына, когда тот несет его в постель. И он же, вдруг превращаясь в тирана, приговаривает сына к смерти. И сын поспешно бежит на мост и прыгает в реку. В «Америке» дядюшка-миллионер поначалу трогательно опекает изгнанника Карла Росмана, а потом и сам изгоняет. Причем лишь за то, что Карл в его присутствии, даже как бы с его согласия, принял приглашение дядюшкиного друга, миллионера Полландера. А другой дядюшкин друг, миллионер Грин, уполномочен сообщить племяннику волю неумолимого дядюшки обязательно в доме Полландера и ровно в полночь. И ни у кого — ни у Полландера, ни у его дочери Клары, ни у ее жениха Мака, ни даже у самого изгнанника — все это не вызывает ни малейшего удивления. И Грегор Замза не удивлен — он лишь обеспокоен, когда поутру обнаруживает, что стал многоножкой...

Итак, господствует атмосфера сна и сновидческая же «техника». Не стану утверждать, будто Кафка ее сознательно использовал, а тем более — прилежно изучал. Скорее, он просто заметил между нею и своей творческой манерой близость, а заметив, стал всматриваться в собственные сны. Манера же эта была ему дана в некотором роде изначально: во всяком случае, именно в этой манере создано «Описание одной борьбы», первая, как уже упоминалось, из его сохранившихся вещей. Манера эта для Кафки естественна, даже закономерна, ибо она есть производное от его особых отношений с миром.

Он смотрел на мир сквозь призму собственной личности. Оттого роль всеведущего (или, по выражению Достоевского, «непогрешающего») автора была ему абсолютно противопоказана. Вообще-то в XX веке бальзаковский «демиург», *все* видевший, *все* знавший, *все* понимавший, *всем* управлявший на подмостках «человеческих комедий», стал уже анахронизмом. Но Кафка был достаточно консервативен, чтобы не гоняться за модой: так что у него дело именно в противопоказанности.

Он не заглядывал под черепные коробки своих персонажей в первую очередь из добросовестности. «Что знаешь ты, — писал он еще в 1903 году другу детства Оскару Поллаку, — о моей боли и что знаю я о твоей?» А присочинять чужой внутренний мир не желал, ибо не терпел никаких «конструкций».

Но было бы ошибкой полагать, будто Кафка отказывался от освященного традицией психологического анализа лишь потому, что не видел иного выхода. Выхода он действительно не видел, однако его и не искал, так как субъективное мировосприятие не знает и знать не может другой поэтики кроме лирической, то есть не терпящей никакой полифонии, никакого многоглазия. Себя самое и окружающее наблюдает некая индивидуальность, но даже она наделена лишь правом чувствовать, а не мыслить.

Кафка повествовал либо от первого лица, либо из перспективы героя, либо, наконец, от имени безымянного рассказчика, выражающего мнение как бы коллективное. От первого лица написаны «Гигантский крот» (1914—1915), «Верхом на ведре» (1916—1917), «Отчет для Академии» (1917), «Исследования одной собаки» (1922); из перспективы героя — все три романа, «Приговор», «Превращение»; от имени безымян-

ного рассказчика — «Отказ» (1906), «Как строилась китайская стена» (1917), «Старинная запись» (1917).

Функции поименованных вариантов, хоть порой и пересекаются, достаточно специализированы. Любопытно, что первое лицо далеко не всегда означает идентичность автора и повествователя: так написано, например, большинство кафковских «звериных» новелл. А там, где третье лицо, казалось бы, призвано обозначить дистанцию, утвердить как бы нечто эпическое, герой, напротив, лишь прозрачный псевдоним Кафки: Георг Бендеман, Йозеф К., К. Что же до безымянного рассказчика, то ему во владение отдаются сюжеты легендарные, притчевые. Исключение составляет лишь рассказ «В исправительной колонии», но рассказчик там не совсем безымянен, он все-таки участвует в действии.

Что выбор повествовательной формы может стать у Кафки определяющим, видно из такого хотя бы примера. В 1914 году он набросал ранний фрагмент «Замка». О К. и его попытках поселиться в Деревне там рассказывал один из ее жителей, и выходило, что странен К., а вовсе не мир, в который он пришел. В тексте 1922 года странен именно этот мир. Совершен как бы полный поворот, и дорогу ему проложили моменты формальные: поменялся проводник по романным пределам — прежде им был посторонний, ныне вергилиевы функции взял на себя главный герой. В каком, впрочем, смысле был «посторонним» деревенский житель? Не по отношению же к самой Деревне. Там он как раз «свой»: *все* знающий, ко *всему* привыкший и притерпевшийся. Оттого, по кафковской логике, он и не годился в проводники.

9. СОЦИАЛЬНЫЙ КРИТИК?

Я уже не раз говорил, что Кафка писал *о себе и для себя.* Но это не делало его солипсистом. Лишь устанавливало иерархию: самым важным на ее ступенях было собственное «я», не мыслившееся, однако, вне отношений с миром. Что они у Кафки всегда наличествуют, свидетельствует, кстати, и всеохватная образность его мышления, ибо она — не только способ объяснить мир себе и себя миру, но и единственно возможный между ними мост.

Роман на то и роман, чтобы быть мостом. Оттого житель Деревни и не устраивал Кафку в качестве Вергилия: он глядел только на удивительного ему К., а тот, напротив, глядит на мир ему незнакомый и непонятный. Вообще-то это старый-престарый литературный прием, каким пользовался еще Вольтер в своей повести «Простодушный» (1767), где благородный американский дикарь удивляется порядкам, воцарившимся в предреволюционной Франции, и тем их разоблачает. Кафка, однако, выстроил мост весьма своеобразный. Как и вольтеровский индеец, К. явился в Деревню извне и почти ничего не ведает о здешних порядках, не улавливает подоплеки тут происходящего, не понимает причин, по которым чиновники и крестьяне ведут себя так, а не иначе. На этом, впрочем, сходство с индейцем кончается.

Простодушный не переставал удивляться. И его взгляд обнажал недоступную здравому рассудку немыслимость, даже смехотворность окрест творящегося и тем самым — его пережиточность, обреченность, недолговечность. И тут обнаруживаемое индейцем «непонимание» как бы выдает себя с головой: оно — притворство, только «прием», лишенный философского подтекста. В «Замке» все по-другому. К, разгляды-

вая жизнь, ничуть не менее противоестественную, чем та, что изображена в «Простодушном», ничему, однако, не удивляется. Это пребывает в согласии с «поэтикой» сна, хотя продиктовано не только ею.

К. далеко не так простодушен, как вольтеровский индеец. Еще до прихода в Деревню он о ней кое-что знал и попал сюда не случайно. Вспомним уже цитированную запись «Кафки» в дневнике от 29 сентября 1917 г.: он стремился познать человеческое сообщество, его желания, пристрастия, моральные идеалы, чтобы самому как можно скорее стать таким же... Герой «Замка», надо думать, пытается реализовать именно эту цель, то есть хочет избавиться от тяжелого груза аутсайдерства. Но терпит неудачу. И это — как ни странно — свидетельствует в его пользу, а не в пользу мира, в который он пришел: он хотел приспособиться и не смог (он слишком хорош? Мир слишком плох?).

К. ничему не удивляется не только потому, что так должно быть во сне, и не просто по недостатку простодушия. Отсутствие удивления — еще и форма характеристики разглядываемого бытия. Ведь никого не удивлять способно лишь нечто само собою разумеющееся, несомненное, лишь то, что уже прекратило движение и превратилось в собственный вожделенный результат.

Не надо и упускать из виду, что К. не понимает мир, который разглядывает. В отличие от «Простодушного», в «Замке» (да и в «Процессе») имеешь дело с непониманием истинным, никак не фиктивным, то есть поднявшимся до миросозерцательной позиции. Неверно было бы думать, будто К. не постиг тайн Замка и его власти над Деревней лишь потому, что не сумел проникнуть в канцелярии, не дождался Кламма у запряженных для него саней, уснул под журчание голоса чиновника Бюргеля...

Когда после Второй мировой войны разразился «кафковский бум», фашизм был еще кровоточащей раной, а сталинизм— живой реальностью. И понятно, что многие сопрягали нового своего кумира с фашизмом или сталинизмом. В смысле pro («за»), как Г. Андерс, но еще чаще в смысле contra («против»). Последнее ближе к правде, но ею целиком не является. Говорю это не в укор Кафке. Напротив, фашизм сгинул, распадается большевизм, а явление, которое прозрел Кафка, не просто живо, но и признаков одряхления не обнаруживает — лишь непрестанно меняет обличья. Ведь присуще оно и новой нашей цивилизации в целом, является его универсальной приметой. Потому что до известной степени безразлично к специфике общественных систем. Вот только не знаю, как назвать кафкианскую эту структуру. Более других подошло бы слово «тоталитаризм», если только взять его в значении расширительном.

К рассказу «В исправительной колонии» принято относиться как к наиболее провидческому сочинению Кафки: там фигурирует хитроумно-кошмарная машина пыток — следовательно, предвосхищены террористические диктатуры первой половины века и даже как будто их конец: там старого коменданта погребли в кофейне... Но легко ли себе представить, что писатель — даже такой странный, как Кафка, — предсказывая репрессивные режимы, тут же и предрек им бесславный финал: в конце машина (под ее иглы ложится сам ею управляющий офицер) разваливается, убивая и свою последнюю жертву. Нет, Кафка оптимистом не был, и финал тут не оптимистичен, что нетрудно понять, поставив рассказ в контекст прочего его творчества.

«В исправительной колонии», «Братоубийство», финал «Процесса» — вот, кажется, и все (или почти все), что Кафка имел сказать на тему зверств и кровопролитий. Не правда ли, необыкновенно мало для художника, жившего в катастрофическую эпоху мировых войн и пролетарских революций, да еще настроенного на пессимистическую волну, да еще нередко сравниваемого с Эдгаром По. Более того, в этом удивительном кафкианском мире как бы вообще отсутствует принуждение.

Йозеф К. арестован и тут же отпущен на волю, против него ведется процесс, но ему не возбраняется выполнять свою службу в банке; даже на допросы его вызывают по воскресеньям, чтобы не мешать службе. Будто его процесс — нечто «факультативное».

А в «Замке» — и того пуще: тамошние инстанции совсем ничего от К. не хотят, это он чего-то от них хочет. Замок стоит на пологой возвышенности, до него рукой подать, но К. в Замок не попадает. И лишь по своей как будто вине: нет там ни стен, ни подъемного моста, ни охраны. И у саней Кламма ничто ему не мешает стоять; кучер даже разрешает погреться внутри саней и глотнуть припасенный там коньяк. Это Кламм прячется в «Господском дворе» от назойливости К., ждет, пока тому не надоест.

Что же до Карла Росмана, то он и сам ни от кого ничего не хочет и его (по крайней мере вначале) никто не преследует. Если что с ним и делают, то отовсюду выгоняют: сначала родители отправили за океан, затем дядя-миллионер указал на дверь, а потом и администрация гостиницы «Оксиденталь» вышвырнула на улицу. С одной стороны, это, конечно, принуждение, а с другой — вроде бы и дарование свободы.

Но такой свободы Карл не хочет. Когда ему удалось отделаться от жуликоватых попутчиков Делямарша и Робинсона, старшая кухарка спросила, свободен ли он теперь. «Да, свободен, — отозвался Карл, — и ничто не казалось ему сейчас никчемнее его свободы».

Не иначе, как мы уже знаем, все это выглядит и в «Замке»: К. уходит, не дождавшись Кламма. А в «Процессе» священник сказал: «Быть связанным с Законом... неизмеримо важнее, чем жить на свете свободным». Это иногда прочитывалось как тоска по авторитарной власти. Но может ли такой, в себя опрокинутый, индивидуум, каким был Кафка, ее одобрять? И он ее, конечно же, не одобрял: ему не свобода казалась бессмысленной и бесполезной — отчаянным виделось ему то состояние квазисвободы, в каком человек перестает замечать свои цепи, ибо они уже естественны, как дыхание.

Не знаю, что именно воплощала в себе хитроумно-кошмарная машина пыток. Но тем, что Кафка сломал эту машину, он, по сути, «снял» кровавое насилие, «снял» почти бессознательно: ведь оно было лишь частным обострением хронической болезни.

Э. Канетти писал, что «среди всех поэтов Кафка — величайший эксперт по вопросам власти». Может показаться странным, что тот самый Канетти, который настаивает на абсолютной «приватности» сюжета, а собственно говоря, и конфликта романа «Процесс», считает Кафку таким вот «экспертом». Но, в сущности, никакого противоречия здесь нет. Ведь не случайно же его интересовала власть безликая, анонимная, почти неосязаемая и тем более вездесущая, тем более необоримая, воплощенная в образе разветвленнейшей бюрократической иерархии, что внутри себя — идеальна, а в остальном — бесцельна, абсурдна.

В «Америке» образ этот лишь нащупывался, и на передний план выдвигалась некая общая лабиринтная огромность всего: парохода, на котором Карл прибыл в Нью-Йорк, дома миллионера Полландера, страны вообще. Но гостиница «Оксиденталь», в которой Карл был лифтером, уже не только колоссальна, но и управляется легионом служащих разных рангов. Таков и Оклахомский летний театр — «крупнейший театр в мире», — где «шеф 10-й вербовочной группы» как бы первый вариант Кламма.

Следующий шаг — «Процесс», где «все на свете имеет отношение к суду». А венчает постройку «Замок». Он сообщает ей завершенность чуть ли не геометрическую: Деревня и Замок — управляемое и управляющее, замкнутое в себе, раз и навсегда регламентированное бытие. И по причине своей несвободы непоправимо тесное: все там как будто касаются друг друга локтями, наедине не остается никто, и К. мучает самый безнадежный вид одиночества — тот, что возникает в толпе. Теснота перекочевывает и в форму: пространство ограничено Деревней, время — парой недель (а ведь события «Америки» растянулись на месяцы, «Процесса» — на целый год). «Замок» — насыщенный раствор; даже непрерывность романного действия нарушается (за одним лишь, кажется, исключением) только тогда, когда К. спит. Что можно понимать и так: странный мир существует, лишь когда К. на него смотрит.

И странен этот мир прежде всего тем, что в нем все — невольники, хотя, как уже говорилось, никто никого не неволит. Во всяком случае, открыто: Йозеф К. вроде бы мог на процесс наплевать, но все так постепенно складывается, что «мысль о процессе уже не покидала его». Присутствует тут та же неумолимая логика абсурда, что и в «Превращении»: логика, из сетей которой не выпутаться.

Здесь всем плохо: у Йозефа К. в банке куда более удобный кабинет, чем у приблудившегося к доходному дому следователя, но Йозеф К. — подследственный; обвиняемым нечем дышать в чердачных канцеляриях, а у судейских, напротив, голова кружится от свежего воздуха.

Кафка глубоко заглянул в природу столкновений между индивидом и такой властью, почему и постиг их новейшую особость. Более того, ему открылось, что алогизм заложен в фундамент всякой власти, что он в том или ином виде присущ всем общественным системам. Отчуждение личности — их неизбежный побочный продукт, который они, однако, «утилизируют», успешно используя в качестве инструмента насилия. Живя в Австро-Венгрии, наблюдая ее распад, Кафка постиг механизм анонимного, вездесущего, но почти неосязаемого насилия и — что, может быть, не менее важно — оказался чем-то вроде его подопытного кролика. Это-то и сделало Кафку величайшим экспертом не только по вопросам власти, но и по вопросам отчуждения.

Пойдем, однако, далее. Демократия с терпимостью ныне возросли в цене отнюдь не по причине повсеместного распространения того гуманизма, который владел европейскими умами со времен Возрождения и до конца XIX века. Цену на них подняли соображения более прагматичные. Атомную бомбу люди создавали, чтобы ее взорвать, а взрыва термоядерной бомбы убоялись из-за ее чрезмерной убийственной силы, способной истребить все живое. Так поначалу думалось, но потом оказалось, что термоядерный взрыв вообще не нужен, что взаимный страх уже более полувека бережет человечество лучше любого ангела-храни-

теля. Дьявольское оружие, способное по капризу каждого маньяка отправить мир в тартарары, этот же самый мир и охраняет! Наверное, за всю историю человечества никому не приснился сюжет более абсурдный. Пусть не каждому дано понять, что он — заложник безумия, но не чувствовать этого он просто не может. И обращается к Кафке, потому что Кафка еще и величайший эксперт по вопросам абсурда.

С феноменом власти связана и новелла «Приговор». Хотя героя зовут Георг Бендеман и занимается он коммерцией, это рассказ о собственных трагедиях и тупиках: вражда с отцом, помолвка и связанные с ней надежды (недаром автор посвятил «Приговор» Фелице Бауэр) и тот внезапный, насильственный конец, который, по-видимому, постоянно присутствовал в подсознании Кафки.

Немощный, как бы внезапно впавший в детство отец приговаривает Георга к смерти, и тот, не раздумывая, кидается с моста в реку. Он наказан за то, что решил жениться и тем лишить главу семьи патриарших прав. Но есть у отцовского приговора и мотив несколько неожиданный: старик принимает сторону петербургского друга сына, человека непрактичного и в жизни и в делах несчастливого. Он олицетворяет здесь духовную ипостась Кафки, его писательство. Георг же, напротив, — идеал бюргерского сына, тот Франц Кафка, о котором мечтал собственный его отец. И в этом повороте, в этом изломе — весь сочинитель Кафка, его бесконечные колебания, вся его в себе неуверенность.

В новелле «Превращение» (1912) Кафка занят как будто иными проблемами: превращением коммивояжера Замзы в насекомое. «Замок» и «Приговор» заполнены событиями странными, но ничего сверхъестественного там не случалось. Здесь оно появилось. Правда, лишь в качестве предпосылки, потому что далее все развивается строго логично, совершенно естественно. Если допустить, что Замза мог стать огромной многоножкой, то придется признать, что и вел бы он себя соответственно и окружающие относились бы к нему так же.

Тем не менее новелла чем-то Кафку мучила. Будучи не в силах от нее отделаться, он возвращался к ней в дневнике, письмах, разговорах со знакомыми. «...Теперь так много пишут о животных, — объяснял он молодому человеку по имени Густав Яноух, который некоторое время ходил за ним по пятам и записывал его мысли. — Это выражение тоски по свободной, естественной жизни. Но жизнь, естественная для человека, — это жизнь человеческая».

Итак, Замза осужден: обратившись в насекомое, он, дескать, предал родителей и сестру, для которой был единственной опорой. Но отчего же тогда многоножка-Грегор в то судьбоносное утро был занят лишь тем, чтобы успокоить разволновавшееся семейство, оправдаться перед господином управляющим и поспеть на поезд? Напротив, как отпетые эгоисты ведут себя его близкие, особенно отец. Так что, наверное, не следует пренебрегать и толкованием, которое предлагает Х. Мюллер: «Превращение обнажает его (Замзы. — *Д.З.*) потаенные желания. Он хочет сбросить социальные путы и восстает против порабощающих его властей — власти работодателя и власти отца». По Мюллеру, выходит, что превращение в насекомое — не столько измена человеческому долгу, сколько попытка сопротивления обесчеловечиванию со стороны общества.

Надо думать, происшедшее с Грегором Замзой не исключает ни один из этих смыслов. Перед нами метафора, широкая и многозначная,

предполагающая множество толкований. В том числе и такое: превратив послушного сына и исполнительного служащего в многоножку, но оставив его в семейном кругу, Кафка создал осязаемый образ человеческого отчуждения, трагического и безысходного одиночества.

Для их автора между «Приговором», «В исправительной колонии» и «Превращением» существовала какая-то связь, недаром он объединил новеллы эти в цикл под названием «Кары».

Густав Яноух издал в конце концов книгу под названием «Разговоры с Кафкой» (1951). Есть мнение, что она — подделка. Мне с этим согласиться трудно, и довод мой прост: Яноух гением не был, а в его книге встречаются наблюдения гениальные, — следовательно, по крайней мере они принадлежат Кафке. Есть среди них и такое (касается оно рисунка известного немецкого графика Георга Гросса): «Толстяк в цилиндре сидит у бедняков на шее. Эго верно. Но толстяк олицетворяет капитализм, и это уже не совсем верно. Толстяк властвует над бедняком в рамках определенной системы. Но он не есть сама система. Он даже не властелин ее. Напротив, толстяк тоже носит оковы, которые не показаны. Изображение неполно. Потому оно и не хорошо. Капитализм — система зависимостей, идущих изнутри наружу, снаружи вовнутрь, сверху вниз и снизу вверх. Все зависимо, все сковано. Капитализм — состояние мира и души».

Как видим, Кафка, отодвинув в сторону «толстяка в цилиндре», отождествил капитализм с современной цивилизацией, даже как бы с той его постиндустриальной стадией, о которой еще не мог иметь достаточно ясного представления. Что бросилось ему в глаза? Как таковая власть не исчезает, более того — укрепляется («все зависимо, все сковано»), исчезают, точно в тумане растворяются, индивидуальные ее носители. Наступает эра многоступенчатой безответственности: «Кнопка, на которую нажимают, — писал в романе «Человек без свойств» Роберт Музиль, австрийский земляк Кафки, — всегда бела и красива, а что происходит на другом конце провода, касается других людей, в свою очередь ни на какую кнопку не нажимавших».

Музиль — холодный аналитик с математическим складом ума, а Кафка живет в царстве образных иносказаний. «Руководители существовали искони, — читаем в его рассказе «Как строилась китайская стена», — и тут ни при чем северные народы, вообразившие, что они всему виной, и ни при чем достойный император, вообразивший, что это он приказал построить стену». Но и Музиль, и Кафка бьют в одну точку. И имя ей — деперсонализация власти, а тем самым и размывание всех ее границ.

«Нигде еще, — сказано в «Замке», — К. не видел такого переплетения служебной и личной жизни, как тут, — они до того переплетались, что иногда могло показаться, что служба и личная жизнь поменялись местами. Что значила, например, чисто формальная власть, которую проявлял Кламм в отношении служебных дел К., по сравнению с той реальной властью, какой обладал Кламм в спальне К.?»

Средневековые властители предписывали подданным количество этажей в их домах, даже число окон на этаже, а внутри дома предоставляли жильцов самим себе. По крайней мере, в степени куда большей, чем правители современные — те, которых имел в виду Джордж Оруэлл в своей антиутопии «1984». Во времена Кафки диктатуры XX века еще не расцвели пышным цветом. Но у него перед глазами были диктаторы

века минувшего, особенно первый из них — Наполеон. Его имя мелькает в письмах и дневниках, а Яноуху он даже сказал о нем такое: «В конце всякого подлинно революционного процесса появляется какой-нибудь Наполеон Бонапарт... Чем шире разливается половодье, тем более мелкой и мутной становится вода. Революция испаряется, и остается только ил новой бюрократии. Оковы измученного человечества сделаны из канцелярской бумаги».

За дни господства нашей коммунистической идеологии писатель Кафка долгое время (хотя был уже знаменит и прославлен во всем прочем мире) у нас и не печатался, и даже почти не упоминался. Именно потому, что считался художником асоциальным и аполитичным. А в 90-е годы, когда его принялся печатать даже московский «Политиздат», наши интерпретаторы осуществили мгновенный «оверштаг» и в соответствии с уже вошедшими в плоть и кровь принципами, напротив, объявили писателя социальным критиком. В этом была, к сожалению, своя логика. Ибо всем нам долгими десятилетиями внушали, что хорош лишь тот писатель, который изображает не столько человека, сколько общественные отношения, превознося «прогрессивные» и разоблачая «реакционные». Некоторые наши литераторы не удовлетворились тем, что объявили кафковскую новеллу «В исправительной колонии» антифашистской; они усмотрели, как уже говорилось, в перезахоронении Старого коменданта как бы пророческий намек на почившего в бозе Сталина. Кафкой же двигало стремление — скорее всего неосознанное, интуитивно-спонтанное — слить между собою самое малое и частное (человеческую судьбу) с самым огромным, всеобъемлющим — с *Бытием,* с *Существованием,* их абсурдностью и их неизбывностью...

Кафковский Наполеон по-своему сопричастен атмосфере «Процесса» и «Замка». И все-таки, говоря о власти Кламма не столько над службой, сколько над спальней, Кафка имел в виду нечто иное — не оруэлловское и даже не бонапартистское. Прежде всего у него проглядывает Кламмов прототип — муж Милены Эрнст Поллак. Но привкус автобиографического здесь важен не сам по себе: он задает тон — тот сугубо личный, почти интимный тон, который и на политику позволяет взглянуть как на сферу быта.

И в самом деле, власть у Кафки ведет себя подчеркнуто неофициально: деревенский староста, как и Бюргель, беседует с К. о делах, лежа в постели: Йозефа К. допрашивают, как мы помним, в комнате фрейлейн Бюрстнер, потом в какой-то бедняцкой квартире; его даже казнят не на плацу или в тюремном подвале, а в заброшенной каменоломне, да еще на глазах у безмолвного свидетеля. И все-таки это — власть. Причем не только политическая, государственная или даже церковная, она — и новейшее отчуждение, и новейший вещизм, и несовершенство любой администрации, и слепота всякой толпы, и человеческая корысть, и фанатизм, и пресмыкательство, и леденящий страх, и тщеславие, — словом, вся полнота давящих на нас обстоятельств, их неограниченная над нами власть по-современному «тоталитарна», ибо в глазах Кафки связана с эпохой и ею порождена.

Пока мы на нашей шестой части земной суши жили при диктатуре, Кафка оставался для нас terra incognita. Но, боюсь, мы по-настоящему его тогда и не поняли бы. Для прозрения был нам тогда нужнее Оруэлл, которого мы, впрочем, тоже, увы, не знали. Кафка мог показаться из-

лишне беспристрастным, а его образ мира — уж слишком бескровным и тем на наши ГУЛАГи непохожим. Лишь сегодня Кафка имеет наконец шанс стать вполне нашим писателем. И, открывая его для себя, нам еще предстоит пройти путь от богоравного общества, которое всегда право, до отдельного человека, который часто бывает не прав, но остается при этом мерой всех вещей.

Для Кафки человек всегда был мерой всех вещей, и человеческое несовершенство не играло при этом никакой роли. Просто Кафка смотрел на мир с позиции несовершенного человека, являющегося мерой всех вещей. В 1921 году Милена Есенская написала о нем Броду: «Он знает об этом мире в десять тысяч раз больше, чем все люди мира». А что, если она была права?

10. АВСТРИЙСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ.

Если бы ранее и слова не было сказано об австрийской принадлежности Кафки, теперь читатель и сам должен бы прийти к мысли о ней: слишком типичной выглядит кафковская судьба. Скромная популярность при жизни и громкая посмертная слава; биография аскета, без остатка отдавшего себя творчеству, и глубокое недоверие к собственным силам, собственным способностям, вообще к возможностям искусства что-либо изменить в предуказанном, равнодушном коловращении сущего; нежелание публиковаться, боязнь профессионализации, доведенный до высшего технического совершенства художнический дилетантизм — все это бесспорные знаки австрийской судьбы. Каждый из них, будучи взят по отдельности, может не показаться вполне характерным: встречались и аскеты-французы, и не доверявшие своим талантам англичане, и дилетанствующие русские. Но сумма, комплекс названных черт рисует силуэт *австрийский* — его таким сотворила социальная «генетика» тысячелетней, канувшей в небытие империи.

Более того, Кафка — это как бы еще и заострение всех австрийских признаков, доведение их до границы, до предела, за которым они уже грозят обратиться в собственную противоположность. Если уж посмертная слава — так гипертрофированная, сенсационная, нездоровая. Если уж жертва, приносимая на алтарь литературы, — так полная, отчаянная, отшельническая, исключающая право на семейную связь. Если уж недовольство написанным, сочиненным — так разрушительное, жаждущее самосожжения.

Не последнюю роль здесь играла личность Кафки, строившая завалы из трудных, но, может статься, и разрешимых домашних дел. Но в игру вступало кое-что еще: его пражское происхождение, его неприкаянная *пражская* жизнь.

На переломе веков (когда Кафка учился в гимназии, посещал университет и только входил в литературу) население Праги — резиденции имперского наместника, а некогда и самих императоров — приближалось к полумиллиону. И только для тридцати тысяч ее жителей немецкий язык был родным. Невзирая на перипетии габсбургской истории Прага оставалась чешским городом и ощущала себя таковым. Немецкоязычное меньшинство являло собою некий остров. Примерно в эти годы оно породило литературу, которая и развивалась в «островной» среде, то есть вне естественного народного целого. Она, по словам одного из

первых исследователей этой литературы Павла Эйснера, была заключена в «тройное гетто»: «немецкое», «немецко-еврейское» и «буржуазное». Дело в том, что немецкоязычная колония в Праге слагалась из немцев и евреев, отправлявших весьма специфические функции: они были чиновниками, фабрикантами, врачами, адвокатами, учителями, торговцами, ремесленниками, но промышленных рабочих среди них не было. И это в самом передовом индустриальном городе империи!

Рильке, Верфель, Кафка, Густав Майринк, Людвиг Виндер, Эрнст Зоммер, Пауль Лепин, Йоганнес Урцидиль, Макс Брод, Оскар Баум и другие писали по-немецки, еще и пребывая в центре чешской культуры — культуры давней, великолепной, всемирно известной, борющейся за национальную самостоятельность народа. Эго обостряло их отчуждение, их одиночество, их сосредоточенность на самих себе и замкнутость в себе. Тем более что омывающее «остров» славянское море отторгало от какой бы то ни было германской культурной метрополии — в равной мере как берлинской, так и венской. Следы отторгнутости видны даже в языке «пражской немецкой литературы». Он в чем-то архаичен, искусствен: не непрестанно обновляющийся язык человеческого общения, неожиданный, диалектно окрашенный, а язык канцелярий, присутственных мест, сухо-витиеватый, стерильный. Так писал Кафка, правда, достигая подчас поразительного эффекта: ведь то был язык, конгениальный его сумеречному, припорошенному архивной пылью миру.

Художник, пребывающий в ситуации социальной герметики, воспринимает действительность иначе, чем тот, что существует внутри жизнеспособного национального организма или хотя бы в непосредственном взаимодействии с разветвленной общественной структурой. Окружающее предстает перед ним, как правило, в необычной, поражающей, резко остраненной форме. Порой он видит еще неприметное для прочих неблагополучие мира, но и склонен его абсолютизировать. Конкретное бытие ненавистно ему: оно кажется чистой конструкцией, чем-то вымученным, сплошной ложью. В приступе отчаяния художник готов разорвать и те немногие нити, что связывают его с реальностью. Оттого протест Рильке, Кафки, Верфеля, Майринка чаще всего выливался в бегство — бегство физическое или бегство духовное. Они либо покидали Прагу, либо, как Кафка, пытались ее покинуть, унося, однако, как гири на ногах, свою Прагу с собой. Оттого еще более радикальным поиском выхода становилось бегство в фантастику, в символику, во вселенскую метафору.

Бытовавшая вне немецкой языковой и культурной среды «пражская немецкая литература» была, как я уже говорил, лишена прямого соприкосновения с народом, но — и это один из ее знаменательных парадоксов — одновременно свободна от националистических влияний, так или иначе проникавших в интеллигентскую среду метрополий германской культуры. Из немецких писателей в Праге (их следует в этом смысле решительнейшим образом отличать от пангермански ориентированных судето-немецких литераторов) ни один не заигрывал с милитаризмом. Претила им и пресловутая немецкая «выдержка», немецкая «витальность», немецкий педантизм.

Словом, «пражская немецкая литература» — это вариант (причем отнюдь не только географический) литературы австрийской. Однако вариант особый: именно заостренный, именно предельный, по-своему моделирующий как падения, так и взлеты последней.

В Вене и сейчас еще шутят, что тот не может считаться настоящим венцем, у кого не было чешской бабушки. Это — в анекдот спустившийся символ специфической (и плодотворной!) австрийской «разомкнутоста», сообщавшей Габсбургской монархии беспримерную живучесть. Что же до немецкой колонии в Праге, то ее положение (конечно, еще в габсбургские времена, ибо потом многое пошло по-другому), напротив, символизирует всю безнадежность империи. Австрийские немцы, собственно говоря, австрийцы, «становой хребет» государства, в качестве чужеродного тела в одном из исторически и экономически значительнейших его городов — это ли не смертный приговор?! Воистину не случайно, не по капризу трагикомедия рассказа Франца Верфеля «Дом скорби», где падение монархии отождествлено с концом публичного дома, разыгрывается на фоне декораций Праги...

Из Праги многое было виднее, нежели из Вены. И габсбургский «конец света» воспринимался еще трагичнее: как крушение, достойное даже не слезы, не реквиема, а «Баркаролы» — тризны в духе некоего черного юмора. Или, напротив, безразличнее.

Ни Рильке, ни Кафка гибели империи вроде и не заметили. Рильке, где бы он ни блуждал, сопровождала Богемия — страна его детства, его грез, духовная опора. А Кафка чувствовал себя чужим повсюду: и в семье, и в городе, и в любой стране. Однако Прага (даже такая «бездомная», какой она для него была) и все чешское в ней ему ближе, чем что бы то ни было другое, во всяком случае — ближе всех этих «имперских далей». «...Я никогда не жил среди немецкого народа, — писал он Милене Есенской, — немецкий является моим родным языком, и он для меня естествен, но чешский роднее моему сердцу». Потому габсбургский распад для него лично ничего не изменил: при Чехословацкой республике, как и при Австро-Венгерской империи, он состоял в том же страховом учреждении.

Это, однако, лишь одна сторона дела. Может быть, и не самая важная, когда речь идет о причинах, по которым ни Рильке, ни Кафка вроде бы не заметили гибели империи. Что до Рильке, то империя и до 1918 года была для него мертва; в некоем идеальном ее заместительстве выступала Россия. Для Кафки же она продолжала жить. Разумеется, не в качестве исторической реальности, а в качестве вселенского кошмара, образцового «бюрократического мироздания». Так что и в этом смысле для него ничто не изменилось.

Как и Музилю, сгинувшая монархия служила Кафке моделью, примером всеобщего состояния окружавшей его действительности. Правда, для Музиля то была действительность социальная. А Кафка все брал и шире, и уже: как формы космического зла и одновременно как конфликты сугубо интимные.

«..."Процесс", — утверждает не только писатель Канетти, но и литературовед Э. Хеллер, — это, вне всякого сомнения, квазимифологический результат «берлинского судебного заседания», то есть собрания нескольких родичей и друзей перед разрывом его помолвки с Ф.Б., а фрейлейн Бюрстнер «мифологически» идентична Фелице Бауэр...». О «Замке» же М. Брод, как мы помним, говорил, что его канцелярии — символ Божественного провидения. О смысле символа можно спорить, но о том, что он объемлет нечто туманное и всеобщее — вряд ли.

Оба толкования даже не исключают друг друга: ведь у Кафки все срослось, все перемешалось; он — это Вселенная, и Вселенная — это он.

Однако хеллеровское, канеттиевское или бродовское толкования недостаточны. И не только потому, что не выражают всей кафковской многозначности — ее и выразить-то нельзя. Хуже, что из метафорической цепи того и другого романа изымается как раз главное звено, которое связывает таинственное видение с его реальным прообразом. Возможно, Кафка и не всегда полностью отдавал себе отчет в наличии подобной связи. В данном случае более существенно, что связь такая имеется.

В «Процессе», в «Замке», даже в «Америке» кафковская метафора однородна. Ее «плоть» — это противостоящая индивиду бюрократическая машина: судебные присутствия, замковые канцелярии, «чудовищная иерархия» отеля. Но отчего же, если метафора выражает нечто теологическое, или экзистенциальное, или наконец духовное, одето оно именно в *такую* «плоть»? Спору нет, в новеллах, фрагментах, набросках она у Кафки бывает и другой. Когда оборачивается зеленым драконом, когда зарослями, из которых не находит выхода человек, когда мечом, вонзенным между лопатками, а когда и тощим, длинным субъектом, притворившимся, будто он — перила театральной ложи. Но в главных произведениях Кафка на редкость последователен в выборе одеяний для странных своих метафор: это судебные присутствия, это графские канцелярии — словом, управленческий аппарат или аппарат власти.

Живописцы средневековья и Возрождения, создавая полотна на евангельские сюжеты, одевали людей в рыцарские доспехи и наряды своего времени. Кафка похож на них: центральные символы его романов, что бы они для него ни выражали, неизменно приобретают облик механизмов власти. И это — примета чисто австрийская.

На стыке веков каждый австрийский писатель был окружен идеей государства, словно крепостной стеной. Куда бы ни шел, он на нее натыкался — на свою странную империю, требовавшую некоего «древнеримского» себе служения, защиты или напрашивавшуюся на хулу, осмеяние, пожатие плечами. У сочинителей других стран были национальные проблемы, у этих австрийцев — только проблемы имперские. О чем бы они ни писали, все равно — пусть между строк — проглядывала потребность обосновать либо право габсбургского мира на существование, либо неизбежность его кончины. И содержание подсказывало форму.

Скажут, у Кафки-то она как раз оторвалась от содержания, уподобилась тем одеждам XVI века, в какие он рядил апостолов. Но присмотритесь внимательнее. Музиль заметил о своей Какании, что «каждый был там негативно свободен», заметил как бы вскользь. Но соображение это столь фундаментально, что имело право превратиться чуть ли не в доминанту кафковского романного мира. Кафка не заимствовал мысль у Музиля, хотя бы просто потому, что «Человек без свойств» еще не был тогда написан. Просто оба наблюдали одну и ту же габсбургскую действительность.

В ситуации Йозефа К. и К. самое бросающееся в глаза и одновременно самое странное — что они «негативно свободны».

Йозеф К. арестован. Но арест (во всяком случае, внешне) никак не сказывается на привычном распорядке его дня. Он живет в том же пансионе, ходит на службу и выполняет ту же ответственную работу. Он волен явиться на допрос или пренебречь вызовом, нанять адвоката или отказать ему. Даже в последние минуты, когда те двое, в цилиндрах, по-

хожие на бывших теноров, ведут его через ночной город, чтобы зарезать, он еще может воспротивиться: остановиться, позвать прохожих, окликнуть полицейского на углу. Власть понуждает его не грубо, без насилия, в мягких перчатках, отступая в сторонку, когда он становится непреклонным, и утверждая себя, когда удается застать его врасплох. Она берет его себе в союзники, даже в исполнители приказов, использует против него его мнимую и пугающую свободу, тот вакуум, который вокруг него образуется, то одиночество, что делает его беспомощным и беззащитным.

Подобное творится и с К. Он, на свой страх и риск, приходит к подножию Замка; он выдает себя за землемера, который Замку не нужен и которого Замок не приглашал. Но Замок принимает эту ложь и приставляет к К. двух дурашливых парней —то ли помощников, то ли соглядатаев. Ему ничего не запрещают, однако он ничего не может. Не может проникнуть в Замок, стоящий невдалеке, на плоском холме; не может встретиться с Кламмом, хотя Кламм квартирует здесь же, в гостинице, и на него удается поглазеть в замочную скважину. Кламм не ограждает себя, скорее, прячется от К. Замковые власти — как тесто: удар гаснет в нем, и руку не вытащишь. К. отнимает у Кламма любовницу, Фриду, девушку из гостиницы, делает ее своей невестой. Но наказания не несет. Наверное, потому, что и эта дерзость входила в расчеты Замка, в ту непонятную игру, которая слабость обращает в силу, а силу в слабость.

Неусыпная, разветвленная, всепроникающая и всеобессмысливающая деятельность судебных инстанций в «Процессе» и, тем более, канцелярий в «Замке», деятельность, которая на треть — привычка, на треть — попустительство, на треть — хитрость, напоминает функционирование бюрократического аппарата старой Австро-Венгрии.

Империя расползалась по швам, и продлить ее существование «взаймы» способны были методы, лишь ей самой адекватные. Не только сознательно охранительные, но и складывавшиеся самопроизвольно, спонтанно, разуму вопреки. В дело шло все: старческая неспособность властей и их колоссальный управленческий опыт, традиционный, неповоротливый фатализм и вечно обновляющаяся полицейская цепкость, врожденный консерватизм и благоприобретенная, вынужденная терпимость, свои и чужие ошибки, свое и чужое бессилие, даже коррупция, даже глупость. И возникала видимость равновесия, еще не постигнутой мудрости, еще не разгаданной предусмотрительности.

Музиль показал это на примере «параллельной акции», лайнсдорфовского комитета. Он все назвал по имени, лишь накинув на австрийскую плоть легкий флер легендарной иронии. Бытие Какании наблюдал Ульрих — «инженерный» музилевский ум, анализировавший, систематизировавший каканийское бытие. Кафка все перевел в план метафорический. С бюрократией соприкасаются Йозеф К. и К. — импульсивные кафковские сознания. И все же реальный прообраз проглядывает сквозь эту метафору. Помните, однажды Кафка читал друзьям главы из «Замка». Они смеялись. А автор был неприятно поражен. Слушателей можно понять: они воспринимали роман как сатиру на австро-венгерские порядки, которые хорошо знали, с которыми каждый из них на протяжении жизни ежедневно сталкивался. Но и Кафку можно понять: для него это было серьезно. Он исповедовался в своих сокровенных чувствах, в своих личных страхах. И он рисовал свой мир как неизбывный

кошмар. Ведь он относился к тем, кто верил, что все действия Замка — это неразгаданная предусмотрительность, это оборачивающаяся слабостью сила. Тем самым он мифизировал габсбургскую бюрократию, пусть даже в качестве сплошного зла. Но Кафка оплакивал ее живучесть и был в этом по-своему прав. Тот мир новейшего западного «плюрализма», который при Кафке лишь складывался и в котором тотально отчужденный, «негативно свободный» индивид бьется «головой о стену камеры без окон и дверей», если и не является прямым продолжением Дунайской монархии, — так, по крайней мере, соотносим с ней. Габсбургская бюрократия — предвестник всеобщей формализации общества XX века. Оттого она для Кафки, как и для Музиля, модель, хотя и используемая, скорее всего, неосознанно.

Некоторые «темные места» и многие абсурды кафковских романов светлеют, если взглянуть на них в таком аспекте.

Священник в соборе рассказывает Йозефу К. притчу о человеке у врат Закона. Приходит поселянин и просит стража пропустить его. Но тот говорит, что сейчас пройти нельзя. И поселянин ждет, на всякий случай одаривает стража мелкими подношениями, а страж, чтобы не обидеть дающего и не отнять у него надежду, взятки берет. Поселянин ждет всю жизнь. И когда приходит его черед умирать, спрашивает, почему, собственно, за эти долгие годы никто другой не попытался приблизиться к Закону. И страж отвечает: «Никому сюда входа нет, эти врата были предназначены для тебя одного. Теперь пойду и запру их».

Священник знакомит Йозефа К. со многими толкованиями притчи. Йозеф К. и сам пробует упражняться в этом искусстве. И еще больше попыток делали интерпретаторы Кафки. Существует огромная критическая литература по этому вопросу. У меня нет намерения прибавлять к сонму смутных разъяснений еще одно. Мне лишь хочется отметить, что позиция поселянина — это своего рода олицетворение «негативной свободы».

В романах Кафки образ государства как бы срезан рамой картины: вершина иерархической пирамиды осталась за ней. Крупным планом дан другой уровень — тот, на котором власть сталкивается с человеком, с индивидом. Однако есть у Кафки произведение, в котором держава представлена в целом, хоть, разумеется, и очень по-своему. Это рассказ «Как строилась китайская стена» (1918—1919). Если вспомнить, что еще Бетховен говорил о «китайской стене», которой Австрия норовит отгородиться от прочего мира, а Маркс называл габсбургскую монархию «немецким Китаем», то символика рассказа перестанет казаться «эзотерической» и туманной. В рассказе речь идет не только о бессмысленной, недостроенной стене, которая никого ни от чего не защищает, но и об идее императора, правящего в окруженной такой стеной державе. Он — легенда, предание, передаваемое из уст в уста (невольно вспоминается Музиль), нечто вожделенное и безмерно далекое от своего народа. Тот путает живого императора с мертвыми и считает себя подданным некоей давно угасшей династии. «...Сказывается, — подводит итог кафковский летописец, — и недостаточная сила воображения или веры у народа, которому никак не удается извлечь на свет затерявшийся в Пекине образ императора и во всей его живости и современности прижать к своей верноподданнической груди. Именно эта слабость и служит одним из важнейших средств объединения нашего народа; и если по-

зволить себе еще более смелый вывод, это именно та почва, на которой мы живем».

Специфическая немощь австрийской государственности оценивается с меланхолической кафковской иронией. Однако притчевость повествования поднимает габсбургский пример до метафорической всеобщности.

Обычно «Письмо к отцу» (1919) и еще ранее, в 1912 году, написанную новеллу «Приговор» рассматривают лишь в свете личных, семейных драм Кафки. И это верно: о том свидетельствуют факты его биографии. Но не виделась ли ему семья и чем-то большим себя самой? Не оказывается ли авторитет отца — столь важный и одновременно заступающий дорогу какой-то возможной, более чистой, светлой жизни — также и своеобразной реакцией на культ габсбургского патернализма? Ведь в Австрии, которая никакими рациональными доводами не могла привязать друг к другу подвластные народы, они нередко выдавались за одну большую патриархальную семью, а монарх — за отца семьи. И в воображении писателя, который мыслил образами, образ торговца Германа Кафки сливался с образом императора Франца-Иосифа...

Парадоксальные кафковские ситуации вырастают на конкретной австрийской почве, из соприкосновения с особенностями габсбургской власти — тысячелетней, неподвижной, дряхлой, под конец почти неприметной, но всепроникающей, всеподавляющей.

Кафка подметил тотальное сращение официального и частного, тотальное закрепощение индивида именно через частную сферу. То есть закрепощение опосредованное, не откровенно насильственное: ведь и в рассказе «На строительстве китайской стены» «до известной степени свободная, никому не подвластная жизнь» была формой несвободы для подданных императора.

В свете всего вышесказанного уже вряд ли покажется удивительным, что, если у Кафки и было какое-то подобие «школы», так — в порядке исключения — лишь в Австрии, где и сегодня сохранилось кое-что от той эпохи, что породила его самого.

Д.Затонский

рассказы

1904–1922

erzählungen

1904–1922

ОПИСАНИЕ ОДНОЙ БОРЬБЫ

И по гальке вперевалку
Нарядившись ходят люди
Под огромным этим небом,
Что к холмам совсем далеким
От холмов простерлось дальних.

I

Около двенадцати часов некоторые уже поднялись, поклонились, пожали друг другу руки, сказали, что было очень приятно, и вышли через большой дверной проем в переднюю одеваться. Хозяйка стояла посреди комнаты, подвижно кланяясь, а ее платье ложилось изящными складками.

Я сидел за маленьким столиком — у него были три вытянутые тонкие ножки, — прикладываясь к третьей рюмочке бенедиктина и одновременно оглядывая свой небольшой запас печенья, которое я сам выискал и наложил себе, ибо оно имело тонкий вкус.

Тут ко мне подошел мой новый знакомый и, немного рассеянно улыбнувшись при виде моего занятия, сказал дрожащим голосом:

— Простите, что я подошел к вам. Но до сих пор я сидел один со своей девушкой в соседней комнате. С половины одиннадцатого, совсем не так долго. Простите, что я это говорю вам. Мы же не знаем друг друга. Не правда ли, мы встретились на лестнице и сказали друг другу несколько вежливых слов, а теперь я уже говорю вам о своей девушке, но вы должны мне — прошу вас — простить, счастье рвется из меня наружу, я ничего не мог поделать. А так как у меня нет других знакомых, которым я доверяю...

Так он говорил. А я огорченно посмотрел на него — ибо кусок фруктового торта, который находился у меня во рту, был невкусен — и сказал ему в его красиво разрумянившееся лицо:

— Я рад, что кажусь вам достойным доверия, но огорчен тем, что вы мне это рассказываете. И вы сами — не будь вы в таком смятении — почувствовали бы, как это неуместно —

рассказывать человеку, который сидит в одиночестве и пьет водку, о любимой девушке.

Когда я это сказал, он вдруг сел, откинулся и плетьми опустил руки. Потом, согнув в локтях, прижал их к себе и довольно громким голосом заговорил как бы с самим собой:

— Мы сидели там совсем одни... в комнате... с Аннерль, и я целовал ее... целовал... ее... в губы... целовал ухо... плечи.

Несколько мужчин, стоявших поблизости и решивших, что идет какой-то оживленный разговор, зевая, подошли к нам. Поэтому я встал и громко сказал:

— Хорошо, если вы хотите, я пойду, хотя глупо идти сейчас на Лаврентьеву гору, ведь погода еще холодная, а поскольку выпало немного снега, дороги скользки как каток. Но если вы хотите, я пойду с вами.

Сперва он удивленно посмотрел на меня и открыл рот с широкими и красными влажными губами. Но затем, увидев мужчин, которые были уже совсем близко, засмеялся, встал и сказал:

— О, ничего, холод на пользу, наша одежда вся пропитана жаром и дымом, да и я, наверно, немного пьян, хотя пил мало, да, мы попрощаемся и уйдем.

Мы подошли к хозяйке, и, когда он целовал ей руку, она сказала:

— Право, я рада, что сегодня у вас такое счастливое лицо, обычно оно серьезное и скучающее.

Доброта этих слов тронула его, и он еще раз поцеловал ей руку; она улыбнулась.

В передней стояла горничная, мы увидели ее сейчас в первый раз. Она подала нам пальто и взяла затем фонарик, чтобы посветить нам на лестнице. Девушка эта была красива. Шея у нее была обнажена и только под подбородком обвязана черной бархатной лентой, а ее просторно одетое тело красиво изгибалось, когда она спускалась перед нами по лестнице, светя фонариком. Ее щеки разрумянились, ибо она выпила вина, а ее губы были полуоткрыты.

Внизу лестницы она поставила фонарик на ступеньку, пошатываясь, шагнула к моему знакомому и обняла и поцеловала его и задержалась в объятье. Лишь когда я вложил ей в руку монету, она сонно оторвалась от него, медленно открыла маленькую дверь подъезда и выпустила нас в ночь.

Над пустой, равномерно освещенной улицей стояла большая луна на слегка облачном и от этого еще более широком

небе. Лежал снежок. Ноги при ходьбе скользили, поэтому надо было делать маленькие шаги.

Как только мы вышли на воздух, я заметно взбодрился. Я шаловливо задирал ноги, треща суставами, выкрикивал на всю улицу какое-то имя, словно от меня за углом скрылся приятель, подпрыгивая, бросал вверх шляпу и хвастливо подхватывал ее.

А мой знакомый невозмутимо шел рядом. Голова его была опущена. И он ничего не говорил.

Это удивило меня, ибо я ожидал, что радость выведет его из себя, когда вокруг него не станет людей. Я притих. Только я собрался одобрительно хлопнуть его по плечу, как меня охватил стыд, и я неловко отдернул руку. Поскольку она не была мне нужна, я сунул ее в карман пальто.

Итак, мы шли молча. Я следил за звуками наших шагов и не понимал, что мне невозможно идти с ним в ногу. Это немного волновало меня. Луна была ясная, все было видно отчетливо. Там и сям кто-нибудь глядел в окно и рассматривал нас.

Когда мы пришли на улицу Фердинанда, я заметил, что мой знакомый стал напевать какую-то мелодию; совсем тихо, но я услышал. Я нашел это оскорбительным для себя. Почему он не говорил со мной? А если он во мне не нуждался, почему он нарушил мой покой. Я с досадой вспомнил о славных сластях, которые я из-за него оставил на столике. Я вспомнил также о бенедиктине и немного повеселел, почти, можно сказать, заважничал. Я подбоченился и вообразил, что гуляю по собственному почину. Я был в гостях, спас от позора одного неблагодарного молодого человека и теперь гуляю при луне. Весь день на службе, вечером в гостях, ночью на улице и ничего сверх меры. Беспредельно естественный образ жизни!

Однако мой знакомый еще шел сзади, он даже ускорил шаг, заметив, что отстал от меня, и сделал вид, что это вполне естественно. А я подумал, не лучше ли мне свернуть в боковую улицу, ведь я же не обязан гулять вместе. Я могу пойти домой один, и никто не смеет задерживать меня. У себя в комнате я зажгу настольную лампу в железном корпусе, сяду в свое кресло, что стоит на драном восточном ковре... Когда я дошел до этой мысли, меня обуяла слабость, которая всегда нападает на меня, как только подумаю о том, чтобы снова пойти в свое жилье и снова в одиночестве проводить часы среди раскрашенных стен и на полу, который, если смотреть на него в зеркало с золотой рамой, висящее на задней стене,

косо падает вниз. У меня устали ноги, и я уже готов был, во всяком случае, пойти домой и лечь в постель, как вдруг у меня возникло сомнение, надо ли при уходе прощаться со своим знакомым или нет. Но я был слишком робок, чтобы уйти не попрощавшись, и слишком слаб, чтобы попрощаться громко, поэтому я снова остановился, прислонился к стене дома, освещенной луной, и подождал.

Мой знакомый подошел бодрым шагом и, видимо, в некоторой степени озабоченный. Он засуетился, заморгал глазами, распростер руки, резко вскинул голову в мою сторону, желая, казалось, всем этим показать, что способен по достоинству оценить шутку, которую я выкинул здесь для его увеселения. Я был беспомощен и тихо сказал:

— Сегодня веселый вечер.

При этом я издал вымученный смешок. Он ответил:

— Да, а вы видели, как и горничная поцеловала меня?

Я не мог говорить, ибо мое горло было полно слез, поэтому я попытался протрубить, как почтовый рожок, чтобы не оставаться немым. Он сперва заткнул уши, затем, любезно благодаря, пожал мне правую руку. Та, наверно, оказалась на ощупь холодной, ибо он сразу отпустил ее и сказал:

— У вас очень холодная рука, губы горничной были теплее, о да.

Я понимающе кивнул головой.

Моля бога дать мне стойкость, я сказал:

— Да, вы правы, мы пойдем домой, уже поздно, а завтра утром мне идти на службу; представьте себе, можно и там поспать, но это не полагается. Вы правы, мы пойдем домой.

При этом я подал ему руку, словно дело окончательно решено. Но он с улыбкой подхватил мою манеру выражаться:

— Да, вы правы, такую ночь нельзя проспать в постели. Представьте себе, сколько счастливых мыслей душишь одеялом, когда спишь один в своей постели, и сколько несчастных снов согреваешь им.

И, радуясь этому наитию, он с силой схватил меня за пиджак на груди — выше он не доставал — и с горячностью тряхнул меня; затем зажмурил глаза и доверительно сказал:

— Знаете, какой вы? Вы смешной.

При этом он зашагал дальше, а я пошел за ним, не заметив того, ибо меня занимало его суждение.

Сперва меня это обрадовало, ибо как бы показывало, что он предполагает во мне нечто такое, что во мне хоть и отсутствовало, но возвышало меня в его глазах тем, что он это предполагал. Такое отношение делало меня счастливым. Я

был рад, что не пошел домой, и мой знакомый стал для меня очень ценным человеком, ведь он придавал мне перед людьми ценность без всяких моих усилий приобрести ее! Я смотрел на моего знакомого ласковыми глазами. Мысленно я защищал его от опасностей, особенно от соперников и ревнивцев. Его жизнь стала мне дороже моей собственной. Я находил его лицо красивым, я был горд его успехом у женского пола и участвовал в поцелуях, которые он в этот вечер получил от двух девушек. О, этот вечер был веселый! Завтра мой знакомый будет говорить с фрейлейн Анной; сперва, как водится, об обыкновенных вещах, а потом он вдруг скажет: «Вчера ночью я был в обществе одного человека, какого ты, милая Анна, наверняка никогда не встречала. Он на вид — как это описать? — как болтающаяся жердь, на которую несколько неловко насажена желтокожая и черноволосая голова. Его тело увешано множеством небольших, ярких, желтоватых лоскутков, которые вчера целиком прикрывали его, ибо в безветрии этой ночи гладко прилегали к нему. Он робко шел рядом со мной. Ты, моя милая Аннерль, ты, умеющая так хорошо целовать, ты, я знаю, немного посмеялась и немного испугалась бы, а я, чья душа сама не своя от любви к тебе, я радовался его присутствию. Он, может быть, несчастен, и поэтому он молчит, и все же при нем испытываешь непрекращающееся счастливое беспокойство. Ведь вчера я был сломлен собственным счастьем, но я чуть не забыл о тебе. Мне казалось, что с каждым вздохом его впалой груди поднимался твердый свод звездного неба. Горизонт распахнулся, и под пламенеющими облаками открылись те бесконечные дали, которые делают нас счастливыми... О небо, как я люблю тебя, Аннерль, и твой поцелуй мне милее всяческих далей. Не будем больше говорить о нем, а будем любить друг друга».

Когда мы, медленно шагая, вышли затем на набережную, я хоть и завидовал своему знакомому из-за поцелуев, но и радовался, что передо мной, каким я ему вижусь, ему, вероятно, должно быть стыдно.

Так думал я. Но мои мысли тогда путались, ибо Влтава и городские кварталы на другом берегу были окутаны темнотой. Горело, играя с глядящими глазами, лишь несколько огней.

Мы остановились у ограды. Я надел перчатки, ибо от воды веяло холодом; затем я без причины вздохнул, как то хочется сделать у реки ночью, и хотел пойти дальше. Но мой знакомый смотрел в воду и не шевелился. Затем он подошел еще ближе к перилам, оперся локтями на железо и опустил лоб в ладони.

Это показалось мне глупым. Я замерз и поднял воротник пальто. Мой знакомый распрямился и перевесился через перила туловищем, которое держалось теперь на его напряженных руках. Я пристыженно поспешил заговорить, чтобы подавить зевоту:

— Правда ведь, удивительно, что именно только ночь способна целиком погрузить нас в воспоминания? Сейчас, например, мне вспоминается вот что. Однажды я сидел на скамейке на берегу реки в неудобной позе. Положив голову на руку, лежавшую на деревянной спинке скамейки, я смотрел на туманные горы другого берега и слышал нежную скрипку, на которой кто-то играл в прибрежной гостинице. По обоим берегам сновали поезда со сверкающим дымом.

Так говорил я, судорожно пытаясь вообразить за словами какие-то любовные истории с занятными положениями; не помешало бы и немного грубости, решительности, насилия.

Но не успел я произнести первые слова, как мой знакомый равнодушно и только удивившись, что я еще здесь,— так показалось мне — обернулся ко мне и сказал:

— Знаете, так всегда бывает. Когда я сегодня спускался по лестнице, чтобы еще прогуляться вечером, перед тем как пойти в гости, я удивился тому, как болтались мои красноватые руки в белых манжетах, и тому, что болтались они с необычной резвостью. Тут я стал ждать приключения. Так всегда бывает.

Последнее он сообщил уже на ходу, невзначай, как маленькое наблюдение. Меня же это очень тронуло, и я огорчился, что, может быть, ему неприятна моя долговязая фигура, рядом с которой он вполне мог показаться слишком маленьким. И это обстоятельство, хотя дело было ночью и мы почти никого не встречали, мучило меня так сильно, что я согнул спину настолько, что мои руки на ходу касались колен. Но чтоб мой знакомый не заметил моего умысла, я менял свою осанку очень постепенно, с большой осторожностью и старался отвлечь от себя его внимание замечаниями о деревьях на острове Стрелков и об отражении в реке фонарей моста. Но он вдруг резко повернулся лицом ко мне и снисходительно сказал:

— Почему вы так ходите? Вы же совсем сгорбились и стали ростом почти с меня.

Поскольку он сказал это любезно, я ответил:

— Это возможно. Но мне эта поза приятна. Я слабоват, знаете ли, и мне бывает слишком трудно держаться прямо. Это не пустяк, я очень длинный...

Он сказал несколько недоверчиво:

— Да это просто прихоть. Раньше же вы, по-моему, шли, выпрямившись во весь рост, да и в гостях вы держались сносно. Вы ведь даже танцевали — или нет? Нет? Но шли вы выпрямившись, и это вы, конечно, можете и сейчас.

Я ответил упорно и с отвергающим жестом:

— Да, да, я шел выпрямившись. Но вы недооцениваете меня. Я знаю, что такое хорошие манеры, и поэтому иду сгорбившись.

Но это не показалось ему простым, в смятении от своего счастья он не понял связи моих слов и сказал только:

— Ну, как знаете,— и посмотрел на часы Мельничной башни, которые показывали уже почти час ночи.

Я же сказал про себя: «Как бессердечен этот человек! Как характерно и явно его равнодушие к моим смиренным словам! Он счастлив, в этом все дело, и таково свойство счастливых — находить естественным все, что происходит вокруг них. Их счастье устанавливает во всем великолепную связь. И если бы я прыгнул сейчас в воду или если бы стал перед ним корчиться в судорогах на мостовой под этой аркой, то все равно бы я мирно вписался в его счастье. Да, если бы ему втемяшилось — счастливые настолько опасны, это несомненно,— он убил бы меня как бандит. Это не подлежит сомнению, и, поскольку я труслив, я от ужаса даже не осмелился бы закричать... О боже!»

Я в страхе огляделся. Перед отдаленной кофейней с прямоугольными черными окнами по мостовой скользил полицейский. Его сабля немного мешала ему, он взял ее в руку, и теперь дело пошло значительно лучше. А уж услыхав издали, что он слабо вскрикивает, я окончательно убедился, что он меня не спасет, буде мой знакомый пожелает убить меня.

Зато теперь я знал, что мне делать, ибо как раз перед страшными событиями мною овладевает большая решительность. Мне следовало убежать. Это было очень легко. Теперь, у поворота налево к Карлову мосту, я мог шмыгнуть направо в Карлову улицу. Она была с закоулками, там было много темных подворотен и пивных, еще открытых сейчас; мне не следовало отчаиваться.

Когда мы вышли из-под арки в конце набережной, я с поднятыми руками побежал в эту улицу; но как раз добежав до маленькой двери церкви, упал, ибо там была ступенька, которой я не заметил. Упал я с грохотом. Ближайший фонарь был далеко, я лежал в темноте. Из пивной напротив вышла толстуха с закоптелым фонариком — посмотреть, что случи-

лось на улице. Фортепианная игра прекратилась, и какой-то мужчина полностью распахнул полуоткрытую было дверь. Он великолепно харкнул на ступеньку и, щекоча толстуху между грудями, сказал, что происшедшее, во всяком случае, не имеет значения. Затем они повернулись, и дверь снова захлопнулась.

Попробовав встать, я снова упал. «Гололед»,— сказал я и почувствовал боль в колене. Но все же меня радовало, что люди из пивной меня не увидели, и потому мне показалось самым удобным пролежать здесь до рассвета.

Мой знакомый дошел один, наверно, до моста, не заметив моего исчезновения, ибо ко мне он пришел не сразу. Я не видел, чтобы он был удивлен, когда сочувственно склонился ко мне и погладил меня мягкой рукой. Он провел по моим скулам вверх и вниз, а потом положил два толстых пальца на мой низкий лоб.

— Вы ушиблись, да? Гололед, надо быть осторожным... У вас болит голова? Нет? Ах, вот как.

Он говорил напевно, словно рассказывал историю, к тому же очень приятную историю об очень отдаленной боли в чьем-то колене. Он и руками двигал, но и не думал поднять меня. Я подпер себе голову правой рукой — локоть лежал на булыжнике — и быстро сказал, чтобы не забыть это:

— Не знаю, собственно, зачем я побежал направо. Но я увидел, как под аркадами этой церкви — не знаю, как она называется, о, пожалуйста, простите — бегает кошка, маленькая кошечка, и шерсть у нее была светлая. Поэтому я заметил ее... О нет, не в этом дело, извините, но достаточно трудно целый день владеть собой. Для того мы и спим, чтобы подкрепиться для этого труда, а если мы не спим, то с нами нередко случаются нелепые вещи, но было бы невежливо со стороны наших спутников громко этому удивляться.

Мой знакомый, держа руки в карманах, поглядел на пустой мост, на Конгрегационную церковь, затем на небо, которое было ясно. Поскольку он не слушал меня, он испуганно сказал:

— Ну, почему же вы не говорите, дорогой? Вам плохо?.. Ну, почему же вы, собственно, не встаете?.. Ведь здесь холодно, вы простудитесь, а потом ведь мы собирались на Лаврентьеву гору.

— Конечно,— сказал я,— простите,— и встал самостоятельно, но с сильной болью. Я шатался и должен был упереться взглядом в статую Карла Четвертого, чтобы узнать, где я нахожусь. Но лунный свет был неловок и привел в движение и Карла Четвертого. Я удивился, и мои ступни стали намного

крепче от страха, что Карл Четвертый рухнет, если я не приму успокаивающей позы. Позднее мое усилие оказалось бесполезным, ибо Карл Четвертый все же упал, как раз когда мне подумалось, что меня любит девушка в красивом белом платье.

Я бьюсь напрасно и многое упускаю. Какая это счастливая была мысль насчет девушки!.. И как это мило было со стороны луны, что она освещала и меня, а я из скромности хотел стать под свод башни у моста, поняв, что это просто естественно, чтобы луна освещала все. Поэтому я с радостью распростер руки, чтобы полностью насладиться луной... Тут мне вспомнились стихи:

Я скакал через улицы,
Топая по воздуху,
Как пьяный бегун,—

и мне сделалось легко, когда я, совершая вялыми руками плавательные движения, стал без боли и без труда продвигаться вперед. Моей голове было покойно в прохладном воздухе, а любовь одетой в белое девушки приводила меня в печальный восторг, ибо мне казалось, будто я уплываю от влюбленной, а также от туманных гор ее края... И я вспомнил, что однажды возненавидел одного счастливого знакомого, который и сейчас, может быть, шел рядом со мной, и порадовался, что моя память так хороша, что в ней сохраняются даже такие второстепенные вещи. Ведь у памяти нагрузка большая. Вдруг я стал знать названия всего множества звезд, хотя никогда не заучивал их. Да, это были занятные названия, трудно запоминающиеся, но я знал все и очень точно. Высоко подняв указательный палец, я громко выкрикивал название каждой... Но я недолго называл звезды, ибо мне надо было плыть дальше, если я не хотел погрузиться слишком глубоко. Но чтобы мне потом не сказали, что плыть над мостовой может каждый и об этом не стоит рассказывать, я, взяв более быстрый темп, поднялся над перилами и вплавь кружил возле каждой статуи святого, которую встречал на пути... У пятой, как раз когда я рассчитанными взмахами задержался над мостовой, мой знакомый схватил мою руку. Теперь я снова стоял на мостовой и чувствовал боль в колене. Я уже забыл названия звезд, а относительно милой девушки помнил только, что на ней было белое платье, но никак не мог вспомнить, какие основания были у меня верить в ее любовь. Во мне поднялась большая и вполне основательная злость на свою память и страх, что я потеряю эту девушку. И я стал напряженно и непрерывно повторять «белое платье, белое

платье», чтобы хотя бы с помощью одного этого признака сохранить ее для себя. Но это не помогло. Мой знакомый все ближе подступал ко мне со своими речами, и в тот миг, когда я начал понимать его слова, что-то белое изящно проскакало вдоль перил моста, пронеслось через мостовую башню и прыгнуло в темную улицу.

— Я всегда любил,— сказал мой знакомый, указывая на статую святой Людмилы,— руки этого ангела, слева. Их тонкость безгранична, и пальцы, которые напряжены, дрожат. Но с сегодняшнего вечера эти руки мне безразличны, можно сказать, ибо я целовал руки.

Тут он обнял меня, поцеловал мою одежду и прижался головой к моему туловищу.

Я сказал:

— Да, да. Я вам верю. Я не сомневаюсь,— и при этом щипал своими пальцами, когда он отпускал их, его икры. Но он этого не чувствовал. Тогда я сказал себе: «Почему ты идешь с этим человеком? Ты его не любишь и ненависти к нему тоже не питаешь, ибо счастье заключено только в девушке, и даже точно неизвестно, что она носит белое платье. Значит, этот человек тебе безразличен... повтори: безразличен. Но он и неопасен, как выяснилось. Поэтому иди с ним дальше на Лаврентьеву гору, ибо ты уже на пути туда прекрасной ночью, но не мешай ему говорить и развлекайся по-своему, этим — скажи это тихо — ты защитишь себя лучше всего».

II

Увеселения, или Доказательство того, что жить невозможно

1. ЕЗДА ВЕРХОМ

С необычной ловкостью я уже вскочил на плечи своему знакомому и, толкая кулаками в спину, заставил его бежать рысцой. А когда он еще ерепенился и порой даже останавливался, я колотил его сапогами по животу, чтобы придать ему резвости. Это удалось, и мы с хорошей скоростью проникали все дальше в глубь большого, но еще недоделанного края, где был вечер.

Проселочная дорога, по которой я ехал, была камениста и заметно шла в гору, но как раз это мне нравилось, и я заставлял ее стать еще каменистей и круче. Стоило моему знакомому споткнуться, как я тянул его за волосы вверх, а

стоило ему застонать, бил кулаками по голове. При этом я чувствовал, как полезна для моего здоровья эта вечерняя езда верхом в этом хорошем настроении, и, чтобы сделать ее еще бешеней, я напускал на нас долгие порывы встречного ветра. Теперь я еще и увеличивал на широких плечах своего знакомого подскоки при верховой езде и, обеими руками вцепившись в его шею, далеко запрокидывал голову и смотрел на разнообразные облака, которые слабей моего неуклюже летели по ветру. Я смеялся и дрожал от отваги. Мое пальто распахнулось и давало мне силу. При этом я крепко сцеплял руки, делая вид, будто не знаю, что тем самым душу своего знакомого.

А в небо, которое мне постепенно закрывали искривленные ветки деревьев, росших по моей воле по краю дороги, я в горячке движенья кричал:

— У меня же есть другие дела, кроме того, чтобы вечно слушать любовную дребедень. Почему он явился ко мне, этот болтливый влюбленный? Они все счастливы и становятся особенно счастливы, когда другой это знает. Они думают, что у них сейчас счастливый вечер, и уже потому радуются будущей жизни.

Тут мой знакомый упал, и, осмотрев его, я увидел, что у него тяжело ранено колено. Поскольку пользы от него больше не было, я оставил его на камнях и только свистком спустил с высоты несколько коршунов, которые послушно и со строгими клювами сели на него, чтобы его охранять.

2. ПРОГУЛКА

Я невозмутимо пошел дальше. Но, боясь, что пешком по гористой дороге идти будет тяжело, я заставил дорогу сделаться все более пологой и вдали наконец спуститься в равнину.

Камни исчезли по моей воле, ветер затих и потерялся в вечере. Я шел хорошим шагом, и так как я шел с горы, я поднял голову, подобрался и скрестил руки на затылке. Поскольку я люблю сосновые боры, я шел через сосновые боры, а поскольку мне нравится молча смотреть на звездное небо, звезды всходили для меня на широко распростершемся небе медленно и спокойно, как то вообще им свойственно. Я видел лишь отдельные вытянутые облака, которые гнал ветер, дувший только на их высоте.

Довольно далеко против моей дороги я поставил, вероятно, отделенную от меня рекой гору, вершина которой поросла

кустарником и граничила с небом. Мне отчетливо были видны даже мелкие разветвления и движения самых высоких веток. Это зрелище, как оно ни заурядно, обрадовало меня настолько, что, качаясь птичкой на прутьях этих отдаленных взъерошенных кустов, я забыл приказать взойти луне, которая уже лежала за горой, досадуя, вероятно, на такую задержку.

Но тут прохладное сияние, предшествующее восходу луны, растеклось по горе, и вдруг луна сама поднялась за одним из неспокойных кустов. Я же в это время глядел в другую сторону, и, когда я теперь посмотрел вперед и вдруг увидел, как она светит уже почти всем своим кругом, я с помутневшими глазами остановился, ибо казалось, что моя наклонная дорога ведет прямо в эту пугающую луну.

Но вскоре я привык к ней и спокойно наблюдал, с каким трудом она всходит, пока наконец — а мы с ней прошли навстречу друг другу уже изрядное расстояние — не почувствовал приятной сонливости, которая напала на меня, как я думал, из-за тягот целого дня, которых я, правда, уже не помнил. Я шел некоторое время с закрытыми глазами, не засыпая только благодаря тому, что громко и равномерно хлопал в ладоши.

Но затем, когда дорога стала выскальзывать у меня из-под ног и всё, устав, как и я, начало исчезать, я лихорадочно поспешил вскарабкаться на склон по правую сторону дороги, чтобы еще вовремя прийти в высокий, запутанный сосновый лес, где собирался проспать ночь. Нужно было спешить. Звезды уже темнели, и луна немощно тонула в небе, как в бурной воде. Гора была уже частью ночи, дорога пугающе кончалась там, где я повернулся к склону, а из глубины леса слышался приближающийся грохот падающих стволов. Теперь я мог бы сразу упасть в мох и заснуть, но, боясь муравьев, я, цепляясь за ствол ногами, взобрался на дерево, которое тоже уже шаталось без ветра, лег на ветку, привалил голову к стволу и торопливо уснул, а на дрожащем конце ветки сидела и качалась белочка моей прихоти с отвесным хвостом.

Я спал без сновидений и глубоко. Ни заход луны, ни восход солнца не разбудил меня. И даже когда я уже готов был проснуться, я успокоил себя, сказав: «Ты очень утомился за вчерашний день, поэтому побереги свой сон»,— и уснул снова.

Но хотя мне ничего не снилось, была все же одна небольшая постоянная помеха моему сну. Всю ночь я слышал, как кто-то говорит рядом со мной. Самих слов я почти не слышал, кроме отдельных, как «скамейка на берегу реки», «туманные

горы», «поезда со сверкающим дымом», слышал только их интонацию, и помню еще, что во сне потирал руки от радости, что мне не нужно различать отдельных слов, поскольку я именно сплю.

Перед полночью этот голос был очень веселым, обидным. Я испугался, ибо подумал, что кто-то подпиливает внизу мое дерево, которое уже раньше шаталось... После полуночи голос, посерьезнев, отступил и стал делать паузы между своими фразами, так что показалось, будто он отвечает на вопросы, которых я не задавал. Тут я почувствовал себя уютнее и осмелился вытянуться... Под утро голос становился все дружелюбнее. Ложе говорящего было, кажется, ничуть не надежнее моего, ибо теперь я заметил, что говорил он с соседних веток. Тут я осмелел и лег спиной к нему. Это, видимо, огорчило его, ибо он перестал говорить и молчал так долго, что утром, когда я уже совсем отвык от этого шума, разбудил меня тихим вздохом.

Я глядел в облачное небо, которое было не только над моей головой, но даже окружало меня. Облака были так тяжелы, что низко плыли над мхом, наталкивались на деревья, рвались о ветки. Иные на какое-то время падали на землю или повисали на деревьях, пока не дул и не гнал их дальше более сильный ветер. Большинство их несло еловые шишки, отломанные сучья, дымовые трубы, мертвую дичь, полотнища флагов, флюгера и другие, большей частью неузнаваемые предметы, которые они, плывя, захватили вдали.

Я сжался на своей ветке, стараясь отталкивать грозившие мне облака или увертываться от них, если они были широкие. Это был, однако, тяжелый труд для меня, пребывавшего еще в полусне и к тому же встревоженного вздохами, которые мне еще часто слышались. Но я с удивлением видел: чем уверенней становился я в своей жизни, тем выше и шире расстилалось небо, пока наконец после моего последнего зевка не открылась вновь местность прошлого вечера, которая лежала теперь под дождевыми облаками.

Эта так быстро возникшая широкость моего кругозора испугала меня. Я задумался, почему я пришел в этот край, дорог которого я не знал. Мне показалось, будто я забрел сюда во сне и, лишь проснувшись, понял весь ужас своего положения. Тут я, к счастью, услышал птицу в лесу, и меня успокоила мысль, что я ведь пришел сюда ради своего удовольствия.

— Твоя жизнь была однообразна,— сказал я вслух, чтобы убедить себя в этом,— тебя действительно нужно было куда-нибудь отвести. Можешь быть доволен, здесь весело. Солнце светит.

Тут засветило солнце, и дождевые облака стали белыми, легкими и маленькими на синем небе. Они блестели и вздымались. Я увидел реку в долине.

— Да, она была однообразна, ты заслуживаешь этого увеселения,— продолжал я словно по принуждению,— но не была ли она и в опасности?

Тут я услышал, как кто-то вздохнул до ужаса близко.

Я хотел быстро слезть, но, поскольку ветка дрожала так же, как моя рука, оцепенело упал с высоты. Я почти не ударился, и мне не было больно, но я почувствовал себя таким слабым и несчастным, что уткнулся лицом в траву, не находя в себе сил смотреть на земные вещи вокруг. Я был убежден, что каждое движение и каждая мысль вынужденны, что поэтому следует остерегаться их. Зато естественнее всего лежать здесь в траве, прижав руки к телу и спрятав лицо. И я уговаривал себя радоваться, что уже нахожусь в этом само собой разумеющемся положении, а то бы ведь мне понадобилось множество ухищрений, много всяких шагов и слов, чтобы в нем оказаться.

Но, недолго пролежав, я услышал, как кто-то плачет. Это происходило поблизости и потому раздражало меня. Раздражало так, что я стал думать, кто бы это мог плакать. Но едва я начал думать, как стал в злобном страхе ворочаться с такой силой, что вывалявшись в хвое, скатился вниз, в пыль дороги. И хотя своими засоренными пылью глазами я видел все только так, словно это мне чудится, я сразу же побежал по дороге дальше, чтобы наконец уйти от всех призраков.

Я задыхался от бега и перестал владеть собой от смятения. Я видел, как поднимаются мои ноги с широко выпирающими коленными чашками, но уже не мог остановиться, ибо мои руки двигались взад-вперед, как при очень веселой прогулке, и голова у меня качалась. Тем не менее я холодно и отчаянно старался найти спасение. Тут я вспомнил о реке, которая должна была течь поблизости, и сразу же увидел у своих ног тропинку, которая сворачивала в сторону и действительно после нескольких прыжков через луг привела меня к берегу.

Река была широкая, и ее маленькие шумные волны были освещены. На другом берегу тоже были луга, переходившие потом в кустарник, за которым далеко вдали виднелись светлые аллеи плодовых деревьев, уходившие к зеленым холмам.

Обрадовавшись этому виду, я лег и, зажав себе уши из опасения услыхать плач, подумал, что здесь могу успокоиться. Ведь здесь пустынно и красиво. Не нужно большого мужества, чтобы здесь жить. Здесь придется мучиться, как в

любом другом месте, но при этом не придется красиво двигаться. Это не будет нужно. Ибо здесь только горы и большая река, и я еще достаточно умен, чтобы считать их необитаемыми. Да, спотыкаясь в одиночестве на поднимающихся в гору луговых тропках, я не буду более покинутым, чем эта гора, разве что буду чувствовать себя покинутым. Но думаю, что и это пройдет.

Так играл я со своей будущей жизнью и упорно пытался забыть. При этом я, щурясь, смотрел на то небо, что обладает необыкновенно счастливой окраской. Таким я уже давно не видел его, это тронуло меня и напомнило мне отдельные дни, когда я тоже думал, что вижу его таким. Я отнял ладони от ушей, развел руки в сторону и упал в травы.

Я услышал, как вдалеке кто-то тихо всхлипывает. Поднялся ветер, и с шорохом взлетели вороха сухих листьев, которых я прежде не видел. С плодовых деревьев бешено посыпались на землю незрелые плоды. Из-за какой-то горы поднялись безобразные облака. Волны реки скрипели и пятились от ветра.

Я быстро встал. У меня болело сердце, ибо теперь мне казалось невозможным выбраться из моих бед. Я уже хотел повернуть, чтобы покинуть эту местность и вернуться в свою прежнюю жизнь, как вдруг меня осенило: «Как замечательно, что в наше время благородных людей еще переправляют через реки таким нелегким способом. Ничем другим этого не объяснить, как тем, что это старый обычай». Я покачал головой, ибо был удивлен.

3. ТОЛСТЯК

а) Речь, обращенная к местности

Из кустов на другой берег вышло четверо могучих нагих мужчин, которые несли на плечах деревянные носилки. На этих носилках по-восточному сидел невероятно толстый человек. Хотя его несли через кусты по бездорожью, он не раздвигал колючих веток, а спокойно расталкивал их своим неподвижным телом. Его складчатые массы жира были распластаны так тщательно, что целиком покрывали носилки и еще свисали по бокам, как края желтоватого ковра, чем, однако, ничуть не мешали ему. У него было бесхитростное выражение лица человека, который задумался и не старается скрыть это. Порой он закрывал глаза; когда он открывал их снова, подбородок его кривился.

— Эта местность мешает мне думать,— сказал он тихо,— из-за нее мои рассуждения качаются, как цепные мосты при

яростном течении. Она красива и хочет поэтому, чтобы на нее смотрели.

Я закрываю глаза и говорю: ты, зеленая гора у реки, ты, у которой против воды есть скатывающиеся камни, ты красива.

Но она недовольна, она хочет, чтобы я открыл глаза и смотрел на нее.

А если я с закрытыми глазами скажу: гора, я тебя не люблю, ибо ты напоминаешь мне облака, вечерние зори и поднимающееся небо, а это вещи, которые заставляют меня чуть ли не плакать, ибо их не достигнуть тому, кого носят на маленьких носилках. А показывая мне все это, ты, коварная гора, заслоняешь мне даль, которая меня веселит, ибо в прекрасной обозримости показывает достижимое. Поэтому я не люблю тебя, гора у воды, нет, я не люблю тебя.

Но эта речь оставит ее такой же равнодушной, как прежняя, если я не буду говорить с открытыми глазами. Иначе она не будет довольна.

А разве мы не должны сохранять ее расположение к нам, чтобы вообще сохранить ее, питающую такое причудливое пристрастие к каше наших мозгов? Она обрушит на меня свои зубчатые тени, она молча выставит передо мной ужасно голые стены, и мои носильщики споткнутся о камешки на дороге.

Но не только гора так тщеславна, так назойлива и так потом мстительна, таково же и все другое. Поэтому я должен, округлив глаза — о, им больно, — повторять снова и снова:

«Да, гора, ты прекрасна, и меня радуют леса на твоем западном склоне... И тобою тоже, цветок, я доволен, и твой розовый цвет веселит мне душу... Ты, трава на лугах, уже высока и мощна и даришь прохладу... И ты, диковинный кустарник, укалываешь так неожиданно, что наши мысли сразу рассеиваются. А к тебе, река, я питаю такую большую симпатию, что дам пронести себя через твою упругую воду».

Громко произнеся десять раз эту хвалебную речь, сопровождающуюся смиренными движениями его туловища, он опустил голову и с закрытыми глазами сказал:

— А теперь я прошу вас — гора, цветок, трава, кустарник и река,— дайте мне немного места, чтобы я мог дышать.

Тут произошло поспешное передвижение окрестных гор, которые оттеснились за пелены тумана. Аллеи хоть и остались на месте, как-то сохраняя ширину дороги, но заблаговременно расплылись: на небе перед солнцем стояло влажное облако с просвечивающими краями, в тени которого мест-

ность опускалась, а все предметы теряли свои прекрасные очертания.

Шаги носильщиков донеслись до моего берега, однако в темном четырехугольнике их лиц я ничего не мог различить точнее. Я видел только, как они наклоняли головы вбок и как сгибали спины, ибо ноша у них была необыкновенная. Я забеспокоился за них, заметив, что они устали. Поэтому я пристально следил, когда они ступили на траву берега, а затем еще ровным шагом пошли по мокрому песку, пока наконец не погрузились в топкие заросли камыша, где оба задних носильщика согнулись еще ниже, чтобы сохранить носилки в горизонтальном положении. Я крепко сцепил пальцы. Теперь они при каждом шаге должны были высоко поднимать ноги, отчего их тела блестели от пота в прохладном воздухе этого изменчивого дня.

Толстяк сидел спокойно, положив руки на ляжки; длинные оконечности тростника хлестали его, распрямляясь за передними носильщиками.

Движения носильщиков становились все менее равномерными, по мере того как они приближались к воде. Порой носилки качались, словно они уже на волнах. Лужицы в камышах нужно было перепрыгивать или обходить, ибо они могли оказаться глубокими. Однажды поднялись с криком дикие утки и отвесно влетели в тучу. Тут я увидел в короткой гримасе лицо толстяка; оно было совсем неспокойно. Я встал и неуклюжими прыжками помчался по каменистому склону, который отделял меня от воды. Я не обращал внимания на то, что это было опасно, думая только о том, чтобы помочь толстяку, когда его слуги не смогут больше нести его. Я бежал так безрассудно, что не смог остановиться внизу у воды и, немного пробежав по всплеснувшей воде, остановился лишь там, где вода была уже мне по колено.

А на том берегу слуги, крючась, дошли с носилками до воды и, удерживаясь с помощью одной руки над неспокойной водой, подпирали носилки четырьмя волосатыми руками, так что были видны необычно поднятые мускулы.

Вода подступала сперва к подбородкам, затем поднялась к ртам, головы носильщиков запрокинулись, и носилки упали на плечи. Вода захлестывала уже переносицы, а они все еще не прекращали усилий, хотя не добрались и до середины реки. Тут на головы передних упала невысокая волна, и все четверо молча утонули, увлекая за собой носилки своими ручищами. Вода обвалом хлынула вслед.

Тут из краев большого облака пробился низкий свет вечернего солнца, он озарил холмы и горы на горизонте, в то время как река и местность под облаком были освещены смутно.

Толстяк медленно повернулся в направлении течения, и его понесло вниз по реке, как истукана светлого дерева, который оказался не нужен и брошен поэтому в реку. Он плыл по отражению тучи. Продолговатые облака тянули его, а маленькие сгорбившиеся толкали, что вызывало значительное волнение, которое было заметно даже по всплескам воды у моих колен и у камней берега.

Я быстро вскарабкался снова вверх по откосу, чтобы сопровождать толстяка на дороге, ибо я поистине любил его. И может быть, я смогу что-нибудь узнать насчет опасности этого с виду безопасного края. Я вышел на полосу песка, к узости которой надо было еще привыкнуть, руки в карманах, повернув лицо к реке под прямым углом, так что подбородок почти лежал у меня на плече.

На камнях берега сидели нежные ласточки.

Толстяк сказал:

— Дорогой сударь на берегу, не пытайтесь спасти меня. Это месть воды и ветра; я пропал. Да, это месть, ведь сколь часто мы, я и мой друг богомолец, нападали на эти вещи, когда пел наш клинок, сверкали кимвалы, великолепно сияли трубы и вспыхивали зарницы литавр.

Маленькая чайка с распластанными крыльями пролетела через его живот, отчего скорость ее не уменьшилась.

Толстяк продолжал:

б) Начало разговора с богомольцем

— Было время, когда я изо дня в день ходил в одну церковь, ибо девушка, в которую я был влюблен, вечерами молилась там на коленях по полчаса, и тогда я мог без помех глядеть на нее.

Когда однажды эта девушка не пришла и я недовольно смотрел на молящихся, мое внимание обратил на себя один молодой человек, распростершийся на полу всем своим худым телом. Время от времени он, напрягая все силы, поднимал голову и со вздохом бросал ее на прижатые к камням руки.

В церкви было лишь несколько старых женщин, которые часто склоняли и поворачивали свои закутанные головки,

чтобы взглянуть на молящегося. Это внимание, казалось, осчастливливало его, ибо перед каждым своим благочестивым приступом он проверял глазами, много ли людей на него смотрит.

Я нашел это неприличным и решил заговорить с ним, когда он уйдет из церкви, и выпытать у него, почему он молится таким образом. Да, я был раздражен, потому что моя девушка не пришла.

Но лишь через час он поднялся, истово перекрестился и порывисто двинулся к кружке. Я стал на его пути между кропильницей и дверью, зная, что не пропущу его без объяснений. Я скривил рот, как то всегда делаю для подготовки, когда решительно намерен поговорить. Я выставил вперед правую ногу и оперся на нее, а левую небрежно поставил на носок; это тоже придает мне твердость.

Возможно, что этот человек уже косился на меня, когда окроплял лицо святой водой, а может быть, с беспокойством заметил меня еще раньше, ибо теперь он неожиданно помчался к двери и прочь. Стеклянная дверь захлопнулась. И когда я сразу же вслед вышел за дверь, я уже не увидел его, ибо там было несколько узких улиц и место было людное.

В последующие дни он не появлялся, а моя девушка пришла. Она была в черном платье, отделанном по вороту прозрачными кружевами — под ними виднелся полумесяц выреза сорочки,— с нижнего края которых шелк ниспадал хорошо скроенным воротником. И поскольку девушка пришла, я забыл об этом молодом человеке и не интересовался им даже тогда, когда он потом опять регулярно являлся и молился по своему обыкновению. Но он всегда проходил мимо меня с большой поспешностью, отвернув лицо. Может быть, дело тут в том, что я всегда представлял его себе только в движении, и поэтому, даже когда он стоял, мне казалось, что он крадется.

Однажды я замешкался у себя в комнате. Но я все-таки еще пошел в церковь. Девушки я там уже не застал и хотел пойти домой. Вдруг я увидел, что этот молодой человек опять лежит здесь. Теперь тот старый случай вспомнился мне и пробудил во мне любопытство.

Я на цыпочках проскользнул к дверям, дал монету слепому нищему, который там сидел, и притаился рядом с ним за открытым дверным створом. Я просидел там час, состроив, может быть, лукавую физиономию. Я чувствовал себя там хорошо и решил приходить сюда почаще. Но в ходе второго часа я нашел нелепым сидеть здесь из-за этого богомольца.

И все-таки я уже со злостью позволил паукам ползать по своей одежде и третий час, когда последние посетители, громко дыша, выходили из темноты церкви.

Тут он тоже появился. Он шел осторожно, и ноги его сперва как бы ощупывали пол, прежде чем наступить на него.

Я встал, сделал большой и прямой шаг и схватил молодого человека за воротник.

— Добрый вечер,— сказал я и, держа его за воротник, столкнул по ступенькам вниз на освещенную площадь.

Когда мы спустились, он сказал совершенно нетвердым голосом:

— Добрый вечер, дорогой-дорогой сударь, только не сердитесь на вашего покорнейшего слугу.

— Да,— сказал я,— я хочу кое-что спросить у вас, сударь, в прошлый раз вы улизнули от меня, сегодня это вам вряд ли удастся.

— Вы сердобольны, сударь, и отпустите меня домой. Меня можно пожалеть, это сущая правда.

— Нет,— закричал я под шум проезжавшего мимо трамвая,— я вас не отпущу! Как раз такие истории мне нравятся. Вы — счастливая находка. Я могу поздравить себя.

Тогда он сказал:

— Ах, боже мой, у вас резвое сердце и голова как болванка. Вы называете меня счастливой находкой, как же вы должны быть счастливы! Ведь мое несчастье — это несчастье зыбкое, несчастье, зыблющееся на острие, и если дотронуться до него, оно падет на расспрашивающего. Спокойной ночи, сударь.

— Хорошо,— сказал я и схватил его правую руку,— если вы не ответите мне, я начну кричать здесь, на улице. И сбегутся все продавщицы, которые сейчас выходят из магазинов, и все их любовники, которые с радостью ждут их, ибо они подумают, что упала какая-нибудь лошадь, запряженная в дрожки, или случилось еще что-нибудь в этом роде. Тогда я покажу вас людям.

Тут он, плача, поочередно поцеловал обе мои руки.

— Я скажу вам то, что вы хотите узнать, но лучше, пожалуйста, пройдем вон в тот переулок.

Я кивнул головой, и мы пошли туда.

Но он не удовольствовался темнотой переулка, где были только далеко отстоящие друг от друга желтые фонари, а завел меня в низкий подъезд какого-то старого дома под висевший перед деревянной лестницей фонарик, из которого капало.

Там он церемонно взял свой носовой платок и, расстелив его на ступеньках, сказал:

— Садитесь, дорогой сударь, так вам будет удобнее спрашивать, я постою, так мне будет удобнее отвечать. Только не мучайте меня.

Я сел и, подняв на него прищуренные глаза, сказал:

— Вы самый настоящий сумасшедший, вот вы кто! Как вы ведете себя в церкви! Как это смешно и как неприятно присутствующим! Как можно испытывать благоговение, если приходится смотреть на вас.

Он прижался к стене, только головой он двигал свободно.

— Не сердитесь... зачем вам сердиться из-за вещей, которые не имеют к вам отношения. Я сержусь, когда веду себя неподобающе, а когда кто-нибудь другой ведет себя плохо, я радуюсь. Не сердитесь поэтому, если я скажу, что в том и состоит цель моих молитв, чтобы люди смотрели на меня.

— Что вы говорите,— воскликнул я донельзя громко для низкого прохода, но побоялся понизить голос,— в самом деле, что вы говорите! Да, я догадываюсь, да, я догадывался, с тех пор как увидел вас, в каком состоянии вы находитесь. У меня есть опыт, и я вовсе не в шутку скажу вам, что это какая-то морская болезнь на суше. Природа болезни такова, что вы забыли истинные имена вещей и теперь поспешно осыпаете их случайными именами. Только бы побыстрее, только бы побыстрее! Но едва убежав от них, вы снова забываете их названия. Тополь в полях, который вы назвали «Вавилонская башня», ибо не знали или не желали знать, что это был тополь, снова качается безымянно, и вы называете его «Ной во хмелю».

Я немного смутился, когда он сказал:

— Я рад, что не понял того, что вы сказали.

Волнуясь, я быстро сказал:

— Тем, что вы этому рады, вы показываете, что поняли меня.

— Верно, я это показал, милостивый государь, но и вы говорили странно.

Я положил ладони на верхнюю ступеньку, откинулся назад и в этой почти неприступной позе, которая служит борцам последним спасением, сказал:

— Веселый у вас способ спасать себя: вы предполагаете ваше состояние у других.

После этого он стал храбрее. Он сложил руки, чтобы придать единство своему телу, и с легким внутренним сопротивлением сказал:

— Нет, я же поступаю так не со всеми, и с вами, например, тоже не поступлю так, потому что не могу. Но я был бы рад, если бы мог, ибо тогда мне уже не нужно было бы внимание людей в церкви. Знаете, почему оно нужно мне?

Этот вопрос поставил меня в тупик. Конечно, я этого не знал и думаю, что и не хотел знать. Я же и сюда приходить не хотел, сказал я себе тогда, но этот человек заставил меня слушать его. Мне достаточно было только покачать головой, чтобы показать ему, что я не знал этого, но я не мог и шевельнуть головой.

Человек, стоявший передо мной, улыбнулся. Затем он, сжимаясь, опустился на колени и заговорил сонливым голосом:

— Никогда не бывало такого времени, чтобы благодаря самому себе я был убежден в том, что в самом деле вижу. Все вещи вокруг я представляю себе настолько хрупко, что мне всегда кажется, будто они жили когда-то, а теперь уходят в небытие. Всегда, дорогой сударь, я испытываю мучительное желание увидеть вещи такими, какими они, наверно, видятся, прежде чем показать себя мне. Они тогда, наверно, прекрасны и спокойны. Так должно быть, ибо я часто слышу, что люди говорят о них в этом смысле.

Поскольку я молчал и лишь невольными вздрагиваниями лица показывал, как мне тягостно, он спросил:

— Вы не верите в то, что люди так говорят?

Я счел нужным кивнуть головой, но не смог.

— Правда, вы в это не верите? Ах, послушайте, однажды в детстве, открыв глаза после короткого послеобеденного сна, я, еще совсем сонный, услыхал, как моя мать самым естественным тоном кричит вниз с балкона: «Что вы делаете, дорогая? Такая жара!» Какая-то женщина ответила из сада: «Я пью кофе на лоне природы». Она сказала это не задумавшись и не слишком отчетливо, словно каждый должен был этого ожидать.

Я решил, что мне задают вопрос. Поэтому я полез в задний карман штанов и сделал вид, будто что-то ищу там. Но я ничего не искал, я хотел только изменить свой вид, чтобы показать свое участие в разговоре. При этом я сказал, что этот случай очень любопытен, и что я совершенно не понимаю его. Я прибавил также, что не верю в его подлинность, и что он, вероятно, выдуман с какой-то определенной целью, которая мне-то и непонятна. Затем я закрыл глаза, ибо они у меня болели.

— О, это хорошо, что вы разделяете мое мнение, и никакого своекорыстия не было в том, что вы задержали меня, чтобы сказать мне это.

Не правда ли, почему я должен стыдиться или почему должны мы стыдиться — того, что хожу я не выпрямившись и тяжело, не стучу палкой о мостовую и не задеваю одежды громко проходящих мимо людей. Не вправе ли я, наоборот, упорно жаловаться на то, что как тень, съежившись, шмыгаю вдоль домов, иногда исчезая в стеклах витрин?

Какие дни я провожу! Почему все построено так скверно, что порой рушатся высокие дома, а внешней причины на то найти невозможно. Я лажу потом по кучам щебня и спрашиваю каждого, кого встречу: «Как это могло случиться? В нашем городе... Новый дом... Сегодня это уже пятый... Подумайте только». Тут мне никто не может ответить.

Часто падают люди на улице и остаются лежать мертвыми. Тогда лавочники открывают свои завешанные товарами двери, проворно прибегают, уносят мертвеца в какой-то дом, выходят затем, улыбаясь ртом и глазами, и говорят: «Добрый день!.. Небо пасмурное... Головные платки... идут хорошо... Да, война». Я шмыгаю в этот дом и, робко подняв несколько раз руку с согнутым пальцем, стучу наконец в окошечко привратника. «Дорогой,— говорю я приветливо,— к вам принесли покойника. Покажите мне его, прошу вас». И когда он качает головой, словно в нерешительности, я говорю твердо: «Дорогой. Я из тайной полиции. Покажите мне мертвеца сию же минуту».— «Мертвеца? — спрашивает он теперь почти обиженно.— Нет, у нас здесь никакого мертвеца нет. Это приличный дом». Я прощаюсь и ухожу.

А потом, когда мне нужно пересечь большую площадь, я все забываю. Трудность этого предприятия приводит меня в замешательство; и я часто думаю про себя: «Если такие большие площади строят только от зазнайства, почему бы не строить и каменных перил, которые бы вели через площадь? Сегодня дует юго-западный ветер. Воздух на площади волнуется. Башенный шпиль ратуши описывает маленькие круги. Почему не утихомирят эту сутолоку? Что это за шум такой! Все оконные стекла звенят, а столбы фонарей гнутся, как бамбук. Плащ святой Марии на колонне надувается, и бушующий воздух хочет сорвать его. Неужели никто этого не видит? Господа и дамы, которым следовало бы идти по камням, плывут по воздуху. Когда от ветра спирает дыхание, они останавливаются, перекидываются несколькими словами и кланяются в знак приветствия, а когда ветер ударяет снова, они не могут сопротивляться ему и все одновременно поднимают ноги.

Хоть они и должны придерживать свои шляпы, глаза их глядят весело, словно погода стоит ласковая. Только мне страшно.

Протестуя против такого обращения со мной, я сказал:

— Историю, которую вы раньше рассказали мне о своей матери и женщине в саду, я вовсе не нахожу любопытной. Я не только слышал и наблюдал множество подобных историй, в некоторых я даже участвовал. Это же дело вполне естественное. Думаете, будь я на балконе, я не мог бы сказать того же, а из сада ответить так же? Простейший случай!

Когда я сказал это, он показался очень счастливым. Он сказал, что я красиво одет и ему очень нравится мой галстук. И какая у меня нежная кожа! И что признания становятся особенно ясны, когда их опровергают.

в) История богомольца

Потом он сел рядом со мной, ибо я оробел, я освободил ему место, склонив голову в сторону. Тем не менее от меня не ускользнуло, что и он сидел в каком-то смущении, все время старался держаться на маленьком расстоянии от меня и говорил с трудом:

— Какие дни я провожу! Вчера вечером я был в гостях. Я только поклонился при газовом свете барышне со словами: «Я, право, рад, что дело уже идет к зиме»,— только я поклонился с этими словами, как вдруг, к своей досаде, заметил, что правое бедро у меня вывихнуто. И коленная чашка тоже чуть-чуть расширилась.

Поэтому я сел и сказал — ведь я всегда стараюсь сохранить связь между своими фразами: «Ибо зимой живется с гораздо меньшим трудом, легче вести себя как следует, не надо так напрягаться из-за своих слов. Не правда ли, милая барышня? Надеюсь, я прав в этом вопросе». При этом правая моя нога причиняла мне много неприятностей. Ибо сперва казалось, что она совсем распалась на части, и лишь постепенно, путем сжиманий и целенаправленных смещений, я привел ее более или менее в порядок.

Тут я услышал, как девушка, которая из сочувствия тоже села, тихо говорит:

— Нет, вы мне совсем не импонируете, ибо...

— Погодите,— сказал я удовлетворенно и с надеждой,— вы не должны, милая барышня, тратить и пяти минут на то, чтобы говорить со мной. Кушайте между словами, прошу вас.

Я протянул руку, взял пышную гроздь винограда, свисавшую с чаши, приподнятой бронзовым ангелочком, подержал

ее в воздухе, затем положил на тарелочку с синей каемкой и не без изящества подал девушке.

— Вы совсем не импонируете мне,— сказала она,— все, что вы говорите, скучно и непонятно, но от этого не верно. Я думаю, сударь,— почему вы все время называете меня «милая барышня» — я думаю, вы только потому избегаете правды, что она для вас слишком трудна.

Боже, тут я взыграл!

— Да, барышня, барышня,— чуть ли не закричал я,— как вы правы! Милая барышня, поймите, это огромная радость, когда ты вдруг оказываешься в такой степени понят, хотя вовсе не стремился к тому.

— Правда слишком трудна для вас, сударь, ведь какой у вас вид! Вы во всю свою длину вырезаны из папиросной бумаги, из желтой папиросной бумаги, силуэтом, и когда вы ходите, вы должны шелестеть. Поэтому не стоит волноваться из-за ваших манер или вашего мнения, вы же должны сгибаться от сквозняка, который сейчас как раз продувает комнату.

— Я этого не понимаю. Вот здесь в комнате стоят там и сям разные люди. Они охватывают руками спинки стульев, или прислоняются к пианино, или медленно подносят к губам бокал, или робко уходят в соседнюю комнату, и когда ушибут в темноте правое плечо о шкаф, думают, дыша у открытого окна: «Вон там Венера, вечерняя звезда. А я здесь в гостях. Если тут есть какая-то связь, я не понимаю ее. Но я даже не знаю, есть ли тут связь». И видите, милая барышня, из всех этих людей, которые соответственно такой для себя неясности ведут себя так по-разному, так даже смешно, я один кажусь достойным услыхать о себе нечто совершенно ясное. А чтобы это было к тому же начинено приятностью, вы говорите это насмешливо, так что замечаешь еще что-то, как сквозь величавые стены выгоревшего внутри дома. Для взгляда тут почти нет преград, днем сквозь большие дыры окон видишь облака неба, а ночью звезды... Что, если я в благодарность за это поведаю вам, что когда-нибудь все люди, которые хотят жить, будут на вид такими же, как я; этакими силуэтами, вырезанными из желтой папиросной бумаги,— как вы заметили,— и при ходьбе они будут шелестеть. Они не будут иными, чем теперь, но вид у них будет такой. Даже у вас, милая...

Тут я заметил, что девушка уже не сидит рядом со мной. Ушла она, должно быть, после своих последних слов, ибо теперь она стояла далеко от меня у окна в окружении трех

молодых людей, которые, смеясь, что-то говорили из высоких белых воротников.

Затем я с удовольствием выпил бокал вина и пошел к пианисту, который в полном одиночестве играл сейчас, кивая головой, какую-то печальную пьесу. Я осторожно склонился к его уху, чтобы он только не испугался, и тихо сказал под мелодию пьесы:

— Будьте так добры, многоуважаемый сударь, пустите теперь поиграть меня, ибо я намерен быть счастливым.

Поскольку он не слушал меня, я постоял некоторое время в смущении, а потом, подавляя свою застенчивость, стал ходить от одного гостя к другому и невзначай говорил:

— Сегодня я буду играть на пианино. Да.

Все, казалось, знали, что я не умел играть, но любезно смеялись по поводу этого приятного вторжения в их разговоры. Но совсем внимательны стали они лишь тогда, когда я очень громко сказал пианисту:

— Будьте так добры, многоуважаемый сударь, пустите теперь поиграть меня. Я, понимаете ли, намерен быть счастливым. Речь идет о некоем триумфе.

Пианист хоть и прислушался, но не покинул своей коричневой скамеечки, да, казалось, и не понимал меня. Он вздохнул и закрыл лицо своими длинными пальцами.

Я уже посочувствовал ему и хотел подбодрить его, чтобы он продолжил игру, когда подошла хозяйка с группой гостей.

— Это смешная затея,— сказали они и громко засмеялись, словно я хотел совершить что-то противоестественное.

Девушка тоже подошла, презрительно посмотрела на меня и сказала:

— Пожалуйста, сударыня, позвольте ему поиграть. Он, может быть, хочет как-то развлечь нас. Это похвально. Пожалуйста, сударыня.

Все громко обрадовались, явно, как и я, полагая, что это говорится иронически. Только пианист безмолвствовал. Он сидел с опущенной головой и водил указательным пальцем левой руки по дереву скамеечки, словно рисуя на песке. Я стал дрожать и, чтобы скрыть это, сунул руки в карманы штанов, и говорить отчетливо я не мог, ибо все мое лицо готово было заплакать. Поэтому я должен был выбирать слова так, чтобы мысль, что я готов заплакать, показалась слушателям смешной.

— Сударыня,— сказал я,— я должен сейчас поиграть, ибо...

Забыв причину, я внезапно сел за пианино. Тут я снова понял свое положение. Пианист встал и деликатно перешагнул через скамеечку, ибо я загородил ему дорогу.

— Погасите, пожалуйста, свет, я могу играть только в темноте.

Я выпрямился.

Тут два господина взялись за скамеечку и понесли меня к находившемуся очень далеко от пианино обеденному столу, насвистывая какую-то песенку и немного качая меня.

Все смотрели одобрительно, а барышня сказала:

— Видите, сударыня, он недурно сыграл. Я это знала. А вы так боялись.

Я понял и поблагодарил поклоном, который мне удался.

Мне налили лимонаду, и какая-то барышня с красными губами поила меня из стакана. Хозяйка подала мне на серебряной тарелке печенье из взбитых белков, и какая-то девушка в совершенно белом платье совала мне его в рот. Пышная барышня с копной светлых волос держала надо мной гроздь винограда, и мне надо было только отрывать ягоды, а она в это время смотрела мне в закатившиеся глаза.

Поскольку все так хорошо обращались со мной, меня удивило, что они единодушно стали меня удерживать, когда я опять устремился к пианино.

— Хватит уже,— сказал хозяин, которого я дотоле не замечал. Он вышел и тотчас вернулся с чудовищным цилиндром и медно-коричневым пальто в цветочках.— Вот ваши вещи.

Это были, правда, не мои вещи, но мне не хотелось утруждать его снова. Хозяин сам надел на меня пальто, которое пришлось как раз впору, плотно прижавшись к моему тощему телу. Какая-то дама с добрым лицом, постепенно нагибаясь, застегнула на мне пальто сверху донизу.

— Итак, прощайте,— сказала хозяйка,— и приходите вскоре опять. Вы всегда желанный гость, вы это знаете.

Тут все общество поклонилось, словно так полагалось. Я тоже попробовал поклониться, но мое пальто было слишком тесно. Поэтому я взял шляпу и, вероятно, слишком неловко вышел за дверь.

Но когда я шажком вышел из подъезда, на меня нагрянули небо с луной, звездами и большим сводом и Кольцевая площадь с ратушей, Мариинской колонной и церковью.

Я спокойно вышел из тени на лунный свет, расстегнул пальто и согрелся; затем, подняв руки, заставил смолкнуть свист ночи и начал размышлять.

«С чего это вам делать вид, будто вы действительно существуете? Вы хотите меня уверить, что в действительности не существует меня, смешно стоящего на зеленой мостовой? Но уже прошло много времени, с тех пор как ты, небо, действительно существуешь, а тебя, Кольцевая площадь, в действительности никогда не было.

Верно, у вас все еще есть превосходство надо мной, но только тогда, когда я вас оставляю в покое.

Слава богу, луна, ты уже не луна, но, может быть, это небрежность с моей стороны, что я все еще называю луной тебя, луна лишь по прозвищу. Почему ты уже не так высокомерна, когда я называю тебя «бумажный фонарь странного цвета»? И почему ты почти ретируешься, когда я называю тебя «Мариинская колонна», и я уже не узнаю твоей угрожающей позы, Мариинская колонна, когда называю тебя «Луна, светящая желтым светом»?

Кажется, и в самом деле, вам не на пользу, когда о вас размышляют, у вас убывают храбрость и здоровье.

Боже, как же это, наверно, полезно, если размышляющий учится у пьяного!

Почему все стихло? Мне кажется, прекратился ветер. И домишки, которые часто катят по площади на колесиках, стоят как вкопанные... Тихо... тихо... совершенно не видно той тонкой черной черты, что обычно отделяет их от земли».

И я побежал. Я трижды обежал без помех большую площадь и, поскольку не встретил ни одного пьяного, побежал, не теряя скорости и не чувствуя напряжения, к Карловой улице. Моя тень, часто меньше меня, бежала рядом со мной по стене, словно в ложбине между домами и тротуаром.

Пробегая мимо дома пожарной команды, я услыхал со стороны малого кольца шум и, когда свернул туда, увидел у решетки фонтана пьяного, который стоял, разведя руки в стороны, и топтал землю ногами в деревянных башмаках.

Я сперва остановился, чтобы отдышаться, затем подошел к нему, снял с головы цилиндр и представился:

— Добрый вечер, ваше нежное благородие, мне двадцать три года, но у меня нет имени. Вы же, конечно, прибыли с поразительным, даже певучим именем из этого большого города Парижа. Вас овевает запах беспутного двора Франции.

Вы, конечно, видели своими подведенными глазами тех великих дам, которые, иронически повернувшись в осиной талии, уже стоят на высокой и светлой террасе, тогда как конец их расстилающегося по лестнице расписного шлейфа

еще лежит на песке сада. Не правда ли, по равномерно расставленным шестам карабкаются вверх слуги в серых, дерзко скроенных фраках и белых штанах, обвивая ногами шест, а туловище часто откидывая назад и в сторону, ибо они должны поднять за толстые веревки с земли и натянуть наверху огромные серые полотнища, потому что великая дама пожелала туманного утра.

Поскольку он рыгнул, я почти испуганно спросил:

— Это же правда, сударь, вы явились сюда из нашего Парижа, из бурного Парижа, из этой романтической бури с градом?

Когда он снова рыгнул, я смущенно сказал:

— Я знаю, мне выпала большая честь.

И, застегнув пальто быстрыми пальцами, я заговорил пылко и робко:

— Я знаю, вы считаете меня недостойным ответа, но меня ждала бы плачевная жизнь, если бы я не спросил вас сегодня.

Прошу вас, нарядный сударь, правда ли то, что мне рассказывали? Есть в Париже люди, которые состоят лишь из разукрашенных одежд, и есть там дома, в которых нет ничего, кроме порталов, и правда ли, что в летние дни небо над городом переливчато-синее, но украшено прижатыми белыми облачками и что все до одного в форме сердечка? И есть там пользующийся большим успехом паноптикум, где стоят только деревья, на которые навешены таблички с именами самых знаменитых героев, преступников и влюбленных?

И потом еще эти сведения? Эти явно лживые сведения!

Не правда ли, эти улицы Парижа вдруг разветвляются; они неспокойны, не правда ли? Не всегда все в порядке, да и как это может быть! Бывают несчастные случаи, собираются люди, приходя с соседних улиц столичным шагом, едва прикасающимся к мостовой; всем любопытно, но все и боятся, что будут разочарованы; они быстро дышат и выпячивают свои маленькие головы. Но, прикоснувшись друг к другу, они низко кланяются и просят прощения. «Очень сожалею... это вышло нечаянно... страшная давка, простите, прошу вас... это получилось очень неловко с моей стороны... признаю. Меня зовут... меня зовут Жером Фарош, я бакалейщик с рю де Каботэн... позвольте пригласить вас отобедать у меня завтра... Моя жена тоже была бы очень рада». Так они говорят, а улица оглушена, и дым из труб ложится между домами. Ведь так оно бывает. А возможно ли, чтобы на оживленном бульваре аристократического квартала остановились вдруг две коляски? Слуги с серьезным видом открывают дверцы. Выскакивают восемь благородных сибирских волкодавов и с лаем прыжка-

ми несутся по мостовой. Так вот, говорят, что это переодетые молодые парижские франты.

Глаза его были почти закрыты. Когда я умолк, он засунул в рот обе руки и рванул нижнюю челюсть. Вся его одежда была замарана. Его, может быть, вышвырнули из пивной, а он еще не уяснил себе этого.

Был, наверно, тот короткий, вполне спокойный перерыв между днем и ночью, когда голова у нас неожиданно для нас повисает и когда все, хотя мы этого не замечаем, останавливается, ибо мы ни на что не глядим, и потом исчезает. А мы, согнувшись, остаемся в одиночестве, затем озираемся, но уже ничего не видим, даже сопротивления воздуха уже не чувствуем, но внутренне твердо помним, что на определенном расстоянии от нас стоят дома с крышами и, к счастью, коленчатыми дымоходами, через которые темень втекает в дома, через чердачные клетушки в многоразличные комнаты. И это счастье, что завтра будет день, когда, как это ни невероятно, можно будет все видеть.

Тут пьяный вскинул брови так, что между ними и глазами возникло сиянье, и с паузами сообщил:

— Вот, понимаете, какое дело... меня, понимаете, клонит ко сну, поэтому я пойду спать... У меня, понимаете, есть зять на Вацлавской площади... туда я и пойду, потому что там я живу, потому что там у меня есть постель... сейчас я пойду... Я только, понимаете, не помню, как его зовут и где он живет... мне кажется, я это забыл... Но это ничего, ведь я даже не помню, есть ли у меня вообще зять... Теперь, понимаете, пойду... Думаете, я найду его?

На это я отвечал без раздумья:

— Несомненно. Но вы из чужих краев, и ваши слуги случайно не с вами. Позвольте мне проводить вас.

Он не ответил. Я жестом предложил ему взять меня под руку.

г) Продолжение разговора между толстяком и богомольцем

А я уже некоторое время пытался взбодриться. Я растирал свое тело и говорил себе: «Пора тебе что-то сказать. Ты ведь уже смутился. Ты чувствуешь себя угнетенно? Подожди! Тебе же знакомы такие положения. Подумай не спеша! Твое окружение тоже подождет.

Всё как в гостях на прошлой неделе. Кто-то что-то читает по списанному откуда-то тексту. Одну страницу я сам списал по его просьбе. Прочитав подпись под страницами, которые

написаны им, я пугаюсь. Это ни в какие ворота не лезет. Люди склоняются над этим с трех сторон стола. Я, плача, клянусь, что это не моя подпись.

Но чем это похоже на сегодняшнее? Ведь это только от тебя зависит, чтобы завязался целенаправленный разговор. Все мирно. Сделай над собой усилие, милый мой!.. Ты ведь найдешь какую-нибудь отговорку... Ты можешь сказать: «Меня клонит ко сну. У меня болит голова. Прощайте». Быстрей, быстрей же. Напомни о себе!.. Что такое? Опять сплошные препятствия? Что ты вспоминаешь?.. Я вспоминаю плоскогорье, которое поднималось к большому небу, как щит Земли. Я увидел его горы и приготовился пройти по нему. Я начал петь».

Мои губы были сухи и не слушались меня, когда я сказал:

— Разве нельзя жить по-другому?

— Нет,— сказал он с вопросом, с улыбкой.

— Но почему вы по вечерам молитесь в церкви? — спросил я тогда, и между мною и им рухнуло все, что я дотоле как во сне подпирал.

— Нет, зачем нам об этом говорить. По вечерам никто, если он живет один, не несетмтветственности. Боишься многого. Что, может быть, исчезнет телесность, что люди действительно таковы, какими они кажутся в сумерках, что нельзя выйти без палки, что надо, может быть, пойти в церковь и громко молиться, чтобы на тебя смотрели и ты обрел тело.

Оттого что он так говорил, а потом умолк, я вынул из кармана свой красный платок и заплакал сгорбившись.

Он встал, поцеловал меня и сказал:

— Почему ты плачешь? Ты высокого роста, я люблю тебя, у тебя длинные пальцы, которые тебя почти слушаются, почему ты не радуешься этому? Носи всегда темные манжеты, вот тебе мой совет... Нет... я льщу тебе, а ты все-таки плачешь? Ведь эту тягость жизни ты сносишь вполне здраво.

Мы строим ненужные, собственно, машины для войны, башни, стены, занавесы из шелка, и мы могли бы всячески удивляться этому, будь у нас на то время. И мы держимся на весу, мы не падаем, мы порхаем, хотя мы и безобразнее, чем летучие мыши. И уже вряд ли кто помешает нам в один прекрасный день сказать: «Ах, боже мой, сегодня прекрасный день». Ибо мы уже устроились на своей земле и живем на основе своего согласия.

Мы же как пеньки на снегу. На вид они просто лежат сверху, кажется, что их можно сдвинуть легким толчком. Но нет, нельзя, ибо они прочно связаны с почвой. Но даже это всего лишь видимость.

Плакать мешали мне размышления: «Сейчас ночь, и никто завтра не упрекнет меня за то, что я скажу сейчас, ибо это могло быть сказано во сне».

Затем я сказал:

— Да, всё так и есть, но о чем же мы говорили? Мы же не могли говорить об освещении неба, поскольку стоим в глубине подъезда. Нет... все-таки мы могли говорить об этом, ибо разве мы не совершенно независимы в своем разговоре, если стремимся не к какой-то цели и какой-то истине, а только к шутке и развлечению. Но не могли бы вы мне все-таки еще раз рассказать историю о женщине в саду. Как восхитительна, как умна эта женщина! Мы должны вести себя по ее примеру. Как она нравится мне! И еще хорошо, что я встретил вас и подстерег. Для меня было большим удовольствием поговорить с вами. Я услыхал кое-что, чего прежде, может быть, намеренно не ведал... я рад.

У него был довольный вид. Хотя соприкосновение с человеческим телом мне всегда неприятно, я должен был обнять его.

Затем мы вышли из подъезда под небо. Несколько разрозненных облачков мой друг сдул, так что теперь нам предстала непрерывная равнина звезд. Мой друг шел с трудом.

д) Гибель толстяка

Тут всё обуяла скорость, и всё покатилось вдаль. Воду реки потянул вниз обрыв, она попыталась задержаться, побарахтаться на крошащемся краю, но потом рухнула валами и дымом брызг.

Толстяк не мог больше говорить, он вертелся и исчезал в громком стремительном водопаде.

Я, изведавший столько увеселений, стоял на берегу и видел это.

— Что делать нашим легким,— закричал я,— если не будете дышать быстро,— кричал я,— вы задохнетесь сами по себе, от внутренних ядов. Если вы будете дышать медленно, вы задохнетесь от воздуха, негодного для дыхания, от возмущенных вещей. Если же вы станете искать нужный темп, то погибнете из-за самих поисков.

При этом берега реки безмерно расширились, и все же я коснулся ладонью железной плоскости крошечного издали дорожного указателя. Это было мне не совсем понятно. Я же был малого роста, чуть не меньше, чем обычно, и куст с белыми ягодами, который очень быстро качался, был гораздо выше меня. Я это видел, ибо миг назад он был рядом со мной.

И все же я ошибся, ибо руки мои были так же громадны, как тучи обложного дождя, только они были торопливее. Не знаю, почему они хотели раздавить мою бедную голову.

Она ведь была величиной всего-навсего с муравьиное яйцо, только немного повреждена и потому уже не вполне кругла. Я просительно вращал ею, ибо выражения моих глаз нельзя было различить, настолько они были малы.

Но мои ноги, но мои немыслимые ноги лежали на лесистых горах и отбрасывали тень на сельские долины. Они росли, они росли! Они уже уходили в пространство, где никаких местностей не было, их длина давно уже вышла за пределы моего зрения.

Но нет, не то... я ведь мал, пока мал... я качусь... качусь... я — лавина в горах! Пожалуйста, прохожие, будьте так добры, скажите мне, какого я роста, измерьте мне эти руки, ноги...

III

— Как же это так? — сказал мой знакомый, который пошел со мной из гостей и спокойно шел рядом по одной из дорожек Лаврентьевой горы.— Остановитесь наконец на минутку, чтобы я в этом разобрался... Знаете, мне надо покончить с одним делом. Это так утомительно... эта холодная, правда, и ясная ночь, но этот сердитый ветер, который порой даже, кажется, меняет положение вон тех акаций.

На немного выпуклой дорожке лежала лунная тень дома садовника, скудно украшенная снегом. Увидев скамейку, которая стояла у двери, я указал на нее поднятой рукой, ибо не был храбр и ждал упреков, отчего и приложил к груди свою левую руку.

Он сел с тоской, не жалея своей одежды, и привел меня в удивление, когда упер локти в бедра и положил лоб на прогнутые кончики пальцев.

— Да, теперь я это скажу. Знаете, я живу размеренно, ни к чему нельзя придраться, все делается, как надо и как принято. Несчастье, к которому в моей среде привыкли, меня не пощадило, что мое окружение и я с удовольствием видели, и это всеобщее счастье не заставило себя ждать, и я сам, случалось, говорил о нем в узком кругу. Что ж, я еще ни разу не был действительно влюблен. Порой я сожалел об этом, не пользовался этим выражением, когда оно бывало мне нужно. Теперь я должен сказать: да, я влюблен и, наверно, возбужден от влюбленности. Любовник я пламенный, какого желают

себе девушки. Но мог ли я забыть, что как раз этот прежний недостаток придавал моим связям исключительно веселый, особенно веселый оборот?

— Успокойтесь,— сказал я участливо и думая только о себе.— Ваша возлюбленная ведь, как я слышал, красива.

— Да, она красива. Когда я сидел рядом с ней, я только и думал: «Какой риск... а я такой смелый... отправляюсь в плавание... галлонами пью вино». Но когда она смеется, она не показывает зубок, как того ждешь, а видно только темное, узкое, изогнутое отверстие рта. В этом есть что-то хитрое и старушечье, хотя она откидывает назад голову, когда смеется.

— Не могу этого отрицать,— сказал я со вздохом,— наверно, я тоже видел это, ибо это должно бросаться в глаза. Но дело не только в этом. Что такое вообще девичья красота! Часто, когда я вижу платье со всяческими оборками, рюшами и бахромками, которые красивы на красивом теле, я думаю, что они недолго сохранятся такими, а сморщатся так, что уже не разглядишь, и покроются пылью, от которой уже не отчистишь отделку, и что никто не захочет быть настолько смешным и жалким, чтобы каждодневно надевать утром и снимать вечером одно и то же драгоценное платье. Однако я вижу девушек, которые при всей их красоте, при всех их прелестных мышцах и лодыжках, и тугой коже, и массе тонких волос, каждый день все-таки появляются в одном и том же данном природой маскарадном костюме и, смотрясь в свое зерало, кладут в свои одни и те же ладони всегда одно и то же лицо. Лишь иногда вечерами, когда они поздно возвращаются с какого-нибудь праздника, оно кажется им в зеркале изношенным, опухшим, запылившимся, всеми уже виденным и не годным больше для носки.

— Однако во время пути я часто спрашивал вас, находите ли вы эту девушку красивой, а вы каждый раз отворачивались, не отвечая. Скажите, вы замышляете что-то недоброе? Почему вы не утешите меня?

Я воткнул ступни в тень и любезно сказал:

— Вас не надо утешать. Вас же любят.

При этом я, чтобы не простудиться, прижал ко рту свой носовой платок с узором из синего винограда.

Теперь он повернулся ко мне и прислонил свое толстое лицо к низкой спинке скамейки.

— Знаете, вообще-то у меня еще есть время, я все еще могу сразу покончить с этой начинающейся любовью каким-нибудь гнусным поступком, или изменой, или отъездом в далекие края. Ведь я в самом деле очень сомневаюсь, следует ли мне подвергать себя этому волнению. Тут нет никакой определенности, никто не может точно назвать направление

и срок. Если я иду в пивную с намерением напиться допьяна, то я знаю, что в течение данного вечера буду пьян. А в моем случае? Через неделю мы собираемся совершить загородную прогулку с семьей друзей, разве от этого не возникнет двухнедельной грозы в душе! Поцелуи этого вечера приводят меня в сонливое состояние, чтобы дать место необузданным снам. Я противлюсь этому и совершаю ночную прогулку, тут оказывается, что я не перестаю волноваться, что меня бросает то в жар, то в холод, как от порывов ветра, что я все время дотрагиваюсь до розовой ленточки в своем кармане, что я полон опасений за себя, но разобраться в них не могу и выношу даже вас, сударь, хотя при иных обстоятельствах наверняка не стал бы так долго говорить с вами.

Мне было очень холодно, и небо уже немного склонилось, белея.

— Тут не поможет ни гнусный поступок, ни измена, ни отъезд в далекие края. Вам придется покончить с собой,— сказал я и улыбнулся.

Напротив нас, на другом конце аллеи стояло два куста, а за этими кустами внизу был город. Он был еще немного освещен.

— Хорошо,— воскликнул он и ударил по скамье своим крепким кулачком, который, однако, сразу разжал,— а вы останетесь живы. Вы не покончите с собой. Никто вас не любит. Вы ничего не можете достигнуть. Вы не можете справиться со следующим мгновением. Вот вы так и говорите со мной, подлый вы человек. Любить вы не можете, ничто не волнует вас, кроме страха. Посмотрите-ка на мою грудь.

Он быстро расстегнул пальто, жилет и рубашку. Грудь у него была действительно широкая и красивая.

Я начал рассказывать:

— Да, такое упрямство иногда находит на нас. Этим летом я был в одной деревне. Она находилась у реки. Я очень хорошо помню. Я часто сидел в неестественной позе на скамейке на берегу. Гостиница у воды там тоже была. Часто можно было услышать игру на скрипке. Молодые сильные люди говорили в саду за столиками с пивом об охоте и приключениях. А еще были на другом берегу туманные горы.

Тут я встал с чуть перекошенным ртом, ступил на газон за скамейкой, сломал несколько заснеженных веточек и сказал затем своему знакомому на ухо:

— Я обручен, признаюсь.

Мой знакомый не удивился тому, что я встал.

— Вы обручены?

Он сидел действительно очень нетвердо, опираясь только на спинку. Затем он снял шляпу, и я увидел его волосы, которые благоухали и, будучи тщательно причесаны, завершали круглую голову на затылке заостренно-округлой линией, как то любили этой зимой. Я был рад, что так умно ответил ему. «Да,— говорил я себе,— как он расхаживает в обществе с подвижной шеей и вольными руками. Он может с приятным разговором провести даму через зал, нисколько не беспокоясь о том, что перед домом идет дождь, или там в робости кто-то стоит, или происходит еще что-нибудь достойное сожаления. Нет, он одинаково красиво склоняется перед дамами. Но вот он сидит здесь».

Мой знакомый провел батистовым платком по лбу.

— Пожалуйста,— сказал он,— положите мне на минуту свою руку на лоб. Прошу вас.

Когда я не сразу это исполнил, он сложил просительно руки.

Словно наша забота все затмила, мы сидели вверху на горе, как в маленькой комнате, хотя ведь и раньше уже заметили свет и ветерок утра. Мы сидели совсем рядом, хотя не любили друг друга, но мы не могли друг от друга отдалиться, ибо вокруг были стены. Но мы могли вести себя смешно и без всякого достоинства, ибо нам не нужно было стыдиться веток над нами и деревьев, стоявших напротив нас.

Тут мой знакомый не мешкая вынул из кармана нож, задумчиво открыл его, воткнул, словно в какой-то игре, в свою левую руку выше локтя и не вытащил оттуда. Сразу хлынула кровь. Его круглые щеки были бледны. Я извлек нож, разрезал рукава зимнего пальто и фрака, вспорол рукав рубашки. Затем пробежал немного вниз и вверх по дороге, чтобы посмотреть, нет ли кого-нибудь, кто может помочь мне. Все ветки были видны почти резко и не шевелились. Затем я пососал глубокую рану. Тут я вспомнил о домике садовника. Я побежал в гору по лестницам, которые вели к верхнему газону по левую сторону дома, торопливо обследовал окна и двери, я звонил, злясь и топая ногами, хотя сразу увидел, что в доме никто не живет. Затем посмотрел рану, которая кровоточила тонкой струей. Я увлажнил его платок снегом и неловко перевязал ему руку.

— Милый, милый,— говорил я,— из-за меня ты ранил себя. Ты прекрасно устроен, окружен приятными вещами, ты можешь гулять среди бела дня, когда повсюду среди столиков и на дорожках холмов видно много тщательно одетых

людей. Подумай, весной мы поедем в плодовый сад, нет, поедем не мы, это, к сожалению, правда, поедешь ты с Аннерль, радуясь и резвясь. О да, поверь мне, прошу тебя, и солнце покажет вас всем самым прекрасным образом. О, вот музыка, вдали слышен топот лошадей, не надо тревожиться, вот крики, и шарманки играют в аллеях.

— Ах, боже мой,— сказал он, встал, оперся на меня, и мы пошли,— это же не помощь. Радоваться мне нечему. Простите. Уже поздно? Может быть, завтра утром мне надо будет что-нибудь предпринять. Ах, боже мой.

Фонарь близ стены горел и отбрасывал тени стволов на дорогу и белый снег, а тени разнокалиберных крон, опрокинувшись, как сломанные, лежали на склоне.

СВАДЕБНЫЕ ПРИГОТОВЛЕНИЯ В ДЕРЕВНЕ

[I]

Когда Эдуард Рабан, пройдя через подъезд, вошел в амбразуру двери, он увидел, что идет дождь. Дождь был маленький.

На тротуаре перед ним было много людей, шагавших вразнобой. Иногда кто-нибудь выступал вперед и пересекал мостовую. Девочка держала в вытянутых руках усталую собачку. Два господина что-то сообщали друг другу. Один держал руки ладонями вверх и согласованно двигал ими, словно покачивая какую-то тяжесть. Показалась дама, чья шляпа была обильно нагружена лентами, пряжками и цветами. Торопливо проследовал молодой человек с тонкой тростью, плашмя прижав к груди левую руку, словно она у него отнялась. То и дело проходили мужчины, которые курили и несли перед собой вертикальные продолговатые облачка. Три господина — двое из них с перекинутыми через руку легкими пальто — часто отходили от стен домов к краю тротуара, глядели на то, что делалось там, и затем, разговаривая, возвращались.

Сквозь просветы между прохожими видны были ровно уложенные камни мостовой. Там лошади с вытянутыми шеями тянули коляски на тонких высоких колесах. Люди, откинувшиеся на мягких сиденьях, молча смотрели на пешеходов, на лавчонки, на балконы и на небо. Когда одна коляска обгоняла другую, лошади прижимались друг к дружке, и сбруя, повисая, болталась. Животные дергали дышло, коляска катилась, торопливо качаясь, пока не завершался объезд передней коляски и лошади не расступались опять, склоняя друг к другу узкие спокойные головы.

Некоторые быстро подходили к подъезду, останавливались на сухой мозаике, медленно поворачивались и смотрели на дождь, который сбивчиво лил, втиснутый в эту узкую улицу.

Рабан чувствовал себя усталым. Губы его были бледны, как выцветший красный цвет его толстого галстука с мавританским узором. Дама у каменного приступка напротив, смотревшая до сих пор на свои туфли, которые были хорошо видны под подобранной юбкой, смотрела теперь на него. Она делала это равнодушно, а кроме того, она, может быть, смотрела только на дождь перед ней или на маленькие вывески фирмы, укрепленные над его волосами. Рабану показалось, что она глядит удивленно. «Значит,— подумал он,— если бы я мог все рассказать ей, она совсем не удивлялась бы. Человек так надрывается на работе в конторе, что потом от усталости и каникулами не может насладиться как следует. Но никакая работа не дает человеку права требовать, чтобы все обращались с ним любовно, нет, он одинок, он для всех чужой, он только объект любопытства. И пока ты говоришь «человек» вместо «я», это пустяк, и эту историю можно рассказать, но как только ты признаешься себе, что это ты сам, тебя буквально пронзает и ты в ужасе».

Он поставил на землю обшитый клетчатым сукном чемодан, согнув при этом колени. Вода у края мостовой уже бежала ручьями, которые прямо-таки неслись к углублениям стоков. «Но если я сам делаю различие между «человек» и «я», вправе ли я сетовать на других. Несправедливыми их, наверно, нельзя назвать, но я слишком устал, чтобы все осознать. Я слишком устал даже для того, чтобы без усилия пройти на вокзал, а ведь он близко. Почему мне не остаться на эти маленькие каникулы в городе, чтобы отдохнуть? Я просто неразумен... От поездки я заболею, я же это знаю. Моя комната не будет достаточно удобна, в деревне по-другому не бывает. Да и сейчас только начало июня, сельский воздух еще часто очень прохладен. Одет я, правда, предусмотрительно, но мне же самому придется присоединяться к людям, которые гуляют поздно вечером. Там есть пруды, будут гулять вдоль прудов. И я наверняка простужусь. С другой стороны, в разговорах я очень-то выделяться не буду. Я не смогу сравнить этот пруд с другими прудами в какой-нибудь далекой стране, ибо я никуда не ездил, а говорить о луне, испытывать блаженство, мечтательно взбираться на кучи щебня — для этого я слишком стар, чтобы меня не высмеяли».

Люди проходили мимо с несколько опущенными головами, свободно неся над ними темные зонтики. Проехала мимо также ломовая повозка, на козлах которой, набитых соломой, возница так небрежно вытянул ноги, что одна почти касалась земли, а другая удобно покоилась на соломе и тряпье. Казалось, он сидит в хорошую погоду где-нибудь в

поле. Но он внимательно держал вожжи, чтобы повозка, на которой разлезались железные прутья, ловко поворачивалась в толчее. Видно было, как в воде на земле извивается отражение прутьев, медленно скользя от одного ряда булыжника к другому. Маленький мальчик возле дамы напротив был одет как старый виноградарь. Его складчатый балахон спадал большим кругом и только чуть ли уже не под мышками был подобран кожаным ремешком. Его шапочка в форме полушария была надвинута до бровей, и от верхушки ее свисала к левому уху кисточка. Дождь радовал его. Он выскочил из подъезда и смотрел открытыми глазами на небо, чтобы ухватить себе побольше дождя. Он часто подпрыгивал, поднимая брызги, за что прохожие очень бранили его. Дама подозвала его к себе и взяла за руку, но он не заплакал.

Рабан вдруг испугался. Не поздно ли уже? Поскольку плащ и пиджак его были расстегнуты, он быстро достал часы. Они не шли. Он с досадой спросил соседа, стоявшего чуть глубже в подъезде, который час. Тот вел какую-то беседу, он сквозь смех, который относился к ней, сказал: «Извольте, начало пятого», — и отвернулся.

Рабан быстро раскрыл свой зонтик и взял чемодан. Но когда он уже выходил на улицу, дорогу ему преградили несколько торопившихся женщин, которых он и пропустил. При этом он глядел вниз на шляпу какой-то девочки, сплетенную из окрашенной в красный цвет соломки, с зеленым веночком на волнистых полях.

Это еще держалось в его памяти, когда он уже был на улице, которая слегка поднималась в том направлении, в каком он собирался пойти. Потом он забыл это, ибо должен был немного напрячься; чемоданчик был для него нелегок, а ветер дул прямо навстречу, развевал плащ и продавливал спереди спицы зонтика.

Дышать ему стало тяжелее; часы на площади поблизости пробили четверть пятого, он видел из-под зонта легкие короткие шаги людей, шедших ему навстречу, скрежетали, когда их притормаживали, колеса повозок, крутились медленнее, лошади выпрямляли тонкие передние ноги, смело, как серны в горах.

Тут Рабану показалось, что он одолеет и это долгое скверное время следующих двух недель. Ведь это всего две недели, значит, какое-то ограниченное время, и даже если неприятности будут все прибывать, время, в течение которого их надо переносить, будет все-таки идти на убыль. От этого мужество несомненно возрастет. «Все, кто хочет мучить меня

и кто сейчас занял все пространство вокруг меня, будут постепенно оттеснены добрым течением этих дней, для чего даже не потребуется никакой моей помощи. И я могу, что естественным образом получится, быть слабым и тихим и позволять делать с собой что угодно, и все-таки все уладится просто благодаря течению дней.

А кроме того, нельзя ли мне поступить так, как я всегда поступал в детстве при всяких опасностях? Мне даже не нужно самому ехать в деревню, я пошлю туда тело. Если оно пошатывается, выходя за дверь моей комнаты, то это пошатыванье свидетельствует не о боязни чего-то, а об его, тела, ничтожестве. И это вовсе не волнение, если оно спотыкается на лестнице, если, рыдая, едет в деревню и, плача, ест там свой ужин. Ведь я-то, я-то лежу тем временем в своей постели, гладко укрытый желто-коричневым одеялом, под ветерком, продувающим комнату. Коляски и люди на улице нерешительно ездят и ходят по голой земле, ибо я еще вижу сны. Кучера и гуляющие робки и каждый свой шаг вперед вымаливают у меня взглядом. Я одобряю их, они не встречают препятствий.

У меня, когда я так лежу в постели, фигура какого-то большого жука, жука-оленя или майского жука, мне думается».

Перед витриной, где за мокрым стеклом висели на полочках маленькие мужские шляпы, он остановился и посмотрел на них, сложив дудочкой губы. «Ну, моей шляпой на каникулы можно еще обойтись,— подумал он и пошел дальше,— а если меня из-за моей шляпы никто не выносит, то тем лучше.

Большая фигура жука, да. Я делал тогда такой вид, словно речь шла о зимней спячке, и прижимал ножки к своему выпуклому туловищу. И я прошепчу несколько слов, это будут указания моему телу, которое у меня еле стоит на ногах и ссутулилось. Скоро я буду готов — оно поклонится, оно пойдет быстро и все наилучшим образом выполнит, а я полежу».

Он достиг отдельно стоящей арки с округлым сводом, выводившей на вершине этой крутой улицы на маленькую площадь, окруженную множеством уже освещенных магазинов. Посреди площади, несколько затемненный из-за света по бокам, стоял низкий памятник сидящему в задумчивости человеку. Люди двигались, как узкие щитки перед источниками света, и оттого, что лужи разливали весь этот блеск вширь и вглубь, вид площади непрестанно менялся.

Рабан довольно далеко продвинулся по площади, хотя и отпрядывал от мчащихся повозок, прыгал с одиночных сухих камней на другие сухие же и держал раскрытый зонтик в

высоко поднятой руке, чтобы все вокруг видеть. Наконец он остановился возле фонарного столба — у остановки трамвая, на маленьком четырехугольном каменном подножии.

«Меня ведь ждут в деревне. Не беспокоятся ли там уже? Но я всю неделю, что она в деревне, не писал ей, написал только сегодня утром. В конце концов, и мой внешний вид уже представляют себе иначе. Думают, может быть, что я бросаюсь на человека, когда с ним заговариваю, но у меня нет такой привычки, или что я, приехав куда-нибудь, лезу с объятьями, и этого я тоже не делаю. Я разозлю ее, когда попытаюсь успокоить ее. Ах, если бы только мне удалось разозлить ее при попытке ее успокоить».

Тут мимо не быстро проехала окрытая коляска, за ее двумя горящими фонарями видны были две дамы, сидевшие на темных кожаных скамеечках. Одна из них откинулась назад, лицо ее было скрыто вуалью и тенью шляпы. А вторая дама сидела прямо; шляпа на ней была маленькая, отороченная тонкими перьями. Эту даму мог видеть каждый. Нижняя губа была у нее немного втянута в рот.

Как только коляска проехала мимо Рабана, какой-то столб заслонил правую пристяжную этого экипажа, затем какой-то кучер — на нем был большой цилиндр — возник на необычно высоком облучке перед дамами,— это случилось уже гораздо дальше,— затем их коляска сама повернула за угол небольшого дома, который теперь бросился в глаза, и скрылась из поля зрения.

Рабан смотрел ей вслед, склонив голову, он положил палку зонтика на плечо, чтобы лучше видеть. Большой палец правой руки он засунул в рот и тер им зубы. Его чемодан лежал рядом с ним плашмя на земле.

Коляски спешили от улицы к улице через площадь, тела лошадей летели горизонтально, как снаряды, покачивания голов и шей выдавали порыв и труд движения.

Кругом по краям тротуаров всех трех сходившихся здесь улиц стояли во множестве бездельники, постукивая тросточками по мостовой. Между этими группами стоявших были башенки, в которых девушки торговали лимонадом, затем тяжелые уличные часы на тонких столбах, затем мужчины с большими плакатами на груди и спине, которые разноцветными буквами оповещали о развлечениях, затем посыльные... [*Две страницы пропали.*]

...маленькая компания. Две барские коляски, проехавшие через площадь в спускавшуюся под гору улицу, задержали нескольких мужчин из этой компании, но за второй коляс-

кой — они уже после первой опасливо сделали такую попытку — мужчины эти снова соединились в одну толпу с другими, вместе с которыми затем длинной шеренгой ступили на тротуар и протиснулись в двери кофейни, облитые огнями висевших над входом электрических лампочек.

Трамвайные вагоны громадинами проезжали мимо, вблизи другие неразличимо останавливались в дальних улицах.

«Как она горбится,— думал Рабан, глядя на эту картину,— никогда она, в сущности, не держится прямо, и, может быть, спина у нее круглая. Мне придется часто замечать это. И рот у нее очень широкий, и нижняя губа несомненно выпячена, да, сейчас я вспоминаю и это. А платье? Конечно, я ничего не смыслю в платьях, но эти рукава в обтяжку безусловно уродливы, у них вид повязки. А шляпа, поля которой в каждом месте по-разному загибаются вверх над лицом! Но глаза у нее красивые, они карие, если не ошибаюсь. Все говорят, что у нее красивые глаза».

Когда перед Рабаном остановился трамвай, к подножке вагона хлынули со всех сторон люди с прикрытыми зонтиками, которые они держали стоймя в прижатых к плечам руках. Рабана, сжимавшего чемодан под мышкой, стянули с тротуара, и он глубоко вступил в невидимую лужу. В вагоне на скамейке стоял на коленях ребенок и прижимал кончики пальцев обеих рук к губам, словно прощался с кем-то, кто сейчас уходил. Несколько пассажиров сошли и должны были пройти несколько шагов вдоль вагона, чтобы выбраться из толчеи. Затем одна дама поднялась на первую ступеньку, ее шлейф, который она придерживала обеими руками, обвил ей ноги. Какой-то господин держался за медный поручень и, подняв голову, что-то говорил этой даме. Все, кто хотел войти в вагон, проявляли нетерпение. Кондуктор кричал.

Рабан, который стоял теперь у края ожидавшей группы, обернулся, ибо кто-то выкликнул его имя.

— Ах, Лемент,— сказал он медленно и подал подошедшему молодому человеку мизинец руки, в которой держал зонтик.

— Вот он, значит, жених, едущий к невесте. У него ужасно влюбленный вид,— сказал Лемент и улыбнулся затем с закрытым ртом.

— Да, прости, что я еду сегодня,— сказал Рабан.— Я написал тебе во второй половине дня. Я бы, конечно, с большим удовольствием поехал бы с тобой завтра, но завтра суббота, все будет переполнено, а ехать долго.

— Ничего. Ты, правда, обещал, но когда влюбишься... Ну, так поеду один.— Лемент стоял одной ногой на тротуаре,

другой — на мостовой и опирался то на одну ногу, то на другую.— Ты хотел сейчас сесть в трамвай; он как раз трогается. Давай пойдем пешком, я провожу тебя. Времени еще достаточно.

— Не поздно ли уже, право?

— Не диво, что ты педантичен, но у тебя действительно есть еще время. Я не так педантичен, поэтому я сейчас и разминулся с Гиллеманом.

— С Гиллеманом? Он тоже будет жить за городом?

— Да, с женой, они хотят выехать на следующей неделе, поэтому-то я и обещал Гиллеману встретить его сегодня, когда он пойдет со службы. Он хотел дать мне кое-какие указания насчет устройства их квартиры, поэтому я должен был его встретить. А я как-то запоздал, у меня были дела. И как раз когда я подумал, не сходить ли мне к ним на квартиру, я увидел тебя, удивился сперва чемодану и окликнул тебя. Но сейчас уже слишком поздний час для визитов, заходить к Гиллеману не очень удобно.

— Конечно. Значит, у меня все-таки будут знакомые за городом. Госпожу Гиллеман, кстати сказать, я никогда не видел.

— А она очень хороша. Она блондинка и сейчас, после болезни, бледна. У нее самые красивые глаза, которые я когда-либо видел.

— Помилуй, как выглядят красивые глаза? Это взгляд? Я никогда не находил глаза красивыми.

— Ладно, я, может быть, немного преувеличил. Но она красивая женщина.

Через стекло кофейни на первом этаже видно было, как читали и ели мужчины, сидевшие у самого окна за треугольным столом; один, опустив газету на стол, высоко держал чашечку, он искоса поглядывал на улицу. За этим столом у окна вся мебель и утварь в большом зале кофейни была заслонена гостями, которые плотно сидели маленькими кружками. [*Две страницы пропали.*]

...— Случайно, однако, это дело оказалось не таким уж неприятным, не так ли? Многие взяли бы на себя этот груз, хочу я сказать.

Они вышли на довольно темную площадь, которая на их стороне улицы начиналась раньше, ибо противоположная сторона высилась дальше. На той стороне площади, вдоль которой они шли, стояла непрерывная шеренга домов, от ее углов два сперва далеких друг от друга ряда домов уходили в неразличимую даль, где, по-видимому, соединялись. Тротуар

у домов, в большинстве своем маленьких, был узок, лавок не было видно, экипажи здесь не ездили. Железный столб в конце улицы, из которой они вышли, поддерживал несколько фонарей в виде двух колец, далеко висевших одно над другим. Пламя в форме трапеции горело между стеклышками, скрепленными под башнеподобной широкой тьмой, как в комнатке, и не уничтожало темноты в нескольких шагах от себя.

— Ну, теперь-то уж наверняка слишком поздно, ты скрыл это от меня, и я опоздал на поезд. Почему? [*Четыре страницы пропали.*]

... — да, разве что Пиркерсгофера, ну, а он...

— Эта фамилия встречается, по-моему, в письмах Бетти, он путеец, не так ли?

— Да, путеец и неприятный человек. Ты признаешь, что я прав, как только увидишь этот толстый носик. Да, скажу тебе, ходить с ним по скучным полям... Впрочем, его уже перевели, и на следующей неделе он, думаю и надеюсь, уедет оттуда.

— Погоди, ты прежде сказал, что советуешь мне остаться на сегодняшнюю ночь здесь. Я обдумал это, так нельзя. Я же написал, что приеду сегодня вечером, они будут ждать меня.

— Это же просто, пошли телеграмму.

— Да, можно... но это было бы некрасиво, если бы я не поехал... К тому же я устал, я уж поеду... если придет телеграмма, они еще испугаются... Да и зачем это, да и куда бы мы пошли?

— Тогда действительно лучше тебе поехать. Я просто подумал... Да и не могу я сегодня пойти с тобой, потому что не выспался, я забыл тебе это сказать. Я попрощаюсь, я не стану провожать тебя через мокрый парк, потому что хочу еще заглянуть к Гиллеманам. Без четверти шесть, еще можно ведь зайти к добрым знакомым. Addio[1]. Итак, счастливого пути и всем привет!

Лемент повернул направо и подал на прощанье правую руку, отчего один миг шел против своей вытянутой руки.

— Adieu[2],— сказал Рабан.

Уже издали Лемент крикнул:

— Эй, Эдуард, слышишь, закрой зонтик, дождь давно перестал. Я не успел сказать тебе это.

Рабан не ответил, он сложил зонтик, и небо, бледно потемнев, сомкнулось над ним.

---

[1] Прощай (*ит.*).
[2] Прощай (фр.).

«Если бы я хотя бы,— думал Рабан,— сел не в тот поезд. Тогда бы мне все-таки показалось, что это предприятие уже началось, а когда я позднее, после выяснения ошибки, вернулся бы снова на эту станцию, мне было бы уже гораздо покойнее. Если же местность там, как говорит Лемент, скучная, то это вовсе не недостаток. Больше будешь сидеть в комнатах, никогда, в сущности, точно не зная, где все другие, ведь если есть какие-то руины в окрестности, то, конечно, совершается совместная прогулка к этим руинам, о которой наверняка договариваются заблаговременно. Но тогда нужно заранее радоваться ей, поэтому ее нельзя пропустить. А если таких достопримечательностей нет, то наперед ни о чем и не договариваются, ожидая, что все быстро соберутся, когда вдруг, вопреки обыкновению, затеют какую-нибудь прогулку; ибо достаточно послать служанку к другим на квартиру, где те сидят за письмом или за книгами и придут в восторг от такого известия. Ну, от таких приглашений защититься нетрудно. И все же не знаю, сумел ли бы я, ибо это не так легко, как мне представляется, пока я один и еще могу делать все, еще могу вернуться назад, когда захочу, ибо там у меня не будет никого, кого бы я мог навещать, когда захочу, и никого, с кем я мог бы совершать трудные прогулки; кто показал бы мне свои хлеба на корню или каменный карьер, которым он там владеет. Ведь даже в старых знакомых нельзя быть уверенным. Разве не добр был ко мне Лемент сегодня, он ведь мне кое-что объяснил, он все изобразил так, как это предстанет мне. Он заговорил со мной и проводил меня, хотя ничего не хотел узнать от меня и его самого ждало еще другое дело. А теперь он внезапно ушел, но я никак, ни одним словом, не мог задеть его самолюбие, я, правда, отказался провести вечер в городе, но это же было естественно, это не могло обидеть его, ведь он человек разумный».

Вокзальные часы пробили три четверти шестого. Рабан остановился, почувствовав сердцебиение, затем быстро пошел вдоль паркового пруда, вышел на узкую, плохо освещенную дорожку между большими кустами, ринулся на площадку, где стояло, прислонясь к деревцам, много пустых скамеек, затем медленно выбежал через отверстие в ограде на улицу, пересек ее, метнулся в вокзальную дверь, нашел через несколько мгновений окошко и вынужден был постучать в жестяную заслонку. В окошко выглянул служащий, сказал, что уже давно пора, взял кредитку и громко бросил на дощечку потребованный билет и мелочь. Рабан хотел быстро пересчитать ее, полагая, что должен был получить больше сдачи, но

служитель, прохаживавшийся поблизости, погнал его через стеклянную дверь на перрон. Там Рабан огляделся, крича служителю: «Спасибо, спасибо», и, поскольку кондуктора не нашел, самостоятельно поднялся на ближайшую вагонную подножку, ставя сначала на каждую верхнюю ступеньку чемодан и опираясь одной рукой на его ручку, а другой на ручку зонтика. Вагон, в который он вошел, был ярко освещен обильным светом крытого перрона; за многими окнами — все были закрыты доверху — видны были висевшие поблизости шипящие дуговые лампы, и частые дождевые капли на оконном стекле были белые, иные из них двигались. Рабан слышал перронный шум и тогда, когда закрыл дверь вагона и сел на последний свободный остаток светло-коричневой деревянной скамьи. Он видел много спин и затылков, а между ними запрокинутые лица на противоположной скамье. Кое-где вился дым от трубок и сигар, а в одном месте он вяло тянулся мимо лица какой-то девушки. Часто пассажиры пересаживались и обсуждали друг с другом эту перемену или перекладывали свои вещи, лежавшие в узкой синей сетке над скамейкой, в другую сетку. Если выпирали вперед палка или окованный угол чемодана, на это обращали внимание их хозяина. Он поднимался и восстанавливал порядок. Рабан тоже опомнился и задвинул свой чемодан под свое сиденье.

Слева от него у окна сидели напротив друг друга два господина и говорили о ценах на товары. «Это коммивояжеры,— подумал Рабан и стал смотреть на них, ровно дыша.— Купец посылает их в деревню, они повинуются, они едут на поезде и в каждой деревне ходят от лавки к лавке. Иногда они разъезжают между деревнями в коляске. Надолго они нигде не задерживаются, ибо все нужно делать быстро, и они всегда должны говорить только о товарах. С какой же радостью можно отдаваться работе, которая так приятна!»

Младший рывком вынул записную книжку из заднего кармана штанов, полистал ее указательным пальцем, быстро увлажнив его языком, и затем прочел страницу, проводя по ней вниз тылом ногтя. Подняв глаза, он посмотрел на Рабана и, говоря теперь о ценах на пряжу, уже не отворачивал лица от него — так останавливают взгляд на чем-нибудь, чтобы не забыть ничего из того, что хотели сказать. Полузакрытую книжечку он держал в левой руке, заложив ее на прочитанной странице большим пальцем, чтобы легче было заглянуть в нее, если понадобится. Книжка дрожала, ибо этой рукой он ни на что не опирался, а вагон на ходу ударял по рельсам как молоток.

Другой коммивояжер, откинувшись назад, слушал и равномерно кивал головой. Видно было, что он согласен отнюдь не со всем и позднее выскажет свое мнение.

Рабан положил на колени сложенные горстями ладони и, наклонившись вперед, видел между головами вояжеров окно, а в окно огни, пролетавшие мимо, и другие, улетавшие назад вдаль. Речи вояжера он совершенно не понимал, не поймет он и того, что ответит другой. Тут нужна большая подготовка, ибо это люди, которые занимаются товарами с юных лет. А если ты не раз уже держал в руке шпульку с пряжей и не раз уже передавал ее покупателям, то ты знаешь ей цену и можешь говорить об этом, когда деревни бегут нам навстречу и мчатся мимо, когда они в то же время опрокидываются в глубину местности, где им суждено исчезнуть для нас. Однако же эти деревни населены, и, может быть, вояжеры ходят там от лавки к лавке.

Перед углом вагона в другом конце встал рослый мужчина, державший в руке игральные карты, и крикнул:

— Эй, Мария, а зефировые рубашки ты запаковала?

— Как же,— сказала женщина, сидевшая напротив Рабана. Она задремала и, когда теперь этот вопрос разбудил ее, ответила себе под нос, словно говоря это Рабану.

— Вы едете на рынок в Юнгбунцлау, не так ли? — спросил ее энергичный вояжер.

— Да, в Юнгбунцлау.

— Там сегодня будет большой рынок, не правда ли?

— Да, большой рынок.

Она была сонная, она опиралась левым локтем на синий узел, и голова ее тяжело лежала на ладони, которая вдавилась в мясо щеки до самой скулы.

— Как она молода,— сказал вояжер.

Рабан вынул из жилетного кармана деньги, полученные им у кассира, и пересчитал их. Он долго держал каждую монету стоймя между большим и указательным пальцами и еще вертел ее кончиком указательного на внутренней стороне большого туда и сюда. Он долго рассматривал изображение императора, потом обратил внимание на лавровый венок и на то, как он был укреплен на затылке ленточными узлами и бантами. Наконец он нашел, что сумма верна, и положил деньги в большой черный кошелек. Но когда ему затем захотелось сказать вояжеру: «Это супружеская пара, вы не думаете?» — поезд остановился. Шум движения прекратился, кондукторы стали выкрикивать название какого-то пункта, и Рабан ничего не сказал.

Поезд ехал так медленно, что можно было представить себе вращение колес, но вдруг он помчался по склону, и внезапно за окнами длинные прутья перил моста стали разбегаться врозь и снова сбегаться — так казалось.

Рабану понравилось теперь, что поезд так спешит, ибо он не хотел бы остаться на последней станции. «Если там темно, если никого там не знаешь, если так далеко до дома. Тогда там, наверно, и днем страшно. А иначе ли на следующей станции, или на прежней, или на более поздней, или в деревне, куда я еду?»

Коммивояжер вдруг заговорил громче. «Еще ведь далеко»,— подумал Рабан.

— Сударь, вы же знаете это не хуже моего, эти фабриканты посылают своих людей в самые глухие углы, они добираются до паршивых лавочников, и думаете, они назначают им другие цены, чем нам, оптовикам? Сударь, позвольте сказать вам это, совершенно такие же цены, не далее как вчера я видел собственными глазами. По-моему, это подлость. Нас душат, при нынешних обстоятельствах нам просто вообще невозможно делать дела, нас душат.

Он снова взглянул на Рабана. Он стыдился слез, стоявших в его глазах; он прижал ко рту суставы пальцев левой руки, потому что его губы дрожали. Рабан откинулся назад и левой рукой тихонько подергал свои усы.

Торговка напротив проснулась и, улыбаясь, погладила себе лоб обеими руками. Коммивояжер говорил тише. Женщина еще раз приняла удобную для сна позу, она прикорнула на своем узле и вздохнула. На ее правом бедре натянулась юбка. За ней сидел господин в кепи и читал большую газету. Девушка напротив него, вероятно, его родственница, попросила его — и склонила при этом голову к правому плечу — открыть окно, ибо ей было очень жарко. Он сказал, не подняв глаз, что сейчас это сделает, только сначала дочитает какой-то раздел в газете, и показал ей, какой раздел он имеет в виду.

Торговка не смогла больше уснуть, она выпрямилась и поглядела в окно, потом долго смотрела на керосиновое пламя, желтевшее у потолка вагона. Рабан на минуту закрыл глаза.

Когда он открыл их, торговка как раз надкусывала покрытое коричневым мармеладом пирожное. Узел рядом с ней был развязан.

Коммивояжер молча курил сигару и все время делал вид, что стряхивает с ее кончика пепел. Другой копался острием ножа в механизме карманных часов, это было слышно.

Почти закрытыми глазами Рабан смутно увидел еще, как господин в кепи потянул за оконный ремень. Ворвался прохладный воздух, чья-то соломенная шляпа слетела с крючка. Рабан подумал, что он просыпается и потому его щеки так освежились, или что открывают дверь и тащат его в комнату, или что он как-то ошибается, и быстро уснул, глубоко дыша.

[II]

Подножка еще немного дрожала, когда Рабан теперь сходил с нее. В его лицо, вышедшее из вагонного воздуха, толкнулся дождь, и он закрыл глаза... На жестяной навес перед зданием станции дождь лил шумно, а на окрестный простор лишь так, что казалось, будто слышишь ровно дующий ветер. Подбежал босоногий мальчишка — Рабан не заметил откуда — и, запыхавшись, попросил позволить ему понести чемодан, потому что идет дождь. Но Рабан сказал: да, идет дождь, поэтому он поедет на омнибусе. В его услугах он не нуждается. В ответ мальчишка сделал такую гримасу, словно считал, что под дождем идти пешком, поручив чемодан носильщику, благородней, чем ехать, тотчас повернулся и убежал. Когда Рабан захотел позвать его, было уже поздно.

Видны были два горевших фонаря, и станционный служащий вышел из двери. Он, не мешкая, прошел под дождем к паровозу, стал там скрестив руки и подождал, пока машинист не наклонился над своим ограждением и не поговорил с ним. Позвали служителя, тот явился и был отослан назад. У многих окон поезда стояли пассажиры, и, поскольку смотреть им приходилось на обыкновенное станционное здание, взгляд их, наверно, был хмур, веки сжимались, как во время езды. Девушка, торопливо пришедшая на перрон с проселка под цветастым зонтиком от солнца, поставила раскрытый зонтик на землю, села и, разжав ноги, чтобы ее юбка скорее высохла, стала поглаживать кончиками пальцев натянувшуюся юбку. Горели только два фонаря, ее лицо нельзя было разглядеть. Служитель, который проходил мимо, выразил свое недовольство тем, что под зонтиком образуются лужи, он округлил перед собой руки, чтобы показать величину этих луж, а затем стал ладонями, то одной, то другой, грести воздух, как

рыба, уходящая в глубину, чтобы разъяснить, что и движению этот зонтик мешает.

Поезд тронулся, исчез, как длинная раздвижная дверь, и за тополями по ту сторону рельсов открылась такая громада местности, что дух захватывало. Был ли то темный просвет, или то был лес, был ли это пруд или дом, где люди уже спали, была ли то колокольня или овраг между холмами — никто не осмелился бы туда сунуться, но кто бы смог удержаться?..

И когда Рабан еще раз увидел служащего — тот был уже перед ступенькой своей конторы,— он забежал вперед и задержал его:

— Простите, пожалуйста, далеко ли до деревни, мне нужно туда.

— Нет, четверть часа, но на омнибусе... дождь ведь идет — вы доедете туда за пять минут. Пожалуйста.

— Дождь идет. Неважная весна,— сказал в ответ Рабан.

Чиновник положил правую руку на бедро, и сквозь треугольник, возникший между его рукой и туловищем, Рабан увидел девушку на скамейке, уже закрывшую зонтик.

— Если поедешь теперь в дачное место, чтобы остаться там, то пожалеешь. Собственно, я полагал, что меня встретят.

Он посмотрел вокруг, чтобы придать этому достоверность.

— Вы опоздаете на омнибус, боюсь я. Он ждет недолго. Не за что благодарить... Пройдите вон там между изгородями.

Улица перед вокзалом не была освещена, только из трех окон первого этажа вокзального здания шел мутный свет, но доставал он недалеко. Рабан шел на цыпочках по грязи и кричал «Кучер!», и «Эй!», и «Омнибус!», и «Я здесь!» множество раз. Но, угодив в почти непрерывные лужи на темной улице, он шагал, опираясь уже на всю ступню, пока вдруг его лба не коснулась мокрая лошадиная морда.

Это был омнибус, он быстро поднялся в пустую клетушку, сел у застекленного окошка за козлами и уткнулся спиной в угол, ибо сделал все, что нужно было. Ведь если кучер спит, то к утру он проснется, а если он умер, то придет новый кучер или хозяин, а если и этого не произойдет, то с ранним поездом прибудут пассажиры, люди спешащие, которые поднимут шум. Во всяком случае, можно успокоиться, можно даже задернуть занавески перед окошками и ждать толчка, с которым эта повозка тронется.

«Да, после всего, что я уже предпринял, несомненно, что завтра я приеду к Бетти, к маме, этому никто не может помешать. Верно, однако, и это можно было предвидеть, что мое письмо придет лишь завтра, и значит, я вполне мог бы остаться в городе и провести у Эльви приятную ночь, не страшась

работы следующего дня, мысль о которой обычно портит мне всякое удовольствие. Однако же я промочил ноги».

Он зажег огарок свечи, достав его из жилетного кармана и поставив на скамейку напротив. Стало достаточно светло, из-за темени снаружи в черных стенках омнибуса не было видно окон. Не думалось ни о том, что под полом — колеса, ни о том, что впереди — впряженная лошадь.

Рабан основательно растер себе ноги на скамье, надел теплые носки и сел прямо. Тут он услышал, что со стороны вокзала кто-то кричит: «Эй! Если в омнибусе есть пассажир, то пусть объявится».

— Да, да, и он хочет уже поехать,— отвечал Рабан, высунувшись из открытой двери, держась правой рукой за косяк, а левую раскрыв около рта.

Дождь хлынул ему за воротник.

Закутанный в парусину двух разрезанных мешков, пришел кучер, отсвет его переносного фонаря прыгал по лужам под ним. Угрюмо начал он свое объяснение: он, понимаешь, играл с Лебедой в карты, они только вошли в азарт, как пришел поезд. Тут уж ему никак невозможно было выглянуть, но тех, кому этого не понять, он ругать не хочет. А вообще здесь дыра дырой, и непонятно, что может здесь делать такой господин, и на месте он будет все равно достаточно скоро, так что жаловаться нечего. Только сейчас вошел господин Пиркерсгофер — это, извините, господин адъюнкт — и сказал, что, кажется, какой-то блондинчик хочет поехать на омнибусе. Ну, тут он, кучер, тотчас и справился, или, может быть, он не справился тотчас же?

Фонарь был укреплен на конце оглобли, лошадь после глухого понукания тронула с места, и взболтанная на крыше омнибуса вода медленно закапала теперь через щель в фургон.

Дорога могла быть гористой, грязь наверняка обдавала спицы, веера воды с шумом расходились сзади за вертящимися колесами, почти не натягивая поводья, управлял кучер вымокшей лошадью... Разве нельзя было все это использовать для упреков Рабану? Лужи неожиданно освещал дрожавший на оглобле фонарь, и они, нагоняя волны, растекались под колесом. Все это происходило только потому, что Рабан ехал к своей невесте, к Бетти, старообразной красивой девушке. И кто оценит, если уж говорить об этом, какие тут у Рабана заслуги, даже если они состояли лишь в том, что он сносил эти упреки, которых, правда, открыто ему никто не мог сделать. Конечно, он сносил их с радостью, Бетти была его невеста, он любил ее, было бы отвратительно, если бы она благодарила его и за это, но все же.

Не раз он нечаянно ударялся головой о стенку, к которой приник, тогда он на несколько мгновений поднимал глаза к потолку. Однажды правая его рука соскользнула с бедра, на котором лежала. Но локоть остался в углу между животом и ногой.

Омнибус ехал уже между домами, то и дело внутрь повозки проникал свет из какой-нибудь комнаты, какая-то лестница — чтобы увидеть первые ее ступеньки, Рабану пришлось бы встать — вела к церкви, перед воротами парка горело большое пламя фонаря, но статуя какого-то святого проступала лишь черным пятном сквозь свет мелочной лавки, теперь Рабан увидел свою догоревшую свечу, накапавший воск которой неподвижно свисал со скамьи.

Когда повозка остановилась перед гостиницей, когда хорошо слышны стали дождь и — наверно, было открыто окно — голоса гостей, Рабан подумал, что лучше — сразу же выйти или подождать, чтобы хозяин вышел к омнибусу. Как принято в этом городке, он не знал, но Бетти несомненно говорила уже о своем женихе, и после его роскошного или бледного появления ее авторитет здесь возрастет или уменьшится, а тем самым и его собственный. Однако он не знал ни того, каким авторитетом пользуется она теперь, ни — тем неприятнее и тяжелее — что разгласила она о нем. Прекрасен город и прекрасен путь домой! Если там идет дождь, то едешь на трамвае по мокрым камням домой, а здесь на телеге по грязи в трактир... «Город далеко отсюда, и если бы я сейчас умирал от тоски по дому, никто не смог бы доставить меня сегодня туда... Ну, пусть не умер бы... но там у меня будет на столе блюдо, которое ожидалось в этот вечер, справа за тарелкой — газета, слева — лампа, а здесь мне подадут какую-нибудь жуткую жирную еду — не знают, что у меня слабый желудок, да и если бы знали... — незнакомую газету, множество людей, которых я уже слышу, будет при этом присутствовать, и лампа будет гореть для всех. Какой это может дать свет, для игры в карты достаточный, но для чтения газеты?..

Хозяин не идет, плевать ему на гостей, он, наверно, человек нелюбезный. Или он знает, что я жених Бетти, и это дает ему основание не заботиться обо мне? Не потому ли и кучер заставил меня так долго ждать на вокзале? Бетти ведь часто рассказывала, как ей случалось страдать из-за похотливых мужчин и как приходилось отвергать их домогательства, может быть, и сейчас так...»

СБОРНИК «СОЗЕРЦАНИЕ»

ДЕТИ НА ДОРОГЕ

Я слышал, как за садовой решеткой тарахтели телеги, а порой и видел их в слабо колышущиеся просветы листвы. Как звонко потрескивали этим звонким летом их деревянные спицы и дышла! Работники возвращались с полей, они так гоготали, что мне неловко было слушать. Я сидел на маленьких качелях, отдыхая под деревьями в саду моих родителей.

А за решеткой не унималась жизнь. Дети пробежали мимо и вмиг исчезли: груженые доверху возы с мужчинами и женщинами — кто наверху на снопах, кто сбоку на грядках — отбрасывали тени на цветочные клумбы: а ближе к вечеру я увидел прохаживающегося мужчину с палкой: несколько девушек, гулявших под руку, поклонились ему и почтительно отступили на поросшую травой обочину.

А потом в воздух взлетела, словно брызнула, стайка птиц; провожая их глазами, я видел, как они мгновенно взмыли в небо, и мне уже казалось, что не птицы поднимаются ввысь, а я проваливаюсь вниз. От овладевшей мной слабости я крепко ухватился за веревки и стал покачиваться. Но вот повеяло прохладой, и в небе замигали звезды вместо птиц — я уже раскачивался вовсю.

Ужинаю я при свече. От усталости кладу ложки на стол и вяло жую свой бутерброд. Теплый ветер раздувает сквозные занавеси, иногда кто-нибудь, проходя за окном, придерживает их, чтобы лучше меня увидеть и что-то сказать. А тут и свеча гаснет, и в тусклой дымке чадящего фитилька еще некоторое время кружат налетевшие мошки. Если кто-нибудь за окном обращается ко мне с вопросом, я гляжу на него, как глядят на далекие горы или в пустоту, да и мой ответ вряд ли его интересует.

Но если кто влезает в окно и говорит, что все в сборе перед домом, тут уж я со вздохом встаю из-за стола.

— Что ты вздыхаешь? Что случилось? Непоправимая беда? Безысходное горе? Неужто все пропало?

Ничего не пропало. Мы выбегаем из дому.

— Слава богу! Наконец-то!

— Вечно ты опаздываешь!

— Я опаздываю?

— А то нет?

— Сидел бы дома, раз неохота с нами!

— Значит, пощады не будет?

— Какой пощады? Что ты мелешь?

Мы ныряем в вечерний сумрак. Для нас не существует ни дня, ни ночи. Мы то налетаем друг на друга, и пуговицы наших жилеток скрежещут, как зубы, то мчимся вереницей, держась на равном расстоянии, и дышим огнем, словно звери в джунглях. Будто кирасиры в былых войнах, мы, звонко цокая и высоко поднимая ноги, скачем по улице и с разбегу вырываемся на дорогу. Несколько мальчиков спустились в канаву и, едва исчезнув в тени откоса, уже выстроились, точно чужие, на верхней тропе и оттуда глядят на нас.

— Эй, вы, спускайтесь!

— Нет уж, давайте вы сюда!

— Это чтобы нас сбросили под откос? И не подумаем! Нашли дураков!

— Скажи уж прямо, что боишься! Смелей!

— Бояться? Вас? Много на себя берете! И не с такими справлялись!

Мы кидаемся в атаку, но, встретив сильный отпор, падаем или скатываемся в травянистую канаву. Здесь все равномерно прогрето дневным зноем, мы не чувствуем в траве ни тепла, ни холода, а только безмерную усталость.

Стоит повернуться на правый бок и подложить кулак под голову, и тебя смаривает сон. Но ты еще раз пытаешься встряхнуться, вытягиваешь шею и вздергиваешь подбородок — чтобы провалиться в еще более глубокую яму. Потом выбрасываешь руки и слабо взбрыкиваешь ногами, словно готовясь вскочить,— и проваливаешься еще глубже... И кажется, этой игре конца не будет.

Но вот ты уже в самой глубокой яме, тут бы и уснуть по-настоящему, растянуться во всю длину, а главное — выпрямить ноги в коленях,— но сна как не бывало; ты лежишь на спине, точно больной, сдерживая подступающие слезы, и только помаргиваешь, когда кто из ребят, прижав локти к

бокам, прыгает с откоса на дорогу и его черные подошвы мелькают над тобой в воздухе.

Луна забралась выше; облитая ее сиянием, проехала почтовая карета. Сорвался легкий ветерок, он пробирает и в канаве; где-то невдалеке зашумел лес. Одиночество уже не доставляет удовольствия.

— Эй, где вы?

— Сюда! Сюда!

— Собирайтесь все вместе!

— Что ты прячешься, что за дурацкая фантазия?

— Разве вы не слыхали, почта проехала!

— Как, уже проехала?

— Ну ясно! Когда она проезжала, ты видел третий сон!

— Это я спал? Будет врать!

— Лучше ты помалкивай. Ведь и по лицу видно!

— Что пристал?

— Пошли!

Мы бежим гурьбой, кое-кто держится за руки, приходится закидывать голову как можно выше, так как дорога идет под уклон. Кто-то испустил боевой клич индейцев, ноги сами несут нас в бешеном галопе, ветер подхватывает на каждом прыжке. Ничто не может нас удержать. Мы так разбежались, что, обгоняя друг друга, складываем руки на груди и спокойно озираемся по сторонам.

Останавливаемся мы перед мостиком, переброшенным через бурный ручей; те, кто убежал вперед, вернулись. Вода, омывающая корни и камни, бурлит, точно днем, не верится, что уже поздний вечер. Кое-кому не терпится залезть на перила мостика.

Из-за кустарников в отдалении вынырнул поезд, все купе освещены, окна приспущены. Кто-то затянул веселую песенку — тут каждому захочется петь. Мы поем куда быстрее, чем идет поезд, и, так как голоса не хватает, помогаем себе руками. Наши голоса звучат вразнобой, и нам это нравится. Когда твой голос сливается с другими, кажется, будто тебя поймали на крючок.

Так мы поем, спиной к лесу, лицом к далеким пассажирам. Взрослые в деревне еще не ложились, матери стелят на ночь.

Пора и по домам. Я целую стоящего рядом, пожимаю две-три ближайшие руки и стремглав бегу назад, пока никто меня не окликнул. На первом же перекрестке, где меня уже никто не увидит, поворачиваю и тропками пускаюсь обратно к лесу. Меня тянет город к югу от нас, о котором в деревне не перестают судачить.

— И люди же там! Представьте, никогда не спят!
— А почему не спят?
— Они не устают!
— А почему не устают?
— Потому что дураки.
— Разве дураки не устают?
— А с чего дуракам уставать?

РАЗОБЛАЧЕННЫЙ ПРОХОДИМЕЦ

Наконец-то, часам к десяти, мы с моим спутником — я был с ним едва знаком, но он и сегодня будто невзначай за мной увязался и добрых два часа таскал меня по улицам — подошли к господскому дому, куда я был приглашен провести вечер.

— Ну вот,— сказал я, хлопнув в ладоши в знак того, что мне окончательно пора уходить. Я и до этого делал попытки с ним расстаться, но не такие решительные. Он меня ужасно утомил.

— Торопитесь наверх? — спросил он. Изо рта у него послышался странный звук, будто лязгнули зубы.

— Да! Тороплюсь!

Я был зван в гости, о чем сразу же предупредил, и мне следовало давно уже быть наверху, где меня ждали, а не стоять у ворот, глядя куда-то вбок, мимо ушей моего случайного спутника. А тут мы еще замолчали, словно расположились здесь надолго. Нашему молчанию вторили обступившие нас дома и темнота на всем пространстве от крыш до самых звезд. И только шаги невидимых прохожих, чьи пути-дороги были мне безразличны, и ветер, прижимавшийся к противоположной стороне улицы, и граммофон, надрывавшийся за чьими-то запертыми окнами, распоряжались этой тишиной, словно они от века и навек ее полновластные хозяева.

Мой провожатый покорился неизбежности и с улыбкой, говорившей о сожалении — как его, так и якобы моем,— вытянул руку вдоль каменной ограды и, закрыв глаза, прислонился к ней головой.

Но я не стал провожать его улыбку взглядом — внезапный стыд заставил меня отвернуться. Только по улыбке догадался я, что передо мной самый обыкновенный проходимец из тех, что обманывают простаков. А ведь я не первый месяц в городе, мне ли не знать эту братию! Я не раз наблюдал, как такой

пройдоха вечерами показывается из-за угла, гостеприимно простирая руки, словно трактирщик; как он толчется у афишной тумбы, перед которой вы стали, будто играет в прятки, но уже непременно хоть одним глазком подглядывает за вами; как на перекрестках, где вы невольно теряетесь, он выскакивает точно из-под земли и ждет вас на самом краю тротуара. Уж я-то вижу их насквозь, ведь это были мои первые городские знакомые, встреченные в захудалых харчевнях, и это им я обязан первыми уроками той неуступчивости, которая, как я успел убедиться, присуща всему на земле, так что я уже ощущаю ее и в самом себе. Такой субъект станет против вас и не сдвинется с места, хоть вы давно от него ускользнули и некого больше обманывать. Он не сядет, не ляжет и не упадет наземь, а все будет пялиться на вас, стараясь обмануть и на расстоянии! И у всех у них одни и те же приемы: станут поперек дороги, стараясь отвлечь вас от вашей цели, предлагая взамен для постоя собственную грудь; а когда вы наконец придете в ярость, бросятся к вам с распахнутыми объятиями.

И эти-то надоевшие фокусы я лишь сегодня распознал, до одури навозившись с тем субъектом. Я изо всех сил тер себе кончики пальцев, стараясь стряхнуть этот позор.

А субъект все стоял, прислонясь к стене, по-прежнему полагая себя пройдохой, и довольство собой румянило его щеки.

— Вы разгаданы! — крикнул я и даже легонько хлопнул его по плечу.

А потом взбежал по лестнице, и беспричинно преданные лица слуг в прихожей были для меня приятной неожиданностью. Я смотрел на одного, на другого, пока они снимали с меня пальто и обмахивали мне штиблеты. А потом вздохнул с облегчением и, выпрямившись во весь рост, вошел в гостиную.

ВНЕЗАПНАЯ ПРОГУЛКА

Вечером, когда ты, кажется, окончательно решил остаться дома, надел халат, сидишь после ужина за освещенным столом и занялся такой работой или такой игрой, закончив которую обычно ложишься спать, когда погода на дворе стоит скверная, так что сам бог велит не выходить из дому, когда ты уже так долго просидел за столом, что своим уходом сейчас удивил бы, когда и на лестнице уже темно и парадное запер-

то, а ты, несмотря на все это, с внезапным недовольством встаешь, меняешь халат на пиджак, сразу оказываешься одетым для выхода, объявляешь, что должен уйти, и после краткого прощанья уходишь и вправду, вызвав у оставшихся большее или меньшее, в зависимости от поспешности, с какой ты захлопнул за собой дверь, раздражение, когда ты приходишь в себя на улице и все части твоего тела отвечают на эту уже нежданную свободу, которую ты им дал, особой подвижностью, когда чувствуешь, что одним этим решеньем ты собрал в себе всю отпущенную тебе решительность, когда с большей, чем обычно, ясностью понимаешь, что ведь у тебя больше силы, чем потребности легко совершить и вынести самую быструю перемену, и когда так шагаешь по длинным улицам — тогда ты на этот вечер полностью отрешаешься от своей семьи, она уходит в бесплотность, а сам ты, до черноты резко очерченным монолитом, вовсю подхлестывая себя, поднимаешься к истинному своему облику.

Все это только усиливается, если в этот поздний вечерний час навестишь друга, чтобы посмотреть, как живется ему.

РЕШЕНИЯ

Вырваться из жалкого состояния легко, наверно, даже нарочитым усилием. Я сорвусь с кресла, обегу стол, пошевелю головой и шеей, зажгу огонь в глазах, напрягу мышцы вокруг них. Буду противодействовать каждому чувству, бурно приветствовать А., если он сейчас явится, любезно терпеть Б. у себя в комнате, жадными глотками, несмотря на боль и тягость, вливать в себя все, что скажет В.

Но даже если это удастся, с каждой ошибкой — а они неизбежны — все это, и легкое, и трудное, будет стопориться, и мне придется вернуться по кругу назад.

Поэтому все же самое правильное — сносить все, быть незыблемым, как тяжелая масса, и, даже если чувствуешь, что тебя как бы ветром сдуло, не трепыхаться напрасно, глядеть на другого взглядом животного, не чувствовать раскаянья, короче, собственноручно подавить то, что еще в виде призрака осталось от жизни, то есть умножить в себе последний, совсем уже могильный покой и не признавать ничего, кроме него.

Характерный жест такого состояния — это движенье проведенного над бровями мизинца.

ПРОГУЛКА В ГОРЫ

Не знаю,— вокликнул я беззвучно,— я же не знаю. Раз никто не идет, так никто и не идет. Я никому не сделал зла, мне никто не сделал зла, но помочь мне никто не хочет. Никто, никто. Ну и подумаешь. Только вот никто не поможет мне, а то эти Никто-Никто были бы даже очень приятны. Я бы очень охотно — почему нет? — совершил прогулку в компании таких Никто-Никто. Разумеется, в горы, куда же еще? Сколько их, и все они прижимаются друг к другу, сколько рук, и все они переплелись, схватились вместе, сколько ног, и все они топчутся вплотную одна к другой. Само собой, все во фраках. Вот так мы и идем. Ветер пробирается всюду, где только между нами осталась щелочка. В горах дышится так свободно! Удивительно еще, что мы не поем.

ГОРЕ ХОЛОСТЯКА

До чего кажется скверно — остаться холостяком, в старости, с трудом сохраняя достоинство, просить, чтобы тебя приняли, если тебе захотелось провести вечер с людьми, болеть и неделями смотреть из угла своей постели на пустую комнату, всегда прощаться перед парадным, никогда не взбираться по лестнице рядом с женой, иметь в своей комнате лишь боковые двери, которые ведут в чужие жилища, приносить домой свой ужин в одной руке, любоваться чужими детьми и не сметь непрестанно повторять: «У меня нет их», уподобляться по внешности и повадкам одному или двум холостякам из воспоминаний молодости.

Так оно и будет, только и в самом деле выступать в этой роли сегодня и потом будешь ты сам, с телом и головой, а значит, и со лбом, чтобы хлопать по нему ладонью.

КУПЕЦ

Возможно, и есть такие, в которых я возбуждаю чувство жалости, но я этого не ощущаю. Моя небольшая торговая контора требует от меня столько забот, что голова трещит, а особых перспектив я не вижу, ведь дело-то у меня очень небольшое. Я уже заранее должен обо всем распорядиться, следить, чтобы приказчик ничего не забыл, предостеречь его от возможных ошибок и каждый сезон учитывать моды сле-

дующего, и не то, что будут носить в моем кругу, а то, что понравится далекому провинциальному покупателю.

Мои деньги в чужих руках; обстоятельства этих людей мне неизвестны; я не могу предвидеть, какая беда на них обрушится; как же я могу ее предотвратить? Что, если одних обуял дух расточительства и они кутят где-нибудь в ресторане, а другие не сегодня-завтра сбегут в Америку, а пока кутят вместе с ними?

Когда наконец вечером, после рабочего дня, я запираю свою контору и мне вдруг становится ясно, что в течение нескольких часов я не буду трудиться на пользу своего дела, требующего от меня непрестанных хлопот, вот тут-то ко мне возвращается, словно отхлынувшая обратно волна, остаток той энергии, которой я зарядился с утра; меня распирает от этой ни на что не направленной энергии, она рвется наружу и увлекает меня за собой.

Однако я не могу воспользоваться таким своим настроением; все, что я могу сделать,— это пойти домой, потому что лицо и руки у меня грязные и потные, костюм в пятнах и пыли, на голове рабочая кепка, а на ногах башмаки, исцарапанные гвоздями от ящиков. Я несусь, как на волнах, прищелкиваю пальцами то одной, то другой руки, глажу по головке встречных детишек.

Но идти мне недалеко. Я уже дома, открываю дверцу лифта и вхожу в кабину.

И вижу, что я вдруг совершенно один. Другие, которым приходится подыматься пешком, утомляются и не могут отдышаться, дожидаясь, пока им отворят дверь, у них есть повод для недовольства и раздражения, они входят в переднюю, вешают шляпу, идут по коридору мимо нескольких застекленных дверей к себе в комнату и только там оказываются одни.

А я уже сейчас в лифте один и смотрю, опершись на колени, в узенькое зеркало. Когда лифт начинает подыматься, я говорю: «Успокойтесь, отойдите, куда вам хочется, под сень деревьев, за оконные портьеры, в зелень беседок!»

Я говорю с озлоблением. А за матовыми стеклами кабины скользят вниз лестничные перила, словно течет быстрая река.

«Летите прочь; пусть ваши крылья, которых я ни разу не видел, унесут вас в деревню или в Париж, если уж вас так тянет туда.

Но посмотрите в окно, когда со всех трех улиц на площадь вливаются демонстрации, не уступая друг другу дороги, пере-

путываясь, а за их последними рядами уже снова возникает пустая площадь. Машите платками, возмущайтесь, умиляйтесь, славьте нарядную даму, проезжающую мимо.

Перейдите по деревянному мостику через речушку, улыбнитесь купающимся детям, порадуйтесь громовому «ура» тысячи матросов на дальнем крейсере.

Пойдите следом за незаметным прохожим и, затащив в подворотню, ограбьте его, а потом, засунув руки в карманы, поглядите каждый, как он печально побредет дальше и свернет за угол.

Скачущие врассыпную полицейские осаживают коней и оттесняют вас. Ну и пусть, безлюдные улицы портят им настроение. Вот, пожалуйста, они уже едут обратно по двое в ряд, шагом огибают угол улицы, вскачь несутся через площадь».

Пора выходить. Я спускаю лифт, звоню, горничная открывает дверь, и я здороваюсь с ней.

РАССЕЯННО ГЛЯДЯ В ОКНО

Что будем делать в эти весенние дни, которые теперь быстро наступают? Сегодня утром небо было серое, а подойдя к окну сейчас, удивляешься и прижимаешься щекой к ручке окна.

Внизу видишь свет уже, правда, низкого солнца на лице девочки, которая идет и оглядывается, и одновременно видишь на нем тень мужчины, который ее догоняет.

Но вот уже мужчина прошел, и лицо ребенка совсем светлое.

ДОРОГА ДОМОЙ

Вот она, убедительность воздуха после грозы! Мои заслуги предстают передо мной и подавляют меня, хотя я и не упираюсь.

Я шагаю, и мой темп — это темп этой стороны улицы, этой улицы, этого квартала. Я по праву ответствен за всякий стук в двери, по крышкам столов, за все застольные здравицы, за влюбленные пары в своих постелях, в лесах новостроек, прижатые в темных улицах к стенам домов, на кушетках борделей.

Я оцениваю свое прошлое в сравнении со своим будущим, но и то, и другое нахожу превосходным, ни того, ни другого не могу предпочесть и порицаю лишь несправедливость Провидения, которое так благоволит ко мне.

Только войдя в свою комнату, я становлюсь немного задумчив, хотя ничего такого, о чем бы стоило задуматься, я, поднимаясь по лестнице, не нашел. Мне не очень помогает то, что окно настежь открыто и что в каком-то саду еще играет музыка.

БЕГУЩИЕ МИМО

Когда мы ночью идем по улице, а навстречу нам бежит человек,— он виден уже издалека, ибо улица перед нами идет в гору и луна полная,— мы не схватим его, даже если он слаб и оборван, даже если кто-то бежит за ним и кричит, нет, мы позволим ему бежать дальше.

Ведь сейчас ночь, и не наше дело, что улица перед нами идет в гору при полной луне, к тому же, может быть, эти двое устроили гонку для собственной забавы, может быть, оба преследуют третьего, может быть, первого преследуют ни за что, может быть, второй хочет убить его и мы окажемся совиновны в убийстве, может быть, эти двое понятия не имеют друг о друге и просто каждый на свой страх бежит к своей постели, может быть, это лунатики, может быть, первый вооружен.

И наконец, разве мы не могли устать, разве не выпили так много вина? Мы рады, что и второго уже не видим.

ПАССАЖИР

Я стою на площадке трамвайного вагона, и у меня нет никакой уверенности насчет моего положения в этом мире, в этом городе, в своей семье. Даже приблизительно я не мог бы сказать, какие притязания вправе я на что-либо предъявить. Я никак не могу оправдать того, что стою на этой площадке, держусь за эту петлю, еду в этом вагоне, что люди сторонятся, пропуская вагон, или замедляют шаг, или останавливаются перед витринами... Никто этого от меня и не требует, но это безразлично.

Вагон приближается к остановке, девушка подходит к ступенькам, готовясь выйти. Она предстает передо мной так

отчетливо, словно я ощупал ее. Она в черном, складки юбки почти неподвижны, блузка в обтяжку, с воротничком из белого густого кружева, левую руку она прижала ладонью к стене, зонтик в правой стоит на второй сверху ступеньке. Лицо у нее смуглое, кончик носа, по бокам слегка вдавленного, округл и широк. У нее обильные каштановые волосы, чуть растрепавшиеся на правом виске. Маленькое ухо почти притерто, но мне, поскольку я стою близко, видна вся тыльная сторона правой раковины и тень у самой ложбинки.

Я спросил себя тогда: как это получается, что она не дивится себе, что она не раскрывает рта и ничего такого не говорит?

ПЛАТЬЯ

Когда я вижу на красивых девушках красивые платья с пышными складками, рюшами и всяческой отделкой, мне часто приходит на ум, что платья не долго сохранят свой вид: *складки сомнутся* и их уже не разгладить, *отделка запылится* и ее уже не очистить, и ни одна женщина не захочет изо дня в день с утра до вечера носить то же самое роскошное платье, ибо она побоится показаться жалкой и смешной.

Однако я вижу красивых девушек с хрупкими изящными фигурками, с очаровательными личиками, гладкой кожей и пышными волосами, которые изо дня в день появляются в той же самой данной им от природы маске и, подперев то же самое личико теми же самыми ладонями, любуются на свое отражение в зеркале.

Только иногда, когда они поздно вечером вернутся с бала и взглянут в зеркало, им вдруг покажется, что на них смотрит потрепанное, одутловатое, запыленное лицо, всеми уже виденное и перевиденное и порядком поизносившееся.

ОТКАЗ

Когда я встречаю красивую девушку и прошу ее: «Будь добра, пойди со мной»,— а она молча проходит мимо, она хочет этим сказать:

«Ты не герцог с громким именем, не широкий американец с телосложением индейца, с горизонтально-спокойными глазами, с кожей, овеянной воздухом лугов и бегущих через них рек, ты не путешествовал к большим озерам и по ним, кото-

рые находятся сама не знаю где. Вот и спрашивается, зачем мне, красивой девушке, идти с тобой?»

«Ты забываешь, тебя не мчат сквозь улицы, плавно качаясь, автомобили; я не вижу, чтобы за тобой правильным полукругом следовали, бормоча благословения тебе, затянутые в костюмы господа из твоей свиты; твои груди хорошо упрятаны в корсаж, но твои ляжки и бедра вознаграждают себя за эту воздержанность; ты носишь платье из тафты с плиссировкой, как то прошлой осенью доставляло удовольствие решительно всем нам, и все-таки ты улыбаешься — иногда,— нося на теле эту опасность для жизни».

«Да, мы оба правы и, чтобы нам неопровержимо не осознать это, пойдем лучше по домам врозь».

НАЕЗДНИКАМ К РАЗМЫШЛЕНИЮ

Ничто, если вдуматься, не может соблазнить быть первым на скачках.

Слава, что ты признан лучшим наездником страны, радует при первых звуках оркестра слишком уж сильно, чтобы избежать раскаянья на следующее утро.

Зависть противников, людей хитрых и довольно влиятельных, не может не причинить нам боль в узком проезде, который мы проскакиваем теперь после той равнины, что вскоре оказалась перед нами пуста, когда и несколько обойденных соперников ничтожно метнулись за горизонт.

Многие наши друзья спешат получить выигрыш и лишь через плечо кричат нам «ура» от отдаленных окошек касс; а самые лучшие друзья и вовсе не ставили на нашу лошадь, боясь в случае проигрыша разозлиться на нас, и теперь, поскольку наша лошадь пришла первой и они ничего не выиграли, отворачиваются, когда мы проезжаем мимо, и предпочитают оглядывать трибуны.

Конкуренты сзади, твердо держась в седле, стараются осмыслить неудачу, постигшую их, и обиду, которая им как-никак наносится; они принимают бодрый, словно начнется новая скачка, и серьезный вид после этой детской игры.

Многим дамам победитель кажется смешным, потому что он пыжится и все же не знает, что делать с нескончаемыми рукопожатиями, салютованиями, поклонами и приветствиями издали, в то время как побежденные молча похлопывают по холке своих лошадей, а те ржут.

Наконец и вовсе начинает лить дождь с помрачневшего неба.

ОКНО НА УЛИЦУ

Кто живет одиноко, но иногда все-таки хочет приобщиться к чему-то, кто с учетом времени суток, погоды, условий работы и тому подобного хочет немедленно увидеть любую руку, за которую он мог бы ухватиться,— тот без окна на улицу долго не выдержит. Да и в том случае, если он ничего не ищет, а только, усталый, поводя взглядом между небом и публикой, подходит к своему подоконнику, нехотя и чуть запрокинув голову,— да и тогда лошади внизу увлекут его в свое сопровождение, состоящее из повозки и шума, а тем самым в конечном счете к человеческому согласию.

ЖЕЛАНИЕ СТАТЬ ИНДЕЙЦЕМ

Быть бы индейцем, готов хоть сейчас, и на мчащейся лошади, наискось в воздухе, коротко вздрагивать над дрожащей землей, а потом отпустить шпоры, ибо нет шпор, а потом отбросить поводья, ибо нет поводьев, и едва видеть перед собой землю выкошенной догола степью, уже без холки, уже без головы лошади.

ДЕРЕВЬЯ

Ибо мы как срубленные деревья зимой. Кажется, что они просто скатились на снег, слегка толкнуть — и можно сдвинуть их с места. Нет, сдвинуть их нельзя — они крепко примерзли к земле. Но, поди ж ты, и это только кажется.

ТОСКА

Когда мне стало совсем уж невмоготу — это случилось в ноябрьские сумерки — и я, как по беговой дорожке, бегал по ковровой дорожке у себя в комнате туда и обратно, туда и обратно, и, увидя в окно освещенную улицу, пугался, поворачивал назад, и обретал в глубине зеркала на другом конце комнаты новую цель, и кричал только для того, чтобы услышать крик, хоть и знал, что на него ничто не откликнется и ничто его не ослабит, что он возникнет и ничто его не удержит и он не кончится, даже когда замолкнет,— и тут вдруг прямо

в стене открылась дверь, открылась очень поспешно, потому что надо было спешить, и даже извозчичьи лошади на улице, заржав, взвились на дыбы, как обезумевшие в бою кони.

Из совсем темного коридора, в котором еще не зажигали лампы, возник, словно маленькое привидение, ребенок и встал на цыпочки на чуть заметно качающейся половице. Сумеречный свет в комнате ослепил его, и он уже хотел *закрыть лицо руками, но неожиданно успокоился, взглянув* на окно, за которым темнота поборола наконец высоко поднявшуюся светлую дымку от уличных фонарей. Касаясь правым локтем стены, ребенок стоял в открытой двери на сквозняке, и ветер овевал его ноги, шею, виски.

Я покосился на него, потом сказал: «Добрый день» — и взял с экрана перед печкой пиджак, потому что не хотел стоять здесь так, полуодетым. На миг я открыл рот, чтобы выдохнуть волнение. Во рту был плохой вкус, у меня дрожали ресницы, короче говоря, недоставало только этого давно, впрочем, предвиденного посещения.

Ребенок все еще стоял у стены, на том же месте, он касался правой ладонью стены и, разрумянившись от удовольствия, тер кончиками пальцев шершавую оштукатуренную стену. Я спросил:

— Вы действительно пришли ко мне? Это не ошибка? В таком большом доме ошибка всегда возможна. Я такой-то, живу на четвертом этаже. Так как же, вы хотите видеть именно меня?

— Спокойно, спокойно,— небрежно сказал ребенок,— все правильно.

— Тогда входите в комнату, я хотел бы закрыть дверь.

— Я уже закрыл дверь. Не утруждайте себя. Вообще успокойтесь.

— Какой же это труд? Но в коридоре много жильцов, и я, разумеется, со всеми знаком; большинство сейчас как раз возвращаются со службы; если они услышат в комнате разговор, они просто сочтут себя вправе открыть дверь и посмотреть, что здесь происходит. Тут ничего не поделаешь. Трудовой день кончился; они на время свободны, не станут же они со мной считаться! Да вы и сами это знаете. Дайте я закрою дверь.

— Ну и что же? Что это вы, право? По мне, пусть хоть весь дом приходит. А потом, повторяю: я уже закрыл дверь; вы

думаете, только вы умеете закрывать дверь? Я даже запер ее на ключ.

— Тогда все в порядке. Больше мне ничего не требуется. На ключ можно было даже не запирать. А теперь, раз уж вы пришли, располагайтесь поудобнее. Вы мой гость. Меня бояться вам нечего. Не стесняйтесь, будьте как дома. Я не собираюсь ни задерживать вас, ни прогонять. Неужели мне надо это говорить? Что вы, меня не знаете?

— Да, вам действительно не надо было это говорить. Больше того, вы не должны были это говорить. Я еще ребенок; к чему столько церемоний?

— Что вы, помилуйте. Разумеется, вы еще ребенок. Но не такой уж маленький. Вы уже подросток. Если бы вы были девочкой, вам бы не следовало так вот просто взять и запереться со мной в комнате.

— Об этом не стоит беспокоиться. Я только хотел сказать: то, что я вас хорошо знаю, для меня не такая уж гарантия, это только избавляет вас от труда лгать мне. К чему эти церемонии! Бросьте, бросьте, пожалуйста. К тому же я вас не так хорошо знаю, я не во всем и не всегда в вас разбираюсь, особенно в такой темноте. Хорошо бы зажечь свет. Нет, лучше не надо. Во всяком случае, я запомню, что вы мне угрожали.

— Что? Я угрожал вам? Но помилуйте, я так рад, что вы наконец пришли. Я сказал «наконец», потому что уже поздно. Мне непонятно, почему вы пришли так поздно. Возможно, что я обрадовался и в волнении наговорил всякой всячины, а вы меня не так поняли. Охотно допускаю, что наговорил всякой всячины и даже, если хотите, угрожал вам. Только, ради бога, не надо ссориться! Но как вы могли этому поверить? Как могли вы меня так обидеть? Почему вы хотите во что бы то ни стало испортить те короткие минуты, что вы здесь? Посторонний и тот бы постарался быть внимательнее, подойти к человеку ближе.

— Охотно верю; подумаешь, открытие! Я по самой своей природе ближе вам, чем любой посторонний, как бы он ни старался. Это вы тоже знаете, к чему же тогда такие жалобы? Скажите лучше, что это кривлянье, и я сейчас же уйду.

— Вот как! Однако наглости у вас хватает! Вы слишком осмелели. В конце концов, вы все же в моей комнате и как сумасшедший трете пальцы о мою стену. Это моя комната, моя стена! И, кроме того, все, что вы говорите, не только дерзко, но и смешно. Вы говорите, что по самой своей природе вынуждены так со мной разговаривать. Это правда? Вынуждены по самой своей природе? Очень мило со сто-

роны вашей природы. Ваша природа — это моя природа, и если я по своей природе любезен с вами, то и вы тоже обязаны быть любезны.

— А вы любезны?

— Я был любезен.

— Почем вы знаете, может, и я еще буду любезен.

— Ничего я не знаю.

И я подошел к ночному столику и зажег стоявшую на нем свечу. В ту пору у меня в комнате не было ни газового, ни электрического освещения. Я посидел еще некоторое время за столом, пока мне это не надоело, затем надел пальто, взял с дивана шляпу и задул свечу. Выходя, я задел за ножку кресла.

На лестнице я встретился с жильцом с моего этажа.

— Опять уходите из дому, вот бездельник! — сказал он, шагнув через две ступеньки и остановившись.

— А что прикажете делать? — ответил я.— Сейчас у меня в комнате было привидение.

— Вы говорите таким недовольным тоном, словно вам в супе попался волос.

— Шутить изволите. Но заметьте, привидение — это привидение.

— Истинная правда. А что, если вообще не веришь в привидения?

— А я, по-вашему, верю в привидения? Но что толку от моего неверия?

— Очень просто. Попытайтесь преодолеть страх, когда к вам в самом деле пожалует привидение.

— Да, но суть не в этом страхе. Настоящий страх — это страх перед причиной явления. А этот страх остается. Он меня мучает. — Я нервничал и от волнения рылся во всех карманах.

— Но раз вы не боитесь самого привидения, почему вы его не спросили о причине его появления?

— Очевидно, вы еще ни разу не говорили с привидениями. Разве от них дождешься вразумительного ответа! Все только вокруг да около. Впечатление такое, будто они больше нас сомневаются в своем существовании, что, впрочем, не так уж удивительно при их хилости.

— А знаете, я слышал, что их можно откормить.

— Вы хорошо осведомлены. Можно. Но кому охота?

— А почему же? Если это, например, привидение женского пола,— сказал он и шагнул на верхнюю ступеньку.

— Ах, так, но даже и в таком случае не стоит,— сказал я.

Я опомнился. Сосед поднялся уже выше, и, чтобы увидеть меня, ему пришлось наклониться вперед и вытянуть шею.

— Но все же,— крикнул я,— если вы попробуете, придя наверх, забрать себе мое привидение, тогда между нами все кончено раз и навсегда.

— Да я ведь просто пошутил,— сказал он и втянул голову.

— В таком случае все в порядке,— сказал я. Теперь я, собственно, мог спокойно отправиться на прогулку. Но я чувствовал себя таким одиноким и потому предпочел подняться наверх и лечь спать.

БОЛЬШОЙ ШУМ

Я сижу в своей комнате, в обиталище шума всей квартиры. Слышу, как хлопают все двери, из-за их шума я избавлен только от шагов тех, кто в них проходит, даже когда в кухне захлопывается печная заслонка, я это слышу. Отец прорывается через двери моей комнаты и проходит в волочащемся сзади халате; из печи в соседней комнате выгребают золу; Валли, выкрикивая через переднюю слово за словом, спрашивает, вычищена ли уже отцовская шляпа; чье-то шипенье, которое хочет быть в дружбе со мной, только вызывает крик какого-то отвечающего голоса. Отпираемая нажимом на ручку входная дверь скрипит как катаральное горло, затем, отворяясь, воет женским голосом и наконец запирается с глухим, мужским толчком, который на слух бесцеремонней всего. Отец ушел, теперь начинается более легкий, более рассеянный, более безнадежный шум, возглавляемый голосами двух канареек. Я уже раньше думал об этом, канарейки напоминают мне это снова — не следует ли чуть приоткрыть дверь, проползти как змея в соседнюю комнату и так, на полу, попросить тишины у моих сестер и их гувернантки.

СБОРНИК «КАРЫ»

ПРИГОВОР

Было чудесное весеннее воскресное утро. Георг Бендеман, молодой коммерсант, сидел у себя в кабинете на первом этаже невысокого домика на берегу реки, вдоль которой вытянулся целый ряд домиков того же типа, отличающихся один от другого, пожалуй, только окраской и высотой. Он как раз кончил письмо к другу молодости, живущему за границей, потом с нарочитой медлительностью вложил его в конверт и, облокотясь на письменный стол, стал смотреть в окно на реку, мост и начинающие зеленеть холмы на том берегу.

Он думал о том, что этот друг, недовольный тем, как у него шли дела на родине, несколько лет тому назад форменным образом сбежал в Россию. Теперь у него было торговое дело в Петербурге, которое вначале пошло очень хорошо, но за последние годы как будто разладилось, на что в каждый из своих приездов, от раза к разу все более редких, жаловался друг. Так он и трудился на чужбине без большой для себя выгоды: знакомое с детства лицо, нездоровая желтизна которого наводила на мысль о развивающейся болезни, осталось все тем же, несмотря на чужеземную бороду. По его словам, у него не установилось близких отношений с тамошней колонией его земляков, но и в русские семьи он был не очень-то вхож и, таким образом, обрек себя на холостяцкую жизнь.

Что можно написать такому явно зашедшему в тупик человеку? Ему можно посочувствовать, но помочь нельзя. Не посоветовать ли ему вернуться домой, продолжить свое существование здесь, возобновить старые связи — ведь этому никто не мешает,— а в остальном положиться на помощь друзей? Но ведь это же значит сказать ему — и чем мягче это будет сделано, тем болезненнее он это воспримет,— что до сих пор его старания не увенчались успехом, что ему надо

отказаться от своей затеи и ехать домой, где на него будут указывать пальцем, как на неудачника, вернувшегося на родину, это значит сказать ему, что его друзья, никуда не уезжавшие и преуспевающие дома,— люди деловые, а он большой ребенок и ему остается одно: во всем следовать их советам. Да притом еще разве можно быть уверенным, что не зря причинишь ему столько мучений? Возможно, что вообще не удастся убедить его вернуться домой — ведь он сам говорил, что уже отвык от здешних условий,— и тогда он вопреки здравому смыслу останется на чужбине, уговоры его только озлобят, и он еще дальше отойдет от прежних друзей. Если же он все-таки последует советам, а потом будет чувствовать себя здесь униженным — разумеется, не по вине людей, а по вине обстоятельств,— если он не сойдется с прежними друзьями, а без них не станет на ноги, если он будет стесняться и стыдиться своего положения и почувствует, что теперь у него действительно нет больше родины и друзей, не лучше ли тогда для него остаться на чужой стороне, как бы туго ему там ни жилось? Можно ли в таком случае предполагать, что он здесь поправит свои дела?

По этим соображениям не следует сообщать ему, если вообще продолжать с ним переписку, о себе то, что без всяких опасений напишешь просто знакомому. Друг уже больше трех лет не был на родине и давал этому весьма неубедительное объяснение — в России-де очень неопределенное политическое положение, мелкому коммерсанту нельзя отлучаться даже на самый короткий срок. А между тем сотни тысяч русских спокойно разъезжают по всему свету. А ведь именно за эти три года произошли большие перемены в жизни самого Георга. О кончине матери, случившейся около двух лет тому назад, и о том, что с тех пор он, Георг, и его старый отец ведут сообща хозяйство, друг его, правда, еще успел узнать и выразил в письме свое соболезнование, но весьма сухо, причина чего, вероятно, крылась в том, что на чужбине невозможно себе представить всю горечь такой утраты. С тех пор он, Георг, гораздо энергичнее взялся за свое торговое дело, как, впрочем, и за все остальное. Возможно, что при жизни матери отец не давал ему развернуться, так как в делах признавал только собственный авторитет, возможно, что после смерти матери отец хоть и продолжал работать, но стал менее деятелен, возможно — и даже так оно, по всей вероятности, и было,— значительно более важную роль здесь сыграло счастливое стечение обстоятельств,— так или иначе, но за эти два года фирма Бендеман процвела так, как и ожидать нель-

зя было, пришлось взять вдвое больше служащих, торговый оборот увеличился в пять раз, можно было не сомневаться и в дальнейшем преуспевании.

Но друг ничего не знал о такой перемене. Раньше — последний раз как будто в том письме, в котором он выражал свое соболезнование,— он всячески уговаривал Георга перебраться в Россию и пространно писал о тех перспективах, которые сулит Петербург именно для его, Георга, рода торговли. Цифры, которые называл друг, были совсем незначительны в сравнении с тем размахом, который приобрело торговое дело Георга. Но Георгу не хотелось писать другу о своих успехах в коммерции, а если бы он это сделал теперь, задним числом, это действительно могло бы произвести странное впечатление.

И поэтому Георг обычно ограничивался тем, что сообщал другу о всяких пустяках, которые приходят в голову, когда в воскресенье сидишь и не спеша вспоминаешь вперемежку все что угодно. Ему хотелось одного — не нарушить того представления, которое за долгий период отсутствия сложилось у его друга о родном городе и которым тот удовлетворился. Вот так оно и получилось, что Георг в трех письмах, разделенных довольно большими промежутками, сообщил другу о помолвке достаточно безразличного им обоим человека с не менее безразличной им девушкой, так что в конце концов даже заинтересовал друга этим событием, хотя это совсем не входило в намерения Георга.

Но Георгу было приятнее писать ему о таких делах, чем сообщать, что месяц тому назад он сам обручился с фрейлейн Фридой Бранденфельд — девушкой из состоятельной семьи. Он часто говорил с невестой о своем друге и о той особой позиции, которую занял в переписке с ним.

— Значит, он не будет у нас на свадьбе? — спросила она.— Но ведь я могу претендовать на знакомство со всеми твоими друзьями.

— Я не хочу беспокоить его,— ответил Георг.— Постарайся понять меня: он, конечно, приехал бы, по крайней мере, я так полагаю, но он стеснялся бы и чувствовал бы себя несчастным, возможно, он позавидовал бы мне и, уж конечно, был бы недоволен — и не мог бы побороть свое недовольство — тем, что возвращается один. Один — ты понимаешь, что это значит?

— Но разве он не может узнать о нашей свадьбе стороной?

— Этому я, конечно, помешать не могу, но при том образе жизни, который он ведет, это маловероятно.

— Если твои друзья таковы, то тебе, Георг, вообще не следовало бы жениться.

— Ну, тут мы с тобой оба виноваты. Но я не жалуюсь.

И она, прерывисто дыша под его поцелуями, сказала:

— А мне все же обидно.

Он подумал, что и вправду не так уж страшно написать другу обо всем. «Я таков, и пусть берет меня таким, как я есть,— решил он.— Не могу же я переделать себя в угоду нашей дружбе». И в длинном письме, которое он написал этим воскресным утром, он действительно сообщил ему о своей помолвке в следующих словах: «Самую приятную новость я приберег к концу. Я обручился с фрейлейн Фридой Бранденфельд, девушкой из состоятельной семьи, переехавшей в наш город несколько лет спустя после твоего отъезда, так что ты вряд ли ее знаешь. При случае я напишу тебе подробнее о моей невесте, а сегодня достаточно будет сказать, что я очень счастлив и что наши с тобой отношения изменились только в одном — до сих пор у тебя был просто друг, а теперь у тебя будет очень счастливый друг. Кроме того, в моей невесте, которая скоро сама тебе напишет, а пока просит передать сердечный привет, ты найдешь искреннего друга, что для холостяка не такое уж малое приобретение. Я знаю, обстоятельства таковы, что удерживают тебя от приезда к нам, но разве моя свадьба не достаточное основание, чтобы пренебречь всеми препятствиями? Как бы там ни было, считайся только с собой и действуй по своему усмотрению».

Георг долго сидел за письменным столом, глядя в окно и вертя письмо в руке. На поклон знакомого, который проходил мимо по улице, он ответил рассеянной улыбкой.

Наконец он сунул письмо в карман и прошел по короткому коридору в расположенную напротив спальню отца, куда не показывался уже несколько месяцев. Да в этом и не было нужды, потому что они постоянно встречались у себя в магазине и обедали одновременно в ресторане; вечером, правда, каждый сам заботился о своем ужине, но потом, в тех случаях, когда Георг не проводил время с друзьями или невестой, что теперь случалось довольно часто, они обычно сидели еще с полчасика вместе в общей гостиной, каждый уткнувшись в свою газету. Георг удивился, что у отца в спальне темно даже в такое солнечное утро. Как, значит, затемняет комнату, выходящую в узкий двор, высокая стена напротив. Отец сидел у окна в углу, наполненном всевозможными реликвиями, напо-

минающими о покойной матери, и читал газету, которую держал перед глазами как-то боком, стараясь приспособиться и помочь своему слабеющему зрению. Со стола не были убраны остатки завтрака, по-видимому, почти не тронутого.

— А, это ты, Георг,— сказал отец и сразу поднялся ему навстречу. Его тяжелый халат распахнулся, полы развевались при ходьбе. «Мой отец все еще богатырь»,— подумал Георг.

— Здесь же страшно темно,— сказал он.

— Да, это верно, темно,— ответил отец.

— И окно закрыто.

— Мне так больше нравится.

— На дворе теплынь,— заметил Георг, как бы продолжая сказанное раньше, и сел.

Отец взял со стола посуду и поставил ее на ящик.

— Я, собственно, пришел только затем, чтобы сказать тебе,— продолжал Георг, рассеянно следя за движениями отца,— что все же написал сегодня в Петербург о моей помолвке.

Он вытащил было письмо из кармана, но тотчас же опустил его обратно.

— В Петербург? — спросил отец.

— Моему другу,— пояснил Георг и постарался заглянуть отцу в глаза. «В магазине он совсем другой,— подумал Георг. — Как он здесь расселся в кресле и руки на груди скрестил».

— Да. Твоему другу,— сказал отец с подчеркнутым ударением.

— Ты ведь знаешь, отец, я не хотел писать ему о своей женитьбе, заботясь только о нем, ни по какой другой причине. Ты сам знаешь, он трудный человек. Я решил, пусть услышит стороной о моей свадьбе — тут уж я ничего сделать не могу, хотя при его замкнутом образе жизни это маловероятно,— но только не от меня.

— А теперь ты передумал? — спросил отец, положил газету на подоконник, а на газету — очки и прикрыл их ладонью.

— Да, теперь я передумал. Если он мой близкий друг, решил я, то должен быть счастлив моим счастьем. И поэтому я уже не колебался и написал ему. Но раньше, чем бросить письмо в ящик, я хотел сказать об этом тебе.

— Георг,— сказал отец и растянул свой беззубый рот,— послушай! Ты пришел ко мне посоветоваться. Это, разумеется, делает тебе честь. Но это ничто, это хуже чем ничто, если ты не скажешь мне всей правды. Я не хочу касаться сейчас

того, что сюда не относится. После смерти нашей дорогой мамочки творятся какие-то нехорошие дела. Возможно, и до них дойдет, и возможно, даже скорее, чем мы думаем. В нашем торговом заведении что-то от меня ускользает; может быть, от меня ничего и не скрывают — я сейчас не хочу думать, что от меня что-то скрывают,— я уже не тот, что прежде, память ослабела, я уже не могу уследить за всем. Во-первых, это естественный ход вещей, а во-вторых, смерть нашей мамочки повлияла на меня куда сильнее, чем на тебя. Но раз уж мы затронули этот вопрос в связи с твоим письмом, то прошу тебя, Георг, не лги мне. Это же мелочь, это выеденного яйца не стоит, так не лги мне. У тебя действительно есть друг в Петербурге?

Георг в смущении встал.

— Оставим в покое моих друзей. Тысяча друзей не заменит мне отца. Знаешь, что я думаю? Ты не бережешь себя. Ведь у возраста свои права. В нашем деле мне без тебя не обойтись, ты это отлично знаешь, но, если работа вредит твоему здоровью, я завтра же запру магазин, и это уже навсегда. Так не годится. Тебе надо переменить образ жизни. И при этом решительно. Ты сидишь здесь в темноте, а в гостиной яркое солнце. Ты чуть притронулся к завтраку, вместо того чтобы как следует подкрепиться. Ты сидишь при закрытом окне, а воздух был бы тебе так полезен. Нет, отец! Я позову врача, и мы будем следовать его предписаниям. Мы поменяемся спальнями, ты переедешь в комнату, которая выходит на улицу, а я сюда. Ты не почувствуешь никакой перемены, все твои вещи мы перенесем. Но это еще успеется, а сейчас ложись-ка в постель, тебе необходим покой. Давай я помогу тебе раздеться, вот увидишь: я справлюсь. А может быть, ты уже сейчас хочешь перебраться в ту комнату? Тогда пока что ложись на мою кровать. Пожалуй, так будет даже разумнее.

Георг подошел вплотную к отцу, который поник седой всклокоченной головой.

— Георг,— позвал отец чуть слышно, не подымая головы.

Георг сейчас же опустился перед ним на колени, он увидел усталое отцовское лицо, увидел, что тот скосил на него глаза с необычно расширенными зрачками.

— У тебя нет друга в Петербурге. Ты всегда был шутником, ты не удержался и подшутил и надо мной. Ну откуда быть у тебя другу в Петербурге! Я этому поверить не могу.

— Ты вспомни, отец,— сказал Георг, поднял отца с кресла и, так как тот стоял перед ним такой беспомощный, снял с него халат.— Вот уже скоро три года, как мой друг приезжал

к нам в гости. Я помню, что ты его недолюбливал. Во всяком случае, я два раза, никак не меньше, сказал тебе, что его у нас уже нет, а он сидел у меня в комнате. Такая нелюбовь мне вполне понятна, у моего друга есть свои странности. Но бывало и так, что ты охотно с ним беседовал. Я даже был горд, что ты его слушал, расспрашивал, поддакивал ему. Если ты подумаешь, ты обязательно вспомнишь. Он тогда рассказывал невероятные истории про русскую революцию. Так, раз в Киеве, куда он поехал по делам, он видел священника, который во время волнений вышел на балкон, вырезал себе на ладони большой крест и, подняв окровавленную руку, обратился к толпе. Ты же всем кому угодно рассказывал эту историю.

Между тем Георгу удалось снова усадить отца и осторожно снять с него трикотажные кальсоны, которые были надеты поверх полотняных, и носки. При виде белья далеко не первой свежести он упрекнул себя за то, что забросил отца. Следить, как часто отец меняет белье, конечно же, тоже было его обязанностью. Они с невестой еще не говорили определенно о том, как в дальнейшем устроят жизнь отца, ибо с молчаливого согласия предполагали оставить его на старой квартире. Но теперь Георг твердо решил взять его с собой в их будущий дом. Ведь если хорошенько подумать, то заботы, которыми он собирался окружить отца впредь, может статься, уже опоздали.

Георг взял отца на руки и понес в постель. Вдруг он заметил, что тот, прижавшись к его груди, играет с его цепочкой от часов, и ему стало страшно. Он не мог сразу уложить отца в постель, так крепко тот уцепился за эту цепочку.

Но очутившись в постели, он как будто опять пришел в себя. Сам укрылся, а потом натянул одеяло до подбородка. И смотрел даже ласково на Георга.

— Ты вспомнил его, ведь правда? — спросил Георг и, желая подбодрить отца, кивнул ему.

— Ты меня хорошо укрыл? — спросил отец, словно ему не было видно, закрыты ли у него ноги.

— Ты доволен, что лег в постель? — сказал Георг и подоткнул одеяло.

— Ты меня хорошо укрыл? — снова спросил отец, придавая, казалось, большое значение ответу.

— Успокойся, я тебя хорошо укрыл.

— Нет! — сразу же крикнул отец. Он отбросил одеяло с такой силой, что оно на мгновение взвилось вверх и развернулось, потом встал во весь рост в кровати. Только одной

рукой он чуть придерживался за карниз.— Ты хотел меня навсегда укрыть, это я знаю, ну и сынок! Но ты меня еще не укрыл. И если мои силы уже уходят, на тебя-то их хватит, хватит с избытком. Да, я прекрасно знаю твоего друга. Такой сын, как он, был бы мне по сердцу. Потому ты и лгал ему все эти годы. И нипочему другому! Ты думаешь, я не плакал о нем? Потому ты и запираешься у себя в конторе,— шеф занят, к нему нельзя,— только для того, чтобы без помехи писать свои двуличные письма в Россию. Но, к счастью, отец видит сына насквозь, этому его учить не надо. Теперь ты решил, что подмял отца под себя, да так, что можешь сесть на него верхом, а он и не пикнет, вот тут-то мой любезный сынок и задумал жениться!

Георг в ужасе смотрел на отца. Образ петербургского друга, которого отец вдруг отлично вспомнил, завладел Георгом, как никогда. Он видел его затерянным в далекой России. Он видел его в дверях пустого, разграбленного магазина. Вот он стоит среди поломанных полок, развороченных товаров, сорванной арматуры. И зачем он уехал так далеко!

— Нет, ты посмотри на меня! — крикнул отец, и Георг почти машинально побежал к кровати, но остановился на полпути.

— Она задрала юбку,— пропел отец,— она задрала юбку, мерзкая баба, вот так,— и, чтобы наглядно показать как, отец задрал рубашку так высоко, что на бедре открылся рубец от полученной в военные годы раны,— она задрала юбку вот так, и вот так, и вот этак, а ты в нее и втюрился, и, чтобы ничто не мешало тебе удовлетворить свою похоть, ты осквернил память матери, предал друга и сунул в постель отца, пусть лежит там и не двигается! Ну как, может он двигаться или нет?

И он стоял, ни за что не держась, и дрыгал ногами. Он сиял от сознания своей проницательности.

Георг держался в углу, как можно дальше от отца. Он уже раньше решил внимательно следить, боясь, как бы отец не напал на него каким-нибудь обходным путем — может быть, сзади, может быть, сверху. Теперь он снова вспомнил об этом уже забытом им решении и сейчас же опять забыл его, словно продернул сквозь игольное ушко короткую нитку.

— Но друг не предан! — крикнул отец и в подтверждение своих слов потряс указательным пальцем.— Я был его заступником здесь, в нашем городе.

— Комедиант! — не удержался Георг, но тут же спохватился — к сожалению, слишком поздно — и прикусил язык, да так сильно, что глаза полезли на лоб и он даже присел от боли.

— Да, конечно, я разыгрывал комедию! Комедию! Удачное слово! Чем еще оставалось утешаться бедному овдовевшему отцу? Скажи — и на ту минуту, пока отвечаешь, будь по-прежнему мне любящим сыном,— что еще оставалось мне делать здесь, в темной каморке, мне, дряхлому старику, которого предали вероломные служащие? А мой сын жил припеваючи, заключал сделки, подготовленные мною, от радости на голове ходил и смотрел на отца с недоступным видом, словно и вправду порядочный человек! Ты думаешь, я не хотел бы тебя любить? Ведь я же тебя породил!

«Сейчас он наклонится вперед,— подумал Георг.— Хоть бы он упал и расшибся!» Это слово прошуршало у него в мозгу.

Отец наклонился вперед, но не упал. И так как Георг не подбежал к нему, как можно было бы ожидать, он снова выпрямился.

— Стой там, где стоишь! Ты мне не нужен. Думаешь, у тебя есть еще силы подойти и ты не подходишь потому, что сам не хочешь? Не заблуждайся! Я все еще намного сильнее тебя. Будь я один, мне, может быть, и пришлось бы уступить, но мать отдала мне свои силы, и с твоим другом мы отлично договорились, вся твоя клиентура у меня вот здесь, в кармане!

«Ишь ты, он в нижней рубахе, а у него карманы»,— подумал Георг, и ему пришло в голову, что одной этой фразой он может погубить отца в глазах окружающих. Мысль эта только промелькнула у него в голове, так как сейчас он все тут же забывал.

— Возьми под ручку свою невесту и попробуй попасться мне на глаза! Я ее так от тебя отошью, что не обрадуешься!

Георг скривил рот, точно не веря отцу. Отец же только кивал головой в тот угол, где стоял Георг, подтверждая этим, что не шутит.

— Очень ты меня позабавил, когда явился сюда и спросил, писать ли другу о твоей свадьбе. Дурак, он все уже знает, все уже знает, все уже знает! Я написал ему, ведь ты же забыл спрятать от меня перо и бумагу. Поэтому он уже несколько лет не приезжает, он все в сто раз лучше тебя знает, твои письма он, не читая, бросает в корзину, а мои читает и перечитывает!

Он так воодушевился, что взмахнул над головой обеими руками.

— Все в тысячу раз лучше тебя знает! — крикнул он.

— В десять тысяч раз! — сказал Георг, желая подразнить отца, но, еще не сорвавшись с губ, слова эти прозвучали чрезвычайно серьезно.

— Я уже не первый год жду, что ты обратишься ко мне с этим вопросом! Ты думаешь, меня что-нибудь еще занимает, ты думаешь, я газеты читаю? На! — И он швырнул в Георга газетой, которая случайно попала в постель. Давнишняя газета с совсем незнакомым Георгу названием.— Как долго ты не решался, пока не созрел окончательно! Мать успела умереть, ей не пришлось порадоваться на сынка, друг твой погибает в своей России, уже три года тому назад он был такой желтый, что хоть на свалку неси, а я... сам видишь, какой я стал. Ты не слепой!

— Значит, ты шпионил за мной! — крикнул Георг.

— Это ты хотел, верно, раньше сказать. Сейчас это уже совсем ни к чему,— с сожалением, как бы про себя, заметил отец.

И прибавил громче:

— Итак, теперь ты знаешь — не ты один действовал, до сих пор ты знал только о себе! В сущности, ты был невинным младенцем, но еще вернее то, что ты сущий дьявол! И потому знай: я приговариваю тебя к казни — казни водой.

Георг почувствовал, словно что-то гонит его вон из комнаты, в ушах у него еще стоял шум, с которым отец грохнулся на постель.

На лестнице, по которой он сбежал, как по покатой плоскости, перепрыгивая через ступеньки, он налетел на служанку, она подымалась наверх, чтобы убрать квартиру.

— Господи Иисусе! — воскликнула она и закрыла фартуком лицо, но он уже исчез.

Выскочив из калитки, он перебежал через улицу, устремляясь к реке. Вот он уже крепко, словно голодный в пищу, вцепился в перила, перекинул через них ноги, ведь в юношеские годы, к великой гордости родителей, он был хорошим гимнастом. Держась слабеющими руками за перила, он выждал, когда появится автобус, который заглушит звук его падения, прошептал: «Милые мои родители, и все-таки я любил вас»,— и отпустил руки.

В это время на мосту было оживленное движение.

ПРЕВРАЩЕНИЕ

I

Проснувшись однажды утром после беспокойного сна, Грегор Замза обнаружил, что он у себя в постели превратился в страшное насекомое. Лежа на панцирно-твердой спине, он видел, стоило ему приподнять голову, свой коричневый, выпуклый, разделенный дугообразными чешуйками живот, на верхушке которого еле держалось готовое вот-вот окончательно сползти одеяло. Его многочисленные, убого тонкие по сравнению с остальным телом ножки беспомощно копошились у него перед глазами.

«Что со мной случилось?» — подумал он. Это не было сном. Его комната, настоящая, разве что слишком маленькая, но обычная комната, мирно покоилась в своих четырех хорошо знакомых стенах. Над столом, где были разложены распакованные образцы сукон — Замза был коммивояжером,— висел портрет, который он недавно вырезал из иллюстрированного журнала и вставил в красивую золоченую рамку. На портрете была изображена дама в меховой шляпе и боа, она сидела очень прямо и протягивала зрителю тяжелую меховую муфту, в которой целиком исчезала ее рука.

Затем взгляд Грегора устремился в окно, и пасмурная погода — слышно было, как по жести подоконника стучат капли дождя,— привела его и вовсе в грустное настроение. «Хорошо бы еще немного поспать и забыть всю эту чепуху»,— подумал он, но это было совершенно неосуществимо, он привык спать на правом боку, а в теперешнем своем состоянии он никак не мог принять это положение. С какой бы силой ни поворачивался он на правый бок, он неизменно сваливался опять на спину. Закрыв глаза, чтобы не видеть своих барахтающихся ног, он проделал это добрую сотню раз и отказался от своих попыток только тогда, когда почувствовал какую-то неведомую дотоле, тупую и слабую боль в боку.

«Ах ты, господи,— подумал он,— какую я выбрал хлопотную профессию! Изо дня в день в разъездах. Деловых волнений куда больше, чем на месте, в торговом доме, а кроме того, изволь терпеть тяготы дороги, думай о расписании поездов, мирись с плохим, нерегулярным питанием, завязывай со все новыми и новыми людьми недолгие, никогда не бывающие сердечными отношения. Черт бы побрал все это!» Он почувствовал вверху живота легкий зуд; медленно подвинулся на спине к прутьям кровати, чтобы удобнее было поднять голо-

ву; нашел зудевшее место, сплошь покрытое, как оказалось, белыми непонятными точечками; хотел было ощупать это место одной из ножек, но сразу отдернул ее, ибо даже простое прикосновение вызвало у него, Грегора, озноб.

Он соскользнул в прежнее свое положение. «От этого раннего вставания,— подумал он,— можно совсем обезуметь. Человек должен высыпаться. Другие коммивояжеры живут, как одалиски. Когда я, например, среди дня возвращаюсь в гостиницу, чтобы переписать полученные заказы, эти господа только завтракают. А осмелься я вести себя так, мой хозяин выгнал бы меня сразу. Кто знает, впрочем, может быть, это было бы даже очень хорошо для меня. Если бы я не сдерживался ради родителей, я бы давно заявил об уходе, я бы подошел к своему хозяину и выложил ему все, что о нем думаю. Он бы так и свалился с конторки! Странная у него манера — садиться на конторку и с ее высоты разговаривать со служащим, который вдобавок вынужден подойти вплотную к конторке из-за того, что хозяин туг на ухо. Однако надежда еще не совсем потеряна; как только я накоплю денег, чтобы выплатить долг моих родителей — на это уйдет еще лет пять-шесть,— я так и поступлю. Тут-то мы и распрощаемся раз и навсегда. А пока что надо подниматься, мой поезд отходит в пять».

И он взглянул на будильник, который тикал на сундуке. «Боже правый!» — подумал он. Было половина седьмого, и стрелки спокойно двигались дальше, было даже больше половины, без малого уже три четверти. Неужели будильник не звонил? С кровати было видно, что он поставлен правильно, на четыре часа; и он, несомненно, звонил. Но как можно было спокойно спать под этот сотрясающий мебель трезвон? Ну, спал-то он неспокойно, но, видимо, крепко. Однако что делать теперь? Следующий поезд уходит в семь часов; чтобы поспеть на него, он должен отчаянно торопиться, а набор образцов еще не упакован, да и сам он отнюдь не чувствует себя свежим и легким на подъем. И даже поспей он на поезд, хозяйского разноса ему все равно не избежать — ведь рассыльный торгового дома дежурил у пятичасового поезда и давно доложил о его, Грегора, опоздании. Рассыльный, человек бесхарактерный и неумный, был ставленником хозяина. А что, если сказаться больным? Но это было бы крайне неприятно и показалось бы подозрительным, ибо за пятилетнюю свою службу Грегор ни разу еще не болел. Хозяин, конечно, привел бы врача больничной кассы и стал попрекать родителей сыном-лентяем, отводя любые возражения ссылкой на

этого врача, по мнению которого все люди на свете совершенно здоровы и только не любят работать. И разве в данном случае он был бы так уж неправ? Если не считать сонливости, действительно странной после такого долгого сна, Грегор и в самом деле чувствовал себя превосходно и был даже чертовски голоден.

Покуда он все это торопливо обдумывал, никак не решаясь покинуть постель,— будильник как раз пробил без четверти семь,— в дверь у его изголовья осторожно постучали.

— Грегор,— услыхал он (это была его мать),— уже без четверти семь. Разве ты не собирался уехать?

Этот ласковый голос! Грегор испугался, услыхав ответные звуки собственного голоса, к которому, хоть это и был, несомненно, прежний его голос, примешивался какой-то упрямый болезненный писк, отчего слова только в первое мгновение звучали отчетливо, а потом искажались отголоском настолько, что нельзя было с уверенностью сказать, не ослышался ли ты. Грегор хотел подробно ответить и все объяснить, но ввиду этих обстоятельств сказал только:

— Да, да, спасибо, мама, я уже встаю.

Снаружи благодаря деревянной двери, по-видимому, не заметили, как изменился его голос, потому что после этих слов мать успокоилась и зашаркала прочь. Но короткий этот разговор обратил внимание остальных членов семьи на то, что Грегор вопреки ожиданию все еще дома, и вот уже в одну из боковых дверей стучал отец — слабо, но кулаком.

— Грегор! Грегор! — кричал он.— В чем дело?

И через несколько мгновений позвал еще раз, понизив голос:

— Грегор! Грегор!

А за другой боковой дверью тихо и жалостно говорила сестра:

— Грегор! Тебе нездоровится? Помочь тебе чем-нибудь?

Отвечая всем вместе: «Я уже готов»,— Грегор старался тщательным выговором и длинными паузами между словами лишить свой голос какой бы то ни было необычности. Отец и в самом деле вернулся к своему завтраку, но сестра продолжала шептать:

— Грегор, открой, умоляю тебя.

Однако Грегор и не думал открывать, он благословлял приобретенную в поездках привычку и дома предусмотрительно запирать на ночь все двери.

Он хотел сначала спокойно и без помех встать, одеться и прежде всего позавтракать, а потом уж поразмыслить о даль-

нейшем, ибо — это ему стало ясно — в постели он ни до чего путного не додумался бы. Он вспомнил, что уже не раз, лежа в постели, ощущал какую-то легкую, вызванную, возможно, неудобной позой боль, которая, стоило встать, оказывалась чистейшей игрой воображения, и ему было любопытно, как рассеется его сегодняшний морок. Что изменение голоса всего-навсего предвестие профессиональной болезни коммивояжеров — жестокой простуды, в этом он нисколько не сомневался.

Сбросить одеяло оказалось просто; достаточно было немного надуть живот, и оно упало само. Но дальше дело шло хуже, главным образом потому, что он был так широк. Ему нужны были руки, чтобы подняться; а вместо этого у него было множество ножек, которые не переставали беспорядочно двигаться и с которыми он к тому же никак не мог совладать. Если он хотел какую-то ножку согнуть, она первым делом вытягивалась; а если ему наконец удавалось выполнить этой ногой то, что он задумал, то другие тем временем, словно вырвавшись на волю, приходили в самое мучительное волнение. «Только не задерживаться понапрасну в постели»,— сказал себе Грегор.

Сперва он хотел выбраться из постели нижней частью своего туловища, но эта нижняя часть, которой он, кстати, еще не видел, да и не мог представить себе, оказалась малоподвижной; дело шло медленно; а когда Грегор наконец в бешенстве рванулся напропалую вперед, он, взяв неверное направление, сильно ударился о прутья кровати, и обжигающая боль убедила его, что нижняя часть туловища у него сейчас, вероятно, самая чувствительная.

Поэтому он попытался выбраться сначала верхней частью туловища и стал осторожно поворачивать голову к краю кровати. Это ему легко удалось, и, несмотря на свою ширину и тяжесть, туловище его в конце концов медленно последовало за головой. Но когда голова, перевалившись наконец за край кровати, повисла, ему стало страшно продвигаться и дальше подобным образом. Ведь если бы он в конце концов упал, то разве что чудом не повредил бы себе голову. А терять сознание именно сейчас он ни в коем случае не должен был; лучше уж было остаться в постели.

Но когда, переведя дух после стольких усилий, он принял прежнее положение, когда он увидел, что его ножки копошатся, пожалуй, еще неистовей, и не сумел внести в этот произвол покой и порядок, он снова сказал себе, что в кровати никак нельзя оставаться и что самое разумное — это

рискнуть всем ради малейшей надежды освободить себя от кровати. Одновременно, однако, он не забывал нет-нет да напомнить себе, что от спокойного размышления толку гораздо больше, чем от порывов отчаяния. В такие мгновения он как можно пристальнее глядел в окно, но, к сожалению, в зрелище утреннего тумана, скрывшего даже противоположную сторону узкой улицы, нельзя было почерпнуть бодрости и уверенности. «Уже семь часов,— сказал он себе, когда снова послышался бой будильника,— уже семь часов, а все еще такой туман». И несколько мгновений он полежал спокойно, слабо дыша, как будто ждал от полной тишины возвращения действительных и естественных обстоятельств.

Но потом он сказал себе: «Прежде чем пробьет четверть восьмого, я должен во что бы то ни стало окончательно покинуть кровать. Впрочем, к тому времени из конторы уже придут справиться обо мне, ведь контора открывается раньше семи». И он принялся выталкиваться из кровати, раскачивая туловище по всей его длине равномерно. Если бы он упал так с кровати, то, видимо; не повредил бы голову, резко приподняв ее во время падения. Спина же казалась достаточно твердой; при падении на ковер с ней, наверно, ничего не случилось бы. Больше всего беспокоила его мысль о том, что тело его упадет с грохотом и это вызовет за всеми дверями если не ужас, то уж, во всяком случае, тревогу. И все же на это нужно было решиться.

Когда Грегор уже наполовину повис над краем кровати — новый способ походил скорей на игру, чем на утомительную работу, нужно было только рывками раскачиваться,— он подумал, как было бы все просто, если бы ему помогли. Двух сильных людей — он подумал об отце и о прислуге — было бы совершенно достаточно; им пришлось бы только, засунув руки под выпуклую его спину, снять его с кровати, а затем, нагнувшись со своей ношей, подождать, пока он осторожно перевернется на полу, где его ножки получили бы, надо полагать, какой-то смысл. Но даже если бы двери не были заперты, неужели он действительно позвал бы кого-нибудь на помощь? Несмотря на свою беду, он не удержался от улыбки при этой мысли.

Он уже с трудом сохранял равновесие при сильных рывках и уже вот-вот должен был окончательно решиться, когда с парадного донесся звонок. «Это кто-то из фирмы»,— сказал он себе и почти застыл, но зато его ножки заходили еще стремительней. Несколько мгновений все было тихо. «Они не отворяют»,— сказал себе Грегор, отдаваясь какой-то безум-

ной надежде. Но потом, конечно, прислуга, как всегда, твердо прошагала к парадному и открыла. Грегору достаточно было услыхать только первое приветственное слово гостя, чтобы тотчас узнать, кто он: это был сам управляющий. И почему Грегору суждено было служить в фирме, где малейший промах вызывал сразу самые тяжкие подозрения? Разве ее служащие были все как один прохвосты, разве среди них не было надежного и преданного человека, который, хоть он и не отдал делу несколько утренних часов, совсем обезумел от угрызений совести и просто не в состоянии покинуть постель? Неужели недостаточно было послать справиться ученика — если такие расспросы вообще нужны,— неужели непременно должен был прийти сам управляющий и тем самым показать всей ни в чем не повинной семье, что расследование этого подозрительного дела по силам только ему? И больше от волнения, в которое привели его эти мысли, чем по-настоящему решившись, Грегор изо всех сил рванулся с кровати. Удар был громкий, но не то чтобы оглушительный. Падение несколько смягчил ковер, да и спина оказалась эластичнее, чем предполагал Грегор, поэтому звук получился глухой, не такой уж разительный. Вот только голову он держал недостаточно осторожно и ударил ее; он потерся ею о ковер, досадуя на боль.

— Там что-то упало,— сказал управляющий в соседней комнате слева.

Грегор попытался представить себе, не может ли и с управляющим произойти нечто подобное тому, что случилось сегодня с ним, Грегором; ведь вообще-то такой возможности нельзя было отрицать. Но как бы отметая этот вопрос, управляющий сделал в соседней комнате несколько решительных шагов, сопровождавшихся скрипом его лакированных сапог. Из комнаты справа, стремясь предупредить Грегора, шептала сестра:

— Грегор, пришел управляющий.

— Я знаю,— сказал Грегор тихо; повысить голос настолько, чтобы его услыхала сестра, он не отважился.

— Грегор,— заговорил отец в комнате слева,— к нам пришел господин управляющий. Он спрашивает, почему ты не уехал с утренним поездом. Мы не знаем, что ответить ему. Впрочем, он хочет поговорить и с тобой лично. Поэтому, пожалуйста, открой дверь. Он уж великодушно извинит нас за беспорядок в комнате.

— Доброе утро, господин Замза,— приветливо вставил сам управляющий.

— Ему нездоровится,— сказала мать управляющему, пока отец продолжал говорить у двери.— Поверьте мне, господин управляющий, ему нездоровится. Разве иначе Грегор опоздал бы на поезд! Ведь мальчик только и думает что о фирме. Я даже немного сержусь, что он никуда не ходит по вечерам; он пробыл восемь дней в городе, но все вечера провел дома. Сидит себе за столом и молча читает газету или изучает расписание поездов. Единственное развлечение, которое он позволяет себе,— это выпиливание. За каких-нибудь два-три вечера он сделал, например, рамочку; такая красивая рамочка, просто загляденье; она висит там в комнате, вы сейчас ее увидите, когда Грегор откроет. Право, я счастлива, что вы пришли, господин управляющий; без вас мы бы не заставили Грегора открыть дверь; он такой упрямый; и наверняка ему нездоровится, хоть он и отрицал это утром.

— Сейчас я выйду,— медленно и размеренно сказал Грегор, но не шевельнулся, чтобы не пропустить ни одного слова из их разговоров.

— Другого объяснения, сударыня, у меня и нет,— сказал управляющий.— Будем надеяться, что болезнь его не опасна. Хотя, с другой стороны, должен заметить, что нам, коммерсантам,— то ли к счастью, то ли к несчастью — приходится часто в интересах дела просто превозмогать легкий недуг.

— Значит, господин управляющий может уже войти к тебе? — спросил нетерпеливый отец и снова постучал в дверь.

— Нет,— сказал Грегор.

В комнате слева наступила мучительная тишина, в комнате справа заплакала сестра.

Почему сестра не шла к остальным? Вероятно, она только сейчас встала с постели и еще даже не начала одеваться. А *почему она плакала? Потому что он не вставал и не впускал* управляющего, потому что он рисковал потерять место и потому что тогда хозяин снова стал бы преследовать родителей старыми требованиями. Но ведь пока это были напрасные страхи. Грегор был еще здесь и вовсе не собирался покидать свою семью. Сейчас он, правда, лежал на ковре, и, узнав, в каком он находится состоянии, никто не стал бы требовать от него, чтобы он впустил управляющего. Но не выгонят же так уж сразу Грегора из-за этой маленькой невежливости, для которой позднее легко найдется подходящее оправдание! И Грегору казалось, что гораздо разумнее было бы оставить его сейчас в покое, а не докучать ему плачем и уговорами. Но ведь всех угнетала — и это извиняло их поведение — именно неизвестность.

— Господин Замза,— воскликнул управляющий, теперь уж повысив голос,— в чем дело? Вы заперлись в своей комнате, отвечаете только «да» и «нет», доставляете своим родителям тяжелые, ненужные волнения и уклоняетесь — упомяну об этом лишь вскользь — от исполнения своих служебных обязанностей поистине неслыханным образом. Я говорю сейчас от имени ваших родителей и вашего хозяина и убедительно прошу вас немедленно объясниться. Я удивлен, я поражен! Я считал вас спокойным, рассудительным человеком, а вы, кажется, вздумали выкидывать странные номера. Хозяин, правда, намекнул мне сегодня утром на возможное объяснение вашего прогула — оно касалось недавно доверенного вам инкассо,— но я, право, готов был дать честное слово, что это объяснение не соответствует действительности. Однако сейчас, при виде вашего непонятного упрямства, у меня пропадает всякая охота в какой бы то ни было мере за вас заступаться. А положение ваше отнюдь не прочно. Сначала я намеревался сказать вам это с глазу на глаз, но, поскольку вы заставляете меня напрасно тратить здесь время, я не вижу причин утаивать это от ваших уважаемых родителей. Ваши успехи в последнее время были, скажу я вам, весьма неудовлетворительны; правда, сейчас не то время года, чтобы заключать большие сделки, это мы признаем; но такого времени года, когда не заключают никаких сделок, вообще не существует, господин Замза, не может существовать.

— Но, господин управляющий,— теряя самообладание, воскликнул Грегор и от волнения забыл обо всем другом,— я же немедленно, сию минуту открою. Легкое недомогание, приступ головокружения не давали мне возможности встать. Я и сейчас еще лежу в кровати. Но я уже совсем пришел в себя. И уже встаю. Минутку терпения! Мне еще не так хорошо, как я думал. Но уже лучше. Подумать только, что за напасть! Еще вчера вечером я чувствовал себя превосходно, мои родители это подтвердят, нет, вернее, уже вчера вечером у меня появилось какое-то предчувствие. Очень возможно, что это было заметно. И почему я не уведомил об этом фирму! Но ведь всегда думаешь, что переможешь болезнь на ногах. Господин управляющий! Пощадите моих родителей! Ведь для упреков, которые вы сейчас мне делаете, нет никаких оснований; мне ведь и не говорили об этом ни слова. Вы, наверно, не видели последних заказов, которые я прислал. Да я еще и уеду с восьмичасовым поездом, несколько лишних часов сна подкрепили мои силы. Не задерживайтесь, господин управ-

ляющий, я сейчас сам приду в фирму, будьте добры, так и скажите и засвидетельствуйте мое почтение хозяину!

И покуда Грегор все это поспешно выпаливал, сам не зная, что он говорит, он легко — видимо, наловчившись в кровати — приблизился к шкафу и попытался, опираясь на него, выпрямиться во весь рост. Он действительно хотел выйти и поговорить с управляющим; ему очень хотелось узнать, что скажут, увидев его, люди, которые сейчас так его ждут. Если они испугаются, значит с Грегора уже снята ответственность, и он может быть спокоен. Если же они примут все это спокойно, то, значит, и у него нет причин волноваться и, поторопившись, он действительно будет на вокзале в восемь часов. Сначала он несколько раз отскальзывал от полированного шкафа, но наконец, сделав последний рывок, выпрямился во весь рост; на боль в нижней части туловища он уже не обращал внимания, хотя она была очень мучительна. Затем, навалившись на спинку стоявшего поблизости стула, он зацепился за ее края ножками. Теперь он обрел власть над своим телом и умолк, чтобы выслушать ответ управляющего.

— Поняли ли вы хоть одно слово? — спросил тот родителей.— Уж не издевается ли он над нами?

— Господь с вами,— воскликнула мать, вся в слезах,— может быть, он тяжело болен, а мы его мучим. Грета! Грета! — крикнула она затем.

— Мама? — отозвалась сестра с другой стороны.

— Сейчас же ступай к врачу. Грегор болен. Скорей за врачом. Ты слышала, как говорит Грегор?

— Это был голос животного,— сказал управляющий, сказал поразительно тихо по сравнению с криками матери.

— Анна! Анна! — закричал отец через переднюю в кухню и хлопнул в ладоши.— Сейчас же приведите слесаря!

И вот уже обе девушки, шурша юбками, пробежали через переднюю — как же это сестра так быстро оделась? — и распахнули входную дверь. Не слышно было, чтобы дверь захлопнулась — наверно, они так и оставили ее открытой, как то бывает в квартирах, где произошло большое несчастье.

А Грегору стало гораздо спокойнее. Речи его, правда, уже не понимали, хотя ему она казалась достаточно ясной, даже более ясной, чем прежде,— вероятно потому, что его слух к ней привык. Но зато теперь поверили, что с ним творится что-то неладное, и были готовы ему помочь. Уверенность и твердость, с какими отдавались первые распоряжения, подействовали на него благотворно. Он чувствовал себя вновь

приобщенным к людям и ждал от врача и от слесаря, не отделяя, по существу, одного от другого, удивительных свершений. Чтобы перед приближавшимся решающим разговором придать своей речи как можно большую ясность, он немного откашлялся, стараясь, однако, сделать это поглуше, потому что, возможно, и эти звуки больше не походили на человеческий кашель, а судить об этом он уже не решался. В соседней комнате стало между тем совсем тихо. Может быть, родители сидели с управляющим за столом и шушукались, а может быть, все они приникли к двери, прислушиваясь.

Грегор медленно придвинулся со стулом к двери, отпустил его, навалился на дверь, припал к ней стоймя — на подушечках его лапок было какое-то клейкое вещество — и немного передохнул, натрудившись. А затем принялся поворачивать ртом ключ в замке. Увы, у него, кажется, не было настоящих зубов — чем же схватить теперь ключ? — но зато челюсти оказались очень сильными; с их помощью он и в самом деле задвигал ключом, не обращая внимания на то, что, несомненно, причинил себе вред, ибо какая-то бурая жидкость выступила у него изо рта, потекла по ключу и закапала на пол.

— Послушайте-ка,— сказал управляющий в соседней комнате,— он поворачивает ключ.

Это очень ободрило Грегора; но лучше бы все они, и отец, и мать, кричали ему, лучше бы они все кричали ему: «Сильней, Грегор! Ну-ка, поднатужься, ну-ка, нажми на замок!» И вообразив, что все напряженно следят за его усилиями, он самозабвенно, изо всех сил вцепился в ключ. По мере того как ключ поворачивался, Грегор переваливался около замка с ножки на ножку; держась теперь стоймя только с помощью рта, он по мере надобности то повисал на ключе, то навалился на него всей тяжестью своего тела. Звонкий щелчок поддавшегося наконец замка как бы разбудил Грегора. Переведя дух, он сказал себе: «Значит, я все-таки обошелся без слесаря»,— и положил голову на дверную ручку, чтобы отворить дверь.

Поскольку отворил он ее таким способом, его самого еще не было видно, когда дверь уже довольно широко отворилась. Сначала он должен был медленно обойти одну створку, а обойти ее нужно было с большой осторожностью, чтобы не шлепнуться на спину у самого входа в комнату. Он был еще занят этим трудным передвижением и, торопясь, ни на что больше не обращал внимания, как вдруг услышал громкое «О!» управляющего — оно прозвучало, как свист ветра,— и

увидел затем его самого: находясь ближе всех к двери, тот прижал ладонь к открытому рту и медленно пятился, словно его гнала какая-то невидимая, неодолимая сила. Мать — несмотря на присутствие управляющего, она стояла здесь с распущенными еще с ночи, взъерошенными волосами — сначала, стиснув руки, взглянула на отца, а потом сделала два шага к Грегору и рухнула, разметав вокруг себя юбки, опустив к груди лицо, так что его совсем не стало видно. Отец угрожающе сжал кулак, словно желая вытолкнуть Грегора в его комнату, потом нерешительно оглядел гостиную, закрыл руками глаза и заплакал, и могучая его грудь сотрясалась.

Грегор вовсе и не вошел в гостиную, а прислонился изнутри к закрепленной створке, отчего видны были только половина его туловища и выглядывавшая наружу голова, склоненная набок. Тем временем сделалось гораздо светлее; на противоположной стороне улицы четко вырисовывался кусок бесконечного серо-черного здания — это была больница — с равномерно и четко разрезавшими фасад окнами; дождь еще шел, но только большими, в отдельности различимыми и как бы отдельно же падавшими на землю каплями. Посуда для завтрака стояла на столе в огромном количестве, ибо для отца завтрак был важнейшей трапезой дня, тянувшейся у него, за чтением газет, часами. Как раз на противоположной стене висела фотография Грегора времен его военной службы; на ней был изображен лейтенант, который, положив руку на эфес шпаги и беззаботно улыбаясь, внушал уважение своей выправкой и своим мундиром. Дверь в переднюю была отворена, и, так как входная дверь тоже была открыта, виднелась лестничная площадка и начало уходившей вниз лестницы.

— Ну вот,— сказал Грегор, отлично сознавая, что спокойствие сохранил он один,— сейчас я оденусь, соберу образцы и поеду. А вам хочется, вам хочется, чтобы я поехал? Ну вот, господин управляющий, вы видите, я не упрямец, я работаю с удовольствием; разъезды утомительны, но я не мог бы жить без разъездов. Куда же вы, господин управляющий? В контору? Да? Вы доложите обо всем? Иногда человек не в состоянии работать, но тогда как раз самое время вспомнить о прежних своих успехах в надежде, что тем внимательней и прилежнее будешь работать в дальнейшем, по устранении помехи. Ведь я так обязан хозяину, вы же отлично это знаете. С другой стороны, на мне лежит забота о родителях и о сестре. Я попал в беду, но я выкарабкаюсь. Только не ухудшайте моего и без того трудного положения. Будьте в фирме на моей стороне! Коммивояжеров не любят, я знаю. Думают,

они зарабатывают бешеные деньги и при этом живут в свое удовольствие. Никто просто не задумывается над таким предрассудком. Но вы, господин управляющий, вы знаете, как обстоит дело, знаете лучше, чем остальной персонал, и даже, говоря между нами, лучше, чем сам хозяин, который, как предприниматель, легко может ошибиться в своей оценке в невыгодную для того или иного служащего сторону. Вы отлично знаете также, что, находясь почти весь год вне фирмы, коммивояжер легко может стать жертвой сплетни, случайностей и беспочвенных обвинений, защититься от которых он совершенно не в силах, так как по большей части он о них ничего не знает и только потом, когда, измотанный, возвращается из поездки, испытывает их скверные, уже далекие от причин последствия на собственной шкуре. Не уходите, господин управляющий, не дав мне ни одним словом понять, что вы хотя бы отчасти признаете мою правоту!

Но управляющий отвернулся, едва Грегор заговорил, и, надувшись, глядел на него только поверх плеча, которое непрестанно дергалось. И во время речи Грегора он ни секунды не стоял на месте, а удалялся, не спуская с Грегора глаз, к двери — удалялся, однако, очень медленно, словно какой-то тайный запрет не позволял ему покидать комнату. Он был уже в передней, и, глядя на то, как неожиданно резко он сделал последний шаг из гостиной, можно было подумать, что он только что обжег себе ступню. А в передней он протянул правую руку к лестнице, словно там его ждало прямо-таки неземное блаженство.

Грегор понимал, что он ни в коем случае не должен отпускать управляющего в таком настроении, если не хочет поставить под удар свое положение в фирме. Родители не сознавали всего этого так ясно; с годами они привыкли думать, что в этой фирме Грегор устроился на всю жизнь, а свалившиеся на них сейчас заботы и вовсе лишили их проницательности. Но Грегор этой проницательностью обладал. Управляющего нужно было задержать, успокоить, убедить и в конце концов расположить в свою пользу; ведь от этого зависела будущность Грегора и его семьи! Ах, если бы сестра не ушла! Она умна, она плакала уже тогда, когда Грегор еще спокойно лежал на спине. И конечно же, управляющий, этот дамский угодник, повиновался бы ей; она закрыла бы входную дверь и своими уговорами рассеяла бы его страхи. Но сестра-то как раз и ушла, Грегор должен был действовать сам. И, не подумав о том, что совсем еще не знает теперешних своих возможностей передвижения, не подумав и о том, что его речь, возможно и даже вероятней всего, снова осталась непонятой, он

покинул створку дверей; пробрался через проход; хотел было направиться к управляющему,— который, выйдя уже на площадку, смешно схватился обеими руками за перила,— но тут же, ища опоры, со слабым криком упал на все свои лапки. Как только это случилось, телу его впервые за это утро стало удобно; под лапками была твердая почва; они, как он, к радости своей, отметил, отлично его слушались; даже сами стремились перенести его туда, куда он хотел; и он уже решил, что вот-вот все его муки окончательно прекратятся. Но в тот самый миг, когда он покачивался от толчка, лежа на полу неподалеку от своей матери, как раз напротив нее, мать, которая, казалось, совсем оцепенела, вскочила вдруг на ноги, широко развела руки, растопырила пальцы, закричала: «Помогите! Помогите ради бога!» — склонила голову, как будто хотела получше разглядеть Грегора, однако вместо этого бессмысленно отбежала назад; забыла, что позади нее стоит накрытый стол; достигнув его, она, словно по рассеянности, поспешно на него села и, кажется, совсем не заметила, что рядом с ней из опрокинутого большого кофейника хлещет на ковер кофе.

— Мама, мама,— тихо сказал Грегор и поднял на нее глаза.

На мгновение он совсем забыл об управляющем; однако при виде льющегося кофе он не удержался и стал челюстями ловить воздух. Увидев это, мать снова вскрикнула, спрыгнула со стола и упала на грудь поспешившему ей навстречу отцу. Но у Грегора не было сейчас времени заниматься родителями; управляющий был уже на лестнице; положив подбородок на перила, он бросил последний, прощальный взгляд назад. Грегор пустился было бегом, чтобы вернее его догнать; но управляющий, видимо, догадался о его намерении, ибо, перепрыгнув через несколько ступенек, исчез. Он только воскликнул: «Фу!» — и звук этот разнесся по лестничной клетке. К сожалению, бегство управляющего, видимо, вконец расстроило державшегося до сих пор сравнительно стойко отца, потому что вместо того, чтобы самому побежать за управляющим или хотя бы не мешать Грегору догнать его, он схватил правой рукой трость управляющего, которую тот вместе со шляпой и пальто оставил на стуле, а левой взял со стола большую газету и, топая ногами, размахивая газетой и палкой, стал загонять Грегора в его комнату. Никакие просьбы Грегора не помогали, да и не понимал отец никаких его просьб; как бы смиренно Грегор ни мотал головой, отец только сильнее и сильнее топал ногами. Мать, несмотря на холодную погоду, распахнула окно настежь и, высунувшись в него,

спрятала лицо в ладонях. Между окном и лестничной клеткой образовался сильный сквозняк, занавески взлетели, газеты на столе зашуршали, несколько листков поплыло по полу. Отец неумолимо наступал, издавая, как дикарь, шипящие звуки. А Грегор еще совсем не научился пятиться, он двигался назад действительно очень медленно. Если бы Грегор повернулся, он сразу же оказался бы в своей комнате, но он боялся раздражить отца медлительностью своего поворота, а отцовская палка в любой миг могла нанести ему смертельный удар по спине или по голове. Наконец, однако, ничего другого Грегору все-таки не осталось, ибо он, к ужасу своему, увидел, что, пятясь назад, не способен даже придерживаться определенного направления; и поэтому, не переставая боязливо коситься на отца, он начал — по возможности быстро, на самом же деле очень медленно — поворачиваться. Отец, видно, оценил его добрую волю и не только не мешал ему поворачиваться, но даже издали направлял его движения кончиком своей палки. Если бы только не это несносное шипение отца! Из-за него Грегор совсем терял голову. Он уже заканчивал поворот, когда, прислушиваясь к этому шипению, ошибся и повернул немного назад. Но когда он наконец благополучно направил голову в раскрытую дверь, оказалось, что туловище его слишком широко, чтобы свободно в нее пролезть. Отец в его теперешнем состоянии, конечно, не сообразил, что надо открыть другую створку двери и дать Грегору проход. У него была одна навязчивая мысль — как можно скорее загнать Грегора в его комнату. Никак не потерпел бы он и обстоятельной подготовки, которая требовалась Грегору, чтобы выпрямиться во весь рост и таким образом, может быть, пройти через дверь. Словно не было никакого препятствия, он гнал теперь Грегора вперед с особенным шумом; звуки, раздававшиеся позади Грегора, уже совсем не походили на голос одного только отца; тут было и в самом деле не до шуток, и Грегор — будь что будет — втиснулся в дверь. Одна сторона его туловища поднялась, он наискось лег в проходе, один его бок был совсем изранен, на белой двери остались безобразные пятна; вскоре он застрял и уже не мог самостоятельно двигаться дальше, на одном боку лапки повисли, дрожа, вверху; на другом они были больно прижаты к полу. И тогда отец с силой дал ему сзади поистине спасительного теперь пинка, и Грегор, обливаясь кровью, влетел в свою комнату. Дверь захлопнули палкой, и наступила долгожданная тишина.

II

Лишь в сумерках очнулся Грегор от тяжелого, похожего на обморок сна. Если бы его и не побеспокоили, он все равно проснулся бы ненамного позднее, так как чувствовал себя достаточно отдохнувшим и выспавшимся, но ему показалось, что разбудили его чьи-то легкие шаги и звук осторожно запираемой двери, выходившей в переднюю. На потолке и на верхних частях мебели лежал проникавший с улицы свет электрических фонарей, но внизу, у Грегора, было темно. Медленно, еще неуклюже шаря своими щупальцами, которые он только теперь начинал ценить, Грегор подполз к двери, чтобы посмотреть, что там произошло. Левый его бок казался сплошным длинным, неприятно саднящим рубцом, и он по-настоящему хромал на оба ряда своих ног. В ходе утренних приключений одна ножка — чудом только одна — была тяжело ранена и безжизненно волочилась по полу.

Лишь у двери он понял, что, собственно, его туда повлекло; это был запах чего-то съестного. Там стояла миска со сладким молоком, в котором плавали ломтики белого хлеба. Он едва не засмеялся от радости, ибо есть ему хотелось еще сильнее, чем утром, и чуть ли не с глазами окунул голову в молоко. Но вскоре он разочарованно вытащил ее оттуда; мало того, что из-за раненого левого бока есть ему было трудно,— а есть он мог, только широко разевая рот и работая всем своим туловищем,— молоко, которое всегда было его любимым напитком и которое сестра, конечно, потому и принесла, показалось ему теперь совсем невкусным; он почти с отвращением отвернулся от миски и пополз назад, к середине комнаты.

В гостиной, как увидел Грегор сквозь щель в двери, зажгли свет, но если обычно отец в это время громко читал матери, а иногда и сестре вечернюю газету, то сейчас не было слышно ни звука. Возможно, впрочем, что это чтение, о котором ему всегда рассказывала и писала сестра, в последнее время вообще вышло из обихода. Но и кругом было очень тихо, хотя в квартире, конечно, были люди. «До чего же, однако, тихую жизнь ведет моя семья»,— сказал себе Грегор и, уставившись в темноту, почувствовал великую гордость от сознания, что он сумел добиться для своих родителей и сестры такой жизни в такой прекрасной квартире. А что, если этому покою, благополучию, довольству пришел теперь ужасный конец? Чтобы не предаваться подобным мыслям, Грегор решил размяться и принялся ползать по комнате.

Один раз в течение долгого вечера чуть приоткрылась, но тут же захлопнулась одна боковая дверь и еще раз — другая;

кому-то, видно, хотелось войти, но опасения взяли верх. Грегор остановился непосредственно у двери в гостиную, чтобы каким-нибудь образом залучить нерешительного посетителя или хотя бы узнать, кто это, но дверь больше не отворялась, и ожидание Грегора оказалось напрасным. Утром, когда двери были заперты, все хотели войти к нему, теперь же, когда одну дверь он открыл сам, а остальные были, несомненно, отперты в течение дня, никто не входил, а ключи между тем торчали снаружи.

Лишь поздно ночью погасили в гостиной свет, и тут сразу выяснилось, что родители и сестра до сих пор бодрствовали, потому что сейчас, как это было отчетливо слышно, они все удалились на цыпочках. Теперь, конечно, до утра к Грегору никто не войдет, значит, у него было достаточно времени, чтобы без помех поразмыслить, как ему перестроить свою жизнь. Но высокая пустая комната, в которой он вынужден был плашмя лежать на полу, пугала его, хотя причины своего страха он не понимал, ведь он жил в этой комнате вот уже пять лет, и, повернувшись почти безотчетно, он не без стыда поспешил уползти под диван, где, несмотря на то, что спину ему немного прижало, а голову уже нельзя было поднять, он сразу же почувствовал себя очень уютно и пожалел только, что туловище его слишком широко, чтобы поместиться целиком под диваном.

Там пробыл он всю ночь, проведя ее отчасти в дремоте, которую то и дело вспугивал голод, отчасти же в заботах и смутных надеждах, неизменно приводивших его к заключению, что покамест он должен вести себя спокойно и обязан своим терпением и тактом облегчить семье неприятности, которые он причинил ей теперешним своим состоянием.

Уже рано утром — была еще почти ночь — Грегору представился случай испытать твердость только что принятого решения, когда сестра, почти совсем одетая, открыла дверь из передней и настороженно заглянула к нему в комнату. Она не сразу заметила Грегора, но, увидев его под диваном — ведь где-то, о господи, он должен был находиться, не мог же он улететь! — испугалась так, что, не совладав с собой, захлопнула дверь снаружи. Но, словно раскаявшись в своем поведении, она тотчас же открыла дверь снова и на цыпочках, как к тяжелобольному или даже как к постороннему, вошла в комнату. Грегор высунул голову к самому краю дивана и стал следить за сестрой. Заметит ли она, что он оставил молоко, причем вовсе не потому, что не был голоден, и принесет ли какую-нибудь другую еду, которая подойдет ему

больше? Если бы она не сделала этого сама, он скорее бы умер с голоду, чем обратил на это ее внимание, хотя его так и подмывало выскочить из-под дивана, броситься к ногам сестры и попросить у нее какой-нибудь хорошей еды. Но сразу же с удивлением заметив полную еще миску, из которой только чуть-чуть расплескалось молоко, сестра немедленно подняла ее, правда, не просто руками, а при помощи тряпки, и вынесла прочь. Грегору было очень любопытно, что она принесет взамен, и он стал строить всяческие догадки на этот счет. Но он никак не додумался бы до того, что сестра, по своей доброте, действительно сделала. Чтобы узнать его вкус, она принесла ему целый набор кушаний и разложила все это на старой газете. Тут были лежалые, с гнильцой овощи; оставшиеся от ужина кости, покрытые белым застывшим соусом; немного изюму и миндаля; кусок сыру, который Грегор два дня назад объявил несъедобным; ломоть сухого хлеба, ломоть хлеба, намазанный маслом, и ломоть хлеба, намазанный маслом и посыпанный солью. Вдобавок ко всему этому она поставила ему ту же самую, раз и навсегда, вероятно, выделенную для Грегора миску, налив в нее воды. Затем она из деликатности, зная, что при ней Грегор не станет есть, поспешила удалиться и даже повернула ключ в двери, чтобы показать Грегору, что он может устраиваться, как ему будет удобнее. Лапки Грегора, когда он теперь направился к еде, замелькали одна быстрее другой. Да и раны его, как видно, совсем зажили, он не чувствовал уже никаких помех и, удивившись этому, вспомнил, как месяц с лишним назад он слегка обрезал палец ножом и как не далее чем позавчера эта рана еще причиняла ему довольно сильную боль. «Неужели я стал теперь менее чувствителен?» — подумал он и уже жадно впился в сыр, к которому его сразу потянуло настойчивее, чем к какой-либо другой еде. Со слезящимися от наслаждения глазами он быстро уничтожил подряд сыр, овощи, соус; свежая пища, напротив, ему не нравилась, даже запах ее казался ему несносным, и он оттаскивал в сторону от нее куски, которые хотел съесть. Он давно уже управился с едой и лениво лежал на том же месте, где ел, когда сестра в знак того, что ему пора удалиться, медленно повернула ключ. Это его сразу вспугнуло, хотя он уже почти дремал, и он опять поспешил под диван. Но ему стоило больших усилий пробыть под диваном даже то короткое время, покуда сестра находилась в комнате, ибо от обильной еды туловище его несколько округлилось, и в тесноте ему было трудно дышать. Превозмогая слабые приступы удушья, он глядел выпученными глаза-

ми, как ничего не подозревавшая сестра смела веником в одну кучу не только его объедки, но и снедь, к которой Грегор вообще не притрагивался, словно и это уже не пойдет впрок, как она поспешно выбросила все это в ведерко, прикрыла его дощечкой и вынесла. Не успела она отвернуться, как Грегор уже вылез из-под дивана, вытянулся и раздулся.

Таким образом Грегор получал теперь еду ежедневно — один раз утром, когда родители и прислуга еще спали, а второй раз после общего обеда, когда родители опять-таки ложились поспать, а прислугу сестра усылала из дому с каким-нибудь поручением. Они тоже, конечно, не хотели, чтобы Грегор умер с голоду, но знать все подробности кормления Грегора им было бы, вероятно, невыносимо тяжело, и, вероятно, сестра старалась избавить их хотя бы от маленьких огорчений, потому что страдали они и в самом деле достаточно.

Под каким предлогом выпроводили из квартиры в то первое утро врача и слесаря, Грегор так и не узнал: поскольку его не понимали, никому, в том числе и сестре, не приходило в голову, что он-то понимает других, и поэтому, когда сестра бывала в его комнате, ему доводилось слышать только вздохи да взывания к святым. Лишь позже, когда она немного привыкла ко всему — о том, чтобы привыкнуть совсем, не могло быть, конечно, и речи,— Грегор порой ловил какое-нибудь явно доброжелательное замечание. «Сегодня угощение пришлось ему по вкусу»,— говорила она, если Грегор съедал все дочиста, тогда как в противном случае, что постепенно стало повторяться все чаще и чаще, она говорила почти печально: «Опять все осталось».

Но не узнавая никаких новостей непосредственно, Грегор подслушивал разговоры в соседних комнатах, и, стоило ему откуда-либо услыхать голоса, он сразу же спешил к соответствующей двери и прижимался к ней всем телом. Особенно в первое время не было ни одного разговора, который так или иначе, хотя бы и тайно, его не касался. В течение двух дней за каждой трапезой совещались о том, как теперь себя вести; но и между трапезами говорили на ту же тему, и дома теперь всегда бывало не менее двух членов семьи, потому что никто, видимо, не хотел оставаться дома один, а покидать квартиру всем сразу никак нельзя было. Кстати, прислуга — было не совсем ясно, что именно знала она о случившемся,— в первый же день, упав на колени, попросила мать немедленно отпустить ее, а прощаясь через четверть часа после этого, со слезами благодарила за увольнение как за величайшую ми-

лость и дала, хотя этого от нее вовсе не требовали, страшную клятву, что никому ни о чем не станет рассказывать.

Пришлось сестре вместе с матерью заняться стряпней; это не составило, впрочем, особого труда, ведь никто почти ничего не ел. Грегор то и дело слышал, как они тщетно уговаривали друг друга поесть и в ответ раздавалось «Спасибо, я уже сыт» или что-нибудь подобное. Пить, кажется, тоже перестали. Сестра часто спрашивала отца, не хочет ли он пива, и охотно вызывалась сходить за ним, а когда отец молчал, говорила, надеясь этим избавить его от всяких сомнений, что может послать за пивом дворничиху, но тогда отец отвечал решительным «нет», и больше об этом не заговаривали.

Уже в течение первого дня отец разъяснил матери и сестре имущественное положение семьи и виды на будущее. Он часто вставал из-за стола и извлекал из своей маленькой домашней кассы, которая сохранилась от его прогоревшей пять лет назад фирмы, то какую-нибудь квитанцию, то записную книжку. Слышно было, как он отпирал сложный замок и, достав то, что искал, опять поворачивал ключ. Эти объяснения отца были отчасти первой утешительной новостью, услышанной Грегором с начала его заточения. Он считал, что от того предприятия у отца решительно ничего не осталось, во всяком случае, отец не утверждал противного, а Грегор его об этом не спрашивал. Единственной в ту пору заботой Грегора было сделать все, чтобы семья как можно скорей забыла банкротство, приведшее всех в состояние полной безнадежности. Поэтому он начал тогда трудиться с особым пылом и чуть ли не сразу сделался из маленького приказчика вояжером, у которого были, конечно, совсем другие заработки и чьи деловые успехи тотчас же, в виде комиссионных, превращались в наличные деньги, каковые и можно было положить дома на стол перед удивленной и счастливой семьей. То были хорошие времена, и потом они уже никогда, по крайней мере в прежнем великолепии, не повторялись, хотя Грегор и позже зарабатывал столько, что мог содержать и действительно содержал семью. К этому все привыкли — и семья, и сам Грегор; деньги у него с благодарностью принимали, а он охотно их давал, но особой теплоты больше не возникало. Только сестра осталась все-таки близка Грегору; и так как она в отличие от него очень любила музыку и трогательно играла на скрипке, у Грегора была тайная мысль определить ее на будущий год в консерваторию, несмотря на большие расходы, которые это вызовет и которые придется покрыть за счет чего-то другого. Во время коротких задержек Грегора в горо-

де в разговорах с сестрой часто упоминалась консерватория, но упоминалась всегда как прекрасная, несбыточная мечта, и даже эти невинные упоминания вызывали у родителей неудовольствие; однако Грегор думал о консерватории очень определенно и собирался торжественно заявить о своем намерении в канун Рождества.

Такие, совсем бесполезные в нынешнем его состоянии мысли вертелись в голове Грегора, когда он, прислушиваясь, стоймя прилипал к двери. Утомившись, он нет-нет да переставал слушать и, нечаянно склонив голову, ударялся о дверь, но тотчас же опять выпрямлялся, так как малейший учиненный им шум был слышен за дверью и заставлял всех умолкать. «Что он там опять вытворяет?» — говорил после небольшой паузы отец, явно глядя на дверь, и лишь после этого постепенно возобновлялся прерванный разговор.

Так вот, постепенно (ибо отец повторялся в своих объяснениях — отчасти потому, что давно уже отошел от этих дел, отчасти же потому, что мать не все понимала с первого раза) Грегор с достаточными подробностями узнал, что, несмотря на все беды, от старых времен сохранилось еще маленькое состояние и что оно, так как процентов не трогали, за эти годы даже немного выросло. Кроме того, оказалось, что деньги, которые ежемесячно приносил домой Грегор — он оставлял себе всего несколько гульденов,— уходили не целиком и образовался небольшой капитал. Стоя за дверью, Грегор усиленно кивал головой, обрадованный такой неожиданной предусмотрительностью и бережливостью. Вообще-то он мог бы этими лишними деньгами погасить часть отцовского долга и приблизить тот день, когда он, Грегор, волен был бы отказаться от своей службы, но теперь оказалось несомненно лучше, что отец распорядился деньгами именно так.

Денег этих, однако, было слишком мало, чтобы семья могла жить на проценты; их хватило бы, может быть, на год жизни, от силы на два, не больше. Они составляли, таким образом, только сумму, которую следовало, собственно, отложить на черный день, а не тратить; а деньги на жизнь надо было зарабатывать. Отец же был хоть и здоровым, но старым человеком, он уже пять лет не работал и не очень-то на себя надеялся; за эти пять лет, оказавшиеся первыми каникулами в его хлопотливой, но неудачливой жизни, он очень обрюзг и стал поэтому довольно тяжел на подъем. Уж не должна ли была зарабатывать деньги старая мать, которая страдала астмой, с трудом передвигалась даже по квартире и через день, задыхаясь, лежала на кушетке возле открытого окна?

Или, может быть, их следовало зарабатывать сестре, которая в свои семнадцать лет была еще ребенком и имела полное право жить так же, как до сих пор,— изящно одеваться, спать допоздна, помогать в хозяйстве, участвовать в каких-нибудь скромных развлечениях и прежде всего играть на скрипке. Когда заходила речь об этой необходимости заработка, Грегор сперва всегда отпускал дверь и бросался на прохладный кожаный диван, стоявший близ двери, потому что ему делалось жарко от стыда и от горя.

Он часто лежал там долгими ночами, не засыпая ни на одно мгновение, и часами терся о кожу дивана или, не жалея трудов, придвигал кресло к окну, вскарабкивался к проему и, упершись в кресло, припадал к подоконнику, что было явно только каким-то воспоминанием о чувстве освобождения, охватывавшем его прежде, когда он выглядывал из окна. На самом же деле все сколько-нибудь отдаленные предметы он видел день ото дня все хуже и хуже; больницу напротив, которую он прежде проклинал — так она примелькалась ему, Грегор вообще больше не различал, и не знай он доподлинно, что живет на тихой, но вполне городской улице Шарлоттенштрассе, он мог бы подумать, что глядит из своего окна на пустыню, в которую неразличимо слились серая земля и серое небо. Стоило внимательной сестре лишь дважды увидеть, что кресло стоит у окна, как она стала каждый раз, прибрав комнату, снова придвигать кресло к окну и даже оставлять отныне открытыми внутренние оконные створки.

Если бы Грегор мог поговорить с сестрой и поблагодарить ее за все, что она для него делала, ему было бы легче принимать ее услуги; а так он страдал из-за этого. Правда, сестра *всячески старалась смягчить мучительность всего, что случилось*, и чем больше времени проходило, тем это, конечно, лучше у нее получалось, но ведь и Грегору все становилось гораздо яснее со временем. Самый ее приход был для него ужасен. Хотя вообще-то сестра усердно оберегала всех от зрелища комнаты Грегора, сейчас она, войдя, не тратила времени на то, чтобы закрыть за собой дверь, а бежала прямо к окну, поспешно, словно она вот-вот задохнется, распахивала его настежь, а затем, как бы ни было холодно, на минутку задерживалась у окна, глубоко дыша. Этой шумной спешкой она пугала Грегора два раза в день; он все время дрожал под диваном, хотя отлично знал, что она, несомненно, избавила бы его от страхов, если бы только могла находиться в одной комнате с ним при закрытом окне.

Однажды — со дня случившегося с Грегором превращения минуло уже около месяца, и у сестры, следовательно, не было особых причин удивляться его виду — она пришла немного раньше обычного и застала Грегора глядящим в окно, у которого он неподвижно стоял, являя собой довольно страшное зрелище. Если бы она просто не вошла в комнату, для Грегора не было бы в этом ничего неожиданного, так как, находясь у окна, он не позволял ей открыть его, но она не просто не вошла, а отпрянула назад и заперла дверь; постороннему могло бы показаться даже, что Грегор подстерегал ее и хотел укусить. Грегор, конечно, сразу же спрятался под диван, но ее возвращения ему пришлось ждать до полудня, и была в ней какая-то необычная встревоженность. Из этого он понял, что она все еще не выносит и никогда не сможет выносить его облика и что ей стоит больших усилий не убегать прочь при виде даже той небольшой части его тела, которая высовывается из-под дивана. Чтобы избавить сестру и от этого зрелища, он однажды перенес на спине — на эту работу ему потребовалось четыре часа — простыню на диван и положил ее таким образом, чтобы она скрывала его целиком и сестра, даже нагнувшись, не могла увидеть его. Если бы, по ее мнению, в этой простыне не было надобности, сестра могла бы ведь и убрать ее, ведь Грегор укрылся так не для удовольствия, это было достаточно ясно, но сестра оставила простыню на месте, и Грегору показалось даже, что он поймал благодарный взгляд, когда осторожно приподнял головой простыню, чтобы посмотреть, как приняла это нововведение сестра.

Первые две недели родители не могли заставить себя войти к нему, и он часто слышал, как они с похвалой отзывались о теперешней работе сестры, тогда как прежде они то и дело сердились на сестру, потому что она казалась им довольно пустой девицей. Теперь и отец и мать часто стояли в ожидании перед комнатой Грегора, покуда сестра там убирала, и, едва только она выходила оттуда, заставляли ее подробно рассказывать, в каком виде была комната, что ел Грегор, как он на этот раз вел себя и заметно ли хоть маленькое улучшение. Впрочем, мать относительно скоро пожелала навестить Грегора, но отец и сестра удерживали ее от этого — сначала разумными доводами, которые Грегор, очень внимательно их выслушивая, целиком одобрял. Позднее удерживать ее приходилось уже силой, и когда она кричала: «Пустите меня к Грегору, это же мой несчастный сын! Неужели вы не понимаете, что я должна пойти к нему?» — Грегор думал, что,

наверно, и в самом деле было бы хорошо, если бы мать приходила к нему, конечно, не каждый день, но, может быть, раз в неделю; ведь она понимала все куда лучше, чем сестра, которая при всем своем мужестве была только ребенком и в конечном счете, наверно, только по детскому легкомыслию взяла на себя такую обузу.

Желание Грегора увидеть мать вскоре исполнилось. Заботясь о родителях, Грегор в дневное время уже не показывался у окна, ползать же по нескольким квадратным метрам пола долго не удавалось, лежать неподвижно было ему уже и ночами трудно, еда вскоре перестала доставлять ему какое бы то ни было удовольствие, и он приобрел привычку ползать для развлечения по стенам и по потолку. Особенно любил он висеть на потолке; это было совсем не то, что лежать на полу; дышалось свободнее, тело легко покачивалось; в том почти блаженном состоянии и рассеянности, в котором он там наверху пребывал, он подчас, к собственному своему удивлению, срывался и шлепался на пол. Но теперь он, конечно, владел своим телом совсем не так, как прежде, и с какой бы высоты он ни падал, он не причинял себе при этом никакого вреда. Сестра сразу заметила, что Грегор нашел новое развлечение — ведь, ползая, он повсюду оставлял следы клейкого вещества,— и решила предоставить ему как можно больше места для этого занятия, выставив из комнаты мешавшую ему ползать мебель, то есть прежде всего шкаф и письменный стол. Но она была не в состоянии сделать это одна; позвать на помощь отца она не осмеливалась, прислуга же ей, безусловно, не помогла бы, ибо, хотя эта шестнадцатилетняя девушка, нанятая после ухода прежней кухарки, не отказывалась от места, она испросила разрешения держать кухню на запоре и открывать дверь лишь по особому оклику; поэтому сестре ничего не оставалось, как однажды, в отсутствие отца, привести мать. Та направилась к Грегору с возгласами взволнованной радости, но перед дверью его комнаты умолкла. Сестра, конечно, сначала проверила, все ли в порядке в комнате; лишь после этого она впустила мать. Грегор с величайшей поспешностью скомкал и еще дальше потянул простыню; казалось, что простыня брошена на диван и в самом деле случайно. На этот раз Грегор не стал выглядывать из-под простыни; он отказался от возможности увидеть мать уже в этот раз, но был рад, что она наконец пришла.

— Входи, его не видно,— сказала сестра и явно повела мать за руку.

Грегор слышал, как слабые женщины старались сдвинуть с места тяжелый старый шкаф и как сестра все время брала на себя большую часть работы, не слушая предостережений матери, которая боялась, что та надорвется. Это длилось очень долго. Когда они провозились уже с четверть часа, мать сказала, что лучше оставить шкаф там, где он стоит: во-первых, он слишком тяжел и они не управятся с ним до прихода отца, а стоя посреди комнаты, шкаф и вовсе преградит Грегору путь, а во-вторых, еще неизвестно, приятно ли Грегору, что мебель выносят. Ей, сказала она, кажется, что ему это скорей неприятно; ее, например, вид голой стены прямо-таки удручает; почему же не должен он удручать и Грегора, коль скоро тот привык к этой мебели и потому почувствует себя в пустой комнате совсем заброшенным.

— И разве,— заключила мать совсем тихо, хотя она и так говорила почти шепотом, словно не желая, чтобы Грегор, местонахождение которого она не знала, услыхал хотя бы звук ее голоса, а в том, что слов он не понимает, она не сомневалась,— разве, убирая мебель, мы не показываем, что перестали надеяться на какое-либо улучшение и безжалостно предоставляем его самому себе? По-моему, лучше всего постараться оставить комнату такой же, какой она была прежде, чтобы Грегор, когда он к нам возвратится, не нашел в ней никаких перемен и поскорее забыл это время.

Услыхав слова матери, Грегор подумал, что отсутствие непосредственного общения с людьми при однообразной жизни внутри семьи помутило, видимо, за эти два месяца его разум, ибо иначе он никак не мог объяснить себе появившейся у него вдруг потребности оказаться в пустой комнате. Неужели ему и в самом деле хотелось превратить свою теплую, уютно обставленную наследственной мебелью комнату в пещеру, где он, правда, мог бы беспрепятственно ползать во все стороны, но зато быстро и полностью забыл бы свое человеческое прошлое? Ведь он и теперь уже был близок к этому, и только голос матери, которого он давно не слышал, его встормошил. Ничего не следовало удалять; все должно было оставаться на месте; благотворное воздействие мебели на его состояние было необходимо; а если мебель мешала ему бессмысленно ползать, то это шло ему не во вред, а на великую пользу.

Но сестра была, увы, другого мнения; привыкнув — и не без основания — при обсуждении дел Грегора выступать в качестве знатока наперекор родителям, она и сейчас сочла совет матери достаточным поводом, чтобы настаивать на уда-

лении не только шкафа, но и вообще всей мебели, кроме дивана, без которого никак нельзя было обойтись. Требование это было вызвано, конечно, не только ребяческим упрямством сестры и ее так неожиданно и так нелегко обретенной в последнее время самоуверенностью; нет, она и в самом деле видела, что Грегору нужно много места для передвижения, а мебелью, судя по всему, он совершенно не пользовался. Может быть, впрочем, тут сказалась и свойственная девушкам этого возраста пылкость воображения, которая всегда рада случаю дать себе волю и теперь побуждала Грету сделать положение Грегора еще более устрашающим, чтобы оказывать ему еще большие, чем до сих пор, услуги. Ведь в помещение, где были бы только Грегор да голые стены, вряд ли осмелился бы кто-либо, кроме Греты, войти.

Поэтому она не вняла совету матери, которая, испытывая в этой комнате какую-то неуверенность и тревогу, вскоре умолкла и принялась в меру своих сил помогать сестре, выставлявшей шкаф за дверь. Без шкафа Грегор, на худой конец, мог еще обойтись, но письменный стол должен был остаться. И едва обе женщины, вместе со шкафом, который они, кряхтя, толкали, покинули комнату, Грегор высунул голову из-под дивана, чтобы найти способ осторожно и по возможности деликатно вмешаться. Но, на беду, первой вернулась мать, а Грета, оставшаяся одна в соседней комнате, раскачивала, обхватив обеими руками, шкаф, который, конечно, так и не сдвинула с места. Мать же не привыкла к виду Грегора, она могла даже заболеть, увидев его, и поэтому Грегор испуганно попятился к другому краю дивана, отчего висевшая спереди простыня все же зашевелилась. Этого было достаточно, чтобы привлечь внимание матери. Она остановилась, немного постояла и ушла к Грете.

Хотя Грегор все время твердил себе, что ничего особенного не происходит и что в квартире просто переставляют какую-то мебель, непрестанное хождение женщин, их негромкие возгласы, звуки скребущей пол мебели — все это, как он вскоре признался себе, показалось ему огромным, всеохватывающим переполохом; и, втянув голову, прижав ноги к туловищу, а туловищем плотно прильнув к полу, он вынужден был сказать себе, что не выдержит этого долго. Они опустошали его комнату, отнимали у него все, что было ему дорого; шкаф, где лежали его лобзик и другие инструменты, они уже вынесли; теперь они двигали успевший уже продавить паркет письменный стол, за которым он готовил уроки, учась в торговом, в реальном и даже еще в начальном училище,— и ему

было уже некогда вникать в добрые намерения этих женщин, о существовании которых он, кстати, почти забыл, ибо от усталости они работали уже молча, и был слышен только тяжелый топот их ног.

Поэтому он выскочил из-под дивана — женщины были как раз в смежной комнате, они переводили дух, опершись на письменный стол,— четырежды поменял направление бега, и впрямь не зная, что ему спасать в первую очередь, увидел особенно заметный на уже пустой стене портрет дамы в мехах, поспешно вскарабкался на него и прижался к стеклу, которое, удерживая его, приятно охлаждало ему живот. По крайней мере, этого портрета, целиком закрытого теперь Грегором, у него наверняка не отберет никто. Он повернул голову к двери гостиной, чтобы увидеть женщин, когда они вернутся.

Они отдыхали не очень-то долго и уже возвращались; Грета почти несла мать, обняв ее одной рукой.

— Что же мы возьмем теперь? — сказала Грета и огляну-лась. Тут взгляд ее встретился со взглядом висевшего на стене Грегора. По-видимому, благодаря присутствию матери сохранив самообладание, она склонилась к ней, чтобы помешать ей обернуться, и сказала — сказала, впрочем, дрожа и наобум:

— Не возвратиться ли нам на минутку в гостиную?

Намерение Греты было Грегору ясно — она хотела увести мать в безопасное место, а потом согнать его со стены. Ну что ж, пусть попробует! Он приник к портрету и не отдаст его. Скорей уж он вцепится Грете в лицо.

Но слова Греты как раз и встревожили мать, она отступила в сторону, увидела огромное бурое пятно на цветных обоях, вскрикнула, прежде чем до ее сознания по-настоящему дошло, что это и есть Грегор, визгливо-пронзительно: «Ах, боже мой, боже мой!» — упала с раскинутыми в изнеможении руками на диван и застыла.

— Эй, Грегор! — крикнула сестра, подняв кулак и сверкая глазами.

Это были первые после случившегося с ним превращения слова, обращенные к нему непосредственно. Она побежала в смежную комнату за какими-нибудь каплями, с помощью которых можно было привести в чувство мать; Грегор тоже хотел помочь матери — спасти портрет время еще было; но Грегор прочно прилип к стеклу и насилу от него оторвался; затем он побежал в соседнюю комнату, словно мог дать сестре какой-то совет, как в прежние времена, но вынужден был

праздно стоять позади нее; перебирая разные пузырьки, она обернулась и испугалась; какой-то пузырек упал на пол и разбился; осколок ранил Грегору лицо, а его всего обрызгало каким-то едким лекарством; не задерживаясь долее, Грета взяла столько пузырьков, сколько могла захватить, и побежала к матери; дверь она захлопнула ногой. Теперь Грегор оказался отрезан от матери, которая по его вине была, возможно, близка к смерти; он не должен был открывать дверь, если не хотел прогнать сестру, а сестре следовало находиться с матерью; теперь ему ничего не оставалось, кроме как ждать; и, казнясь раскаянием и тревогой, он начал ползать, облазил все: стены, мебель и потолок — и наконец, когда вся комната уже завертелась вокруг него, в отчаянии упал на середину большого стола.

Прошло несколько мгновений. Грегор без сил лежал на столе, кругом было тихо, возможно, это был добрый знак. Вдруг раздался звонок. Прислуга, конечно, заперлась у себя в кухне, и открывать пришлось Грете. Это вернулся отец.

— Что случилось? — были его первые слова; должно быть, вид Греты все ему выдал. Грета отвечала глухим голосом, она, очевидно, прижалась лицом к груди отца:

— Мама упала в обморок, но ей уже лучше. Грегор вырвался.

— Ведь я же этого ждал,— сказал отец,— ведь я же вам всегда об этом твердил, но вы, женщины, никого не слушаете.

Грегору было ясно, что отец, превратно истолковав слишком скупые слова Греты, решил, что Грегор пустил в ход силу. Поэтому теперь Грегор должен был попытаться как-то смягчить отца, ведь объясниться с ним у него не было ни времени, ни возможности. И подбежав к двери своей комнаты, он прижался к ней, чтобы отец, войдя из передней, сразу увидел, что Грегор исполнен готовности немедленно вернуться к себе и что не нужно, следовательно, гнать его назад, а достаточно просто отворить дверь — и он сразу исчезнет.

Но отец был не в том настроении, чтобы замечать подобные тонкости.

— А! — воскликнул он, как только вошел, таким тоном, словно был одновременно зол и рад. Грегор отвел голову от двери и поднял ее навстречу отцу. Он никак не представлял себе отца таким, каким сейчас увидел его; правда, в последнее время, начав ползать по всей комнате, Грегор уже не следил, как прежде, за происходившим в квартире и теперь, собственно, не должен был удивляться никаким переменам. И все же, и все же — неужели это был отец? Тот самый

человек, который прежде устало зарывался в постель, когда Грегор отправлялся в деловые поездки; который в вечера приездов встречал его дома в халате и, не в состоянии встать с кресла, только приподнимал руки в знак радости; а во время редких совместных прогулок в какое-нибудь воскресенье или по большим праздникам в наглухо застегнутом старом пальто, осторожно выставляя вперед костылик, шагал между Грегором и матерью,— которые и сами-то двигались медленно,— еще чуть-чуть медленней, чем они, и если хотел что-либо сказать, то почти всегда останавливался,чтобы собрать около себя своих провожатых. Сейчас он был довольно-таки осанист; на нем был строгий синий мундир с золотыми пуговицами, какие носят банковские рассыльные; над высоким тугим воротником нависал жирный двойной подбородок; черные глаза глядели из-под кустистых бровей внимательно и живо; обычно растрепанные, седые волосы были безукоризненно причесаны на пробор и напомажены. Он бросил на диван, дугой через всю комнату, свою фуражку с золотой монограммой какого-то, вероятно, банка и, спрятав руки в карманы брюк, отчего фалды длинного его мундира отогнулись назад, двинулся на Грегора с искаженным от злости лицом. Он, видимо, и сам не знал, как поступит; но он необычно высоко поднимал ноги, и Грегор поразился огромному размеру его подошв. Однако Грегор не стал мешкать, ведь он же с первого дня новой своей жизни знал, что отец считает единственно правильным относиться к нему с величайшей строгостью. Поэтому он побежал от отца, останавливаясь, как только отец останавливался, и спеша вперед, стоило лишь пошевелиться отцу. Так сделали они несколько кругов по комнате без каких-либо существенных происшествий, и, так как двигались они медленно, все это даже не походило на преследование. Поэтому Грегор пока оставался на полу, боясь к тому же, что если он вскарабкается на стену или на потолок, то это покажется отцу верхом наглости. Однако Грегор чувствовал, что даже и такой беготни он долго не выдержит: ведь если отец делал один шаг, то ему, Грегору, приходилось проделывать за это же время бесчисленное множество движений. Одышка становилась все ощутимее, а ведь на его легкие нельзя было вполне полагаться и прежде. И вот, когда он, еле волоча ноги и едва открывая глаза, пытался собрать все силы для бегства, не помышляя в отчаянии ни о каком другом способе спасения и уже почти забыв, что может воспользоваться стенами, заставленными здесь, правда, затейливой резной мебелью со множеством острых выступов и

зубцов,— вдруг совсем рядом с ним упал и покатился впереди него какой-то брошенный сверху предмет. Это было яблоко; вдогонку за первым тотчас же полетело второе; Грегор в ужасе остановился; бежать дальше было бессмысленно, ибо отец решил бомбардировать его яблоками. Он пополнил карманы содержимым стоявшей на буфете вазы для фруктов и теперь, не очень-то тщательно целясь, швырял одно яблоко за другим. Как наэлектризованные, эти маленькие красные яблоки катались по полу и сталкивались друг с другом. Одно легко брошенное яблоко задело Грегору спину, но скатилось, не причинив ему вреда. Зато другое, пущенное сразу вслед, накрепко застряло в спине у Грегора. Грегор хотел отползти подальше, как будто перемена места могла унять внезапную невероятную боль; но он почувствовал себя словно бы пригвожденным к полу и растянулся, теряя сознание. Он успел увидеть только, как распахнулась дверь его комнаты и в гостиную, опережая кричавшую что-то сестру, влетела мать в нижней рубашке — сестра раздела ее, чтобы облегчить ей дыхание во время обморока; как мать побежала к отцу и с нее, одна за другой, свалились на пол развязанные юбки и как она, спотыкаясь о юбки, бросилась отцу на грудь и, обнимая его, целиком слившись с ним,— но тут зрение Грегора уже отказало,— охватив ладонями затылок отца, взмолилась, чтобы он сохранил Грегору жизнь.

III

Тяжелое ранение, от которого Грегор страдал более месяца (яблоко никто не отважился удалить, и оно так и осталось в теле наглядной памяткой), тяжелое это ранение напомнило, кажется, даже отцу, что, несмотря на свой нынешний плачевный и омерзительный облик, Грегор все-таки член семьи, что с ним нельзя обращаться как с врагом, а нужно во имя семейного долга подавить отвращение и терпеть, только терпеть.

И если из-за своей раны Грегор навсегда, вероятно, утратил прежнюю подвижность и теперь, чтобы пересечь комнату, ему, как старому инвалиду, требовалось несколько долгих-предолгих минут — о том, чтобы ползать вверху, нечего было и думать,— то за это ухудшение своего состояния он был, по его мнению, вполне вознагражден тем, что под вечер всегда отворялась дверь гостиной, дверь, за которой он начинал следить часа за два до этого, и, лежа в темноте своей

комнаты, невидимый из гостиной, он мог видеть сидевших за освещенным столом родных и слушать их речи, так сказать, с общего разрешения, то есть совершенно иначе, чем раньше.

Это были, правда, уже не те оживленные беседы прежних времен, о которых Грегор всегда с тоской вспоминал в каморках гостиниц, когда падал, усталый, на влажную постель. Чаще всего бывало очень тихо. Отец вскоре после ужина засыпал в своем кресле; мать и сестра старались хранить тишину; мать, сильно нагнувшись вперед, ближе к свету, шила тонкое белье для магазина готового платья; сестра, поступившая в магазин продавщицей, занималась по вечерам стенографией и французским языком, чтобы, может быть, когда-нибудь позднее добиться лучшего места. Иногда отец просыпался и, словно не заметив, что спал, говорил матери: «Как ты сегодня опять долго шьешь!» — после чего тотчас же засыпал снова, а мать и сестра устало улыбались друг другу.

С каким-то упрямством отец отказывался снимать и дома форму рассыльного; и в то время как его халат без пользы висел на крючке, отец дремал на своем месте совершенно одетый, словно всегда был готов к службе и даже здесь только и ждал голоса своего начальника. Из-за этого его и поначалу-то не новая форма, несмотря на заботы матери и сестры, утратила опрятный вид, и Грегор, бывало, целыми вечерами глядел на эту хоть и сплошь в пятнах, но сверкавшую неизменно начищенными пуговицами одежду, в которой старик весьма неудобно и все же спокойно спал.

Когда часы били десять, мать пыталась тихонько разбудить отца и уговорить его лечь в постель, потому что в кресле ему не удавалось уснуть тем крепким сном, в котором он, начинавший службу в шесть часов, крайне нуждался. Но из упрямства, завладевшего отцом с тех пор, как он стал рассыльным, он всегда оставался за столом, хотя, как правило, засыпал снова, после чего лишь с величайшим трудом удавалось убедить его перейти из кресла в кровать. Сколько ни уговаривали его мать и сестра, он не меньше четверти часа медленно качал головой, не открывая глаз и не поднимаясь. Мать дергала его за рукав, говорила ему на ухо ласковые слова, сестра отрывалась от своих занятий, чтобы помочь матери, но на отца это не действовало. Он только еще глубже опускался в кресло. Лишь когда женщины брали его под мышки, он открывал глаза, глядел попеременно то на мать, то на сестру и говорил: «Вот она, жизнь. Вот мой покой на старости лет». И, опираясь на обеих женщин, медленно, словно не мог справиться с весом собственного тела, поднимался,

позволял им довести себя до двери, а дойдя до нее, кивал им, чтобы они удалились, и следовал уже самостоятельно дальше, однако мать в спешке бросала шитье, а сестра — перо, чтобы побежать за отцом и помочь ему улечься в постель.

У кого в этой переутомленной и надрывавшейся от трудов семье оставалось время печься о Грегоре больше, чем то было безусловно необходимо? Расходы на хозяйство все больше сокращались; прислугу в конце концов рассчитали; для самой тяжелой работы приходила теперь по утрам и по вечерам огромная костистая женщина с седыми развевающимися волосами; все остальное, помимо своей большой швейной работы, делала мать. Приходилось даже продавать семейные драгоценности, которые мать и сестра с великим удовольствием надевали прежде в торжественных случаях,— Грегор узнавал об этом по вечерам, когда все обсуждали вырученную сумму. Больше всего, однако, сетовали всегда на то, что эту слишком большую по теперешним обстоятельствам квартиру нельзя покинуть, потому что неясно, как переселить Грегора. Но Грегор понимал, что переселению мешает не только забота о нем, его-то можно было легко перевезти в каком-нибудь ящике с отверстием для воздуха; удерживали семью от перемены квартиры главным образом полная безнадежность и мысль о том, что с ними стряслось такое несчастье, какого ни с кем из их знакомых и родственников никогда не случалось. Семья выполняла решительно все, чего требует мир от бедных людей, отец носил завтраки мелким банковским служащим, мать надрывалась за шитьем белья для чужих людей, сестра, повинуясь покупателям, сновала за прилавком, но на большее у них не хватало сил. И рана на спине Грегора каждый раз начинала болеть заново, когда мать и сестра, уложив отца, возвращались в гостиную, но не брались за работу, а садились рядом, щека к щеке; когда мать, указывая на комнату Грегора, говорила теперь: «Закрой ту дверь, Грета» — и Грегор опять оказывался в темноте, а женщины за стеной вдвоем проливали слезы или сидели, уставясь в одну точку, без слез.

Ночи и дни Грегор проводил почти совершенно без сна. Иногда он думал, что вот откроется дверь и он снова, совсем как прежде, возьмет в свои руки дела семьи; в мыслях его после долгого перерыва вновь появлялись хозяин и управляющий, коммивояжеры и ученики-мальчики, болван дворник, два-три приятеля из других фирм, горничная из одной провинциальной гостиницы — милое мимолетное воспоминание, кассирша из одного шляпного магазина, за которой он всерь-

ез, но слишком долго ухаживал,— все они появлялись вперемежку с незнакомыми или уже забытыми людьми, но вместо того, чтобы помочь ему и его семье, оказывались, все как один, неприступны, и он бывал рад, когда они исчезали. А потом он опять терял всякую охоту заботиться о семье, его охватывало возмущение плохим уходом, и, не представляя себе, чего бы ему хотелось съесть, он замышлял забраться в кладовку, чтобы взять все, что ему, хотя бы он и не был голоден, причиталось. Уже не раздумывая, чем бы доставить Грегору особое удовольствие, сестра теперь утром и днем, прежде чем бежать в свой магазин, ногою запихивала в комнату Грегора какую-нибудь еду, чтобы вечером, независимо от того, притронется он к ней или — как бывало чаще всего — оставит ее нетронутой, одним взмахом веника вымести эту снедь. Уборка комнаты, которой сестра занималась теперь всегда по вечерам, проходила как нельзя более быстро. По стенам тянулись грязные полосы, повсюду лежали кучи пыли и мусора. Первое время при появлении сестры Грегор забивался в особенно запущенные углы, как бы упрекая ее таким выбором места. Но если бы он даже стоял там неделями, сестра все равно не исправилась бы; она же видела грязь ничуть не хуже, чем он, она просто решила оставить ее. При этом она с совершенно не свойственной ей в прежние времена обидчивостью, овладевшей теперь вообще всей семьей, следила за тем, чтобы уборка комнаты Грегора оставалась только ее, сестры, делом. Однажды мать затеяла в комнате Грегора большую уборку, для чего извела несколько ведер воды — такое обилие влаги было, кстати, неприятно Грегору, и, обидевшись, он неподвижно распластался на диване,— но мать была за это наказана. Как только сестра заметила вечером перемену в комнате Грегора, она, до глубины души оскорбившись, вбежала в гостиную и, несмотря на заклинания заламывавшей руки матери, разразилась рыданиями, на которые родители — отец, конечно, испуганно вскочил со своего кресла — глядели сначала беспомощно и удивленно; потом засуетились и они: отец, направо, стал упрекать мать за то, что она не предоставила эту уборку сестре; сестре же, налево, наоборот, кричал, что ей никогда больше не дадут убирать комнату Грегора; тем временем мать пыталась утащить в спальню отца, который от волнения совсем потерял власть над собой; сотрясаясь от рыданий, сестра колотила по столу своими маленькими кулачками; а Грегор громко шипел от злости, потому что никому не прихо-

дило в голову закрыть дверь и избавить его от этого зрелища и от этого шума

Но даже когда сестре, измученной службой, надоело заботиться, как прежде, о Грегоре, матери не пришлось заменять ее, но без присмотра Грегор все-таки не остался. Теперь пришел черед служанки. Старая эта вдова, которая за долгую жизнь вынесла, вероятно, на своих могучих плечах немало горестей, в сущности, не питала к Грегору отвращения. Без всякого любопытства она однажды случайно открыла дверь его комнаты и при виде Грегора, который, хотя его никто не гнал, от неожиданности забегал по полу, удивленно остановилась, сложив на животе руки. С тех пор она неизменно, утром и вечером, мимоходом приоткрывала дверь и заглядывала к Грегору. Сначала она даже подзывала его к себе словами, которые, вероятно, казались ей приветливыми, такими, например, как: «Поди-ка сюда, навозный жучок!« или: «Где наш жучище?» Грегор не отвечал ей, он не двигался с места, словно дверь вовсе не открывалась. Лучше бы этой служанке приказали ежедневно убирать его комнату, вместо того чтобы позволять ей без толку беспокоить его, когда ей заблагорассудится! Как-то ранним утром — в стекла бил сильный дождь, должно быть, уже признак наступающей весны,— когда служанка начала обычную свою болтовню, Грегор до того разозлился, что, словно бы изготовившись для нападения, медленно, впрочем, и нетвердо, повернулся к служанке. Та, однако, вместо того чтобы испугаться, только занесла вверх стоявший у двери стул и широко открыла при этом рот, и было ясно, что она намерена закрыть его не раньше, чем стул в ее руке опустится на спину Грегора.

— Значит, дальше не полезем? — спросила она, когда Грегор от нее отвернулся, и спокойно поставила стул в угол, на прежнее место.

Грегор теперь почти ничего не ел. Только когда он случайно проходил мимо приготовленной ему снеди, он для забавы брал кусок в рот, а потом, продержав его там несколько часов, большей частью выплевывал. Сперва он думал, что аппетит у него отбивает вид его комнаты, но как раз с переменами в своей комнате он очень быстро примирился. Сложилась уже привычка выставлять в эту комнату вещи, для которых не находилось другого места, а таких вещей было теперь много, потому что одну комнату сдали троим жильцам. Эти строгие люди — у всех троих, как углядел через щель Грегор, были окладистые бороды — педантично добивались порядка, причем порядка не только в своей комнате, но, коль

скоро уж они здесь поселились, во всей квартире и, значит, особенно в кухне. Хлама, тем более грязного, они терпеть не могли. Кроме того, большую часть мебели они привезли с собой. По этой причине в доме оказалось много лишних вещей, которые нельзя было продать, но и жаль было выбросить. Все они перекочевали в комнату Грегора. Равным образом — ящик для золы и мусорный ящик из кухни. Все хотя бы лишь временно ненужное служанка, которая всегда торопилась, просто швыряла в комнату Грегора; к счастью, Грегор обычно видел только выбрасываемый предмет и державшую его руку. Возможно, служанка и собиралась при случае водворить эти вещи на место или, наоборот, выбросить все разом, но пока они так и оставались лежать там, куда их однажды бросили, если только Грегор, пробираясь сквозь эту рухлядь, не сдвигал ее с места — сначала поневоле, так как ему негде было ползать, а потом со все возрастающим удовольствием, хотя после таких путешествий он часами не мог двигаться от смертельной усталости и тоски.

Так как жильцы порою ужинали дома, в общей гостиной, дверь гостиной в иные вечера оставалась запертой, но Грегор легко мирился с этим, тем более что даже и теми вечерами, когда она бывала отворена, часто не пользовался, а лежал, чего не замечала семья, в самом темном углу своей комнаты. Но однажды служанка оставила дверь в гостиную приоткрытой; приоткрытой оставалась она и вечером, когда вошли жильцы и зажегся свет. Они уселись с того края стола, где раньше ели отец, мать и Грегор, развернули салфетки и взяли в руки ножи и вилки. Тотчас же в дверях появилась мать с блюдом мяса и сразу же за ней сестра — с полным блюдом картошки. От еды обильно шел пар. Жильцы нагнулись над поставленными перед ними блюдами, словно желая проверить их, прежде чем приступить к еде, и тот, что сидел посредине и пользовался, видимо, особым уважением двух других, и в самом деле разрезал кусок мяса прямо на блюде, явно желая определить, достаточно ли оно мягкое и не следует ли отослать его обратно. Он остался доволен, а мать и сестра, напряженно следившие за ним, с облегчением улыбнулись.

Сами хозяева ели на кухне. Однако, прежде чем отправиться на кухню, отец зашел в гостиную и, сделав общий поклон, с фуражкой в руках обошел стол. Жильцы дружно поднялись и что-то пробормотали в бороды. Оставшись затем одни, они ели в полном почти молчании. Грегору показалось странным, что из всех разнообразных шумов трапезы то и

дело выделялся звук жующих зубов, словно это должно было показать Грегору, что для еды нужны зубы и что самые распрекрасные челюсти, если они без зубов, никуда не годятся. «Да ведь и я чего-нибудь съел бы,— озабоченно говорил себе Грегор,— но только не того, что они. Как много эти люди едят, а я погибаю!»

Именно в тот вечер — Грегор не помнил, чтобы за все это время он хоть раз слышал, как играет сестра,— из кухни донеслись звуки скрипки. Жильцы уже покончили с ужином, средний, достав газету, дал двум другим по листу, и теперь они сидели откинувшись и читали. Когда заиграла скрипка, они прислушались, поднялись и на цыпочках подошли к двери передней, где, сгрудившись, и остановились. По-видимому, их услыхали на кухне, и отец крикнул:

— Может быть, музыка господам неприятна? Ее можно прекратить сию же минуту.

— Напротив,— сказал средний жилец,— не угодно ли барышне пройти к нам и поиграть в этой комнате, где, право же, гораздо приятнее и уютнее?

— О, пожалуйста! — вокликнул отец, словно на скрипке играл он.

Жильцы вернулись в гостиную и стали ждать. Вскоре явились отец с пюпитром, мать с нотами и сестра со скрипкой. Сестра спокойно занялась приготовлениями к игре; родители, никогда прежде не сдававшие комнат и потому обращавшиеся с жильцами преувеличенно вежливо, не осмелились сесть на свои собственные стулья; отец прислонился к двери, засунув правую руку за борт застегнутой ливреи, между двумя пуговицами; мать же, которой один из жильцов предложил стул, оставила его там, куда тот его случайно поставил, а сама сидела в сторонке, в углу.

Сестра начала играть. Отец и мать, каждый со своей стороны, внимательно следили за движениями ее рук. Грегор, привлеченный игрой, отважился продвинуться немного дальше обычного, и голова его была уже в гостиной. Он почти не удивлялся тому, что в последнее время стал относиться к другим не очень-то чутко; прежде эта чуткость была его гордостью. А между тем именно теперь у него было больше, чем когда-либо, оснований прятаться, ибо из-за пыли, лежавшей повсюду в его комнате и при малейшем движении поднимавшейся, он и сам тоже был весь покрыт пылью; на спине и на боках он таскал с собой нитки, волосы, остатки еды; слишком велико было его равнодушие ко всему, чтобы ложиться, как прежде, по нескольку раз в день на спину и чиститься о ковер.

Но, несмотря на свой неопрятный вид, он не побоялся продвинуться вперед по сверкающему полу гостиной. Впрочем, никто не обращал на него внимания. Родные были целиком поглощены игрой на скрипке, а жильцы, которые сначала, засунув руки в карманы брюк, стали у самого пюпитра сестры, откуда все они заглядывали в ноты, что, несомненно, мешало сестре, отошли вскоре, вполголоса переговариваясь и опустив головы, к окну, куда и бросал теперь озабоченные взгляды отец. Было и впрямь похоже на то, что они обманулись в своей надежде послушать хорошую, интересную игру на скрипке, что все это представление им наскучило и они уже лишь из вежливости поступались своим покоем. Особенно свидетельствовало об их большой нервозности то, как они выпускали вверх из ноздрей и изо рта дым сигар. А сестра играла так хорошо! Ее лицо склонилось набок, внимательно и печально следовал ее взгляд за нотными знаками. Грегор прополз еще немного вперед и прижался головой к полу, чтобы получить возможность встретиться с ней глазами. Был ли он животным, если музыка так волновала его? Ему казалось, что перед ним открывается путь к желанной, неведомой пище. Он был полон решимости пробраться к сестре и, дернув ее за юбку, дать ей понять, чтобы она прошла со своей скрипкой в его комнату, ибо здесь никто не оценит ее игры так, как оценит эту игру он. Он решил не выпускать больше сестру из своей комнаты, по крайней мере до тех пор, покуда он жив; пусть ужасная его внешность сослужит ему наконец службу; ему хотелось, появляясь у всех дверей своей комнаты одновременно, шипеньем отпугивать всякого, кто подступится к ним; но сестра должна остаться у него не по принуждению, а добровольно; пусть она сядет рядом с ним на диван и склонит к нему ухо, и тогда он поведает ей, что был твердо намерен определить ее в консерваторию и что об этом, не случись такого несчастья, он еще в прошлое Рождество — ведь Рождество, наверное, уже прошло? — всем заявил бы, не боясь ничьих и никаких возражений. После этих слов сестра, растрогавшись, заплакала бы, а Грегор поднялся бы к ее плечу и поцеловал бы ее в шею, которую она, с тех пор как поступила на службу, не закрывала ни воротниками, ни лентами.

— Господин Замза! — крикнул средний жилец отцу и, не тратя больше слов, указал пальцем на медленно продвигавшегося вперед Грегора. Скрипка умолкла, средний жилец сначала улыбнулся, сделав знак головой друзьям, а потом снова взглянул на Грегора. Отец, по-видимому, счел более необходимым, чем прогонять Грегора, успокоить сначала

жильцов, хотя те вовсе не волновались и Грегор занимал их, казалось, больше, нежели игра на скрипке. Отец поспешил к ним, стараясь своими широко разведенными руками оттеснить жильцов в их комнату и одновременно заслонить от их глаз Грегора своим туловищем. Теперь они и в самом деле начали сердиться — то ли из-за поведения отца, то ли обнаружив, что жили, не подозревая о том, с таким соседом, как Грегор. Они требовали от отца объяснений, поднимали в свою очередь руки, теребили бороды и лишь медленно отступали к своей комнате. Между тем сестра преодолела растерянность, в которую впала оттого, что так внезапно прервали ее игру; несколько мгновений она держала в бессильно повисших руках смычок и скрипку и, словно продолжая играть, по-прежнему глядела на ноты, а потом вдруг встрепенулась и, положив инструмент на колени матери — та все еще сидела на своем стуле, пытаясь преодолеть приступ удушья глубоким вздохом,— побежала в смежную комнату, к которой под натиском отца быстро приближались жильцы. Видно было, как опытными руками сестры взлетают и укладываются одеяла и пуховики на кроватях. Прежде чем жильцы достигли своей комнаты, сестра кончила стелить постели и выскользнула оттуда. Отцом, видимо, снова настолько овладело его упрямство, что он забыл о всякой почтительности, с которой как-никак обязан был относиться к своим жильцам. Он все оттеснял их, покуда уже в дверях комнаты средний жилец не топнул громко ногой и не остановил этим отца.

— Позвольте мне заявить,— сказал он, подняв руку и поискав глазами также мать и сестру,— что ввиду мерзких порядков, царящих в этой квартире и в этой семье,— тут он решительно плюнул на пол,— я наотрез отказываюсь от комнаты. Разумеется, я ни гроша не заплачу и за те дни, что я здесь прожил, напротив, я еще подумаю, не предъявить ли мне вам каких-либо претензий, смею вас заверить, вполне обоснованных.

Он умолк и пристально посмотрел вперед, словно чего-то ждал. И действительно, оба его друга тотчас же подали голос:

— Мы тоже наотрез отказываемся.

После этого он взялся за дверную ручку и с шумом захлопнул дверь.

Отец ощупью проковылял к своему креслу и повалился в него; с первого взгляда можно было подумать, что он расположился, как обычно, вздремнуть, но по тому, как сильно и словно бы неудержимо качалась у него голова, видно было, что он вовсе не спал. Грегор все время неподвижно лежал на

том месте, где его застигли жильцы. Разочарованный неудачей своего плана, а может быть, и от слабости после долгого голодания, он совсем утратил способность двигаться. Он не сомневался, что с минуты на минуту на него обрушится всеобщее негодование, и ждал. Его не вспугнула даже скрипка, которая, выскользнув из дрожащих пальцев матери, упала с ее колен и издала гулкий звук.

— Дорогие родители,— сказала сестра, хлопнув, чтобы призвать к вниманию, рукою по столу,— так жить дальше нельзя. Если вы этого, может быть, не понимаете, то я это понимаю. Я не стану произносить при этом чудовище имя моего брата и скажу только: мы должны попытаться избавиться от него. Мы сделали все, что было в человеческих силах, мы ухаживали за ним и терпели его, нас, по-моему, нельзя ни в чем упрекнуть.

— Она тысячу раз права,— сказал отец тихо.

Мать, которая все еще задыхалась, начала глухо кашлять в кулак с безумным выражением глаз.

Сестра поспешила к матери и придержала ей голову ладонью. Отец, которого слова сестры навели, казалось, на какие-то более определенные мысли, выпрямился в кресле; он играл своей форменной фуражкой, лежавшей на столе среди все еще не убранных после ужина тарелок, и время от времени поглядывал на притихшего Грегора.

— Мы должны попытаться избавиться от него,— сказала сестра, обращаясь только к отцу, ибо мать ничего не слышала за своим кашлем,— оно вас обоих погубит, вот увидите. Если так тяжело трудишься, как мы все, невмоготу еще и дома сносить эту вечную муку. Я тоже не могу больше.

И она разразилась такими рыданиями, что ее слезы скатились на лицо матери, которое сестра принялась вытирать машинальным движением рук.

— Дитя мое,— сочувственно и с поразительным пониманием сказал отец,— но что же нам делать?

Сестра только пожала плечами в знак растерянности, которая — в противоположность прежней ее решимости — овладела ею, когда она плакала.

— Если бы он понимал нас... — полувопросительно сказал отец.

Сестра, продолжая плакать, резко махнула рукой в знак того, что об этом нечего и думать.

— Если бы он понимал нас,— повторил отец и закрыл глаза, разделяя убежденность сестры в невозможности этого,— тогда, может быть, с ним и удалось бы о чем-то договориться. А так...

— Пусть убирается отсюда! — воскликнула сестра.— Это единственный выход, отец. Ты должен только избавиться от мысли, что это Грегор. В том-то и состоит наше несчастье, что мы долго верили в это. Но какой же он Грегор? Будь он Грегор, он давно бы понял, что люди не могут жить вместе с таким животным, и сам ушел бы. Тогда бы у нас не было брата, но зато мы могли бы по-прежнему жить и чтить его память. А так это животное преследует нас, прогоняет жильцов, явно хочет занять всю квартиру и выбросить нас на улицу. Гляди, отец,— закричала она внезапно,— он уже опять принимается за свое!

И в совершенно непонятном Грегору ужасе сестра даже покинула мать, буквально оттолкнувшись от стула, словно предпочитала пожертвовать матерью, но не оставаться рядом с Грегором, и поспешила к отцу, который, встревожившись только из-за ее поведения, тоже встал и протянул навстречу ей руки, как бы желая ее защитить.

Но ведь у Грегора и в мыслях не было пугать кого бы то ни было, а тем более сестру. Он просто начал поворачиваться, чтобы уползти в свою комнату, а это действительно сразу же бросилось в глаза, потому что из-за болезненного своего состояния он должен был при трудных поворотах помогать себе головой, неоднократно поднимая ее и стукаясь ею об пол. Он остановился и оглянулся. Добрые его намерения, казалось, были распознаны, испуг прошел. Теперь все смотрели на него молча и грустно. Мать полулежала на стуле, вытянув ноги, глаза ее были от усталости почти закрыты; отец и сестра сидели рядом, сестра обняла отца за шею.

«Наверно, мне уже можно повернуться»,— подумал Грегор и начал свою работу снова. Он не мог не пыхтеть от напряжения и вынужден был то и дело отдыхать. Впрочем, его никто и не торопил, его предоставили самому себе. Закончив поворот, он сразу же пополз прямо. Он удивился большому расстоянию, отделявшему его от комнаты, и не мог понять, как он при своей слабости недавно еще умудрился проделать этот же путь почти незаметно. Заботясь только о том, чтобы поскорей доползти, он не замечал, что никакие слова, никакие возгласы родных ему уже не мешают. Лишь оказавшись в дверях, он повернул голову, не полностью, потому что почувствовал, что шея у него деревенеет, но достаточно, чтобы увидеть, что позади него ничего не изменилось и только сестра встала. Последний его взгляд упал на мать, которая теперь совсем спала.

Как только он оказался в своей комнате, дверь поспешно захлопнули, заперли на задвижку, а потом и на ключ. Внезапного шума, раздавшегося сзади, Грегор испугался так, что у него подкосились лапки. Это сестра так спешила. Она уже стояла наготове, потом легко метнулась вперед — Грегор даже не слышал, как она подошла,— и, крикнув родителям: «Наконец-то!» — повернула ключ в замке.

«А теперь что?» — спросил себя Грегор, озираясь в темноте. Вскоре он обнаружил, что вообще уже не может шевелиться. Он этому не удивился, скорее ему показалось неестественным, что до сих пор он ухитрялся передвигаться на таких тонких ножках. В остальном ему было довольно покойно. Он почувствовал, правда, боль во всем теле, но ему показалось, что она постепенно слабеет и наконец вовсе проходит. Сгнившего яблока в спине и образовавшегося вокруг него воспаления, которое успело покрыться пылью, он уже почти не ощущал. О своей семье он думал с нежностью и любовью. Он тоже считал, что должен исчезнуть, считал, пожалуй, еще решительней, чем сестра. В этом состоянии чистого и мирного раздумья он пребывал до тех пор, пока башенные часы не пробили три часа ночи. Когда за окном все посветлело, он еще жил. Потом голова его помимо его воли совсем опустилась, и он слабо вздохнул в последний раз.

Когда рано утром пришла служанка — торопясь, дюжая эта женщина, сколько ее ни просили не поднимать шума, хлопала дверьми так, что с ее приходом в квартире уже прекращался спокойный сон,— она, заглянув, как всегда, к Грегору, ничего особенного сначала не заметила. Она решила, что это он нарочно лежит так неподвижно, притворяясь обиженным: в смышлености его она не сомневалась. Поскольку в руке у нее случайно был длинный веник, она попыталась пощекотать им Грегора, стоя в дверях. Но так как и это не оказало ожидаемого действия, она, рассердившись, легонько толкнула Грегора и насторожилась только тогда, когда, не встретив никакого сопротивления, сдвинула его с места. Поняв вскоре, что произошло, она сделала большие глаза, присвистнула, но не стала медлить, а рванула дверь спальни и во весь голос крикнула в темноту:

— Поглядите-ка, оно издохло, вот оно лежит совсем-совсем дохлое!

Сидя в супружеской постели, супруги Замза сначала с трудом преодолели испуг, вызванный у них появлением служанки, а потом уже восприняли смысл ее слов. Восприняв же его, господин и госпожа Замза, каждый со своего края, по-

спешно встали с постели, господин Замза накинул на плечи одеяло, госпожа Замза поднялась в одной ночной рубашке; так вошли они в комнату Грегора. Тем временем отворилась и дверь гостиной, где ночевала, с тех пор как появились жильцы, Грета; она была совсем одета, как если бы не спала, да и бледность ее лица говорила о том же.

— Умер? — сказала госпожа Замза, вопросительно глядя на служанку, хотя могла сама это проверить и даже без проверки понять.

— О том и твержу,— сказала служанка и в доказательство оттолкнула веником труп Грегора еще дальше в сторону. Госпожа Замза сделала такое движение, словно хотела задержать веник, однако же не задержала его.

— Ну вот,— сказал господин Замза,— теперь мы можем поблагодарить Бога.

Он перекрестился, и три женщины последовали его примеру. Грета, которая не спускала глаз с трупа, сказала:

— Поглядите только, как он исхудал. Ведь он так давно ничего не ел. Что ему ни приносили из еды, он ни к чему не притрагивался.

Тело Грегора и в самом деле было совершенно сухим и плоским, это стало по-настоящему видно только теперь, когда его уже не приподнимали ножки, да и вообще ничего больше не отвлекало взгляда.

— Зайди к нам на минутку, Грета,— сказала госпожа Замза с печальной улыбкой, и Грета, не переставая оглядываться на труп, пошла за родителями в спальню. Служанка закрыла дверь и распахнула настежь окно. Несмотря на ранний час, свежий воздух был уже тепловат. Стоял конец марта.

Трое жильцов вышли из своей комнаты и удивились, не увидев завтрака: о них забыли.

— Где завтрак? — угрюмо спросил служанку средний.

Но служанка, приложив палец к губам, стала быстро и молча кивать жильцам, чтобы они вошли в комнату Грегора. Они вошли туда и в уже совсем светлой комнате обступили труп Грегора, спрятав руки в карманах потертых своих пиджаков.

Тут отворилась дверь спальни и появился господин Замза в ливрее и с ним под руку с одной стороны жена, а с другой — дочь. У всех были немного заплаканные глаза; Грета нет-нет да прижималась лицом к плечу отца.

— Сейчас же оставьте мою квартиру! — сказал господин Замза и указал на дверь, не отпуская от себя обеих женщин.

— Что вы имеете в виду? — несколько смущенно сказал средний мужчина и льстиво улыбнулся. Два других, заложив руки за спину, непрерывно их потирали, как бы в радостном ожидании большого спора, сулящего, однако, благоприятный исход.

— Я имею в виду именно то, что сказал,— ответил господин Замза и бок о бок со своими спутниками подошел к жильцу. Тот несколько мгновений постоял молча, глядя в пол, словно у него в голове все перестраивалось.

— Ну что же, тогда мы уйдем,— сказал он затем и поглядел на господина Замзу так, словно, внезапно смирившись, ждал его согласия даже и в этом случае.

Господин Замза только несколько раз коротко кивнул ему, вытаращив глаза. После этого жилец и в самом деле тотчас направился широким шагом в переднюю; оба его друга, которые, прислушиваясь, уже перестали потирать руки, пустились за ним прямо-таки вприпрыжку, словно боялись, что господин Замза пройдет в переднюю раньше, чем они, и отрежет их от их вожака. В передней все три жильца сняли с вешалки шляпы, вытащили из подставки для тростей трости, молча поклонились и покинули квартиру. С каким-то, как оказалось, совершенно необоснованным недоверием господин Замза вышел с обеими женщинами на лестничную площадку; облокотясь на перила, они глядели, как жильцы медленно, правда, но неуклонно спускались по длинной лестнице, исчезая на каждом этаже на определенном повороте и показываясь через несколько мгновений опять; чем дальше уходили они вниз, тем меньше занимали они семью Замза, а когда, сначала навстречу им, а потом высоко над ними, стал, щеголяя осанкой, подниматься с корзиной на голове подручный из мясной, господин Замза и женщины покинули площадку, и все с каким-то облегчением вернулись в квартиру.

Они решили посвятить сегодняшний день отдыху и прогулке; они не только заслуживали этого перерыва в работе, он был им просто небходим. И поэтому они сели за стол и написали три объяснительных письма: господин Замза — своей дирекции, госпожа Замза — своему работодателю, а Грета — своему шефу. Покуда они писали, вошла служанка сказать, что она уходит, так как утренняя ее работа выполнена. Писавшие сначала только кивнули, не поднимая глаз, но когда служанка, вместо того чтобы удалиться, осталась на месте, на нее недовольно взглянули.

— Ну? — спросил господин Замза.

Служанка, улыбаясь, стояла в дверях с таким видом, как будто у нее была для семьи какая-то счастливая новость, сообщить которую она собиралась только после упорных расспросов. Страусовое перышко на ее шляпке, всегда раздражавшее господина Замзу, почти вертикально покачивалось во все стороны.

— Так что же вам нужно? — спросила госпожа Замза, к которой служанка относилась все-таки наиболее почтительно.

— Да,— отвечала служанка, давясь от добродушного смеха,— насчет того, как убрать это, можете не беспокоиться. Уже все в порядке.

Госпожа Замза и Грета склонились над своими письмами, словно намереваясь писать дальше; господин Замза, который заметил, что служанка собирается рассказать все подробно, решительно отклонил это движением руки. И так как ей не дали говорить, служанка вспомнила, что она очень торопится, крикнула с явной обидой: «Счастливо оставаться!» — резко повернулась и покинула квартиру, неистово хлопая дверьми.

— Вечером она будет уволена,— сказал господин Замза; но не получил ответа ни от жены, ни от дочери, ибо служанка нарушила их едва обретенный покой. Они поднялись, подошли к окну и, обнявшись, остановились там. Господин Замза повернулся на стуле в их сторону и несколько мгновений молча глядел на них. Затем он воскликнул:

— Подите же сюда! Забудьте наконец старое. И хоть немного подумайте обо мне.

Женщины тотчас повиновались, поспешили к нему, приласкали его и быстро закончили свои письма.

Затем они покинули квартиру все вместе, чего уже много месяцев не делали, и поехали на трамвае за город. Вагон, в котором они сидели одни, был полон теплого солнца. Удобно откинувшись на своих сиденьях, они обсуждали виды на будущее, каковые при ближайшем рассмотрении оказались совсем не плохими, ибо служба, о которой они друг друга до сих пор, собственно, и не спрашивали, была у всех у них на редкость удобная, а главное — она многое обещала в дальнейшем. Самым существенным образом улучшить их положение легко могла сейчас, конечно, перемена квартиры; они решили снять меньшую и более дешевую, но зато более уютную и вообще более подходящую квартиру, чем теперешняя, которую выбрал еще Грегор. Когда они так беседовали, господину и госпоже Замзе при виде их все более оживлявшейся дочери почти одновременно подумалось, что, несмотря на все горе-

сти, покрывшие бледностью ее щеки, она за последнее время расцвела и стала пышной красавицей. Приумолкнув и почти безотчетно перейдя на язык взглядов, они думали о том, что вот и пришло время подыскать ей хорошего мужа. И как бы в утверждение их новых мечтаний и прекрасных намерений, дочь первая поднялась в конце их поездки и выпрямила свое молодое тело.

В ИСПРАВИТЕЛЬНОЙ КОЛОНИИ

— Это особого рода аппарат, — сказал офицер ученому-путешественнику, не без любования оглядывая, конечно же, отлично знакомый ему аппарат. Путешественник, казалось, только из вежливости принял приглашение коменданта присутствовать при исполнении приговора, вынесенного одному солдату за непослушание и оскорбление начальника. Да и в исправительной колонии предстоявшая экзекуция большого интереса, по-видимому, не вызывала. Во всяком случае, здесь, в этой небольшой и глубокой песчаной долине, замкнутой со всех сторон голыми косогорами, кроме офицера и путешественника, находились только двое: осужденный — туповатый, широкоротый малый, с нечесаной головой и небритым лицом, — и солдат, не выпускавший из рук тяжелой цепи, к которой сходились маленькие цепочки, тянувшиеся от лодыжек и шеи осужденного и скрепленные вдобавок соединительными цепочками. Между тем во всем облике осужденного была такая собачья покорность, что казалось, его можно отпустить прогуляться по косогорам, а стоит только свистнуть перед началом экзекуции, и он явится.

Путешественник не проявлял к аппарату интереса и прохаживался позади осужденного явно безучастно, тогда как офицер, делая последние приготовления, то залезал под аппарат, в котлован, то поднимался по трапу, чтобы осмотреть верхние части машины. Работы эти можно было, собственно, поручить какому-нибудь механику, но офицер выполнял их с великим усердием — то ли он был особым приверженцем этого аппарата, то ли по каким-то другим причинам никому больше нельзя было доверить эту работу.

— Ну, вот и все! — воскликнул он наконец и слез с трапа. Он был чрезвычайно утомлен, дышал, широко открыв рот, а из-под воротника мундира у него торчали два дамских носовых платочка.

— Эти мундиры, пожалуй, слишком тяжелы для тропиков, — сказал путешественник, вместо того чтобы, как ожидал офицер, справиться об аппарате.

— Конечно, — сказал офицер и стал мыть выпачканные смазочным маслом руки в приготовленной бадейке с водой, — но это знак родины, мы не хотим терять родину. Но поглядите на этот аппарат, — прибавил он сразу же и, вытирая руки полотенцем, указал на аппарат. — До сих пор нужно было работать вручную, а сейчас аппарат будет действовать уже совершенно самостоятельно.

Путешественник кивнул и поглядел туда, куда указывал офицер. Тот пожелал застраховать себя от всяких случайностей и сказал:

— Бывают, конечно, неполадки: надеюсь, правда, что сегодня дело обойдется без них, но к ним все-таки надо быть готовым. Ведь аппарат должен работать двенадцать часов без перерыва. Но если и случатся неполадки, то самые незначительные, и они будут немедленно устранены... Не хотите ли присесть? — спросил он наконец и, вытащив из груды плетеных кресел одно, предложил его путешественнику; тот не смог отказаться.

Теперь, сидя у края котлована, он мельком туда заглянул. Котлован был не очень глубок. С одной его стороны лежала насыпью вырытая земля, с другой стороны стоял аппарат.

— Не знаю, — сказал офицер, — объяснил ли вам уже комендант устройство этого аппарата.

Путешественник неопределенно махнул рукой; офицеру больше ничего и не требовалось, ибо теперь он мог сам начать объяснения.

— Этот аппарат, — сказал он и потрогал шатун, на который затем оперся, — изобретение прежнего нашего коменданта. Я помогал ему с самых первых опытов и участвовал во всех работах вплоть до их завершения. Но заслуга этого изобретения принадлежит ему одному. Вы слыхали о нашем прежнем коменданте? Нет? Ну, так я не преувеличу, если скажу, что структура всей этой исправительной колонии — его дело. Мы, его друзья, знали уже в час его смерти, что структура этой колонии настолько целостна, что его преемник, будь у него в голове хоть тысяча новых планов, никак не сможет изменить старый порядок, по крайней мере, в течение многих лет. И наше предвидение сбылось, новому коменданту пришлось это признать. Жаль, что вы не знали прежнего коменданта!.. Однако, — прервал себя офицер, — я заболтался, а наш аппарат — вот он, стоит перед нами. Он состоит,

как вы видите, из трех частей. Постепенно каждая из этих частей получила довольно-таки просторечное наименование. Нижнюю часть прозвали лежаком, верхнюю — разметчиком, а вот эту, среднюю, висячую, — бороной.

— Бороной? — спросил путешественник.

Он не очень внимательно слушал, солнце в этой лишенной тени долине палило слишком жарко, и сосредоточиться было трудно. Тем больше удивлял его офицер, который, хотя на нем был тесный, парадный, отягощенный эполетами и увешанный аксельбантами мундир, так ревностно давал объяснения и, кроме того, продолжая говорить, еще нет-нет да подтягивал ключом гайку то тут, то там. В том же состоянии, что и путешественник, был, кажется, и солдат. Намотав цепь осужденного на запястья обеих рук, он оперся одной из них на винтовку и стоял, свесив голову с самым безучастным видом. Путешественника это не удивляло, так как офицер говорил по-французски, а французской речи ни солдат, ни осужденный, конечно, не понимали. Но тем поразительней было, что осужденный все-таки старался следить за объяснениями офицера. С каким-то сонным упорством он все время направлял свой взгляд туда, куда в этот миг указывал офицер, а теперь, когда путешественник своим вопросом прервал офицера, осужденный, так же как офицер, поглядел на путешественника.

— Да, бороной, — сказал офицер. — Это название вполне подходит. Зубья расположены, как у бороны, да и вся эта штука работает, как борона, но только на одном месте и гораздо замысловатее. Впрочем, сейчас вы это поймете. Вот сюда, на лежак, кладут осужденного... Я сначала опишу аппарат, а уж потом приступлю к самой процедуре. Так вам будет легче за ней следить. К тому же одна шестерня в разметчике сильно обточилась, она страшно скрежещет, когда вращается, и разговаривать тогда почти невозможно. К сожалению, запасные части очень трудно достать... Итак, это, как я сказал, лежак. Он сплошь покрыт слоем ваты, ее назначение вы скоро узнаете. На эту вату животом вниз кладут осужденного — разумеется, голого, — вот ремни, чтобы его привязать: для рук, для ног и для шеи. Вот здесь, в изголовье лежака, куда, как я сказал, приходится сначала лицо преступника, имеется небольшой войлочный шпенек, который можно легко отрегулировать, так чтобы он попал осужденному прямо в рот. Благодаря этому шпеньку осужденный не может ни кричать, ни прикусить себе язык. Преступник волей-

неволей берет в рот этот войлок, ведь иначе шейный ремень переломит ему позвонки.

— Это вата? — спросил путешественник и наклонился вперед.

— Да, конечно, — сказал офицер, улыбаясь. — Пощупайте сами. — Он взял руку путешественника и провел ею по лежаку. — Эта вата особым образом препарирована, поэтому ее так трудно узнать; о ее назначении я еще скажу.

Путешественник уже немного заинтересовался аппаратом; защитив глаза от солнца рукою, он смотрел на аппарат снизу вверх. Это было большое сооружение. Лежак и разметчик имели одинаковую площадь и походили на два темных ящика. Разметчик был укреплен метра на два выше лежака и соединялся с ним по углам четырьмя латунными штангами, которые прямо-таки лучились на солнце. Между ящиками на стальном тросе висела борона.

Прежнего равнодушия путешественника офицер почти не замечал, но зато на интерес, пробудившийся в нем теперь, живо откликнулся, он приостановил даже свои объяснения, чтобы путешественник, не торопясь и без помех, все рассмотрел. Осужденный подражал путешественнику; поскольку прикрыть глаза рукой он не мог, он моргал, глядя вверх незащищенными глазами.

— Итак, приговоренный лежит, — сказал путешественник и, развалясь в кресле, закинул ногу на ногу.

— Да, — сказал офицер и, сдвинув фуражку немного назад, провел ладонью по разгоряченному лицу. — А теперь послушайте! И в лежаке и в разметчике имеется по электрической батарее, в лежаке — для самого лежака, а в разметчике — для бороны. Как только осужденный привязан, приводится в движение лежак. Он слегка и очень быстро вибрирует, одновременно в горизонтальном и вертикальном направлениях. Вы, конечно, видели подобные аппараты в лечебных заведениях, только у нашего лежака все движения точно рассчитаны: они должны быть строго согласованы с движениями бороны. Ведь на борону-то, собственно, и возложено исполнение приговора.

— А каков приговор? — спросил путешественник.

— Вы и этого не знаете? — удивленно спросил офицер, покусывая губы. — Извините, если мои объяснения сбивчивы, очень прошу простить меня. Прежде объяснения обычно давал комендант, однако новый комендант избавил себя от этой почетной обязанности; но что такого высокого гостя, —

путешественник попытался обеими руками отклонить эту почесть, но офицер настоял на своем выражении, — что такого высокого гостя он не знакомит даже с формой нашего приговора, это еще одно нововведение, которое... — На языке у него вертелось проклятье, но он совладал с собой и сказал: — Меня об этом не предупредили, я не виноват. Впрочем, я лучше, чем кто-либо другой, смогу объяснить характер наших приговоров, ведь здесь, — он похлопал себя по нагрудному карману, — я ношу соответствующие чертежи, сделанные рукой прежнего коменданта.

— Рукой самого коменданта? — спросил путешественник. — Он что же, соединял в себе все? Он был и солдат, и судья, и конструктор, и химик, и чертежник?

— Так точно, — кивая головой, сказал офицер.

Он придирчиво поглядел на свои руки; они показались ему недостаточно чистыми, чтобы прикоснуться к чертежам, поэтому он подошел к бадейке и снова тщательно вымыл их.

Затем он извлек кожаный бумажник и сказал:

— Наш приговор не суров. Борона записывает на теле осужденного ту заповедь, которую он нарушил. Например, у этого, — офицер указал на осужденного, — на теле будет написано: «Чти начальника своего!»

Путешественник мельком взглянул на осужденного; когда офицер указал на него, тот опустил голову и, казалось, предельно напряг слух, чтобы хоть что-нибудь понять. Но движения его толстых сомкнутых губ со всей очевидностью показывали, что он ничего не понимал. Путешественник хотел о многом спросить, но при виде осужденного спросил только:

— Знает ли он приговор?

— Нет, — сказал офицер и приготовился продолжать объяснения, но путешественник прервал его:

— Он не знает приговора, который ему же и вынесли?

— Нет, — сказал офицер, потом на мгновение запнулся, словно требуя от путешественника более подробного обоснования его вопроса, и затем сказал: — Было бы бесполезно объяснять ему приговор. Ведь он же узнает его собственным телом.

Путешественник хотел уже умолкнуть, как вдруг почувствовал, что осужденный направил взгляд на него; казалось, он спрашивал, одобряет ли путешественник описанную процедуру. Поэтому путешественник, который уже откинулся было в кресле, опять наклонился и спросил:

— Но что он вообще осужден — это хотя бы он знает?

— Нет, и этого он не знает, — сказал офицер и улыбнулся путешественнику, словно ожидая от него еще каких-нибудь странных открытий.

— Вот как, — сказал путешественник и провел рукой по лбу. — Но в таком случае он и сейчас еще не знает, как отнеслись к его попытке защититься?

— У него не было возможности защищаться, — сказал офицер и поглядел в сторону, как будто говорил сам с собой и не хотел смущать путешественника изложением этих обстоятельств.

— Но ведь, разумеется, у него должна была быть возможность защищаться, — сказал путешественник и поднялся с кресла.

Офицер испугался, что ему придется надолго прервать объяснения; он подошел к путешественнику и взял его под руку; указав другой рукой на осужденного, который теперь, когда на него так явно обратили внимание — да и солдат натянул цепь, — выпрямился, офицер сказал:

— Дело обстоит следующим образом. Я исполняю здесь, в колонии, обязанности судьи. Несмотря на мою молодость. Я и прежнему коменданту помогал вершить правосудие и знаю этот аппарат лучше, чем кто бы то ни было. Вынося приговор, я придерживаюсь правила: «Виновность всегда несомненна». Другие судьи не могут следовать этому правилу, они коллегиальны и подчинены более высоким судебным инстанциям. У нас все иначе, во всяком случае, при прежнем коменданте было иначе. Новый, правда, пытается вмешиваться в мои дела, но до сих пор мне удавалось отражать эти попытки и, надеюсь, удастся в дальнейшем... Вы хотели, чтобы я объяснил вам данный случай; что ж, он так же прост, как любой другой. Сегодня утром один капитан доложил, что этот человек, приставленный к нему денщиком и обязанный спать под его дверью, проспал службу. Дело в том, что ему положено вставать через каждый час, с боем часов, и отдавать честь перед дверью капитана. Обязанность, конечно, нетрудная, но необходимая, потому что денщик, который охраняет и обслуживает офицера, должен быть всегда начеку. Вчера ночью капитан пожелал проверить, выполняет ли денщик свою обязанность. Ровно в два часа он отворил дверь и увидел, что тот, съежившись, спит. Капитан взял хлыст и полоснул его по лицу. Вместо того чтобы встать и попросить прощения, денщик схватил своего господина за ноги, стал трясти его и кричать: «Брось хлыст, а то убью!..» Вот вам и суть дела. Час назад капитан пришел ко мне, я записал его показания и

сразу же вынес приговор. Затем я велел заковать денщика в цепи. Все это было очень просто. А если бы я сначала вызвал денщика и стал его допрашивать, получилась бы только путаница. Он стал бы лгать, а если бы мне удалось опровергнуть эту ложь, стал бы заменять ее новой и так далее. А сейчас он у меня в руках, и я его не выпущу... Ну, теперь все понятно? Время, однако, идет, пора бы уже начать экзекуцию, а я еще не объяснил вам устройство аппарата.

Он заставил путешественника снова сесть в кресло, подошел к аппарату и начал:

— Как видите, борона соответствует форме человеческого тела; вот борона для туловища, а вот бороны для ног. Для головы предназначен только этот небольшой резец. Вам ясно?

Он приветливо склонился перед путешественником, готовый к самым подробным объяснениям.

Путешественник, нахмурившись, глядел на борону. Сведения о здешнем судопроизводстве его не удовлетворили. Все же он твердил себе, что это как-никак исправительная колония, что здесь необходимы особые меры и что приходится строго соблюдать военную дисциплину. Кроме того, он возлагал некоторые надежды на нового коменданта, который, при всей своей медлительности, явно намеревался ввести новое судопроизводство, которого этому узколобому офицеру никак не уразуметь. По ходу своих мыслей путешественник спросил:

— Будет ли комендант присутствовать при экзекуции?

— Это точно не известно, — сказал офицер, задетый этим внезапным вопросом, и приветливость исчезла с его лица. — Именно поэтому мы и должны поспешить. Мне очень жаль, но придется даже сократить объяснения. Однако завтра, когда аппарат очистят (большая загрязняемость — это единственный его недостаток), я мог бы объяснить все остальное. Итак, сейчас я ограничусь самым необходимым... Когда осужденный лежит на лежаке, а лежак приводится в колебательное движение, на тело осужденного опускается борона. Она автоматически настраивается так, что зубья ее едва касаются тела; как только настройка заканчивается, этот трос натягивается и становится несгибаем, как штанга. Тут-то и начинается. Никакого внешнего различия в наших экзекуциях непосвященный не усматривает. Кажется, что борона работает однотипно. Она, вибрируя, колет своими зубьями тело, которое в свою очередь вибрирует благодаря лежаку. Чтобы любой мог проверить исполнение приговора, борону сделали из

стекла. Крепление зубьев вызвало некоторые технические трудности, но после многих опытов зубья все же удалось укрепить. Трудов мы не жалели. И теперь каждому видно через стекло, как наносится надпись на тело. Не хотите ли подойти поближе и посмотреть зубья?

Путешественник медленно поднялся, подошел к аппарату и наклонился над бороной.

— Вы видите, — сказал офицер, — два типа разнообразно расположенных зубьев. Возле каждого длинного зубца имеется короткий. Длинный пишет, а короткий выпускает воду, чтобы смыть кровь и сохранить разборчивость надписи. Кровавая вода отводится по желобкам и стекает в главный желоб, а оттуда по сточной трубе в яму.

Офицер пальцем показал путь, каким идет вода. Когда он для большей наглядности подхватил у отвесного стока воображаемую струю обеими пригоршнями, путешественник поднял голову и, шаря рукой у себя за спиной, попятился было к креслу. Тут он, к ужасу своему, увидел, что и осужденный, подобно ему, последовал приглашению офицера осмотреть борону вблизи. Потащив за цепь заспанного солдата, он тоже склонился над стеклом. Видно было, что и он тоже неуверенно искал глазами предмет, который рассматривали сейчас эти господа, и что без объяснений он не мог этого предмета найти. Он наклонялся и туда и сюда. Снова и снова пробегал он глазами по стеклу. Путешественник хотел отогнать его, ибо то, что он делал, вероятно, каралось. Но задержав путешественника одной рукой, офицер другой взял с насыпи ком земли и швырнул им в солдата. Солдат, встрепенувшись, поднял глаза, увидел, на что осмелился осужденный, бросил винтовку и, упершись каблуками в землю, так рванул осужденного назад, что тот сразу упал, а потом солдат стал глядеть сверху вниз, как он барахтается, гремя своими цепями.

— Поставь его на ноги! — крикнул офицер, заметив, что осужденный слишком уж отвлекает путешественника.

Наклонившись над бороной, путешественник даже не глядел на нее, а только ждал, что произойдет с осужденным.

— Обращайся с ним бережно! — крикнул офицер снова. Обежав аппарат, он сам подхватил осужденного под мышки и, хотя у того разъезжались ноги, поставил его с помощью солдата прямо.

— Ну, теперь мне уже все известно, — сказал путешественник, когда офицер возвратился к нему.

— Кроме самого главного, — сказал тот и, сжав локоть путешественника, указал вверх: — Там, в разметчике, нахо-

дится система шестерен, которая определяет движение бороны, а устанавливается эта система по чертежу, предусмотренному приговором суда. Я пользуюсь еще чертежами прежнего коменданта. Вот они. — Он вынул из бумажника несколько листков. — К сожалению, я не могу дать вам их в руки, это самая большая моя ценность. Садитесь, я покажу вам их отсюда, и вам будет все хорошо видно.

Он показал первый листок. Путешественник был бы рад сказать что-нибудь в похвалу, но перед ним были только похожие на лабиринт, многократно пересекающиеся линии такой густоты, что на бумаге почти нельзя было различить пробелов.

— Читайте, — сказал офицер.

— Не могу, — сказал путешественник.

— Но ведь написано разборчиво, — сказал офицер.

— Написано очень искусно, — уклончиво сказал путешественник, — но я не могу ничего разобрать.

— Да, — сказал офицер и, усмехнувшись, спрятал бумажник, — это не пропись для школьников. Нужно долго вчитываться. В конце концов разобрались бы и вы. Конечно, эти буквы не могут быть простыми; ведь они должны убивать не сразу, а в среднем через двенадцать часов; переломный час по расчету — шестой. Поэтому надпись в собственном смысле слова должна быть украшена множеством узоров; надпись как таковая опоясывает тело лишь узкой полоской; остальное место предназначено для узоров. Теперь вы можете оценить работу бороны и всего аппарата?.. Смотрите же!

Он вскочил на трап, повертел какое-то колесо, крикнул вниз: «Внимание, отойдите в сторону!» — и все пришло в движение. Если бы одно из колес не лязгало, это было бы великолепно. Словно бы сконфуженный этим злосчастным колесом, офицер погрозил ему кулаком, затем, как бы извиняясь перед путешественником, развел руками и торопливо спустился, чтобы наблюдать за работой аппарата снизу. Была еще какая-то неполадка, заметная только ему; он снова поднялся, залез обеими руками внутрь разметчика, затем, быстроты ради, не пользуясь трапом, съехал по штанге и во весь голос, чтобы быть услышанным среди этого шума, стал кричать в ухо путешественнику:

— Вам понятно действие машины? Борона начинает писать; как только она заканчивает первую наколку на спине, слой ваты, вращаясь, медленно перекатывает тело на бок, чтобы дать бороне новую площадь. Тем временем исписанные в кровь места ложатся на вату, которая, будучи особым

образом препарирована, тотчас же останавливает кровь и подготавливает тело к новому углублению надписи. Вот эти зубцы у края бороны срывают при дальнейшем перекатывании тела прилипшую к ранам вату и выбрасывают ее в яму, а потом борона снова вступает в действие. Так все глубже и глубже пишет она в течение двенадцати часов. Первые шесть часов осужденный живет почти так же, как прежде, он только страдает от боли. По истечении двух часов войлок изо рта вынимают, ибо у преступника уже нет сил кричать. Вот сюда, в эту миску у изголовья — она согревается электричеством, — накладывают теплой рисовой каши, которую осужденный при желании может слизнуть языком. Никто не пренебрегает этой возможностью. На моей памяти такого случая не было, а опыт у меня большой. Лишь на шестом часу у осужденного пропадает аппетит. Тогда я обычно становлюсь вот здесь на колени и наблюдаю за этим явлением. Он редко проглатывает последний комок каши — он только немного повертит его во рту и выплюнет в яму. Приходится тогда наклоняться, иначе он угодит мне в лицо. Но как затихает преступник на шестом часу! Просветление мысли наступает и у самых тупых. Это начинается вокруг глаз. И отсюда распространяется. Это зрелище так соблазнительно, что ты готов сам лечь рядом под борону. Вообще-то ничего нового больше не происходит, просто осужденный начинает разбирать надпись, он сосредоточивается, как бы прислушиваясь. Вы видели, разобрать надпись нелегко и глазами; а наш осужденный разбирает ее своими ранами. Конечно, это большая работа, и ему требуется шесть часов для ее завершения. А потом борона целиком протыкает его и выбрасывает в яму, где он плюхается в кровавую воду и вату. На этом суд оканчивается, и мы, я и солдат, зарываем тело.

Склонив ухо к офицеру и засунув руки в карманы пиджака, путешественник следил за работой машины. Осужденный тоже следил за ней, но ничего не понимал. Он стоял, немного нагнувшись, и глядел на колеблющиеся зубья, когда солдат по знаку офицера разрезал ему сзади ножом рубаху и брюки, так что они упали на землю; осужденный хотел схватить падавшую одежду, чтобы прикрыть свою наготу, но солдат приподнял его и стряхнул с него последние лохмотья. Офицер настроил машину, и в наступившей тишине осужденного положили под борону. Цепи сняли, вместо них закрепили ремни; в первый миг это казалось чуть ли не облегчением для осужденного. Потом борона опустилась еще немного, потому что этот человек был очень худ. Когда зубья коснулись осужден-

ного, по коже у него пробежала дрожь; покуда солдат был занят правой его рукой, он вытянул левую, не глядя куда; но это было как раз то направление, где стоял путешественник. Офицер все время искоса глядел на путешественника, словно пытаясь определить по лицу иностранца, какое впечатление производит на того экзекуция, с которой он его теперь хоть поверхностно познакомил.

Ремень, предназначенный для запястья, порвался — вероятно, солдат слишком сильно его натянул. Прося офицера помочь, солдат показал ему оторвавшийся кусок ремня. Офицер подошел к солдату и сказал, повернувшись лицом к путешественнику:

— Машина очень сложная, всегда что-нибудь может порваться или сломаться, но это не должно сбивать с толку при общей оценке. Для ремня, кстати сказать, замена найдется сразу — я воспользуюсь цепью; правда, вибрация правой руки будет уже не такой нежной.

И, закрепляя цепь, он добавил:

— Средства на содержание машины отпускаются теперь очень ограниченные. При прежнем коменданте я мог свободно распоряжаться суммой, выделенной специально для этой цели. Здесь был склад, где имелись всевозможные запасные части. Признаться, я их прямо-таки транжирил — транжирил, конечно, прежде, а вовсе не теперь, как то утверждает новый комендант, который только и ищет повода отменить старые порядки. Теперь деньгами, отпущенными на содержание машины, распоряжается он, и, посылая за новым ремнем, я должен представить в доказательство порванный, причем новый поступит только через десять дней и непременно низкого качества, никуда не годный. А каково мне тем временем без ремня управляться с машиной — это никого не трогает.

Путешественник думал: решительное вмешательство в чужие дела всегда рискованно. Он не был ни жителем этой колонии, ни жителем страны, которой она принадлежала. Вздумай он осудить, а тем более сорвать эту экзекуцию, ему сказали бы: ты иностранец, вот и помалкивай. На это он ничего не смог бы возразить, напротив, он смог бы только прибавить, что удивляется в данном случае себе самому; ведь путешествует он лишь с познавательной целью, а вовсе не для того, чтобы менять судоустройство в чужих странах. Но очень уж соблазнительна была здешняя обстановка. Несправедливость судопроизводства и бесчеловечность наказания не подлежали сомнению. Никто не мог заподозрить путешественника в своекорыстии: осужденный не был ни его знако-

мым, ни соотечественником, да и вообще не располагал к сочувствию. У путешественника же имелись рекомендации высоких учреждений, он был принят здесь чрезвычайно учтиво, и то, что его пригласили на эту экзекуцию, казалось, даже означало, что от него ждут отзыва о здешнем правосудии. Это было тем вероятнее, что нынешний комендант, в чем он, путешественник, теперь вполне удостоверился, не был сторонником такого судопроизводства и относился к офицеру почти враждебно.

Тут путешественник услыхал крик взбешенного офицера. Тот наконец с трудом впихнул войлочный шпенек в рот осужденного, как вдруг осужденный, не в силах побороть тошноты, закрыл глаза и затрясся в рвоте. Офицер поспешно рванул его со шпенька вверх, чтобы повернуть голову к яме, но было поздно — нечистоты уже потекли по машине.

— Во всем виноват комендант! — кричал офицер, в неистовстве тряся штанги. — Машину загаживают, как свинарник.

Дрожащими руками он показал путешественнику, что произошло.

— Ведь я же часами втолковывал коменданту, что за день до экзекуции нужно прекращать выдачу пищи. Но сторонники нового, мягкого курса иного мнения. Перед уводом осужденного дамы коменданта пичкают его сластями. Всю свою жизнь он питался тухлой рыбой, а теперь должен есть сласти. Впрочем, это еще куда ни шло, с этим я примирился бы, но неужели нельзя приобрести новый войлок, о чем я уже три месяца прошу коменданта! Можно ли без отвращения взять в рот этот войлок, обсосанный и искусанный перед смертью доброй сотней людей?

Осужденный положил голову, и вид у него был самый мирный; солдат чистил машину рубахой осужденного. Офицер подошел к путешественнику, который, о чем-то догадываясь, на шаг отступил, но офицер взял его за руку и потянул в сторону.

— Я хочу сказать вам несколько слов по секрету, — сказал он, — вы разрешите?

— Разумеется, — ответил путешественник, слушая его с опущенными глазами.

— Это правосудие и эта экзекуция, присутствовать на которой вам посчастливилось, в настоящее время уже не имеют в нашей колонии открытых приверженцев. Я единственный их защитник и одновременно единственный защитник старого коменданта. О дальнейшей разработке этого судопроизвод-

ства я теперь и думать не думаю, все мои силы уходят на сохранение того, что уже есть. При старом коменданте колония была полна его сторонников; сила убеждения, которой обладал старый комендант, отчасти у меня есть, однако его властью я не располагаю ни в какой мере; поэтому его сторонники притаились, их еще много, но все молчат. Если вы сегодня, в день казни, зайдете в кофейню и прислушаетесь к разговорам, вы услышите, наверно, только двусмысленные намеки. Это все сплошь сторонники старого, но при нынешнем коменданте и при нынешних его взглядах от них нет никакого толку. И вот я вас спрашиваю: неужели из-за этого коменданта и его женщин такое вот дело всей жизни, — он указал на машину, — должно погибнуть? Можно ли это допустить? Даже если вы иностранец и приехали на наш остров лишь на несколько дней! А времени терять нельзя, против моей судебной власти что-то предпринимается; в комендатуре ведутся уже совещания, на которые меня не приглашают; даже сегодняшний ваш визит представляется мне показательным для общей обстановки; сами боятся и посылают сначала вас, иностранца... Как, бывало, проходила экзекуция в прежние времена! Уже за день до казни вся долина была запружена людьми; все приходили ради такого зрелища, рано утром появлялся комендант со своими дамами, фанфары будили лагерь, я отдавал рапорт, что все готово, собравшиеся — никто из высших чиновников не имел права отсутствовать — располагались вокруг машины. Эта кучка плетеных кресел — жалкий остаток от той поры. Начищенная машина сверкала, почти для каждой экзекуции я брал новые запасные части. На виду у сотен людей — зрители стояли на цыпочках вон до тех высоток — комендант собственноручно укладывал осужденного под борону. То, что сегодня делает простой солдат, было тогда моей, председателя суда, почетной обязанностью. И вот экзекуция начиналась! Никаких перебоев в работе машины никогда не бывало. Некоторые и вовсе не глядели на машину, а лежали с закрытыми глазами на песке; все знали: сейчас торжествует справедливость. В тишине слышны были только стоны осужденного, приглушенные войлоком. Нынче машине уже не удается выдавить из осужденного стон такой силы, чтобы его не смог заглушить войлок, а тогда пишущие зубья выпускали едкую жидкость, которую теперь не разрешается применять. Ну а потом наступал шестой час! Невозможно было удовлетворить просьбы всех, кто хотел поглядеть с близкого расстояния. Комендант благоразумно распоряжался пропускать детей в первую очередь; я, по своему

положению, конечно, всегда имел доступ к самой машине; я часто сидел вон там на корточках, держа на каждой руке по ребенку. Как ловили мы выражение просветленности на измученном лице, как подставляли мы лица сиянию этой наконец-то достигнутой и уже исчезающей справедливости! Какие это были времена, дружище!

Офицер явно забыл, кто перед ним стоит; он обнял путешественника и положил голову ему на плечо. Путешественник был в большом замешательстве, он нетерпеливо глядел мимо офицера. Солдат кончил чистить машину и вытряхнул из жестянки в миску еще немного рисовой каши. Как только осужденный, который, казалось, уже вполне оправился, это заметил, он стал тянуться языком к каше. Солдат то и дело его отталкивал, каша предназначалась, видимо, для более позднего времени, но, конечно, нарушением порядка было и то, что солдат запускал в кашу свои грязные руки и ел ее на глазах у голодного осужденного.

Офицер быстро овладел собой.

— Я вовсе не хотел вас растрогать, — сказал он, — я знаю, понять сегодня те времена невозможно. Вообще-то машина работает и говорит сама за себя. Она говорит сама за себя, даже если стоит одна в этой долине. И под конец тело все еще летит в яму по какой-то непостижимо плавной кривой, хотя у ямы, в отличие от тех времен, не лепятся, как мухи, сотни людей. Тогда нам приходилось ограждать яму крепкими перилами, теперь они давно сорваны.

Путешественник, чтобы спрятать от офицера лицо, бесцельно озирался по сторонам. Офицер решил, что тот смотрит, как пусто в долине, поэтому он схватил его за руки и, вертясь около него, чтобы поймать его взгляд, спросил:

— Вы видите этот позор?

Но путешественник промолчал. Офицер вдруг оставил его в покое; растопырив ноги, упершись руками в бока, он несколько мгновений неподвижно глядел в землю. Затем он ободряюще улыбнулся путешественнику и сказал:

— Вчера, когда комендант вас приглашал, я находился неподалеку от вас. Я слышал это приглашение. Я знаю коменданта. Я сразу понял, зачем он вас приглашает; хотя он достаточно могуществен, чтобы выступить против меня, на это он еще не отваживается, но заручиться вашим отзывом обо мне, отзывом уважаемого иностранца, ему хочется. Его расчет точен: вы находитесь на нашем острове второй день, вы не знали старого коменданта и его образа мыслей, вы скованы европейскими традициями, может быть, вы принципиальный

противник смертной казни вообще и такого механизированного исполнения приговора в частности; вы видите, наконец, что казнь совершается без публики, убого, на машине, уже немного изношенной. Разве все это вместе взятое (так думает комендант) не позволяет надеяться, что вы не одобрите моих действий? А если вы их не одобрите, то вы (я все еще рассуждаю, как комендант) не станете об этом молчать, ведь вы, конечно, доверяете большому своему опыту. Правда, вы знаете своеобразные нравы разных народов и судите как ученый, поэтому вы, наверное, выскажетесь против подобных действий не так решительно, как, может быть, высказались бы у себя на родине. Но коменданту этого и не нужно. Достаточно одного просто неосторожного, сказанного невзначай слова. Оно вовсе не должно соответствовать вашим убеждениям, если только оно внешне отвечает его желанию. Что он самым хитрым образом начнет вас расспрашивать — в этом я уверен. А его дамы сядут кружком и навострят ушки; вы скажете, например: «У нас судопроизводство другое», или: «У нас обвиняемого сначала допрашивают, а уж потом выносят ему приговор», или: «У нас есть и другие наказания, кроме смертной казни», или: «У нас пытки существовали только в средневековье». Все это замечания правильные, и вам они кажутся естественными — невинными замечаниями, не затрагивающими моих действий. Но как воспримет их комендант? Я уже вижу, как наш комендант резко отодвинет стул и поспешит на балкон, я уже вижу, как его дамы устремятся за ним, я уже слышу его голос — дамы называют этот голос громовым — и слышу, как он говорит: «Великий ученый Запада, уполномоченный рассмотреть судоустройство во всех странах, только что заявил, что наш старозаветный порядок бесчеловечен. После подобного заключения такого лица я, конечно, не могу мириться с этим порядком. Итак, я приказываю отныне...» И так далее. Вы хотите вмешаться, вы не говорили того, что он вам приписывает, вы не называли моего метода бесчеловечным, напротив, по вашему глубокому убеждению, это самый человечный и наиболее достойный человека метод, вы восхищены и этой техникой, но уже поздно — вы не можете даже выйти на балкон, где уже полно дам, вы хотите обратить на себя внимание, вы хотите кричать, но дамская ручка закрывает вам рот, а я и дело старого коменданта погибли.

Путешественник подавил улыбку: вот до чего легка была, оказывается, задача, которую он считал такой трудной. Он ответил уклончиво:

— Вы переоцениваете мое влияние; комендант читал мое рекомендательное письмо, ему известно, что я не знаток судоустройства. Если бы я высказал свое мнение, это было бы мнение частного лица, ничуть не более важное, чем мнение любого другого, и, уж во всяком случае, куда менее важное, чем мнение коменданта, обладающего, как мне представляется, очень широкими правами в этой колонии. Если его мнение об этой системе действительно так определенно, как вам кажется, тогда, я боюсь, этой системе пришел конец и без моего скромного содействия.

Понял ли это офицер? Нет, он еще не понял. Он помотал головой, быстро оглянулся на осужденного и солдата, которые, вздрогнув, отстранились от риса, подошел к путешественнику вплотную и, глядя ему не в лицо, а куда-то на пиджак, сказал тише, чем раньше:

— Вы не знаете коменданта, вы относитесь к нему и ко всем нам — простите меня — до некоторой степени простодушно; ваше влияние, поверьте мне, трудно переоценить. Да ведь я же был счастлив, когда узнал, что вы будете присутствовать на экзекуции один. По замыслу коменданта, это распоряжение должно было нанести мне удар, а я обращаю его себе на пользу. Во время моих объяснений вас не отвлекали ни лживые нашептывания, ни презрительные взгляды, которых при большом скоплении публики вряд ли удалось бы избежать, вы видели машину и собираетесь посмотреть казнь. Ваше мнение, конечно, уже сложилось; если у вас и есть еще какие-то сомнения, то зрелище казни их устранит. И вот я обращаюсь к вам с просьбой: помогите мне одолеть коменданта!

Путешественник не дал ему продолжать.

— *Как я могу!* — *воскликнул он.* — *Это же невозможно.* Я так же не могу быть вам полезен, как не могу повредить вам.

— Можете, — сказал офицер. Путешественник не без испуга увидел, что офицер сжал кулаки. — Можете, — еще настойчивее повторил офицер. — У меня есть план, который не подведет. Вы думаете, что вашего влияния недостаточно. Я знаю, что его достаточно. Но даже если согласиться, что вы правы, разве не следует для сохранения этого порядка испробовать любые, пусть и недостаточно действенные средства? Выслушайте же мой план... Для его успеха нужно прежде всего, чтобы сегодня вы как можно сдержаннее выражали в колонии свое мнение о нашем судопроизводстве. Если вас прямо не спросят, не высказывайтесь ни в коем случае; высказаться же вы должны коротко и неопределенно — пусть

видят, что вам тяжело говорить об этом, что вы огорчены, что если бы вы стали говорить откровенно, то разразились бы прямо-таки проклятиями. Я не требую, чтобы вы лгали, ни в коем случае, вы должны только коротко отвечать: «Да, я видел исполнение приговора» или: «Да, я выслушал все объяснения». Только это, ничего больше. Ведь для огорчения, которое должно звучать в ваших словах, у вас достаточно поводов, хотя и иного свойства, чем у коменданта. Он, конечно, поймет это совершенно превратно и истолкует по-своему. На этом и основан мой план. Завтра в комендатуре под председательством коменданта состоится большое совещание всех высших чиновников управления. Комендант, конечно, ухитряется превращать такие совещания в спектакль. Построили даже галерею, которая всегда заполнена зрителями. Я вынужден участвовать в этих совещаниях, хотя меня там просто тошнит. Вас-то, конечно, пригласят на это совещание; а если сегодня вы будете вести себя согласно моему плану, то это приглашение обратится даже в настойчивую просьбу. Но если вас по какой-либо непонятной причине не пригласят, вам придется потребовать приглашения; в том, что тогда вы его получите, можно не сомневаться. И значит, завтра вы будете сидеть с дамами в комендантской ложе. Комендант будет время от времени поглядывать вверх, чтобы удостовериться в вашем присутствии. После разбора множества несущественных, смешных, рассчитанных только на слушателей вопросов — обычно это строительные работы в порту, снова и снова строительные работы! — зайдет речь и о нашем судоустройстве. Если комендант сам не начнет этого разговора или начнет его недостаточно скоро, я позабочусь, чтобы он начался. Я встану и сделаю сообщение о сегодняшней казни. Очень коротко, только это сообщение. Такие сообщения там, правда, не принято делать, но я его все-таки сделаю. Комендант поблагодарит меня, как всегда, с любезной улыбкой, и тут уж он, конечно, никак не упустит удобного случая. «Только что, — он начнет таким или подобным образом, — мы выслушали сообщение о состоявшейся казни. Я лично хотел бы прибавить, что при этой казни как раз присутствовал великий ученый, который, вы все это знаете, оказал огромную честь нашей колонии своим посещением. Сегодняшнее наше заседание также приобретает особую значительность, ввиду его присутствия. Так вот, не спросить ли нам этого великого ученого, какого он мнения о казни, совершенной по старому обычаю, и о судебном разбирательстве, ей предшествовавшем?» Все, конечно, одобрительно аплодируют, я — громче

всех. Комендант отвешивает вам поклон и говорит: «В таком случае я от имени всех присутствующих задаю этот вопрос». И тут вы подойдете к барьеру. Положите руки так, чтобы они были всем видны, иначе дамы их схватят и станут играть вашими пальцами...

И вот наконец ваше слово. Не знаю, как я вынесу напряжение оставшихся до этого мига часов. Не ограничивайте себя в своей речи ничем, говорите правду во весь голос, наклонитесь над барьером и прокричите, да, да, прокричите свое мнение, свое твердое мнение коменданту в лицо. Но, может быть, вы этого не хотите, это не в вашем характере, у вас на родине, может быть, ведут себя при таких обстоятельствах иначе? Это тоже правильно, этого тоже совершенно достаточно — не вставайте вообще, скажите только несколько слов, произнесите их так, чтобы их слышали разве что сидящие под вами чиновники, этого достаточно; вы вовсе не должны говорить об отсутствии зрителей, о лязгающем колесе, о порванном ремне и о вызывающем рвоту войлоке, о нет, все остальное я беру на себя, и поверьте, если моя речь не выгонит его из зала, она поставит его на колени и заставит признать: старый комендант, я перед тобой преклоняюсь... Вот мой план, хотите ли вы помочь мне осуществить его? Ну конечно, хотите, более того, вы обязаны это сделать!

Офицер взял путешественника за обе руки и, тяжело дыша, заглянул ему в лицо. Последние слова он прокричал так, что даже солдат и осужденный насторожились: хотя они ничего не понимали, они перестали хватать еду и, продолжая жевать, поглядывали на путешественника.

Ответ, который он должен был дать, был для путешественника с самого начала совершенно ясен: слишком многое повидал он на своем веку, чтобы заколебаться сейчас, он был, по существу, человеком честным и не трусил. Все же теперь при виде солдата и осужденного он одно мгновение помедлил. Но в конце концов он сказал то, что должен был сказать:

— Нет.

Офицер заморгал глазами, не переставая, однако, глядеть на него.

— Вам требуется объяснение? — спросил путешественник.

Офицер молча кивнул головой.

— Я противник этого судебного порядка, — сказал путешественник. — Еще до того как вы оказали мне доверие — а доверием вашим я, конечно, ни в коем случае не стану злоупотреблять, — я уже думал, вправе ли я выступить против

этого порядка и имеет ли мое вмешательство хоть какие-либо виды на успех. К кому я должен был бы обратиться прежде всего — было мне ясно: к коменданту, конечно. Вы сделали это еще более ясным, однако укрепили меня в моем решении вовсе не вы, напротив, честная ваша убежденность очень меня трогает, хоть она и не может сбить меня с толку.

Офицер промолчал, повернулся к машине, потрогал одну из латунных штанг и, откинув голову, поглядел вверх, на разметчик, словно проверяя, все ли в порядке. Солдат и осужденный, казалось, тем временем подружились: осужденный, хотя из-за ремней это удавалось ему с трудом, делал солдату знаки, солдат кивал ему в ответ.

Путешественник подошел к офицеру и сказал:

— Вы еще не знаете, как я собираюсь поступить. Я выскажу коменданту свое мнение о здешнем судопроизводстве, но выскажу его не на совещании, а с глазу на глаз; да я и не намерен оставаться здесь так долго, чтобы участвовать в каких-либо заседаниях; завтра утром я уже уеду или, по крайней мере, сяду на судно.

Офицер, казалось, пропустил все это мимо ушей.

— Значит, наше судопроизводство вам не понравилось, — сказал он скорее для себя и усмехнулся, как усмехается старик над блажью ребенка, пряча за усмешкой свои раздумья. — Тогда, стало быть, пора, — сказал он наконец и вдруг взглянул на путешественника светлыми глазами, выражавшими какое-то побуждение, какой-то призыв к участию.

— Что пора? — тревожно спросил путешественник, но не получил ответа.

— Ты свободен, — сказал офицер осужденному на его языке. Тот сперва не поверил. — Ну, свободен же, — сказал офицер.

В первый раз лицо осужденного по-настоящему оживилось. Правда ли это? Не мимолетный ли это каприз офицера? Или, может быть, чужеземец выхлопотал ему помилование? Что происходит? Все эти вопросы были, казалось, написаны на его лице. Но недолго. В чем бы тут ни было дело, он хотел, если уж на то пошло, быть и вправду свободным, и он стал дергаться, насколько позволяла борона.

— Ты порвешь ремни, — крикнул офицер. — Лежи смирно! Мы отстегнем их.

И, дав знак солдату, он принялся вместе с ним за работу. Осужденный тихо смеялся, он поворачивал лицо то влево — к офицеру, то вправо — к солдату, но и путешественника тоже не забывал.

— Вытащи его! — приказал офицер солдату.

Ввиду близости бороны, нужно было соблюдать осторожность. От нетерпенья осужденный уже получил несколько небольших рваных ран на спине. Но теперь он перестал занимать офицера. Тот подошел к путешественнику, снова извлек свой кожаный бумажник, порылся в нем и, найдя наконец листок, который искал, показал его путешественнику.

— Читайте, — сказал он.

— Не могу, — сказал путешественник, — я же сказал, что не могу этого прочесть.

— Вглядитесь получше, — сказал офицер и встал рядом с путешественником, чтобы читать вместе с ним.

Когда и это не помогло, он на большой высоте, словно до листка ни в коем случае нельзя было дотрагиваться, обрисовал над бумагой буквы мизинцем, чтобы таким способом облегчить путешественнику чтение. Путешественник тоже старался вовсю, чтобы хоть этим доставить удовольствие офицеру, но у него ничего не получалось. Тогда офицер стал разбирать надпись по буквам, а потом прочел ее уже связно.

— «Будь справедлив!» написано здесь, — сказал он, — ведь теперь-то вы можете это прочесть.

Путешественник склонился над бумагой так низко, что офицер, боясь, что тот дотронется до нее, отстранил от него листок; хотя путешественник ничего больше не сказал, было ясно, что он все еще не может прочесть написанное.

— «Будь справедлив!» написано здесь, — сказал офицер еще раз.

— Может быть, — сказал путешественник, — верю, что написано именно это.

— Ну ладно, — сказал офицер, по крайней мере отчасти удовлетворенный, и поднялся по трапу с листком в руке; с великой осторожностью уложив листок в разметчик, он стал, казалось, целиком перестраивать зубчатую передачу; это была очень трудоемкая работа, среди шестеренок были, наверно, и совсем маленькие, порой голова офицера вовсе скрывалась в разметчике, так внимательно осматривал он систему колес.

Путешественник неотрывно следил снизу за этой работой, у него затекла шея и болели от солнца, заливавшего небо, глаза. Солдат и осужденный были заняты только друг другом. Рубаху и штаны осужденного, уже лежавшие в яме, солдат достал оттуда концом штыка. Рубаха была ужасно грязная, и осужденный выстирал ее в бадейке с водой. Когда он надел штаны и рубаху, оба, и солдат и осужденный, громко рассме-

ялись, ибо одежда была сзади разрезана вдоль. Считая, возможно, своим долгом позабавить солдата, осужденный принялся кружиться перед ним в разрезанном платье, а тот, присев на землю, со смехом хлопал себя по коленям. Однако, ввиду присутствия господ, они еще сдерживали и свои чувства, и себя.

Управившись наконец со своей работой, офицер еще раз с улыбкой оглядел каждую мелочь, захлопнул капот открытого дотоле разметчика, спустился, поглядел в яму, а затем на осужденного, удовлетворенно отметил, что тот забрал оттуда свою одежду, затем подошел к бадейке, чтобы помыть руки, с опозданием увидел противную грязь, огорчился, что ему не придется, значит, вымыть руки, погрузил их наконец (эта замена явно не устраивала его, но делать было нечего) в песок, затем встал и начал расстегивать свой мундир. При этом ему прежде всего попались два дамских платочка, которые он раньше засунул за воротник.

— Вот тебе твои платки, — сказал он, бросая их осужденному. А путешественнику, объясняя, сказал: — Подарки дам.

Несмотря на явную торопливость, с которой он снял мундир, а затем донага разделся, он обращался с каждым предметом одежды очень бережно; серебряные аксельбанты на мундире он даже особо разгладил пальцами, а одну из кистей поправил, встряхнув. Никак, правда, не вязалось с этой бережностью то, что, расправив ту или иную часть обмундирования, он сразу же раздраженно швырял ее в яму. Последним оставшимся у него предметом был кортик на портупее. Он вытащил кортик из ножен, переломил его, затем сложил все вместе — куски кортика, ножны и портупею — и швырнул это с такой силой, что в яме звякнуло.

Теперь он стоял нагишом. Путешественник кусал себе губы и ничего не говорил. Хоть он и знал, что произойдет, он не имел права в чем-либо мешать офицеру. Если судебный порядок, которым дорожил офицер, был действительно так близок к концу — возможно, из-за вмешательства путешественника, считавшего это вмешательство своим долгом, — офицер поступал сейчас совершенно правильно, на его месте путешественник поступил бы точно так же.

Солдат и осужденный ничего не понимали, сперва они даже не глядели на офицера. Осужденный был очень рад, что ему возвратили его платки, но долго радоваться ему не пришлось, ибо солдат выхватил их у него резким, внезапным рывком. Тогда осужденный в свою очередь попытался выхватить платки у солдата из-за пояса, куда тот их заткнул, но

солдат был начеку. Так они полушутливо и спорили. Только когда офицер разделся совсем, они насторожились. Казалось, осужденного особенно потрясло предчувствие какого-то великого переворота. То, что произошло с ним, происходило теперь с офицером. Теперь, наверно, дело доведут до конца. Очевидно, так приказал этот чужеземец. Это была, следовательно, месть. Не отстрадав до конца, он будет до конца отомщен. Широкая беззвучная усмешка появилась теперь на его лице и больше уже не сходила с него.

А офицер между тем повернулся к машине. Если и раньше было ясно, что он отлично в ней разбирается, то теперь в пору было поражаться, как он управляет машиной и как она его слушается. Стоило ему только поднести руку к бороне, как та несколько раз поднялась и опустилась, пока не приняла того положения, которое требовалось, чтобы он поместился; он только дотронулся до края лежака, и лежак уже начал вибрировать; войлочный шпенек оказался как раз против рта, видно было, что вообще-то офицеру хочется обойтись без него, но после минутного колебания он превозмог себя и взял его в рот. Все было готово, только ремни висели еще по бокам, но в них явно не было нужды — офицера не требовалось привязывать. Однако осужденный заметил висящие ремни и, полагая, что при незакрепленных ремнях экзекуция будет несовершенна, ретиво кивнул солдату, и они побежали к машине привязать офицера. Тот уже вытянул одну ногу, чтобы толкнуть рубильник, включавший разметчик; увидев подбежавших, офицер перестал вытягивать ногу и дал привязать себя. Однако теперь он уже не мог достать до рубильника; ни солдат, ни осужденный рубильника не нашли бы, а путешественник не собирался и пальцем шевельнуть. Этого и не понадобилось; как только ремни застегнули, машина сразу же заработала: лежак вибрировал, зубцы ходили по коже, борона поднималась и опускалась. Путешественник успел уже наглядеться на это, прежде чем вспомнил, что одна шестерня в разметчике должна лязгать. Но все было тихо, никаких шумов не было слышно.

Благодаря такой тихой работе машина совершенно перестала привлекать к себе внимание. Путешественник перевел взгляд на солдата и на осужденного. Осужденный был более оживлен — все в машине его занимало, он то наклонялся, то становился на цыпочки, все время показывая что-то солдату указательным пальцем. Путешественнику это было неприятно. Он собирался остаться здесь до конца, но глядеть на солдата и осужденного стало невыносимо.

— Ступайте домой, — сказал он им.

Солдат, вероятно, так и поступил бы, но осужденный воспринял этот приказ чуть ли не как наказание. Он сложил руки, умоляя оставить его здесь, а когда путешественник отрицательно покачал головой, даже упал на колени. Путешественник понял, что никакие приказы тут не помогут, и направился было к солдату и осужденному, чтобы просто прогнать их. Тут он услышал наверху, в разметчике, какой-то шум. Он посмотрел вверх. Значит, все-таки одну шестерню заедает? Но это было что-то другое. Капот разметчика медленно поднялся и распахнулся. Показались, поднявшись, зубцы одной шестерни, а вскоре появилась и вся шестерня, как будто какая-то огромная сила сжимала разметчик и этой шестерне не хватало места; шестерня докатилась до края разметчика, упала, покатилась стоймя по песку и легла в песок. Но наверху уже поднималась еще одна, а за ней другие — большие, маленькие, едва различимые, и со всеми происходило то же самое, и каждый раз казалось, что теперь-то уж разметчик должен быть пуст, но тут появлялась новая, еще более многочисленная вереница, поднималась, падала, катилась по песку и ложилась в песок. Из-за этого зрелища осужденный совсем забыл о приказе путешественника, шестерни приводили его в восторг, он хотел схватить каждую и просил солдата помочь ему, но всякий раз испуганно отдергивал руку, потому что вдогонку спешило уже другое колесо, которое его — по крайней мере когда катилось — пугало.

Путешественник, напротив, очень встревожился; машина явно разваливалась, ровный ее ход был обманчив, у него возникло такое чувство, что теперь он должен помочь офицеру, так как тот не может уже о себе позаботиться. Но, сосредоточив все свое внимание на выпадении шестерен, путешественник упустил из виду остальные части машины, когда же он теперь, после того как из разметчика выпала последняя шестерня, склонился над бороной, его ждал новый, еще более неприятный сюрприз. Борона перестала писать, она только колола, и лежак, вибрируя, не поворачивал тело, а только насаживал его на зубья. Путешественник хотел вмешаться, может быть даже остановить машину, это уже была не пытка, какой добивался офицер, это было просто убийство. Он протянул руки к машине. Но тут борона с насаженным на нее телом подалась в сторону, как это она обычно делала только на двенадцатом часу. Кровь текла ручьями, не смешиваясь с водой, трубочки для воды тоже на этот раз не сработали. Но вот не сработало и последнее — тело не отделялось от длин-

ных игл, а истекая кровью, продолжало висеть над ямой. Борона чуть было не вернулась уже в прежнее свое положение, но, словно заметив, что она еще не освободилась от груза, осталась над ямой.

— Помогите же! — крикнул путешественник солдату и осужденному, схватив офицера за ноги. Он хотел с этой стороны налечь на ноги, чтобы те двое с другой стороны налегли на голову и все вместе медленно сняли офицера с зубцов. Но те двое никак не решались приблизиться: осужденный и вовсе отвернулся; путешественнику пришлось подойти к ним и силой подвести их к изголовью лежака. Тут он почти против своей воли увидел лицо мертвеца. Оно было такое же, как при жизни, на нем не было никаких признаков обещанного избавления: того, что обретали в этой машине другие, офицер не обрел; губы были плотно сжаты, глаза были открыты и сохраняли живое выражение, взгляд был спокойный и уверенный, в лоб вошло острие большого железного резца.

Когда путешественник — с солдатом и осужденным позади — подошел к первым домам колонии, солдат показал на один из них и сказал:

— Вот кофейня.

В нижнем этаже этого дома было глубокое, низкое, пещероподобное помещение с закоптелыми стенами и потолком. Со стороны улицы оно было широко открыто. Хотя кофейня мало отличалась от остальных домов колонии, которые все, кроме роскошных зданий комендатуры, сильно обветшали, она произвела на путешественника впечатление исторической достопримечательности, и он почувствовал власть прежних времен. Он подошел к этому дому, прошел впереди своих провожатых между незанятыми столиками, стоявшими перед кофейней на улице, подышал затхлым прохладным воздухом, который шел изнутри.

— Старик похоронен здесь, — сказал солдат. — Священник отказал ему в месте на кладбище. Некоторое время вообще не знали, где его хоронить, но в конце концов похоронили здесь. Об этом вам офицер наверняка не рассказывал, ведь этого он, конечно, стыдился больше всего. Он даже несколько раз пытался выкопать старика ночью, но его каждый раз прогоняли.

— Где эта могила? — спросил путешественник, не поверив солдату.

Солдат и осужденный сразу же опередили его и показали вытянутыми руками туда, где, как им было известно, находилась могила. Они провели путешественника к задней стене, где за несколькими столиками сидели посетители. Это были, по всей видимости, портовые рабочие, дюжие люди с короткими блестяще-черными окладистыми бородами. Все были без пиджаков, в драных рубахах; это был бедный, униженный люд. Когда путешественник приблизился, некоторые поднялись, прижались к стене и стали глядеть на него.

— Это иностранец, — слышался шепот вокруг, — он хочет посмотреть могилу.

Они отодвинули один из столиков, под которым действительно находился надгробный камень. Это был простой камень, достаточно низкий, чтобы столик мог его спрятать. На нем очень мелкими буквами была сделана надпись. Путешественнику пришлось стать на колени, чтобы ее прочесть. Надпись гласила: «Здесь покоится старый комендант. Его сторонники, которые сейчас не могут назвать своих имен, выкопали ему эту могилу и поставили этот камень. Существует предсказание, что через определенное число лет комендант воскреснет и поведет своих сторонников отвоевывать колонию из этого дома. Верьте и ждите!» Когда путешественник прочел это и поднялся, он увидел, что вокруг него стоят люди и усмехаются так, словно они прочли надпись вместе с ним и, найдя ее смешной, призывают его присоединиться к их мнению. Путешественник сделал вид, что не заметил этого, роздал им несколько монет и, подождав, пока могилу прикроют столом, покинул кофейню и направился к порту.

Солдат и осужденный встретили в кофейне знакомых, которые их задержали. Но, видимо, они быстро отделались от них: не успел путешественник дойти до середины длинной лестницы, что вела к лодкам, как они уже бежали за ним вдогонку. Они, вероятно, хотели в последнюю минуту заставить путешественника взять их с собой. Пока путешественник договаривался внизу с лодочником о доставке на судно, эти двое стремглав молча бежали по лестнице, ибо кричать они не осмеливались. Но когда они добежали донизу, путешественник был уже в лодке и лодочник как раз отчалил. Они успели бы еще прыгнуть в лодку, но путешественник поднял с днища тяжелый узловатый канат и, погрозив им, удержал их от этого прыжка.

ДЕРЕВЕНСКИЙ УЧИТЕЛЬ (ГИГАНТСКИЙ КРОТ)

Все те — в том числе и я, — кому даже самый обычный, маленький крот кажется омерзительным, наверное, умерли бы от омерзения, доведись им увидеть гигантского крота, появившегося несколько лет назад вблизи маленькой деревушки, которая благодаря этому случаю приобрела своего рода мимолетную популярность. Теперь сама деревушка исчезла из людской памяти, как, впрочем, и все это странное происшествие, так и оставшееся неразгаданным, что не удивительно, ибо никто особенно не старался разгадать его, и как раз те лица, которые обязаны были изучить этот феномен и которые усердно изучают куда менее значительные явления, по непостижимой халатности, не утруждая себя сколько-нибудь тщательным исследованием, предали его забвению. То обстоятельство, что деревня расположена вдали от железной дороги, ни в коем случае не может служить оправданием. Множество людей, влекомых любопытством, приезжали издалека, даже из чужих стран, и только те, кому надлежало проявить не одно лишь любопытство, не пожелали приехать. Более того, если бы отдельные лица, простые смертные, почти без передышки занятые повседневным трудом, — если бы эти люди не взялись за дело бескорыстно и самоотверженно, слух о необычайном явлении, по всей вероятности, не вышел бы за пределы своей округи. Нельзя не отметить, что и самый слух в данном случае против обыкновения оказался чрезвычайно медлителен, если бы его, выражаясь фигурально, не подталкивали, он бы вообще не распространился. Но это, разумеется, недостаточное основание для бездействия, напротив, именно такое явное отклонение от нормы нужно было исследовать дополнительно. Вместо этого составление единственного письменного документа, свидетельствующего о феномене, было пере-

доверено старику учителю, который по праву слыл превосходным педагогом, однако не обладал ни достаточными природными данными, ни специальной подготовкой для исчерпывающего, подлинно научного описания своих наблюдений, не говоря уже о полной его неспособности объяснить их. Небольшая работа его была опубликована, ее охотно покупали тогдашние посетители деревни, многие даже хвалили ее, но сам учитель, как человек умный, понимал, что его одиночные, никем не поддержанные усилия, в сущности, не имеют никакой цены. Тот факт, что он все же не отступился и продолжал считать разгадку странного случая делом своей жизни, хотя оно год от года сулило все меньше надежд, доказывает, во-первых, какая сила воздействия таилась в феномене, и, во-вторых, сколько упорства и убежденности можно обнаружить в старом, незаметном деревенском учителе. Однако, судя по короткому послесловию, которым он дополнил свой труд, — правда, лишь несколько лет спустя, когда едва ли кто-нибудь помнил еще, о чем идет речь, — он сильно страдал от холодного равнодушия, проявленного авторитетными лицами. В этом послесловии, быть может и не очень складном, но подкупающем своей искренностью, он сетует на непонимание, с которым столкнулся там, где меньше всего мог этого ожидать. Об этих людях он отзывается весьма метко: «Не я, а они рассуждают, словно старый деревенский учитель». И приводит, между прочим, слова одного ученого, к которому нарочно поехал поговорить о своем деле. Имя ученого не названо, но по некоторым косвенным обстоятельствам можно догадаться, кто это. Преодолев немалые трудности, учитель наконец добился приема, но уже с первых слов понял, что ученый относится к его делу с несокрушимым предубеждением. О том, как невнимательно был выслушан пространный отчет учителя, подкрепленный выдержками из его работы, свидетельствует замечание ученого, оброненное им после некоторого раздумья или видимости такового.

— В вашей местности ведь особенно черная и плотная земля. Вот кротам и достается особенно жирная пища, и они становятся очень большими.

— Но не такими же! — с негодованием воскликнул учитель и, несколько увлекшись, отмерил на стене целых два метра.

— Отчего бы и нет, — ответствовал ученый, явно забавляясь разговором.

С этим учитель и вернулся домой. Он рассказывал, как вечером, в снежную метель, его поджидали на дороге жена

и шестеро детей и как ему пришлось сознаться им в окончательном крушении своих надежд.

Когда я прочел о приеме, оказанном учителю этим ученым, я еще ничего не знал об основном труде учителя. Но я решил незамедлительно сам собрать и обработать все данные, какие удастся добыть по этому вопросу. Сознавая свое бессилие перед ученым, я надеялся своей работой хотя бы поддержать учителя или, вернее, не столько учителя, сколько благие намерения честного, но беспомощного человека. Не скрою, я потом сильно раскаивался в своей опрометчивости, ибо вскоре почувствовал, что мое вмешательство неминуемо поставит меня в нелепое положение. С одной стороны, я сам был в достаточной мере беспомощен и не мог заставить ученого, а тем более общественное мнение отнестись к учителю благосклонно; с другой стороны, учитель непременно должен был заметить, что главная цель, которой он добивался — доказать существование огромного крота, — заботит меня куда меньше, нежели защита его личной порядочности, что, как он полагал, само собой разумелось и не нуждалось в защите. Так получилось, что моя попытка объединиться с ним не встретила понимания и, вместо того чтобы ему помочь, мне самому пришлось подумать о помощнике, а появление такового представлялось более чем сомнительным. И, помимо всего, я взвалил на себя тяжкий труд. Я хотел убедить, но при этом мне нельзя было ссылаться на учителя, ибо он-то никого убедить не сумел. Знакомство с его работой только сбило бы меня с толку, и я предпочел до завершения своей собственной ее не читать. Я даже встречаться с ним не пытался. Он, правда, узнал через третьих лиц о моих изысканиях, но ему не было известно, в каком направлении я работаю — за или против него. Вероятно, ему мерещилось именно последнее, хоть он впоследствии и отрицал это, и у меня есть тому доказательства, так как он неоднократно ставил мне палки в колеса. Ему это ничего не стоило, потому что ведь я был вынужден повторить все уже проведенные им исследования, и он в любом случае мог опередить меня. Это был единственный справедливый упрек — кстати сказать, неизбежный, который мог быть предъявлен моей методике, — но и он в значительной мере терял силу, ввиду крайне осторожного, почти смиренного тона моих утверждений. В основном же мой труд был абсолютно свободен от влияния учителя; быть может, я в этом отношении проявил даже чрезмерную щепетильность — получилось так, будто никто до меня не исследовал этого случая, не опрашивал свидетелей и очевид-

цев, не систематизировал показаний, не делал выводов. Впоследствии, прочитав работу учителя — у нее было очень громоздкое название: «Крот, такой большой, какого еще не бывало», — я и в самом деле убедился, что по многим пунктам наши мнения расходятся, хотя основной факт — существование гигантского крота — мы оба считали доказанным. Тем не менее эти отдельные несогласия помешали возникновению дружеской близости между мной и учителем, на что я вопреки всему надеялся. Напротив, в нем чувствовалась даже некоторая враждебность. Правда, он всегда держался со мной очень скромно и почтительно, но тем легче было заметить его истинное отношение. Он явно считал, что я сильно навредил ему своим вмешательством и что мое убеждение, будто я принес или мог принести ему пользу, в лучшем случае говорит о моей глупости, а скорее всего это наглость, если не коварство. Он особенно часто указывал на то, что до сих пор его противники либо вообще не выражали своего несогласия, а уж если выражали, то, по крайней мере, наедине с ним или, на худой конец, — устно, тогда как я счел нужным опубликовать свои возражения. К тому же немногие противники его, которые действительно, хотя бы и бегло, ознакомились с этим делом, как-никак выслушали мнение учителя — единственно авторитетное в данном случае, — прежде чем высказать свое, я же представил выводы, основанные на бессистемно подобранных и отчасти превратно истолкованных фактах, и если даже эти выводы в главном пункте правильны, все же они не могут внушить доверия ни массовому, ни образованному читателю. А малейшее сомнение в данном случае пагубно для дела.

На все эти упреки, хоть и преподнесенные в завуалированной форме, я легко мог бы ответить — ведь как раз его сочинение и было верхом неправдоподобия, — однако рассеять другие его подозрения было много трудней, и по этой-то причине я вообще старался вести себя с ним как можно сдержаннее. Он, видимо, втайне был убежден, что я хотел похитить у него славу первооткрывателя в деле с кротом. Но ведь славы-то никакой и не было, была одна лишь смехотворность, и то в очень тесном, все более сужающемся круге, что, уж конечно, не могло меня прельстить. А кроме того, в предисловии к моей работе я совершенно ясно сказал, что честь открытия гигантского крота на все времена должна остаться за учителем — хотя он даже не открывал его — и что только сочувствие судьбе учителя заставило меня взяться за перо. «Цель этого труда, — писал я в заключение с излишним пафо-

сом, но таково было испытываемое мной тогда волнение, — способствовать заслуженному признанию труда учителя. Если цель сия будет достигнута, то пусть мое имя, лишь мимолетно и чисто внешне связанное с этой проблемой, тотчас же исчезнет из нее навсегда». Подчеркнув, что роль моя в этом деле была минимальной, я точно каким-то таинственным способом предугадал возмутительный упрек учителя. Впрочем, именно в этом пункте он нашел нужную точку опоры, и я не отрицаю, что в его словах, вернее намеках, заключалась большая, хоть и неуловимая, видимость правоты, да и вообще, как я уже неоднократно замечал, в своем отношении ко мне он был куда проницательнее, нежели в своей статье. Так, он утверждал, что я в своем предисловии веду двойную игру. Если я искренне пекся о признании его научной работы, почему же я не ограничился характеристикой его как автора этой работы, почему не показал всех ее достоинств, неопровержимость выводов, почему, вместо того чтобы подчеркнуть и разъяснить значение сделанного им открытия, я полностью пренебрег его трудом и сам втесался в это дело? Разве открытие не было уже сделано? Разве в этом смысле еще чего-то не хватало? Если же я искренне считал, что должен еще раз сам проверить открытие, почему же я в предисловии столь торжественно отрекся от участия в этом открытии? Это могло показаться притворной скромностью, но было кое-чем похуже. Я обесценил открытие, я для того и привлек к нему внимание, чтобы обесценить, тогда как он исследовал его и отложил в сторону. Шум вокруг этого дела уже несколько улегся, а я опять разворошил его и тем самым поставил учителя в еще более трудное положение. Что ему защита его порядочности? Дело, только дело заботит его! А дело я предал, потому что не понимал его, потому что судил о нем неверно, потому что оно было мне не по плечу. Не с моим умом браться за такое дело. Он сидел напротив меня, обратив ко мне старое, морщинистое лицо, и смотрел на меня спокойным взглядом, но именно таково было его мнение. Кстати, это неправда, что он думал только о деле, он был честолюбив, даже очень, да и на деньги надеялся, что при его многосемейности вполне понятно. Но мой интерес к открытию по сравнению с его собственным казался ему столь ничтожным, что он не считал себя лжецом, притязая на абсолютное бескорыстие. И должен признаться, меня самого не удовлетворяли мои доводы, сколько я ни твердил себе, что упреки старика, в сущности, обусловлены его желанием, так сказать, держаться за своего крота обеими руками, и потому он каждого, кто хоть пальцем

коснется его сокровища, называет предателем. Не так это было, не алчностью объяснялось его поведение, по крайней мере не одной алчностью, — скорее досадой, которую вызывал в нем полный неуспех его длительных усилий. Но и досада объясняла не все. Быть может, мой интерес к его открытию и в самом деле был недостаточно велик: к равнодушию посторонних учитель успел привыкнуть, страдал от него, но уже не огорчался в каждом отдельном случае. А тут вдруг нашелся человек, который чрезвычайно заинтересовался его делом, но и тот ничего не понял. Я же, припертый к стене, и оправдываться не хотел. Я не зоолог, и, может быть, сделай я сам это открытие, феномен взволновал бы меня до глубины души, но в том-то и суть, что я его не открывал. Разумеется, такой огромный крот — явление необычайное, но ведь нельзя же требовать, чтобы весь мир занимался им длительное время, тем более что существование крота не доказано с полной неопровержимостью и, уж во всяком случае, его нельзя продемонстрировать. И я сознался также, что, если бы даже я сам открыл его, я не стал бы по доброй воле и с такой готовностью ратовать за него, как ратовал за учителя.

Однако все недоразумения между мной и учителем, вероятно, быстро рассеялись бы, если бы мой труд имел успех. Но вот успеха-то и не было. Быть может, я не очень хорошо написал его, недостаточно убедительно; я коммерсант и допускаю, что составление такого труда еще в меньшей степени соответствует моим данным, чем даным учителя, хотя опять-таки я, несомненно, располагал куда более солидным запасом необходимых знаний, нежели учитель. К тому же неуспех мог зависеть и от других причин: быть может, момент выхода в свет оказался неблагоприятным. С одной стороны, не нашедшее признания открытие произошло не так уж давно, чтобы о нем окончательно забыли, и нечего было надеяться, что мой труд привлечет общее внимание своей новизной; с другой стороны, времени прошло достаточно для того, чтобы тот незначительный интерес, который поначалу имелся, был полностью исчерпан. Те, кому мой труд вообще хоть что-то говорил, столь же уныло, как вели эту дискуссию много лет назад, думали о том, что вот теперь опять потребуются никчемные усилия для этого бесплодного дела, и даже путали мой труд с сочинением учителя. В одном из ведущих сельскохозяйственных журналов появилась такая заметка, — к счастью, только в самом конце и мелким шрифтом: «Нам снова прислали статью о гигантском кроте. Помнится, много лет назад мы уже всласть посмеялись над ней. За это время она

не стала умней, а мы не поглупели. Но смеяться во второй раз мы не можем. Зато мы можем задавать учительским союзам такой вопрос: неужели деревенский учитель не может заняться чем-нибудь более полезным, чем гоняться за гигантским кротом?» Непростительная ошибка! Там явно не читали ни первой, ни второй статьи. Поэтому нескольких мимоходом выхваченных слов, как-то: «гигантский крот» и «деревенский учитель», оказалось достаточно, чтобы выступить в качестве выразителей общественного мнения. Конечно, с этим можно бы спорить, и небезуспешно. Но отсутствие взаимопонимания между учителем и мной удержало меня от спора. Более того, я пытался, сколько мог, скрывать от него упомянутый номер журнала. Однако он сам очень скоро его обнаружил, я догадался об этом по одной фразе из его письма, где он сообщал, что намерен посетить меня в рождественские каникулы. Он писал: «Мир зол, и ему помогают быть злым», — чем хотел сказать, что и я — порождение злого мира, но, не довольствуясь присущей мне от природы злобностью, я помогаю миру быть плохим, другими словами — стараюсь пробудить всеобщую злобность и помочь ей одержать победу. Но я уже принял необходимые решения и потому мог спокойно ждать его, спокойно созерцать, как он заявился ко мне, поздоровался еще менее любезно, чем обычно, молча сел напротив меня, бережно достал из нагрудного кармана своего почему-то подбитого ватой сюртука упомянутый журнал и, раскрыв его на нужной странице, придвинул ко мне.

— Я уже знаком с ней, — сказал я и отодвинул журнал не читая.

— Вы уже знакомы с ней, — вздохнул он: у него была застарелая учительская привычка повторять чужие ответы. — Я, конечно, этого так не оставлю, — продолжал он, возбужденно тыча пальцем в журнал, и при этом пристально смотрел на меня, словно я придерживался иного мнения; по всей вероятности, он предчувствовал, что я хочу сказать; я и до того еще мог, как мне кажется, понять не столько по его словам, сколько по другим признакам, что он верно угадывает мои намерения, но не желает сдаваться и поверить в свою догадку. Все, что было мною сказано в тот раз, я могу повторить почти дословно, так как вскоре же после разговора я его записал.

— Делайте что хотите, — сказал я, — с этого дня наши пути расходятся. Думаю, что мои слова не покажутся вам неожиданными или неуместными. Статья в этом журнале не послужила тому причиной, она лишь укрепила меня в моем решении; собственно, причина заключается в том, что перво-

начально я надеялся помочь вам своим вмешательством, теперь же я вынужден признать, что лишь навредил вам во всех смыслах. Почему так вышло, не могу сказать; причины успеха и неудач можно толковать и так и эдак, не старайтесь же выискать лишь те, которые говорят против меня. Вспомните себя, вы тоже питали лучшие намерения, но, если взять все в целом, терпели одни неудачи. Я отнюдь не шучу, ведь когда я говорю, что связь со мной, как ни печально, тоже можно отнести к числу ваших неудач, эти слова направлены и против меня самого. И если сейчас я хочу устраниться, это объясняется не трусостью и не предательством. Мне даже приходится сделать над собой усилие; с каким уважением я к вам отношусь явствует из моей статьи; вы стали в известном смысле моим наставником. Я даже крота, можно сказать, почти полюбил. И тем не менее я отхожу в сторону, честь открытия принадлежит вам, а я, как бы ни старался, только мешаю вам стяжать возможную славу и служу причиной неудач, которые распространяются и на вас. Вы, во всяком случае, придерживаетесь именно такого мнения. И довольно об этом. Единственное наказание, которое я готов понести, — это просить вас о прощении и, если вы того потребуете, повторить сделанное здесь признание публично, к примеру, на страницах этого журнала.

Вот каковы были тогда мои слова, они были не совсем искренни, но в них нетрудно было угадать их искреннюю сторону. Мое заявление подействовало на него примерно так, как я предполагал. У большинства пожилых людей в отношениях с теми, кто моложе, проявляется что-то обманчивое, какая-то лживость; ты спокойно живешь бок о бок с ними, считаешь отношения упроченными, знаешь основные взгляды, непрерывно получаешь новые подтверждения миролюбия, считаешь все само собой разумеющимся, но вдруг, когда происходит что-нибудь решающее и столь бережно выпестованный покой должен сыграть свою роль, эти старики делаются чужими, у них оказываются более глубокие, более твердые взгляды, они только сейчас вынимают из чехла свое знамя, и ты с испугом читаешь на нем новый девиз. Испуг объясняется прежде всего тем, что мысли, высказываемые теперь стариками, и на самом деле гораздо более справедливы, более разумны и, как будто безоговорочное может иметь сравнительную степень, более безоговорочны. А непревзойденная лживость заключается именно в том, что они, по существу, всегда говорили то, что говорят сейчас. До чего же

глубоко проник я в психологию учителя, если ему не удалось ошеломить меня теперь.

— Дитя, — сказал он, положил свою руку на мою и дружески потер ее, — дитя, как вам вообще пришла в голову мысль заняться этим делом? Едва лишь я услышал об этом, я поговорил со своей женой. — Он отодвинулся от стола, развел руками и поглядел в пол, словно жена его в миниатюре стояла там внизу и он адресовался к ней. — «Много лет, — сказал я ей, — мы сражались в одиночестве, но теперь, судя по всему, у нас завелся в городе высокий покровитель, коммерсант имярек. Есть от чего возликовать, не так ли? Ведь городской коммерсант немало значит; если какой-нибудь оборванец-крестьянин поверит нам и во всеуслышание заявит об этом, это нам не поможет, ибо все, что ни делает крестьянин, непристойно; скажет ли он: старый деревенский учитель прав, сплюнет ли он самым непотребным образом, результат будет тот же самый. А если вместо одного крестьянина выступят десять тысяч крестьян, результат скорее всего будет еще хуже. Напротив, городской коммерсант — это нечто прямо противоположное, у такого человека есть связи, даже то, что он обронил мельком, расходится в широких кругах, новые покровители начинают принимать в нас участие, кто-нибудь из них говорит, к примеру: «Вот видите, и от деревенских учителей можно кое-чему научиться», — и уже на другой день об этом перешептывается великое множество людей, от которых, если судить по их виду, ты этого никогда бы не ожидал. И вот уже для дела изыскиваются денежные средства, один собирает, а другие отсчитывают деньги ему в руку, все полагают, что деревенского учителя надо извлечь из деревни, к нему приходят и, не заботясь о его внешности, включают его в свой круг, а поскольку жена и дети не желают расставаться с ним, прихватывают также жену и детей. Ты когда-нибудь наблюдала за городскими жителями? Они щебечут без умолку. А если их соберется несколько, щебет перекатывается справа налево и слева направо и назад и вперед. И под этот щебет они сажают нас в карету, не дав нам даже времени со всеми распрощаться. Господин на козлах поправляет пенсне, взмахивает кнутом — и карета трогается. Все горожане так машут на прощанье, словно мы не едем вместе с ними, а остались в деревне. Навстречу нам из города выезжает несколько карет с особо нетерпеливыми. При нашем приближении они встают с мест и вытягивают шеи, чтобы нас увидеть. Тот, что собирал деньги, все улаживает и призывает публику сохранять спокойствие. Когда мы въезжаем в

город, за нами тянется уже целая вереница карет. Мы-то думали, что приветствия уже закончились, но перед отелем они только начинаются. В городе, стоит лишь кликнуть клич, собирается множество людей. Что заботит одного, то немедленно начинает заботить другого. Они рвут мнения друг у друга изо рта и присваивают их. Не все собравшиеся могут разъезжать в карете, — такие ждут перед отелем, другие и могли бы, но воздержались из чувства собственного достоинства. Они тоже ждут. Просто диву даешься, как это тот, который собирал деньги, может за всем углядеть».

Я слушал учителя спокойно, более того — с каждым его словом я становился все спокойнее. Я выложил на стол все экземпляры своей статьи, сколько их у меня было. Недоставало всего нескольких, потому что за последнее время я затребовал с помощью многочисленных писем все разосланные экземпляры и уже получил большинство из них. Правда, многие адресаты очень любезно ответили мне, будто вообще не могут припомнить, что когда-либо получали упомянутую статью, и что, если таковая даже и поступала к ним, она, как ни жаль, вероятно, утеряна. Это меня тоже устраивало, по сути, я ничего другого не хотел. Лишь один попросил у меня позволения сохранить у себя статью как курьез, но обещал мне, в соответствии с моим письмом, никому ее не показывать в течение ближайших двадцати лет. Учитель еще не видел моего письма. И я порадовался, что после его слов мне легко показать ему таковое. Впрочем, я и без того мог сделать это с чистой совестью, ибо, составляя текст письма, я был чрезвычайно осторожен в выражениях и ни на минуту не упускал из виду интереса учителя и его дела. Основные тезисы моего послания гласили:

«Я прошу вернуть мне статью не потому, что более не разделяю высказанных в ней взглядов, а также не потому, что считаю их хотя бы отчасти ошибочными или даже просто недоказуемыми. Просьба моя продиктована чисто личными, хотя и очень настоятельными причинами; она не дает ни малейшего повода судить о моей позиции в данном вопросе. Убедительно прошу обратить на эти последние слова сугубое внимание и по возможности предать их огласке».

Но покамест я еще прикрывал мое письмо обеими руками и сказал следующее:

— Значит, вы намерены упрекать меня, потому что не получилось так, как вам хотелось? К чему эти упреки? Давайте не отравлять друг другу час расставания. И попытайтесь наконец понять, что, хотя вы и сделали открытие, открытие

это не превосходит все остальное и, следовательно, несправедливость, вам причиненная, не превосходит всю остальную несправедливость. Я не знаком с обычаями ученой среды, но я не думаю, что даже в самом благоприятном случае вам был бы уготован прием, хотя бы отдаленно напоминающий тот, который вы, вероятно, расписывали своей бедной супруге. Я и сам ждал результатов от своей статьи, но я надеялся, что, быть может, она привлечет к вашему вопросу внимание какого-нибудь профессора, что профессор поручит какому-нибудь молодому студенту заняться этим вопросом, что студент пойдет к вам и своими методами еще раз проделает ваши и мои исследования, и, наконец, когда выводы покажутся ему достойными внимания — здесь уместно напомнить, что все молодые студенты обуреваемы сомнениями, — он напишет свою собственную статью, в которой все то, что написано вами, получит научное обоснование. Но даже в том случае, если бы эта надежда осуществилась, достигнуто было бы очень немного. Статья молодого студента, который взял бы под защиту столь необычное явление, была бы поднята на смех. На примере данного сельскохозяйственного журнала вы убедились, как легко это может произойти, а научные журналы в этом смысле куда беспощаднее, что, впрочем, нетрудно понять: на профессорах лежит большая ответственность — перед наукой, перед потомками, они не могут с готовностью раскрывать объятия каждому открытию. Мы находимся по сравнению с ними в более выгодном положении. Но оставим все это в стороне. Допустим, что статья нашего студента нашла признание. Что из этого последовало бы? Не исключено, что ваше имя было бы с уважением упомянуто разок-другой, что это даже принесло бы пользу всему вашему сословию, люди говорили бы: «Наши деревенские учителя умеют смотреть и видеть», а этому журналу, если бы только журналы обладали памятью и совестью, пришлось бы публично попросить у вас прощения, возможно, сыскался бы какой-нибудь благожелательный профессор, который исхлопотал бы для вас стипендию; не исключено также, что были бы предприняты попытки перевести вас в город, найти вам место в городской начальной школе и дать вам возможность пользоваться для своего дальнейшего образования теми научными средствами, которыми располагает только город. Но если быть вполне откровенным, я должен сказать, что, на мой взгляд, все это были бы лишь попытки. Вас бы вызвали сюда, вы бы и в самом деле приехали, но как обыкновенный проситель, каких сотни и сотни, без торжественной встречи, с вами

поговорили бы, ваши добросовестные усилия снискали бы похвалу, но люди тотчас увидели бы, что вы — пожилой человек, что начинать в вашем возрасте занятия науками бессмысленно, что ваше открытие было скорее случайностью, нежели следствием планомерных трудов и, за исключением этого единичного случая, вы отнюдь не намерены впредь работать в данном направлении. Исходя из всех этих соображений, вас, вероятно, оставили бы в деревне. Но над вашим открытием тем не менее продолжали бы работать другие, ибо не так уж оно незначительно, чтобы, единожды заслужив признание, снова кануть в Лету. Но вы-то впредь ничего бы о нем не услышали, а то малое, что могли бы услышать, едва ли поняли бы. Любое открытие незамедлительно увязывается со всей совокупностью наук, после чего оно в некотором роде перестает быть открытием, оно растворяется и исчезает в целом, и надо обладать научно натренированным взглядом, чтобы и тогда уметь его различить. Его увязывают с постулатами, о существовании которых мы и не подозревали, и в научном споре его с помощью этих постулатов увлекают в заоблачные выси. Где уж нам это понять! Когда мы следим за научной дискуссией, нам кажется, например, будто речь идет об открытии, на деле же речь идет о совершенно других предметах; в следующий раз мы думаем, что речь идет о чем-нибудь другом, вовсе не об открытии, а речь идет как раз о нем.

Вы понимаете, о чем я говорю? Вы остались бы в деревне, с помощью полученных денег смогли бы чуть лучше кормить и одевать свое семейство, но открытие ваше перестало бы вам принадлежать, и у вас даже не было бы морального права сопротивляться, ибо лишь в городе могло бы со всей полнотой выявиться его значение. Вам отнюдь не выказали бы неблагодарности, — на том месте, где было сделано открытие, возможно, выстроили бы небольшой музей, музей стал бы местной достопримечательностью, вы, конечно, были бы смотрителем музея, и, чтобы не обойти вас также и внешними почестями, вас наградили бы небольшой нагрудной медалью, такой, какие мы видим на служителях ученых институтов. Да, все то было бы вполне возможно, но разве этого вы хотели?

Он без промедления дал мне совершенно справедливый ответ:

— Значит, этого вы для меня и добивались?

— Возможно, — казал я, — но в ту пору я действовал недостаточно продуманно, чтобы ответить вам сейчас с полной определенностью. Я хотел вам помочь, мне это не уда-

лось, пожалуй, это самое неудачное из всех моих начинаний. Потому я и хочу теперь отойти в сторону и сделать содеянное несодеянным, насколько это в моих силах.

— Ну хорошо, — сказал учитель и, достав свою трубку, принялся набивать ее табаком, который был у него насыпан во всех карманах. — Вы по доброй воле взялись за это неблагодарное дело, а теперь по доброй воле отходите в сторону. Все совершенно правильно.

— Я не тупоголовый упрямец, — сказал я. — Может быть, вы находите какие-нибудь недочеты в моем предложении?

— Решительно никаких, — отвечал учитель и задымил своей трубкой.

Я не мог вынести запаха его табака, поэтому я встал и начал ходить по комнате. Из предыдущих встреч я знал, что учитель предпочитает помалкивать; но уж ежели он пришел ко мне, от него так просто не избавишься; он неоднократно очень надоедал мне, ему чего-то от меня надо, всякий раз думал я и предлагал ему деньги, которые он, кстати, охотно брал. Но уходил он лишь тогда, когда ему заблагорассудится. К этому времени трубка обычно бывала выкурена, он обходил кресло сзади, аккуратно и почтительно придвигал его к столу, брал из угла свою узловатую палку, горячо пожимал мне руку и уходил. Но сегодня его молчаливое присутствие особенно тяготило меня.

Если один человек предлагает другому навсегда расстаться, как сделал я, и другой считает это предложение вполне правильным, ему, естественно, надлежит как можно скорей завершить оставшиеся еще общие дела и не навязывать первому без всякой нужды свое молчаливое присутствие. Каждый, кто взглянул бы сзади на этого упорного старичка, сидящего за моим столом, решил бы, что теперь его и вообще не удастся выпроводить из комнаты...

БЛЮМФЕЛЬД, СТАРЫЙ ХОЛОСТЯК

Блюмфельд, старый холостяк, поднимался однажды вечером в свою квартиру, что было нелегкой работой, ибо он жил на седьмом этаже. Поднимаясь, он часто в последнее время думал о том, что эта жизнь в полном одиночестве довольно тягостна, что сейчас он должен буквально тайком подняться на эти семь этажей, чтобы добраться до своих пустых комнат, там опять-таки буквально тайком надеть халат, закурить трубку, почитать французскую газету, которую он уже много лет выписывал, выпить при этом глоток-другой самодельной вишневой настойки и, наконец, через полчаса лечь в постель, но прежде полностью ее перестелить, поскольку не внимавшая никаким наставлениям служанка укладывала постельные принадлежности всегда как ей взбредет в голову. Блюмфельд был бы очень рад, если бы кто-нибудь сопровождал его, если бы кто-нибудь наблюдал за этими его занятиями. Он уже давно думал, не завести ли ему собачку. Такому животному свойственна веселость, но прежде всего благодарность и верность; у одного коллеги Блюмфельда есть такая собака, она никого не признает, кроме своего хозяина, и если она его несколько минут не видела, то встречает его громким лаем, явно выражая этим свою радость по поводу того, что снова нашла своего хозяина, такого необыкновенного благодетеля. Конечно, у собаки есть и свои скверные стороны. Даже если она очень чистоплотна, она загрязняет комнату. Это неизбежно, нельзя же каждый раз, прежде чем возьмешь ее в комнату, купать ее в горячей воде, да и здоровье его этого не вынесло бы. А грязи у себя в комнате Блюмфельд тоже не выносит, чистота комнаты — нечто совершенно необходимое для него, много раз на неделе он ссорится с не очень, к сожалению, педантичной в этом вопросе служанкой. Поскольку она туга на ухо, он обычно тянет ее за руку к тем местам комнаты, чистота которых не

удовлетворяет его. Такой строгостью он добился того, что порядок в комнате приблизительно соответствует его желаниям. А заведя собаку, он прямо-таки добровольно развел бы в своей комнате грязь, от которой до сих пор так старательно защищался. Появились бы блохи, постоянные спутники собак. А уж если заведутся блохи, то недалек и тот миг, когда Блюмфельд оставит собаке свою уютную комнату, а себе поищет другую. Нечистоплотность, однако, — это только одна отрицательная сторона собак. Собаки еще и болеют, а в собачьих болезнях никто, в сущности, не смыслит. Тогда это животное забивается в угол или еле волочит ноги, скулит, кашляет, давится от какой-то боли, его укутывают одеялом, насвистывают ему что-нибудь, поят его молоком, ухаживают за ним, надеясь, что дело идет, как то и бывает, о кратковременном недуге, а между тем это может быть серьезная, противная и заразная болезнь. Но даже если собака останется здоровой, она когда-нибудь состарится, а ты не решился избавиться от своего верного друга вовремя, и наступит время, когда слезящимися собачьими глазами на тебя взглянет собственная твоя старость. А тогда придется мучиться с полуслепым, задыхающимся, почти неподвижным от ожирения животным и дорого платить этим за радости, которые тебе прежде доставляла собака. Как ни хотелось бы Блюмфельду завести собаку сейчас, он предпочитает еще тридцать лет в одиночестве подниматься по лестнице, чем потом возиться с таким старым псом, который, вздыхая еще громче, чем он сам, будет рядом с ним тащиться со ступеньки на ступеньку.

Итак, Блюмфельд останется один, у него нет наклонностей старой девы, желающей иметь рядом с собой какое-нибудь подвластное живое существо, которое она может защищать, с которым она может быть нежной, которое она всегда готова обслуживать, так что для этого ей достаточно кошки, канарейки, а то и золотых рыбок. А если это не получается, то она довольствуется даже цветами перед окном. Блюмфельду же нужен спутник, нужно животное, о котором не надо особенно заботиться, которого невредно и пнуть иногда ногой, которое при нужде может переночевать и на улице, но которое, как только у Блюмфельда появится такая охота, будет ублажать его лаем, прыжками, лизаньем рук. Чего-то в этом роде хочется Блюмфельду, а поскольку, как он понимает, получить это без слишком больших неудобств нельзя, он от этого отказывается, но по своей основательности время от времени, например, в этот вечер, возвращается все к той же мысли.

Вынимая наверху перед своей дверью ключ из кармана, он обращает внимание на шорох, доносящийся из его комнаты. Странный, дребезжащий шорох, но очень бойкий, очень равномерный. Поскольку Блюмфельд думал как раз о собаках, это напоминает ему шорох, который создают лапы, когда они попеременно стучат по полу. Но лапы не дребезжат, это не лапы. Он поспешно открывает дверь и зажигает электрический свет. К этому зрелищу он подготовлен не был. Это просто волшебство, два маленьких, белых в синюю полоску целлулоидных мяча прыгают по паркету рядом вверх-вниз; когда один ударяется о пол, другой в самом верху, и свою игру они ведут неустанно. Когда-то в гимназии во время известного электрического опыта Блюмфельд видел, как прыгают сходным образом маленькие шарики, но это относительно большие мячи, они прыгают в пустой комнате, и никакого электрического опыта не производится. Блюмфельд наклоняется к ним, чтобы получше их рассмотреть. Это несомненно обычные мячи, внутри у них, наверно, еще несколько мячей поменьше, и они-то и издают этот дребезжащий звук. Блюмфельд делает движение рукой, чтобы проверить, не подвешены ли они на каких-то нитках, нет, они движутся совершенно самостоятельно. Жаль, что Блюмфельд не ребенок, два таких мяча были бы для него радостным сюрпризом, а сейчас это производит на него скорее неприятное впечатление. Ведь не такое уж и нестоящее дело — жить на правах незаметного холостяка только тайком, а теперь кто-то, неважно — кто, раскрыл эту тайну и подослал к нему эти смешные два мяча.

Он хочет схватить один из них, но они отступают от него и заманивают его в комнату, вслед за собой. Совсем, однако, глупо, думает он, бегать так за мячами, он останавливается и смотрит, как они, поскольку погоня, кажется, прекратилась, тоже остаются на том же месте. Но я все-таки попытаюсь поймать их, думает он, затем снова спешит к ним. Они тотчас же обращаются в бегство, но Блюмфельд, расставляя ноги, загоняет их в угол комнаты, и перед чемоданом, который там стоит, ему удается поймать один мяч. Это холодноватый маленький мяч, он вертится в его руке, явно стремясь выскользнуть. И другой мяч тоже, словно видя беду своего товарища, подпрыгивает выше, чем прежде, и все повышает прыжки, пока не допрыгивает до руки Блюмфельда. Он ударяет его по руке, ударяет, прыгает все быстрее, меняет точки атаки, затем, бессильный против руки, которая целиком охватила мяч, подпрыгивает еще выше и хочет, вероятно, достичь блюмфельдовского лица. Блюмфельд мог бы поймать и этот мяч и

оба где-нибудь запереть, но сейчас ему кажется слишком унизительным принимать такие меры против двух маленьких мячей. Да это же и забава — иметь два таких мяча, к тому же они довольно скоро устанут, закатятся под шкаф и угомонятся. Несмотря, однако, на это соображение, Блюмфельд в гневе швыряет мяч на пол, удивительно, что его тонкая, почти прозрачная целлулоидная оболочка при этом не разбивается. Без промедления оба мяча возобновляют прежние низкие, взаимно согласованные прыжки.

Блюмфельд спокойно раздевается, развешивает одежду в шкафу, он всегда проверяет, оставила ли все в порядке служанка. Раз-другой он смотрит через плечо на мячи, которые, когда их перестали преследовать, сами теперь, кажется, преследуют его, они подвинулись вслед за ним и прыгают теперь рядом сзади. Блюмфельд надевает халат и хочет пройти к противоположной стене, чтобы взять с висящей там подставки одну из трубок. Поворачиваясь, он непроизвольно выбрасывает назад ногу, но мячи ухитряются увернуться, и он их не задевает. Когда он теперь идет за трубкой, мячи сразу присоединяются к нему, он шаркает туфлями, ступает неровно, но за каждым его шагом следует почти без паузы звук мячей, они не отстают от него. Блюмфельд неожиданно поворачивается, чтобы посмореть, как это умудряются делать мячи. Но как только он поворачивается, мячи описывают полукруг и оказываются уже снова позади, и это повторяется, как только он повернется. Как свита, они стараются не задерживаться перед Блюмфельдом. Однажды они осмелились на это, по-видимому, только чтобы представиться ему, а теперь уже приступили к своим обязанностям.

До сих пор во всех исключительных случаях, где у него не хватало сил овладеть положением, Блюмфельд прибегал к одному средству: он делал вид, что ничего не замечает. Это нередко помогало и большей частью, по крайней мере, улучшало положение. Вот он и теперь ведет себя так же, стоит перед подставкой, выбивает, выпятив губы, трубку, особенно основательно набивает ее табаком из лежащего наготове кисета и, не беспокоясь, предоставляет мячам совершать прыжки у себя за спиной. Медлит он только пройти к столу, ему почти больно слышать одинаковый ритм прыжков и собственных шагов. Поэтому он стоит, набивая трубку ненужно долго, и рассчитывает расстояние, отделяющее его от стола. Наконец он преодолевает свою слабость и проходит этот отрезок с таким топотом, что вообще не слышит мячей. Когда

он садится, они, однако, опять прыгают за его креслом так же внятно, как раньше.

Над столом на расстоянии вытянутой руки к стене прикреплена полка, где стоит бутылка с вишневой настойкой в окружении рюмочек. Рядом с ней лежит стопка номеров французского журнала. (Как раз сегодня пришел новый номер, и Блюмфельд берет его. О настойке он совсем забывает, у него и у самого такое чувство, словно сегодня он не отступает от своих обычных занятий только утешения ради, да и настоящей охоты читать у него нет. Вопреки своему обыкновению тщательно, страницу за страницей, перелистывать журнал, он раскрывает его наугад и находит там большую картинку. Он заставляет себя хорошенько ее рассмотреть. Она изображает встречу русского императора с президентом Франции. Встреча эта происходит на корабле. Вокруг вдали видно еще много других кораблей, дым из их труб рассеивается в светлом небе. Оба, император и президент, только что длинными шагами спешили друг другу навстречу и сейчас обмениваются рукопожатием. Позади императора и позади президента стоят по два господина. По сравнению с радостными лицами императора и президента лица сопровождающих очень серьезны, взоры каждой группы сопровождающих устремлены на ее повелителя. Гораздо ниже, действие происходит явно на самой верхней палубе, стоят, срезанные краем картинки, длинные ряды салютующих матросов. Блюмфельд постепенно начинает разглядывать эту картинку с большим участием, затем отводит ее на некоторое расстояние и смотрит на нее, сощурив глаза. Он всегда был охотник до таких великолепных сцен. То, что оба главных лица так непринужденно, сердечно и легкомысленно пожимают друг другу руки, он находит очень достоверным. Правильно и то, что сопровождающие — а это, конечно, очень высокие чины, их имена указаны внизу — подчеркивают своей осанкой важность исторического мгновения.)

И вместо того чтобы достать с полки все, что ему нужно, Блюмфельд сидит и смотрит во все еще не зажженную головку трубки. Он настороже, вдруг, совершенно неожиданно, его оцепенение проходит, и он рывком поворачивается вместе с креслом. Но и мячи то ли настороже, то ли бездумно повинуются управляющему ими закону: одновременно с тем, как Блюмфельд поворачивается, они тоже перемещаются и прячутся за его спиной. Теперь Блюмфельд сидит спиной к столу, с холодной трубкой в руке. Мячи прыгают теперь под столом и, поскольку там ковер, едва слышны. Это большое преиму-

щество; получаются лишь совсем слабые глухие звуки, надо быть очень внимательным, чтобы их расслышать. Блюмфельд, однако, очень внимателен и слышит их хорошо. Но это только сейчас так, вскоре он, вероятно, перестанет их слышать совсем. То, что они делаются такими незаметными на коврах, кажется Блюмфельду большой слабостью мячей. Надо только подстелить им ковер, а еще лучше два, и они почти бессильны. Правда, лишь на определенное время, к тому же само их существование означает уже некую силу.

Вот когда Блюмфельду пригодилась бы собака, такое молодое, дикое животное быстро справилось бы с мячами; он представляет себе, как эта собака хватает их лапами, как сгоняет с позиции, как гоняет по комнате и наконец сжимает в зубах. Вполне возможно, что Блюмфельд заведет себе собаку в ближайшее время.

Пока же мячи должны бояться только Блюмфельда, а у него сейчас нет желания ломать их, может быть, ему для этого просто не хватает решительности. Он приходит вечером усталый с работы, и вот, когда ему так нужен покой, ему преподносят эту неожиданность. Только теперь он чувствует, как, в сущности, он устал. Сломать он мячи, конечно, сломает, но не сейчас и, наверно, лишь на следующий день. Если посмотреть на все непредвзято, то мячи вообще-то держатся достаточно скромно. Они могли бы, к примеру, время от времени выпрыгивать вперед, чтобы показать себя, а потом снова возвращаться на место, или могли бы прыгать выше, чтобы ударяться о доску стола и вознаградить себя этим за приглушение ковром. Но они этого не делают, они не хотят раздражать Блюмфельда без надобности, они явно ограничиваются лишь безусловно необходимым.

Правда, достаточно и этого необходимого, чтобы отравить Блюмфельду пребывание за столом. Он сидит там всего несколько минут, а уже думает о том, чтобы лечь спать. Одна из причин тому — невозможность курить здесь, ибо он оставил спички на тумбочке. Значит, нужно принести эти спички, а уж если он подойдет к тумбочке, то лучше, пожалуй, остаться там и улечься. Есть у него тут и задняя мысль, он думает, что мячи, в своем слепом стремлении держаться всегда позади него, прыгнут на постель и что там он их, ложась, волей-неволей раздавит. Возражение, что и остатки мячей способны, чего доброго, прыгать, он отклоняет. Необычайное тоже должно иметь свои границы. Целые мячи и вообще прыгают, хотя и не непрерывно, а обломки мячей никогда не прыгают и, значит, не будут прыгать и тут.

— Встали! — восклицает он чуть ли не с озорством, расхрабрившись от этого соображения, и шагает — мячи опять следуют сзади — к кровати. Его надежда, кажется, сбывается: когда он нарочно становится у самой кровати, один мяч тут же вспрыгивает на нее. Зато происходит неожиданная вещь: другой мяч отправляется под кровать. О такой возможности, что мячи могут прыгать и под кроватью, Блюмфельд и думать не думал. Он возмущен этим одним мячом, хотя и чувствует, как это несправедливо, ибо, прыгая под кроватью, этот мяч выполняет свою задачу, может быть, еще лучше, чем мяч на кровати. Теперь все зависит от того, какое место выберут мячи, ибо Блюмфельд не думает, что они способны долго работать врозь. И точно, в следующий миг нижний мяч тоже вспрыгивает на кровать. Теперь они попались, думает Блюмфельд, разгорячившись от радости, и срывает с себя халат, чтобы броситься на кровать. Но тот же мяч снова спрыгивает под кровать. От разочарования Блюмфельд буквально сваливается. Мяч, наверно, только осматривался наверху, и ему там не понравилось. А теперь за ним следует другой и, конечно, остается внизу, ибо внизу лучше. «Теперь эти барабанщики будут здесь всю ночь», — думает Блюмфельд, закусывает губы и трясет головой.

Это печально, хотя, в сущности, неизвестно, чем могут мячи повредить ему ночью. Сон у него отличный, слабый шум он преодолеет легко. Для полной уверенности в этом он, в соответствии с приобретенным опытом, подстилает два ковра. Словно у него собачка, которой он устраивает мягкую постель. И словно мячи тоже устали и стали сонными, прыжки их теперь ниже и медленнее, чем прежде. Когда Блюмфельд становится на колени перед кроватью и направляет под нее свет ночника, ему порой кажется, что мячи навсегда угомонятся, так тихо они падают, так медленно и недалеко откатываются. Затем, правда, они снова поднимаются, как им положено. Но вполне возможно, что, заглянув под кровать утром, Блюмфельд найдет там два безобидных детских мячика.

Но кажется, они даже до утра не выдержат и прекратят прыжки раньше, ибо, уже улегшись, Блюмфельд ничего больше не слышит. Он напрягается, прислушивается, свесившись с кровати, — ни звука. Настолько сильным воздействие ковров быть не может, единственное объяснение — мячи перестали прыгать, то ли не могут как следует оттолкнуться от мягких ковров, то ли, что вероятнее, никогда больше прыгать не будут. Блюмфельд мог бы встать и взглянуть, как же все-таки обстоит дело, но, довольный, что наконец-то стало тихо,

он продолжает лежать, он даже взглядом не хочет прикасаться к утихшим мячам. Даже от курения он с радостью отказывается, поворачивается на бок и засыпает.

Но без помех не обходится; как всегда, он и на этот раз спит без сновидений, но очень неспокойно. Бесчисленное множество раз за ночь его вспугивает обманчивое ощущение, будто кто-то стучит в дверь. А он твердо знает, что никто не стучит; кто станет стучаться ночью, да еще и в его дверь, к одинокому холостяку. Но хотя он твердо это знает, он каждый раз вскакивает и несколько мгновений напряженно смотрит на дверь, раскрыв рот, вытаращив глаза, и пряди волос дрожат на его влажном лбу. Он пытается сосчитать, сколько раз его будят, но от невероятных чисел, которые получаются, голова у него идет кругом, и он снова погружается в сон. Ему кажется, что он знает, откуда идет стук, стучат не в дверь, а совсем в другом месте, но в путах сна он не может вспомнить, на чем основаны его догадки. Он знает только, что собирается множество крошечных противных ударов, прежде чем они создадут большой сильный стук. Он вытерпел бы всю противность маленьких ударов, если бы мог избежать стука, но для этого по какой-то причине время уже упущено, он тут не может вмешаться, поздно, у него даже нет слов, рот его открывается только для немого зевка, и в гневе на это он зарывает лицо в подушки. Так проходит ночь.

Утром его будит стук служанки, вздохом избавления приветствует он этот тихий стук, на неслышность которого всегда прежде жаловался, и хочет уже крикнуть «войдите!», как вдруг слышит еще другой, бойкий, хоть и слабый, но поистине воинственный стук. Это мячи под кроватью. Они проснулись, набрались за ночь, в отличие от него, новых сил? «Сейчас!» — кричит Блюмфельд служанке, вскакивает с постели, но осторожно, так, чтобы мячи оставались у него за спиной, бросается, все спиною к ним, на пол, глядит, выкрутив голову, на мячи и ... чуть не разражается проклятьями. Как дети, которые скидывают с себя ночью обременительные одеяла, мячи толчками выдвинули за ночь ковры из-под кровати настолько далеко, что снова обнажили паркет под собой и могут опять производить шум. «Назад на ковры», — говорит Блюмфельд со злым лицом и, только когда мячи благодаря коврам снова стихают, велит служанке войти. Пока служанка, женщина жирная, бестолковая, ходящая всегда так, словно аршин проглотила, ставит на стол завтрак, делая необходимые для этого манипуляции, Блюмфельд неподвижно стоит в халате возле своего ложа, чтобы задержать мячи внизу. Он следит за

служанкой взглядом, проверяя, заметила ли она что-либо. При ее глуховатости такое маловероятно, и Блюмфельд приписывает это крайней своей взвинченности из-за скверного сна, когда ему кажется, что служанка нет-нет да останавливается, прислоняется к какому-нибудь предмету комнатной обстановки и прислушивается, высоко подняв брови. Он был бы счастлив, если бы ему удалось заставить служанку немного ускорить свои дела, но та чуть ли не медлительнее, чем обычно. Она обстоятельно собирает блюмфельдовскую одежду и сапоги, следует с ними в коридор и долго отсутствует, однозвучно и совсем одиночно доносятся удары, которыми она там обрабатывает одежду. И все это время Блюмфельд должен оставаться на кровати, ему нельзя шевельнуться, если он не хочет потащить за собой мячи, он должен смириться с тем, что кофе, который он так любит погорячее, остынет, ему только и остается глядеть на спущенную занавеску, за которой мутно брезжит рассвет. Наконец служанка все сделала, прощается и уже хочет уйти. Но прежде чем окончательно удалиться, она останавливается у двери, шевелит губами и смотрит на Блюмфельда долгим взглядом. Блюмфельд уже хочет призвать ее к ответу, но тут она наконец уходит. Блюмфельду больше всего хочется сейчас распахнуть дверь и крикнуть ей вслед, что она глупая, старая, бестолковая баба. Но задумавшись, что он, собственно, имеет против нее, он находит только ту нелепость, что она несомненно ничего не заметила и все-таки делала вид, будто что-то заметила. Как сумбурны его мысли! И всего-то из-за того, что не выспался ночью! Какое-то объяснение скверному сну он находит в том, что вчера вечером отступил от своих привычек, не курил и не выпил настойки. Если я — таков итог его размышлений — не покурю и не выпью настойки, то сплю я скверно.

Отныне он будет больше заботиться о своем хорошем самочувствии, и начинает он с того, что извлекает из аптечки, висящей над тумбочкой, вату и затыкает себе уши двумя тампончиками. Затем встает и делает пробный шаг. Мячи хоть и следуют за ним, но он их почти не слышит, еще немного ваты, и они совсем не слышны. Блюмфельд делает еще несколько шагов, никаких особенных неприятностей нет. Каждый сам по себе, и Блюмфельд и шары, они, правда, друг с другом связаны, но не мешают друг другу. Только когда Блюмфельд поворачивается однажды быстрее и один из мячей проделывает встречное движение недостаточно быстро, Блюмфельд натыкается на него коленкой. Это единственное происшест-

вие, вообще же Блюмфельд спокойно пьет кофе, он голоден, словно этой ночью не спал, а прошел длинный путь, он умывается холодной, необычайно освежающей водой и одевается. Занавесок он до сих пор не поднял, предпочтя из осторожности оставаться в полумраке, для мячей ему чужих глаз не нужно. Но когда он теперь готов уйти, он должен как-то позаботиться о мячах на случай, если они осмелятся — он так не думает — последовать за ним и на улицу. У него есть на этот счет хорошая идея, он открывает большой платяной шкаф и становится к нему спиной. Словно догадываясь о его замысле, мячи остерегаются внутренности шкафа, они используют каждую пядь, остающуюся между Блюмфельдом и шкафом, прыгают, если уж иначе нельзя, на один миг в шкаф, но тотчас же убегают от темноты, глубже, чем за самый край, их никак нельзя загнать в шкаф, они предпочитают нарушить свой долг и держаться почти сбоку от Блюмфельда. Но их маленькие хитрости им не помогут, ибо теперь Блюмфельд сам влезает спиной вперед в шкаф, и тут уж деваться им некуда. Но тем самым и судьба их решена, ибо внизу шкафа лежат всякие мелкие предметы, башмаки, коробки, чемоданчики, которые, правда, — сейчас Блюмфельд сожалеет об этом — размещены в полном порядке, но все-таки создают большую помеху мячам. И когда Блюмфельд, который тем временем уже почти затворил дверь шкафа, теперь большим прыжком, каких уже много лет не делал, покидает шкаф, захлопывает дверь и поворачивает ключ, шары оказываются заперты. «Удалось-таки» — думает Блюмфельд и стирает с лица пот. Как шумят мячи в шкафу! Такое впечатление, что они в отчаянии. Зато Блюмфельд очень доволен. Он покидает комнату, и уже пустынный коридор оказывает на него благотворное действие. Он вынимает из ушей вату, и многоразличные шумы пробуждающегося дома восхищают его. Людей почти не видно, еще очень рано.

Внизу в подъезде перед низкой дверью, ведущей в подвальную квартиру служанки, стоит ее десятилетний мальчишка. Вылитая мать, ни одно уродство старухи не забыто в этом детском лице. Кривоногий, руки в карманах штанов, он стоит и пыхтит, потому что у него уже теперь зоб и ему трудно дышать. Но если обычно, когда на пути у него оказывается этот мальчишка, Блюмфельд ускоряет шаг, чтобы по возможности избавить себя от такого зрелища, сегодня ему хочется чуть ли не остановиться возле него. Хотя мальчишка рожден на свет этой бабой и отмечен всеми знаками своего происхождения, пока он все же ребенок, и в этой бесформенной

голове бродят все-таки детские мысли, если ему что-то вразумительно сказать и о чем-нибудь спросить, он, наверно, ответит звонким голосом, невинно и почтительно, а сделав над собой некоторое усилие, можно будет и эти щеки погладить. Так думает Блюмфельд, но все же проходит мимо. На улице он замечает, что погода приятнее, чем он полагал в своей комнате. Утренний туман рассеивается, и показываются полосы голубого неба, выметенного крепким ветром. Блюмфельд обязан мячам тем, что вышел из своей комнаты гораздо раньше обычного, он даже газету забыл непрочитанной на столе, во всяком случае, он выиграл благодаря этому много времени и может теперь идти медленно. Странно, как мало заботят его мячи, с тех пор как он отделил их от себя. Пока они преследовали его, можно было считать их какой-то его принадлежностью, чем-то неотъемлемо важным для суждения о нем лично, а теперь они были только игрушкой дома в шкафу. И тут Блюмфельда осеняет мысль, что он, может быть, успешней всего обезвредит мячи тем, что употребит их по истинному их назначению. Там в подъезде еще стоит этот мальчишка, Блюмфельд подарит ему мячи, не одолжит, а именно подарит, что, конечно, равнозначно приказу их уничтожить. И даже если они останутся целы, в руках мальчишки они будут значить еще меньше, чем в шкафу, весь дом увидит, как мальчишка с ними играет, другие дети присоединятся к нему, общее мнение, что тут дело идет о мячах для игры, а не о блюмфельдовских спутниках жизни, станет нерушимым и неопровержимым. Блюмфельд бежит назад в дом. Мальчишка как раз спустился по подвальной лестнице и хочет открыть дверь внизу. Поэтому Блюмфельду надо позвать его и произнести его имя, смешное, как все, что бывает связано с этим мальчишкой. «Альфред, Альфред!» — кричит он. Мальчишка долго медлит. «Пойди-ка сюда, — кричит Блюмфельд, — я тебе что-то дам». Две маленькие девочки дворника вышли из противоположной двери и с любопытством становятся справа и слева от Блюмфельда. Они соображают гораздо быстрее мальчишки и не понимают, почему он не идет. Они кивают ему, не спуская при этом глаз с Блюмфельда, но не могут догадаться, какой подарок ждет Альфреда. Любопытство мучит их, они переминаются с ноги на ногу. Блюмфельд смеется и над ними, и над мальчишкой. Тот, кажется, наконец все уяснил себе и неуклюже, тяжело поднимается по лестнице. Даже походкой он напоминает мать, которая, кстати, появляется внизу, в двери подвала. Блюмфельд кричит во весь го-

лос, чтобы и служанка услыхала его и, если понадобится, проследила за исполнением его поручения.

— У меня наверху в комнате, — говорит Блюмфельд, — два прекрасных мяча. Хочешь получить их?

Мальчишка только кривит рот, он не знает, как ему вести себя, он оборачивается и вопросительно смотрит вниз, на мать. Девочки же сразу начинают прыгать вокруг Блюмфельда и просят дать им эти мячи.

— Вы тоже сможете поиграть ими, — говорит им Блюмфельд, но ждет, что ответит мальчишка. Он мог бы сразу же подарить мячи девочкам, но те кажутся ему слишком легкомысленными, и у него сейчас больше доверия к мальчишке. А тот уже без слов посоветовался с матерью и утвердительно кивает в ответ на повторный вопрос.

— Тогда слушай, — говорит Блюмфельд, не желая замечать, что его не благодарят за подарок, — ключ от моей комнаты у твоей матери, его ты возьмешь у нее, а вот тебе ключ от моего шкафа, а в этом шкафу мячи. Потом снова осторожно запри шкаф и комнату. А с мячами можешь делать что хочешь и можешь не возвращать их. Ты понял меня?

Но мальчишка, к сожалению, не понял. Блюмфельду хотелось растолковать этому беспредельно тупому существу все как можно яснее, но именно оттого он повторял все слишком часто, слишком часто говорил то о ключах, то о комнате, то о шкафе, и вследствие этого мальчишка глядит на него не как на своего благодетеля, а как на искусителя. Девочки, однако, сразу все поняли, они наседают на Блюмфельда и тянут руки к ключу.

— Подождите же, — говорит Блюмфельд и сердится уже на всех. Да и время идет, ему уже нельзя задерживаться. Сказала бы хоть служанка наконец, что поняла его и все как следует сделает для мальчишки. А она вместо этого все еще стоит у двери, жеманно, как глуховатые от смущения, улыбается и думает, может быть, что Блюмфельд там наверху вдруг пришел в восторг от ее мальчишки и спрашивает у него малую таблицу умножения. Не станет же Блюмфельд спускаться по подвальной лестнице и орать на ухо служанке, чтобы ее мальчишка бога ради избавил его от мячей. Он уже сделал достаточное усилие над собой, если готов доверить этой семье на целый день ключ от своего платяного шкафа. Не для того, чтобы пощадить себя, вручает он ключ мальчишке здесь, вместо того чтобы самому отвести его наверх и передать ему мячи там. Не может же он наверху сперва подарить мальчишке мячи, а затем сразу, как то, по всей вероятности,

случилось бы, отнять их у него, потянув их вслед за собой как свою свиту.

— Ты, значит, так и не понял меня? — почти горестно спрашивает Блюмфельд, приступив было к новому разъяснению, но тут же прекратив его под пустым взглядом мальчишки. Такой пустой взгляд обезоруживает человека. Он может заставить его сказать больше, чем хочется, только чтобы наполнить эту пустоту смыслом.

— Мы принесем ему мячи! — кричат девочки. Они хитры, они уразумели, что получить мячи могут лишь через какое-то посредство мальчишки, но что и это посредство они должны создать сами. В комнате дворника бьют часы и велят Блюмфельду торопиться.

— Ну так возьмите ключ, — говорит Блюмфельд, и ключ скорее вырывают у него из руки, чем он сам кому-то вручает его. Оставь он ключ мальчишке, дело было бы несравненно надежнее. — Ключ от комнаты возьмите внизу у этой женщины, — прибавляет Блюмфельд, — когда вернетесь с мячами, отдадите ей оба ключа.

— Да, да! — кричат девочки и сбегают по лестнице вниз. Они знают все, решительно все, и Блюмфельд, словно заразившись бестолковостью от мальчишки, сам теперь не понимает, как это они все так быстро уловили из его объяснений.

Вот они уже тянут служанку за юбку, но Блюмфельд не может больше, сколь это ни заманчиво, наблюдать, как они выполнят свою задачу, — и не только потому, что уже поздно, но еще и потому, что он не хочет присутствовать здесь, когда мячи вырвутся на волю. Он хочет даже удалиться на расстояние нескольких улиц к тому времени, когда девочки только откроют наверху дверь его комнаты. Он ведь совершенно не знает, чего еще можно ожидать от мячей. И вот он второй раз за это утро выходит из дому. Он увидел еще, как служанка буквально отбивалась от девочек, а мальчишка засеменил кривыми ногами, спеша на помощь матери. Блюмфельд не понимает, почему на свет родятся и плодятся такие люди, как эта служанка.

По дороге на бельевую фабрику, где служит Блюмфельд, мысли о работе постепенно берут верх над всем прочим. Он ускоряет шаг и, несмотря на задержку из-за мальчишки, приходит в свое бюро первым. Бюро это — за стеклянной переборкой, в нем стоят письменный стол для Блюмфельда и две конторки для подчиненных Блюмфельду практикантов. Хотя конторки эти так малы и узки, словно предназначены для школьников, в этом бюро очень тесно, и практикантам нельзя

садиться, потому что тогда для блюмфельдовского кресла не осталось бы места. Вот они и стоят целый день, прижавшись к своим конторкам. Это им, конечно, очень неудобно, но благодаря этому и Блюмфельду труднее следить за ними. Часто они прямо-таки приникают к конторке, но не для того чтобы работать, а чтобы пошептаться или даже вздремнуть. У Блюмфельда с ними много хлопот, они оказывают ему далеко не достаточную помощь в огромной работе, возложенной на него. Работа эта состоит в том, что он ведет все товарно-денежные расчеты с надомницами, нанимаемыми фабрикой для производства некоторых тонких изделий. Чтобы судить об объеме этой работы, нужно иметь точное представление обо всех обстоятельствах. А такого представления, с тех пор как непосредственный начальник Блюмфельда несколько лет назад умер, ни у кого больше нет, поэтому и Блюмфельд ни за кем не признает права судить о его работе. Фабрикант, например, господин Оттомар, явно недооценивает Блюмфельда, он признает, конечно, заслуги, которые снискал себе за двадцать лет на фабрике Блюмфельд, и признает их не только по необходимости, а и потому, что уважает Блюмфельда как человека верного, заслуживающего доверия, — но его работу он все-таки недооценивает, он думает, что ее можно наладить проще и потому во всех отношениях прибыльнее, чем ее ведет Блюмфельд. Говорят, и это, пожалуй, не совсем неправдоподобно, что Оттомар так редко показывается в отделе Блюмфельда лишь для того, чтобы избавить себя от огорчения, которое он испытывает при виде блюмфельдовских методов работы. Такая недооценка для Блюмфельда, конечно, печальна, но ничего не поделаешь, не может же он заставить Оттомара провести, к примеру, целый месяц в блюмфельдовском отделе, изучить все виды выполняемых здесь работ, применить собственные, якобы лучшие методы и после гибели отдела, к которой это непременно привело бы, убедиться в правоте Блюмфельда. Поэтому Блюмфельд непоколебимо исполняет свою работу, свое дело по-прежнему, он немного пугается, если порой после долгого перерыва вдруг появляется Оттомар, делает все же тогда, из чувства долга, как подчиненный, слабую попытку объяснить Оттомару то или иное установление, после чего тот, молча кивая, проходит с опущенными глазами дальше, а вообще-то Блюмфельд страдает от этой недооценки меньше, чем от мысли о том, что когда ему придется однажды уйти со своего места, немедленным следствием этого будет безвыходная неразбериха, ибо на фабрике нет никого, кто мог бы заменить

его и занять его место так, чтобы избежать хотя бы самых тяжелых производственных перебоев в ближайшие месяцы. Когда шеф кого-то недооценивает, служащие, конечно, стараются всячески в этом его превзойти. Поэтому работу Блюмфельда недооценивают все, никто не считает нужным поработать какое-то время для обучения в блюмфельдовском отделе, и, когда набирают новых служащих, к Блюмфельду никого по собственному почину не направляют. Вследствие этого отдел Блюмфельда не пополняется. Несколько недель шла ожесточенная борьба, когда Блюмфельд, делавший до тех пор в отделе все совершенно один, с помощью только служителя, потребовал в свое распоряжение практиканта. Почти каждый день появлялся Блюмфельд в бюро Оттомара и спокойно, подробным образом объяснял ему, почему в этом отделе нужен практикант. Нужен он не потому, что Блюмфельд хочет себя поберечь. Блюмфельд не хочет себя беречь, он работает как проклятый и не собирается с этим кончать, но пусть господин Оттомар только подумает, как развивалось предприятие в ходе времени, все отделы соответственно увеличивались, только блюмфельдовский всегда забывают. А как вырос объем работы именно там! Когда Блюмфельд поступал на службу, господин Оттомар, конечно, уже не помнит этого времени, швей было с десяток, а ныне их число колеблется между пятьюдесятью и шестьюдесятью. Такая работа требует сил, Блюмфельд может поручиться, что работе он отдает себя целиком, но за то, что он будет справляться с ней полностью, он отныне поручиться не может. Господин Оттомар, правда, никогда прямо не отклонял блюмфельдовские ходатайства, так он со старым служащим поступить не мог, но его манера едва слушать, говорить через голову просящего Блюмфельда с другими людьми, полуобещать, а через несколько дней все забывать снова — эта манера была довольно обидна. Не для Блюмфельда, в сущности, Блюмфельд не фантазер, как ни прекрасны почет и признание, Блюмфельд может обойтись и без них, он, несмотря ни на что, не уйдет со своего места, пока можно как-то терпеть, во всяком случае, он прав, а правота должна в конце концов, хотя иногда это происходит нескоро, снискать признание. Ведь Блюмфельд и в самом деле получил в конце концов даже двух практикантов — каких, правда, практикантов! Можно было подумать, что Оттомар понял, что свое неуважение к отделу он еще яснее, чем отказом в практикантах, покажет выделением для работы в отделе этих двоих. Возможно даже, что Оттомар только потому так долго и уговари-

вал Блюмфельда подождать, что искал таких практикантов, и долго, что было понятно, не находил. И жаловаться теперь Блюмфельд не мог, ответ ведь можно было предвидеть, он же получил двух практикантов, хотя просил только одного; так ловко обтяпал все Оттомар. Конечно, Блюмфельд все-таки жаловался, но только потому, что его буквально принуждало к этому его бедственное положение, не потому, что он и теперь надеялся на помощь. Да и жаловался он не настойчиво, а только походя, когда представлялся подходящий случай. Тем не менее среди недоброжелательных коллег вскоре распространился слух, будто кто-то спросил Оттомара, возможно ли, что Блюмфельд, даже получив теперь такую изрядную подмогу, все еще жалуется. На это Оттомар будто бы ответил, что так оно и есть, Блюмфельд все еще жалуется, но по праву. Он, Оттомар, понял это наконец и намерен постепенно выделить ему на каждую швею по практиканту, то есть всего около шестидесяти. А если и тех не хватит, он будет посылать еще, и не прекратит этого до тех пор, пока отдел Блюмфельда окончательно не превратится в сумасшедший дом, в который он уже много лет превращается. В этом замечании хорошо передразнивалась, правда, манера Оттомара говорить, но сам он, Блюмфельд в этом не сомневался, был очень далек от того, чтобы когда-либо хотя бы только подобным образом высказаться о Блюмфельде. Все это было выдумкой лентяев из бюро на втором этаже, Блюмфельд не обращал на это внимания — если бы только он мог так же спокойно не обращать внимания на присутствие практикантов! Но они были тут, и избавиться от них уже нельзя было. Бледные, слабые дети. По документам они уже достигли возраста, когда освобождают от обязательного обучения, в действительности же поверить в это нельзя было. Больше того, их даже учителю не хотелось доверить, так явственно нуждались они еще в материнском присмотре. Они еще не умели разумно двигаться, долгое стояние невероятно утомляло их, особенно в первое время. Стоило отвернуться от них, как они тут же от слабости обмякали, кособочились и горбатились в уголке. Блюмфельд пытался растолковать им, что они станут калеками на всю жизнь, если всегда будут так распускаться. Требовать от практикантов малейшего движения было рискованно, как-то один из них должен был что-то перенести на расстояние нескольких шагов, он пустился бегом и рассадил себе о конторку колено. Комната была битком набита швеями, конторки завалены товаром, но Блюмфельду пришлось на все плюнуть, отвести плачущего практиканта в контору и

сделать ему там небольшую повязку. Но и эта ретивость практикантов была лишь внешней, как настоящим детям, им хотелось иногда отличиться, но гораздо чаще, вернее почти всегда, хотелось отвлечь внимание начальника и обмануть его. В самый разгар работы Блюмфельд однажды, обливаясь потом, пробежал мимо них и заметил, как они среди рулонов товара меняются марками. Он готов был размозжить им головы кулаками, за такое поведение это было единственно возможное наказание, но это же были дети. Не мог же Блюмфельд убивать детей. И так он и мучился с ними дальше. Сначала он представлял себе, что практиканты будут помогать ему в разных отдельных работах, которые при распределении товара требовали очень большого напряжения и внимательности. Он думал, что будет стоять посредине за конторкой, держа все в поле зрения и ведя регистрацию, а практиканты будут сновать по его приказу туда и сюда и все распределять. Он представлял себе, что его надзор, при всей строгости для такой толчеи недостаточный, будет дополнен внимательностью практикантов, что эти практиканты постепенно накопят опыт, перестанут зависеть в каждой мелочи от его приказов и наконец сами научатся отличать швей друг от друга в отношении их потребности в товаре и добросовестности. При этих практикантах такие надежды были совершенно пустыми, Блюмфельд вскоре понял, что им вообще нельзя разрешать говорить со швеями. К иным швеям они с самого начала и вовсе не подходили, из страха перед ними или из отвращения к ним, зато к другим, к которым имели пристрастие, бежали навстречу порой до самой двери. Этим они приносили что угодно, вручали товар, хотя швеи имели право его принимать, с какой-то таинственностью, собирали для этих привилегированных всякие обрезки по пустым полкам, ненужные остатки, но, бывало, и годные для дела мелочи, они уже издали счастливо кивали им из-за спины Блюмфельда и получали за это конфетки в рот. Блюмфельд, правда, вскоре покончил с этим безобразием, выгоняя практикантов, когда приходили швеи, за перегородку. Но они еще долго считали это великой несправедливостью, сопротивлялись, нарочно ломали перья, а иногда, не отваживаясь, правда, поднять голову, громко стучали в стекла, чтобы обратить внимание швей на скверное обращение, которое они, по их мнению, терпели со стороны Блюмфельда.

Собственной неправоты они понять не могут. Так, например, они почти всегда приходят на службу с опозданием. Блюмфельд, их начальник, который с ранней юности считал

само собой разумеющимся приходить по меньшей мере за полчаса до начала работы — не карьеризм, не преувеличенная сознательность, а только какое-то чувство приличия заставляет его так поступать, — Блюмфельд должен, как правило, ждать своих практикантов больше часа. Жуя оставшуюся от завтрака булочку, он обычно стоит за конторкой в зале и подбивает итоги в расчетных книжках надомниц. Вскоре он весь уходит в работу и не думает ни о чем другом. Вдруг он так пугается, что перо еще несколько мгновений спустя дрожит у него в руках. Врывается один из практикантов, кажется, что он вот-вот свалится с ног, одной рукой он за что-то держится, другую прижимает к тяжело дышащей груди — но все это не означает ничего, кроме того, что мальчишка приносит извинение за опоздание, извинение, которое настолько смешно, что Блюмфельд нарочно пропускает его мимо ушей, ибо иначе он должен был бы дать негодяю заслуженную взбучку. А так он только глядит на него несколько мгновений, затем указывает вытянутой рукой на перегородку и снова погружается в свою работу. Теперь уж можно было бы ожидать, что практикант оценит доброту начальника и поспешит на свое место. Нет, он не спешит, он пританцовывает, он идет на цыпочках, а то и занося ногу за ногу. Он хочет высмеять своего начальника? Да нет. Это только снова та смесь страха и самодовольства, против которой человек безоружен. Как же иначе объяснить, что Блюмфельд сегодня, когда он и сам необычно поздно пришел на службу, теперь, после долгого ожидания — проверять расчетные книжки ему не хочется, — сквозь тучи пыли, которые поднял перед ним своей шваброй неразумный служитель, глядит на улицу, где наконец-то показались его практиканты. Они идут в обнимку и, кажется, рассказывают друг другу важные вещи, которые, конечно, имеют к работе разве что недозволенное отношение. Чем ближе они к стеклянной двери, тем больше они замедляют шаг. Наконец один уже берется за ручку, но не нажимает на нее, они все еще что-то рассказывают, слушают и смеются.

— Отвори же нашим господам! — воздев руки, кричит на служителя Блюмфельд. Но когда практиканты входят, Блюмфельду уже не хочется ссориться, он не отвечает на их приветствия и идет к своему столу. Он начинает считать, но иногда поднимает глаза, чтобы посмотреть, что делают практиканты. Один, кажется, устал и трет глаза; повесив на гвоздь пальто, он пользуется случаем, чтобы немного еще постоять, прислонившись к стене, на улице он был свеж, а близость работы нагоняет на него усталость. Другому практиканту, напротив, хочется заняться работой, но только другой. Так,

например, его давнее желание — подметать пол. Но это не его работа, подметать полагается только служителю; вообще-то Блюмфельд был бы не против того, чтобы практикант подметал пол, пускай бы подметал, хуже, чем служитель, это делать нельзя, но если практикант хочет мести полы, пусть и приходит раньше, прежде чем начнет мести служитель, и не тратит на это время, когда надлежит заниматься только канцелярской работой. Но уж если мальчишке всякие разумные соображения чужды, то хотя бы служитель, этот полуслепой старик, которого шеф ни в каком другом отделе, кроме блюмфельдовского, конечно, не потерпел бы, старик, живущий лишь по милости божьей и милости шефа, — хотя бы этот служитель был поуступчивей и отдал на минуту свою швабру мальчишке, ведь тот неуклюж, у него сразу пропадет охота мести, и сам еще будет бегать со шваброй за служителем, чтобы уговорить его снова взяться за подметанье полов. Но, кажется, именно за подметанье чувствует себя служитель особенно ответственным, видно, как при приближении мальчишки он крепче сжимает швабру дрожащими руками, предпочитая остановиться и перестать подметать, только бы не выпустить швабры из рук. Практикант не просит словами, ибо боится Блюмфельда, который, по-видимому, что-то подсчитывает, да и обычные слова были бы бесполезны, ибо пробиться к служителю можно только сильнейшим криком. Сперва поэтому практикант дергает служителя за рукав. Служитель знает, конечно, в чем дело, он мрачно хмурится, смотрит на практиканта и тянет швабру поближе к себе, к самой груди. Теперь практикант складывает руки и просит. Надежды достичь чего-то просьбами у него нет, просить для него — развлечение, и поэтому он просит. Другой практикант сопровождает происходящее тихим смехом, явно, хотя и непонятным образом полагая, что Блюмфельд его не слышит. На служителя просьбы не производят ни малейшего впечатления, он поворачивается и думает, что теперь можно орудовать шваброй в безопасности. Но практикант, подпрыгивая на цыпочках и умоляюще потирая руки, последовал за ним и просит теперь с другой стороны. Такие повороты служителя и подпрыгиванья практиканта вдогонку повторяются много раз. Наконец служитель чувствует себя отрезанным со всех сторон и замечает то, что при чуть меньшей простоте заметил бы сразу же, — что он устанет раньше, чем практикант. Поэтому он ищет чужой помощи, грозит практиканту и указывает на Блюмфельда, которому пожалуется, если практикант не отвяжется. Практикант понимает, что теперь, если он вообще хочет получить швабру, ему надо торопиться изо всех сил, а

потому он дерзко хватает ее. Непроизвольный выкрик другого практиканта предвещает развязку. Служитель, правда, на этот раз еще спасает швабру, сделав шаг назад и потянув ее к себе. Но практикант теперь не уступает, с открытым ртом и горящими глазами прыгает он вперед, служитель хочет убежать, но его старые ноги заплетаются, вместо того чтобы бежать, практикант вырывает швабру и, хотя и не завладевает ею, добивается того, что швабра падает, после чего она уже потеряна для служителя. По-видимому, однако, и для практиканта тоже, ибо при падении швабры все трое сперва цепенеют от страха, что сейчас все откроется Блюмфельду. В самом деле, Блюмфельд поднимает глаза к своему окошку, словно только сейчас обратил внимание на происходящее, он строго и испытующе смотрит на каждого, и швабра на полу тоже не ускользает от его взгляда. То ли молчание длится слишком долго, то ли виноватый практикант не может подавить в себе жажду подметать пол, как бы то ни было, он наклоняется, правда, очень осторожно, словно тянется к какому-то животному, а не к швабре, берет швабру, проводит ею по полу, но тут же испуганно отбрасывает ее, когда, вскочив, выходит из-за перегородки Блюмфельд.

— За работу, довольно вам баклуши бить! — кричит Блюмфельд и, вытянув руки, указывает обоим практикантам дорогу к их конторкам. Они сразу повинуются, но не пристыженно, не с опущенными головами, нет, они угловато вертятся около Блюмфельда и твердо смотрят ему в глаза, словно хотят этим удержать его от рукоприкладства. Однако по опыту они могли бы знать, что Блюмфельд не драчун. Но они слишком трусливы и всегда, без всякой деликатности, стараются отстоять свои действительные или кажущиеся права.

ОХОТНИК ГРАКХ

Двое мальчуганов играли в кости, сидя на парапете набережной. Мужчина читал газету, пристроившись на ступенях памятника, под сенью героя, размахивающего саблей. Девушка у колодца наливала воду в ведерко. Торговец овощами лежал около своего товара, уставясь в морскую даль. В пустые проемы окон и дверей видно было, как в дальнем конце кабачка двое мужчин попивают вино. Хозяин дремал, сидя за столиком у входа. Бесшумно, словно скользя над водой, в гавань вошел бот. На берег спустился человек в синем кителе и продел канаты в кольца причала; вслед за боцманом двое матросов в темных куртках с серебряными пуговицами спустили на берег носилки, на которых под шелковой цветастой шалью с бахромой, по-видимому, лежал человек.

Никто на всей набережной не обратил внимания на вновь прибывших, и даже когда они поставили носилки на землю, дожидаясь, пока боцман кончит возиться с канатами, никто не подошел поближе, ни о чем не спросил, не пригляделся к ним. Боцман помешкал еще минуту, потому что на палубе показалась простоволосая женщина с младенцем на руках. Наконец он приблизился, указал матросам на желтоватый двухэтажный дом слева, прямо у берега, те подняли свой груз на плечи и внесли его в приземистые, но обрамленные стройными колонками ворота. Маленький мальчик отворил окошко, увидел, что приезжие входят в дом, и поспешил захлопнуть окошко. Вслед за тем закрылись и плотно пригнанные створки ворот из мореного дуба. Стая голубей, кружившая над колокольней, опустилась наземь перед желтоватым домом, как будто там была заготовлена для них пища.

Все голуби сгрудились у ворот, а один взлетел до второго этажа и постучал клювом в окно. Это были как на подбор холеные, резвые птицы со светлым оперением. Женщина на палубе швырнула им с бота горсть зерна, они все поклевали и полетели к ней на палубу.

Из узкой улочки, круто спускающейся к гавани, появился господин в цилиндре с креповой лентой. Он пристально оглядел по сторонам и явно остался недоволен — при виде кучи мусора в углу у него даже перекосилось лицо. На ступенях памятника валялась кожура от фруктов, ее он мимоходом сбросил концом трости. Держа цилиндр в правой, затянутой в черную лайковую перчатку руке, господин постучался у дверей. Ему тотчас же открыли, с полсотни ребят, приветствуя его, выстроились шпалерами в длинном коридоре.

По лестнице спустился боцман, поздоровался с гостем и повел его наверх; во втором этаже они обогнули обстроенный изящными воздушными портиками внутренний двор и, сопутствуемые на почтительном расстоянии толпой ребят, вступили в прохладную залу в задней части дома; напротив домов уже не было, здесь высились только иссера-черные голые скалистые уступы.

Матросы как раз установили в головах носилок высокие подсвечники и зажгли свечи, но светлее от этого не стало, только встрепенулись и забегали по стенам мирно покоившиеся тени. С носилок отбросили покров. Под ним лежал мужчина с косматыми волосами, с всклокоченной бородой и обветренным лицом, по виду похожий на охотника. Он лежал неподвижный, как будто бездыханный, с закрытыми глазами, и тем не менее лишь по окружающей обстановке можно было предположить, что он мертвец.

Господин подошел к носилкам, приложил руку ко лбу лежащего, а затем опустился на колени и стал молиться. Тогда боцман кивком приказал матросам уйти; они удалились, разогнали ребят, столпившихся снаружи, и затворили за собой дверь. Но господин, видимо, желал полного уединения, он взглянул на боцмана, тот понял и через боковую дверь вышел в соседнюю комнату. Лежащий на носилках тотчас же открыл глаза, со страдальческой улыбкой повернулся к господину и спросил:

— Кто ты?

Нимало не удивившись, господин поднялся с колен и ответил:

— Я бургомистр города Рива.

Лежащий кивнул, с трудом подняв руку, указал на кресло и, после того как бургомистр уселся, заговорил снова:

— Я и так это знал, господин бургомистр, но в первую минуту у меня всякий раз голова идет кругом, и лучше для верности спросить, хоть я все знаю доподлинно. А вы тоже, должно быть, знаете, что я охотник Гракх.

— Разумеется, — ответил бургомистр. — Я нынче ночью был оповещен о вашем прибытии. Мы уже спали крепким сном. Как вдруг около полуночи жена окликнула меня: «Сальваторе (так меня зовут), взгляни, за окном голубь!» И верно, это был голубь, только величиной с петуха. Он подлетел к самому моему уху и объявил: «Завтра прибудет умерший охотник Гракх, прими его как отец города».

Охотник кивнул и кончиком языка провел по губам:

— Да, голуби всегда летят передо мной. Как вы полагаете, господин бургомистр, следует мне остаться в Риве?

— Пока что я не могу этого решить, — ответил бургомистр. — Вы мертвец?

— Да, как видите, — сказал охотник. — Много, должно быть, очень много лет тому назад, я преследовал серну и сорвался с кручи, это было в Шварцвальде, в Германии. С тех пор я и мертв.

— Однако вы и живы, — возразил бургомистр.

— Отчасти, — согласился охотник, — отчасти я жив. Мой челн смерти взял неверный курс — то ли кормчий отвлекся созерцанием моей прекрасной отчизны, то ли в минуту рассеянности не туда повернул руль, уже не знаю что, знаю одно — я остался на земле и челн мой с той поры плавает в земных водах. Жить мне хотелось только среди родных гор, а я после смерти странствую по всему свету.

— А в потусторонний мир вам доступа нет? — насупившись, спросил бургомистр.

— Я обречен вечно блуждать по гигантской лестнице, которая ведет на тот свет, — ответил охотник. — То меня занесет наверх, то вниз, то направо, то налево. Я не знаю ни минуты передышки — не охотник, а какой-то мотылек. Не смейтесь.

— Я не смеюсь, — запротестовал бургомистр.

— И хорошо делаете, — одобрил охотник. — Подумайте, ни минуты передышки. Вот, кажется, я взял разбег и передо мной уже забрезжили высокие врата, но миг — и я очнулся на моем челноке, застрявшем в каких-то унылых земных водах. В стенах каюты меня злобной издевкой донимает моя незадачливая кончина. В дверь стучит Джулия, жена боцмана, и подносит к моему одру утренний напиток той страны, вдоль берегов которой мы как раз проходим. Глядеть на меня радость небольшая — я лежу на дощатой койке в грязном саване, волосы и борода, вперемежку черные и седые, свалялись космами раз и навсегда, ноги прикрыты шелковой цветастой шалью с бахромой. В головах стоит и светит цер-

ковная свеча. На стене напротив висит картинка, на ней какой-то дикарь, бушмен, что ли, целится в меня копьем, а сам прячется за пышно размалеванный щит. На кораблях часто видишь глупые картинки, но глупее этой не придумаешь. Вообще же моя деревянная клетка совсем пуста. Сквозь отверстие в боковой стене проникает теплый воздух южной ночи, и слышно, как вода плещется о старый бот. Так я и лежу с той поры, как еще живым охотником Гракхом у себя дома, в Шварцвальде, преследовал серну и сорвался с кручи. Все как по-писаному — преследовал, сорвался, истек кровью в ущелье, умер, и этот вот челн должен был перенести меня на тот свет. Помню, с каким блаженством растянулся я впервые на своей койке. Родные горы ни разу не слыхали от меня такой песни, какой я огласил эти еще не знакомые мне стены. Я легко жил и легко умер; прежде чем вступить на борт, я с восторгом отбросил, как ненужную ветошь, свою охотничью снасть — флягу, ружье, ягдташ, — которую прежде носил с гордостью, и в саван облекся, как девушка в подвенечный наряд. Потом лег и стал ждать. Тут-то и приключилась беда.

— Жестокая доля, — махнув рукой, промолвил бургомистр. — И вашей вины в этом нет?

— Ни малейшей, — ответил охотник. — Я был охотником, какая же в этом вина? Меня поставили охотником в Шварцвальде, где в ту пору еще водились волки. Я выслеживал, стрелял, попадал, сдирал шкуру — какая в этом вина? Господь был мне в помощь в моих трудах. «Великим шварцвальдским охотником» прозвали меня. Какая в этом вина?

— Мне не дано право судить об этом, но, сдается мне, вины в этом нет, — признал бургомистр. — Тогда на ком же лежит вина?

— На боцмане, — ответил охотник. — Никто не станет читать то, что я тут пишу, никто не придет меня спасти, а если бы и была поставлена задача спасти меня, все равно двери всех домов оставались бы на запоре, на запоре все окна, все люди лежали бы в постелях, натянув одеяла на головы, вся земля представляла бы собой мирный ночлег. И это было бы правильно, ибо никто обо мне не знает, а знал бы кто обо мне, так не знал бы места, где я нахожусь, а знал бы место, где я нахожусь, так не знал бы, как удержать меня там, не знал бы, как мне помочь. Намерение мне помочь есть болезнь, которую лечат содержанием в постели. Все это я знаю и потому не кричу, хотя бывают минуты, как, например, сейчас, когда я теряю власть над собой и крепко помышляю о том, чтобы

позвать на помощь. Но такие помыслы мигом улетучиваются, стоит мне оглядеться по сторонам и вспомнить, где я нахожусь, где обитаю — смею утверждать — уже не одно столетие.

— Чудеса, прямо скажу, чудеса, — вставил бургомистр. — А теперь вы задумали остаться у нас в Риве?

— Ничего я не задумал, — усмехнувшись, сказал охотник и, чтобы смягчить насмешку, положил руку на колено бургомистра. — Сейчас я тут, больше я ничего не знаю и ничего не могу поделать. Челн мой носится без руля по воле ветра, который дует в низших областях смерти.

ВЕРХОМ НА ВЕДРЕ

Уголь кончился; ведро пусто, совок бесполезен; печь дышит холодом, комната промерзла насквозь, перед окном деревья окованы инеем; небо — как серебряный щит против тех, кто молит о помощи. Надо добыть угля; не замерзать же мне окончательно! Позади — не знающая жалости печь, впереди — такое же безжалостное небо; надо ловко прошмыгнуть между ними, чтобы просить помощи у торговца углем. Но обычные мои просьбы ему приелись; надо поубедительнее доказать ему, что в ведерке моем даже угольной пыли не осталось и, значит, он для меня все равно что солнце на небе. Мне надо явиться как нищему, который при последнем издыхании приполз умирать с голоду на барский порог, а сердобольная кухарка расщедрилась и выплеснула ему спивки кофе; пускай и торговец, злобясь, но покорствуя заповеди «не убий», швырнет мне в ведерко совок угля.

Самое появление мое должно исключить отказ; поэтому я поскачу на ведре. Верхом на ведре, держась вместо узды за ушко и спотыкаясь на поворотах, я сполз с лестницы; зато внизу мое ведерко выпрямилось очень даже гордо, совсем как выпрямляется лежащий верблюд, встрепенувшись от палки погонщика. Ровной рысцой мы проезжаем промерзший переулок; время от времени я взлетаю до второго этажа и, уж во всяком случае, не спускаюсь до входных дверей. А перед подвалом, где угольщик строчит пером у себя за конторкой, я парю особенно высоко; от жары дверь подвала отворена.

— Эй, угольщик! — застуженным голосом кричу я, и собственное дыхание окутывает меня клубами пара, — будь добр, угольщик, дай мне немного угля. Ведро у меня совсем пустое, видишь, на нем можно даже скакать верхом. Окажи такую милость, я расплачусь, как только смогу.

Торговец приставляет ладонь к уху.

— Я не ослышался? — спрашивает он через плечо у своей жены, которая сидит и вяжет рядом, на лежанке. — Я не ослышался? Как будто покупатель?

— Я не слышу ровно ничего, — отвечает жена, в такт вдохам и выдохам шевеля спицами и ощущая спиной благодатное тепло.

— Ну да, это я, ваш покупатель, — кричу я, — старинный и неизменный, только сейчас безденежный.

— Нет, жена, кто-то там есть, кто-то есть, — говорит торговец, — уж не так-то я туг на ухо. И, верно, очень старинный покупатель, прямо за живое берет.

— Да что с тобой, муженек? — спрашивает жена и на миг приостанавливается, прижав вязанье к груди. — В переулке ни души, все наши покупатели обеспечены углем. Смело можно прикрыть торговлю на день-другой и отдохнуть.

— Как же так! Ведь я тут, верхом на ведре! — кричу я, и слезы, выжатые не горем, а морозом, застилают мне глаза. — Поглядите наверх, вы сразу меня увидите; прошу вас, дайте один совок, а дадите два — и вовсе меня осчастливите. Остальные покупатели обеспечены. Вот бы и у меня в ведерке завелся уголек!

— Сейчас выйду! — говорит торговец и, семеня короткими ножками, направляется к лестнице, но жена догоняет его и хватает за руку.

— Не смей ходить. А не послушаешься — я сама пойду вместо тебя. Ты, видно, забыл, что кашлял всю ночь напролет. Конечно, тебе только где померещится дело, ты уже забыл и жену, и детей, и собственные легкие. Нет, пойду я сама.

— Только не забудь, перечисли все сорта, какие у нас есть на складе; цены я тебе крикну вдогонку.

— Не забуду, — соглашается жена, выходит из подвала на улицу и, конечно, сразу же видит меня.

— Мое вам почтение, хозяйка! Прошу вас, совочек угля; прямо сюда, в ведерко, я сам отвезу его домой — совочек самого последнего сорта. Конечно, я заплачу сполна, только попозже, попозже.

Словечко «попозже» звучит точно благовест, гармонично вторя вечернему звону, который как раз зазвучал с соседней колокольни.

— Так чего ему нужно? — кричит снизу торговец.

— Ничего, ровно ничего, — отвечает с улицы жена. — Ничего мне не видно, ничего не слышно; слышно одно: бьет шесть часов и пора запирать лавку. Мороз лютый, завтра у нас опять будет много дела.

Ей ничего не видно и не слышно; тем не менее она развязывает фартук и замахивается им на меня. К несчастью, небезуспешно. У моего ведерка есть все качества доброго

скакуна, но нет ни малейшей устойчивости, уж очень оно легковесно; от взмаха фартуком у него подкашиваются ноги.

— Ах ты злюка! — кричу я на лету, меж тем как она, поворачиваясь к лавке, с презрительным злорадством машет рукой. — Да, злюка! Я просил совочек третьесортного угля, а ты мне отказала.

С этими словами я взмываю ввысь и безвозвратно теряюсь среди вечных льдов.

СБОРНИК «СЕЛЬСКИЙ ВРАЧ»

НОВЫЙ АДВОКАТ

В наших рядах объявился новый адвокат — д-р Буцефал. Мало что в его наружности напоминает время, когда он был боевым конем Александра Македонского. Однако люди сведущие кое-что и замечают. А недавно в парадном подъезде суда я даже видел, как простоватый служитель наметанным глазом скромного, но усердного завсегдатая скачек с восхищением следил за адвокатом, когда тот, подрагивая ляжками, звенящим шагом поднимался по мраморной лестнице ступенька за ступенькой.

В общем коллегия адвокатов одобряет включение Буцефала в наше сословие. С редким пониманием люди говорят себе, что Буцефалу трудно при нынешних порядках и он уже хотя бы поэтому, не говоря о его всемирно-историческом значении, заслуживает участия. В наше время, согласитесь, нет великого Александра. Убивать, правда, и у нас умеют; *искусство пронзить копьем друга через банкетный стол тоже* достаточно привилось; и многим тесно в Македонии, они проклинают Филиппа-отца, но никому, никому не дано повести нас в Индию. Уже и тогда ворота в Индию были недостижимы, но, по крайней мере, дорогу указывал царский меч. Ныне ворота перенесены в другое место — дальше и выше, — но никто не укажет вам дороги; меч вы увидите в руках у многих, но они только размахивают им, и взгляд, готовый устремиться следом, теряется и никнет.

Поэтому всего разумнее поступить, как Буцефал, — погрузиться в книги законов. Сам себе господин, свободный от шенкелей властительного всадника, он при тихом свете лампы, далеко от гула Александровых боев, читает и перелистывает страницы наших древних фолиантов.

СЕЛЬСКИЙ ВРАЧ

Я был в крайнем затруднении; надо было срочно выезжать; в деревне за десять миль ждал меня тяжелобольной; на всем пространстве между ним и мною мела непроглядная вьюга; у меня имелась повозка, легкая, на высоких колесах, как раз то, что нужно для наших сельских дорог; запахнувшись в шубу, с саквояжиком в руке, я стоял среди двора, готовый ехать; но лошади, лошади у меня не было! Моя собственная лошадка, не выдержав тягот и лишений этой суровой зимы, околела прошлой ночью; служанка бросилась в деревню поискать, не даст ли мне кто коня; безнадежная попытка, как я и предвидел, — и все гуще заносимый снегом и все больше цепенея в неподвижности, я бесцельно стоял и ждал. Но вот и служанка, одна; она еще в воротах помахала мне фонарем; ну еще бы, сейчас да в такую дорогу разве кто одолжит мне лошадь! Я еще раз прошелся по двору, но так ничего и не придумал; озабоченный, я по рассеянности толкнул ногой шаткую дверцу, ведущую в заброшенный свиной хлев. Она открылась и захлопала на петлях. Из хлева понесло теплом и словно бы лошадиным духом. Тусклый фонарь качался на веревке, подвешенной к потолку. В низеньком чуланчике, согнувшись в три погибели, сидел какой-то дюжий малый, он повернулся и уставил на меня свои голубые глаза.

— Прикажете запрягать? — спросил он, выползая на четвереньках.

Я не знал, что ответить, и только нагнулся поглядеть, нет ли там еще чего. Служанка стояла рядом.

— Богачу и невдомек, что у него припасено в хозяйстве, — сказала она, и оба мы засмеялись.

— Э-гей, Братец, э-гей, Сестричка! — крикнул конюх, и два могучих коня, прижав ноги к брюху и клоня точеные головы, как это делают верблюды, играя крутыми боками, едва-едва друг за дружкой протиснулись в дверной проем. И сразу же выпрямились на высоких ногах; от их лоснящейся шерсти валил густой пар.

— Помоги ему, — сказал я, и услужливая девушка поспешила подать конюху сбрую.

Но едва она подошла, как он обхватил ее и прижался лицом к ее лицу. Девушка вскрикнула и бросилась ко мне; на щеке ее красными рубцами отпечатались два ряда зубов.

— Ах, скотина! — крикнул я в ярости. — Кнута захотел?

И тут же спохватился, что этот человек мне совсем незнаком, что я не знаю, откуда он взялся, и что он сам вызвался

мне помочь, когда все другие отказались. Словно угадав мои мысли, конюх пропустил угрозу мимо ушей и, все еще занятый лошадьми, на мгновение обернулся ко мне.

— Садитесь, — сказал он; и в самом деле, все готово.

На такой отличной упряжке, как я замечаю, мне еще не приходилось выезжать, и я охотно сажусь.

— Править буду я сам, ты не знаешь дороги, — заявляю я.

— А как же, я и не поеду с вами, — говорит он, — останусь с Розой.

— Нет! — вскричала Роза и в страшном предчувствии своей неотвратимой участи кинулась в дом; я слышал, как бренчит цепочка, которой она закладывает дверь, слышу, как щелкает замок; вижу, как, скрываясь от погони, она тушит огонь в прихожей, а затем и в других комнатах.

— Ты едешь со мной, — говорю я конюху, — или я откажусь от поездки, как она ни нужна. Уж не вообразил ли ты, что я отдам девушку в уплату за услугу?

— Эй, залетные! — крикнул он, хлопнул в ладоши, и повозку помчало, как несет щепку быстрым течением; я еще слышу, как дверь дома трещит и рассыпается под ударами конюха, и тут равномерный пронзительный свист оглушает все мои чувства, наполняя глаза и уши. Но это длится лишь мгновение; не успеваю оглянуться, как я уже у цели, словно ворота моей усадьбы открываются прямо во двор больного; лошади стоят смирно; вьюга утихла; светит луна; отец и мать больного выходят мне навстречу; за ними бежит его сестра, меня чуть ли не на руках выносят из повозки; я не понимаю их сбивчивых объяснений; в комнате больного нечем дышать; щелястая печь дымит; я решаю открыть окно, но сперва хочу осмотреть больного. Это худенький мальчик, без рубашки, температура нормальная, не высокая и не низкая, глаза пустые, он высовывается из-под пуховой перинки, обнимает меня за шею и шепчет на ухо:

— Доктор, позволь мне умереть.

Я оглядываюсь; никто этого не слышал; родители стоят молча, понурясь и ждут моего приговора; сестра принесла стул для саквояжика. Я открываю его и роюсь в инструментах; мальчик поминутно тянется ко мне рукой с кровати, напоминая о своей просьбе; я беру пинцет, проверяю его при свете свечи и кладу обратно. «Да, — думаю я в кощунственном исступлении, — именно в таких случаях приходят на помощь боги, они посылают нужную тебе лошадь, а заодно впопыхах вторую и уже без всякой нужды разоряются на конюха...» И только тут вспоминаю Розу; что делать, как спасти ее, как

вытащить из-под этого конюха — в десяти милях от дома, с лошадьми, в которых сам черт вселился? С лошадьми, которые каким-то образом ослабили постромки, а теперь неведомо как распахнули снаружи окна; обе просунули головы в комнату и, невзирая на переполох во всем семействе, разглядывают больного. «Сейчас же еду домой», — решаю я, словно лошади меня зовут, но позволяю сестре больного, которой кажется, что я оглушен духотой, снять с меня шубу. Передо мной ставят стаканчик рому, старик треплет меня по плечу — столь великая жертва дает ему право на фамильярность. Я качаю головой; от предстоящего разговора с этим утлым старичком меня заранее мутит; только поэтому предпочитаю я не пить. Мать стоит у постели и манит меня; я послушно прикладываю голову к груди больного, — между тем как одна из лошадей звонко ржет, задрав морду к потолку, — и мальчик вздрагивает от прикосновения моей мокрой бороды. Все так, как я и предвидел: мальчик здоров, разве что слегка малокровен, заботливая мамаша чересчур усердно накачивает его кофе; тем не менее он здоров, следовало бы тумаком гнать его из постели. Но я не берусь никого воспитывать, пусть валяется! Я назначен сюда районными властями и честно тружусь, можно даже сказать — через край. Хоть мне платят гроши, я охотно, не щадя себя, помогаю бедным. А тут еще забота о Розе, мальчик, пожалуй, прав, да и мне в пору умереть. Что мне делать здесь этой нескончаемой зимой?! Лошадь моя пала, и никто в деревне не одолжит мне свою. Приходится в свинарнике добывать себе упряжку; не подверни мне эти лошади, я поскакал бы на свиньях. Вот как обстоит дело! Я киваю семейству. Они не знают о моих горестях, а расскажи им — не поверят. Рецепты выписывать нетрудно, трудно сговориться с людьми. Что ж, пора кончать визит, снова меня зря потревожили, ну да мне не привыкать стать, при помощи моего ночного колокольчика меня терзает вся округа, а на этот раз пришлось поступиться даже Розой, этой милой девушкой, — сколько лет она у меня в доме, а я ее едва замечал — нет, эта жертва чересчур велика, и я пускаю в ход самые изощренные доводы, чтобы как-то себя урезонить и не наброситься на людей, которые при всем желании не могут вернуть мне Розу. Но когда я захлопываю саквояжик и кивком прошу подать мне шубу, между тем как семейство стоит и ждет — отец обнюхивает стаканчик рома, он все еще держит его в руке, мать, по-видимому глубоко разочарованная — но чего, собственно, хотят эти люди? — со слезами на глазах, кусает губы, а сестра помахивает поло-

тенцем, насквозь пропитанным кровью, — у меня возникает сомнение, а не болен ли в самом деле мальчик? Я подхожу, он улыбается мне навстречу, словно я несу ему крепчайшего бульону, — ах, а теперь заржали обе лошади, возможно, они призваны свыше наставить меня при осмотре больного — и тут я вижу: мальчик действительно болен. На правом боку, в области бедра, у него открытая рана в ладонь величиной. Отливая всеми оттенками розового, темная в глубине и постепенно светлея к краям, с мелко-пупырчатой тканью и неравномерными сгустками крови, она зияет, как рудничный карьер. Но это лишь на расстоянии. Вблизи я вижу, что у больного осложнение. Тут такое творится, что только руками разведешь. Черви длиной и толщиной в мизинец, розовые, да еще и вымазанные в крови, копошатся в глубине раны, извиваясь на своих многочисленных ножках и поднимая к свету белые головки. Бедный мальчик, тебе нельзя помочь! Я обнаружил у тебя большую рану; этот пагубный цветок на бедре станет твоей гибелью. Все семейство счастливо, оно видит, что я не бездействую; сестра докладывает это матери, мать — отцу, отец — соседям, видно, как в лучах луны они на цыпочках, балансируя распростертыми руками, тянутся в открытые двери.

— Ты спасешь меня? — рыдая, шепчет мальчик, потрясенный ужасным видом этих тварей в его ране.

Таковы люди в наших краях. Они требуют от врача невозможного. Старую веру они утратили, священник заперся у себя в четырех стенах и рвет в клочья церковные облачения; нынче ждут чудес от врача, от слабых рук хирурга. Что ж, как вам угодно, сам я в святые не напрашивался; хотите принести меня в жертву своей вере — я и на это готов; да и на что могу я надеяться, я, старый сельский врач, лишившийся своей служанки? Все в сборе, семья и старейшины деревни, они раздевают меня; хор школьников во главе с учителем выстраивается перед домом и на самую незатейливую мелодию поет:

Разденьте его, и он исцелит,
А не исцелит, так убейте!
Ведь это врач, всего лишь врач···

И вот я перед ними нагой; запустив пальцы в бороду, спокойно, со склоненной головою, гляжу я на этих людей. Ничто меня не трогает, я чувствую себя выше их и радуюсь своему превосходству, хоть мне от него не легче, так как они берут меня за голову и за ноги и относят в постель. К стене, с той стороны, где рана, кладут меня. А потом все выходят из

комнаты; дверь закрывается; пение смолкает; тучи заволакивают луну; я лежу под теплым одеялом; смутно маячат лошадиные головы в проемах окон.

— Знаешь, — шепчет больной мне на ухо, — а ведь я тебе не верю. Ты такой же незадачливый, как я, ты и сам на ногах не держишься. Чем помочь, ты еще стеснил меня на смертном ложе! Так и хочется выцарапать тебе глаза.

— Ты прав, — говорю я, — и это позор! А ведь я еще и врач! Что же делать? Поверь, и мне нелегко.

— И с таким ответом прикажешь мне мириться? Но такова моя судьба — со всем мириться. Хорошенькой раной наградили меня родители; и это все мое снаряжение.

— Мой юный друг, — говорю я, — ты не прав; тебе недостает широты кругозора. Я, побывавший у постели всех больных в нашей округе, говорю тебе — твоя рана сущий пустяк: два удара топором под острым углом. Многие бы с радостью подставили бедро, но они только смутно слышат удары топора в лесу и не приближаются.

— Это в самом деле так или я брежу? Ты не обманываешь больного?

— Это истинная правда; возьми же с собою туда честное слово сельского врача.

И он взял его — и затих. Но пора было думать о моем спасении. Лошади по-прежнему верно стояли на посту. Я собрал в охапку платье, шубу и саквояжик; одеваться я не стал, это бы меня задержало; если лошади помчат отсюда с такой же быстротой, как сюда, я, можно сказать, пересяду из этой кровати в свою. Одна из лошадей послушно отошла от окна; я кинул свой узел в коляску; шуба пролетела мимо и только рукавом зацепилась за какой-то крючок. Ничего, сойдет. Вскакиваю на лошадь. Упряжь волочится по земле, лошади еле связаны друг с другом, коляска треплется из стороны в сторону, шуба последней бороздит снег.

— Эй, залетные! — кричу, но какое там: медленно, словно дряхлые старики, тащимся мы по снежной пустыне; долго еще провожает нас новая, но уже запоздалая песенка детей:

Веселитесь, пациенты,
Доктор с вами лег в постель!

Этак мне уже не вернуться домой; на моей обширной практике можно поставить крест; мой преемник меня ограбит, хоть и безо всякой пользы, ведь ему меня не заменить; в доме у меня заправляет свирепый конюх; Роза в его власти; мне страшно и думать об этом. Голый, выставленный на мо-

роз нашего злосчастного века, с земной коляской и неземными лошадьми, мыкаюсь я, старый человек, по свету. Шуба моя свисает с коляски, но мне ее не достать, и никто из этой проворной сволочи, моих пациентов, пальцем не шевельнет, чтобы ее поднять. Обманут! Обманут! Послушался ложной тревоги моего ночного колокольчика — и дела уже не поправишь!

НА ГАЛЕРЕЕ

Если бы какую-нибудь хилую, чахоточную наездницу на кляче месяцами без перерыва гонял бичом перед неутомимой публикой по кругу манежа безжалостный хозяин, заставляя ее вертеться на лошади, посылать воздушные поцелуи, покачивать корпусом, и если бы эта игра под непрерывный гул оркестра и вентиляторов так и продолжалась в открывающемся все дальше туманном будущем под замирающее и вновь нарастающее хлопанье ладоней, которые на самом-то деле совсем не ладони, а паровые молоты, — тогда, может быть, какой-нибудь молодой галерочный зритель метнулся бы вниз по длинной лестнице через все ярусы, ринулся на манеж, крикнул бы «Стойте!» сквозь фанфары всегда подлаживающегося оркестра.

Но поскольку это не так, а красивая дама, белая и румяная, влетает сквозь занавес, который распахивают перед ней гордые униформисты; а директор, преданно ища ее взгляда, так и льнет к ней покорным животным; заботливо подсаживая ее на сивого в яблоках, словно она — его любимица внучка, отправляющаяся в опасное путешествие; никак не может решиться дать знак бичом; наконец, превозмогая себя, щелкает им; бежит с открытым ртом рядом с лошадью; следит в оба за прыжками наездницы; не может надивиться ее мастерству; пытается предостеречь ее английским возгласами; яростно призывает держащих обручи конюхов быть предельно внимательными; перед большим сальто-мортале заклинает, воздев руки, умолкнуть оркестр; наконец снимает малышку с дрожащей лошади, целует в обе щеки и не может удовлетвориться никакими овациями публики; а сама наездница, поддерживаемая им, вытянувшись на цыпочках, в клубах пыли, с распростертыми руками, с запрокинутой головкой, хочет разделить свое счастье со всем цирком, — поскольку

это так, галерочный зритель кладет лицо на барьер и, утопая в заключительном марше, как в тяжелом сне, плачет, сам не зная того.

СТАРИННАЯ ЗАПИСЬ

Боюсь, что в обороне нашего отечества многое упущено. До сей поры мы об этом не думали, каждый был занят своим делом, однако последние события вселяют в нас тревогу.

Я держу сапожную мастерскую на площади перед дворцом. Едва я спозаранок открываю лавку, как вижу, что входы во все прилегающие улицы заняты вооруженными воинами. Но это не наши солдаты, а, должно быть, кочевники с севера. Каким-то непостижимым образом они достигли столицы, хоть она и стоит далеко от рубежей. Так или иначе, они здесь; и сдается мне, число их с каждым днем растет.

Верные своему обычаю, они располагаются под открытым небом, домами же гнушаются. Единственное их занятие — оттачивать мечи, заострять стрелы и объезжать коней. Эту тихую площадь, которую мы от века содержим с боязливым попечением, они поистине превратили в конюшню. Мы иногда еще выбегаем из своих лавок, чтобы убрать самую омерзительную грязь, но раз от разу все реже; ведь наши труды пропадают даром, и мы рискуем попасть под копыта полудиких лошадей или под удары плети.

Говорить с кочевниками невозможно. Нашего языка они не знают, а своего у них как будто и нет. Между собой они объясняются, как галки. Все время доносится к нам их галочий грай. Наш уклад, наши установления им столь же непонятны, как и безразличны. Поэтому они даже знаки отказываются понимать. Хоть челюсть себе свихни, хоть выверни руки в суставах, они тебя не поняли и ни за что не поймут. Зато они горазды гримасничать, вращать глазными белками и брызгать слюной — однако это не значит, что они хотят что-то сказать вам или даже испугать; это их естество. Что ни понадобится — берут. И не то чтобы применяли насилие. Нет, мы сами отходим в сторонку и все им оставляем.

Моими запасами они тоже поживились, отобрав что получше. Но я не вправе роптать, когда вижу, каково приходится хозяину мясной, что напротив, через площадь. Едва он привозит товар, как кочевники рвут его из рук и дочиста пожирают. Кони их тоже лопают мясо: я часто вижу, как всадник растянулся на земле рядом со своим скакуном и оба насыщаются

одним и тем же куском, каждый со своего конца. Наш мясник так напуган, что не решается закрыть торговлю. И мы собираем деньги, чтобы его поддержать. Если кочевников не кормить мясом, одному Богу известно, что они натворят; впрочем, одному Богу известно, что они натворят, хоть и корми их что ни день мясом.

Наконец мясник надумал избавиться хотя бы от убоя скотины. Как-то утром он привел живого быка. И закаялся вперед это делать. Добрый час пролежал я ничком на полу в самом дальнем углу мастерской. Набросил на себя все носильное платье, все одеяла и подушки, лишь бы не слышать рева несчастного животного: кочевники, накинувшись со всех сторон, зубами рвали живое мясо. Все давно утихло, когда я отважился выйти на площадь; словно бражники вокруг винной бочки, полегли они без сил вокруг останков быка.

Должно быть, в этот же день в дворцовом окне привиделась мне особа нашего государя; он никогда не появляется в парадных покоях, предпочитая укромные комнаты, выходящие в сад; на сей же раз он стоял у окна — или так мне показалось — и, понуря голову, наблюдал это гульбище перед дворцом.

Что же дальше? — спрашиваем мы себя. Долго ли нам еще терпеть эту тягость и муку? Дворец приманил к нам кочевников, но он не в силах их прогнать. Ворота за семью запорами; караул, что раньше на разводах проходил торжественным маршем туда и обратно, ныне прячется за решетчатыми окнами. Нам, ремесленникам и торговцам, доверено спасение отечества; но такая задача нам вовсе не по плечу, да мы никогда и не хвалились, что готовы за нее взяться. Это чистейшее недоразумение; и мы от него гибнем.

ШАКАЛЫ И АРАБЫ

Мы расположились на привал в оазисе. Спутники спали. Один араб, высокий и белый, прошел мимо меня; он задал корм верблюдам и пошел спать.

Я упал спиной в траву; я хотел спать; я не мог уснуть; жалобный вой шакала вдали; я снова сел. И то, что было так далеко, оказалось вдруг близко. Толкотня шакалов вокруг меня; тусклым золотом вспыхивающие, потухающие глаза; гибкие тела, равномерно и юрко движущиеся, как под плетью.

Один подошел сзади, протиснулся под мою руку, тесно прижался ко мне, словно нуждаясь в моем тепле, затем встал передо мной, почти глаза в глаза:

— Я — старейший шакал в этих местах. Я счастлив, что еще могу приветствовать тебя здесь. Я уже почти оставил надежду, ибо мы ждем тебя бесконечно долго: моя мать ждала, и ее мать, и дальше все ее матери вплоть до матери всех шакалов. Поверь мне!

— Это удивляет меня, — сказал я и забыл зажечь дрова, которые лежали наготове, чтобы отпугивать шакалов их дымом, — мне очень удивительно это слышать. Я лишь случайно попал сюда с далекого севера и нахожусь в короткой поездке. Чего же вы хотите, шакалы?

И, как бы поощренные этим, возможно, слишком приветливым обращением, они плотнее сомкнули свой круг около меня; все дышали коротко и шипя.

— Мы знаем, — начал старейший, — что ты с севера, на этом-то и строится наша надежда. Там есть разум, которого не найти здесь, среди арабов. Из этого холодного высокомерия нельзя, понимаешь, высечь ни искры разума. Они убивают животных, чтобы пожирать их, а мертвечиной они пренебрегают.

— Не говори так громко, — сказал я, — поблизости спят арабы.

— Ты действительно чужеземец, — сказал шакал, — а то бы ты знал, что никогда за всю мировую историю шакал не боялся араба. С чего нам бояться их? Разве это не достаточное несчастье, что мы заброшены среди такого народа?

— Возможно, возможно, — сказал я, — я не осмеливаюсь судить о вещах, которые так далеки от меня; тут, кажется, очень старый спор; он, значит, наверно, в крови; значит, может быть, только кровью и кончится.

— Ты очень умен, — сказал старый шакал; и все задышали еще быстрее; изо всей силы легких, хотя и стояли не шевелясь; горький запах, который порой можно было вынести только сжав зубы, струился из их открытых пастей, — ты очень умен; то, что ты говоришь, соответствует нашему старому учению. Мы у них отнимем, значит, их кровь, и спор кончится.

— О! — сказал я вспыльчивее, чем того хотел. — Они будут защищаться; они кучами перестреляют вас из своих ружей.

— Ты неверно понял нас, — сказал он, — по людскому обычаю, который, значит, и на дальнем севере тот же. Мы же,

не будем их убивать. В Ниле не хватило бы воды, чтобы нам отмыться. Мы же, стоит нам лишь увидеть их вживе, убегаем на более чистый воздух, в пустыню, которая поэтому и есть наша родина.

И все шакалы вокруг — а к ним тем временем прибежало издалека еще множество — опустили головы между передними ногами и стали скрести их лапами; казалось, им хотелось скрыть свое отвращение, настолько страшное, что лучше бы мне высоким прыжком вырваться из их круга.

— Что же вы намерены делать? — спросил я и попытался встать; но встать я не мог; два молодых зверя впились сзади зубами в мой пиджак и рубашку.

— Они держат твой шлейф, — объясняюще и серьезно сказал старый шакал, — это почесть.

— Пусть они отпустят меня! — воскликнул я, обращаясь то к старому, то к молодым.

— Они, конечно, отпустят, — сказал старый, — если ты этого требуешь. Но надо немного подождать, ибо, по обычаю, они глубоко впились зубами и должны медленно разжимать челюсти. Тем временем выслушай нашу просьбу.

— Ваше поведение сделало меня не очень восприимчивым к ней, — сказал я.

— Не наказывай нас за нашу неловкость, — сказал он и впервые теперь призвал на помощь жалобный тон своего природного голоса, — мы бедные звери; у нас есть только зубы; для всего, что мы хотим сделать, для хорошего и для плохого, в нашем распоряжении только зубы.

— Чего же ты хочешь? — спросил я, чуть смягчившись.

— Господин! — воскликнул он, и все шакалы завыли; совсем отдаленно это походило на какую-то мелодию. — Господин, ты должен закончить спор, который разделяет мир надвое. Таким, как ты, описали наши старики того, кто это сделает. Нам нужен от арабов покой; воздух, которым можно дышать; очищенный горизонт, на котором бы их нигде не было видно; чтобы не кричали ягнята, которых закалывает араб; пусть всякая живность издыхает спокойно; чтобы мы без помех выпивали из нее все и очищали ее до костей. Чистоты мы хотим, чистоты, ничего больше. — И тут все заплакали, зарыдали. — Как в силах вы жить в этом мире, ты, благородное сердце, вы, сладостные внутренности? Их белое — это грязь; их черное — это грязь; их борода — это ужас; при виде уголков их глаз тошнит; а стоит им поднять руку, как под мышкой разверзается ад. Поэтому, о господин, поэтому, о дорогой господин, при помощи своих всемогущих рук, при

помощи своих всемогущих рук перережь им глотки этими ножницами.

И, повинуясь движению его головы, подошел шакал, у которого на клыке висели маленькие, покрытые старой ржавчиной швейные ножницы.

— Ну, наконец, ножницы, и на том довольно! — воскликнул вожак арабов нашего каравана — он подкрался к нам против ветра и теперь замахивался своим огромным бичом.

Животные стремглав разбежались, но в некотором отдалении остановились, тесно сгрудившись, такой плотной и неподвижной толпой, что это походило на узкий плетень с блуждающими огоньками над ним.

— Итак, господин, и этот спектакль ты видел и слышал, — сказал араб и засмеялся настолько весело, насколько то позволяла сдержанность его племени.

— Ты знаешь, значит, чего хотят эти животные? — спросил я.

— Конечно, господин, — сказал он, — это же общеизвестно: пока существуют арабы, эти ножницы странствуют по пустыне и будут странствовать с нами до конца дней. Каждому европейцу предлагают их для этого великого дела; каждый европеец — как раз тот, кто им кажется призванным. Нелепая надежда есть у этих животных; глупцы они, истинные глупцы. Поэтому мы любим их: это наши собаки; они лучше ваших. Смотри-ка, ночью околел верблюд, я велел принести его.

Подошли четыре носильщика и бросили перед нами тяжелый труп. Как только он упал, шакалы подали голоса. Словно каждого неодолимо тянула веревка, они подбирались с заминками, задевая брюхом землю. Они забыли об арабах, забыли о ненависти, их заворожило всеуничтожающее присутствие *этого трупа, от которого шел сильный запах. Один* уже вцепился в шею и с первого же укуса нашел артерию. Как маленький неистовый насос, который во что бы то ни стало, но втуне пытается погасить огромный пожар, дергалась и дрожала на своем месте каждая мышца его тела. И вот уже все горой громоздились на трупе, занятые одной и той же работой.

Тут вожак стал хлестать их вдоль и поперек пронизывающим бичом. Они подняли головы; в полуопьянении-полуобмороке; увидели стоявших перед ними арабов, почувствовали теперь бич мордами; отпрыгнули прочь и отбежали немного назад. Но кровь верблюда уже растеклась лужами, дымилась, тело было широко разорвано во многих местах. Они не могли устоять; они были опять здесь; вожак опять замахнулся бичом; я схватил его за руку.

— Ты прав, господин, — сказал он, — оставим их за их занятием; да и пора трогаться. Ты видел их. Удивительные животные, правда? И до чего они нас ненавидят!

ПОСЕЩЕНИЕ РУДНИКА

Сегодня к нам пожаловали наши старшие инженеры. Дирекцией, как видно, получено распоряжение проложить новые штольни, вот инженеры и спустились вниз, чтобы провести первые измерения. До чего же это молодой народ, и какие они все разные. Ничто не задерживало их развития, и их рано сложившиеся характеры уже заявляют о себе в полную силу.

Один, черноволосый, быстрый, так и шарит вокруг глазами, как бы чего не пропустить.

У второго записная книжка, он делает на ходу наброски, оглядывается по сторонам, сравнивает, записывает.

Третий шагает, расправив плечи, засунув руки в карманы пиджака, так что все на нем трещит; он исполнен сознания своего достоинства, и только непрестанное покусывание губ выдает его неугомонную молодость.

Четвертый дает третьему непрошеные пояснения; пониже ростом, он, словно искушая, семенит с ним рядом и, подняв вверх палец, нудно толкует обо всем, что ни попадется на глаза.

Пятый, видать, над всеми старший; он никого подле себя не терпит; то убежит вперед, то плетется сзади; остальные по нему равняются; он бледный и хилый, глаза запали; должно быть, чувствуя свою ответственность, он часто в раздумье потирает рукой лоб.

Шестой и седьмой шагают под руку; слегка наклонясь друг к другу и сдвинув головы, они шепчутся о чем-то своем; если бы это был не рудник и не наш забой в недрах земли, этих худощавых безбородых молодцов с хрящеватыми носами можно было бы принять за молодых священников. Один из них больше смеется про себя, мурлыча, точно кот; другой тоже ухмыляется, но он-то и ведет разговор, помахивая в такт свободной рукой. Должно быть, эти господа на хорошем счету у дирекции и немало уже за свой короткий век сделали для рудника, если, участвуя в таком важном деле на глазах у начальства, преспокойно ведут посторонние разговоры или, во всяком случае, разговоры, далекие от их сегодняшней задачи. А может быть, несмотря на смех и кажущееся невни-

мание, они замечают все, что следует. Нашему брату трудно с уверенностью судить о таких господах.

И все же нельзя отрицать, что, к примеру, восьмой инженер куда больше занят делом, чем эта пара, да и кого ни возьми из его сослуживцев. Ему бы все подержать в руках и обстучать своим молоточком, который он то достает из кармана, то снова прячет в карман. А то возьмет да в своем щегольском костюме станет на колени прямо в грязь и давай выстукивать землю, а уж дальше только мимоходом прослушивает стены и потолок над головой. Как-то он даже растянулся на земле — лежит, не шелохнется; мы испугались, не случилось ли чего, как вдруг он легким усилием своего гибкого тела снова вскочил на ноги. Верно, опять что-то исследовал. Уж на что мы, кажется, знаем наш рудник, любой камешек в нем, а и нам невдомек, чего этот инженер добивается своими поисками.

Девятый толкает перед собой что-то вроде детской колясочки, куда сложены измерительные приборы. Это очень ценные приборы, они завернуты в тончайшую вату. Колясочку мог бы везти слуга, но ему не доверяют; тут опять понадобился инженер, и он, видно, охотно выполняет это поручение. Правда, он здесь самый младший, со многими приборами он, должно быть, и сам незнаком, однако глаз с них не спускает — того и гляди от большого усердия грохнет колясочку о стену.

Не зря к нему приставлен другой инженер; он идет рядом с колясочкой и следит в оба. Этот, видать, до тонкости знает приборы, он, судя по всему, их хранитель. Время от времени, не останавливая колясочки, он вынимает какую-нибудь часть, просматривает на свет, развинчивает или завинчивает, встряхивает, обстукивает, подносит к уху и слушает; и наконец со всей осторожностью возвращает эту маленькую, почти незаметную на расстоянии штуковину обратно в колясочку, меж тем как младший стоит и ждет. Этот инженер не прочь и покомандовать, но только что касается приборов. Уже за десять шагов от колясочки мы по его молчаливому знаку должны расступиться — даже там, где расступиться негде.

За этими двумя господами шествует бездельник слуга. Сами инженеры, люди больших знаний, давно, разумеется, отбросили всякое чванство, а слуга, похоже, его подобрал. Заложив одну руку за спину и поглаживая другой золоченые пуговицы и тонкое сукно своей ливреи, он кивает направо и налево, будто мы ему поклонились, а он нам отвечает, или

будто убежден, что мы ему поклонились, но с высоты своего величия не удостаивает это проверить. Мы, конечно, ему не кланяемся, а все же, глядя на него, невольно думается, что служитель нашей рудничной дирекции бог весть какая шишка. Мы даже смеемся за его спиной, но так как и удар грома не заставит его обернуться, то он все же остается для нас в некотором роде загадкой.

Работа больше не клеится; перерыв слишком затянулся; такое посещение надолго отвлекает от дела. Уж очень заманчиво постоять и поглядеть в темноту пробной штольни, мысленно провожая исчезнувших в ней инженеров. Да и смена кончается, мы уже не увидим их возвращения.

СОСЕДНЯЯ ДЕРЕВНЯ

Дедушка, бывало, говорил: «До чего же коротка жизнь! Когда я вспоминаю прожитое, все так тесно сдвигается передо мной, что мне трудно понять, как молодой человек отваживается ну хотя бы поехать верхом в соседнюю деревню, не боясь, я уже не говорю — несчастного случая, но и того, что обычной, даже вполне благополучной жизни далеко не хватит ему для такой прогулки».

ЗАБОТА ГЛАВЫ СЕМЕЙСТВА

Одни говорят, что слово «одрадек» славянского корня и пытаются на основании этого объяснить образование данного слова. Другие считают, что слово это немецкого происхождения, но испытало славянское влияние. Неуверенность обоих толкований приводит, однако, к справедливому, пожалуй, заключению, что оба неверны, тем более что ни одно из них не открывает смысла этого слова.

Конечно, никто не стал бы заниматься такими изысканиями, если бы действительно не было на свете существа по имени Одрадек. На первый взгляд оно походит на плоскую звездообразную шпульку для пряжи, да и впрямь кажется, что оно обтянуто пряжей; правда, это всего лишь какие-то спутавшиеся и свалявшиеся обрывки разнородной и разномастной пряжи. Но тут не только шпулька, тут из центра звезды выходит поперечная палочка, а к этой палочке прикреплена под прямым углом еще одна. С помощью этой по-

следней палочки на одной стороне и одного из лучей звезды на другой все это может стоять как на двух ногах.

Напрашивается мысль, что это творение имело прежде какую-то целесообразную форму, а теперь просто сломалось. Но, кажется, это не так; во всяком случае, нет никаких признаков этого; нигде не видно ни отметин, ни изломов, которые бы указывали на что-то подобное; при всей кажущейся нелепости тут есть своего рода законченность. Подробнее, впрочем, об этом рассказать невозможно, поскольку Одрадек необычайно подвижен и поймать его нельзя.

Он пребывает попеременно на чердаке, на лестнице, в коридорах, в передней. Иногда его месяцами не видно; тогда он, вероятно, переселяется в другие дома; но потом он неукоснительно возвращается в наш дом. Порой, когда выходишь за дверь, а он как раз прислонился внизу к перилам, хочется заговорить с ним. Конечно, ему не задаешь трудных вопросов, с ним обращаешься — сама его крошечность подбивает на это — как с малым ребенком. «Как тебя зовут?» — спрашиваешь его. «Одрадек», — говорит он. «А где же ты живешь?» — «Без определенного местожительства», — говорит он и смеется; но это такой смех, который можно издать без легких. Он звучит примерно так, как шорох в упавших листьях. На этом беседа обычно кончается. Впрочем, даже такие ответы получишь не всегда; часто он долго безмолвствует, как деревяшка, каковую он, кажется, и представляет собой.

Напрасно спрашиваю себя, что с ним будет. Разве он может умереть? Все, что умирает, имело прежде какую-то цель, производило какие-то действия и от этого износилось; об Одрадеке сказать этого нельзя. Значит, и под ноги моим детям и детям детей он еще будет когда-нибудь скатываться с лестницы, волоча за собой нитку? Он ведь явно никому не причиняет вреда; но представить себе, что он меня еще и переживет, мне почти мучительно.

ОДИННАДЦАТЬ СЫНОВЕЙ

Всего у меня одиннадцать сыновей.

Старший из себя невзрачен, однако это человек умный и дельный; и все же я не очень высоко его ставлю, хоть и люблю не меньше, чем других детей. Его внутренний мир, по-моему, ограничен; он не глядит ни вправо, ни влево, ни вдаль; мысли

его движутся по кругу, я бы даже сказал, что они топчутся на месте.

Второй красив, строен, хорошо сложен; глаз не отведешь, когда он фехтует. Да и умом не обижен, к тому же повидал свет; он много знает, и даже родная природа говорит ему больше, чем другим, кто никуда не выезжал. Впрочем, этим своим преимуществом он обязан не столько путешествиям, сколько присущей ему от рождения неповторимой черте, ее хорошо знают те, кто пытается подражать его мастерским прыжкам в воду: несколько сальто на лету, и он ныряет уверенно и бесстрашно. У них же храбрости и пыла хватает лишь до конца трамплина; а там, вместо того чтобы прыгнуть, они вдруг садятся и виновато разводят руками. Но, несмотря на все это (радоваться бы такому сыну), кое-что в нем меня беспокоит. Левый глаз у него чуть меньше правого и часто мигает; не бог весть какой недостаток, он даже подчеркивает присущее моему мальчику выражение неукротимой удали, и те, кому знаком его неприступно замкнутый характер, вряд ли поставят ему в упрек его нервически подмигивающий глаз. Только меня, отца, берет сомнение. Смущает же меня, конечно, не физический недостаток, а угадываемая за ним душевная трещинка, какой-то яд, что бродит в его крови, какая-то неспособность выполнить свое жизненное назначение, очевидное одному мне. И в то же время эта черта особенно нас роднит: это наследственный в нашей семье недостаток, проявившийся в нем с особенной силой.

Третий сын тоже красив, но не радует меня его красота. Это красота певца: отчетливо очерченный рот; мечтательный взгляд; голова, которую хочется видеть на фоне драпировки; чересчур высокая грудь; легко взлетающие и слишком легко падающие руки; ноги, которые скорее выставляются напоказ, чем призваны служить опорой. Да и голосу не хватает полнозвучности; он обманывает лишь на минуту, настораживая знатока, чтоб тут же сорваться и потухнуть. Другой, может быть, стал бы гордиться таким сыном, я же предпочитаю держать его в тени; да и он не склонен привлекать к себе внимание, и не потому, что знает свои недостатки, а по невинности души. Нынешнее время не по нем; родившись в нашей семье, он словно чувствует себя членом и другой семьи, навеки утраченной, и потому часто впадает в уныние, и ничто не может его развеселить.

Мой четвертый сын, пожалуй, самый общительный. Истинное дитя своего века, он каждому понятен, он обеими ногами стоит на земле, и каждый рад обменяться с ним приветстви-

ем. Быть может, это общее расположение придает его существу какую-то легкость, его движениям — какую-то свободу, его мыслям — известную беззаботность. Иные его замечания хочется вновь и вновь повторять — правда, лишь иные, обычно они отличаются все той же чрезмерной легкостью. Он напоминает прыгуна, который, плавно отделившись от земли, ласточкой рассекает воздух лишь для того, чтобы свалиться в пыль жалким ничтожеством. Эти мысли отравляют мою любовь к четвертому сыну.

Мой пятый сын — славный и добрый малый; он обещал куда меньше, чем выполнил; он был так незначителен, что мы не замечали его присутствия; однако это не помешало ему кое-чего добиться в жизни. Если б меня спросили, как это произошло, я затруднился бы ответить. Быть может, невинности легче проложить себе дорогу сквозь бури, бушующие в этом мире, а уж в невинности ему не откажешь. Он, пожалуй, даже чересчур невинен. Душевно расположен ко всякому. Пожалуй, чересчур расположен. Признаться, я без удовольствия слушаю, когда мне его хвалят. Ведь ничего не стоит хвалить того, кто так заслуживает похвалы, как мой сын.

Мой шестой сын, по крайней мере на первый взгляд, самая глубокая натура из всех братьев. Это меланхолик и вместе с тем болтун. С ним трудно столковаться: малейшее поражение ввергает его в беспросветную грусть, но, одержав верх в споре, он уже не может остановиться, как будто этим словоизвержением надеется закрепить свою победу. Но есть в нем и какая-то самозабвенная пылкость; порой, раздираемый своими мыслями, он бродит среди бела дня, будто в сонном забытьи. Он ничем не болен, напротив, завидного здоровья, но иногда шатается на ходу, особенно в сумерки, хотя и обходится без посторонней помощи. Быть может, это от чересчур быстрого роста, он не по годам высок. Красотой он не отличается, хотя многое в отдельности у него и красиво, например руки и ноги. А вот лоб не хорош: не только кожа, но и кость будто какая-то сморщенная.

Седьмой сын, пожалуй, мне особенно близок. Люди не отдают ему должного: его своеобразное остроумие до них не доходит. Я не переоцениваю своего мальчика, я знаю, он звезд с неба не хватает; кабы люди были грешны только тем, что не оценили по достоинству моего сына, их не в чем было бы упрекнуть. И все же в моей семье этот сын занимает особенное место; он соединяет в себе дух возмущения и уважения к традиции, причем и то и другое, по крайней мере на мой взгляд, слито в нем в единое целое. Правда, он меньше

всего знает, куда приложить это целое; не ему дано привести в движение колесо будущего; но в этом его умонастроении есть что-то бодрящее, какая-то надежда и обещание; хотелось бы дождаться от него детей, а от его детей — еще детей. К сожалению, он пока не думает о женитьбе. В какой-то понятной мне, но огорчительной самоудовлетворенности (составляющей великолепную антитезу к мнению окружающих) он вечно шатается один. Что ему девушки? Он и без них не скучает.

Самое большое мое горе — восьмой сын, хоть я и не вижу для этого серьезных оснований. Он смотрит на меня как на чужого, тогда как я крепко, по-отцовски к нему привязан. Время многое сгладило, когда-то я не мог спокойно о нем думать. Он идет своей дорогой; от меня он окончательно отказался; и, уж, конечно, со своим чугунным черепом и небольшим телом атлета — только ноги у него в детстве были слабоваты, но и они, должно быть, со временем окрепли, — он своего добьется. Часто являлось у меня желание вернуть его, спросить, как ему живется, и почему он так вооружен против отца, и что ему, в сущности, нужно, но теперь он от меня так далеко и столько утекло воды — пусть уж все остается по-старому. Говорят, он единственный из моих сыновей отпустил бороду. При таком небольшом росте это вряд ли его красит.

У моего девятого сына изысканная внешность и пресловутый томный взгляд, влекущий женщин. Своими нежными взорами он мог бы и меня зачаровать, когда бы я не знал, что достаточно мокрой губки, чтоб стереть этот неземной глянец. Но самое удивительное в моем мальчике то, что он меньше всего хочет кого-то обворожить. Он рад бы всю жизнь проваляться на диване, расточая свои взоры перед потолком, или, еще охотнее, покоя их под веками. В этом излюбленном положении он говорит много и живо, сжато и выразительно, но только в известных пределах, стоит ему за них выйти (а это неизбежно при их узости), как речь его становится пустопорожней болтовней. Хочется остановить его нетерпеливым движением, но вряд ли эти сонные глаза способны заметить мой жест.

Моего десятого сына считают неискренним. Я не стану ни целиком отвергать это мнение, ни полностью с ним соглашаться. Но поглядите, как он выступает с не свойственной его возрасту торжественностью в наглухо застегнутом сюртуке и старой, но сверхтщательно вычищенной черной шляпе, с неподвижной миной, выставив вперед подбородок и тяжело

опустив веки, а то еще и приложив два пальца к губам, — и вы непременно подумаете: вот законченный лицемер! Однако послушайте, как он говорит! Рассудительно, обдуманно, не тратя лишних слов; раздраженно пресекая все вопросы, в каком-то нерассуждающем, безоговорочном благоговении перед всем существующим — восторженном благоговении, от которого напруживается шея и все тело устремляется ввысь. Немало людей, считающих себя великими умниками, оттолкнула, по их признанию, внешность моего сына, но привлекло потом его слово. Однако есть и такие судьи, которых не смущает его внешность, но именно в слове его они усматривают лицемерие. Я отец, и не мне решать, но не скрою, что последнее мнение для меня более убедительно.

Мой одиннадцатый сын хрупкого сложения. Он у меня, пожалуй, самый слабенький, но это обманчивая слабость; временами он обнаруживает и твердость и решительность, однако и в такие минуты слабость остается его преобладающей чертой. Впрочем, это не постыдная слабость, а то, что считается слабостью на этой нашей планете. Разве не слабость, например, готовность к взлету — тут и зыбкость, и неопределенность, и трепетный порыв. Нечто подобное наблюдаю я и в моем мальчике. Эти черты, конечно, не радуют отца, ведь они неизбежно ведут к разрушению семьи. Иногда он смотрит на меня, словно хочет сказать: «Я и тебя прихвачу, отец!» И я думаю: «Ты последний, кому бы я доверился». А он будто мне отвечает взглядом: «Пусть хоть последний!»

Вот каковы они — мои одиннадцать сыновей

БРАТОУБИЙСТВО

Как установлено, убийство произошло при следующих обстоятельствах.

Убийца, Шмар, в этот светлый лунный вечер, часов в девять, стал на угол, там, где Везе, его жертва, при выходе из улочки, где помещалась его контора, должен был свернуть в улочку, где он проживал.

Холодный ночной воздух всякого пробрал бы до костей, а на Шмаре был только легкий синий костюм, да и то пиджак нараспашку. Но он не чувствовал холода, к тому же все время был в движении. Свое орудие убийства — нечто среднее между штыком и кухонным ножом — он держал наготове, крепко зажатым в руке. Он повертел им; клинок сверкнул в лучах луны, но Шмару и этого показалось мало; он ударил им

о камни мостовой, так что искры посыпались. Потом спохватился и стал править лезвие о подошву башмака, словно настраивал скрипку. Так, стоя на одной ноге и наклонясь вперед, он прислушивался к ширканью клинка о башмак и к тому, что творится на той, зловещей улочке.

Но почему это терпит Паллада, местный обыватель, следящий за всем из своего окна на втором этаже соседнего дома? Попробуй разберись в душе человека! Высоко подняв воротник халата, стянутого кистями на жирном животе, он только качает головой и смотрит вниз.

А пятью домами дальше фрау Везе в накинутой поверх ночной рубашки лисьей шубе тоже выглядывает из окна; она встревожена необычным опозданием мужа.

Но вот в конторе Везе звякнул дверной колокольчик. Слишком громкий звонок для дверного колокольчика, он разносится по городу, поднимается к небесам, и Везе, этот работяга, засиживающийся допоздна в своей конторе, выходит наконец, еще не видимый тем, кто ждет его на той улочке, но уже возвестивший о себе звонком; мостовая отсчитывает его спокойные шаги.

Паллада высунулся далеко вперед — как бы чего не упустить. Успокоенная звонком, фрау Везе захлопывает дребезжащее окно. Между тем Шмар опускается на колени. Руками и лицом — остальное у него еще сокрыто — он прижимается к камням. Там, где все мерзнет, Шмар пылает.

Как раз на границе, где улочки расходятся, Везе останавливается, но трость его уже за поворотом. Минутная причуда. Он загляделся в вечернее небо, темно-синее и золотое. Беспечно смотрит он ввысь, беспечно поправляет волосы под сдвинутой на затылок шляпой; но там, наверху, ничто не шелохнется, чтобы возвестить ему ближайшие события; все бессмысленно цепенеет на своих непреложных, непостижимых местах. В сущности, вполне разумно, что Везе идет дальше, но он идет под нож Шмара.

— Везе! — кричит Шмар, он привстал на носки и высоко занес руку с ножом. — Везе, напрасно ждет Юлия!

И справа в глотку, и слева в глотку, и третьим ударом глубоко в живот разит Шмар. Проткните водяную крысу, и вы услышите такой же звук, какой издал Везе.

— Все! — сказал Шмар и далеко отшвырнул свой нож, этот уже ненужный ему окровавленный балласт. — О восторг убийства! О чувство облегчения и окрыленности при виде потока чужой крови! Везе, старая ночная тень, друг, бессменный собутыльник, ты просочишься в щели мостовой и затеряешься в темном грунте. Жаль, что ты не просто налитый

кровью пузырь, который, лопнув, исчез бы бесследно! Но не все идет, как хочется, не всем цветущим снам дано созреть; твои грузные останки лежат под ногами, уже недоступные пинку. Что же означает твой немой вопрос?

Паллада, давясь и брызжа ядом, стоит в распахнутых дверях.

— Шмар! Шмар! Все улики налицо, ничто не укрылось!

Паллада и Шмар испытующе смотрят друг на друга. Паллада торжествует, Шмар теряется.

Окруженная соседями, с постаревшим от ужаса лицом, спешит сюда фрау Везе. Полы ее шубы разлетаются, она прильнула к Везе, ее тело под ночной рубашкой принадлежит ему, ее шуба, сомкнувшаяся над этим супружеским ложем, как выстланная дерном могильная насыпь, принадлежит толпе.

Шмар, задыхаясь от подступившей к горлу смертельной тошноты, уткнулся в плечо полицейского, и тот проворно уводит его.

СОН

Йозефу К. приснился сон.

Был отличный день, и ему захотелось погулять. Но он и двух шагов не прошел, как сразу же очутился на кладбище. По всей территории кладбища зигзагами разбегались дорожки, искусно проложенные, но несообразно извилистые. Однако, став на одну из них, К. уверенно и легко заскользил вперед, словно подхваченный стремительным течением. Уже издалека внимание его привлек свежий могильный холм, и он решил держать на него путь. Холм словно манил его к себе, и К. не терпелось поскорее до него добраться. Порой холм исчезал из виду, его заслоняли полощущие и хлопающие на ветру знамена. К. не различал, кто их нес, но ему чудилось впереди какое-то праздничное оживление.

Взгляд его был по-прежнему устремлен вдаль, как вдруг он обнаружил тот самый холм совсем рядом, у дорожки, чуть ли не позади себя. Он поспешил прыгнуть в траву, но, едва нога его оттолкнулась от убегающей вперед дорожки, потерял равновесие и упал на колени у самого холма. За холмом стояли двое, держа в руках могильную плиту. Увидев К., они воткнули камень в землю, и он стал намертво. Тут из-за кустов выступил третий — судя по всему, художник. На нем были только старые штаны, небрежно застегнутая рубаха, на голове бархатный берет, в руке он держал простой карандаш и уже на ходу чертил им в воздухе какие-то фигуры.

Этим-то карандашом художник и принялся чертить на плите, начав с самого верху. Плита была высокая, не нужно было даже нагибаться, разве только наклониться вперед: мешала насыпь, а наступить на нее художник не решался. Так он и стоял на цыпочках, опираясь левой рукой о плиту. Каким-то образом он умудрялся простым карандашом вырезать на камне золотые буквы. Он вывел: «Здесь покоится···» Каждая буква выделялась ясно и четко, сверкая золотом. Начертав эти два слова, художник оглянулся на К., но тот жадно следил за возникающей надписью; он и думать забыл о художнике и не спускал глаз с плиты. И в самом деле, художник опять принялся за работу, но она у него не ладилась, что-то ему мешало; опустив карандаш, он снова обернулся к К. Тут и К. наконец посмотрел на художника, увидел, что чем-то он очень смущен, но не понимал чем. Куда девалась его прежняя живость! Это, в свою очередь, смутило К. Так они и стояли, беспомощно глядя друг на друга. Казалось, между ними возникло досадное недоразумение, которое ни тот, ни другой не в силах разрешить. А тут еще некстати на кладбищенской часовне зазвонил небольшой колокол; художник замахал рукой, и он умолк. Но немного погодя снова зазвонил, правда, потише и не так призывно, а словно пробуя голос. Незадача художника так огорчила К., что он безутешно зарыдал и долго всхлипывал, закрыв лицо руками. Художник дал ему успокоиться и, не видя другого выхода, опять взялся за работу. При виде новой черточки, которую он нанес на плиту, К. просиял, но художник работал через силу; у него и шрифт не получался, а главное — не хватало золота. Неуверенно вывел он на камне слепую, но зато непомерно большую букву. Это было «И» — оставалось лишь его закончить. Но тут художник в бешенстве ткнул ногой в могильную насыпь, земля брызнула комьями во все стороны. И К. наконец понял; но приносить извинения было уже поздно; всеми десятью пальцами врылся он в землю, благо она легко поддавалась; кто-то, должно быть, заранее обо всем подумал; холм был насыпан лишь для виду; под тонким слоем земли зияла большая яма с отвесными стенками, и, повернутый на спину каким-то ласковым течением, К. послушно в нее погрузился. Когда же его поглотила непроглядная тьма и только голова еще тянулась вверх на судорожно поднятой шее, по камню уже стремительно бежало его имя, украшенное жирными росчерками.

Восхищенный этим зрелищем, К. проснулся.

ОТЧЕТ ДЛЯ АКАДЕМИИ

Уважаемые господа академики! Вы оказали мне честь, предложив составить для Академии отчет о предыстории моей жизни в бытность обезьяной.

К сожалению, я не могу исполнить вашу просьбу. Вот уже пять лет отделяют меня от моего обезьяньего естества; срок этот, если рассматривать его с точки зрения вечности, весьма короток, но для меня он был бесконечно долгим; и, хотя мне повезло и я встретил на своем пути превосходных людей, не скупившихся на советы и рукоплескания, хотя я двигался вперед под гром оркестров, в сущности, я всегда был одинок; люди, помогавшие мне, говоря образно, оставались далеко за барьером. Я никогда не достиг бы успеха, если бы упрямо цеплялся за прошлое, за воспоминания юности. Именно отсутствие упорства в этом вопросе было той главной заповедью, каковую мне следовало выполнять. И я, дитя свободы, подчинялся любому гнету. Посему воспоминания мои все больше и больше тускнели. Вначале, если бы люди того пожелали, я еще мог легко вернуться к прежней жизни — ворота, ведущие к ней, были распахнуты настежь, но чем сильнее меня подхлестывали и чем скорее я цивилизовался, тем ниже и уже делались эти ворота и тем лучше и уверенней чувствовал я себя в мире людей; ураган, вырвавший меня из моего прошлого, давно уже стих, я ощущаю сейчас только легкий ветерок, приятно щекочущий мне пятки, а брешь, через которую этот ветерок проникает и через которую я сам когда-то появился, стала совсем крохотной; если бы даже у меня хватило сил и воли добраться до нее, то уж пролезть, не ободрав всю шкуру, я не смог бы. Называя вещи своими именами — хотя в таких случаях предпочтительнее выражаться иносказательно, — называя вещи своими именами, я должен заявить, господа, что ваше обезьянье естество, если оно у вас есть, так же глубоко схоронено, как и мое. Да и ветер обезьяньего прошлого щекочет пятки всем смертным без исключения — от маленького шимпанзе до великого Ахиллеса.

И все же, господа, я могу частично осветить вопрос, поставленный Академией, что и делаю с превеликим удовольствием. Первое, чему я научился, — это рукопожатие; рукопожатие — символ чистосердечия. Так пусть же теперь, когда я стою на вершине славы, к тому давнему рукопожатию прибавятся мои нынешние чистосердечные слова. Правда, Академия не извлечет из них ничего принципиально нового; это далеко не то, что вы, господа, хотели бы от меня услышать

и что я при всем желании не могу вам поведать, но, как бы то ни было, мой отчет покажет ту основную линию, следуя которой прежней обезьяне удалось проникнуть в человеческое сообщество и укорениться там. Разумеется, мне не следовало бы делать даже те незначительные признания, которые я делаю, если бы я не был так в себе уверен и если бы не занимал таких поистине незыблемых позиций на сцене всех крупных варьете цивилизованного мира.

Родом я с Золотого Берега. О моей поимке я знаю только с чужих слов. Как-то вечером одна из специальных экспедиций фирмы «Гагенбек» — кстати сказать, с главою этой фирмы я распил с тех пор немало бутылок доброго красного винца — залегла в прибрежных кустах; в это время к водопою подбежала стая обезьян — среди этих обезьян был и я. Раздались выстрелы; я был единственный, в кого попали; меня ранили дважды.

В щеку — эта рана оказалась легкой, но от нее у меня остался большой голый красный рубец, которому я обязан отвратительным, ни с чем не сообразным прозвищем «Красный Петер» — поистине обезьяньей выдумкой. Можно подумать, что я отличаюсь от недавно околевшей дрессированной обезьяны Петера, снискавшей себе некоторую известность, всего лишь красной отметиной на щеке. Говорю об этом между прочим.

Вторым выстрелом меня ранило чуть пониже бедер. Рана оказалась тяжелой — до сих пор я слегка прихрамываю. Не так давно я прочел в статье, вышедшей из-под пера одного из тех тысяч газетных писак, которые болтают обо мне, нижеследующее: мое обезьянье нутро, мол, еще даст о себе знать; доказательством может служить тот факт, что я с особым удовольствием снимаю с себя штаны в присутствии посетителей, демонстрируя пулевое отверстие в шкуре. Пусть же у малого, который это написал, отсохнут по очереди все пальцы! Да, я могу спокойно снимать штаны, перед кем мне заблагорассудится, глазам зрителей не откроется ничего, кроме хорошо ухоженного обезьяньего меха и шрама, оставшегося от того наглого выстрела, — я позволю себе употребить в данном конкретном случае это слово, но не желаю, чтобы меня истолковали превратно, — шрама от наглого выстрела. Все у меня на виду, мне нечего скрывать, и вообще ради выяснения истины любое мыслящее существо с широкими взглядами вправе поступиться правилами этикета. Конечно,

если бы в присутствии посетителей свои штаны снял вышеупомянутый господин писака, мы имели бы совсем иную картину; то обстоятельство, что он этого не делает, я считаю проявлением его здравого смысла. Так пусть же, по крайней мере, не лезет с нравоучениями!

Придя в себя после ранения, я увидел, что нахожусь в клетке на средней палубе парохода фирмы «Гагенбек» — с этого времени и начинаются постепенно мои личные воспоминания. Клетка, в которую меня заключили, оказалась не совсем обычной: три решетчатые стены замыкались деревянной стенкой ящика; таким образом, четвертая стена моей темницы оказалась дощатой. Все сооружение было таким низким, что в нем нельзя было выпрямиться, и таким узким, что невозможно было сидеть. Мне пришлось примоститься на корточках, согнув ноги; колени у меня беспрерывно дрожали; видимо, в те дни я никого не желал видеть, предпочитая оставаться в темноте; поэтому я сидел, уткнувшись в дощатую стену клетки, и железные прутья врезались мне в спину. Вышеописанный способ содержания диких зверей непосредственно после поимки считается наилучшим; исходя из собственного опыта, я не могу отрицать, что, с человеческой точки зрения, это так и есть.

Но в то время я об этом не думал. Впервые в жизни у меня не оказалось выхода, во всяком случае прямого выхода; передо мной находилась стена ящика, все доски которой были плотно пригнаны друг к другу. Правда, я вскоре обнаружил в стене щель и по тогдашнему недомыслию ознаменовал это открытие радостным воем, но щель была так мала, что в нее невозможно было просунуть даже хвост, и всей моей обезьяньей силы не хватило бы на то, чтобы расширить ее.

Как мне сообщили позже, я производил в то время поразительно мало шума; из этого заключили, что я либо быстро погибну, либо, если мне удастся пережить критический период, очень легко поддамся дрессировке. Как известно, период этого я пережил... Моя новая жизнь была вначале заполнена тем, что я мрачно скулил, болезненно морщась, искал блох, устало вылизывал кокосовые орехи, стучал головою о дощатую стенку и скалил зубы, когда кто-нибудь приближался ко мне. Но чем бы я ни занимался, мною владело одно чувство: выхода нет! Разумеется, мои тогдашние обезьяньи переживания я могу передать сейчас только человеческим языком и, значит, не совсем точно. Теперь я и сам уже не в силах познать прежнюю обезьянью истину, но, во всяком случае, брожу где-то близко; в этом можно не сомневаться.

Да, до сих пор у меня было сколько угодно выходов, а теперь вдруг не осталось ни единого. Я зашел в тупик. Я был так прикован к месту, что, если бы меня прибили гвоздями, мое положение не ухудшилось бы. А почему? Не поймешь ничего, хоть раздери себе в кровь пальцы ног. Не поймешь ничего, хоть упрись спиной в решетку с такой силой, что она тебя чуть ли не перережет надвое. Выхода не было, но я должен был его найти, ибо без этого не мог существовать. Нельзя же весь век просидеть перед дощатой стеной — так и подохнуть недолго. Но, согласно Гагенбеку, обезьяна должна сидеть перед дощатой стеной... Вот я и перестал быть обезьяной! Ясное и логичное умозаключение, до которого мне пришлось дойти собственным животом, потому что обезьяны мыслят животом.

Боюсь, что вы неправильно поймете то, что я понимаю под словом «выход». Я употребляю его в первоначальном и прямом смысле. Я умышленно не говорю о свободе. Великое чувство свободы — всеобъемлющей свободы — я оставляю в стороне. Весьма возможно, я испытал его, будучи обезьяной; позже мне встречались люди, которые стремились к свободе. Лично я не требовал свободы ни тогда, ни теперь. Между прочим, люди очень часто обманывают себя этим словом. Свободу причисляют к самым возвышенным чувствам, поэтому и ложь о свободе считается возвышенной. Часто перед выступлениями на сцене варьете я наблюдал за какой-нибудь парой, работавшей на трапециях под самым куполом. Они раскачивались, взлетали вверх, прыгали, перелетали в объятия друг друга; один держал другого зубами за волосы. «И это люди тоже называют свободой, — думал я, — свободой движения!» Какое издевательство над матерью-природой! Если бы обезьянам показали эту «свободу», от их гомерического хохота рухнули бы стены цирка.

Нет, я не хотел свободы. Я хотел всего-навсего выхода — направо, налево, в любом направлении, других требований я не ставил; пусть тот выход, который я найду, окажется обманом, желание было настолько скромным, что и обман был бы не бог весть каким. Я должен был двигаться вперед и вперед! Только бы не стоять, подняв лапы, только бы чувствовать себя припертым к дощатой стене. Ныне я ясно вижу: мне никогда не удалось бы вырваться из клетки, если бы не огромное внутреннее спокойствие. Действительно, всем, чем я стал, я обязан, наверно, спокойствию, которое я обрел после нескольких дней жизни на пароходе. А спокойствием я, в свою очередь, обязан людям, окружавшим меня.

Несмотря ни на что, это были хорошие люди. Я и по сей день охотно вспоминаю их тяжелую поступь, стук их башмаков, который проникал в мое дремлющее сознание. Все, что они делали, они делали крайне медленно. Когда кто-нибудь из них хотел потереть себе глаз, он подымал руку так, словно это была многопудовая гиря. Шутки их звучали грубо, но они шли от чистого сердца. Смех их сопровождался угрожающим кашлем, но это ничего не значило. Им всегда надо было сплюнуть, и они плевали куда попало. Они без конца жаловались, что из-за меня их заели блохи. Но они никогда не сердились на это всерьез. Люди эти хорошо понимали, что у обезьян водятся блохи и что блохи мастера прыгать. С этим обстоятельством, хочешь не хочешь, надо мириться. В свободное от службы время кое-кто рассаживался полукругом перед моей клеткой; они сидели молча и только что-то бормотали себе под нос или, растянувшись на ящиках, покуривали трубку; но стоило мне шевельнуться, как они ударяли себя по ляжкам; время от времени кто-нибудь брал палку и щекотал меня там, где мне было всего приятней. Если бы мне предложили сегодня отправиться путешествовать на этом пароходе, я бы наверняка отказался, но так же наверняка я знаю и то, что у меня с этим пароходом связаны отнюдь не только плохие воспоминания.

Спокойствие, приобретенное мною в кругу команды, удержало меня прежде всего от каких бы то ни было попыток бегства. Бросая взгляд на прошлое, я считаю, что уже тогда я предчувствовал — пусть только предчувствовал, — что мне необходимо найти выход, если я хочу остаться в живых, и что достичь этого выхода с помощью бегства невозможно. Не знаю, удалось ли бы мне убежать, но думаю, что удалось бы; для обезьяны в этом вопросе нет ничего невозможного. Сейчас у меня настолько слабые зубы, что приходится соблюдать осторожность, даже разгрызая орехи, но в то время я рано или поздно перегрыз бы замок в дверце. Я этого не сделал. Да и что бы мне это дало? Стоило мне высунуть голову, как меня бы поймали и посадили в новую клетку, еще хуже прежней. Если бы мне вдруг удалось незаметно пробраться в клетку к другим пленникам — к огромным змеям, например, — и в их объятьях я испустил бы дух! Предположим также, что я незаметно вылез бы на верхнюю палубу и прыгнул за борт; некоторое время я держался бы на поверхности океана, а потом утонул бы. Все это были бы акты отчаяния! Конечно, в то время я еще не рассуждал по-человечески, но под влиянием среды поступал так, словно рассуждаю.

Да, я не рассуждал, зато наблюдал с удивительным хладнокровием. Я видел, как мимо меня сновали люди; у них были одинаковые лица, одинаковые движения, часто мне казалось, что это ходит один и тот же человек; этот человек — или эти люди — беспрепятственно передвигался. Передо мной забрезжила великая цель. Люди не обещали мне, что решетки моей темницы падут, как только я стану таким, как они. Нельзя ничего обещать, если условия кажутся заведомо невыполнимыми. Но достаточно их выполнить, как обещания даются задним числом, хоть ты на них и не рассчитываешь··· Жизнь тех людей, среди которых я находился, отнюдь не прельщала меня. Если бы я был приверженцем упомянутой выше свободы, я наверняка предпочел бы прыжок за борт тому выходу, который прочел в хмурых человеческих глазах. Как бы то ни было, прежде чем я начал задумываться о подобных вещах, я долго следил за людьми, и именно мои наблюдения, накапливаясь, толкали меня на определенный путь.

Не было ничего легче, чем подражать людям. Уже в самые первые дни я научился плевать. Я и люди начали плевать друг другу в физиономии; разница между нами заключалась лишь в том, что я мог вылизать свою физиономию, а они — нет. Вскоре я наловчился курить трубку, как заправский курильщик, а когда я прижимал большим пальцем табак, вся средняя палуба ликовала; только одного я долго не мог постичь — разницу между пустой трубкой и трубкой набитой.

Но больше всего я намучился с водкой; я не выносил запаха спиртного; напрасно я пытался перебороть себя, прошло много недель, прежде чем мне это удалось. Как ни странно, к внутренней борьбе, которую я вел из-за водки, люди относились на редкость серьезно — серьезней, чем ко всему остальному. Даже теперь, вспоминая прошлое, я не различаю отдельных лиц в моем тогдашнем окружении, помню только, что какой-то человек беспрестанно подходил к моей клетке — один или с товарищами, — в самое разное время дня и ночи он становился возле клетки и давал мне наглядный урок. Я был непостижимым существом для него, и он пытался разгадать меня. Мой учитель медленно раскупоривал бутылку и бросал на меня внимательный взгляд — хотел удостовериться, что я понял его; признаюсь, я следил за ним, затаив дыхание, совершенно завороженный его действиями; ни один учитель на всем земном шаре не имел такого старательного ученика; раскупорив бутылку, он подносил ее ко рту, а я, не отрываясь, следил за каждым его движением; тогда он

одобрительно кивал мне и прижимал горлышко бутылки к губам; в этот момент я чувствовал, что постепенно прозреваю, и с радостным визгом начинал судорожно чесаться где попало; мой обрадованный учитель, не отнимая бутылки ото рта, делал первый глоток; и тут я, объятый нетерпением и в то же время полный отчаяния из-за того, что наука так трудно дается, пачкал пол клетки, что опять-таки приносило моему учителю большое удовлетворение; он далеко отводил руку с бутылкой, а потом одним молниеносным движением снова подносил ее к губам и залпом выпивал водку, откинув голову назад; для наглядности даже дальше, чем нужно. Измученный всем пережитым, я бессильно повисал на прутьях клетки, а он, закончив теоретическую часть курса, поглаживал себя по животу и ухмылялся.

Только после этого мы приступали к практическим занятиям. Но не слишком ли переутомила меня теория? Да, слишком. Что делать, уж так мне было назначено судьбой. И все же я старался изо всех сил. Схватив бутылку, протянутую мне учителем, я, дрожа, раскупоривал ее; удача придавала мне сил; я подымал бутылку — мою работу трудно было отличить от работы самого учителя — подносил ее к губам и... с отвращением швырял прочь, с отвращением, хоть она и была пустая и от нее только несло водкой. Моя неудача огорчала учителя и несказанно огорчала меня самого; не примиряло нас с ней даже то обстоятельство, что, отшвырнув бутылку, я никогда не забывал старательно погладить себя по животу и ухмыльнуться.

Так проходили наши занятия. К чести моего учителя должен сказать, что он не сердился на меня; правда, иногда он тыкал в мою шерсть горящей трубкой и делал это до тех пор, пока шерсть не начинала тлеть как раз в том месте, где мне трудно было потушить ее; но он сам тушил огонь своей громадной доброй ручищей; мой учитель не сердился на меня; он понимал, что у нас с ним один враг — моя обезьянья натура и что наиболее тяжелая борьба выпала на мою долю.

Зато как мы оба радовались нашей победе! Это произошло в один прекрасный вечер при большом стечении публики; по всей вероятности, было какое-то празднество: на палубе играл граммофон, среди команды прогуливался офицер — и вдруг, в тот момент, когда никто за мной не наблюдал, я схватил бутылку водки, которую по недосмотру оставили около моей клетки, и при нарастающем внимании зрителей откупорил ее точно по правилам, поднес ко рту и без колебаний, даже не поморщившись, осушил до дна, как самый заправ-

ский пьянчуга; правда, глаза вылезли у меня из орбит, да и дыхание перехватило; потом я швырнул пустую бутылку прочь, но не как отчаявшийся неудачник, а как мастер своего дела; и хотя я забыл погладить себя по животу, но зато, повинуясь неодолимому желанию, чувствуя, что у меня шумит в голове, громко и отчетливо крикнул «алло» — иными словами, заговорил членораздельно; благодаря этому кличу я сразу перескочил из своего прошлого в сообщество людей; ответные возгласы зрителей: «Послушайте только, ведь он говорит!» — словно поцелуи, ласкали мое обливающееся потом тело.

Повторяю, меня не прельщало подражать людям; я подражал им только потому, что искал выход, иных причин у меня не было. Первая победа дала мне не так уж много. Я сразу же потерял дар речи и обрел его снова лишь через много месяцев, а отвращение к спиртному пробудилось у меня с удвоенной силой. И все же передо мной тогда открылась прямая дорога — раз и навсегда.

В Гамбурге, попав к моему первому дрессировщику, я вскоре понял, что для меня существуют две возможности: зоологический сад или варьете. Я не колебался ни секунды. Я сказал себе так: «Надо приложить все силы, чтобы попасть в варьете, это единственный выход; зоологический сад — не что иное, как новая клетка. Попадешь в нее — и ты погиб».

И тут, господа, я начал учиться. Эх, что и говорить, когда надо, хочешь не хочешь, а приходится учиться. Мне необходимо было найти выход, и я учился как одержимый. Я не давал себе ни минуты покоя, я нещадно вытравлял из себя все, что мне мешало. Обезьяний дух вылетал из меня с такой силой, что мой первый дрессировщик чуть было сам не превратился в обезьяну; уроки пришлось прекратить, потому что его отправили в лечебницу. К счастью, он вскоре вернулся.

Мне понадобилось много учителей, иногда я обучался у нескольких педагогов сразу. А когда я уверовал в свои силы, когда мои успехи стали достоянием широкой гласности, а мое блистательное будущее окончательно определилось, я сам начал нанимать себе учителей; я рассаживал их по пяти комнатам, расположенным одна за другой, и учился одновременно у всех, без устали перебегая из одной комнаты в другую.

Какие успехи я тогда делал! Свет знаний со всех сторон проникал в мой пробуждающийся мозг! Не хочу скрывать — я был счастлив. И в то же время утверждаю: ни тогда, ни тем более теперь я не переоценивал своих достижений. Невиданной доселе в истории концентрацией воли я достиг уровня

среднего европейца. Быть может, сам по себе этот факт и не заслуживает особого внимания, однако для меня он значит многое: я вырвался из клетки и обеспечил себе искомый выход, оказавшийся выходом в человеческое естество. Существует прекрасное выражение — «спрятаться в кусты»; именно так я и поступил, спрятался в кусты. Никакой иной возможности у меня не было, если учесть, что свободы я не мог добиться.

Бросая ретроспективный взгляд на пройденный путь и на ту цель, которую я себе ставил, я не испытываю ни сожаления, ни радости. Вот я сижу, руки в карманах брюк, сижу, развалившись в качалке, и смотрю в окно; передо мной на столе бутылка вина. Если ко мне явятся гости, я приму их подобающим образом. В прихожей сидит мой импресарио; когда мне надо что-нибудь сказать ему, я звоню; он приходит и выслушивает меня. Почти каждый вечер я выступаю; мои сценические успехи столь велики, что они навряд ли могут еще возрасти. Далеко за полночь, когда я возвращаюсь домой после банкетов, парадных приемов в Академии или веселых вечеринок, меня ожидает маленькая дрессированная обезьянка — шимпанзе, и я развлекаюсь с ней на обезьяний лад. Днем я не желаю ее видеть; в ее взгляде сквозит безумие, так же как во взгляде всех дрессированных, сбитых с толку животных; никто, кроме меня, этого не замечает, но я этого не выношу.

В общем и целом я достиг того, к чему стремился. Нельзя сказать, что игра не стоила свеч. Оговариваюсь заранее, меня не интересует мнение людей; моя цель — широкая информация; я сообщаю факты и больше ничего; в этом отчете, уважаемые господа академики, я придерживаюсь одних лишь фактов.

МАЛАЯ ПРОЗА

МОСТ

Я был холодным и твердым, я был мостом, я лежал над пропастью. По эту сторону в землю вошли пальцы ног, по ту сторону — руки; я вцепился зубами в рассыпчатый суглинок. Фалды моего сюртука болтались у меня по бокам. Внизу шумел ледяной ручей, где водилась форель. Ни один турист не забредал на эту непроходимую кручу, мост еще не был обозначен на картах... Так я лежал и ждал; я поневоле должен был ждать. Не рухнув, ни один мост, коль скоро уж он воздвигнут, не перестает быть мостом.

Это случилось как-то под вечер — был ли то первый, был ли то тысячный вечер, не знаю: мои мысли шли всегда беспорядочно и всегда по кругу. Как-то под вечер летом ручей зажурчал глуше, и тут я услыхал человеческие шаги! Ко мне, ко мне... Расправься, мост, послужи, брус без перил, выдержи того, кто тебе доверился. Неверность его походки смягчи незаметно, но, если он зашатается, покажи ему, на что ты способен, и, как некий горный бог, швырни его на ту сторону.

Он подошел, выстукал меня железным наконечником своей трости, затем поднял и поправил ею фалды моего сюртука. Он погрузил наконечник в мои взъерошенные волосы и долго не вынимал его оттуда, по-видимому дико озираясь по сторонам. А потом — я как раз уносился за ним в мечтах за горы и долы — он прыгнул обеими ногами на середину моего тела. Я содрогнулся от дикой боли, в полном неведении. Кто это был? Ребенок? Видение? Разбойник с большой дороги? Самоубийца? Искуситель? Разрушитель? И я стал поворачиваться, чтобы увидеть его... Мост поворачивается! Не успел я повернуться, как уже рухнул. Я рухнул и уже был изодран и проткнут заостренными голышами, которые всегда так приветливо глядели на меня из бурлящей воды.

СТУК В ВОРОТА

Это случилось в знойный летний день. По дороге к дому мы с сестрой проходили мимо запертых ворот. Не знаю, из озорства ли или по рассеянности постучала моя сестра в ворота или не стучала вовсе, а только погрозила кулаком. Дорога сворачивала влево, и в ста шагах начиналась деревня. Для нас это была совсем незнакомая деревня, но едва мы поравнялись с первым домом, как изо всех дверей высыпали люди и стали кивать нам, не то приветствуя, не то предостерегая нас. Они и сами были напуганы. Они ежились от испуга и показывали пальцами на усадьбу, мимо которой мы прошли, и толковали про стук в ворота. Хозяева усадьбы подадут на вас жалобу, и сейчас же начнется следствие. Я был совершенно спокоен и всячески успокаивал сестру. Скорее всего, она вовсе и не стучала, а если бы и стукнула разок, так никто никоим способом не может это доказать. Я старался убедить в этом окружающих, они меня слушали, но мнение свое держали при себе. А потом заявили, что не только мою сестру, но и меня, как брата, привлекут к ответу. Я только кивал с улыбкой. Все мы смотрели в сторону усадьбы — так, видя вдалеке клубы дыма, ждешь, когда же пробьется пламя. И правда, вскоре в распахнувшиеся ворота въехали всадники. Облако пыли застлало все, только поблескивали острия длинных копий.

Не успел отряд скрыться во дворе усадьбы, как, очевидно, тут же повернул назад и поскакал по направлению к нам. Я старался удалить сестру, чтобы самому уладить дело. Она противилась, не желая оставлять меня одного. Я стал уговаривать ее хотя бы переодеться, чтобы предстать перед важными господами в приличном платье.

Наконец она согласилась и отправилась домой, а до дому еще было далеко. Тут как раз подскакали всадники и, не сходя с седел, принялись требовать мою сестру. Ее сейчас нет, робко отвечали им, но она придет немного погодя.

Всадники отнеслись к этому довольно равнодушно — им, очевидно, важнее всего было застигнуть меня. Главную роль среди них играли двое — судья, напористый молодой господин, и его тихонький помощник, отзывавшийся на фамилию Асман. Мне предложили войти в крестьянскую горницу. Медленно, покачивая головой и теребя помочи, направился я туда под суровыми взглядами прибывших господ.

Я все еще рассчитывал, что меня, горожанина, с первых же слов выделят из этой крестьянской толпы и отпустят даже с почетом. Но судья вскочил в горницу раньше моего, и не

успел я переступить порог, как он встретил меня словами: «Вот кого мне жаль». При этом он явно подразумевал не нынешнее мое положение, а то, что меня ожидает. Комната скорее походила на тюремную камеру, чем на крестьянскую горницу. Пол выложен каменными плитами, стены темные и сплошь голые, только кое-где вделаны железные кольца; посередине — нечто среднее между нарами и операционным столом.

Вдохну ли я когда-нибудь иной воздух, кроме тюремного?

Вот основной вопрос, который встает передо мной, вернее, встал бы, если бы у меня была малейшая надежда на освобождение.

СОСЕД

Мое дело целиком лежит на моих плечах. Две барышни с пишущими машинками и конторскими книгами в передней, моя комната с письменным столом, денежным ящиком, столом для совещаний, мягким креслом и телефоном — вот весь мой аппарат. Его так легко обозреть, им так легко управлять. Я совсем молод, и дела у меня сами идут. Я не жалуюсь, я не жалуюсь.

С нового года один молодой человек без раздумий снял пустующую соседнюю квартирку, со съемом которой я, растяпа, так долго медлил. Тоже комната с передней, но, кроме того, и кухня. Комната и передняя мне не помешали бы, обе мои барышни иногда уже чувствовали чрезмерную нагрузку, — но на что мне нужна была кухня? Из-за этой закавычки я и упустил квартиру. Теперь там расположился этот молодой человек. Гаррас его фамилия. На двери табличка: «Гаррас, контора». Я навел справки, мне сказали, что это дело подобное моему. От предоставления ему кредита не то чтобы предостерегали, ведь речь шла о молодом, растущем человеке, у которого, возможно, есть будущее, однако не то чтобы и советовали предоставлять ему кредит, ибо в данный момент состояния, судя по всему, нет.

Иногда встречаю Гарраса на лестнице, по-видимому, он всегда чрезвычайно торопится, он буквально прошмыгивает мимо меня. Я его еще так и не разглядел хорошенько, ключ от конторы у него уже наготове в руке. Он мгновенно открывает дверь. Он улепетывает как хвост крысы, и я снова стою перед табличкой «Гаррас, контора», хотя читал ее уже куда чаще, чем она того заслуживает.

Ах, эти убого тонкие стены, предающие человека, честно трудящегося, а нечестного укрывающие. Мой телефон висит на стене, которая отделяет меня от соседа. Однако я отмечаю это лишь как особенно иронический факт. Даже если бы он висел на противоположной стене, в соседней квартире было бы все слышно. Я отучился называть по телефону имена клиентов. Но не требуется, разумеется, большой хитрости, чтобы угадывать эти имена по характерным, но неизбежным поворотам разговора... Иногда я от беспокойства пляшу на цыпочках с наушником вокруг аппарата и все-таки не могу предотвратить разглашения тайн.

Конечно, из-за этого мои деловые решения становятся неуверенными, мой голос нетвердым. Что делает Гаррас, когда я говорю по телефону? Если бы я захотел сильно преувеличить — а это часто приходится делать, чтобы обрести ясность, — я мог бы сказать: Гаррасу телефон не нужен, он пользуется моим, он придвинул к стенке свой диванчик и слушает, а я, когда раздается звонок, должен бежать к телефону, выслушивать желания клиента, принимать важные решения, истово уговаривать — но тем самым прежде всего поневоле давать отчет Гаррасу через стенку.

Может быть, он даже не дожидается конца разговора, а поднимается после тех слов, которые достаточно прояснили ему дело, мечется по своему обыкновению по городу и, прежде чем я повешу трубку, уже, может быть, начинает действовать против меня.

ГИБРИД

У меня есть необыкновенный зверек — полукошечка, полуягненок. Он достался мне после отца в числе прочего наследства. Но окончательно развился уже у меня, раньше он был больше ягненком, чем кошечкой. Теперь у него от того и от другого почти поровну. От кошки — морда и когти, от ягненка — размер и строение тела; от обоих глаза, они сверкают диким блеском, а также шерстка — она у него мягкая и совсем гладкая; движения — он и скачет и крадется. Когда светит солнце, он свернется клубком на подоконнике и мурлычет, а на лужке носится как бешеный, так что его и не поймаешь. От кошки он убегает, на ягненка кидается. В лунные ночи кровельный желоб — излюбленное место его прогулок. Мяукать он не умеет, к мышам у него отвращение. Он может

часами подстерегать добычу у курятника, но на убийство не соблазнился ни разу.

Я пою его подслащенным молоком, и это для него лучшая пища. Жадно сосет он молочко сквозь клыки хищного зверя.

Понятно, какая это забава для детишек. В воскресное утро у нас приемные часы. Я сажаю зверька к себе на колени, и меня обступает детвора со всей округи. На меня сыплются самые невероятные вопросы, на которые никто не в силах ответить: откуда взялся такой зверек, отчего он очутился у меня, были ли раньше такие зверьки и как же будет, когда он умрет, скучно ли ему одному, почему у него нет детенышей, как его зовут — и все в таком роде.

Я не считаю нужным отвечать, а попросту, без лишних объяснений показываю то, что есть. Иногда ребята приносят с собой кошек, один раз притащили даже двух ягнят, но им пришлось разочароваться — никаких родственных чувств обнаружено не было.

Зверьки спокойно оглядели друг друга — звериный их взгляд сказал, что каждый мирится с существованием другого, как с волей провидения.

У меня на коленях зверек не проявляет ни страха, ни кровожадности — прижмется ко мне и блаженствует. Он по-семейному привязан к тем, кто его вырастил. Но это вовсе не какая-то особенная преданность, а попросту верное чутье животного, у которого по белу свету рассеяно бесчисленное множество свойственников, но настоящей кровной родни, должно быть, нет вовсе, и потому мы для него — священный оплот. Мне даже смешно становится, когда мой зверек начинает меня обнюхивать, вьется вокруг ног и боится хоть на миг расстаться со мной. Видно, ему мало быть ягненком и кошкой — ему хочется стать еще и собакой.

Однажды у меня выдался такой день, какие бывают у всякого, когда все в делах ползет по швам, и не видно выхода, и хочется на все махнуть рукой, и вот, полулежа в таком расположении духа у себя в качалке и держа зверька на руках, я невзначай опустил глаза и увидел, что с его косматой мордочки капают слезы — мои или его? Неужто же эта кошка с овечьей душой наделена вдобавок человеческим честолюбием? Немного унаследовал я от отца, но этот зверек дорогого стоит.

В нем слита неуемная природа кошки и ягненка, как ни различны они между собой. Потому-то ему и тесно в его шкуре. Случается, вскочит мой зверек на соседнее кресло, упрется передними лапами в мое плечо, а носом тычется мне

в ухо. Кажется, будто он что-то шепчет мне; и в самом деле, он тут же нагнется и заглянет мне в лицо, словно хочет проверить, как на меня подействовало его сообщение. Ему в угоду я киваю с понимающим видом. Тогда он спрыгивает на пол и скачет вокруг меня.

Возможно, что нож мясника был бы для такого выродка избавлением. Но он — моя наследная доля, и я на эту жертву не пойду. Пусть дожидается, пока сам не испустит дух, хотя порой он и смотрит на меня разумным человеческим взглядом, призывающим поступить так, как велит мне разум.

ВОЗЗВАНИЕ

В нашем доме, в этом чудовищном доме в предместье, густонаселенной громадине, проросшей неистребимыми средневековыми руинами, сегодня, туманным ледяным зимним утром, было распространено следующее воззвание:

«Всем моим соседям по дому.

У меня есть пять детских ружей. Они висят у меня в шкафу, на каждом крючке по одному. Первое принадлежит мне, заявку на другие может подать кто пожелает. Если заявок окажется больше чем четыре, лишние должны будут принести свои собственные ружья и сложить их в моем шкафу. Ибо нужно единообразие, без единообразия мы вперед не продвинемся. Кстати сказать, все мои ружья ни для чего прочего не пригодны, механизм испорчен, затычка оторвана, только курки еще щелкают. Нетрудно будет, значит, добыть, если понадобится, добавочные ружья. Но, в сущности, на первое время мне подойдут и люди без ружей. В решающий миг мы, обладающие ружьями, поместим невооруженных в середине. Эта тактика оправдала себя в войне первых американских фермеров против индейцев, почему же ей не оправдать себя и здесь, ведь обстоятельства сходны. Можно, значит, на какой-то срок вообще отказаться от ружей, и даже эти пять ружей нужны не обязательно, но раз уж они налицо, их следует применить. Если же четверо других не захотят носить их, то пусть и не носят. Тогда я один, как вождь, буду носить ружье. Но у нас не должно быть вождя, поэтому я свое ружье сломаю или спрячу».

Это было первое воззвание. В нашем доме ни у кого нет ни времени, ни охоты читать воззвания, а тем более обдумывать. Вскоре мелкие клочки бумаги плавали в потоке грязи,

который идет с чердака, получает пополнение из всех коридоров, стекает по лестнице и там борется с встречным потоком, накатывающим снизу. Но через неделю появилось второе воззвание:

«Соседи по дому!

Никто до сих пор ко мне не являлся. Я непрерывно, отлучаясь лишь из-за необходимости зарабатывать на жизнь, находился дома, а в мое отсутствие, во время которого дверь моей комнаты всегда оставалась открытой, на столе у меня лежал листок, где мог записаться каждый желающий. Никто этого не сделал».

НОВЫЕ ЛАМПЫ

Вчера я впервые был в канцеляриях дирекции. Наша ночная смена выбрала меня доверенным лицом, и, поскольку конструкция и заправка наших ламп оставляет желать лучшего, я должен был добиться там устранения этого неудобства. Мне показали кабинет, куда следует обращаться, я постучался и вошел. Хрупкий молодой человек, очень бледный, улыбнулся мне из-за большого письменного стола. Он долго, слишком долго кивал головой. Я не знал, сесть ли мне, там стояло второе кресло, но я подумал, что, может быть, не следует мне сразу садиться в свой первый приход, и потому изложил дело стоя. Но как раз этой скромностью я, по-видимому, поставил молодого человека в затруднительное положение, ибо он должен был поворачивать лицо ко мне и вверх, если не хотел переставить свое кресло, а этого он не хотел. С другой стороны, при всем желании ему не удавалось повернуть шею полностью, и потому во время моего рассказа он на полпути поднимал глаза наискось к потолку, а я непроизвольно тоже. Когда я кончил, он медленно встал, похлопал меня по плечу, сказал: «Так-так, так-так», — и подтолкнул меня в соседнюю комнату, где какой-то господин с лохматой бородой явно ждал нас, ибо на его столе не было и следа какой-нибудь работы, а открытая стеклянная дверь вела в садик со множеством цветов и кустов. Маленькой, в несколько слов информации, которую молодой человек прошептал ему, хватило этому господину, чтобы понять наши многочисленные жалобы. Он тотчас встал и сказал: «Итак, дорогой···» — он запнулся, я подумал, что он хочет узнать мою фамилию, и уже

открыл рот, чтобы представиться повторно, но он прервал меня: «Да, да, ладно, ладно, я тебя прекрасно знаю... итак, твоя или ваша просьба, конечно, справедлива, и я, и господа из дирекции, конечно же, понимаем это. Благо людей, поверь мне, важнее нам, чем благо производства. Да и как же иначе? Производство можно всегда наладить заново, дело только за деньгами, к черту деньги, а если человек погибнет, то погибнет именно человек, остаются вдова, дети. Ах, боже мой! Поэтому любое предложение ввести новое предохранительное устройство, новое облегчение, новое приспособление, новые удобства мы всячески приветствуем. Кто его вносит, тот наш человек. Ты, значит, оставишь нам здесь свои заявки, мы в них разберемся, если можно будет внедрить заодно еще какое-нибудь блестящее новшество, мы, конечно, не преминем это сделать, и как только все будет готово, вы получите новые лампы. А своим там внизу скажи: пока мы не превратим ваши штольни в салоны, мы здесь не успокоимся, и если вы не начнете наконец погибать в лакированных башмаках, то не успокоимся вообще. Засим всех благ!»

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПАССАЖИРЫ

Если поглядеть на нас просто, по-житейски, мы находимся в положении пассажиров, попавших в крушение в длинном железнодорожном туннеле, и притом в таком месте, где уже не видно света начала, а свет конца настолько слаб, что взгляд то и дело ищет его и снова теряет, и даже в существовании начала и конца нельзя быть уверенным. А вокруг себя, то ли от смятения чувств, то ли от их обострения, мы видим одних только чудищ да еще, в зависимости от настроения и от раны, захватывающую или утомительную игру, точно в калейдоскопе.

«Что мне делать?» или «Зачем мне это делать?» — не спрашивают в этих местах.

ОБЫКНОВЕННАЯ ИСТОРИЯ

Обыкновенная история: вынести ее — обыкновенный героизм. А. должен заключить с Б. важную сделку. Он отправляется для предварительного собеседования в Г., проделывает путь туда и обратно за десять минут в один конец и

хвастается дома этой особенной скоростью. На следующий день он снова отправляется в Г., на сей раз для окончательного заключения сделки. Поскольку на это потребуется предположительно много часов, А. отправляется ранним утром. Хотя все побочные обстоятельства, по крайней мере по мнению А., совершенно таковы же, как накануне, на дорогу в Г. у него уходит на этот раз десять часов. Когда он, усталый, прибывает туда вечером, ему говорят, что Б., рассердившись из-за отсутствия А., полчаса назад отправился в свою деревню и они, собственно, должны были встретиться на дороге. А. советуют подождать, но А., в страхе за сделку, тотчас же уходит и спешит домой.

На сей раз он проделывает обычный путь, не обращая на это особого внимания, прямо-таки в одно мгновение. Дома он узнает, что Б. ведь приходил уже рано утром — сразу после ухода А.; он даже встретил А. в дверях, напомнил ему о сделке, но А. сказал, что ему сейчас некогда, что он сейчас куда-то спешит.

Но несмотря на это непонятное поведение А., Б. *остался* здесь, чтобы подождать А. Он, правда, уже не раз спрашивал, не вернулся ли А., но еще находился наверху, в комнате А. Радуясь, что сможет наконец поговорить с Б. и все объяснить ему, А. бежит вверх по лестнице. Он уже почти наверху, как вдруг спотыкается, растягивает себе сухожилие и, от боли теряя сознание, не в силах даже кричать, лишь скуля в темноте, он слышит, как Б. — непонятно, вдалеке или совсем рядом с ним — с яростным топотом сбегает по лестнице и окончательно исчезает.

ПРАВДА О САНЧО ПАНСЕ

Занимая его в вечерние и ночные часы романами о рыцарях и разбойниках, Санчо Панса, хоть он никогда этим не хвастался, умудрился с годами настолько отвлечь от себя своего беса, которого он позднее назвал Дон Кихотом, что тот стал совершать один за другим безумнейшие поступки, каковые, однако, благодаря отсутствию облюбованного объекта — а им-то как раз и должен был стать Санчо Панса — никому не причиняли вреда. Человек свободный, Санчо Панса, по-видимому из какого-то чувства ответственности, хладнокровно сопровождал Дон Кихота в его странствиях до конца его дней, находя в этом увлекательное и полезное занятие.

МОЛЧАНИЕ СИРЕН

Доказательство того, что и недостаточные, даже ребяческие средства могут послужить для спасения.

Чтобы уберечься от сирен, Одиссей заткнул себе воском уши и велел приковать себя к мачте. Подобным образом могли, конечно, испокон веков поступать все путешественники, кроме тех, кого сирены заманивали уже издалека, но во всем мире было известно, что это нисколько не помогает. Пение сирен пронизывало все, и страсть соблазненных смахнула бы и не такие помехи, как цепи и мачта. Но об этом Одиссей не думал, хотя он, может быть, и слышал об этом. Он целиком положился на горсть воска и оковы и, невинно радуясь своему ухищреньицу, плыл сиренам навстречу.

Но у сирен есть оружие более страшное, чем пение, а именно — молчание. Хотя этого не случалось, но можно представить себе, что от их пения кто-то и спасся, но уж от их молчания наверняка не спасся никто. Чувству, что ты победил их собственными силами, и, как следствие этого, безудержной заносчивости не может сопротивляться ничто на земле.

И действительно, когда Одиссей приближался, эти могучие певицы не пели, то ли они полагали, что такого противника можно одолеть только молчанием, то ли выражение блаженства на лице Одиссея, который ни о чем другом, кроме цепей и воска, не думал, заставило их забыть о всяком пении.

А Одиссей, если можно так выразиться, не слышал их молчания, он полагал, что они поют и только слух его защищен. Сперва он увидел было повороты их шей, их глубокое дыхание, их полные слез глаза, их полуоткрытые рты, но решил, что все это связано с ариями, которые неслышно звучат вокруг него. А вскоре все это отскользнуло от его направленного вдаль взгляда, сирены поистине исчезли из-за его решительности, и как раз тогда, когда он был ближе всего к ним, он уже не помнил о них.

Они же — прекраснее, чем когда-либо, — вытягивались и вертелись, распускали по ветру свои страшные волосы и растопыривали выпущенные когти на скалах. Им уже не хотелось соблазнять, им хотелось только как можно дольше ловить отблеск больших глаз Одиссея.

Если бы у сирен было сознание, они были бы тогда уничтожены. А так они остались, только Одиссей ушел от них.

Есть, впрочем, одно добавление к преданию. Одиссей, говорят, был так хитроумен, так изворотлив, что сама богиня судьбы не могла проникнуть в его душу. Может быть, он, хотя

человеческим умом этого не понять, действительно заметил, что сирены молчали, и только до некоторой степени корил их и богов за то мнимое пение.

СОДРУЖЕСТВО ПОДЛЕЦОВ

Было некогда содружество подлецов, то есть это были не подлецы, а обыкновенные люди. Они всегда держались вместе. Если, например, кто-то из них подловатым образом делал несчастным кого-то постороннего, не принадлежащего к их ассоциации, — то есть опять-таки ничего подлого тут не было, все делалось как обычно, как принято делать — и затем исповедовался перед содружеством, они это разбирали, выносили об этом суждение, налагали взыскание, прощали и так далее. Зла никому не желали, интересы отдельных лиц и ассоциации соблюдались строго, и исповедующемуся подыгрывали: «Что? Из-за этого ты огорчаешься? Ты же сделал то, что само собой разумелось, поступил так, как должен был поступить. Все другое было бы непонятно. Ты просто перевозбужден. Приди в себя!» Так они всегда держались вместе, даже после смерти они не выходили из содружества, а хороводом возносились на небо. В общем, полет их являл картину чистейшей детской невинности. Но поскольку перед небом все разбивается на свои составные части, они падали поистине каменными глыбами.

ПРОМЕТЕЙ

О Прометее существует четыре предания. По первому, он предал богов людям и был за это прикован к скале на Кавказе, а орлы, которых посылали боги, пожирали его печень, по мере того как она росла.

По второму, истерзанный Прометей, спасаясь от орлов, все глубже втискивался в скалу, покуда не слился с ней вовсе.

По третьему, прошли тысячи лет, и об его измене забыли — боги забыли, орлы забыли, забыл он сам.

По четвертому, все устали от такой беспричинности. Боги устали, устали орлы, устало закрылась рана.

Остались необъяснимые скалы... Предание пытается объяснить необъяснимое. Имея своей основой правду, предание поневоле возвращается к необъяснимому.

ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ

Я возвратился, я прошел через сени и оглядываюсь вокруг. Это старый двор моего отца. Лужа посередине. Старая, негодная утварь, нагроможденная как попало, закрывает путь к лестнице на чердак. Кошка притаилась на перилах. Рваная тряпка, когда-то для забавы намотанная на палку, поднимается на ветру. Я прибыл. Кто встретит меня? Кто ждет за дверью кухни? Дым идет из трубы, варят кофе для ужина. Тебе укромно, ты чувствуешь, что ты дома? Я не знаю, я очень неуверен. Это дом моего отца, но все предметы холодно соседствуют друг с другом, словно каждый занят своими делами, часть которых я забыл, а часть никогда не знал. Какая им от меня польза, что я для них, даже если я и сын своего отца, старого хуторянина? И я не осмеливаюсь постучать в дверь кухни, я только издали прислушиваюсь, так, чтобы меня не могли застать врасплох за этим занятием. И поскольку прислушиваюсь я издали, то и не могу ничего расслышать, лишь легкий бой часов слышу я — или, может быть, только думаю, что слышу, — из дней детства. Что еще происходит в кухне, это тайна сидящих там, которую они хранят от меня. Чем дольше медлишь у двери, тем более чужим становишься. А если бы сейчас кто-то открыл дверь и спросил у меня что-нибудь? Не оказался ли бы я сам подобен тому, кто хочет сохранить свою тайну?

ГОРОДСКОЙ ГЕРБ

При строительстве вавилонской башни все было сначала более или менее в порядке; порядок был даже, пожалуй, слишком большой, слишком уж много думали о дорожных указателях, переводчиках, жилье для рабочих и путях сообщения, словно впереди века спокойной работы. Тогда господствовало даже мнение, что строить нужно как можно медленнее; мнение это вовсе не нужно было так уж преувеличивать, чтобы вообще отказаться от закладки фундамента. Аргументация была такая: самое главное во всем этом предприятии — мысль построить башню, которая достанет до неба. По сравнению с этой мыслью все прочее второстепенно. Мысль эта, во всем своем величии явившись однажды, уже не может исчезнуть; пока будут на свете люди, будет и сильное желание достроить башню. В этом смысле, стало быть, не надо беспокоиться о будущем, напротив, знания человечества растут,

зодчество делало успехи и будет делать успехи и дальше, работу, на которую нам нужен год, через сто лет, может быть, сделают за полгода, к тому же лучше, прочнее. Зачем же сегодня выбиваться из сил? Это имело бы смысл, только если бы можно было надеяться построить башню за время одного поколения. Но этого никоим образом нельзя было ожидать. Скорее можно было предположить, что следующее поколение с его более совершенным знанием найдет работу предыдущего поколения скверной и снесет построенное, чтобы начать заново. Такие мысли сковывали силы, и больше, чем о строительстве башни, заботились о строительстве города для рабочих. Каждое землячество хотело иметь самое лучшее жилье, из-за этого возникали споры, которые перерастали в кровавые стычки. Эти стычки не прекращались; для руководителей они были новым доводом в пользу того, что из-за отсутствия необходимой сосредоточенности башню следует строить очень медленно, а еще лучше — лишь после заключения всеобщего мира. Однако время проводили не только в стычках, в перерывах город украшали, чем, впрочем, вызывали новую зависть и новые стычки. Так прошло время первого поколения, но и все следующие не были иными, только росло мастерство, а с ним и воинственность. Вдобавок уже второе или третье поколение поняло бессмысленность строительства такой башни, но все были уже слишком крепко связаны друг с другом, чтобы покинуть город.

Все возникшие в этом городе предания и песни полны тоски о том предсказанном дне, когда город, пятью следующими через короткие промежутки ударами, разрушит исполинский кулак. Поэтому-то кулак и изображен на гербе города.

ПОСЕЙДОН

Посейдон сидел за рабочим столом и подсчитывал. Управление всеми водами стоило бесконечных трудов. Он мог бы иметь сколько угодно вспомогательной рабочей силы, у него и было множество сотрудников, но, полагая, что его место очень ответственное, он сам вторично проверял все расчеты, и тут сотрудники мало чем могли ему помочь. Нельзя сказать, чтобы работа доставляла ему радость, он выполнял ее, по правде говоря, только потому, что она была возложена на него, и, нужно признаться, частенько старался получить, как он выражался, более веселую должность; но всякий раз, когда ему предлагали другую, оказывалось, что именно тепе-

решнее место ему подходит больше всего. Да и очень трудно было подыскать что-нибудь другое, нельзя же прикрепить его к одному определенному морю; помимо того, счетная работа была бы здесь не меньше, а только мизернее, да и к тому же великий Посейдон мог занимать лишь руководящий пост. А если ему предлагали место не в воде, то от одной мысли об этом его начинало тошнить, божественное дыхание становилось неровным, бронзовая грудная клетка порывисто вздымалась. Впрочем, к его недугам относились не очень серьезно; когда вас изводит сильный мира сего, нужно даже в самом безнадежном случае притвориться, будто уступаешь ему; разумеется, о действительном снятии Посейдона с его поста никто и не помышлял, спокон веков его предназначили быть богом морей, и тут уже ничего не поделаешь.

Больше всего он сердился — и в этом крылась главная причина его недовольства своей должностью, — когда слышал, каким его себе представляют люди: будто он непрерывно разъезжает со своим трезубцем между морскими валами. А на самом деле он сидит здесь, в глубине мирового океана, и занимается расчетами; время от времени он ездит в гости к Юпитеру, и это — единственное развлечение в его однообразной жизни, хотя чаще всего он возвращается из таких поездок взбешенный. Таким образом, он морей почти не видел, разве только во время поспешного восхождения на Олимп, и никогда по-настоящему не разъезжал по ним. Обычно он заявляет, что подождет с этим до конца света; тогда, вероятно, найдется спокойная минутка, и уже перед самым-самым концом, после проверки последнего расчета, можно будет быстренько проехаться вокруг света.

СОДРУЖЕСТВО

Мы пятеро друзей, мы вышли однажды друг за дружкой из одного дома, сперва вышел один и стал у дверей, затем вышел или, скорее, выскользнул из дверей с легкостью шарика ртути другой и встал неподалеку от первого, затем третий, затем четвертый, затем пятый. Наконец все мы выстроились в ряд. Люди обращали на нас внимание, показывали на нас и говорили: эти пятеро вышли сейчас из этого дома. С тех пор мы живем вместе, у нас была бы мирная жизнь, если бы то и дело не вмешивался шестой. Он не делает нам ничего худого, но он нам в тягость, это достаточно скверно; зачем он навязывается, если с ним не хотят иметь дело? Мы его не знаем и

не хотим принимать его к себе. Мы, пятеро, тоже, правда, не знали друг друга, да и теперь, если угодно, не знаем, но то, что у нас пятерых допускается и терпится, это у шестого не допускается и не терпится. Кроме того, нас пять, и мы не хотим, чтобы нас было шесть. И какой вообще смысл быть непрестанно вместе, для нас, пятерых, в этом тоже нет смысла, но мы уже все равно вместе и вместе останемся, а новых объединений мы не хотим — как раз на основании своего опыта. Но как все это растолковать шестому, долгие объяснения означали бы чуть ли не принятие в наш круг, мы предпочитаем ничего не объяснять и просто не принимать его. Сколько бы он ни дулся, мы выталкиваем его локтями, но сколько бы мы ни выталкивали его, он приходит опять.

НОЧЬЮ

Погрузиться в ночь, как порою, опустив голову, погружаешься в мысли, — вот так быть всем существом погруженным в ночь. Вокруг тебя спят люди. Маленькая комедия, невинный самообман, будто они спят в домах, на прочных кроватях, под прочной крышей, вытянувшись или поджав колени на матрацах, под простынями, под одеялами; а на самом деле все они оказались вместе, как были некогда вместе, и потом опять, в пустынной местности, в лагере под открытым небом, неисчислимое множество людей, целая армия, целый народ, — над ними холодное небо, под ними холодная земля, они спят там, где стояли, ничком, положив голову на локоть, спокойно дыша. А ты бодрствуешь, ты один из стражей и, чтобы увидеть другого, размахиваешь горящей головешкой, взятой из кучи хвороста рядом с тобой. Отчего же ты бодрствуешь? Но ведь сказано, что кто-то должен быть на страже. Бодрствовать кто-то должен.

ОТКЛОНЕННОЕ ХОДАТАЙСТВО

Наш городок лежит не у границы, какое там! До нее так далеко, что, пожалуй, никто из нашего городка там и не был, от границы нас отделяют голые горы, но также и широкие цветущие равнины. Представить себе мысленно хоть часть дороги — и то устанешь, а всю и представить себе нельзя. Встречаются по дороге и большие города, гораздо больше нашего. Можно поставить в ряд десять таких городков, как

наш, да в середку втиснуть еще десять таких же городков, и все равно такого огромного и тесного города, как те, не получится. Если не заблудишься по дороге к границе, то уж в этих городах обязательно проплутаешь, а обойти их невозможно, уж очень они велики.

Но еще дальше, чем до границ, если вообще можно сравнивать такие расстояния — это все равно что сказать о трехсотлетнем старике, что он старше двухсотлетнего, — так вот, еще дальше от нашего городка до столицы. Если время от времени до нас и доходят слухи о пограничных войнах, то из столицы до нас почти ничего не доходит, — я имею в виду нас, простых граждан, потому что у государственных чиновников связь со столицей налажена превосходно: не пройдет и двух-трех месяцев, как они уже обо всем осведомлены, во всяком случае, так утверждают они.

Вот и удивительно — и я поражаюсь этому все снова и снова, — как жители нашего городка спокойно подчиняются всем распоряжениям из столицы. За много столетий они не предложили ни одной политической реформы. В столице сменялись царствующие особы, больше того, династии угасали и свергались и начинались новые, в прошлом столетии была даже разорена сама столица и основана другая, далеко от прежней, позже была разорена и она и восстановлена старая — в нашем городке от этого, в сущности, ничего не изменилось. Наше чиновничество всегда пребывало на своем посту, крупных чиновников присылали из столицы, средних чиновников — уж во всяком случае, из других городов, самых мелких брали из нашей среды, так это всегда было, и так это нас удовлетворяло. Высший чиновник у нас — это обер-инспектор по сбору налогов, у него чин полковника, и его даже величают «господин полковник». В настоящее время это старый человек, я знаю его много лет, потому что, когда я был ребенком, он уже был полковником. Вначале он сделал очень быструю карьеру, а затем она как будто затормозилась, но для нашего городка его ранг как раз подходит, чиновнику более высокого ранга жить у нас было бы даже невместно. Когда я стараюсь мысленно представить себе нашего обер-инспектора, я всегда вижу его на веранде его дома, что на базарной площади, он сидит в кресле, откинувшись на спинку, с трубкой во рту. На крыше над ним развевается государственный флаг, на веранде, такой просторной, что иногда там даже проводятся несложные военные учения, сушится на веревках белье. Его внучата в красивых шелковых платьях играют тут же; вниз, на базарную площадь, их не пускают, с остальными детьми им

играть негоже, однако базарная площадь их привлекает, они просовывают головенки между столбиками перил, и, когда дети внизу ссорятся, они сверху тоже принимают участие в ссоре.

Итак, в нашем городе полковник — полновластный правитель. Я думаю, он еще никому не предъявлял документа, подтверждающего его права. Верно, у него такого документа и нет. Возможно, он и в самом деле обер-инспектор. Но разве этого достаточно? Разве это дает ему право распоряжаться во всех областях управления городом? Должность у него для государства очень важная, но для горожан она далеко не самая важная. Я бы даже сказал, что в нашем городе создается такое впечатление, будто люди говорят: «Ну вот, ты взял у нас все, что мы имели, возьми, пожалуйста, и нас самих в придачу». Дело в том, что он не захватил власть самовольно и он не тиран. Просто так уже издавна повелось, что обер-инспектор по сбору налогов — самый главный чиновник, и наш полковник, равно как и мы, подчиняется этой традиции.

Но хотя он живет среди нас, не чрезмерно выделяясь своим саном, все же он совсем не то, что обыкновенный горожанин. Когда к нему приходит делегация с той или иной просьбой, он возвышается, как стена на краю света. Позади него ничего нет; правда, кажется, будто где-то вдали еще шепчутся какие-то голоса, но, вероятно, это самообман, ведь на нем кончается все, во всяком случае, для нас. Надо видеть его во время таких приемов. Ребенком я однажды был там, когда делегация от горожан пришла ходатайствовать о правительственной помощи, так как целиком выгорел самый бедный городской квартал. Мой папаша, кузнец, пользуется у нас большим уважением, он был членом делегации и взял меня с собой. Тут нет ничего особенного, такое зрелище привлекает всех, в толпе даже трудно разобрать, кто, собственно, входит в делегацию; прием большей частью происходит на веранде, поэтому находятся и такие люди, что с базарной площади приставляют к веранде лестницы и, глядя сверху через перила, стараются ничего не упустить. В тот раз около четверти веранды было отведено полковнику, остальную часть заполняла толпа. Несколько солдат наблюдали за порядком и, выстроившись полукругом, охраняли полковника. В сущности, хватило бы и одного солдата, так велик у нас страх перед ними. Я точно не знаю, откуда они, во всяком случае, откуда-то издалека; все они до того похожи, что могли бы даже обойтись без военной формы. Это низкорослые, не сильные, но проворные люди; особенно примечательны их могучие

челюсти, которым форменным образом тесно во рту, и беспокойно мигающие и поблескивающие глаза-щелочки. Эти их *особенности отпугивают, но одновременно и привлекают* детей, потому что детям все снова и снова хочется испугаться этих челюстей и этих глаз и в ужасе убежать. Такой ребячий страх не проходит, надо полагать, и у взрослых, во всяком случае, он продолжает сказываться. Правда, к этому присоединяется еще одно обстоятельство: солдаты говорят на совершенно непонятном нам языке и никак не могут усвоить наш, отсюда некая их обособленность, недоступность, что, впрочем, соответствует их характеру — такие они молчаливые, строгие и словно окаменелые; они не причиняют никакого зла в собственном смысле этого слова, и все же есть в них что-то *почти невыносимо злобное*. Вот, например, приходит в лавку солдат, покупает какую-нибудь ерунду и не уходит, стоит, опершись о прилавок, прислушивается к разговорам, вероятно, ничего не понимает, но вид у него такой, будто он понимает, а сам не говорит ни слова, только тупо смотрит на того, кто говорит, потом на тех, кто слушает, и не снимает руки с длинного ножа на поясе. Это отвратительно, пропадает всякая охота разговаривать, лавка пустеет, и только когда она совсем опустеет, солдат уходит. Вот потому-то, где только появятся солдаты, наш веселый народ сейчас же замолкает. Так было и в тот раз. Как при всяких торжественных случаях, полковник стоял выпрямившись и держал в обеих вытянутых вперед руках две длинные бамбуковые палки. Это старый обычай, означающий приблизительно следующее: так он опирается на закон и так закон опирается на него. Всякий у нас знает, что ждет его на веранде, и все же снова и снова испытывает трепет; и тогда даже тот, кого уполномочили говорить, никак не мог начать, он уже стоял напротив полковника, но тут мужество его оставило, и он, отнекиваясь и отговариваясь, попятился и втиснулся обратно в толпу. Другого подходящего человека, который согласился бы выступить, тоже не нашлось — правда, несколько человек вызвалось, но из числа неподходящих, — и все были в большом замешательстве. К нескольким горожанам, известным своим ораторским даром, отрядили послов. В течение всего этого времени полковник стоял, застыв в неподвижности, только при дыхании грудь его заметно вздымалась. И не то чтобы он тяжело дышал, просто он дышал чрезвычайно явственно, вроде того, как дышат лягушки, только у них это всегда так, а для него это было необычно. Я пробрался вслед за взрослыми и долго смотрел на него между двумя солдатами, пока один из них не

отпихнул меня коленом. За это время тот, кому с самого начала было поручено говорить, собрался с духом и, крепко держась за двух своих сограждан, начал краткую речь. Умилительно было видеть, как во время этой серьезной речи, живописующей тяжелое бедствие, он непрестанно улыбался униженной улыбкой, напрасно пытаясь вызвать хотя бы намек на ответную улыбку на лице полковника. Под конец он высказал просьбу; мне кажется, он просил только об освобождении от налогов в течение года, но, возможно, также и об отпуске по дешевой цене строевого леса из коронных владений. Затем он низко склонился и замер в почтительной позе, так же как и все остальные, за исключением полковника, солдат и нескольких чиновников на заднем плане. Мне, ребенку, показалось очень забавным, что люди на лестницах, приставленных к перилам веранды, спустились на две-три перекладины, чтобы их не было видно во время этой решающей паузы, и с любопытством подглядывали, чуть приподымая иногда головы над уровнем пола веранды. По истечении некоторого времени к полковнику, пребывавшему в неподвижности, если, конечно, не считать вздымавшуюся при дыхании грудь, подошел небольшого роста чиновник; он встал на цыпочки, силясь дотянуться до полковника, тот шепнул ему что-то на ухо, чиновник хлопнул в ладоши, после чего все выпрямились, и он провозгласил:

— Просьба отклонена. Можете идти.

Толпа вздохнула с явным облегчением, все толкались, спеша уйти, сам полковник, можно сказать, снова стал человеком, таким же, как и мы, на него никто не обращал внимания, я увидел только, как он, совершенно обессиленный, уронил на пол бамбуковые палки, затем в полном смысле слова упал на принесенное одним из чиновников кресло и поспешил сунуть в рот трубку.

Этот случай не единственный — так у нас обычно бывает. Правда, время от времени незначительные просьбы удовлетворяются, но тогда всякий раз получается так, будто полковник сделал это на собственный страх и риск, как всесильное частное лицо, и правительство ни в коем случае не должно об этом знать. Конечно, прямо это не говорится, но это само собой понятно. Ведь в нашем городке око полковника, насколько мы можем судить, — это око правительства, хотя все же тут есть и некое различие, не вполне доступное пониманию.

Но горожане могут быть уверены, что серьезная просьба всегда будет отклонена. Вот то-то и удивительно, что такой

отказ нам в некотором роде необходим, и при этом делегации и отказы совсем не простая формальность. Мы снова и снова бодро и совершенно серьезно шагаем туда, а потом оттуда, разумеется, не ободренные и осчастливленные, но в то же время не разочарованные и не усталые. Мне совсем не надо узнавать это от других, я, как и все остальные, чувствую это собственным нутром, и я даже не могу сказать, что мне сколько-нибудь любопытно допытаться, в чем тут дело.

Правда, насколько я могу судить по собственным наблюдениям, существует некая чисто возрастная группа недовольных, это молодежь от семнадцати до двадцати лет. То есть совсем еще юнцы, которые даже приблизительно не представляют себе, как далеко может завести самая незначительная идея, тем более революционная. И как раз в их среду и проникает недовольство.

К ВОПРОСУ О ЗАКОНАХ

Наши законы известны не многим, они — тайна маленькой кучки аристократов, которые над нами властвуют. Мы убеждены, что эти старинные законы в точности соблюдаются, но все же чрезвычайно мучительно, когда тобой управляют по законам, которых ты не знаешь. Я имею при этом в виду не различные истолкования и тот ущерб, который наносится людям, когда в истолковании законов участвует не весь народ, а только единицы. Может быть, этот ущерб и не так уж велик. Ведь законы идут из глубокой древности, над их истолкованием люди трудились века, так что само истолкование теперь обрело силу закона, и хотя возможности свободного истолкования еще существуют, они уже стали весьма ограниченными. Нет никаких оснований предполагать, чтобы аристократия в угоду своим интересам допускала истолкования *не в нашу пользу — ведь законы и так были с самого начала* установлены в пользу аристократии, они на аристократию не распространяются, потому, видимо, и отданы целиком в ее руки. Конечно, в этом есть известная доля мудрости, — кто же сомневается в мудрости древних законов? — но для нас в этом есть и мука, что, вероятно, неизбежно.

Да и существование этих мнимых законов — только предположение. Лишь по традиции принято считать, что они существуют и доверены аристократии как тайна, но это всего-навсего традиционный взгляд, заслуживающий признания в си-

лу своей древности, и ничего больше, ибо самый характер этих законов требует, чтобы их возникновение сохранялось в тайне.

Но если мы, в народе, внимательно проследим действия аристократии с древнейших времен, если мы, располагая записями наших предков по этому поводу, добросовестно их продолжим и среди бесчисленных фактов найдем как бы основные линии, позволяющие заключить о тех или иных исторических решениях, и если мы на основе этих тщательнейшим образом отобранных и систематизированных выводов попытаемся что-то установить для настоящего и будущего, то все это окажется весьма шатким, скорее игрою ума, ибо тех законов, которые мы стараемся отгадать, быть может, вовсе и не существует. Есть маленькая партия, которая действительно так думает и пытается доказать, что если закон и существует, то он может гласить лишь одно: все, что делает аристократия, — закон. Эта партия видит только произвольные установления аристократии и отвергает народную традицию, приносящую, по мнению этой партии, лишь ничтожную и случайную пользу, а чаще всего серьезный вред, так как порождает в народе перед лицом грядущих событий ложную, обманчивую и легкомысленную уверенность. Такой вред нельзя отрицать, но подавляющее большинство нашего народа видит его причину в том, что традиция далеко не все охватывает, ее нужно исследовать гораздо глубже и даже содержащийся в ней материал, как бы он ни был огромен, все же слишком недостаточен, и должны еще пройти века, прежде чем она все охватит; унылость этих перспектив озаряется в настоящем лишь верой в такие времена, когда наконец наступит пауза, завершатся следования традиции, все станет ясно и закон будет принадлежать только народу, а аристократия исчезнет. Это говорится не с ненавистью к аристократии, отнюдь нет, и ни с чьей стороны ее нет. Скорее, ненавидим мы самих себя за то, что нам еще нельзя доверить закон. Поэтому и упомянутая партия, в известном смысле весьма соблазнительная, не верит, по сути дела, ни в какой закон и осталась такой немногочисленной, ибо она в полной мере признает аристократию и ее право на существование.

Это можно выразить с помощью своеобразного парадокса: если бы какая-нибудь партия вместе с верой в закон вышвырнула и аристократию, на ее стороне оказался бы тотчас весь народ; но такая партия не может возникнуть, ибо никто не дерзает вышвырнуть аристократию. На этом лезвии

ножа мы и живем. Один писатель некогда сформулировал это следующим образом: единственный зримый, бесспорный закон, подчиняться которому мы обязаны, это аристократия, и ради этого единственного закона мы должны утратить самих себя?

НАБОР РЕКРУТОВ

Набор рекрутов, который часто бывает нужен из-за непрекращающихся пограничных боев, происходит следующим образом:

Издается приказ, чтобы в определенный день в определенном квартале города все жители без разбора, мужчины, женщины, дети, оставались дома. Обычно лишь к полудню у входа в этот квартал, где уже с рассвета ждет отряд солдат, пехотинцы и конники, появляется молодой дворянин, который должен провести набор. Это молодой человек, тонкий, невысокого роста, слабый, небрежно одетый, с усталыми глазами, на него то и дело нападает беспокойство, как на больного озноб. Ни на кого не глядя, он делает знак плеткой, которая составляет все его снаряжение, к нему присоединяются несколько солдат, и он входит в первый дом. Солдат, знающий в лицо всех жителей этого квартала, зачитывает список живущих в доме. Обычно все на месте, они стоят, выстроившись в ряд в комнате, не сводя глаз с дворянина, словно они уже солдаты. Случается, однако, что кто-то — всегда это только мужчины — отсутствует. Тогда никто не отваживается найти отговорку или как-то солгать, все молчат, опускают глаза, они едва выносят тяжесть приказа, который *нарушили в этом доме, но немое присутствие дворянина* держит всех на местах. Дворянин делает знак, это даже не кивок, это можно прочесть только по глазам, и два солдата начинают искать отсутствующего. Это не требует никаких усилий. Никогда он не бывает вне дома, никогда у него нет намерения действительно уклониться от военной службы, не явился он только от страха, но это вовсе не страх перед службой, это вообще робость перед выходом на люди, приказ для него поистине слишком велик, устрашающе велик, ему не по силам явиться самому. Но из-за этого он не убегает, он только прячется, а услыхав, что дворянин в доме, сам выбирается из укрытия, пробирается к двери комнаты, и его тут же хватают выходящие оттуда солдаты. Его подводят к дворянину, который берет плетку обеими руками — он очень слаб, одной

рукой ему не справиться — и сечет провинившегося. Сильной боли это не причиняет, затем он — наполовину из-за усталости, наполовину из отвращения — бросает плетку, тот, кого секут, должен поднять ее и подать ему. Лишь теперь он может стать в ряд с остальными; впрочем, почти наверняка его не признают годным. Бывает, и это случается чаще, что является больше людей, чем значится в списке. Приходит, например, посторонняя девица и разглядывает дворянина, она нездешняя, может быть, из провинции, ее приманил сюда набор рекрутов, многие женщины не могут устоять перед соблазном такого чужого набора — домашний имеет совсем другое значение. И любопытно, в этом не видят ничего позорного, если женщина поддается такому соблазну, напротив, по мнению некоторых, это нечто такое, через что женщинам надо пройти, это дань, которую они платят своему полу. И протекает все всегда по одному образцу. Девушка или женщина узнает, что где-то, может быть, очень далеко, проходит набор, она просит у своих родных разрешения поехать туда, ей разрешают, в этом нельзя отказывать, она надевает на себя самое лучшее из своей одежды, она веселее, чем обычно, притом спокойна и приветлива, независимо от того, какого она вообще нрава, и при всем спокойствии, при всей приветливости неприступна, словно какая-то чужеземка, которая едет на родину и больше ни о чем думать не хочет. В семье, где ждут набора, ее принимают совершенно иначе, чем обыкновенную гостью, все ублажают ее, она должна обойти все комнаты дома, высунуться из всех окон, а если она положит руку кому-нибудь на голову, то это больше, чем благословение отца. Когда семья готовится к набору, приезжая получает лучшее место, место у двери, где ее лучше всего увидит дворянин и она лучше всего увидит его. Но в такой чести она только до появления дворянина, с этой минуты она прямо-таки увядает. Он так же не смотрит на нее, как на других, а если он и направит взгляд на кого-нибудь, тот чувствует, что на него не смотрят. Этого она не ожидала, вернее, она, конечно, ожидала это, ведь иначе не может быть, но и не ожидание противоположного пригнало ее сюда, а просто что-то такое, что сейчас-то уж кончилось. Стыд она испытывает в такой мере, в какой его наши женщины вообще-то, может быть, никогда не испытывают, только теперь, собственно, она замечает, что влезла в чужой набор, и когда солдат прочитывает список, где ее фамилии нет, и на миг наступает тишина, она, дрожа и ежась, выбегает за дверь и получает еще от солдата тумак вдогонку.

Если сверх комплекта оказывается мужчина, он ничего другого не желает, как тоже быть забранным в рекруты, хотя он и не из этого дома. И это тоже дело безнадежное, никогда таких сверхкомплектных не брали, и никогда ничего подобного не будет.

ЭКЗАМЕН

Я слуга, но для меня не находится работы. Я боязлив и не суюсь вперед, не суюсь даже в один ряд с другими, но это только одна причина моей незанятости, возможно также, что к моей незанятости это вообще не имеет ни малейшего отношения, главное, во всяком случае, то, что меня не зовут служить, других зовут, хотя они добивались этого не больше, чем я, или даже вообще не испытывали желания, чтобы их позвали, а у меня, по крайней мере иногда, это желание очень сильно.

Вот я и лежу на нарах в людской, гляжу на брус потолка, засыпаю, просыпаюсь и вновь засыпаю. Иногда я хожу в трактир напротив, где подают кислое пиво, иногда я от отвращения выливаю его из стакана, но потом пью опять. Я люблю там сидеть, потому что через закрытое оконце можно без риска быть обнаруженным глядеть на окна нашего дома. Там ведь мало что видят, сюда, на улицу, выходят, думаю, только окна коридоров, к тому же не тех коридоров, что ведут в господские покои. Возможно, что я и ошибаюсь, кто-то однажды, хотя я его не спрашивал, это сказал, и общее впечатление от этой стороны дома подтверждает такую догадку. *Лишь изредка открывают здесь окна, и когда это случается*, то делает это слуга, который затем часто, бывает, высовывается поглядеть вниз. Там, значит, коридоры, где его не могут застичь. Кстати сказать, этих слуг я не знаю, слуги, постоянно занятые наверху, спят в другом месте, не в моей комнате.

Однажды, когда я пришел в трактир, на моем наблюдательном месте уже сидел посетитель. Я не осмелился рассмотреть его и хотел сразу же в дверях повернуться и уйти. Но он подозвал меня, и оказалось, что он тоже слуга, которого я уже когда-то где-то видел, но до сих пор мне не доводилось говорить с ним.

— Почему убегаешь? Садись и пей! Я заплачу.

И я сел. Он о чем-то спрашивал меня, но я не мог ответить, я даже его вопросов не понимал. Поэтому я сказал:

— Теперь ты, наверное, жалеешь, что пригласил меня, так я уйду, — и уже стал подниматься. Но он протянул через стол руку и прижал меня к стулу.

— Останься, — сказал он, — это же был только экзамен. Тот, кто не может ответить на вопросы, экзамен выдержал.

КОРШУН

Это был коршун, он долбил мне клювом ноги. Башмаки и чулки он уже изорвал, а теперь клевал голые ноги. Долбил неутомимо, потом несколько раз беспокойно облетал вокруг меня и снова продолжал свою работу. Мимо проходил какой-то господин, он минутку наблюдал, потом спросил, почему я это терплю.

— Я же беззащитен, — отозвался я. — Птица прилетела и начала клевать, я, конечно, старался ее отогнать, пытался даже задушить, но ведь такая тварь очень сильна. Коршун уже хотел наброситься на мое лицо, и я предпочел пожертвовать ногами. Сейчас они почти растерзаны.

— Зачем же вам терпеть эту муку? — сказал господин. — Достаточно одного выстрела — и коршуну конец.

— Только и всего? — спросил я. — Может быть, вы застрелите его?

— Охотно, — ответил господин. — Но мне нужно сходить домой и принести ружье. А вы в состоянии потерпеть еще полчаса?

— Ну, не знаю, — ответил я и постоял несколько мгновений неподвижно, словно оцепенев от боли, потом сказал: — Пожалуйста, сходите. Во всяком случае, надо попытаться...

— Хорошо, — согласился господин, — потороплюсь...

Во время этого разговора коршун спокойно слушал и смотрел то на меня, то на господина. Тут я увидел, что он все понял; он взлетел, потом резко откинулся назад, чтобы сильнее размахнуться, и, словно метальщик копья, глубоко всадил мне в рот свой клюв. Падая навзничь, я почувствовал, что свободен и что в моей крови, залившей все глубины и затопившей все берега, коршун безвозвратно захлебнулся.

РУЛЕВОЙ

— Разве я не рулевой? — воскликнул я.

— Ты? — удивился смуглый рослый человек и провел рукой по глазам, словно желая отогнать какой-то сон.

Я стоял у штурвала, была темная ночь, над моей головой едва светил фонарь, и вот явился этот человек и хотел меня оттолкнуть. И так как я не двинулся с места, он уперся ногою мне в грудь и медленно стал валить меня наземь, а я все еще висел на спицах штурвала и, падая, дергал его во все стороны. Но тут незнакомец схватился за него, выправил, меня же отпихнул прочь. Однако я быстро опомнился, побежал к люку, который вел в помещение команды, и стал кричать:

— Команда! Товарищи! Скорее сюда! Пришел чужак, отобрал у меня руль!

Медленно стали появляться снизу усталые мощные фигуры; пошатываясь, всходили они по трапу.

— Разве не я здесь рулевой? — спросил я.

Они кивнули, но смотрели только на незнакомца, они выстроились возле него полукругом и, когда он властно сказал: «Не мешайте мне», — собрались кучкой, кивнули мне и снова спустились по лестнице в трюм. Что за народ! Думают они о чем-нибудь или только, бессмысленно шаркая, проходят по земле?

ВОЛЧОК

Некий философ вечно бродил там, где играли дети. Увидит мальчика с волчком и насторожится. Едва волчок начнет вертеться, как философ преследует его и силится поймать. Ему было все равно, что дети шумели вокруг него и старались не допустить до их игрушки, и если ему удавалось поймать волчок, пока он вертелся, он был счастлив, но лишь одно мгновенье, затем бросал его наземь и уходил. Он верил, будто *достаточно познать любую малость, следовательно и вертящийся волчок, чтобы познать всеобщее.* Поэтому он и не занимался большими проблемами, это казалось ему неэкономным. Если же действительно познать мельчайшую малость, то познаешь все, оттого он и интересовался лишь вертящимся волчком. Когда он видел приготовления к запуску волчка, он неизменно начинал надеяться, что теперь-то его наконец ждет удача, а если волчок уже вертелся и он, задыхаясь, бежал за ним, надежда превращалась в уверенность, но когда он наконец держал в руках глупую деревянную вертушку, ему становилось тошно, и крик детей, которого он до сих пор просто не слышал, оглушал его, гнал его прочь, и он уходил, пошатываясь, как волчок от неловких толчков погонялки.

БАСЕНКА

— Ах, — сказала мышь, — мир становится тесней с каждым днем. Сначала он был так широк, что мне делалось страшно, я бежала дальше и была счастлива, что наконец вижу вдали стены справа и слева, но эти длинные стены так спешат сойтись, что я уже в последней комнате, а там в углу стоит ловушка, куда я угожу.

— Тебе надо только изменить направление, — сказала кошка и съела ее.

ОТЪЕЗД

Я велел вывести свою лошадь из конюшни. Слуга не понял меня. Я сам пошел в конюшню, оседлал свою лошадь и сел на нее. Вдали я услыхал звуки трубы, я спросил его, что это значит. Он ничего не знал и ничего не слышал. У ворот он задержал меня и спросил:

— Куда ты поскачешь, господин?

— Не знаю, — сказал я, — только подальше отсюда, только подальше отсюда. Дальше и дальше, только так я могу достичь своей цели.

— Значит, ты знаешь свою цель? — спросил он.

— Да, — ответил я, — я же сказал: «подальше отсюда» — вот моя цель.

— У тебя нет с собой съестных припасов, — сказал он.

— Мне не нужно их, — сказал я, — путешествие мое такое долгое, что я умру с голода, если по пути ничего не достану. Никакие припасы мне не помогут. Это же, к счастью, поистине невероятное путешествие.

ЗАЩИТНИКИ

Было очень неясно, есть ли у меня защитники, я не мог узнать ничего определенного на этот счет, все лица были непроницаемы, большинство тех, кто шел мне навстречу и кого я снова и снова встречал в коридорах, походили на старых толстых женщин, на них были большие, покрывающие все тело передники в синюю и белую полоску, они поглаживали себе животы и тяжело поворачивались. Я не мог даже узнать, находимся ли мы в здании суда. Кое-что говорило в пользу этого, многое — против. Если отбросить все мелочи,

то больше всего напоминало мне суд гуденье, которое непрерывно слышалось вдалеке, нельзя было сказать, с какой стороны оно доносилось, оно так наполняло все комнаты, что можно было подумать, что оно идет отовсюду или — еще, пожалуй, вернее, — что как раз то место, где ты оказался, и есть место этого гуденья, но это, конечно, был обман слуха, ибо оно шло издалека. Эти коридоры, узкие, перекрытые простыми сводами, плавно поворачивающие, с высокими, скупо украшенными дверями, были, казалось, даже созданы для глубокой тишины, это были коридоры музея или библиотеки. Но если это не был суд, почему я справлялся насчет защитника? Потому что я всегда искал защитника, везде он нужен, в суде нужда в нем даже меньше, чем где-либо, ибо суд выносит приговор, надо полагать, по закону. Если считать, что это делается несправедливо и опрометчиво, то ведь и жить невозможно, суду надо доверять, надо верить, что он подчиняется величественной воле закона, ибо это единственная его задача, а в самом законе уже заключены обвинение, защита и приговор, и самовольное человеческое вмешательство было бы тут кощунством. Но с составом преступления, за которое выносится приговор, дело обстоит иначе, он определяется на основании сведений, собранных в разных местах, у родственников и посторонних, у друзей и врагов, в семье и у представителей общественности, в городе и в деревне, словом, везде. Тут крайне необходимо иметь защитников, множество защитников, лучших защитников, чтобы стояли вплотную живой стеной, ибо защитники по природе своей малоподвижны, а обвинители, эти хитрые лисы, эти проворные белки, эти невидимые мышки, проскальзывают через любые щелки, прошмыгивают между ногами защитников. Значит, гляди в оба! Поэтому я здесь, я собираю защитников. Но я еще ни одного не нашел, только эти старые женщины приходят и уходят то и дело; если бы я не был занят поисками, это меня усыпило бы. Я попал не туда, к сожалению, я не могу отделаться от впечатления, что я попал не туда. Мне следовало бы быть там, где сходятся разного рода люди, из разных мест, из всех сословий, всяких профессий, разного возраста, мне следовало бы иметь возможность осторожно выбрать из толпы нужных, расположенных, внимательных ко мне людей. Больше всего для этого подошла бы, может быть, большая ярмарка. Вместо этого я слоняюсь по этим коридорам, где видны лишь эти старухи, да и то в малом числе, и все время

одни и те же, и даже этих немногих мне не удается, несмотря на их медлительность, задержать, они ускользают от меня, уплывают, как тучи, они целиком поглощены неведомыми делами. Почему же я вслепую вбегаю в какой-то дом, не читаю надписи над входом, сразу оказываюсь в коридорах, обосновываюсь здесь с таким упорством, что уже и не помню, чтобы я когда-либо стоял перед домом, когда-либо взбегал по его лестницам? Но назад мне хода нет, такая потеря времени, такое признание, что я попал не туда, мне были бы невыносимы. Что? Среди этой короткой, торопливой, сопровождаемой нетерпеливым гуденьем жизни побежать по лестнице вниз? Это невозможно. Отмеренное тебе время так коротко, что, потеряв секунду, ты уже теряешь всю свою жизнь, ибо она не длиннее, она всегда длится лишь столько же, сколько то время, которое ты теряешь. Значит, если ты начал путь, то продолжай его, при всех обстоятельствах ты можешь только выиграть, ты ничем не рискуешь, может быть, ты в конце концов сломаешь себе шею, но если бы ты уже после первых шагов повернулся и побежал вниз по лестнице, ты, может быть, сломал бы себе шею уже в самом начале, и не «может быть», а несомненно. Значит, если ты ничего не найдешь здесь в коридорах, открывай двери, если ничего не найдешь за этими дверями, то ведь есть новые этажи, если ничего не найдешь наверху, лети выше по новым лестницам. Пока ты не перестанешь подниматься, ступеньки не прекратятся, они будут расти ввысь под твоими поднимающимися ногами.

СУПРУЖЕСКАЯ ЧЕТА

Общее положение дел столь скверно, что иногда, выкраивая время, в конторе я сам беру сумку с образцами, чтобы лично навестить заказчиков. Среди прочего я уже давно собирался сходить к Н., с кем прежде находился в постоянной деловой связи, которая, однако, за последний год по неведомым мне причинам почти распалась. Для таких преткновений вовсе и не нужно существенных причин; при нынешних неустойчивых обстоятельствах дело часто решает какой-нибудь пустяк, чье-то настроение, и точно так же какой-нибудь пустяк, какое-то слово может все привести снова в порядок. Но проникнуть к Н. не совсем просто; он старый человек, в последнее время сильно прихварывает и, хотя он еще держит в своих руках все дела, сам в конторе почти не бывает; чтобы

поговорить с ним, надо сходить к нему домой, а такой деловой поход стараешься отложить.

Но вчера вечером после шести я все-таки отправился в путь; время было, правда, не гостевое, но ведь смотреть на дело следовало не со светской, а с коммерческой стороны. Мне повезло. Н. был дома, он только что, как мне сказали в прихожей, вернулся с женой с прогулки и сейчас находился в комнате своего сына, который был нездоров и лежал в постели. Меня пригласили тоже пройти туда; сперва я заколебался, но потом желание поскорее закончить неприятный визит победило, и меня, в том виде, в каком я был, в пальто, шляпе и с сумкой с образцами в руке, провели через какую-то темную комнату в тускло освещенную, где собралась небольшая компания.

Инстинктивно, по-видимому, взгляд мой упал сперва на одного слишком хорошо мне знакомого агента торговой фирмы, который отчасти мой конкурент. Он уселся у самой постели больного, так, словно был врачом; могущественно восседал он в своем красивом, распахнутом, вспучившемся пальто; его нахальство бесподобно; что-то похожее думал, возможно, и больной, который, лежа с лихорадочным румянцем на щеках, на него иногда поглядывал. Он, кстати сказать, не так молод, сын Н., это человек моего возраста с короткой окладистой бородой, несколько неухоженной из-за болезни. Старик Н., рослый, широкоплечий, но из-за своего изнуряющего недуга изрядно, к моему удивлению, похудевший, согнувшийся и потерявший уверенность, еще стоял, как вошел, в шубе и что-то бормотал сыну. Жена его, маленькая и хрупкая, но крайне деятельная, хотя лишь постольку, поскольку это касалось его, — нас она почти не замечала — была занята снимáнием с него шубы, что вследствие разницы в их росте доставляло некоторые затруднения, но в конце концов удалось. Может быть, впрочем, действительное затруднение состояло в том, что Н. был очень нетерпелив и все время беспокойно искал руками кресло, каковое жена, когда сняла с него шубу, быстро придвинула. Сама же взяла шубу, под которой почти скрылась, и унесла ее.

Теперь наконец, показалось мне, пришло мое время, вернее, не пришло и никогда, наверное, здесь не придет; если я вообще хотел еще что-то попробовать сделать, это должно было случиться сейчас, ибо я чувствовал, что условия для деловых переговоров могут здесь только ухудшаться и ухудшаться; а усаживаться здесь навсегда, как намеревался, по-видимому, поступить этот агент, было не в моем вкусе; с ним,

кстати сказать, я совершенно не собирался считаться. Поэтому я сразу стал излагать свое дело, хоть и видел, что Н. хотелось сейчас поговорить с сыном. К сожалению, у меня есть привычка, когда я, говоря что-нибудь, разволнуюсь, — а это случилось очень скоро и случилось в этой комнате больного раньше обычного, — вставать с места и во время речи прохаживаться по комнате. Как ни удобна такая манера в собственной конторе, в чужой квартире это все же немного обременительно. Но я не мог совладать с собой, особенно без привычной папиросы. Что ж, у каждого свои дурные привычки, мои еще достохвальны по сравнению с привычками этого агента. Что можно сказать, например, по поводу того, что свою шляпу, которую держит на колене и медленно передвигает там взад-вперед, он иногда вдруг, совершенно неожиданно, надевает на голову? Он, правда, тут же снимает ее, *словно это случилось нечаянно, но все-таки какое-то мгновение* она находится у него на голове, и время от времени он повторяет это снова и снова. Такое поведение, право же, можно назвать непозволительным. Мне-то это не мешает, я прохаживаюсь, я целиком поглощен своими делами и не замечаю его, но ведь, наверно, есть люди, которых этот фокус со шляпой может совершенно вывести из себя. Впрочем, разгорячившись, я не обращаю внимания не только на эту помеху, но и вообще ни на кого, я, правда, вижу, что происходит, но, пока не кончил или пока не слышу прямо-таки возражений, как бы не принимаю этого к сведению. Так, например, я прекрасно видел, что Н. способен мало что воспринять; держа руки на подлокотниках, он неудобно вертелся так и сяк, смотрел не на меня, а бессмысленно-ищуще в пустоту, и лицо его казалось таким безучастным, словно ни звуки моей речи, ни даже чувство моего присутствия не проникали к нему. Видя все это болезненное, дающее мне мало надежд поведение, я тем не менее продолжал говорить, как если бы у меня была еще возможность своей речью, своими выгодными предложениями — я сам пугался уступок, на которые шел, хотя их никто не требовал, — все в конце концов привести в равновесие. Известное удовлетворение испытывал я и от того, что агент, как я мельком заметил, наконец оставил свою шляпу в покое и скрестил на груди руки; мои заявления, рассчитанные отчасти на него, нанесли, казалось, его планам чувствительный удар. И на радостях я бы, может быть, еще долго продолжал говорить, если бы сын, которым я до сих пор, как лицом для меня второстепенным, пренебрегал, вдруг не приподнялся с постели и не заставил меня, подняв кулак,

замолчать. Он явно хотел еще что-то сказать, что-то показать, но у него не хватило сил. Я принял все это за лихорадочный бред, но вскоре, невольно взглянув на старика Н., понял, в чем дело.

Н. сидел с открытыми, остекленевшими, выпученными, только на миг еще зрячими глазами, наклонившись вперед и дрожа, словно кто-то держал его или бил по затылку, нижняя губа, да и вся нижняя челюсть с широко обнажившейся десной, непослушно отвисла, все лицо как-то распалось; он еще дышал, хотя и тяжело, но потом, как бы освободившись, откинулся к спинке кресла, закрыл глаза, на лице его еще мелькнуло выражение какого-то большого усилия, и затем все кончилось. Я подскочил к нему, схватил безжизненно повисшую, холодную, ужаснувшую меня руку; пульса не было. Итак, все. Кончено, старик. Нам бы умирать не тяжелее. Но сколько всего надо было сейчас сделать! И что в этой спешке прежде всего? Я огляделся, ища помощи; но сын натянул одеяло на голову, слышно было его бесконечное всхлипывание; агент, холодный, как лягушка, засел в своем кресле, в двух шагах напротив Н., явно решив ничего не делать, просто переждать; оставался, значит, я, только я, чтобы что-то сделать, а сейчас сделать самое трудное — каким-то сносным способом, то есть способом, которого не существовало на свете, оповестить жену. И уже я услышал старательные, шаркающие шаги из соседней комнаты.

Она принесла — все еще в уличной одежде, она еще не успела переодеться — согретую на печи ночную рубашку, которую хотела надеть сейчас на мужа.

— Он уснул, — сказала она, улыбнувшись и покачав головой, когда застала у нас такую тишину. И с бесконечной доверчивостью невинного она взяла ту же руку, которую я только что с отвращением и робостью держал в своей, поцеловала ее словно в маленькой брачной игре, и — каково нам троим было смотреть на это! — Н. пошевелился, громко зевнул, позволил надеть на себя рубаху, с досадливо-ироническим видом выслушал нежные упреки жены за переутомление во время слишком большой прогулки и, чтобы объяснить свою дремоту иначе, сказал, как ни странно, что-то насчет скуки. Затем, дабы не простудиться по дороге в другую комнату, он на время лег в постель к сыну; голова его была уложена у ног сына на две поспешно принесенные женою подушки. После того, что произошло раньше, я уже не нашел в этом ничего особенного. Затем он потребовал вечернюю газету, взял ее, не обращая внимания на гостей, но не читал, а только просматривал, говоря при этом с поразительной деловой прони-

цательностью довольно неприятные вещи о наших предложениях, непрестанно делая пренебрежительные движения свободной рукой и намекая щелканьем языка на скверный запах, который вызывает у него во рту наша манера вести дела. Агент не смог удержаться от того, чтобы не отпустить несколько неуместных замечаний, на свой грубый лад, он, видимо, даже чувствовал, что после случившегося все надо как-то уравновесить, но, конечно, его способ менее всего годился для этого. Я быстро простился, я был почти благодарен агенту; без его присутствия у меня не хватило бы решимости уже уйти.

В передней я еще встретил госпожу Н. При виде ее жалкой фигурки я сказал ей в задумчивости, что она немного напоминает мне мою мать. И поскольку она промолчала, я добавил:

— Что бы ни говорили по этому поводу, она могла творить чудеса. Все, что мы портили, она приводила в порядок. Я потерял ее еще в детстве.

Я нарочно говорил чрезмерно медленно и отчетливо, ибо полагал, что эта старая женщина туга на ухо. Но она была, по-видимому, глуха, ибо спросила без перехода:

— А внешний вид моего мужа?

По нескольким ее прощальным словам я, кстати сказать, понял, что она спутала меня с агентом; мне хотелось думать, что иначе она была бы доверчивее.

Затем я по лестнице сошел вниз. Спускаться оказалось труднее, чем прежде подниматься, а ведь и подъем-то не был легок. Ах, какие бывают неудачные деловые походы, а надо нести свое бремя дальше.

КОММЕНТАРИЙ (НЕ НАДЕЙСЯ!)

Было очень раннее утро, улицы были чисты и пустынны, я шел на вокзал. Сверив свои часы с башенными, я увидел, что время сейчас гораздо более позднее, чем я думал, мне нужно было очень спешить, ужас от этого открытия сделал меня неуверенным в пути, я еще неважно ориентировался в этом городе, к счастью, поблизости оказался полицейский, я подбежал к нему и, запыхавшись, спросил, как пройти на вокзал. Он улыбнулся и сказал:

— У меня ты хочешь узнать дорогу?

— Да, — сказал я, — потому что сам не могу найти ее.

— Не надейся, не надейся! — сказал он и размашисто отвернулся, как это делают люди, которые хотят быть наедине со своим смехом.

О ПРИТЧАХ

Многие сетуют на то, что слова мудрецов — это каждый раз всего лишь притчи, но неприменимые в обыденной жизни, а у нас только она и есть. Когда мудрец говорит: «Перейди туда», — он не имеет в виду некоего перехода на другую сторону, каковой еще можно выполнить, если результат стоит того, нет, он имеет в виду какое-то мифическое «там», которого мы не знаем, определить которое точнее и он не в силах и которое здесь нам, стало быть, ничем не может помочь. Все эти притчи только и означают, в сущности, что непостижимое непостижимо, а это мы и так знали. Бьемся мы каждодневно, однако, совсем над другим.

В ответ на это один сказал: «Почему вы сопротивляетесь? Если бы вы следовали притчам, вы сами стали бы притчами и тем самым освободились бы от каждодневных усилий».

Другой сказал: «Готов поспорить, что и это притча».

Первый сказал: «Ты выиграл».

Второй сказал: «Но, к сожалению, только в притче».

Первый сказал: «Нет, в действительности; в притче ты проиграл».

пропавший без вести (америка)

Роман

der verschollene (amerika)

Roman

Глава первая
КОЧЕГАР

Когда семнадцатилетний Карл Росман, высланный родителями в Америку за то, что его соблазнила забеременевшая от него служанка, на усталом, замедляющем ход корабле плавно входил в нью-йоркскую гавань, он вдруг по-новому, будто в нежданной вспышке солнечного света, увидел статую Свободы, на которую смотрел давно, еще издали. Казалось, меч в ее длани только-только взмыл ввысь, а всю фигуру овевают вольные ветры.

«Высоченная!» — подумал он, вовсе не торопясь на берег и даже не заметив, как хлынувшая на палубу толпа носильщиков мало-помалу оттеснила его к самым бортовым поручням.

Молодой человек, с которым они мельком познакомились в дороге, проходя мимо, спросил:

— Вы что же, сходить не думаете?

— Да я-то готов, — ответил Карл с усмешкой и, то ли из озорства, то ли просто от избытка молодых сил, вскинул чемодан на плечо.

Но, едва глянув вслед своему знакомцу, который уже удалялся вместе со всеми, небрежно поигрывая тросточкой, Карл вдруг вспомнил, что оставил внизу свой зонтик. Карл тотчас же окликнул молодого человека и попросил о любезности — тот, похоже, не слишком-то был обрадован просьбой — присмотреть за чемоданом, а сам, наскоро оглядевшись, чтобы запомнить место, поспешил вниз. Там, однако, он к досаде своей обнаружил, что проход, которым скорее всего можно было добраться, впервые за время поездки почему-то — очевидно, в связи с выгрузкой пассажиров, — заперт, и в поисках другой дороги пустился плутать по бесконечным, к тому же петляющим коридорам, по лестницам, хоть и не длинным, но многочисленным, миновал чей-то пустой кабинет с покинутым письменным

столом посередине, покуда не понял, — ведь он и ходил-то прежде этим путем всего раз или два, да и то не один, а в компании, — что и вправду окончательно заблудился. От растерянности — ибо вокруг не было ни души, только слышалось над головой шарканье тысяч ног да еще, откуда-то издали, слабый, как дыхание, уже стихающий гул застопоренных машин, — он, недолго думая, принялся колотить в первую попавшуюся дверь, на которую наткнулся в своих блужданиях.

— Да открыто! — послышалось изнутри, и Карл со вздохом облегчения распахнул дверь. — Что вы колотите как сумасшедший? — недовольно спросил здоровенный мужчина, толком даже не взглянув на Карла.

Через отверстие в потолке тусклый, как бы уже отработанный наверху свет сочился в убогую клетушку, где, тесно прижатые друг к другу, громоздились, словно в кладовке, койка, шкаф, стул и этот мужчина.

— Я заблудился, — признался Карл. — В дороге я как-то не замечал, а это, оказывается, жутко большой корабль.

— Да, тут вы правы, — не без гордости согласился мужчина, не переставая возиться с замком небольшого чемодана, на крышку которого он налегал в предвкушении долгожданного щелчка. — Входите же, — сказал он нетерпеливо. — Нечего на пороге стоять.

— А я не помешаю? — спросил Карл.

— Да чем вы можете помешать?

— Вы — немец? — на всякий случай осведомился Карл, наслышанный об опасностях, которые подстерегают в Америке новоприбывших, особенно со стороны ирландцев.

— Немец, немец, — подтвердил мужчина.

Карл все еще колебался. Внезапно мужчина потянулся к дверной ручке и одним рывком прикрыл дверь, впихнув таким образом Карла в каюту.

— Терпеть не могу, когда на меня глазеют из коридора, — буркнул он, снова принимаясь за непокорный чемодан. — И вот, понимаешь, ходят-глазеют, никакого терпения не хватит.

— Но в коридоре-то никого нет, — удивился Карл, в неудобной позе притиснутый к краю койки.

— Это сейчас никого, — раздраженно возразил мужчина.

«Так ведь и речь о том, что сейчас, — мысленно удивился Карл. — С ним, однако, нелегко сговориться».

— А вы ложитесь на койку, там просторней, — посоветовал мужчина.

С грехом пополам Карл влез на койку и тут же рассмеялся над своей тщетной попыткой покачаться на сетке. Но, не успев толком лечь, спохватился:

— Господи, я же совсем забыл про чемодан!

— А где он?

— На палубе, знакомый один там его стережет. Как же его зовут? — И, порывшись в потайном кармане, который мама нашила в дорогу на подкладку пиджака, Карл извлек оттуда визитную карточку. — Вот, Буттербаум. Франц Буттербаум.

— Чемодан очень вам нужен?

— Конечно.

— Тогда зачем же вы доверили его чужому человеку?

— Я зонтик внизу забыл, ну, и побежал, а чемодан тащить не хотелось. А теперь вот еще и заблудился.

— Вы один едете? Без взрослых?

— Один. — «Наверно, стоит держаться этого человека, — мелькнуло у Карла, — более надежного друга мне здесь так сразу все равно не найти».

— А теперь еще и чемодан потеряли. О зонтике я уже не говорю. — Мужчина уселся на стул, словно положение Карла только сейчас до некоторой степени стало его занимать.

— Ну, чемодан-то, наверное, еще не пропал.

— Блажен, кто верует, — хмыкнул мужчина и энергично запустил руку в свои темные, короткие и очень густые волосы. — На корабле, знаете ли, какой порт — такие и нравы. В Гамбурге этот ваш Буттербаум, может, еще и посторожил бы чемодан, а здесь, скорей всего, обоих и след простыл.

— Но тогда мне надо бежать! — вскинулся Карл, соображая, как бы поскорее выбраться.

— Да лежите вы! — распорядился мужчина и прямо-таки грубо толкнул Карла в грудь, укладывая обратно на койку.

— Это почему же? — запротестовал Карл, начиная злиться.

— Потому что смысла нет, — пояснил мужчина. — Скоро я тоже пойду, вместе и выйдем. А чемодан либо уже украли, и тогда дело дрянь, можете оплакивать его хоть до скончания века, либо этот ваш приятель его стережет, тогда он совсем дурак и пусть постережет еще; ну, а если он просто порядочный человек — значит, чемодан оставил, а сам ушел, народ к тому времени схлынет, легче найдем. И зонтик ваш тоже.

— А вы так хорошо знаете корабль? — спросил Карл недоверчиво, ибо в доводах незнакомца, вообще-то здравых, — дескать, на пустом корабле вещи отыскать легче, — ему почудился некий подвох.

— Так я же тут кочегар, — ответил тот.

— Вы — корабельный кочегар? — вскричал Карл с таким восторгом, будто эта новость превзошла все его ожидания, и даже привстал на локте, рассматривая мужчину во все глаза. — Около каюты, где мы спали со словаком, был такой люк, и можно было заглянуть в машинное отделение.

— Ну да, там я и работал, — подтвердил кочегар.

— А я всегда техникой интересовался, — продолжил Карл, все еще думая о своем. — И обязательно стал бы инженером, если бы не пришлось вот в Америку отправиться.

— Зачем же тогда отправились?

— Да так, — уклончиво ответил Карл, взмахом руки отметая дальнейшие объяснения.

— Значит, была причина, — рассудил кочегар, и было неясно, то ли он хочет, чтобы Карл об этой причине рассказал, то ли наоборот.

— Теперь вот и я могу стать кочегаром, — сказал Карл. — Моим родителям уже все равно, кем я стану.

— Мое место освобождается, — сообщил кочегар, демонстративно засунул руки в карманы своих мятых, стального цвета дерюжных штанов и, вытянув ноги, забросил их на койку. Карлу пришлось потесниться к стене.

— Вы уходите с корабля?

— Так точно, сегодня отчаливаю.

— Но почему? Вам что, не нравится здесь?

— В том-то и штука, что нашего брата не больно спрашивают, нравится ему или нет. Хотя вообще-то вы правы, да, мне здесь не нравится. Вы, конечно, не всерьез в кочегары надумали, но учтите, именно так проще всего в кочегары и угодить. Только я вам решительно не советую. Коли вы в Европе хотели учиться — почему бы здесь вам не хотеть того же. Американские университеты даже куда лучше.

— Так-то оно так, — согласился Карл. — Но на это деньги нужны, а у меня их считай что нет. Правда, у кого-то я читал, что днем он работал, а ночами учился, пока не стал доктором и, кажется, даже бургомистром. Но ведь это какое терпение нужно, верно? А у меня, боюсь, терпения не хватит. Да и учился я не особенно хорошо и, честно сказать, не очень-то горевал, когда пришлось школу бросить. А здесь, наверно, в школах еще строже. И английского я почти не знаю. К тому же иностранцев тут, по-моему, не слишком-то жалуют.

— А, вы тоже, значит, это заметили? Ну, тогда все в порядке. Тогда вы свой человек. Сами посудите, ведь мы на немецком корабле, компания «Гамбург—Америка», почему же, спрашивается, здесь работают не одни только немцы? Поче-

му главный механик — румын? Шубаль его фамилия. Это же неслыханно. Нами, немцами, на немецком корабле помыкает эта скотина! Вы не подумайте, — тут у него от возмущения даже дыхание перехватило, и он замахал руками, — не подумайте, что я вас разжалобить хочу. Я же вижу, вы не бог весть какая птица и сами паренек небогатый. Но уж больно все это мерзко! — С этими словами он несколько раз пристукнул кулаком по столу, не спуская глаз с точки, по которой бил. — Ведь я на стольких кораблях служил! — Тут он одним духом выпалил подряд названий двадцать, Карл совсем запутался. — И отлично служил, меня хвалили, я всегда умел угодить моим капитанам, а на торговом паруснике я даже несколько лет проходил. — Тут он привстал, словно торговый парусник был вершиной всей его жизни. — А здесь, в этом гробу, где все по струночке, где и пошутить нельзя, — здесь я, выходит, ни на что не гожусь, только болтаюсь у Шубаля под ногами, здесь я лодырь, которого давно пора выгнать, а жалованье получаю только из милости. Вы можете это понять? Я — нет.

— Вы не должны этого так оставлять, — сказал Карл взволнованно. Он почти забыл, где находится: шаткий пол корабля, незнакомый континент за бортом — все куда-то ушло, так уютно было ему на койке у кочегара. — А у капитана вы были? У него искали защиты?

— Эх, шли бы вы, шли бы вы лучше! Зачем вы мне здесь? Не слушаете, что вам говорят, а еще лезете с советами! Ну как, как я пойду к капитану?

И кочегар снова как-то обреченно сел, спрятав лицо в ладонях.

«Лучшего совета я ему дать не могу», — подумал Карл. И вообще, решил он, куда умнее, пока не поздно, сходить за чемоданом, чем давать здесь советы, которые вдобавок считают дурацкими. Когда отец на прощанье вручил ему чемодан, он как бы в шутку заметил: «Долго ли он у тебя проживет?..» — и теперь вот, действительно, чемодан, верный попутчик, кажется, уже не в шутку, а по-настоящему потерян. Тут, пожалуй, только одно утешенье — что отец ничего о пропаже не узнает, как не узнает и о нем самом, даже если вздумает наводить справки. До Нью-Йорка добрался, — вот и все, что ему в корабельной компании сообщат. Жаль только, что он почти не успел попользоваться вещами из чемодана, хотя ему, к примеру, давно бы пора сменить рубашку. Выходит, он проявил бережливость не там, где надо; именно сейчас, на пороге самостоятельной жизни, когда просто необходимо опрятно выглядеть, он будет щеголять в грязной рубашке.

Хорошее начало, нечего сказать! Если бы не это, потерю вполне можно пережить, костюм на нем даже лучше, чем тот, что в чемодане, тот вообще костюм на черный день, мама перед самым отъездом срочно его штопала. Однако тут он вспомнил, что в чемодане осталась еще палка копченой колбасы, веронская салями, мама в последнюю минуту успела ему эту колбасу тайком сунуть, он и отрезал-то всего ничего, есть почему-то всю дорогу не хотелось, и супа, что раздавали на полупалубе, ему хватало за глаза. Но теперь колбаса была бы очень даже кстати, он подарил бы ее кочегару. Таких людей легко расположить, подсунув им любую мелочь, Карл хорошо это знал по отцу, тот всех низших чинов, с которыми приходилось иметь дело, задабривал сигаретами. Теперь же из того, что можно подарить, у Карла остались только деньги, но деньги он пока что — тем более раз уж он и чемодана вроде бы лишился — трогать не будет. Мысли его снова вернулись к чемодану, и теперь он и вправду не мог уразуметь, чего ради всю дорогу за этот чемодан трясся, почти не спал из-за него, если потом так вот запросто отдал его в чужие руки. Он вспомнил, как пять ночей подряд глаз не смыкал, а все из-за маленького словака, который спал через две койки слева — Карл наверное знал, что тот на его чемодан зарится. Казалось, он только и ждет, когда Карл, сморенный усталостью, на секунду задремлет, чтобы длинной тростью — он день-деньской с этой тростью то ли играл, то ли упражнялся — перетянуть чемодан к себе. Днем-то этот словак выглядел вполне безобидно, но с наступлением ночи он то и дело приподнимался с койки и грустно так поглядывал на чемодан. Однако Карлу все было видно, благо то тут, то там кто-то из пассажиров, снедаемый страхом неизвестности, зажигал свечу, хоть это и строжайше запрещено корабельным распорядком, и с тревогой вчитывался в загадочные проспекты американских агентств по приему эмигрантов. Если свечка горела поблизости, Карл мог ненадолго прикорнуть, если же свет был далеко или его вообще не было, приходилось смотреть в оба. Вся эта нервотрепка основательно его измотала. А теперь, кажется, эти мучения еще и зазря. Ну уж этот Буттербаум, попадется он ему когда-нибудь!

В этот миг откуда-то издали прежде незыблемую тишину разорвал странный, размеренный стук — точно от множества детских ног, однако стук приближался, нарастал и вскоре превратился в дробный и тяжелый мужской топот. Очевидно, люди шли гуськом, что, пожалуй, в узком коридоре только естественно, но теперь к их топоту добавился лязг, похожий

на бряцанье оружия. Карл, блаженно растянувшийся на койке, чуть было не погрузился в глубокий сон, готовый позабыть и словака, и чемодан, и все на свете, но сейчас встрепенулся и даже успел слегка подтолкнуть кочегара, — тот, казалось, не слышит грозного шествия, которое тем временем почти достигло их двери.

— Корабельный оркестр, — пояснил тот. — Играли наверху, теперь идут укладываться. Значит, и нам пора. Пойдемте.

Он подхватил Карла под руку, в последнюю минуту снял со стены над койкой образок Богоматери, запихнул его в нагрудный карман, схватил чемодан и вместе с Карлом решительно вышел из каюты.

— А теперь я пойду в кают-компанию и выложу этим господам все, что я о них думаю. Пассажиров нет, церемониться нечего. — На все лады повторяя на ходу последние слова, он попытался придавить ногой перебежавшую им дорогу крысу, но только слегка задел и, по сути, подтолкнул ее в нору, до которой та вовремя успела добраться. Он вообще был неповоротлив на своих хоть и длинных, но каких-то тяжелых, непослушных ногах.

Они прошли через отсек, где была кухня: несколько девушек в грязных передниках — они нарочно их намочили — в больших чанах мыли посуду. Одну из них, некую Лину, кочегар подозвал и, обхватив чуть ниже талии — она в ответ игриво прижалась к его плечу, — попытался увести с собой.

— Там жалованье дают, пойдешь? — спросил он.

— Вот еще, стану я утруждаться. Лучше ты мне сам принеси, — ответила та, выскользнула у него из-под руки и убежала. — Где это ты подхватил такого красавчика? — крикнула она на бегу и, не дожидаясь ответа, скрылась на кухне. Было слышно, как все девушки, видимо на время прервавшие работу, дружно рассмеялись.

Они же с кочегаром пошли дальше и вскоре уперлись в массивную дверь с изящным резным фронтоном, который поддерживали миниатюрные позолоченные кариатиды. Для отделки корабельной каюты все это выглядело весьма расточительно. Карл, как он успел заметить, в этой части судна за время поездки ни разу не был, вероятно, она предназначалась лишь для пассажиров первого и второго классов, но сейчас, перед генеральной уборкой, двери, видимо, были настежь и ограничения сняты. Им, и точно, уже попались навстречу несколько матросов со швабрами через плечо, они поздоровались с кочегаром. Карл дивился размаху работ и

обилию помещений — у себя на полупалубе он, разумеется, не много успел увидеть. По стенам коридоров змейками тянулись электрические провода, а где-то вдали то и дело позвякивал небольшой колокол.

Кочегар, подобравшись и приосанившись, постучал в дверь и, когда оттуда послышалось «Войдите!», жестом пригласил Карла: мол, смелее. И Карл вошел, но на пороге невольно остановился. Разом из трех огромных окон на него ласково плеснули волны моря, и от их веселого, беззаботного бега у него сильнее забилось сердце, будто и не было пяти долгих, нескончаемых дней, когда он только и видел что море да море кругом. Большущие корабли уверенно бороздили воды залива, ровно настолько поддаваясь качке, насколько им позволяла их солидная стать. Если прищуриться, вообще казалось, что покачиваются они только от собственной тяжести. На их мачтах, туго натянутые встречным ветром, но иногда опадая, трепетали узкие, длинные флаги. Откуда-то издали, должно быть с военных кораблей, раздавались залпы салюта, а один из таких кораблей как раз проплывал неподалеку, сверкая на солнце сталью расчехленных орудий, дула которых, казалось, до блеска отполированы ветрами хоть и бурных, но победоносных странствий. Мелкие катера и лодки, различимые — по крайней мере отсюда, с порога, лишь вдалеке — во множестве сновали между большими судами. А за всем этим, еще дальше, вздымался Нью-Йорк, глядя на Карла всей сотней тысяч глазниц своих небоскребов. Да, в этом зале нельзя было не почувствовать, где находишься.

В центре за круглым столом сидели три господина, один — корабельный офицер в голубой морской форме, двое других — портовые чиновники в черных американских мундирах. На столе перед ними стопками лежали всевозможные документы, офицер, держа наготове авторучку, сперва пробегал их глазами, чтобы уж потом передать чиновникам, которые их то прочитывали, то делали выписки, то откладывали в свои папки, а время от времени один из них, тот, что почти беспрерывно прицокивал зубом, что-то диктовал другому в протокол.

За письменным столом у окна спиной к дверям сидел низенький, плотный господин и рылся в толстенных гроссбухах, поочередно снимая их с массивной полки над столом, где они в строгом порядке были расставлены. Около него стоял раскрытый и, по крайней мере на первый взгляд, пустой сейф корабельной кассы.

Возле второго окна никого не было, из него-то и открывался самый красивый вид. Зато у третьего негромко беседовали

два господина. Один, тоже в корабельной форме, прислонился к стене и поигрывал рукояткой шпаги. Его собеседник, стоя лицом к окну, что-то рассказывал, время от времени наклоняясь вперед и открывая часть орденов на груди офицера. Он был в штатском, с изящной бамбуковой тросточкой, которая, поскольку он держал руки на поясе, тоже оттопыривалась, как шпага.

Впрочем, у Карла было не слишком много времени все как следует разглядеть, ибо вскоре к ним подошел слуга и, глядя на кочегара невидящим взглядом, спросил, что ему тут понадобилось. Кочегар так же тихо, как его спросили, ответил, что хотел бы поговорить с господином главным кассиром. Слуга со своей стороны пренебрежительным жестом эту просьбу отклонил, но все же — на цыпочках, далеко огибая стороной круглый стол — направился к господину с гроссбухами. Было очень хорошо видно, как после слов слуги тот сперва буквально застыл, потом, как бы не веря себе, наконец обернулся на человека, осмелившегося его побеспокоить, сердито замахал руками на кочегара, а заодно, для пущей ясности, и на слугу. После чего слуга, вернувшись к кочегару, тихим, доверительным голосом сообщил:

— Немедленно убирайтесь вон!

Услышав такой ответ, кочегар только безмолвно глянул на Карла, одним этим взглядом поведав ему все невзгоды, обиды и страдания своей бессловесной души. Карл не стал долго раздумывать — сорвался с места, напрямик бросился через зал, даже слегка задев по пути кресло офицера, слуга, растопырив руки и пригнувшись, кинулся за ним, словно пытаясь изловить вредное насекомое, но Карл первым успел к столу главного кассира и крепко ухватился за край на тот случай, если слуга вздумает его оттаскивать.

Вокруг, разумеется, возникло легкое замешательство. Офицер от неожиданности вскочил, портовые чиновники смотрели на Карла спокойно, но с вниманием, два господина у окна придвинулись друг к другу поближе, а слуга, полагая, очевидно, что там, где уже проявили интерес господа, его вмешательство неуместно, наоборот, почтительно отступил назад. Кочегар у дверей напряженно замер, ожидая, когда понадобится его помощь. Наконец и главный кассир тоже соизволил повернуться в своем кресле.

Порывшись в потайном кармане — перед этими господами он не боялся его обнаружить, — Карл вытащил свой загра-

ничный паспорт и вместо дальнейших представлений в раскрытом виде положил на стол. Главный кассир, похоже, не придал документу особого значения и небрежным щелчком двух пальцев отшвырнул его в сторону, после чего Карл, посчитав, что все необходимые формальности таким образом соблюдены, спрятал паспорт обратно.

— Позволю себе заметить, — начал он, — что по отношению к господину кочегару, на мой взгляд, допущена несправедливость. Тут есть некто Шубаль, который над ним издевается. А он между тем служил на многих кораблях, если надо, он сам их все перечислит, и служил безупречно, прилежен, трудолюбив, честно выполняет свою работу, и совершенно непонятно, почему именно на вашем корабле, где служба вовсе не так тяжела, как, допустим, на торговых парусниках, он вдруг оказался непригоден. Полагаю, всему причиной только клевета и наветы, которые препятствуют его продвижению по службе и лишают его признания, которым в противном случае он бы давно уже пользовался. Я изложил суть дела в самых общих чертах, а конкретные претензии и жалобы он вам выскажет сам.

Карл обращался с этой своей речью ко всем сразу, поскольку, во-первых, его и в самом деле все слушали, а во-вторых, найти справедливого среди многих казалось ему куда вероятней, чем предположить этого справедливого именно в лице главного кассира. Карл к тому же схитрил, умолчав о том, что знает кочегара совсем недавно. А вообще-то он, наверно, говорил бы еще лучше, если бы не красноватая физиономия того господина с тросточкой, — этот господин, которого он только сейчас увидел в лицо, как-то сбивал его с толку.

— Все правда, точка в точку! — громогласно заявил кочегар, хотя его никто ни о чем не спросил и даже не взглянул в его сторону.

Эта поспешность могла бы дорого ему обойтись, если бы господин в орденах — Карла только сейчас осенило, что это и есть капитан, — уже не принял для себя решение все равно кочегара выслушать. Он вытянул руку и властным, твердым голосом, которым, казалось, впору монеты чеканить, произнес:

— Подойдите сюда!

Теперь все зависело только от самого кочегара, а уж в правоте его дела Карл не сомневался ничуть.

Кочегар, по счастью, сразу показал себя в подобных вещах человеком бывалым. Сохраняя образцовое спокойствие, он деловито, одним точным движением выхватил из чемодана связку бумаг и записную книжку в придачу, после чего, разом перестав замечать главного кассира, как ни в чем не бывало направился со всем этим прямиком к капитану. Пришлось главному кассиру встать и податься туда же.

— Это же известный скандалист, — пояснил он усталым голосом. — У кассы его куда легче найти, чем в машинном отделении. Послушайте, вы! — напустился он на кочегара. — Вам не кажется, что в своей назойливости вы слишком далеко заходите! Сколько уже раз вас выпроваживали из бухгалтерии, чего вы своими вздорными и абсолютно необоснованными претензиями вполне заслужили? Сколько раз вы бегали оттуда жаловаться в главную кассу? Сколько раз вам по-хорошему объясняли, что ваш непосредственный начальник — Шубаль и вы как подчиненный обязаны иметь дело только с ним? Так нет же, теперь вы еще сюда заявились и как раз в то время, когда здесь господин капитан, вы даже его не стыдитесь обременять вашими идиотскими дрязгами, нет, у вас еще хватило наглости подучить и привести сюда в качестве ходатая по вашим мерзким делишкам этого юнца, которого я вообще в первый раз на корабле вижу.

С превеликим трудом Карл заставил себя сдержаться. Но капитан и так уже прервал главного кассира, сказав:

— Давайте все же выслушаем человека, раз такое дело. Этот Шубаль, сдается мне, что-то и впрямь стал своевольничать, что, впрочем, еще нисколько не говорит в вашу пользу.

Последнее относилось к кочегару и, разумеется, было только естественно, — не станет же капитан с ходу за него вступаться, — однако пока все шло наилучшим образом. Кочегар приступил к объяснениям и с самого начала сумел пересилить себя, вежливо назвав Шубаля «господином». Как переживал, как радовался за него Карл в эту минуту, стоя, всеми забытый, у стола главного кассира и от полноты удовольствия поигрывая чашечками почтовых весов! Господин Шубаль несправедлив. Господин Шубаль отдает предпочтение иностранцам. Господин Шубаль выставил его из машинного отделения и послал чистить гальюны, что уж в обязанности кочегара никак не входит. Была подвергнута сомнению даже исполнительность господина Шубаля, скорее показная, чем «всамделишная». В этом месте Карл посмотрел на капитана особенно внушительно и со значением, как на равного себе, лишь бы тот не истолковал неловкое, простецкое выра-

жение кочегара к его невыгоде. К тому же из всех этих пространных речей трудно было уяснить что-либо по существу, и если капитан, в чьем взоре читалась твердая решимость на сей раз выслушать кочегара до конца, все еще смотрел прямо перед собой, то остальные господа стали проявлять нетерпение и рассеянность, так что вскоре голос кочегара уже не господствовал в зале безраздельно, а это был плохой знак. Первым зашевелился господин в штатском — негромко, но внятно начал постукивать тросточкой по паркету. Остальные, разумеется, уже искоса на него поглядывали, портовые чиновники — время их явно поджимало — снова, пока, правда, еще как бы с отсутствующими лицами, зашуршали бумагами, офицер, понятное дело, тут же придвинулся к столу, а главный кассир, уже не сомневаясь в своей победе, с притворной иронией испускал глубокие вздохи. Только слугу, кажется, не затронул этот холодок всеобщего равнодушия, он один какой-то частицей души еще сочувствовал невзгодам бедного человека, столь беззащитного среди этих важных господ и, глядя на Карль: серьезно кивал, будто и сам хотел что-то объяснить.

За окнами между тем шла своим чередом хлопотливая портовая жизнь: длинный, плоский грузовой корабль, груженный горой бочек, уложенных, очевидно, с величайшим искусством — ни одна не перекатывалась, — тяжело прополз мимо и на миг погрузил все помещение в полумрак; юркие моторки, — Карл, будь у него побольше времени, с удовольствием бы как следует их разглядел, — послушные малейшему движению рулевого, твердо стоящего у штурвала, закладывали крутые виражи и стрелой неслись дальше; странные плавучие предметы, должно быть, буи, то тут, то там как бы сами собой всплывали над беспокойными водами и, захлестнутые новой волной, мгновенно скрывались от изумленного взора; шлюпки с океанских лайнеров, повинуясь дружным и спорым усилиям налегающих на весла матросов, спешили к причалу, полные пассажиров, которые смирно и настороженно сидели на скамейках, стиснутые, как сельди в бочке, боясь пошевельнуться, и лишь немногие смельчаки, не в силах удержаться при виде переменчивых портовых декораций, с любопытством вертели головами по сторон. И всюду движение, движение без конца, и вечное беспокойство, передавшееся от всемогущей стихии бессильным людишкам и творениям их неугомонных рук!

Ситуация, однако, требовала быстроты, четкости, неукоснительной ясности изложения — а что вместо этого делал кочегар? Говорил он, правда, много и с пеной у рта, но бумаги

с подоконника давно уже не держались в его трясущихся руках, со всех сторон метал он в Шубаля громы и молнии, и каждого из этих обвинений по отдельности было, на его взгляд, вполне достаточно, чтобы похоронить этого Шубаля раз и навсегда, — однако, нагроможденные перед капитаном скопом, они являли собой лишь плачевную и совершенно невнятную мешанину. Давно уже негромко что-то насвистывал, поглядывая в потолок, господин с тросточкой, портовые чиновники снова взяли в оборот корабельного офицера, и казалось, уже никогда его не отпустят, а главного кассира так и подмывало вмешаться и сдерживало лишь каменное спокойствие капитана. Слуга в почтительной готовности не сводил с капитана глаз, с секунды на секунду ожидая приказа выставить кочегара вон.

Нет, бездействовать дольше нельзя. И Карл медленно направился к группе, тем лихорадочнее прикидывая на ходу, как бы половчее повернуть все дело. И вовремя, очень вовремя! Еще чуть-чуть — и они с кочегаром в два счета отсюда бы вылетели. Пусть капитан и неплохой человек, к тому же именно сегодня, Карл чувствовал, по каким-то своим причинам он особенно расположен показать себя справедливым начальником, но не игрушка же он, в конце концов, чтобы вертеть им как вздумается, а именно так, увы, и обходился с ним кочегар, правда, без злого умысла, а исключительно по простоте своей безмерно возмущенной души.

И Карл сказал кочегару:

— Вам надо проще все это рассказать, яснее, господин капитан не в состоянии разобраться, когда вы так рассказываете. Разве обязан он знать по фамилиям или, подавно, по именам и кличкам всех машинистов и младших матросов, которых вы тут подряд называете, как будто ему сразу ясно, о ком речь? Изложите ваши жалобы по порядку, начните с главных, а уж потом, по мере важности, переходите к менее существенным, возможно, большинство из них тогда и вовсе не понадобится упоминать. Мне-то вы всегда так складно все излагали!

«Если в Америке можно красть чемоданы, то и приврать немного тоже не грех», — подумал он в оправдание себе.

Только бы помогло! Не слишком ли поздно? Кочегар, правда, едва заслышав знакомый голос, тотчас же осекся, но его взгляд, затуманенный слезами попранной мужской чести, прошлых жестоких обид, нынешней крайней безысходности, — взгляд его плохо узнавал Карла. Да и как ему, — молча глядя на него, тоже умолкшего, Карл только теперь это осознал, —

как ему вдруг, ни с того ни с сего, обучиться иной, более складной речи, особенно сейчас, когда он только что — и без тени успеха — все, что можно было сказать, уже выложил, а, с другой стороны, получается, вроде бы ничего еще не сказал, и нет ни малейшей надежды убедить всех этих важных господ выслушать его еще раз. И вот в такую минуту еще и Карл, единственная его подмога, принимается учить его уму-разуму, только показывая тем самым, что все, все пропало.

«Надо бы раньше мне вмешаться, чем в окно глазеть!» — подумал Карл, низко склоняя голову под взглядом кочегара и уронив руки по швам в знак того, что надеяться больше не на что.

Но кочегар все истолковал иначе, возможно, в жесте Карла ему почудились какие-то скрытые упреки, и теперь, в благом намерении их опровергнуть, он увенчал свои деяния еще и тем, что принялся с Карлом спорить. Это теперь-то, когда чиновники и офицер за столом уже давно не скрывали возмущения ненужным шумом, который только мешает им в их важной работе, когда главный кассир мало-помалу стал находить долготерпение капитана необъяснимым и уже сам готов был вот-вот взорваться, когда слуга, снова всецело на стороне своих хозяев, испепелял кочегара негодующим взглядом, когда, наконец, господин с тросточкой, на которого сам капитан, как бы извиняясь, — кочегар его вконец допек, больше того, он ему опротивел, — дружелюбно поглядывал, так вот, этот господин извлек из кармана маленькую записную книжечку и, видимо занявшись каким-то своим делом, переводил глаза с книжечки на Карла и обратно.

— Да я знаю, знаю, — приговаривал Карл, стараясь, несмотря на спор, сохранить на лице дружескую улыбку и пробиться этой улыбкой сквозь обрушившийся на него поток слов. — Вы правы, правы, я-то никогда в этом не сомневался.

Будь его воля, он бы первым делом схватил и задержал эти безостановочно мелькающие руки, ибо уже всерьез опасался ненароком получить затрещину, еще лучше было бы просто затолкать кочегара куда-нибудь в угол, где их никто бы не услышал, и там шепнуть ему несколько тихих, успокоительных слов. Но куда там — кочегар рвал и метал. Понемногу Карл даже начал черпать нечто вроде надежды в странной, но утешительной мысли, что кочегар, быть может, сумеет убедить присутствующих одной только силой своего отчаяния. А кроме того, он успел заметить на одном из столов пульт управления с множеством кнопок — в случае чего одного нажатия ладони будет достаточно, чтобы в бесконечных ко-

ридорах этого корабля, переполненного чужими, враждебными людьми, поднялся невообразимый переполох.

Но тут господин с тросточкой, прежде столь ко всему безучастный, вдруг приблизился к Карлу и не слишком громко, но даже сквозь крик кочегара вполне отчетливо спросил:

— А вас, собственно, как зовут?

В ту же секунду, будто кто-то только и ждал этих слов, в дверь постучали. Слуга вопросительно посмотрел на капитана, тот кивнул. Лишь тогда слуга подошел к двери и распахнул ее. На пороге, в потертом армейском кителе, стоял человек среднего сложения, неприметной наружности, в которой ничто не выдавало ни особой склонности, ни причастности к машинам, и тем не менее это был — да, Шубаль. Если бы Карл тотчас не догадался об этом по выражению удовлетворенного злорадства в глазах всех присутствующих, — увы, даже капитана оно не обошло, он все равно, к ужасу своему, понял бы это по виду кочегара: тот с такой яростью стиснул кулаки, что казалось, нет для него сейчас ничего важнее этого неистового усилия, ради которого он готов пожертвовать всем на свете. Именно там, в кулачищах, сосредоточились все его силы, похоже, даже те, что вообще удерживали его на ногах.

Так вот он, значит, враг, самоуверенный и коварный, даже приодевшийся, с папкой под мышкой — там, наверно, платежные ведомости и табель кочегара, — стоит как ни в чем не бывало и с наглой беззастенчивостью заглядывает в глаза всем по очереди, чтобы первым делом уяснить, кто и как в данный момент к нему относится. Эти семеро, конечно, уже на его стороне, хоть у капитана и были, а может, только начинали появляться на его счет кое-какие сомнения, но теперь, после всего, что он от кочегара вытерпел, капитан, похоже, ни малейших претензий к Шубалю не имеет. С такими, как кочегар, любой строгости мало, а Шубаля если в чем и можно упрекнуть, то лишь в одном — что так и не сумел обломать этого кочегара до конца и тот даже набрался наглости к нему, капитану, сегодня заявиться.

Оставалось, впрочем, надеяться, что контраст между кочегаром и Шубалем, своей разительностью достойный внимания и куда более высокого форума, не укроется и от присутствующих, ибо этот Шубаль хоть и мастак притворяться, но рано или позно все равно не сдержится и чем-нибудь себя выдаст. Одной малюсенькой вспышки его подлости будет достаточно, а уж о том, чтобы господа ее заметили, Карл позаботится. Он ведь уже успел наскоро оценить слабости, причу-

ды, меру проницательности каждого, и с этой точки зрения время, проведенное здесь, потрачено вовсе не зря. Если бы еще кочегар держался получше, но он, похоже, уже совсем не боец. Казалось, подведи, подай ему сейчас этого Шубаля — и он своими кулачищами расколет эту ненавистную черепушку, как гнилой орех. Но вот сделать хотя бы шаг навстречу своему врагу он, видимо, уже вряд ли способен. И как это Карл не предусмотрел такую очевидную и легко предсказуемую вещь — рано или поздно, не по собственному почину, так по вызову капитана Шубаль, конечно же, неминуемо должен был явиться! Почему по дороге сюда они с кочегаром не обсудили точный план боевых действий, вместо того чтобы сдуру, на ура, без всякой выучки и подготовки ломиться в дверь, как они это сделали? В силах ли кочегар вообще говорить, хотя бы отвечать «да» или «нет», если это потребуется на перекрестном допросе, который — впрочем, лишь при самом благоприятном обороте дела — его еще ждет? Он и так еле стоит, ноги расставлены, в коленях дрожь, голова чуть запрокинута, а раскрытый рот с таким присвистом втягивает воздух, будто в груди у него вместо легких испорченный, дырявый насос.

Сам-то Карл ощущал в себе столько сил и такую ясность мыслей, как, пожалуй, никогда прежде — даже там, дома. Видели бы сейчас родители, как их сын в чужой стране перед этими важными лицами смело отстаивает добро, и пусть пока не довел дело до победы, но готов биться до последнего. Что бы они теперь о нем сказали? Похвалили бы, обласкали, усадили бы между собой? Взглянули бы хоть раз, один лишь разочек в его любящие, преданные глаза? Пустые вопросы, и самое неподходящее время о них гадать!

— Я пришел, поскольку полагаю, что кочегар обвинил меня в каких-то там махинациях. Девушка с кухни сказала мне, что видела, как он сюда направляется. Господин капитан и вы все, господа, с записями в руках, а если понадобится, то и с помощью непредвзятых и беспристрастных свидетелей, которые ждут за дверью, я готов опровергнуть любые обвинения.

Так начал Шубаль. Во всяком случае, это была ясная, осмысленная человеческая речь, и по изменениям в лицах слушателей можно было подумать, что они впервые за долгое время снова слышат членораздельные звуки человеческого голоса. И не заметили, между прочим, что даже в этой распрекрасной речи имеются прорехи! Почему, едва приступив к сути дела, Шубаль сам, первым заговорил о «махинациях»? Может, именно на этом, а вовсе не на его национальных предрассудках стоило сосредоточить обвинение? Девушка с

кухни видела, как кочегар сюда направляется, а Шубаль так сразу и смекнул, что к чему? Что же еще, как не боязнь разоблачения, так обострило его чутье? И свидетелей сразу притащил, да еще не постеснялся назвать их «непредвзятыми и беспристрастными»! Надувательство, чистейшей воды надувательство, а господа все это терпят и даже считают, видимо, приличным поведением! Зачем, спрашивается, Шубаль упустил так много времени от разговора с девушкой до своего прихода сюда?

Да с одной только подлой целью — дождаться, покуда кочегар настолько утомит слушателей, что те утратят способность рассуждать здраво, а именно здравых рассуждений Шубаль и опасается больше всего! Разве не стоял он сперва — и наверняка долго стоял — под дверью, разве не постучался лишь в ту минуту, когда услышал посторонний вопрос того господина и понадеялся, что с кочегаром покончено?

Тут все ясней ясного, и Шубаль, сам того не желая, это только подтвердил, но господам, видимо, надо растолковать это иначе, нагляднее. Надо их встряхнуть хорошенько. Ну же, Карл, живей, не упусти хотя бы эту минуту, пока не ввалились свидетели и не нагородили бог весть чего.

Но капитан взмахом руки остановил Шубаля — тот, мигом смекнув, что с его делом решили повременить, тут же отступил в сторонку и завел тихую, но оживленную беседу с немедленно примкнувшим к нему слугой, в ходе коей беседы не обошлось без косых взглядов в сторону Карла и кочегара, равно как и без самой недвусмысленной жестикуляции. Похоже, Шубаль репетировал свою следующую, теперь уже большую речь.

— Вы о чем-то хотели спросить этого молодого человека, не так ли, господин Якоб? — во всеобщей тишине обратился капитан к господину с тросточкой.

— Совершенно верно, — отозвался тот, легким поклоном поблагодарив за внимание. И снова спросил у Карла: — Как все-таки вас зовут?

Карл, полагая, что в интересах главного дела лучше уж поскорее отвязаться от этого настырного господина с его вопросами, ответил коротко, не предъявляя, вопреки своему обыкновению, паспорта, за которым еще надо было лезть.

— Карл Росман.

— Позвольте, — вымолвил тот, кого величали господином Якобом, и со слабой улыбкой, как бы не веря себе, слегка попятился. Странным образом и капитана, и главного кассира, и даже слугу имя Карла повергло в крайнее изумление.

Лишь портовые чиновники и Шубаль не выказали по этому поводу никаких чувств.

— Позвольте, — повторил этот господин Якоб и медленным, как бы даже торжественным шагом направился к Карлу. — Но тогда, выходит, я твой дядя Якоб, а ты, значит, мой дорогой племянник! Я так и чувствовал, что это он! — сказал он капитану, прежде чем обнять и расцеловать Карла, который оторопело ему это позволил.

— А вас как зовут? — спросил Карл, когда его выпустили из объятий, спросил хоть и очень вежливо, но как-то отрешенно, силясь предугадать, какими последствиями это новое событие может обернуться для кочегара. Пока что непохоже, чтобы Шубаль на этом что-то мог выгадать.

— Да вы поймите, молодой человек, свое счастье! — воскликнул капитан, посчитав, вероятно, что вопрос Карла каким-то образом задевает достоинство столь важной особы, как господин Якоб, который тем временем отошел к окну и отвернулся, дабы не показывать остальным свое взволнованное лицо, вдобавок осушая его носовым платком. — Это же сенатор Эдвард Якоб, он согласился признать себя вашим дядей. Теперь вас ждет, полагаю, вопреки всем вашим прежним ожиданиям, самая блестящая карьера. Попытайтесь же это осознать, насколько это вообще возможно в первые минуты, и соберитесь.

— Вообще-то у меня есть дядя в Америке, — сказал Карл, глядя на капитана. — Но, сколько я понял, Якоб — это ведь фамилия господина сенатора?

— Именно так, — подтвердил капитан, все еще не понимая, в чем дело.

— Ну *вот, а моего дядю, брата моей матери, Якобом зовут* по имени, а фамилия у него, конечно, должна быть та же, что у моей матери, урожденной Бендельмайер.

— Что, господа, каково! — воскликнул сенатор, бодро возвращаясь с места своей кратковременной передышки и, видимо, имея в виду заявление Карла.

Все, исключая портовых чиновников, дружно рассмеялись — одни с умилением, другие как-то неопределенно.

«Ничего такого особенно смешного я вроде бы не сказал», — подумал Карл.

— Господа! — вновь воскликнул сенатор. — Против воли — и моей, и вашей — вы стали соучастниками небольшой семейной сцены, а посему считаю своим долгом дать вам необходимые разъяснения, поскольку, как я понимаю, лишь господин капи-

тан — упоминание о капитане имело следствием взаимный поклон — осведомлен о деле полностью.

«Теперь надо и впрямь следить за каждым словом», — сказал себе Карл и несколько приободрился, краем глаза успев заметить, что кочегар начинает подавать слабые признаки жизни.

— Долгие годы моего пребывания в Америке, — впрочем, слово «пребывание» не слишком подобает американскому гражданину, а я всей душой американский гражданин, — так вот, все эти долгие годы я живу совершенно обособленно от моей европейской родни, по причинам, которые, во-первых, к делу не относятся, а во-вторых, рассказ о них увел бы нас слишком далеко. Я даже слегка побаиваюсь той минуты, когда вынужден буду поведать о них моему дорогому племяннику, и уж тогда, к сожалению, нам не избежать разговора начистоту и об его родителях, и об остальных сородичах.

«Да, несомненно, это мой дядя, — подумал Карл и стал слушать еще внимательней. — Должно быть, он изменил фамилию».

— Родители моего дорогого племянника, — давайте назовем вещи своими именами, — попросту решили от него избавиться, как избавляются от надоевшей кошки, вышвыривая ее за дверь. Этим я вовсе не хочу приукрасить проступок моего племянника, за который он был так жестоко наказан, — приукрашивать вообще не в обычаях американцев, — однако провинность его такого свойства, что одно лишь ее название содержит в себе достаточно поводов и причин ее простить.

«Говорит он, конечно, складно, — подумал Карл, — но я не хочу, чтобы он всем это рассказывал. Да и не может он всего знать. Как, откуда? Но погоди, вот посмотришь, он все знает лучше всех».

— Просто-напросто, — продолжал дядя, опершись на бамбуковую трость и слегка покачиваясь взад-вперед, чем ему и впрямь удалось лишить свой рассказ чрезмерной напыщенности, которая в противном случае была бы неизбежна, — просто-напросто его соблазнила служанка, Иоганна Бруммер, особа лет тридцати пяти. Говоря «соблазнила», я вовсе не хочу оскорбить чувства моего племянника, но, право же, более подходящее слово я просто затрудняюсь подобрать.

Карл, уже довольно близко подошедший к дяде, в этом месте его рассказа резко обернулся, чтобы видеть лица присутствующих. Нет, никто не смеется, все слушают терпеливо и серьезно. Да и нельзя, в самом деле, смеяться над племянником сенатора при первом удобном случае. Скорее уж, по-

жалуй, кочегар, но и то едва заметно, улыбается Карлу, что, во-первых, отрадно само по себе как еще один признак жизни, а во-вторых, вполне простительно, поскольку в разговоре с ним Карл пытался покрыть эту историю завесой тайны, а теперь вот она оглашена во всеуслышанье.

— Так вот, эта самая Бруммер, — продолжил дядя, — забеременела от моего племянника и родила превосходного мальчика, окрестив его Якобом, несомненно, в честь вашего покорного слуги, который — даже по упоминаниям моего племянника, наверняка случайным и несущественным, — произвел на девушку большое впечатление. Добавлю от себя: по счастью. Ибо родители моего племянника во избежание уплаты алиментов и, видимо, прочих грозивших им скандальных неприятностей — придется подчеркнуть, что мне не слишком известны как тамошние законы, так и особые семейные обстоятельства, помню только два давних нищенских письма от родителей мальчика, которые я хоть и оставил без ответа, но все время хранил, чем, кстати говоря, и исчерпывается вся наша, к тому же односторонняя переписка за все эти годы, — итак, поскольку родители во избежание уплаты алиментов и скандала попросту посадили своего сына, моего дорогого племянника, на корабль и отправили в Америку, снарядив его, как нетрудно заметить, для такого путешествия непростительно безответственно и скудно, то мальчик, брошенный на произвол судьбы, полагаю, затерялся бы и погиб в первом же портовом переулке Нью-Йорка, если бы не чудеса и счастливые совпадения, возможные только в Америке и больше нигде, и если бы не та служанка, ибо она в отправленном на мое имя письме, которое после долгих блужданий лишь вчера попало в мои руки, поведала всю эту историю, подробно указав в конце приметы моего племянника, а также — что было весьма предусмотрительно — и название корабля. Если бы мне вздумалось поразвлечь вас, господа, я не преминул бы зачитать избранные отрывки из этого послания, — тут он вынул из кармана два огромных, убористо исписанных листа и помахал ими в воздухе. — Оно, несомненно, возымело бы успех, ибо написано с простоватой, но подкупающей хитростью и исполнено неподдельной любви к отцу ее ребенка. Но я не хочу ни развлекать вас дольше, чем это надобно для необходимого разъяснения, ни, тем паче, особенно в первые минуты встречи, бередить, возможно, еще не угасшие чувства моего племянника, — он, если пожелает, сможет в назидание себе прочесть это письмо в тиши своей комнаты, которая его уже ждет.

Но у Карла не было никаких таких чувств к этой служанке. В суете и сумятице уходящих в безвозвратное прошлое дней она так и осталась где-то там, на кухне, где она сидела возле буфета, локтями опершись на его нижнюю тумбу. Она смотрела на Карла, когда он изредка заходил на кухню — отнести отцу стакан воды или по каким-то маминым поручениям. Иногда, примостившись в неловкой позе все у того же буфета, она сочиняла письмо и, поглядывая на Карла, казалось, черпала вдохновение в его лице. А часто просто сидела, прикрыв глаза рукой, и тогда обращаться к ней было совершенно бесполезно. Бывало, Карл мимоходом и не без испуга замечал в приоткрытую дверь, как она молится в своей каморке возле кухни, стоя на коленях перед деревянным распятием. В иные же дни она металась по кухне, как ведьма, и с жутким смехом отскакивала, если Карл попадался ей на дороге. Или вдруг, стоило Карлу зайти на кухню, закрывала дверь и, прислонившись к ней спиной, до тех пор держала ручку, покуда Карл сам не потребует его пропустить. Порой зачем-то приносила Карлу какие-то безделушки, совершенно ему не нужные, и молча совала в руку. Но однажды она вдруг сказала — «Карл!» — и со странными вздохами и ужимками повела его, все еще изумленного столь неожиданным обращением, в свою каморку, дверь которой тут же заперла. Там она обхватила его за шею и стала душить в объятиях, зачем-то упрашивая Карла ее раздевать и при этом раздевая его, потом уложила в свою постель, словно решив отныне никому его не отдавать и нежить и лелеять его до скончания века. «Карл, о мой Карл!» — восклицала она, будто видит его впервые в жизни и хочет навсегда оставить в своем владении, в то время как он ровным счетом ничего не видел, ему было жарко и тесно под кучей подушек и одеял, которую она, похоже, заранее приготовила и теперь на него навалила. Потом она сама легла к нему и все допытывалась о каких-то тайнах, а он ничего не мог ей на это ответить, и она сердилась не то в шутку, не то всерьез, тормошила его, слушала его сердце, предлагала послушать свое, пытаясь притянуть его голову к своей груди, но Карл так и не дал ей этого сделать, прижималась к его телу голым животом и до того отвратительно шарила у него между ногами, что Карл уже почти было выбрался из-под подушек, но тут она несколько раз как-то по-особенному ткнулась в него животом, Карл вдруг ощутил, что она как бы стала частью его самого, и может, именно поэтому его охватило чувство тоскливой беспомощности. Наконец, после ее многочисленных и пылких просьб о новых встречах, Карл,

весь в слезах, ушел спать к себе в комнату. Вот как все было, но дядя даже из этого сумел сочинить целую историю. А служанка, значит, все-таки тоже о нем помнит и известила дядю о его приезде. Что ж, очень трогательно с ее стороны, за это, если надо, Карл, пожалуй, отблагодарил бы ее еще раз.

— А теперь, — воскликнул сенатор, — теперь я хочу, чтобы ты во всеуслышанье заявил, дядя я тебе или не дядя?

— Ты мой дядя, — сказал Карл, целуя ему руку, за что был удостоен поцелуя в лоб. — И я очень рад, что тебя встретил, но ты заблуждаешься, если думаешь, будто мои родители говорили о тебе только плохое. Но и помимо этого были в твоем рассказе кое-какие ошибки, то есть, я хотел сказать, на деле не все обстояло так, как ты рассказываешь. Но отсюда, издалека, тебе и вправду трудно судить о наших делах, к тому же, я думаю, большой беды не будет, если господа с некоторыми неточностями узнают об истории, которая вряд ли их слишком волнует.

— Отлично сказано, — подхватил сенатор и, подведя Карла к капитану, который всем видом выказывал живейшее участие, спросил: — Ну, разве не молодчина у меня племянник?

— Я счастлив, господин сенатор, познакомиться с вашим племянником, — ответил капитан с поклоном, на какой способны лишь люди военной выучки. — Для моего корабля это особая честь — стать местом столь знаменательной встречи. Вот только путешествие на полупалубе прошло, должно быть, весьма скверно, ну да разве угадаешь, где кого везешь. Мы однажды даже первенца какого-то знатного венгерского магната — фамилию вот только забыл, и почему так получилось, тоже не помню — через весь океан на полупалубе везли. Я только потом, задним числом об этом узнал. Правда, мы делаем все, чтобы по мере возможности облегчить людям путешествие на полупалубе, по крайней мере, гораздо больше, чем, скажем, американские компании, но превратить подобную поездку в удовольствие пока что выше наших сил.

— Да ничего мне не сделалось, — успокоил его Карл.

— Ему ничего не сделалось, — громко повторил сенатор со смехом.

— Вот только чемодан я, боюсь... — И тут Карл, вспомнив обо всем, что случилось и что еще предстоит сделать, оглянулся по сторонам и обнаружил, что все вокруг так до сих пор и стоят на своих прежних местах, онемев от изумления и почтительности и не сводя с него глаз. Лишь портовые чинов-

ники, насколько можно было заключить по выражению их самодовольных, непроницаемых физиономий, видимо, сожалели о том, что пришли в столь неудачное время, — карманные часы, лежавшие перед ними на столе, были для них куда важней всего, что произошло и еще, возможно, могло произойти в этом зале.

Любопытно, что первым, кто после капитана выразил Карлу свое участие, оказался именно кочегар.

— От всей души вас поздравляю, — сказал он, тряся Карлу руку и желая, видимо, выказать таким образом свою признательность. Однако когда он с теми же словами потянулся было к сенатору, тот отпрянул с таким видом, будто кочегар превысил все дозволенные ему права; кочегар, впрочем, тут же и отступился.

Зато остальные теперь-то уж сообразили, что делать, и вокруг Карла и сенатора незамедлительно поднялась суматоха. Вышло так, что Карл получил поздравления даже от Шубаля, принял их и поблагодарил. Последними, когда уже снова водворилось спокойствие, подошли портовые чиновники и сказали несколько слов по-английски, что произвело довольно комичное впечатление.

Сенатор, явно смакуя удовольствие, был расположен оживить в памяти, а заодно и донести до собравшихся даже мелкие, незначительные подробности, что, разумеется, было встречено не только с вежливым вниманием, но и с величайшим интересом. Так, он припомнил, что занес в свою записную книжку наиболее броские из упомянутых в письме служанки примет Карла, на тот случай, если понадобится воспользоваться ими на месте. И вот, пока кочегар нес свою невообразимую околесицу, он, сенатор, исключительно с одной только целью — отвлечься, достал эту самую книжицу и забавы ради попытался найти во внешности Карла хоть что-то общее с наблюдениями кухарки, наблюдениями, в плане криминалистики, прямо скажем, не вполне совершенными.

— Вот так находят племянников! — заключил он таким тоном, будто не прочь еще раз получить поздравления.

— А что теперь будет с кочегаром? — спросил Карл, как бы пропустив мимо ушей этот дядин рассказ. Он полагал, что теперь, в новом положении, можно что думаешь, то и говорить.

— С кочегаром поступят, как он того заслуживает и как сочтет нужным господин капитан, — сухо ответил сенатор. — И вообще, по-моему, довольно с нас кочегара, сверх всякой

меры довольно, в чем, смею полагать, каждый из присутствующих господ меня поддержит.

— Дело же не в этом, дело в справедливости, — возразил Карл. Он стоял как раз посередине между дядей и капитаном и, должно быть, благодаря такой расстановке полагал, что право решения в его руках.

Но кочегар уже ни на что больше не надеялся. Руки он засунул за ремень, который от его взволнованных движения давно вылез из-под куртки вместе с полоской узорчатой нательной рубашки. Его это ничуть не беспокоило, он высказал все, что наболело, теперь пусть поглядят на тряпье, которым он прикрывает наготу, а там пусть хоть выносят. Он уже прикинул, что эту последнюю услугу ему, должно быть, окажут слуга и Шубаль как низшие здесь по рангу. Шубаль вздохнет наконец спокойно, никто не будет доводить его до отчаяния, как соизволил выразиться главный кассир. Капитан наймет одних румын, все начнут говорить по-румынски, глядишь, дело и впрямь пойдет замечательно. Никто не будет устраивать скандалы у главной кассы, а его последний скандал запомнится всем даже как событие весьма приятное, потому что оно, сенатор ведь ясно сказал, косвенно содействовало опознанию племянника. Этот племянник, кстати, действительно, и не один раз честно пытался ему помочь, так что загодя и более чем сполна отблагодарил его, кочегара, за это нечаянное содействие; у него, кочегара, и в мыслях нет ждать от парнишки чего-то еще. Да и вообще, пусть он и племянник сенатора, но до капитана ему далеко, а капитан рано или поздно еще скажет свое суровое слово. Соответственно этим своим рассуждениям кочегар, будь его воля, и не смотрел бы на Карла, но в этом зале, где сплошь одни враги, его взгляду, увы, больше не на ком было задержаться.

— Не суди опрометчиво, — сказал сенатор Карлу. — Допускаю, что тут дело в справедливости, но еще и в дисциплине. И то, и, в особенности, другое здесь, на корабле, целиком в ведении господина капитана.

— Вот именно, — буркнул кочегар. Все, кто слышал и разобрал его реплику, отчужденно улыбнулись.

— Мы и без того отвлекли капитана от его служебных обязанностей, которых у него именно сейчас, по прибытии в Нью-Йорк, невероятно много, так что самое время нам с тобой покинуть корабль, а не обременять господина капитана еще и бесполезным вмешательством в мелкую свару двух машинистов, раздувая из нее бог весть какое событие. Впрочем, я вполне понимаю твои добрые побуждения, дорогой племян-

ник, но именно это и дает мне право срочно тебя отсюда увести.

— Я немедленно распоряжусь спустить для вас шлюпку, — сказал капитан, к удивлению Карла ничуть не возразив на слова дяди, которые, несомненно, отдавали притворным самоуничижением. Главный кассир опрометью кинулся к столу и по телефону передал приказ капитана боцману.

«Время не ждет, — размышлял Карл, — но я ничего не могу поделать, не оскорбив при этом всех. Не могу же я бросить дядю, который и так еле меня нашел. Капитан, правда, вежлив, но не более того. Когда дело доходит до дисциплины, вся его вежливость кончается, тут дядя наверняка прав и высказал его сокровенные мысли. С Шубалем я говорить не хочу, даже досадно, что я подал ему руку. А все остальные здесь так, мелкая сошка».

Медленно, все еще в раздумье, он подошел к кочегару, вытянул его правую руку из-под ремня и так, на весу, задержал в своей.

— Почему же ты ничего не скажешь? — спросил он. — Почему позволяешь все это?

Кочегар только собрал в складки лоб, словно мучительно подыскивал то, что ему нужно сказать. Сам же смотрел вниз, на свою руку в руке Карла.

— Ты же пострадал от несправедливости, как никто на этом корабле, я точно знаю. — И Карл медленно пропустил и сплел свои пальцы с пальцами кочегара, который, подняв голову, смотрел на всех влажным взглядом, словно на него снизошло неизъяснимое блаженство и никто не вправе его за это осуждать.

— Но ты должен защищаться, говорить хотя бы «да» и «нет», иначе люди никогда не узнают правды. Обещай мне, что так и сделаешь, потому что сам я, боюсь, по многим причинам уже ничем не смогу тебе помочь.

И тут, целуя кочегару руку, Карл, наконец, расплакался и прижал эту шершавую, почти безжизненную ладонь к своей щеке, словно расстается с самым дорогим, что у него есть на свете.

Однако к нему уже подоспел дядюшка-сенатор и хоть и ласково, но непреклонно тянул в сторону.

— Кочегар, видно, совсем тебя обворожил, — приговаривал он, через голову Карла многозначительно поглядывая на капитана. — Ну конечно, ты был совсем один, нашел своего кочегара, ты благодарен ему, все это, разумеется, весьма

похвально. Но прошу, хотя бы ради меня, умерь свои чувства и учись помнить о своем положении.

За дверью неожиданно возник шум, послышались крики и даже удар о стенку, как будто кого-то с силой пихнули. Вошел матрос, порядком встрепанный и в женском переднике.

— Там люди! — выпалил он и дернул локтем, словно все еще от кого-то отбиваясь. Наконец пришел в себя, хотел отдать капитану честь, но тут заметил передник, сорвал его и в ярости швырнул на пол. — Вот черт, они мне еще передник нацепили, — воскликнул он. И уже потом щелкнул каблуками и отдал честь.

Кто-то попробовал засмеяться, но капитан строго спросил:

— Это еще что за шуточки? Кто это там?

— Это мои свидетели, — сказал Шубаль, делая шаг вперед. — Покорнейше прошу извинить их неподобающее поведение. Но после плавания, в порту, люди иногда просто как с цепи срываются.

— Немедленно их сюда! — приказал капитан и, обернувшись к сенатору, любезно, но уже почти скороговоркой сказал: — А теперь, будьте добры, многоуважаемый господин сенатор, следуйте вместе с вашим господином племянником за этим матросом, он посадит вас в шлюпку. Излишне говорить, какое удовольствие и какая честь для меня лично познакомиться с вами, господин сенатор. Весьма надеюсь, что вскоре мне выпадет возможность снова встретиться с вами и продолжить нашу прерванную беседу о положении дел в американском флоте, если только нас опять не прервут столь же приятным образом, как сегодня.

— Пока что хватит с меня одного племянника! — со смехом ответил дядя. — Позвольте и мне поблагодарить вас за любезное гостеприимство и пожелать всего наилучшего. Кстати, отнюдь не исключено, что мы, — тут он нежно прижал к себе Карла, — во время следующей поездки в Европу сойдемся с вами покороче.

— Всей душой буду рад, — поклонился капитан.

Оба господина обменялись рукопожатиями, Карл же едва успел без слов протянуть капитану руку, ибо тот уже всецело переключился на новых посетителей, человек пятнадцать, которые во главе с Шубалем хоть и не без робости, но все равно с шумом заходили в кают-компанию. Матрос, испросив у сенатора разрешения идти первым, проложил им дорогу, так что они легко прошли сквозь коридор почтительно кланяющихся людей. Похоже, все эти в общем-то добродушные

люди воспринимали спор Шубаля с кочегаром как уморительный спектакль, потешность которого не могло устранить даже присутствие капитана. Карл заметил среди них и кухарку Лину, которая, озорно ему подмигнув, повязывала сброшенный матросом передник, — значит, передник был ее.

Следуя за матросом, они вышли из кают-компании, свернули в боковой коридорчик, который вскоре привел их к узкой дверце, а уж за ней открылся и трап, спущенный к приготовленной для них шлюпке. Матросы в шлюпке, куда одним молодецким прыжком соскочил их провожатый, встали и отдали честь. Сенатор как раз предупреждал Карла спускаться осторожнее, когда тот, еще на верхней ступеньке, вдруг разрыдался. Ласково обхватив Карла за подбородок, сенатор прижал его к себе и другой рукой поглаживал, стараясь успокоить. Так, тесно обнявшись, они медленно, ступенька за ступенькой, спустились вниз и сошли в лодку, где сенатор заботливо усадил Карла напротив себя. По знаку сенатора матросы оттолкнулись и дружно налегли на весла. Не успели они отплыть и нескольких метров, как Карл неожиданно для себя обнаружил, что они оказались на той же стороне, куда выходят окна кают-компании. Ко всем трем окнам прильнули сейчас свидетели Шубаля, они радостно их приветствовали, махали на прощанье, так что даже дядя жестом их поблагодарил, а один из матросов вообще исхитрился, не бросая весел, все же послать им воздушный поцелуй. Словно и не было никогда никакого кочегара! Карл пристальней взглянул на дядю, который сидел совсем близко, почти прикасаясь к нему коленями, и засомневался: сумеет ли этот человек хоть когда-нибудь заменить ему кочегара. К тому же дядя почему-то отводил глаза и смотрел на волны, весело плясавшие вокруг *шлюпки*.

Глава вторая

ДЯДЯ

В доме дяди Карл быстро освоился с непривычной обстановкой. Правда, и дядя охотно потакал ему во всякой мелочи, так что Карлу не пришлось ничему учиться на горьком опыте, который на первых порах так омрачает обычно жизнь эмигранта на чужбине.

Комната Карла находилась на шестом этаже большого здания, пять нижних этажей которого, да еще три подвальных занимала дядина фирма. Свет, приветливо лившийся в комнату через два окна и балконную дверь, всякий раз повергал

Карла в веселое изумление, когда он по утрам выходил сюда из своей крохотной спальни. А где бы он ютился сейчас, сойди он на берег жалким, бедным эмигрантом? Да его вообще — дядя, насколько он был сведущ в законах об эмигрантах, считал это вполне вероятным, — вообще могли не впустить в Соединенные Штаты, а отправили бы обратно домой, ничуть не заботясь о том, что ему некуда возвращаться. Ибо на сострадание здесь рассчитывать не приходится, в этом отношении все, что Карл читал об Америке, оказалось именно так; лишь счастливцы — зато уж в полной мере — наслаждались здесь своим счастьем в окружении беззаботных улыбок себе подобных.

Узкий балкон простирался по стене во всю длину комнаты. Но с этого балкона, который в родном городе Карла наверняка был бы самой высокой смотровой площадкой, здесь открывался вид, можно считать, лишь на одну улицу, что между двумя рядами буквально обрубленных поверху домов пролегала идеальной стрелой и именно потому как бы улетала и терялась вдали, где в самом конце сквозь тяжелое, сизое марево грозно дыбились мрачные контуры гигантского собора. И утром, и днем, и самой глубокой ночью вся улица жила суматошным, беспрерывным движением, которое, если смотреть сверху, представлялось копошащимся и ползущим во все стороны месивом из перекошенных, сплющенных человеческих фигурок и крыш автомашин и экипажей всех видов и форм, а от него поднималось ввысь другое, еще более многообразное и дикое месиво шумов, пыли и запахов, и все это было охвачено и пронизано нестерпимо ярким светом, который, отражаясь от плоскостей и дробясь на гранях, рассыпаясь и сливаясь вновь, был ощутим обескураженным оком как нечто столь телесное, что казалось, будто над этой улицей, по всей ее площади ежесекундно вдребезги разбивают огромный лист стекла.

Дядя, осторожный во всем, советовал Карлу до поры до времени ни за что всерьез не браться. Пусть сперва оглядится, присмотрится, но особенно увлекаться и вникать в подробности пока не стоит. Ведь первые дни европейца в Америке — все равно что второе рождение, и хотя обживаешься здесь куда скорей, чем при вступлении в наш мир из небытия, — так что слишком пугаться тоже не стоит, — надо все-таки иметь в виду, что первые впечатления всегда обманчивы, и нельзя допустить, чтобы они затронули или, не дай бог, нарушили

последующие, более устойчивые, с которыми Карлу предстоит здесь жить. Он, дядя, сам знавал некоторых новоприбывших, которые, к примеру, вместо того, чтобы следовать этому правилу, целыми днями простаивали на балконе, глазея на улицу, как бараны. А это кого угодно собьет с толку! Подобное безделье, в полном одиночестве взирающее с высоты на многотрудные нью-йоркские будни, пристало, а возможно, хотя *тоже не без оговорок, даже полезно какому-нибудь праздно*му туристу, но для всякого, кто решил здесь остаться, это просто порча, да, применительно к данному случаю можно спокойно употребить это слово, пусть оно и отдает некоторым преувеличением. Лицо дяди и вправду перекашивалось от досады, когда он, приходя к Карлу, — а такие визиты случались лишь раз в день, но всегда в самое разное время — заставал того на балконе. Карл вскоре это заметил и впредь старался отказывать себе в этом удовольствии — по возможности.

Балкон, впрочем, был далеко не единственной его отрадой. В комнате у него стоял американский письменный стол лучшей марки, о каком годами мечтал отец, разыскивая его по всевозможным аукционам и надеясь приобрести по сколько-нибудь доступной цене, что при его скромных средствах так и не удалось. Разумеется, те якобы американские письменные столы, что самозванцами всплывают на европейских аукционах, с этим столом нечего было и сравнивать. У этого, к примеру, в надставке была целая сотня отделений, так что даже сам президент Соединенных Штатов нашел бы здесь полочку для каждой из своих государственных бумаг. Но, кроме того, сбоку имелся еще и регулятор, поворачивая рукоятку которого можно было менять и переставлять отделения по своему усмотрению и вкусу. Тонкие боковые перегородки послушно накренялись и укладывались, превращаясь в дно или крышку новых отделений, одного поворота рукоятки было достаточно, чтобы вся конструкция преобразилась полностью, причем происходило все это, повинуясь малейшей прихоти руки, то медленно и плавно, то невероятно быстро. Хоть это было и новейшее изобретение, но оно живо напомнило Карлу ясли Христовы, какие дома, на родине, словно магнитом притягивали к себе детвору на всех рождественских базарах, и сам Карл тоже не раз в восторге замирал перед ними, завороженно следя, как вместе с оборотами ручки, которую крутил приставленный к этому делу старик,

движется волшебная карусель рождественских чудес: вышагивают запинающейся, кукольной походкой три волхва, вспыхивает, проплывая в небе, огонек звезды, тихо вершится своя укромная жизнь в святом вертепе. И ему все казалось, что мама, стоявшая у него за спиной, смотрит не очень внимательно, он тянул ее за руку, пока не прижимался к ней совсем, и до тех пор с громким криком показывал ей всякие мелочи — *какого-нибудь зайчонка, который, приближаясь, все больше* вырастал из травы, а потом, поднявшись столбиком и навострив ушки, стремительно убегал, — пока мама не прикрывала ему рот ладонью, очевидно, снова впадая в свою рассеянную задумчивость. Стол, понятно, не для того был предназначен, чтобы напоминать о подобных вещах, но в истории самого изобретения, наверное, все же была какая-то смутная связь с ними, как и в воспоминаниях Карла. Дядя, в отличие от Карла, новомодный стол решительно не одобрял, он-то хотел купить Карлу нормальный приличный письменный стол, однако с недавних пор все столы были снабжены таким вот новейшим устройством, которое — и в этом тоже заключалось одно из его преимуществ — за небольшую плату можно было вделывать и в столы старого образца. Хоть стол ему и не нравился, дядя все же не преминул посоветовать Карлу регулятором по возможности не пользоваться вовсе, а чтобы совет звучал весомей, не раз предупреждал, что вся эта механика чертовски капризна и легко ломается, ремонт же обходится непозволительно дорого. Нетрудно было заметить, что подобные рассуждения — всего лишь уловка, но, с другой стороны, отдавая дяде должное, надо признать, что регулятор ничего не стоило просто закрепить намертво, а он этого делать не стал.

В первые дни, когда Карл, понятно, чаще виделся и говорил с дядей, он среди прочего однажды упомянул, что у себя дома, хоть и совсем немного, но с удовольствием играл на пианино, одолев, правда, только азы, которым его обучила мама. Карл, конечно же, прекрасно понимал, что подобный рассказ равносилен просьбе, но он уже достаточно огляделся, чтобы усвоить: дядя отнюдь не бедствует. Просьба, однако, была исполнена совсем не сразу, но все же примерно неделю спустя дядя тоном почти недобровольного согласия сообщил, что пианино доставлено и Карл, если желает, может проследить за транспортировкой инструмента в комнату. Это была, конечно, не бог весть какая трудная работа, впро-

чем, не намного легче самой транспортировки, поскольку в доме имелся специальный грузовой лифт, куда с лихвой вошел бы целый вагон мебели, — в этом-то лифте пианино и приплыло на шестой этаж к дверям комнаты Карла. Сам Карл тоже мог подняться в одном лифте с пианино и грузчиками, но, поскольку рядом пустовал пассажирский лифт, он поехал в пассажирском и с помощью рукоятки управления держался вровень с грузовым, сквозь стеклянные стенки неотрывно разглядывая прекрасный инструмент, который теперь был его собственностью. Когда наконец пианино поставили в комнате и Карл взял первые аккорды, его обуял такой дурацкий восторг, что он, прекратив игру, на радостях даже подпрыгнул и, встав поодаль и уперев руки в боки, снова принялся рассматривать пианино со всех сторон. Да и акустика в комнате была отличная, благодаря чему чувство первоначального неуюта от жизни в стальном доме постепенно исчезло совсем. И в самом деле, сколь ни враждебно смотрелся поблескивающий металлом дом снаружи, внутри, в комнате, ничто не напоминало о его стальной сущности и ни одна даже самая незначительная мелочь обстановки не могла вспугнуть ощущение полнейшего покоя и удобства. В первое время Карл возлагал большие надежды на свою игру и даже не стеснялся, по крайней мере на сон грядущий, помечтать о благотворном непосредственном воздействии своей музыки на сумбурную американскую жизнь. Оно и впрямь звучало странно, когда Карл, настежь распахнув окна, наперекор волнам уличного шума играл старинную солдатскую песню своей родины, ту, которую по вечерам, вторя друг другу, распевали солдаты, свесившись из окон казармы и поглядывая на опустевший, темный плац, — но выглянув в окно, он убеждался, что улица все та же, всего лишь крохотная частица великой круговерти, которую невозможно остановить, не ведая всех таинственных сил, что гонят ее по кругу. Дядя терпел его игру безропотно, ни слова не говоря (тем более что и Карл, опасаясь упреков, не слишком часто позволял себе это удовольствие), — больше того, он как-то даже принес Карлу ноты американских маршей и, разумеется, национального гимна, однако только любовью к музыке вряд ли можно объяснить тот случай, когда он без всяких шуток спросил, не желает ли Карл обучаться еще игре на скрипке или валторне.

Естественно, первым и главным делом Карла был английский. Молодой преподаватель высшего коммерческого учи-

лица каждое утро появлялся в комнате Карла ровно в семь и неизменно заставал своего ученика либо за письменным столом над тетрадями, либо расхаживающим по комнате, зазубривая что-то наизусть. Карл прекрасно понимал, что в изучении английского любых успехов недостаточно, а кроме того, именно тут ему открывались самые благоприятные возможности чрезвычайно порадовать дядю незаурядными достижениями. И действительно, если поначалу в разговорах с дядей весь английский ограничивался словами приветствия и прощанья, то теперь Карлу все чаще удавалось подолгу переходить в этих беседах на английский, что, кстати, способствовало все большей их задушевности. Первое американское стихотворение — что-то о пламенных страстях, — которое Карл однажды вечером продекламировал дяде, повергло того в состояние глубокой и умиротворенной задумчивости. Они оба стояли тогда у окна в комнате Карла, дядя смотрел вдаль, где с меркнущего неба уже смазались все светлые краски, и прочувствованно выбивал такт в ладоши, а Карл, стоя рядом навытяжку, с застывшим взглядом выдавливал из себя трудные стихи.

Чем приличней звучал английский Карла, тем с большим удовольствием дядя сводил его со своими знакомыми, распорядившись, впрочем, на всякий случай, чтобы английский преподаватель на этих встречах неизменно присутствовал и всегда держался от Карла поблизости. Самым первым, кому Карл был представлен, оказался стройный, невероятно гибкий молодой человек, которого дядя, буквально осыпая комплиментами, однажды перед обедом ввел к Карлу в комнату. Это был, очевидно, один из многих — по мнению родителей, совершенно неудавшихся — миллионерских сынков, чей досуг протекал таким образом, что всякий нормальный человек без сердечной боли не смог бы проследить за жизнью этого юноши. А он, словно понимая это и чувствуя, стойко нес свое бремя, покуда достанет сил, с неизменной улыбкой счастья на устах и во взоре, даруя эту улыбку себе, собеседнику и вообще всему свету.

С этим молодым человеком, господином Маком, при безусловном и горячем одобрении дяди было тут же договорено каждое утро, в половине шестого, кататься верхом — либо в манеже, либо просто так, на природе. Карл сперва колебался, он в жизни не садился на лошадь и хотел сперва немного подучиться, но дядя и Мак так настойчиво его уговаривали,

так дружно уверяли, что верховая езда — одно удовольствие и полезный спорт, а вовсе никакое не искусство, что он в конце концов согласился. Теперь, правда, ему приходилось подниматься уже в половине пятого, о чем он порой горько сожалел, так как здесь, в Америке, вследствие постоянной сосредоточенности, его то и дело клонило ко сну, однако в ванной комнате все сожаления вскоре улетучивались. Над чашей ванны во всю ее длину и ширину протянулось мелкое сито душа, — у кого из его одноклассников, будь он даже богач из богачей, там, дома, могло быть хоть что-либо подобное, да еще на себя одного! — а Карл, пожалуйста, лежит, и даже руки в этой ванне может раскинуть, и по своему усмотрению, хочешь — по всей площади, хочешь — частями, низвергает на себя упругие потоки теплой, потом горячей, потом снова теплой, а под конец — обжигающе ледяной воды. Так он лежал, храня в проснувшемся теле уходящее блаженство недавнего сна, и особенно любил подставлять сомкнутые веки последним, отдельным каплям, которые ласково щекотали кожу, струйками стекая по лицу.

В манеже, куда Карла доставлял гордый, как крейсер, дядин лимузин, его уже дожидался английский преподаватель, тогда как Мак неизменно приходил чуть позже. Но он-то мог задерживаться сколько угодно, ибо настоящая, увлекательная езда все равно начиналась лишь с его приходом. Кто объяснит, почему, едва он входил, лошади стряхивали с себя прежнюю полудрему и начинали вставать на дыбы, почему щелк хлыста разносился теперь на весь зал, откуда на галерее, что опоясывала манеж, группами и поодиночке возникали люди — конюхи, ученики, просто зрители и бог весть кто еще? Ну, а время до прихода Мака Карл тоже старался использовать, чтобы освоить хотя бы самые начальные азы верховой езды. Был там один жокей, до того длинный, что, лишь слегка приподняв руку, доставал до холки самой крупной лошади, вот он-то и давал Карлу первые уроки, продолжительность которых, впрочем, не превышала обычно и четверти часа. Надо сказать, что успехи Карла были здесь не слишком велики, и на протяжении занятий он не раз имел возможность попрактиковаться в жалобных английских восклицаниях, когда, задыхаясь, выкрикивал их своему английскому преподавателю, который, прислонившись всегда к одному и тому же дверному косяку, почти засыпал стоя. Но приходил Мак — и почти все тяготы верховой езды мигом

кончались. Долговязого тут же куда-то отсылали, и вскоре в еще полутемном манеже исчезало все — только слышался стук копыт на галопе, только виднелась вскинутая рука Мака, отдающая Карлу команды. Полчаса этого удовольствия пролетало как сон — и все было кончено. Мак, всегда в страшной спешке, прощался с Карлом, иногда, если был особенно им доволен, трепал по щеке и исчезал, не находя времени даже на то, чтобы вместе с Карлом дойти до двери. Карл сажал преподавателя в автомобиль, и они ехали домой на английский урок — как правило, кружными путями, ибо в сутолоке большой улицы, которая вообще-то вела напрямик от дядиного дома к манежу, терялось слишком много времени. Вскоре, впрочем, преподаватель перестал его сопровождать хотя бы сюда, — Карл, терзаясь угрызениями совести, что понапрасну таскает с собой в манеж замученного человека, тем более что общение с Маком было донельзя бесхитростным, попросил дядю избавить преподавателя от этой повинности. После некоторого раздумья дядя его просьбе уступил.

Прошло довольно много времени, прежде чем дядя согласился показать Карлу, да и то наспех, свою фирму, хотя Карл давно его об этом упрашивал. Это была своего рода торгово-посредническая и экспедиционная фирма, о каких Карл, сколько ни старался припомнить, в Европе вообще не слыхивал. Фирма хоть и занималась посреднической торговлей, но товар поставляла не от производителей к потребителям или торговцам, а осуществляла посредническое снабжение товарами и всеми видами сырья для крупных фабричных картелей и между ними. Таким образом, в задачи фирмы входили закупка, складирование, продажа и доставка огромных партий различных товаров, а также поддержка бесперебойного и абсолютно точного телефонного и телеграфного сообщения с клиентами. Телеграфный зал был здесь не меньше, а, пожалуй, больше, чем телеграф в родном городе Карла, в служебные помещения которого он однажды проник стараниями вхожего туда одноклассника. В телефонном зале, куда ни глянь, ходуном ходили двери телефонных кабинок, и трезвон стоял умопомрачительный. Одну из этих дверей, самую ближнюю, дядя открыл: в залитой ярким электрическим светом кабине, безразличный к любым посторонним шумам за спиной, сидел стенографист, голова туго перехвачена стальной лентой, прижимавшей к ушам наушники. Правая рука, отяжелевшая и будто прикованная, покоилась на столике, и лишь

пальцы, стиснувшие карандаш, дергались с нечеловеческой быстротой и ритмичностью. Изредка он бросал скупые, отрывистые реплики в переговорную трубку, и иногда казалось даже, что он порывается что-то возразить или переспросить поточнее, однако слова собеседника на другом конце провода вынуждали его, подавив в себе этот порыв, снова опустить глаза и записывать. Он и не должен ничего говорить, тихо объяснил Карлу дядя, ибо то же самое сообщение одновременно с ним принимают еще два стенографиста, и все три текста потом тщательнейшим образом сверяются, так что ошибки и недоразумения почти исключены. Едва они вышли из кабины, в дверь тут же прошмыгнул практикант и сразу же выскочил со свежеисписанным листком очередного сообщения. По центру зала, на проходе, толчея была, как на улице. Люди сновали взад-вперед, никто не здоровался, приветствия здесь были упразднены, каждый применялся к побежке впереди идущего и смотрел либо в пол, как бы надеясь ускорить его продвижение под ногами, либо в свои бумаги, выхватывая оттуда, вероятно, лишь отдельные, прыгающие на бегу слова и цифры.

— Ты и вправду широко развернулся, — заметил Карл во время одной из таких вылазок на фирму, весь осмотр которой — даже если просто ненадолго заглядывать в каждый отдел — *потребовал бы многих дней*.

— И притом заметь, я сам все это поставил. Тридцать лет назад у меня была только маленькая контора возле порта, и если там в день отпускали пять ящиков, это считалось много и я шел домой, пыжась от гордости. А сегодня мои склады — третьи в порту по вместимости, а в той конторе теперь столовая и подсобка пятьдесят шестой бригады моих грузчиков.

— Но ведь это почти чудо, — изумился Карл.

— А тут все быстро делается, — сказал дядя, обрывая разговор.

Однажды дядя зашел к нему перед самым обедом, который Карл, как обычно, думал проглотить в скучном одиночестве, велел ему немедленно надеть черный костюм и идти обедать к нему: он пригласил двух своих приятелей и компаньонов. Пока Карл переодевался в соседней комнате, дядя присел за письменный стол и, просмотрев только что законченное задание по английскому, хлопнул ладонью по столу и громко воскликнул:

— И впрямь отлично!

После такой похвалы и переодевание пошло у Карла быстрей, но он в самом деле был уже довольно спокоен за свой английский.

В дядиной столовой, которую Карл запомнил еще с первого вечера своего приезда, навстречу поднялись два высоких, весьма упитанных господина, один — некто Грин, второй — некто Полландер, как выяснилось в ходе дальнейшей застольной беседы. Ведь дядя, как правило, даже вскользь не говорил с Карлом о своих знакомых, предоставляя племяннику самому во всем разбираться и извлекать для себя все необходимое и интересное. После того, как непосредственно за едой были доверительно обсуждены сугубо деловые вопросы, что с успехом заменило Карлу обстоятельную лекцию по английским коммерческим выражениям, — самого Карла в это время не замечали вовсе, предоставив ему тихо заниматься своей едой, будто он дитя малое, которого первым делом следует хорошо накормить, — господин Грин, весь подавшись вперед и явно стараясь как можно разборчивей выговаривать родные английские слова, задал Карлу простейший вопрос об его первых американских впечатлениях. В наступившей тишине, искоса поглядывая на дядю, Карл ответил довольно подробно, постаравшись, дабы сделать собеседнику приятное, окрасить свою речь нью-йоркскими словечками. Одно из таких его выражений было встречено дружным смехом, Карл даже испугался, уж не сделал ли ошибку, но нет, как тут же заверил его господин Полландер, он, напротив, высказался весьма удачно. Этот господин Полландер, похоже, вообще проникся к Карлу особым расположением, и, покуда дядя с господином Грином снова углубились в разговор о делах, он, жестом пригласив Карла перебраться вместе с креслом к нему поближе, сперва расспрашивал о всякой всячине, поинтересовавшись его именем, происхождением, подробностями его путешествия, а потом, чтобы дать наконец Карлу передышку, смеясь и покашливая, скороговоркой рассказал о себе и своей дочери, с которой они живут в небольшой вилле неподалеку от Нью-Йорка, где он-то, правда, бывает только по вечерам, поскольку он банкир, а это ремесло целыми днями держит его в городе. Карл, кстати, тут же был весьма сердечно приглашен на эту виллу выбраться, ведь он, новоиспеченный американец, наверняка испытывает потребность иногда отдохнуть от Нью-Йорка. Карл, не откладывая, спросил у дяди, разрешит ли тот принять столь любезное

приглашение, на что дядя ответил вежливым и вроде бы даже радостным согласием, не оговорив, однако, против ожиданий Карла и господина Полландера, точных сроков поездки и, похоже, даже не думая их намечать.

Однако уже назавтра Карл был срочно вызван в дядин кабинет — у него в одном только этом доме было десять разных кабинетов, — где застал дядю и господина Полландера, с довольно замкнутым видом возлежащими в креслах.

— Господин Полландер, — проговорил дядя, лица которого в вечернем сумраке было почти не видно, — приехал забрать тебя к себе на виллу, как мы вчера договорились.

— Я не знал, что это уже сегодня, — ответил Карл. — Если б знал, я бы собрался.

— Если ты не собрался, может, стоит отложить визит на другой раз? — рассудил дядя.

— Какие там сборы!— вскричал господин Полландер. — Молодой человек всегда должен быть в боевой готовности!

— Дело не в нем, — возразил дядя, поворачиваясь к своему гостю. — Но ему пришлось бы подниматься к себе в комнату, а это вас задержит.

— Ничего, и на это времени хватит, — заверил господин Полландер. — Я предвидел заминку и пораньше покончил с делами.

— Видишь, сколько хлопот уже причиняет твой визит, — укоризненно сказал дядя.

— Мне очень жаль, — смущенно пробормотал Карл. — Но я в два счета. — И уже собрался умчаться.

— Да не торопитесь вы так, — успокоил его господин Полландер. — Ни малейших хлопот вы мне не причинили, напротив, ваш визит для меня большая радость.

— Но ты пропускаешь завтра манеж, надеюсь, ты отменил занятия?

— Нет, — признался Карл. Эта поездка, которой он так обрадовался, уже начинала его тяготить. — Я же не знал...

— Однако все равно хочешь ехать? — не унимался дядя.

Но господин Полландер, этот милейший человек, и тут пришел ему на выручку.

— Мы по дороге заедем в манеж и все уладим.

— Что ж, это еще куда ни шло, — уступил дядя. — Но Мак тебя будет ждать.

— Ждать он меня не будет, — ответил Карл, — но прийти придет.

— Ну и?.. — проговорил дядя таким тоном, словно ответ Карла ни в коей мере не являлся оправданием.

Но и тут последнее слово осталось за господином Полландером.

— Но ведь Клара (это была дочь господина Полландера) тоже его ждет, причем уже сегодня вечером, и, видимо, имеет право на предпочтение?

— Безусловно, — неохотно согласился дядя. — Ну, что ж, беги к себе в комнату, — сказал он и несколько раз как бы в рассеянности пристукнул ладонью по подлокотнику кресла.

Карл был уже в дверях, когда дядя остановил его еще одним вопросом:

— Но на английский урок завтра утром ты, надеюсь, явишься?

— Но позвольте! — в изумлении воскликнул господин Полландер, тщетно пытаясь повернуться в кресле всем своим грузным телом. — Неужели ему нельзя провести у нас хотя бы завтрашний день? А послезавтра к утру я привез бы его обратно.

— Ни в коем случае, — отрезал дядя. — Я не могу до такой степени запускать его занятия. Позднее, когда он начнет жить размеренной трудовой жизнью, я с удовольствием разрешу ему воспользоваться столь любезным и лестным приглашением даже на более длительный срок.

«Что у них за споры?» — недоумевал Карл.

Господин Полландер заметно погрустнел.

— На один вечер и одну ночь, пожалуй, и впрямь не стоит.

— Вот и я так полагал, — сухо заметил дядя.

— Надо брать, что дают, — решил вдруг господин Полландер и снова рассмеялся. — Итак, я жду! — крикнул он Карлу, который, благо дядя ни слова больше не проронил, стремглав бросился наверх.

Когда Карл, готовый к отъезду, вскоре вернулся в кабинет, он застал там только господина Полландера, а дяди уже не было. Господин Полландер, сияя от счастья, схватил Карла за обе руки и начал трясти, словно изо всех сил хотел увериться, что Карл и вправду с ним едет. Карл, еще разгоряченный от спешки, ответил ему тем же, так он был рад, что его все-таки отпустили.

— Дядя не очень сердился, что я еду?

— Да нет же! Это он так, больше для виду. Просто он слишком близко к сердцу принимает ваше воспитание.

— Это он вам сам так сказал, что сердится больше для виду?

— Ну, конечно, — протянул господин Полландер, доказав тем самым, что врать он умеет плохо.

— Странно, что он так неохотно меня отпустил, ведь вы его друг.

Господин Полландер, хоть и не признавался в открытую, тоже не находил объяснения этой странности, и оба они, плавно катя в автомобиле господина Полландера сквозь теплый вечер, еще долго об этом раздумывали, беседуя, правда, совершенно о другом.

Они сидели тесно, бок о бок, и господин Полландер, рассказывая, держал руку Карла в своей. Карл хотел побольше услышать о барышне Кларе, словно ему не терпелось поскорее приехать и рассказы господина Полландера способны домчать их до цели быстрее, чем его автомобиль. И хотя он ни разу еще не ездил по вечерним нью-йоркским улицам, а вокруг, по тротуарам и мостовым, ежесекундно меняя направление, как под порывами штормового ветра, волнами раскатывался многоголосый шум, производимый, казалось, не людьми, а какой-то чуждой стихией, Карл словно ничего этого и не замечал, стараясь не пропустить ни одного слова господина Полландера и не сводя глаз с его темной жилетки, на которой, тяжело опадая, покоилась золотая цепочка. С улиц, где оголтелая публика в паническом страхе опоздать, летящей припрыжкой и в машинах, выскакивая из них чуть ли не на ходу, устремлялась к толкучке театральных подъездов, они выбрались в районы потише, потом на окраины и, наконец, в предместья, где их автомобиль то и дело начали останавливать и сворачивать в переулки конные полицейские, поскольку все главные улицы, как оказалось, заняты демонстрацией бастующих металлистов и открыты лишь для поперечного проезда на нескольких перекрестках, да и то в случае крайней необходимости. Когда потом, выныривая из темноты узких, глухим рокотом отзывающихся переулков, автомобиль пересекал какую-нибудь из этих улиц, шириною с целую площадь, по обе стороны в безнадежных, нескончаемых перспективах взгляду открывались тротуары с протянувшимися по ним черными вереницами людей, которые медленно, мелкими шажками куда-то двигались, а всю улицу заполняло их пение, более слитное, чем голос одного человека. На расчищенной от толпы проезжей части кое-где можно было

заметить то полицейского на неподвижно застывшем коне, то людей с флагами или протянутыми через всю улицу транспарантами, то какого-нибудь рабочего вожака в окружении соратников и ординарцев, то вагон электрического трамвая, который недостаточно шустро убегал от демонстрации и вот теперь, настигнутый, стоял с темными, пустыми окнами, а водитель и кондуктор коротали время, усевшись на подножке. Горстки зевак, глазея на демонстрантов, держались от них подальше, но с места не двигались, хоть и не знали толком, что тут, собственно, происходит. Карл, безмятежно откинувшись на руку господина Полландера, обнявшего его за плечи, тоже ни о чем таком не помышлял, счастливая уверенность, что скоро он будет желанным гостем в уютном, освещенном доме, под защитой надежных стен, под охраной сторожевых псов, наполняла его душу блаженным покоем, и хоть из-за подступающей сонливости он уже не все речи господина Полландера воспринимал отчетливо или, по крайней мере, без пропусков, однако время от времени он встряхивался и протирал глаза, желая еще раз ненадолго убедиться, что господин Полландер его сонливости не замечает, ибо уж этого-то Карл любой ценой хотел избежать.

Глава третья

ОСОБНЯК ПОД НЬЮ-ЙОРКОМ

— Вот и приехали, — раздался голос господина Полландера как раз в один из таких, упущенных Карлом промежутков.

Автомобиль стоял у ворот особняка, который, на манер всех загородных вилл нью-йоркских богачей, был куда выше и внушительней, чем это необходимо для загородного дома на одну семью. Поскольку светились лишь нижние окна здания, невозможно было даже приблизительно оценить высоту его укутанных тьмой очертаний. За решеткой ограды шелестели каштаны, меж которыми — калитка была уже распахнута — пролегала прямая дорожка к сбегающей навстречу парадной лестнице. По тому, как затекло все тело, Карл рассудил, что ехали они все-таки довольно долго. Во мраке каштановой аллеи девичий голос неожиданно близко произнес:

— А вот наконец и господин Якоб!

— Моя фамилия Росман, — ответил Карл, беря протянутую ему руку девушки, чей силуэт он только теперь угадал в темноте.

— Он же только племянник Якоба, — пояснил господин Полландер. — А зовут его Карл Росман.

— Это нисколько не умаляет нашу радость его здесь видеть, — сказала девушка, видимо, вообще не придавая именам особого значения.

Тем не менее Карл, направляясь между девушкой и господином Полландером к дому, на всякий случай спросил:

— А вы, сударыня, наверно, и есть Клара?

— Да, — ответила она, повернув к нему теперь уже различимое в свете окон лицо. — Просто я не хотела в темноте представляться.

«Что же, она так и ждала нас у калитки?» — успел удивиться Карл, на ходу постепенно просыпаясь.

— У нас, кстати, сегодня еще один гость, — сообщила Клара.

— Быть не может! — воскликнул господин Полландер с досадой.

— Господин Грин, — добавила она.

— А когда он приехал? — спросил Карл, словно осененный каким-то неясным предчувствием.

— Да прямо перед вами. Я думала, вы слышали его машину.

Карл взглянул на господина Полландера, старясь понять, как он расценивает этот визит, но тот, держа руки в карманах, только чуть грузнее затопал по дорожке.

— Никакого толку жить просто под Нью-Йорком, покоя все равно не дадут. Нет, надо переезжать еще дальше. Пусть я хоть полночи буду домой добираться.

У лестницы они остановились.

— Но господин Грин давно у нас не был, — робко заметила Клара, очевидно, полностью согласная с отцом, но желая как-то его успокоить.

— Да, но кто его просил приезжать именно сегодня! — воскликнул господин Полландер, и казалось, речь его яростно слетает прямо с толстой нижней губы, которая мясистым розовым валиком так и запрыгала над подбородком.

— Это уж точно, — согласилась Клара.

— Может, он скоро уедет? — предположил Карл, сам удивляясь, как быстро оказался заодно с этими еще вчера совершенно чужими людьми.

— О нет, — сказала Клара, — у него к папе какое-то серьезное дело, и разговор, наверное, будет долгий, он уже в шутку грозился, что, если я хочу прослыть вежливой хозяйкой, мне придется сидеть с ними до утра.

— Этого еще не хватало! Значит, он останется на ночь, — простонал Полландер, как будто теперь наконец сбылись самые худшие его предположения. — По правде говоря, — продолжил он, и от этой новой мысли лицо его сразу просветлело, — по правде говоря, лучше уж мне, господин Росман, сразу усадить вас в автомобиль и отвезти обратно к дяде. Сегодняшний вечер, можно считать, заведомо пропал, а кто знает, когда ваш дядя снова вас к нам отпустит. Если же я вас сегодня привезу, он в следующий раз не сможет нам отказать.

И он уже подхватил было Карла под руку, намереваясь осуществить свой замысел. Но Карл не тронулся с места, да и Клара стала просить его оставить, по крайней мере, ей и Карлу господин Грин нисколько не помешает, так что и сам Полландер мало-помалу начал колебаться в своем намерении. А кроме того — и это, видимо, решило дело — с верхней площадки парадной лестницы внезапно раздался зычный голос господина Грина, взывающий во тьму сада:

— Эй, где вы там?

— Пошли! — сказал Полландер и шагнул на лестницу.

Следом за ним двинулись Карл и Клара, осторожно присматриваясь друг к другу в наплывающем свете.

«Какие у нее губы алые», — мелькнуло у Карла, и, вспомнив о губах господина Полландера, он подивился, как прекрасно преображены они на лице его дочери.

— Когда отужинаем, — так она выразилась, — мы с вами, если не возражаете, сразу пойдем в мою комнату, чтобы хоть нам избавиться от этого господина Грина, раз уж папе все равно с ним заниматься. И вы не откажете в любезности немножко мне поиграть, папа мне уже рассказал, как замечательно вы это умеете. А я, к сожалению, к занятиям музыкой совсем не способна и к своему пианино не притрагиваюсь, хотя вообще-то музыку ужасно люблю.

Такое предложение, конечно, пришлось Карлу по душе, хоть он был бы и не прочь завлечь в их общество еще и господина Полландера. Однако при виде гигантской фигуры Грина — к размерам Полландера Карл уже как-то попривык, — которая вырастала на глазах по мере того, как они поднимались по лестнице, всякая надежда каким-либо образом вызволить сегодня господина Полландера из лап этого великана оставила Карла напрочь.

Господин Грин встретил их очень деловито, словно многое предстояло наверстать, сразу взял господина Полландера

под руку и, слегка подталкивая перед собой Карла и Клару, увлек всех в столовую, которая — особенно благодаря цветам на столе, клонившим стебли из всплеска свежей, остролистой зелени, — выглядела очень нарядно и вдвойне заставляла сожалеть о назойливом присутствии господина Грина. Не успел Карл, стоя у стола и дожидаясь, пока сядут остальные, порадоваться тому, что большая дверь в сад обеими своими створками распахнута настежь и в комнате, словно в садовой беседке, веет свежестью и благоуханием, как господин Грин, пыхтя, принялся ее закрывать, нагнулся к нижней щеколде, потянулся к верхней, и все это с такой юношеской резвостью, что подоспевший было слуга остался совершенно не у дел. Первыми словами господина Грина за столом были слова удивления по поводу того, что Карл получил добро дяди на этот визит. Отправляя в рот одну ложку супа за другой, он объяснял, обращаясь то направо к Кларе, то налево к господину Полландеру, почему его это так удивляет, и как дядя над Карлом трясется, и сколь вообще велика любовь дяди к Карлу, — мол, не всякий родитель питает к своему чаду столь же пылкие чувства.

«Мало того, что он сюда без спросу заявился, так он еще лезет в мои отношения с дядей!» — возмутился Карл и не мог больше проглотить ни ложки ароматного, мерцающего золотистыми глазками супа. Но потом, не желая показывать, как неприятен ему весь этот разговор, все-таки снова начал есть, молча заглатывая ложку за ложкой. Ужин тянулся мучительно, как пытка. Только господин Грин и еще, быть может, Клара были оживлены и иногда находили случай немного посмеяться. Господин Полландер лишь изредка вступал в беседу, когда господин Грин заводил разговор о делах. Но он и от таких разговоров как-то быстро отключался, пока господин Грин спустя некоторое время не застигал его врасплох очередным вопросом. Вообще же Грин как-то особенно напирал на то, — именно в этом месте Клара напомнила Карлу, который внимательно и встревоженно прислушивался, что он все-таки за ужином и у него стынет жаркое, — что он вовсе не намеревался наносить сегодня этот неожиданный визит. Потому что дело, о котором речь еще впереди, хоть и вправду весьма срочное, однако в общих чертах его можно было обсудить сегодня в городе, а уж всякие мелочи отложить до завтра или вообще на потом. Он и вправду еще задолго до закрытия зашел к господину Полландеру в банк, однако его

уже не застал, вот и пришлось звонить домой, предупреждать, что ночевать он не будет, и ехать сюда.

— В таком случае я должен попросить извинения, — громко произнес Карл, прежде чем кто-либо успел хоть слово сказать. — Это из-за меня господин Полландер сегодня раньше ушел из банка, о чем я весьма сожалею.

Господин Полландер поспешил прикрыть лицо салфеткой, а Клара хоть и улыбнулась Карлу, но не сочувственно, а скорее как бы пытаясь его одернуть.

— Да какие там извинения, — возразил господин Грин, уверенными, точными движениями разделывая жареного голубя у себя на тарелке. — Совсем напротив, я очень рад провести вечер в столь приятном обществе, чем ужинать в одиночестве дома под присмотром моей старухи экономки, которая настолько одряхлела, что с превеликим трудом доходит от двери до моего стола и я успеваю неплохо отдохнуть в своем кресле, наблюдая за этим ее путешествием. Лишь недавно мне удалось добиться, чтобы из кухни до дверей столовой блюда доставлял слуга, ну а уже проход от двери до стола она, как я понимаю, никому не уступит.

— Господи, — воскликнула Клара, — вот это верность!

— Да, не перевелась еще верность на свете, — изрек господин Грин, отправляя в рот очередной кусок, где его, как ненароком заметил Карл, с жадностью подхватил розовый, влажный и сильный язык.

Карлу едва не сделалось дурно, и он встал. В ту же секунду господин Полландер и Клара с двух сторон схватили его за руки.

— Что вы, что вы, сидите, — всполошилась Клара. А когда он сел, шепнула: — Скоро мы вместе сбежим. Наберитесь терпения.

Господин Грин между тем преспокойно продолжал есть, словно это самое обычное для господина Полландера и Клары дело — успокаивать Карла, если тому чуть не стало дурно по его милости.

Трапеза особенно затянулась из-за обстоятельности, с которой господин Грин воздавал должное каждому новому блюду, сохраняя, впрочем, недюжинные силы и энтузиазм для последующих, — похоже, он и впрямь вознамерился как следует отдохнуть от забот своей старушки экономки. Он то и дело принимался хвалить искусницу Клару, которая так замечательно ведет хозяйство, и той это явно льстило, тогда как Карлу казалось, будто Грин на нее посягает, и все время

хотелось его осадить. Но господин Грин одной Кларой не довольствовался, не поднимая глаз от тарелки, он частенько сожалел о столь очевидном отсутствии аппетита у Карла. Господин Полландер даже взял Карла под защиту, хотя ему-то как гостеприимному хозяину, наоборот, полагалось бы Карла потчевать. Ощущая в течение всего ужина странную подавленность, Карл до того разнервничался, что, при всей своей расположенности к господину Полландеру, и вправду истолковал это заступничество как нелюбезность. Ничего удивительного, что при таком своем состоянии он то вдруг принимался есть неприлично быстро и много, то снова замирал, устало опустив нож и вилку, впадая в столь отрешенное оцепенение, что подающий блюда слуга не знал, с какой стороны к нему подступиться.

— Завтра же расскажу господину сенатору, как вы огорчили бедняжку Клару своим неважным аппетитом, — пообещал господин Грин, соизволив подчеркнуть шутливость этих слов лишь тем, как он расправляется с бифштексом. — Вы только посмотрите на девочку, она же просто в отчаянии, — продолжил он, беря Клару за подбородок. Та не противилась, только закрыла глаза. — Ах ты, куколка моя! — воскликнул он и расхохотался, багровея сытым, наевшимся лицом.

Тщетно силился Карл понять необъяснимое поведение господина Полландера. Потупившись над тарелкой, тот не поднимает глаз, будто именно там, в тарелке, происходит все самое интересное. Он не придвинет стул Карла к себе поближе, а если что и говорит, то обращается ко всем сразу, лично же с Карлом ему вроде и не о чем побеседовать. Он, напротив, терпеливо сносит выходки Грина, этого старого прожженного нью-йоркского холостяка, который с недвусмысленными намерениями трогает его дочь, оскорбляет Карла, его гостя, или по меньшей мере обходится с ним как с ребенком, и вообще одному богу известно, для каких таких дел он тут подкрепляется и что замышляет.

По окончании трапезы — Грин, почувствовав наконец общее настроение, встал первым и тем как бы подал команду остальным — Карл в одиночестве отошел в сторонку, к одному из больших, с узкими белыми продольными рейками окон, что вело на террасу и оказалось при ближайшем рассмотрении даже не окном, а дверью. Куда подевалась былая неприязнь, которую господин Полландер и Клара поначалу вроде бы испытывали к Грину и которую он, Карл, счел сперва даже

несколько непонятной? Теперь же они стоят возле этого Грина и только кивают. Дым от сигары господина Грина, которой угостил его Полландер, — сигары такой толщины, что, наверное, именно о таких иногда рассказывал дома отец как о диковине, которую он своими глазами в жизни не видывал, — расползался по зале и как бы разносил присутствие Грина даже в такие уголки и ниши, куда сам он ни за что не смог бы протиснуться. Как ни далеко стоял Карл, но все равно он чувствовал этот дым и у него щипало в носу, а все поведение господина Грина, на которого он отсюда лишь разок мельком оглянулся, представлялось ему просто беспардонным. Теперь он уже не исключал мысль, что дядя потому только так упорно пытался возбранить ему эту поездку, что, зная слабохарактерность господина Полландера, если не в точности предвидел, то уж наверняка допускал, что Карла каким-то образом могут в этом доме обидеть. Да и американская девица тоже ему не нравилась, хоть внешностью, надо признать, почти не обманула его ожиданий. А с тех пор, как Грин стал за ней увиваться, Карл даже поражался красоте, на которую, оказывается, способно ее лицо, в особенности же неукротимому блеску ее буйных, стреляющих глаз. И юбок вроде этой, чтобы так обтягивали тело, он отродясь не видывал, — вон как подернулась мелкими тугими складочками тонкая прочная желтоватая ткань. Но все равно Карлу она безразлична, и чем тащиться с ней в ее комнату, он, будь его воля, с радостью распахнул бы дверь, за ручку которой он сейчас на всякий случай обеими руками держался, и сел бы в машину или, если шофер уже спит, отправился бы до Нью-Йорка один, хоть пешком. Ясная ночь приветливым светом луны манила на свои просторы, и страшиться чего-либо там, на воле, казалось Карлу совсем уж глупым. Он вообразил — и впервые в этих стенах у него стало веселей на душе, — как поутру, раньше-то он вряд ли доберется, он ошеломит дядю своим возвращением. Он, правда, еще ни разу не был в дядиной спальне и даже не знает, где она находится, но уж как-нибудь отыщет. Он постучится в дверь и в ответ на сухое «войдите» вихрем ворвется в комнату и застигнет своего милого дядю, которого и видел-то прежде всегда только при костюме, только застегнутым на все пуговицы, врасплох — на кровати, в ночной рубашке, с изумлением взирающим на дверь. Само по себе это, конечно, не бог весть какое событие, но, если подумать, сколько же всего оно может за собой повлечь! Быть

может, они впервые вместе с дядей позавтракают, дядя еще в постели, Карл рядом в кресле, а завтрак между ними на маленьком столике; быть может, такой совместный завтрак войдет у них в обыкновение, и, быть может, благодаря таким вот завтракам — да, пожалуй, это почти неизбежно, — они станут видеться чаще, чем всего раз в день, как было прежде, и, разумеется, научатся проще, откровеннее, задушевней говорить друг с другом. Если он сегодня и был с дядей несколько непослушен, чтобы не сказать упрям, так ведь это только от недостатка откровенности! И даже если сегодня ему придется остаться здесь на ночь — к сожалению, все, похоже, к тому и клонится, хоть его и бросили тут у окна одного, предоставив самому развлекать себя как угодно, — быть может, злосчастный этот визит повернет к лучшему их с дядей отношения, и, как знать, возможно, дядя сейчас у себя в спальне обдумывает такие же мысли?

Слегка утешив себя, он обернулся. Перед ним стояла Клара.

— Вам совсем у нас не нравится? — спросила она. — И *совсем не хочется почувствовать себя как дома? Пойдемте, я* попытаюсь в последний раз.

Через всю залу она повела его к дверям. В сторонке за столиком сидели Грин и Полландер, перед каждым в высоком бокале пенился какой-то неизвестный Карлу напиток, которого и он, кстати, не отказался бы попробовать. Господин Грин, облокотившись на столик и весь подавшись вперед, склонил лицо к господину Полландеру и что-то ему нашептывал; если не знать господина Полландера, в пору было подумать, что они не сделку обсуждают, а задумали какое-то злодейство. И если господин Полландер дружеским взглядом проводил Карла до самой двери, то Грин, напротив, даже не подумал оглянуться, хотя это только естественно — проследить за взглядом собеседника, из чего Карл заключил, что Грин всем своим поведением как бы дает ему понять: либо ты, либо я, пусть каждый бьется за себя, а уж необходимые светские условности будут восстановлены только после победы одного и полного уничтожения другого.

«Если он так думает, — решил про себя Карл, — то он совсем дурак. Мне до него и дела нет, пусть и он оставит меня в покое». Едва оказавшись в коридоре, он успел подумать, что, наверное, повел себя невежливо, ибо так завороженно озирался на Грина, что Кларе чуть ли не силой пришлось вытаскивать его из комнаты. Тем охотнее пошел он теперь

рядом с ней. Они шли по коридорам, и сперва Карл просто не поверил своим глазам, когда через каждые двадцать шагов им попадался замерший у стены слуга в богатой ливрее и с подсвечником, который он обеими руками держал на весу за массивное основание.

— Электричество провели пока только в столовую, — объяснила Клара. — Мы этот дом недавно купили и целиком перестраиваем, насколько вообще можно перестроить старый дом, да еще с такой прихотливой архитектурой.

— Значит, и в Америке уже есть старые дома, — заметил Карл.

— Конечно, — рассмеялась Клара, увлекая его дальше. — Странные у вас, однако, представления об Америке.

— Нечего надо мной смеяться, — сказал он сердито. В конце концов, он-то уже видел и Европу, и Америку, а она только Америку.

По пути, слегка протянув руку, Клара распахнула одну из дверей и, не останавливаясь, сообщила:

— Здесь вы будете спать.

Карлу, разумеется, захотелось туда заглянуть, но Клара раздраженно, почти срываясь на крик, заявила, что с этим успеется, а пока что пусть идет за ней. Карл заупрямился, они немного потягались у двери, но в конце концов Карл решил, что негоже ему во всем потакать девчонке, вырвал руку и вошел в комнату. Внезапно обступивший его мрак понемногу рассеялся лишь у окна, где мерно и тяжело покачивало всею кроной старое дерево. Слышалось пение птиц. В самой комнате, куда лунный свет еще не добрался, было трудно что-либо различить. Карл пожалел, что не взял с собой электрический карманный фонарик — подарок дяди.

В таком доме фонарик просто необходим, несколько фонариков — и можно спокойно отправить прислугу спать. Он сел на подоконник и, вглядываясь во тьму, прислушался. Вспугнутая птица спросонок забилась в листве могучего дерева. Далеко разнесся по округе гудок нью-йоркского пригородного поезда. И снова упала тишина.

Но ненадолго — в комнату нервно вошла Клара.

— Что все это значит?! — крикнула она с нескрываемой злостью и от ярости даже хлопнула себя по ляжкам. Будь она повежливей, Карл бы ответил. Но она, не дожидаясь, подскочила к нему и с криком: «Так идете вы или нет?» — то ли с умыслом, то ли просто в сердцах ткнула его в грудь, да так, что он неминуемо выпал бы из окна, если бы в последнюю

секунду не успел зацепиться пятками за стенку и, еле удержав равновесие, соскользнул с подоконника, ощутив под ногами спасительный пол.

— Я чуть не свалился, — сказал он с упреком.

— И зря не свалились. Почему вы такой нескладный? Вот возьму — и снова вытолкну.

С этими словами она и вправду обхватила Карла и, слегка приподняв, — Карл, почувствовав, как напряглось все ее неожиданно сильное, тренированное тело, совсем опешил и в первую секунду даже не сопротивлялся, — едва не донесла до окна. Но тут, опомнившись, Карл резким движением вывернулся и сам ее схватил.

— Ах, вы мне делаете больно, — тут же пролепетала она.

Ну уж нет, теперь он ее не отпустит. Правда, Карл дал ей свободу идти куда вздумается, но рук не разжимал. К тому же в этом узком платье ее так легко держать.

— Пустите меня, — прошептала она. Ее разгоряченное лицо было совсем рядом, даже трудно смотреть ей в глаза, до того она близко. — Пустите меня, я вам что-то дам.

«Почему она так дышит, — удивлялся Карл, — ей вроде не больно, я ее даже не стиснул», — а сам и не думал ее отпускать.

Секунда молчаливого, неосмотрительного ожидания — и внезапно он снова почувствовал на себе нарастающую силу ее упругого тела: она вырвалась, провела хорошо отработанный верхний захват, каким-то неизвестным приемом ловко отбила его ногу, когда он попытался поставить ей подножку, и, великолепно держа дыхание, потащила его куда-то к стене. Там, однако, оказалась тахта, на нее-то она и бросила Карла, после чего, опасаясь, впрочем, слишком низко к нему наклоняться, сказала:

— А теперь только попробуй у меня шелохнуться!

— С ума сошла?! Вот бешеная! — только и смог выдавить Карл, испытывая бессилие, ярость, стыд, — все вместе.

— Думай, что говоришь, — сказала она и, скользнув рукой по его шее, так сдавила горло, что Карл, не в силах продохнуть, только хватал ртом воздух, в то время как другой рукой она уже поглаживала его по щеке, время от времени отрывая ладонь и отводя ее все дальше, как бы примериваясь влепить ему пощечину. — А что, если, — приговаривала она при этом, — что, если в наказание за такое обращение с дамой я надаю тебе пощечин и отправлю домой? Воспоминание у тебя, конечно, будет не из приятных, зато хороший урок на будущее. Да

жалко, ты довольно смазливенький мальчик, и если бы обучался джиу-джитсу, наверно, мигом бы со мной управился. И все-таки, все-таки так и подмывает отхлестать тебя по мордасам, уж больно хорошо ты лежишь. Потом я, наверно, сама жалеть буду, так что имей в виду, если я это и сделаю, то почти против воли. Но уж конечно, одной оплеухой я не ограничусь, буду лупить направо и налево, пока у тебя все щечки не заплывут. А ты, как человек чести — а я почти верю, что ты человек чести, — не вынесешь позора этих пощечин и лишишь себя жизни. Вот только не пойму — чем я тебе не угодила? Или я тебе не нравлюсь? Неужели неохота пойти со мной в мою комнату? Стоп! Вот видишь, еще чуть-чуть, и я бы не удержалась и вмазала. Так что если сегодня тебе это сойдет, то впредь будь повежливей. Я тебе не дядя, чтобы вокруг тебя тут плясать. Но вообще-то учти, что, если я отпущу тебя сегодня без пощечин, ты не должен думать, будто по кодексу чести это одно и то же — оказаться в твоем беспомощном положении или действительно схлопотать пощечину, а если ты не улавливаешь разницу, тогда уж лучше бы мне и вправду тебя отхлестать. То-то Мак посмеется, когда я ему все расскажу.

Вспомнив о Маке, она Карла отпустила, так что в его спутанном сознании Мак предстал чуть ли не избавителем. Какое-то время он еще чувствовал ее руку на своей шее, потом осторожно высвободился и затих.

Клара велела ему встать, но он не ответил, даже не пошелохнулся. Чиркнула спичка, в комнате стало светлее, из темноты проступил голубой узор плафона, но Карл лежал, откинувшись на подушки тахты, все в той же позе, в какой он оказался по милости Клары, и даже головы не поворачивал. Клара расхаживала по комнате, узкая юбка шуршала по ногам, потом, видимо, возле окна она надолго остановилась.

— Надулся? — донесся до него ее голос.

Карлу все это становилось в тягость — даже в этой комнате, отведенной ему господином Полландером для ночлега, его не оставляют в покое. С какой стати тут разгуливает эта девица, останавливается, что-то говорит, хотя она уже до смерти ему надоела? Поскорее уснуть, а завтра уехать — вот единственное его желание. И не надо никакой постели, он останется на тахте, лишь бы его никто не трогал. Он не мог дождаться, когда же Клара наконец уйдет, чтобы одним прыжком подскочить к двери, щелкнуть задвижкой и снова

броситься на тахту. Так хотелось потянуться, зевнуть — но не при Кларе же? Так он и лежал, уставившись в пустоту, чувствовал, как постепенно деревенеет лицо, перед глазами мелькала кружившая над ним муха, но даже ее он толком не замечал.

Клара снова подошла, склонилась над ним, перехватила его взгляд, так что ему пришлось сделать над собой усилие, чтобы не смотреть ей в глаза.

— Я сейчас уйду, — сказала она. — Может, немного погодя тебе все-таки захочется ко мне заглянуть. Моя дверь — четвертая отсюда по этой же стороне коридора. Так что ты выйдешь, три двери пройдешь, а четвертая будет моя. В зал я больше не спущусь, останусь у себя в комнате. Ты меня тоже порядочно вымотал. Не думай, что я тебя буду ждать, но если захочешь зайти — милости прошу. Не забудь, ты ведь обещал мне поиграть. Но, может, я тебя слишком утомила и тебе даже пошевельнуться трудно — тогда оставайся тут и спи, а папе я о нашей стычке пока что ни слова не скажу — это я на тот случай, чтоб ты зря не беспокоился.

И с этими словами она бодро — несмотря на свою якобы усталость — выбежала из комнаты.

Карл тотчас же сел — лежать было уже совсем невмоготу. Чтобы размяться немного, он прошелся до двери, выглянул в коридор. Ну и темнотища! Он поскорей закрыл и замкнул дверь, лишь после этого, у стола, при свете свечи, ему стало полегче. Решение он принял такое: в этом доме он больше не останется, спустится сейчас к господину Полландеру, напрямик расскажет, как обошлась с ним Клара — признаться в своем поражении ему ничуть не стыдно, — и по этой, вполне уважительной причине попросит разрешить ему уехать или даже уйти домой. Если же господин Полландер будет возражать против его немедленного отъезда или ухода, Карл в таком случае попросит, чтобы кто-то из слуг проводил его до ближайшей гостиницы. Конечно, подобным образом не очень-то принято поступать с радушными хозяевами, но поступать с гостями, как поступила с ним Клара, не принято и подавно. И она еще думает, что, пообещав ничего пока не рассказывать господину Полландеру об их стычке, делает ему любезность — это уж вообще неслыханная наглость! Его что, бороться сюда пригласили? Тогда, может, и впрямь было бы позорно, что его уложила на лопатки девчонка, которая, наверно, большую часть жизни только тем и занималась, что

борцовские приемы отрабатывала. Вон, даже сам Мак ей уроки давал. Пусть рассказывает ему сколько угодно, уж Мак-то человек разумный, Карл точно знает, хоть у него ни разу и не было случая самому в этом убедиться. Зато он, Карл, знает и другое: если бы Мак взялся его обучать, уж он-то, Карл, добился бы куда больших успехов, чем Клара, и тогда он в один прекрасный день явился бы сюда, очень может быть, что и без приглашения, сперва, конечно, хорошенько обследовал бы место предстоящей схватки — большое преимущество Клары как раз и было в том, что она точно знала место, — а уж после скрутил бы эту самую Клару в бараний рог и выколотил бы ею всю пыль из той самой тахты, на которую она его сегодня бросила.

Теперь весь вопрос лишь в том, как найти обратную дорогу в зал, где он, кстати, по всей видимости, позабыл шляпу, оставив ее — так ему было поначалу неловко, — наверное, в самом неподходящем месте. Свечу он, конечно, прихватит с собой, но даже со светом тут непросто разобраться. Он, к примеру, напрочь не помнит, вот эта комната на том же этаже, что и зал, или выше? Когда сюда шли, Клара его всю дорогу так тащила, что он и оглядеться-то не успел. А тут еще этот Грин в голове да лакеи с подсвечниками, — короче, он просто понятия не имеет, проходили они одну лестницу или две, а может, и вообще лестниц не было? Так-то, на глаз, комната довольно высоко, поэтому он почти убедил себя, что по каким-то ступенькам они вроде бы поднимались, но, с другой стороны, из сада они тоже по лестнице вошли, да и эта сторона дома может быть выше! Если бы еще в этом проклятом коридоре хоть полоска света из-под двери или голос чей-нибудь, пусть издали, пусть тихий!

Карманные часы — дядя подарил — показывали одиннадцать, он взял свечу и шагнул в коридор. Дверь он оставил настежь — чтобы в случае чего, если поиски окажутся тщетными, хотя бы до своей комнаты добраться, а уж по ней — но это на самый худой конец! — найти и комнату Клары. Для пущей надежности, чтобы дверь ненароком сама не захлопнулась, он припер ее креслом. В коридоре сразу же обнаружилась досадная помеха: в лицо Карлу — а пошел он, понятно, не к Клариной двери, а налево — повеяло сквозняком, хоть и слабым, но вполне достаточным, чтобы загасить свечу, так что пришлось ему прикрывать пламя ладонью, да еще то и дело останавливаться, давая чахлому, трепещущему огоньку спасительную передышку. Медленное это было продвиже-

ние, и оттого путь казался вдвое длинней. Карл уже миновал нескончаемый, как тоннель, пролет коридора, где вовсе не было дверей, и терялся в догадках, что скрывается за этими глухими стенами. Потом опять одна за другой пошли двери, многие он пробовал открыть, но они были заперты, а комнаты явно нежилые. Какое чудовищное расточительство, Карл невольно подумал о восточных районах Нью-Йорка, которые дядя обещал ему показать, — там, по слухам, в одной комнатушке живут по нескольку семей, а весь приют одного семейства составляет жалкий закуток, где дети кучей копошатся вокруг родителей. А тут столько комнат пропадает совершенно зазря, лишь для того, чтобы пустотой отзываться на стук в дверь! Не иначе, какие-нибудь горе-приятели сбили господина Полландера с пути, да и дочь задурила голову, вот они все его и испортили. Дядя-то, уж конечно, давным-давно его раскусил, и только его твердое правило никак не влиять на суждения Карла о других людях послужило виной тому, что он, Карл, сюда приехал и теперь вот плутает по этим бесконечным коридорам. Завтра же он дяде так и скажет, а дядя в соответствии со своим твердым правилом охотно и спокойно выслушает суждение племянника о себе лично. К тому же это дядино правило — пожалуй, единственное, что Карлу в дяде не нравится, да и то «не нравится» — слишком сильно сказано, скорее уж не совсем нравится.

Неожиданно стена по одну из сторон коридора оборвалась, уступив место ледяному мрамору перил. Карл поставил свечку подле себя и осторожно свесился. На него дохнуло черным мраком пустоты. Если это парадный зал — в блике свечи вроде выхватился кусок сводчатого потолка, — тогда почему они через этот зал не входили в дом? И зачем вообще такое громадное, просто бездонное помещение? Здесь, наверху, чувствуешь себя как на церковных хорах. Карл уже почти сожалел, что не останется здесь до завтра, он с удовольствием обошел бы с господином Полландером весь дом, чтобы хозяин сам ему все показал и разъяснил.

Перила, впрочем, тянулись недолго, и вскоре его снова поглотил черный зев коридора. На каком-то неожиданном повороте Карл со всего маху наткнулся на стену, и лишь его неослабная забота о свече, которую он судорожно сжимал в руке, слава богу, уберегла ту от падения — а если бы она упала и погасла? А коридор все не кончался, и нигде ни оконца, чтобы хоть выглянуть, и ни малейшего движения, ни

звука, ни шороха, — Карл уже стал подумывать, а не идет ли коридор по кругу, он уже надеялся снова увидеть распахнутую дверь своей комнаты, но ни дверь, ни знакомые мраморные перила не возвращались. До сих пор он крепился и удерживался от крика, как-то неудобно шуметь в чужом доме, да еще в столь поздний час, но теперь решил, что в такой пустынной и темной громаде это, пожалуй, вполне простительно, и уже собрался огласить в обе стороны коридора громкое «Эй, кто-нибудь!», как вдруг где-то далеко позади, там, откуда он пришел, завидел слабый, зыбкий, но несомненно приближающийся огонек. Только теперь Карл смог оценить длину этого нескончаемого коридора — да это не дом, а целая крепость! Он так обрадовался, что, забыв о всех предосторожностях, ринулся на этот спасительный свет, и свеча в его руке в тот же миг погасла. Но бог с ней, со свечой, она ему больше ни к чему, зачем свеча, когда вот же идет навстречу старый слуга с фонарем, уж он-то покажет ему дорогу.

— Кто вы такой? — спросил слуга и приблизил фонарь к лицу Карла, высветив тем самым и свое. Вид у него оказался весьма внушительный — главным образом из-за пышной, окладистой бороды, которая волнами ниспадала на грудь, завиваясь на концах тонкими шелковистыми колечками. «Должно быть, это очень верный слуга, раз ему позволяют носить такую бороду», — подумал Карл, с изумлением разглядывая эту бороду со всех сторон и ничуть не смущаясь тем, что самого его тоже весьма пристально рассматривают. Он, впрочем, тут же объяснил, что он гость господина Полландера, хотел из своей комнаты добраться до столовой, да вот заблудился.

— Ах, вон что, — сказал слуга. — Мы еще не провели электричество.

— Я знаю, — ответил Карл.

— Не хотите зажечь свечу от моей лампы? — предложил слуга.

— Ой, будьте добры, — признательно откликнулся Карл и протянул ему свечу.

— Здесь в коридорах дует ужасно, — заметил слуга, — свеча сразу гаснет, поэтому я и хожу с фонарем.

— Да, с фонарем гораздо удобней, — согласился Карл.

— Вы вон и закапались свечой, — сказал слуга и осветил фонарем костюм Карла.

— Ой, как же это я не заметил! — воскликнул Карл и не на шутку огорчился: ведь это его парадный черный костюм,

про который дядя говорил, что он идет ему лучше всех. К тому же и схватка с Кларой вряд ли пошла костюму на пользу, вспомнил он. Слуга был настолько любезен, что принялся тотчас же костюм чистить — наспех, разумеется; Карл поворачивался перед ним так и эдак, указывая то на одно, то на другое пятно, а слуга послушно их соскребал.

— Почему, собственно, здесь так дует? — спросил Карл, когда они снова двинулись в путь.

— Так ведь еще строить сколько, — пояснил слуга. — Перестройку-то, правда, уже начали, но дело движется очень медленно. А тут еще и строители бастуют, вы, наверно, слыхали. Одна морока с этим строительством. Стены-то в двух местах проломили, а замуровать некому, вот и гуляет сквозняк по всему дому. Я уж ватой уши затыкаю, а то совсем беда.

— Может, мне погромче говорить? — спросил Карл.

— Нет-нет, у вас ясный голос. Так вот, раз уж мы о стройке: тут, около часовни — ее вообще-то потом обязательно от остального дома отгородят, — такие сквозняки, просто сил нет.

— *Значит, та мраморная лестница из коридора ведет в* часовню?

— Ну да.

— Я так сразу и подумал.

— Часовня тут знатная, — заметил слуга. — Если бы не часовня, господин Мак, может, и не стал бы этот дом покупать.

— Господин Мак? — удивился Карл. — Я полагал, дом принадлежит господину Полландеру?

— Оно конечно, — подтвердил слуга. — Только последнее слово при покупке дома все-таки было за господином Маком. Или вы с ним незнакомы?

— Ну как же, — возразил Карл. — Но кем он приходится господину Полландеру?

— Так он жених нашей барышни, — сообщил слуга.

— Вот как. Этого я не знал, — сказал Карл и даже остановился.

— Вас это так удивляет? — спросил слуга.

— Вообще-то нет, просто как-то неожиданно. Когда не знаешь таких вещей, можно ведь и впросак попасть, — ответил Карл.

— Странно, что вам об этом не сказали, — удивился слуга.

— И в самом деле, — окончательно смешался Карл.

— Наверно, думали, вы и так знаете, — предположил слуга. — Это ведь не новость. Вот мы и пришли, — добавил он,

распахнув дверь, за которой, и вправду, сбегала крутая лестница к дверям все так же, как и по приезде, сиявшей огнями столовой. Прежде чем Карл вошел в столовую, откуда все еще, как и добрых два часа назад, доносились голоса господина Полландера и господина Грина, слуга сказал:

— Если хотите, я могу вас тут обождать и потом отведу в вашу комнату. А то с непривычки, да еще вечером, у нас трудновато разобраться.

— Я не вернусь к себе в комнату, — ответил Карл и, сам не зная почему, как-то вдруг погрустнел при этой мысли.

— Ничего, бывает и хуже, — сказал слуга со снисходительной улыбкой и даже слегка потрепал Карла по плечу.

Видимо, он истолковал слова Карла в том смысле, что Карл собирается всю ночь просидеть с господами в столовой и пить с ними. Карлу не хотелось пускаться в откровенности, а кроме того, он вдруг сообразил, что этот слуга, понравившийся ему больше других здешних слуг, может ведь потом показать ему дорогу к Нью-Йорку, и потому сказал:

— Раз уж вы сами предложили меня подождать, что, конечно, большая любезность с вашей стороны, я с благодарностью ею воспользуюсь. В любом случае я скоро вернусь и уж тогда скажу, что собираюсь делать. Полагаю, мне еще понадобится ваша помощь.

— Хорошо, — согласился слуга, поставил фонарь на пол и сел на низкий постамент, почему-то совершенно пустой, что, вероятно, тоже каким-то образом было связано с ремонтом. — Тогда я жду здесь. Свечу, кстати, тоже можете мне оставить, — добавил он, заметив, что Карл собрался идти в освещенный зал с горящей свечой.

— Ах да. Что-то я совсем не в себе, — пробормотал Карл, отдавая свечу слуге, который на это лишь кивнул, и неясно было — то ли он согласился с утверждением Карла, то ли просто пригладил рукой бороду.

Карл отворил дверь, которая тут же громко задребезжала — не по его, впрочем, вине, а потому, что сделана была из цельного стекла и почти прогибалась, когда ее так резко тянули за ручку. Карл, перепугавшись, даже не стал ее закрывать, он-то хотел войти как можно тише. Не оборачиваясь, он тем не менее спиной почувствовал, как слуга, должно быть, соскочив с постамента, прикрыл за ним дверь — аккуратно и без малейшего шума.

— Извините, что помешал, — обратился он сразу и к Полландеру, и к Грину, поднявшим на него свои большие удивленные лица. Одновременно он окинул взглядом весь зал — не лежит ли где на видном месте его шляпа. Но шляпы нигде не было, обеденный стол уже прибран, не иначе, шляпу по курьезному недоразумению унесли на кухню.

— Где же вы бросили Клару? — спросил господин Полландер, ничуть, похоже, не раздосадованный вторжением, ибо с живостью откинулся в кресле и всем корпусом повернулся к Карлу.

Господин Грин, напротив, с напускным безразличием извлек свой бумажник неописуемой толщины и столь же невероятных размеров и теперь с сосредоточенным видом что-то искал в бесчисленных его отделениях, заодно проглядывая и другие бумаги, которые попадались ему под руку во время этих поисков.

— У меня к вам одна просьба, только не поймите меня, пожалуйста, неправильно, — выпалил Карл, быстрым шагом подойдя к господину Полландеру, и в знак доверительности притронулся к подлокотнику его кресла.

— Что же это за просьба? — спросил господин Полландер, глядя на Карла простодушным, открытым взглядом. — Считайте, что она уже исполнена.

И, обняв Карла за пояс, притянул его к себе между колен. Ему Карл охотно это позволил, хотя вообще-то он давно уже не ребенок, чтобы так с ним обращаться. Да и просьбу теперь высказать, конечно, гораздо трудней.

— А как вам вообще у нас нравится? — спросил господин Полландер. — Не правда ли, после города здесь, на природе, как говорится, отдыхаешь душой? Вообще-то, — тут он, пользуясь тем, что Карл его заслонил, недвусмысленно покосился в сторону господина Грина, — вообще-то у меня здесь каждый вечер такое вот отдохновенное чувство.

«Можно подумать, — мелькнуло у Карла, — будто он говорит вовсе не об этом жутком доме и знать не знает о бесконечных коридорах, часовне, пустующих комнатах, кромешной тьме повсюду».

— Ну? — подбодрил господин Полландер. — Так где же просьба?

И он дружески встряхнул Карла, который все еще безмолвствовал.

— Я прошу, — начал Карл, и, как ни приглушал он свой голос, сидящий рядом господин Грин неминуемо должен был все услышать, хотя от него-то эту свою просьбу, вполне воз-

можно, оскорбительную для господина Полландера, Карл очень хотел утаить. — Прошу вас, отпустите меня домой, прямо сейчас, ночью. — И, поскольку самое трудное уже было сказано, все остальное прорвалось само собой, и он, торопясь и даже не привирая ни чуточки, заговорил вдруг о вещах, о которых прежде и думать не думал. — Понимаете, мне очень хочется, очень нужно домой. Я с удовольствием приеду еще, потому что рядом с вами, господин Полландер, мне всегда хорошо. Но сегодня я никак не могу остаться. Вы же знаете, дядя неохотно разрешил мне эту поездку. Наверняка у него были на то свои веские основания, как и во всем, что он делает, а я заупрямился и вопреки его доброй воле буквально вырвал у него разрешение. Я попросту злоупотребил его любовью. Какие уж у него были сомнения насчет моей поездки, это теперь не важно, но одно я знаю совершенно точно: в этих сомнениях нет, да и быть не может ничего для вас обидного, господин Полландер, потому что вы лучший, самый лучший дядин друг. Он настолько вам предан, что тут никто даже отдаленно не может с вами сравниться. Это единственное, что извиняет мое непослушание, но извиняет недостаточно. Вы, должно быть, не вполне представляете себе наши с дядей отношения, поэтому я сейчас о них скажу — главное, конечно. Пока я не выучу как следует английский и не освоюсь хоть немного с практикой торгового дела, я целиком буду зависеть от дядиной щедрости, которой, конечно, как кровный его родственник, я вообще-то могу пользоваться. Но не думайте, что я уже сейчас сумел бы честным трудом — а от всяких иных способов упаси меня бог — зарабатывать себе на хлеб. Для этого, к сожалению, мне не привили никаких практических навыков. Я окончил — да и то средним учеником — четыре класса европейской гимназии, а для денежного заработка это даже хуже, чем вообще ничего, потому что в наших гимназиях совершенно допотопные учебные программы. Знали б вы, чему нас там только учили — смех один. Конечно, если дальше учиться, гимназию окончить, потом университет, все это, наверно, постепенно как-то выравнивается и в итоге можно получить законченное образование, которое еще на что-то годится и дает человеку хотя бы решимость зарабатывать деньги. Но я, к сожалению, из этой связной цепочки выпал, мне иногда кажется, что я вообще ничего не знаю, да если б и знал что — для Америки это ничтожно мало. Правда, сейчас у меня на родине кое-где открыли так

называемые реформенные гимназии, там преподают и современные языки, и основы коммерческих наук, но, когда я начальную школу заканчивал, их еще не было. Отец, правда, хотел, чтобы я брал уроки английского, но, во-первых, не мог же я предвидеть, какая беда со мной приключится, а во-вторых, мне и для гимназии ужасно много приходилось зубрить, так что на другое времени все равно бы почти не оставалось.

Я к тому все это рассказываю, чтобы вы поняли, до какой степени я от дяди зависим и сколь многим, следовательно, ему обязан. Согласитесь, при таком моем положении не могу я себе позволить хоть в чем-то поступить против его, пусть даже предполагаемого желания. Вот почему, чтобы хоть частично загладить свою провинность, мне и нужно как можно скорее попасть домой.

Длинную речь Карла господин Полландер выслушал очень внимательно, порой, особенно при упоминаниях о дяде, слегка, хоть и незаметно, привлекая Карла к себе и не однажды бросив серьезный и как бы выжидающий взгляд на господина Грина, который с прежней сосредоточенностью занимался своим бумажником. Карл, однако, чем яснее осознавал в ходе речи свои с дядей взаимоотношения, тем становился беспокойнее, непроизвольно порывался высвободиться из-под руки Полландера, все вокруг угнетало и теснило его, а путь к дяде — через стеклянные двери, по лестнице, по аллее, потом проселками, пригородами, предместьями и, наконец, по широкой городской улице, что так плавно притекает к дядиному дому, — путь этот предстал ему во всей своей строгой непреложности, ровный, открытый, прямой, он словно расстелился у ног и властно звал к себе Карла. Куда-то отступили, расплываясь, и доброта Полландера, и мерзость Грина, ему ничего, ничего не нужно в этой дымной, прокуренной комнате, лишь бы поскорее откланяться и уйти. С господином Полландером он, правда, вежливо сдержан, с Грином — начеку и, если что, готов к бою, но что-то еще, какой-то безотчетный страх заполняет все вокруг, толчками заволакивая ему взор.

Он отступил на шаг и теперь стоял на одинаковом отдалении от Полландера и Грина.

— Вы ничего не хотите ему сказать? — обратился господин Полландер к господину Грину и, словно прося о чем-то, даже схватил того за руку.

— Вот уж не знаю, что я такого мог бы ему сказать, — ответил господин Грин, отыскав наконец в своем бумажнике какое-то письмо и кладя его перед собой на стол. — Похваль-

но, конечно, что он хочет вернуться к дяде, и по человеческому разумению можно бы предположить, что дядю он этим несказанно обрадует. Если только прежде он своим непослушанием не слишком дядю разгневал, а это, разумеется, тоже возможно. И тогда, конечно, ему уж лучше остаться здесь. Так что тут трудно сказать что-либо определенное, и хоть мы оба друзья его дяди и было бы весьма непросто установить в нашей дружбе какие-то ранги и различия, однако в душу к нему заглянуть мы, конечно, не можем, особенно сидя здесь, в стольких километрах от Нью-Йорка.

— Пожалуйста, господин Грин, — сказал Карл и, пересилив себя, даже приблизился к Грину, — я же по вашим словам и по голосу слышу, вы тоже считаете, что мне лучше сейчас же вернуться.

— Вовсе я этого не утверждал, — возразил господин Грин и углубился в созерцание письма, водя по краям конверта двумя пальцами. Он всем видом как бы давал понять, что вопрос ему задал господин Полландер, ему он и ответил, а до Карла ему, собственно, и дела нет.

Тем временем господин Полландер подошел к Карлу и мягко увлек его от господина Грина в сторонку, поближе к одному из огромных окон.

— Дорогой господин Росман, — начал он, чуть склонившись к уху Карла, и, помолчав, отер лицо платком, который затем еще задержал у носа, и высморкался. — Надеюсь, вы не думаете, что я намерен удерживать вас против вашей воли. Об этом и речи нет. Машину, правда, я вам предоставить не могу, машина отсюда далеко, в общественном гараже, оборудовать гараж здесь, в доме, где еще все строится, я пока что не успел. Да и шофера нет, он ночует не здесь, а где-то неподалеку от гаража, я, по правде сказать, и сам не знаю где. К тому же он вовсе и не обязан здесь ночевать, он обязан только рано утром точно в срок подать машину. Но это все, конечно, не препятствует вашему отъезду, и, если вы настаиваете, я немедленно провожу вас до ближайшей пригородной станции, до которой, впрочем, отсюда тоже неблизко, так что домой вы успеете не намного раньше, чем завтра со мной в машине, ведь я уже в семь утра выезжаю.

— В таком случае, господин Полландер, я предпочел бы все-таки поехать поездом, — сказал Карл. — О поезде я как-то не подумал. Вы же говорите, что поездом я доберусь раньше.

— Но разницы-то почти никакой!

— Тем не менее, господин Полландер, тем не менее, — настаивал Карл. — А я, помня о вашей любезности, всегда с удовольствием буду к вам приезжать, если, конечно, вы меня пригласите после такого моего поведения, и тогда, в следующий раз, я, наверно, лучше сумею объяснить, почему сегодня, торопясь увидеться с дядей, я дорожу буквально каждой минутой. — И, словно уже испросив разрешение уйти, он добавил: — Только ни в коем случае не надо меня провожать. Это совершенно излишне. За дверью ждет слуга, он охотно проводит меня до станции. Теперь бы мне еще шляпу свою найти.

Последние слова он произнес уже на ходу, решив напоследок пробежаться по комнате — вдруг шляпа где и отыщется.

— Может, я кепкой вас выручу? — спросил господин Грин, неожиданно доставая из кармана кепку. — Вот эта, часом, не подойдет?

Карл озадаченно остановился и сказал:

— Зачем же мне отнимать у вас вашу кепку? Прекрасно и без шляпы могу уйти. Не надо мне ничего.

— Да это не моя. Ну же, берите!

— Тогда спасибо, — пробормотал Карл, лишь бы отделаться, и взял кепку. — Он натянул ее и даже усмехнулся — кепка оказалась в самый раз, — потом снял, повертел в руке, пытаясь понять, что в ней такого особенного. Да вроде ничего, кепка как кепка, только совершенно новая. — В самый раз! — сказал он.

— Вот видите, в самый раз! — воскликнул Грин и пристукнул ладонью по столу.

Карл уже направился к двери, чтобы позвать слугу, но тут Грин нехотя встал, сладко потянулся после сытной еды и приятного отдыха, удовлетворенно похлопал себя по груди и тоном то ли совета, то ли приказа произнес:

— Прежде чем уйти, вам надо попрощаться с Кларой.

— Да, это надо, — сказал господин Полландер, тоже поднимаясь.

Но слышно было, что слова эти идут не от сердца, он безвольно уронил руки по швам, а теперь теребил, то застегивая, то расстегивая, пуговицу своего пиджака, скроенного по последней моде очень коротко и едва прикрывавшего бедра, что таких толстяков, как господин Полландер, совсем не красит. Кстати, именно сейчас, когда он вот так стоял рядом с господином Грином, бросалось в глаза, что полнота его какая-то нездоровая: ватная спина понуро сгорблена, рыхлый живот вываливается мешком, настоящее брюхо, а

бледное лицо смотрит устало и измотанно. Господин Грин, напротив, хоть с виду даже, пожалуй, потолще господина Полландера, но это ладная, крепко сбитая, со всех сторон уравновешенная полнота: ноги по-солдатски сомкнуты, голова молодецки посажена на упругой шее, казалось, в прошлом он был великим атлетом, а теперь стал тренером.

— Так что сходите сперва к Кларе, — продолжал господин Грин. — Вам это наверняка доставит удовольствие, да и меня по времени такой расклад вполне устраивает. Дело в том, что я действительно имею сообщить вам кое-что интересное до вашего ухода, к тому же известие это, полагаю, решит и все вопросы с вашим возвращением. Но, к сожалению, я связан строжайшим приказом ни о чем не уведомлять вас до полуночи. Как понимаете, мне и самому это совсем не с руки, ибо лишает меня заслуженного сна, но я обязан придерживаться данного мне поручения. Сейчас четверть двенадцатого, я как раз успею обсудить с господином Полландером все свои дела, чему ваше присутствие могло бы только помешать, вы же тем временем проведете, так сказать, приятные минуты в обществе обворожительной Клары. А ровно в двенадцать явитесь сюда, где и узнаете все дальнейшее.

Ну как же было не выполнить это требование, напомнившее Карлу о простейшем долге вежливости и благодарности перед господином Полландером, да еще устами даже столь грубого, бездушного человека, как Грин, тем более что сам господин Полландер, которого все это непосредственно касалось, деликатно помалкивал и прятал глаза? И что там такое интересное, что ему дозволено узнать лишь в полночь? Если эта новость не ускорит его возвращение по меньшей мере на те же сорок пять минут, на которые сейчас задерживает, то она мало его интересует. Но главное сомнение было в другом: стоит ли вообще идти к Кларе, к этой врагине? Будь у него с собой кастет — подаренное дядей пресс-папье, — еще куда ни шло. А так комната Клары представлялась весьма опасным логовом. Но сейчас здесь против Клары и заикнуться нельзя, ведь она дочь господина Полландера, да еще, как он только что услышал, и невеста Мака. Поведи она себя с Карлом хоть чуточку иначе — и он бы из одной только симпатии к Полландеру и Маку во всеуслышанье ее расхваливал. Так он размышлял, пока не заметил, что никаких размышлений от него не ждут, ибо господин Грин уже распахнул дверь и сказал слуге, мигом соскочившему с постамента:

— Отведите этого молодого человека к госпоже Кларе.

«Вот как выполняют приказы», — успел подумать Карл, когда слуга почти бегом, кряхтя от старческой немощи, каким-то особенно коротким коридором потащил его в Кларину комнату. Проходя мимо своей комнаты, дверь которой по-прежнему стояла настежь, Карл захотел было — просто так, успокоения ради — туда заглянуть. Но слуга не позволил.

— Нет-нет, — возразил он. — Вам же надо к барышне, вы сами слышали.

— Но я только на минуточку! — запротестовал Карл, а сам подумал, как хорошо бы сейчас прилечь для разрядки на тахту, заодно и время до полуночи пролетит быстрее.

— Не затрудняйте мне исполнение моей службы, — строго сказал слуга.

«Он, похоже, думает, что к Кларе меня послали в наказание», — мелькнуло у Карла, и он, пройдя несколько шагов, теперь из упрямства остановился.

— Пойдемте же, молодой человек, — с укором настаивал слуга, — раз уж вы все равно здесь. Я знаю, вы еще нынче ночью хотели уйти, но не все желания сбываются, я же вам сразу сказал, что это вряд ли возможно.

— Да, я хотел уйти и уйду, — вспылил Карл, — а сейчас хочу просто попрощаться с вашей барышней.

— Вот как, — заметил слуга, и по глазам его Карл понял, что тот ни одному его слову не поверил. — Что же вы тогда не торопитесь попрощаться? Пойдемте же.

— Кто там идет? — разнесся по коридору голос Клары, и тут же показалась она сама, высунувшись из ближайшей двери с большой, в красном абажуре, настольной лампой в руках.

Слуга поспешил к ней с докладом, Карл неохотно поплелся за ним.

— Поздновато вы приходите, — сказала Клара.

Ничего ей покуда не отвечая, Карл тихо, но твердо — он уже раскусил его натуру, — тоном строгого приказа сказал слуге:

— Подождите меня здесь, прямо у двери.

— А я уже собиралась спать, — сказала Клара, ставя лампу на стол. Как и недавно в столовой, слуга и здесь неслышно прикрыл за Карлом дверь. — Ведь уже половина двенадцатого.

— Половина двенадцатого? — переспросил Карл, словно бы испуганно прислушиваясь к самому звучанию чисел. — Но

тогда я вынужден сразу же попрощаться, — спохватился он. — Ровно в двенадцать мне нужно быть внизу, в столовой.

— Какие такие у вас неотложные дела, — то ли спросила, то ли заметила Клара, небрежно обирая складки свободного, ниспадающего пеньюара; все лицо ее светилось, и она беспрерывно чему-то улыбалась. Карл с облегчением почувствовал, что опасность новой ссоры вроде бы ему не грозит. — А разве вы мне не поиграете, как вчера обещал папа, а сегодня вы сами?

— А не поздно? — спросил Карл. Он был бы только рад ей угодить, ведь вон и она совсем не та, что прежде, словно каким-то образом вступила в фазу влияния Полландера и даже Мака.

— Вообще-то поздно, конечно, — ответила Клара, и похоже, от ее страстной любви к музыке и следа не осталось. — К тому же здесь любой звук по всему дому отдается, и, боюсь, если вы начнете играть, мы перебудим даже прислугу на чердаке.

— Тогда лучше отложим, я надеюсь непременно приехать еще, да и вы, кстати, если не сочтете за труд, могли бы как-нибудь посетить моего дядю, а при случае и ко мне заглянуть. Пианино у меня замечательное. Дядя подарил. И уж тогда, если вам будет угодно, я сыграл бы вам все свои вещицы, их, к сожалению, не так много, да они и не слишком подходят для столь ценного инструмента, на котором не меня, а виртуозов надо бы слушать. Но и это удовольствие будет вам доставлено, если вы заблаговременно известите меня о вашем визите, ведь дядя намерен вскоре пригласить ко мне знаменитого педагога — представляете, как я этому рад, — а уж его игра несомненно будет стоить того, чтобы наведаться ко мне во время урока. Если совсем начистоту, я даже рад, что уже поздно и играть не надо, я ведь еще ничего не умею. Вы бы сами удивились, как мало я умею. А теперь позвольте откланяться, время и вправду позднее, вам пора спать. — И, поскольку Клара смотрела на него по-доброму, даже в мыслях вроде бы не поминая их недавней стычки, он с улыбкой добавил, протягивая ей руку: — Как говорят у меня на родине: «Спи спокойно, сладких снов!»

— Подождите, — сказала она, не притрагиваясь к его руке. — Может, вам все-таки придется сыграть. — И исчезла за маленькой боковой дверцей как раз возле пианино.

«Это еще что? — недоумевал Карл. — Долго я ждать не могу, как она ни мила».

Из коридора в дверь тихо постучали, и слуга, не отваживаясь отворить дверь целиком, прошептал в щелочку:

— Извините, меня вызывают, я не могу больше ждать.

— Ладно уж, идите, — смилостивился Карл, почему-то вдруг решив, что и сам найдет дорогу в столовую. — Только фонарь под дверью оставьте. Который час, кстати?

— Скоро без четверти, — ответил слуга.

— Как медленно время идет, — пробормотал Карл.

Слуга уже хотел прикрыть дверь, но тут Карл вспомнил, что не дал ему на чай, достал из кармана брюк монету — мелочь он теперь носил в карманах брюк, на американский манер небрежно ею позвякивая, а бумажки, наоборот, в жилетном кармане — и протянул слуге со словами:

— Это вам за добрую службу.

Клара уже снова вошла, обеими руками поправляя на ходу тугой узел прически, когда Карл спохватился, что зря, наверно, отпустил слугу — кто теперь отведет его на станцию? Ну да ладно, найдется у господина Полландера другой слуга, а может, и этого вызвали туда же в столовую и потом предоставят в его распоряжение.

— Я все-таки попрошу вас сыграть что-нибудь. Здесь так редко услышишь музыку, что упускать такую возможность просто грех.

— Тогда не будем терять времени, — сказал Карл и без раздумий сел за пианино.

— Может, вам ноты нужны? — спросила Клара.

— Спасибо, я их и читать толком еще не умею, — ответил Карл, уже беря первые аккорды.

Это была простенькая песенка, которую — Карл прекрасно это понимал, — чтобы хоть как-то донести настроение, надо играть довольно медленно, особенно для иностранцев, он же отбарабанил ее в темпе разухабистого марша. Он уже кончил, а звуки еще долго метались в испуганной тишине огромного дома, пока не улеглись. Наступила неловкая, томительная пауза.

— Очень мило, — произнесла наконец Клара, но Карл понимал: мир еще не изобрел формулу вежливости, чтобы благодарить за такую безобразную игру.

— Который час? — спросил он.

— Без четверти двенадцать.

— Тогда еще есть немножко времени, — сказал он, подумав про себя: «Была не была. Все десять песен, что я умею, играть не обязательно, но уж одну-то я могу сыграть как следует».

И он начал свою любимую, солдатскую. Так медленно, так протяжно, чтобы растревоженная душа слушателя тянулась,

рвалась к каждой ноте, а он, Карл, эту ноту удерживал и все не хотел, не хотел отдавать. Он и так-то, играя все свои песенки, сперва искал клавиши глазами, но сейчас, он чувствовал, в нем возникала какая-то особая, иная песня, готовая пролиться за края знакомой мелодии и там, за краями, стать собой — но не могла, не проливалась, не становилась.

— Я же не умею играть, — сказал Карл, когда песня кончилась, и посмотрел на Клару со слезами на глазах.

За стеной из соседней комнаты вдруг раздались громкие одобрительные хлопки.

— Нас кто-то слушает! — всполошился Карл.

— Это Мак, — тихо сказала Клара.

А из-за стены его уже звал голос Мака:

— Карл Росман! Карл Росман!

В один миг Карл обеими ногами перемахнул через скамеечку и кинулся к дверце. Открыв ее, он увидел огромный шатер кровати, под которым полусидя, небрежно накинув на ноги одеяло, возлежал Мак. Голубого шелка балдахин был единственным и, пожалуй, несколько девчоночьим украшением в общем-то простой, тяжелого дерева, прочно, но без затей сработанной кровати. Рядом на ночном столике горела лишь одна свечка, но постельное белье и рубашка Мака были такой белизны, что слабый свет отражался от них с нестерпимой, почти ослепительной яркостью; и балдахин, по крайней мере по кромкам полога, матово мерцал своими чуть волнистыми, свободной натяжки складками тяжелого шелка. Зато за спиной Мака и постель, и все нутро балдахина проглатывала кромешная тьма. Клара, облокотясь на высокие подушки, уже не сводила с Мака влюбленных глаз.

— Привет, — сказал Мак, протягивая Карлу руку. — Вы, оказывается, очень недурно музицируете, прежде я мог оценить только ваше жокейское искусство.

— Да я ни того, ни другого толком не умею, — смутился Карл. — Если б я знал, что вы здесь, ни за что бы не сел играть. Но поскольку ваша... — тут он осекся, не решаясь выговорить «невеста», слишком очевидно было, что Мак и Клара друг с другом спят.

— Я давно подозревал, что вы играете, — как ни в чем не бывало продолжал Мак, — вот и пришлось Кларе заманить вас сюда из Нью-Йорка, иначе где бы я смог вас послушать. Чувствуется, конечно, что это еще первые шаги, и даже в этих песенках, которые вы все-таки разучивали и которые, что скрывать, весьма примитивно сложены, вы несколько раз ошиблись, однако мне было очень приятно, не говоря уж о том, что ничью игру я не считаю достойной презрения. Но не

хотите ли присесть, поболтать с нами немного. Клара, дай же ему кресло.

— Благодарю, — пробормотал Карл, запинаясь. — Я не могу остаться, как бы мне этого ни хотелось. Слишком поздно я узнал, что в этом доме есть такие уютные комнаты.

— О, я здесь все перестрою в том же духе, — сказал Мак.

В тот же миг двенадцать мощных колокольных ударов, один за другим, торопясь и подгоняя друг друга, прогремели в ночи, и Карл почувствовал, как потрясенный тяжелой раскачкой колоколов воздух испуганными волнами лизнул его по щекам. Что же это за деревня, если у нее такие колокола?!

— Время! Мне пора, — сказал Карл, лишь протянул, не пожимая, Маку и Кларе руки и выбежал в коридор. Фонаря он там не обнаружил и пожалел, что преждевременно дал слуге чаевые. Он решил ощупью, по стенке, добраться до раскрытой двери своей комнаты, но не прошел и половины пути, когда завидел вдали поспешающего вразвалку господина Грина с поднятой свечой. В той же руке, что и свечу, он держал письмо.

— Росман, где вы пропадаете? Почему заставляете себя ждать? Чем вы там у Клары занимались?

«Сколько вопросов, — усмехнулся про себя Карл. — А сейчас, чего доброго, еще притиснет к стене и раздавит», — ибо Грин действительно уже грозно нависал над Карлом, которому, прислонившись к стене, некуда было отступить. Под сводами коридора и без того необъятная фигура Грина разрослась уже просто до смешного, и Карл в шутку задался вопросом, не сожрал ли он, часом, добрейшего господина Полландера.

— Вы и вправду не держите слово. Обещали в двенадцать быть внизу, а сами шастаете под дверью у Клары. Я же, напротив, обещал вам к полуночи кое-что интересное и вот принес сам.

С этими словами он протянул Карлу письмо. На конверте было написано: «Карлу Росману. Передать в полночь лично в руки, где бы он ни находился».

— В конце концов, — бубнил господин Грин, пока Карл вскрывал конверт, — по-моему, спасибо надо сказать, что я из-за вас в такую даль из Нью-Йорка притащился, а не гонять меня вместо этого взад-вперед по коридорам.

— От дяди, — сказал Карл, едва он заглянул в конверт. — Я этого ожидал, — добавил он, обращая лицо к Грину.

— Ожидали вы этого или нет, мне до чертиков все равно. Читайте! — буркнул он и протянул Карлу свечу.

В ее свете Карл прочел:

«Любимый племянник!

Как ты, надеюсь, успел усвоить за время нашей, к сожалению, увы, слишком непродолжительной совместной жизни, я до мозга костей человек принципов. Не только для окружающих, но и для меня самого это свойство весьма неприятно и, быть может, даже прискорбно, но лишь своим принципам я обязан всем, что я есть, и никто не вправе требовать от меня оторваться от этой взрастившей меня почвы, никто, включая и тебя, любимый племянник, хотя ты, несомненно, был бы первым в ряду других, кому бы я это позволил, вздумай я допустить подобное всеобщее посягательство на мои жизненные устои. Будь оно так, тебя и только тебя прежде других подхватили бы мои руки, которые сейчас держат и исписывают этот лист, да, подхватили бы и радостно подняли в воздух. Но поскольку ничто пока не указывает на вероятность подобной моей уступки, я вынужден после сегодняшнего происшествия всенепременно тебя отторгнуть и убедительно прошу впредь ни самому, ни письменно либо через посредников не искать со мной ни встреч, ни сообщения. Вопреки моей воле ты решил сегодня вечером меня покинуть, а раз так, оставайся при своем решении всю жизнь, только тогда это решение будет достойно мужчины. Для передачи тебе этого известия я избрал господина Грина, лучшего моего друга, который, не сомневаюсь, найдет для тебя достаточно утешительных слов, ибо мне в данную минуту, поверь, утешить тебя просто нечем. Он человек влиятельный и из одной только любви ко мне поддержит тебя в первых твоих самостоятельных шагах советом и делом. Чтобы осознать наш разрыв, который сейчас, в конце этого письма, в очередной раз представляется мне немыслимым, я вынужден снова и снова повторять себе: от твоей семьи, Карл, ничего хорошего ждать нельзя. Если господин Грин забудет вручить тебе твой чемодан и твой зонт, напомни ему об этом. Желаю тебе всяческих благ в дальнейшем.

Твой преданный дядя Якоб».

— Вы готовы? — спросил Грин.

— Да, — ответил Карл. — Чемодан и зонтик вы принесли?

— Принес, — сказал Грин и поставил у ног Карла старый дорожный чемодан, который до этого каким-то образом прятал в левой руке за спиной.

— А зонтик? — настойчиво повторил Карл.

— Все здесь, — успокоил его Грин, выхватывая из темноты зонтик, который, оказывается, висел у него за ручку из кармана брюк. — Эти вещи принес некто Шубаль, главный механик корабельной компании «Гамбург — Америка». Он утверждал, что нашел их на корабле. Так что сможете поблагодарить его при случае.

— Ну вот, хотя бы старые вещи опять при мне, — сказал Карл и положил зонтик на чемодан.

— Только впредь следите за ними получше. Господин сенатор так и просил вам передать, — заметил господин Грин, а затем, уже из чистого любопытства, поинтересовался: — А что это за чемодан у вас такой странный?

— С таким чемоданом у нас на родине отправляют в армию призывников, — объяснил Карл. — Это старый солдатский чемодан моего отца. Вообще-то он очень удобный. — И с улыбкой добавил: — Если, конечно, не оставлять его где попало.

— Что ж, полагаю, жизнь достаточно вас проучила, — изрек господин Грин, — а второго дядю вы в Америке вряд ли найдете. Вот вам билет третьего класса до Сан-Франциско. Я выбрал для вас это направление, во-первых, потому что там возможности заработка куда предпочтительней, а во-вторых, потому что здесь во всяком деле, к какому вы ни вздумаете пристроиться, у вашего дяди свой интерес имеется, встречаться же вам с ним никак нельзя. А во Фриско вы без помех сможете работать, начните спокойненько с самого низу и постепенно, постепенно выбивайтесь наверх.

Карл не улавливал в его словах ни крупицы злости, роковая весть, что распирала Грина целый вечер, теперь наконец передана, и он разом предстал вполне безобидным человеком, с которым, пожалуй, говорить даже легче и проще, чем с кем-либо еще. На его месте и самый задушевный добряк, нежданно-негаданно избранный посланцем столь секретного и тягостного сообщения, поневоле бы, покуда держит при себе такое, выглядел весьма подозрительным субъектом.

— Я намерен, — сказал Карл, ища поддержки в суждении более опытного человека, — немедленно покинуть этот дом, поскольку принят здесь лишь как племянник моего дяди, теперь же я посторонний и, следовательно, мне тут больше делать нечего. Не будете ли вы так любезны показать, где тут выход и где дорога, чтобы добраться до ближайшей гостиницы.

— Но только быстро, — буркнул Грин. — С вами хлопот не оберешься.

Однако при виде гигантского шага, который сделал Грин, срываясь с места, Карл тотчас остановился — что за подозрительная спешка — и, ухватив Грина за фалду пиджака, пронзенный внезапной истинностью своей догадки, сказал:

— Одно только еще вы мне должны объяснить. На конверте, что вы мне вручили, ведь ясно написано, что передать мне его следует в полночь, где бы я ни находился. Почему же в таком случае вы, ссылаясь на это самое письмо, меня удержали, когда я собрался отсюда уходить в четверть двенадцатого? Ведь вы тем самым превысили свои полномочия.

Грин предварил свой ответ красноречивым жестом, с преувеличенной наглядностью показывающим всю вздорность, да и бесполезность подобных препирательств.

— Может, на конверте еще написано, что мне надо, высунув язык, гоняться за вами повсюду? — спросил он язвительно. — Или, может, содержание письма позволяет толковать надпись именно в таком духе? Не удержи я вас, значит, пришлось бы вручать вам письмо ровно в полночь где-нибудь в чистом поле.

— Нет, — возразил Карл, не давая сбить себя с толку, — это не совсем так. По сути-то, на конверте написано «передать после полуночи». Раз уж вы так устали, могли вовсе за мной не ходить, или, что правда, даже господин Полландер отрицает, я бы к полуночи успел доехать до дяди, а может, ваш долг состоял как раз в том, чтобы усадить меня в свой автомобиль, о котором вы почему-то даже не заикнулись, и отвезти обратно к дяде, ведь я рвался к нему вернуться. Разве надпись не ясно указывает, что полночь — последний для меня срок? И вы, вы один виновны в том, что я этот срок упустил.

Впившись в Грина глазами, Карл, кажется, заметил, как на лице его стыд внезапного разоблачения борется с удовлетворенным злорадством. Наконец Грин собрался и резким тоном, будто решив на полуслове оборвать Карла, хотя тот и так давно молчал, бросил:

— Ни слова больше! — и, подтолкнув Карла, едва успевшего подхватить чемодан и зонтик, к какой-то узкой дверце, которую он вдруг распахнул, выставил его вон.

Карл с изумлением огляделся. Узкая, пристроенная к дому лесенка без перил круто сбегала вниз. Надо только спуститься по ней, свернуть направо к аллее, а там уж и до проселка рукой подать. При такой ясной луне просто невоз-

можно заблудиться. Правда, снизу доносился разноголосый лай псов, которые беспривязно бегали по саду в черной тени деревьев. В тишине хорошо были слышны их азартные прыжки и тяжелое, всеми четырьмя лапами, плюханье в траву.

Однако псы его не тронули, и Карл благополучно выбрался из сада. Он затруднялся определить, в какой стороне Нью-Йорк, когда ехали сюда, он не слишком-то присматривался к дороге, а зря, пригодилось бы. В конце концов он сказал себе, что ему совсем не обязательно в Нью-Йорк, где его никто особенно не ждет, а кое-кто не ждет и подавно. А коли так — он выбрал направление наугад и тронулся в путь.

Глава четвертая

ПЕШКОМ В РАМЗЕС

В небольшой гостинице, куда Карл вскоре добрался, — по сути, это был последний на подъезде к Нью-Йорку придорожный трактир, где на ночлег мало кто останавливался, — Карл потребовал койку, самую дешевую, какая есть, ибо твердо решил, что сразу же начнет экономить. В соответствии с запросом хозяин взмахом руки, словно коридорного, отправил Карла вверх по лестнице, где его встретила заспанная, растрепанная старуха, злющая оттого, что ее подняли среди ночи, и, почти не слушая Карла, зато шикая, чтобы не топал, отвела в комнату, дверь которой, не преминув напоследок еще раз прошипеть «тсс!», тут же за ним затворила.

Сперва Карл вообще не мог понять, то ли в комнате наглухо задернуты шторы, то ли в ней вовсе нет окон, — такая была вокруг темнотища; наконец он заприметил оконце, скорее даже просто люк, занавешенный какой-то тряпкой, которую он отодвинул, чтобы хоть что-то разглядеть. В комнате обнаружились две койки, но обе уже были заняты. Карл узрел на них двух молодых людей, погруженных в мертвецкий сон, и вид этих постояльцев особого доверия ему не внушил — хотя бы по той причине, что спали оба почему-то в одежде, а один так и вовсе в сапогах.

В тот миг, когда Карл отдернул занавеску, один из спящих беспокойно потянулся, приподняв одновременно все четыре свои конечности, и проделал это столь уморительно, что Карл, как ни одолевало его беспокойство, поневоле усмехнулся.

Вскоре он убедился, что, невзирая на отсутствие в комнате софы, кушетки и каких-либо иных спальных мест, спать ему тут все равно нельзя: не может он рисковать своим только что возвращенным чемоданом и деньгами, которые у него в пиджаке. Уходить, однако, тоже неловко — не красться же, в самом деле, мимо старухи горничной и хозяина обратно на улицу? Да и навряд ли здесь, в гостинице, он подвергается большей опасности, чем среди ночи на проселочной дороге. Настораживало, впрочем, что нигде в комнате, насколько можно было ее в этом полумраке разглядеть, не видно никакого багажа. Но ведь вполне возможно и даже весьма вероятно, что эти молодые люди просто гостиничные слуги, им скоро вставать, ублажать постояльцев, вот они и спят одетыми. Тогда, конечно, для Карла не слишком-то лестно спать в одной с ними комнате, но тем безопасней. Однако сейчас, покуда все сомнения полностью не развеялись, спать нельзя ни в коем случае.

На полу возле одной из кроватей он углядел свечу, а рядом спички и крадучись перетащил все это в свой угол. Свет он имеет право зажечь, в конце концов, он в этой комнате такой же хозяин, как и те двое, тем более что они уже полночи спят и кровати им достались, — словом, у них и так достаточно преимуществ. Впрочем, возясь со спичками и зажигая свечу, он старался производить как можно меньше шума, чтобы их не потревожить.

Первым делом он намеревался исследовать содержимое чемодана, дабы учинить смотр своему имуществу, большую часть которого он помнил уже лишь смутно, а самое ценное заведомо числил утерянным безвозвратно. Ибо если уж Шубаль к чему приложил руку, мало надежды получить это обратно в целости и сохранности. Шубаль, правда, наверно, рассчитывал получить от дяди щедрые чаевые, но, с другой стороны, при недостаче каких-то вещей мог запросто свалить все на первого хранителя чемодана — господина Буттербаума.

В первый миг вид открытого чемодана попросту ужаснул Карла: сколько часов потратил он во время путешествия, укладывая и перекладывая свои вещи, теперь же все было перевернуто и напихано как попало, так что, едва он щелкнул замком, крышка сама упруго отскочила вверх. Но вскоре, к радости своей, Карл убедился, что причина беспорядка лишь в том, что ему дополнительно упаковали еще и его дорожный костюм, на который чемодан, собственно, не был рассчитан. Все до последней мелочи оказалось на месте. В потайном

кармане пиджака помимо паспорта нашлись даже родительские деньги, так что если приложить к ним еще и те, что у него при себе, денег ему на первое время вполне хватит. Даже нательное белье, в котором он приехал в Америку, лежало тут же, чисто выстиранное и отглаженное. Не мешкая, он сунул в столь надежный потайной карман оставшиеся деньги, а заодно и часы. Досадно вот только, что колбаса, веронская салями, которая тоже оказалась на месте, пропитала все вещи своим пряным духом. Если не сыщется средство как-то отбить этот запах, придется Карлу еще не один месяц распространять вокруг себя аромат копченостей.

Выуживая некоторые предметы с самого дна, как-то: карманную Библию, пачку почтовой бумаги, фотографию родителей, он наклонился, и кепка слетела у него с головы прямо в чемодан. Здесь, среди старых своих вещей, он тотчас ее узнал, это же его собственная кепка, та самая, которую мама дала ему с собой в дорогу. Он из предусмотрительности на корабле ее не носил, ибо слыхал, что в Америке вообще в шляпах не ходят, только в кепках, вот и решил свою поберечь до прибытия на место. Теперь же ею попользовался господин Грин, чтобы на его, Карла, счет позабавиться. Может, и трюк с кепкой дядя ему поручил провернуть? В ярости Карл невольно схватился за крышку чемодана, которая тут же с громким стуком захлопнулась.

Теперь все пропало — соседи пробудились. Сперва потянулся и зевнул один, за ним, как по команде, другой. И это при том, что почти все содержимое чемодана вывалено на стол, будто специально для воров — налетай и бери. Отчасти дабы предотвратить эту возможность, отчасти чтобы сразу установить в отношениях полную ясность, Карл со свечой в руке приблизился к кроватям и объявил, кто он такой и по какому праву здесь находится. Соседи, похоже, никаких объяснений не ждали вовсе, плохо соображая со сна, они только таращились на Карла без малейшего, впрочем, удивления. Это были еще совсем молодые ребята, однако тяжкая работа и нужда прежде времени заострила и ожесточила их лица: подбородки заросли клочковатой щетиной, давно не стриженные волосы свалялись и топорщились, и они тщетно пытались продрать свои глубоко запавшие глаза, спросонок потирая веки костяшками пальцев.

Карл спешил воспользоваться их сиюминутной слабостью и потому сказал:

— Меня зовут Карл Росман, я немец. Пожалуйста, раз уж мы вместе в комнате, скажите, как зовут вас и кто вы по

национальности. Сразу же хочу предупредить, что на кровать не претендую, поскольку пришел позже вас и к тому же вообще спать не намерен. Кроме того, прошу не придавать значения моему дорогому костюму, я крайне беден, и видов у меня никаких.

Тот из парней, что поменьше, — это он спал в сапогах, — всевозможными гримасами, отмахиваясь руками и даже отбрыкиваясь ногами, дал понять, что ему все это совершенно неинтересно и что сейчас вообще не время для разговоров, после чего снова улегся на кровать и мгновенно заснул; второй, смуглый с лица, тоже снова улегся, но прежде чем уснуть, произнес, лениво махнув рукой:

— Его вон зовут Робинсон, он ирландец, а меня — Деламарш, я француз и прошу оставить нас в покое.

С этими словами он, набрав в грудь побольше воздуха, задул у Карла свечу и уронил голову на подушку.

«Эта опасность покуда миновала», — сказал себе Карл и вернулся к столу. Если их сонливость не уловка, тогда все хорошо. Неприятно только, что один из них ирландец. Карл уже не помнил точно, в какой книге он еще дома вычитал, что в Америке надо очень остерегаться ирландцев. Пока он жил в доме дяди, у него были все возможности изучить вопрос об опасности ирландцев всесторонне, но он, опрометчиво полагая, что отныне от любых бед избавлен, начисто их упустил. Сейчас он решил при свете свечи, которую снова зажег, по крайней мере, хоть рассмотреть этого ирландца как следует, и убедился, что он-то как раз выглядит побезобиднее, чем француз. В лице ирландца еще сохранился намек на детскую округлость, и он, насколько Карл, приподнявшись на цыпочки, издали мог разглядеть, даже слегка улыбался во сне блаженной и мирной улыбкой.

Сохраняя несмотря на все это твердую решимость не спать, Карл уселся на единственное в комнате кресло, отложив упаковку чемодана на потом, благо у него вся ночь впереди, и рассеянно, не читая, полистал Библию. Потом взял в руки фотографию родителей, на которой низкорослый отец стоял распрямившись, а мама сидела впереди него в кресле чуть ссутулясь. Одну руку отец положил на спинку кресла, а другой, сжатой в кулак, оперся на раскрытую книжку с картинками, что лежала сбоку от него на хлипком туалетном столике. Была и еще одна фотография, на ней вместе с родителями снялся и Карл: отец и мать пристально на него смотрят, а он, в центре, по указанию фотографа глядит прямо в камеру. Но эту фотографию ему с собой не дали.

Тем внимательней вглядывался он сейчас в лежащий перед ним снимок, то так, то этак пытаясь перехватить отцовский взгляд. Но, с какой стороны ни держал Карл свечку, отец никак не хотел оживать, даже его пышные усы торчком были какие-то не такие как обычно, — это вообще неудачный снимок. Мама, правда, вышла уже получше, только губы странно скривлены, будто ей делают больно, а она пробует улыбнуться. Карлу казалось, что этот контраст так бросается в глаза, что всякий, едва взглянув на фотографию, первым делом заметит именно его, а потом, присмотревшись, даже удивится — уж слишком явно, почти до несуразицы он очевиден. И как это вообще может снимок столь неопровержимо изобличить чьи-то скрытые чувства? На секунду он отвел глаза от фотокарточки. Когда же взглянул на фото снова, вдруг обратил внимание на мамину руку, что безвольно свесилась с подлокотника — совсем рядом, близко, словно подставленная для поцелуя. И подумал, что неплохо бы все-таки написать родителям, как оба они, а отец напоследок, уже в Гамбурге, даже со всей строгостью, от него того требовали. Он-то, правда, еще тогда, в тот ужасный вечер, когда мама, стоя у окна, объявила ему об Америке, клятвенно себе пообещал никогда им не писать, но что значат подобные клятвы несмышленого мальчишки, особенно здесь, в совсем иных обстоятельствах. С тем же успехом он мог бы тогда себе поклясться, что за два месяца жизни в Америке станет генералом американской полиции, а на самом деле вон он где — ютится вместе с двумя бродягами на чердаке захудалой гостиницы под Нью-Йорком, да еще вынужден признать, что тут ему самое место. И он с улыбкой всматривался в родительские лица, словно пытаясь угадать, по-прежнему ли они хотят получить весточку от заблудшего сына.

Погруженный в созерцание, он вскоре почувствовал, что все-таки очень устал и вряд ли продержится всю ночь без сна. Фотокарточка выпала у него из рук, и вскоре он прильнул к ней лицом, ощущая, как глянцевитый лист холодит щеку. С этим приятным чувством он и заснул.

Проснулся он под утро оттого, что кто-то щекотал его под мышкой. Это француз разрешил себе подобную вольность. Но и ирландец уже стоял перед Карлом у стола, и теперь оба они изучали Карла с не меньшим интересом, чем Карл разглядывал их ночью. Карл не удивился тому, что не слышал, как они встали: видимо, они — и отнюдь не с преступными умыслами — старались не шуметь, а спал он крепко, к тому

же сама процедура одевания и мытья не потребовала от них больших трудов.

Теперь наконец они друг другу представились как положено, и даже не без официальности, после чего Карл узнал, что соседи его по профессии слесари-механики, долго мыкались в Нью-Йорке без работы и потому изрядно обнищали. В доказательство Робинсон распахнул пиджак, под которым не обнаружилось рубашки, о чем, впрочем, нетрудно было догадаться и раньше по сбившемуся накладному воротничку, пристегнутому к пиджаку на одной пуговице. Теперь они держали путь в городишко Баттерфорд, что в двух днях ходу от Нью-Йорка — там, по слухам, давали работу. Они ничуть не против, если Карл пойдет с ними, и даже пообещали, во-первых, подсобить ему тащить чемодан, а во-вторых, если сами работу получат, подыскать и ему место ученика, ибо уж это — если только работа вообще есть — проще простого. Не успел Карл толком согласиться, как они уже по-дружески ему посоветовали нарядный костюм снять, ибо при поступлении на любую работу это только помеха. А в этой гостинице как раз имеется прекрасная возможность от костюма избавиться, ведь здешняя горничная скупает ношеные вещи. Они споро помогли Карлу, который и насчет костюма тоже еще сомневался, стянуть с себя костюм и тут же его унесли. Когда Карл, оставшись один, еще полусонный, медленно надевал свой старый дорожный костюм, он уже начал раскаиваться, что продал костюм, который в поисках места ученика, возможно, и повредил бы, зато для места получше очень бы даже пригодился, и распахнул дверь, чтобы окликнуть своих новых знакомцев, но только столкнулся с ними нос к носу, ибо они уже принесли и выложили на стол полдоллара, да еще с такими сияющими физиономиями, что невозможно было усомниться: они тоже заработали на этой сделке свою долю, и притом бессовестно большую.

Но сейчас некогда было с ними на этот счет объясняться, ибо ввалилась старуха горничная, по-прежнему заспанная, словно все еще ночь, и стала гнать всех троих в коридор, объявив, что надо прибрать комнату для новых постояльцев. Было совершенно ясно, что это только предлог и выставляет она их исключительно из вредности. Так что пришлось Карлу, который как раз собрался аккуратно уложить чемодан, молча наблюдать, как старуха, сгребя его вещи в охапку, с силой упихивает их в чемодан, словно каких-то непослушных зверьков обратно в клетку. Ребята-механики начали к ней приставать, дергать за юбку, похлопывать по спине и ниже спины,

но если они полагали, будто оказывают этим Карлу услугу, то явно ошибались. Захлопнув крышку, старуха сунула чемодан Карлу в руки, стряхнула с себя непрошеных ухажеров и вытолкала всех троих вон из комнаты, пригрозив, что, если будут баловать, не получат кофе. Она, похоже, начисто позабыла, что Карл все-таки в этой компании сам по себе, ибо не делала между ним и механиками никаких различий, — одна, мол, шайка. С другой стороны, эти двое уже продали ей костюм Карла, выказав тем самым, что теперь они в известном смысле все заодно.

В коридоре им еще долго пришлось слоняться в ожидании, причем особенно француз, ухвативший Карла под руку, беспрерывно ругался, грозил послать хозяина, если только тот посмеет высунуть нос, в нокаут и, видимо в доказательство нешуточности своих намерений, яростно потирал друг о дружку грозно сжатые кулаки. Наконец появился беззащитный мальчуган, еще совсем ребенок, которому пришлось, подавая французу кофейник, чуть ли не встать на цыпочки. К сожалению, кофейник был только один, а втолковать мальчугану, что не худо бы принести, по крайней мере, чашки, оказалось делом безнадежным. Так что кофе пили по очереди — один присасывался к кофейнику, а двое других стояли и ждали. Карлу сразу же пить расхотелось, но неловко было обижать новых товарищей, поэтому, когда очередь доходила до него, он только подносил кофейник к губам, делая вид, что пьет.

Напоследок ирландец швырнул металлический кофейник на каменный пол, и они, так ни с кем и не попрощавшись, вышли из гостиницы, окунувшись с порога в густой желтоватый рассветный туман. Шли по обочине, в основном молча, хоть и рядом, Карл тащил свой чемодан, и никто вроде бы не собирался его подменять, пока он сам не попросит; время от времени, выскакивая из тумана, мимо них проносился автомобиль, и все трое провожали его глазами — как правило, это были огромные грузовики, столь причудливые в своих очертаниях и столь стремительные в промельке, что взгляд даже не успевал различить, есть ли вообще в кабине люди. Потом колоннами, по пять в ряд, потянулись подводы, что везли в Нью-Йорк провизию, они занимали всю ширину дороги и шли таким сомкнутым строем, что перейти на другую сторону было немыслимо. Время от времени дорога вдруг расширялась, образуя площадь, в центре которой на высоком, вроде башни, помосте расхаживал туда-сюда полицейский, обозревая движение и регулируя жезломего мощный главный

поток и притоки из боковых улиц, после чего — до следующей площади и следующего полицейского — все снова двигалось само собой, сохраняя, однако, благодаря дисциплине и выдержке молчаливых кучеров и шоферов добровольный и вполне терпимый порядок. Это всеобщее деловитое спокойствие более всего удивляло Карла. Если бы не мычание и визг не ведающей своей участи убойной скотины, сосредоточенную тишину над дорогой нарушал бы лишь мерный топот копыт да позвякивание цепей, надетых на колеса от пробуксовки. И это при том, что скорость передвижения, понятное дело, вовсе не везде была одинаковой. Если на иных площадях вследствие большого наплыва повозок и машин с боковых улиц образовывались пробки и вся колонна, разом запнувшись, ползла черепашьим шагом, то потом вдруг все неслись вперед чуть ли не опрометью, покуда движение, словно повинуясь некоему единому тормозу, снова не замедлялось и едва не застопоривалось. И, что странно, дорога совершенно не пылила, воздух над ней был чист и казался недвижим. Пешеходов не было, торговки не брели здесь на рынок поодиночке, как у Карла на родине, зато время от времени проезжали длинные грузовики, в плоских кузовах которых стоя, с корзинами за спиной, — значит, наверно, все-таки рыночные торговки — ехало до двадцати женщин, и все, как по команде, вытянув шеи, смотрели вперед, в надежде разглядеть причину затора и поскорее добраться до места. Попадались, впрочем, такие же грузовики, но без пассажиров: тут в кузове, руки в брюки, одиноко прохаживался мужчина. На бортах у этих машин красовались различные надписи, и на одной Карл, даже слегка вскрикнув от изумления, вдруг прочел: «Экспедиционная фирма Якоб — срочный найм портовых грузчиков». Грузовик как раз медленно проползал мимо, и маленький шустрый человечек, примостившийся на подножке, радушным жестом пригласил всех троих в кузов. Карл поспешил юркнуть за спины своих попутчиков, словно испугавшись, что в кабине сидит сам дядя Якоб и сейчас его увидит. Он был рад, что механики приглашение отклонили, хоть его и несколько раздосадовали презрительные мины, которые они при этом скорчили. Пусть не воображают, будто поступить на службу к дяде ниже их достоинства! Он немедленно, хотя, конечно, в более осторожной форме, довел эту мысль до их сведения. На что Деламарш попросил его сделать одолжение и не лезть в дела, в которых он, Карл, ничего не смыслит: мол, подобный способ нанимать людей — чистейшей воды надувательство, а фирма Якоб своими махина-

циями печально известна на все Соединенные Штаты. Карл ничего ему не ответил, но держался теперь поближе к ирландцу и вскоре даже попросил его немного понести чемодан, что тот в конце концов — Карл, правда, был вынужден не один раз повторить просьбу — и соблаговолил сделать. Однако тут же принялся ныть, что чемодан тяжеленный, покуда не выяснилось, что он явно не прочь облегчить свою ношу за счет колбасы, которая, надо понимать, весьма приглянулась ему еще в гостинице. Пришлось Карлу достать колбасу, которую француз сразу же забрал себе и, орудуя своим острым, похожим на финку ножом, почти целиком съел в одиночку. Робинсону еще время от времени перепадал ломтик, Карлу же, которому снова пришлось тащить чемодан — не бросать же на дороге, — не досталось вообще ни кусочка, словно он свою долю съел раньше. Клянчить свою же колбасу было неловко, да и мелочно, но Карла, конечно, разбирали обида и злость.

Туман тем временем рассеялся, вдали засияли вершинами неприступные горы, волнистой грядой уходя все дальше и теряясь в солнечной дымке. По сторонам дороги тянулись сиротливые, плохо возделанные поля, обтекая мрачные острова огромных фабрик, черневших на фоне летней зелени копотью стен и труб. То тут, то там, разбросанные как попало, возвышались многоэтажные жилые казармы, в их бесчисленных окнах прихотливой игрой движения и цвета пестрела и подрагивала просыпающаяся утренняя жизнь, на утлые, хлипкие балкончики уже высыпали женщины и дети, а вокруг них, то открывая, то скрадывая их крохотные фигурки, то взбучиваясь, то опадая, колыхалось под порывами утреннего ветра развешанное или просто разложенное на перилах белье. Отведя взгляд от домов, можно было увидеть вьющегося высоко в небе жаворонка, а чуть пониже — шустрых ласточек, что беззаботно носились над дорогой, едва не чиркая по головам возниц и пассажиров.

Многое здесь напоминало Карлу о родине, и он засомневался, верно ли поступил, покинув Нью-Йорк и направляясь куда-то в глубь страны. В Нью-Йорке все-таки рядом океан, а значит, и возможность в любую минуту вернуться домой. При этой мысли он остановился и сказал своим попутчикам, что лучше, пожалуй, ему остаться в Нью-Йорке. Когда же Деламарш попросту попытался силой потащить его дальше, Карл воспротивился, заявив, что он, наверно, все-таки вправе распоряжаться собой по собственному усмотрению. Так что ирландцу пришлось его уговаривать, объясняя, что Баттерфорд

куда красивей Нью-Йорка, но и после этого оба они долго еще его упрашивали, прежде чем Карл согласился идти дальше. Да и то, может, не согласился бы, если бы не сказал себе, что для него, наверно, даже лучше попасть в такое место, откуда не так-то просто вернуться домой. Там он наверняка будет лучше работать, не забивая себе голову всякими ненужными мыслями, и быстрее выбьется в люди.

И, приняв такое решение, он теперь уже сам чуть ли не подгонял своих спутников, которые так радовались его рвению, что добровольно и без всяких просьб по очереди несли чемодан, предоставив Карлу только недоуменно гадать, в чем, собственно, причина их столь живой радости. Дорога мало-помалу забиралась в гору, и когда они, время от времени останавливаясь передохнуть, оглядывались назад, им открывалась все более пространная панорама Нью-Йорка и прилегающей гавани. Мост, соединивший Нью-Йорк с Бруклином, тоненькой ниточкой протянулся над Гудзоном, и, если сощурить глаза, казалось, будто ниточка подрагивает. Ни людей, ни движения на мосту не было видно, а полоса воды под ним поблескивала безжизненной гладью. Оба огромных города казались отсюда мертвыми, бессмысленными нагромождениями. Между зданиями, большими и поменьше, не угадывалось иных, кроме величины, видимых различий. В прорезях улиц, где-то в незримой их глубине, вероятно, шла своим чередом привычная городская жизнь, но ее укутывала легкая дымка, хоть и неподвижная, но, казалось, вот-вот готовая улетучиться. Даже в порту, крупнейшем в мире, наступило затишье, и только кое-где, да и то скорее по воспоминаниям, чем наяву, взгляд как будто различал бороздящий воду корабль. Но проследить за его движением было невозможно — едва померещившись, корабль исчезал и больше уже не отыскивался.

Однако Деламарш и Робинсон, судя по всему, видели гораздо больше, руки их тянулись то направо, то налево, описывая в воздухе очертания площадей и парков, и оба так и сыпали незнакомыми названиями. Они решительно отказывались понимать, как это Карл, проведя в Нью-Йорке два с лишним месяца, умудрился почти ничего не увидеть, кроме одной-единственной улицы. И пообещали, как только заработают в Баттерфорде деньжат, отправиться вместе с ним в Нью-Йорк и показать ему все достопримечательности, в особенности, конечно, те места и заведения, где можно от души повеселиться. Как бы в доказательство Робинсон в полный голос затянул песню, а Деламарш принялся прихлопывать в

ладоши, — Карл с изумлением узнал знакомую мелодию из венской оперетты, которая сейчас, с английскими словами, понравилась ему даже больше, чем нравилась на родине. Так что у них получилось маленькое представление на открытом воздухе, в котором все трое приняли участие, и только огромный город внизу, где якобы так любили под эту мелодию развлекаться, внимал им холодно и равнодушно.

Потом Карл между прочим спросил, где находится «Экспедиционная фирма Якоб», и пальцы Робинсона и Деламарша дружно вскинулись, указывая то ли действительно в одну, то ли в две совершенно разные точки. Когда они снова тронулись в путь, Карл поинтересовался, скоро ли они заработают достаточно денег, чтобы вернуться в Нью-Йорк. Деламарш ответил, что, возможно, даже через месяц, ведь в Баттерфорде нехватка рабочих рук и платить должны хорошо. Разумеется, деньги они будут складывать в общий котел, не важно, у кого какое жалованье, надо жить по-товарищески. Почему-то идея с общим котлом Карлу не понравилась, хотя он как ученик, ясное дело, должен был зарабатывать меньше своих спутников, у которых уже была специальность. Кроме того, Робинсон вскользь заметил, что, если в Баттерфорде работы не будет, они, конечно, пойдут дальше и либо где-нибудь устроятся сельскохозяйственными рабочими, либо отправятся в Калифорнию на золотые прииски, что, судя по его увлеченным рассказам, и было его самой заветной мечтой.

— Зачем же вы обучились на механика, если собрались на золотые прииски? — спросил Карл, с явной неохотой прислушиваясь к столь дальним и ненадежным прожектам.

— Зачем на механика обучился? — переспросил Робинсон. — Да уж, ясное дело, не для того, чтобы подыхать с голоду, как вот сейчас. А на приисках заработки хоть куда.

— Были когда-то, — буркнул Деламарш.

— И остались, — заверил Робинсон и с жаром принялся рассказывать о своих многочисленных знакомых, которые на приисках разбогатели и до сих пор там сидят, хоть им, конечно, уже палец о палец ударять не надо, однако ему и, само собой, его товарищам они по старой дружбе помогут стать богачами.

— Ничего, в Баттерфорде какую-нибудь работу раздобудем, — сказал Деламарш, словно угадав затаенные помыслы Карла, однако особой уверенности в его словах слышно не было.

В течение дня они только однажды сделали привал — перед трактиром, прямо на улице, за столом, который, как

показалось Карлу, был из железа, они поели почти сырого мяса, которое даже не резалось, его можно было только рвать ножом и вилкой. Хлеб был необычной, продолговатой формы, и в каждом каравае торчал воткнутый в него длинный нож. К еде подали странную жидкость черного цвета, от которой першило в горле. Но Деламаршу и Робинсону этот напиток был явно по вкусу, они то и дело поднимали кружки за исполнение всевозможных желаний и чокались, сдвигая кружки в воздухе и некоторое время подержав их на весу. За соседними столами сидели рабочие в забрызганных известкой робах, и все пили ту же черную жидкость. Мимо по дороге беспрерывно проносились машины, оставляя за собой клубы пыли, оседавшей прямо на столы. Кругом из рук в руки передавали огромные газетные листы, все возбужденно обсуждали забастовку строителей, причем то и дело упоминалось имя Мака. Карл поинтересовался, кто это такой, и узнал, что это отец того самого Мака, его знакомого, крупнейший строительный предприниматель Нью-Йорка. Забастовка уже обошлась ему в миллион и чуть ли не грозила разорением. Карл ни слову не поверил из этой злорадной болтовни неосведомленных и завистливых людишек.

Помимо этого, обед был омрачен для Карла мучительным вопросом, кто и как будет расплачиваться. По здравому рассуждению, каждый вроде бы должен платить за себя, однако Деламарш, да и Робинсон уже не однажды успели заметить, что за последний ночлег выложили все свои оставшиеся деньги. Часов, колец или еще чего-нибудь ценного ни на том, ни на другом не было видно. А напрямик заявить, что они кое-что заработали на продаже его костюма, Карл тоже не мог — это означало бы оскорбление и разрыв навсегда. Однако, что самое удивительное, ни Деламарш, ни Робинсон нисколько насчет оплаты не беспокоились, а, напротив, пребывали в прекрасном расположении духа и при малейшей возможности даже пытались заигрывать с официанткой всякий раз, когда та величавой, гордой походкой проплывала мимо их стола. Расчесанные на пробор тяжелые волосы слегка сползали ей на лоб и щеки, и она то и дело поправляла их ленивым движением своих полных рук. Наконец, когда уже казалось, что она вот-вот отзовется на заигрывания, официантка подошла к столу, оперлась на него обеими руками и спросила:

— Кто платить будет?

Никогда еще не взлетали руки с такой скоростью, как взлетели сейчас руки Деламарша и Робинсона, указующие на Карла. Тот не испугался, он к такому обороту уже был готов

и даже не видел ничего предосудительного в том, что товарищи, от которых он ведь тоже ждал для себя кое-каких выгод, понадеялись на его кошелек, хотя куда приличнее было бы с их стороны со всей прямотой сказать ему об этом заранее. Неприятно только, что деньги-то ему надо выуживать из потайного кармана. Его же первоначальная задумка состояла в том, чтобы сберечь эти деньги на самый черный день, а пока что поставить себя со своими спутниками как бы на равных. Выгоды, которые он благодаря этим деньгам, а главное, их утаиванию приобретал по сравнению со своими товарищами, с лихвой перевешивались тем обстоятельством, что они-то жили в Америке с детства, имели достаточно опыта и навыков в добывании денег и, наконец, в отличие от Карла, не были избалованы иным, не столь нищенским образом жизни. Так что задумка относительно денег была совершенно правильная и из-за теперешнего недоразумения с оплатой обеда ни в коем случае не должна пострадать, в конце концов расход невелик, он может спокойно выложить на стол четверть фунта мелочью и заявить, что это последние его деньги, которые он готов пожертвовать на их совместное путешествие в Баттерфорд. Для пешего похода и такой суммы вполне хватит. Но беда в том, что он не знал, наберется ли у него столько мелочи, к тому же монеты вместе со сложенными купюрами хранились где-то глубоко в недрах потайного кармана и отобрать нужную сумму удобней всего было, вытряхнув содержимое на стол. А кроме того, весьма желательно, чтобы его попутчики об этом кармане вообще не узнали. Правда, их сейчас вроде бы куда больше занимала официантка, нежели то, как и чем Карл намерен расплачиваться. Деламарш потребовал счет и под этим предлогом заманил официантку между собой и Робинсоном, так что теперь она могла отбиваться от их приставаний лишь одним способом — попеременно упираясь то одному, то другому ухажеру всей пятерней прямо в лицо и отпихивая. Тем временем Карл, взмокнув от напряжения, под столом собирал в горсть мелочь, по монетке нашаривая и выуживая ее из глубин потайного кармана. Наконец, хотя он еще плохо знал американские деньги, ему показалось, что — по крайней мере по весу — нужная сумма набирается, и он высыпал мелочь на стол. Звон монет мгновенно оборвал все шутки.

К досаде Карла и ко всеобщему изумлению, обнаружилось, что он выложил чуть ли не целый фунт. Никто, правда, не спросил, почему Карл раньше молчал об этих деньгах, которых вполне хватило бы на проезд до Баттерфорда по

железной дороге, но все равно Карл почувствовал себя ужасно неловко. После того как за еду было уплачено, он медленно собрал со стола оставшиеся деньги, причем Деламарш успел еще выхватить одну монету у него из ладони, чтобы весьма игриво дать на чай официантке, которую он обхватил за талию и прижал к себе, а монетку протянул с другой стороны.

И после, когда они снова пустились в дорогу, ни один из попутчиков ни словом не обмолвился о деньгах, за что Карл был им очень благодарен и какое-то время даже подумывал, не открыть ли им все свои сбережения, но потом оставил эту мысль, не найдя удобного предлога для такого признания. Ближе к вечеру дорога привела их в иную, более плодородную и на вид явно сельскую местность. Вокруг, куда ни глянь, простирались неразмежеванные поля, раскинув свою первую зелень по мягким склонам холмов, богатые поместья подступали с обеих сторон прямо к обочинам, и дорога часами тянулась между позолоченными решетками садовых оград, они много раз пересекли один и тот же плавный, ленивый поток и не однажды слышали гулкий грохот поездов, проносящихся где-то в вышине по взметнувшимся над дорогой виадукам.

Солнце только-только закатилось за ровную кромку дальних лесов на горизонте, когда на каком-то взгорке, посреди уютной рощицы, они устало повалились в траву передохнуть от тягот долгого пути. Деламарш и Робинсон блаженно растянулись на земле, собираясь с силами, а Карл сидел рядом и смотрел вниз, на дорогу, по которой, как и весь день, стремительно и легко проносились навстречу друг другу автомобили, словно где-то в одной стороне их выпускали, а в другой, тоже бог весть где, принимали и отправляли встречные строго в том же количестве. С самого раннего утра и в течение всего дня Карл ни разу не видел, чтобы хоть один автомобиль остановился, чтобы хоть кто-то из пассажиров вылез.

Робинсон предложил провести ночь здесь — они, мол, уже порядком умаялись, чем раньше лягут, тем раньше завтра встанут и с новыми силами тронутся в путь, к тому же до наступления темноты вряд ли им найти более удобное и дешевое место для ночлега. Деламарш с ним согласился, и только Карл счел необходимым заметить, что вообще-то у него хватит денег, чтобы оплатить за всех троих ночлег в гостинице. Деламарш на это сказал, что деньги им еще пригодятся, пусть лучше Карл их прибережет. Иными словами, Деламарш ничуть не скрывал, что они на деньги Карла всерьез рассчитывают. Теперь, когда предложение его было одоб-

рено, Робинсон, однако, поспешил добавить, что перед сном и перед завтрашней дорогой неплохо бы как следует подкрепиться, так что надо бы кому-то сбегать за едой в гостиницу, светящаяся вывеска которой — «Отель Оксиденталь» — виднелась неподалеку, в той стороне, куда вел ответвившийся от дороги проселок. Поскольку никто из попутчиков не вызвался, Карл, как младший, без колебаний предложил свои услуги и, выслушав поручение принести сала, хлеба и пива, направился к гостинице.

Видимо, где-то поблизости был большой город, ибо первый же зал в гостинице, куда Карл вошел, был битком набит народом: вдоль стойки, что тянулась не только по продольной, но и по двум поперечным стенам, беспрерывно и во множестве сновали официанты в белых фартуках, но и они явно не успевали удовлетворить нетерпение многочисленных посетителей, ибо то тут, то там из разных углов доносились ругань, проклятия и возмущенный стук кулаков по столам. На Карла никто не обращал ни малейшего внимания; к тому же в самом зале, похоже, никого и не обслуживали, гости, теснившиеся за неудобными столиками — даже три человека закрывали собой такой столик почти целиком, — сами заказывали себе все что нужно у стойки и сами приносили все это на место. На каждом столике стояла большая бутылка то ли с маслом, то ли с уксусом, то ли еще с какой-то приправой, и все блюда, принесенные от стойки, тут же из этой бутылки сдабривались. Чтобы добраться до стойки, где, очевидно, учитывая солидный объем его заказа, главные трудности еще только бы начались, Карлу пришлось протискиваться между столиками, что, разумеется, при всей осторожности немыслимо было проделать, не беспокоя, порой весьма бесцеремонно, многочисленных гостей, которые, однако, сносили все это совершенно бесстрастно, даже когда Карл — впрочем, не сам, его тоже кто-то пихнул — один из столиков чуть не опрокинул. Он, правда, тут же извинился, но его явно не поняли, как и он ни слова не разобрал из того, что ему прокричали в ответ.

У стойки он с трудом разыскал клочок свободного места, откуда долгое время ничего не мог разглядеть за выставленными локтями соседей. Здесь, похоже, у людей вообще была такая привычка — сидеть, выставив локоть и подперев голову рукой; Карл поневоле вспомнил, как у них в школе латинист Крумпаль пуще всего на свете ненавидел именно эту позу и, тихо и всегда незаметно подкравшись к зазевавшемуся ученику, молниеносно выхватывал из-за спины линейку и

весьма чувствительным тычком сшибал выставленный локоть с парты.

Карл стоял, вплотную притиснутый к стойке, ибо едва он к ней пробился, как позади него тут же поставили новый столик и один из усевшихся за него гостей, стоило ему, что-то рассказывая приятелям, слегка откинуться назад, уже задевал спину Карла полями своей большой шляпы. А надежды хоть что-то получить от официанта даже сейчас, когда оба громоздких соседа, урвав свое, наконец-то ушли, не было почти никакой. Карл уже несколько раз пытался прямо через столик ухватить пробегающего мимо официанта за передник, но те, затравленно оглянувшись, с ожесточением вырывались. Казалось, они вообще не умеют стоять — только и знают, что бегать. Если бы поблизости от Карла еще нашлось хоть что-то подходящее из еды и питья, он бы взял что нужно, спросил, сколько с него причитается, положил бы деньги на стойку и с превеликой радостью ушел. Но перед ним, как назло, стояли только блюда с какой-то рыбой вроде селедки, поблескивавшей черными, с золотистым отливом, чешуйчатыми спинками. Рыба, должно быть, очень дорогая, да ей толком и не наешься. Можно было еще дотянуться до маленьких бочонков с ромом, но снабжать своих товарищей ромом он не хотел, они и так, похоже, когда надо и не надо готовы злоупотребить самыми крепкими спиртными напитками, и поощрять их в этом пагубном пристрастии он не намерен.

Оставалось, выходит, только одно — поискать другое, более удачное место у стойки и начать все сызнова. А он уже и так потерял слишком много времени. Часы в другом конце зала, стрелки которых отсюда, если как следует приглядеться, с трудом, но все же угадывались сквозь дым, показывали уже начало десятого. Однако в других местах возле стойки давка была еще больше, чем там, немного на отшибе, откуда Карл только что выбрался. Да и народу в зале становилось чем позднее, тем больше. Двери главного входа ходили ходуном, впуская вместе с громким: «Хэлло!» все новых и новых посетителей. Кое-где гости уже самочинно расчищали пространство на стойке и усаживались прямо на прилавок, весело друг с другом чокаясь; это, несомненно, были самые лучшие места, откуда просматривался весь зал.

Карл, правда, все еще протискивался куда-то, но уже без всякой надежды хоть что-то получить. Он корил себя за легкомыслие: не зная здешних порядков, вызвался выполнять такое сложное поручение. Товарищи с полным правом его отругают, да еще, пожалуй, решат, что он своих денег пожа-

лел, потому ничего и не принес. Теперь к тому же он очутился в той части зала, где все вокруг ели горячие мясные блюда с золотисто-желтой вареной картошкой, и ему казалось непостижимой загадкой, как это людям удается такое себе раздобыть.

И тут в нескольких шагах от себя он заметил пожилую женщину, явно из гостиничного персонала, которая весело беседовала с кем-то из гостей. При этом она не переставала прилаживать заколку к своей прическе. В тот же миг Карл решил, что попросит помощи у нее — хотя бы потому, что она, единственная в зале женщина, показалась ему как бы оазисом покоя среди всеобщего гама и столпотворения, а еще по той простой причине, что она единственная из обслуживающего персонала находилась в пределах досягаемости, если предположить, конечно, что при первых же обращенных к ней словах она не убежит по делам. Но ничего подобного — совсем наоборот. Карл еще даже не заговорил с ней, он, стоя рядом, еще только выжидательно прислушивался, а она, вдруг мельком глянув в сторону, как это бывает в разговоре, посмотрела на Карла, прервала беседу и приветливо, на ясном, как учебник грамматики, английском спросила, не нужно ли ему чего-нибудь.

— Очень нужно, — ответил Карл. — Только я ничего не могу здесь получить.

— Тогда пойдемте со мной, малыш, — сказала она, попрощалась со своим знакомым, который в ответ приподнял шляпу, что выглядело здесь знаком поистине невероятной учтивости, взяла Карла за руку, подвела его к стойке, решительно кого-то отодвинула, откинула дверцу барьера, миновала вместе с Карлом проход за стойкой, где надо было остерегаться неутомимо снующих туда-сюда официантов, отворила какую-то потайную дверь в стене — и в тот же миг они очутились в большой, прохладной кладовой.

— Просто надо знать, что к чему, — улыбнулась она Карлу. — Так что вам угодно? — спросила она, услужливо к нему склоняясь. Это была очень полная женщина, все тело ее колыхалось, но лицо, особенно, конечно, в сравнении с фигурой, сохранило почти детскую нежность очертаний.

При виде стольких припасов, тщательно разложенных вокруг на столах и полках, Карл чуть было не поддался соблазну заказать ужин повкуснее, тем более что эта добрая женщина явно пользовалась здесь влиянием и, наверно, отпустила бы ему все недорого, но, поскольку ничего особенно-

го ему с ходу в голову не пришло, он назвал все те же сало, хлеб и пиво.

— Больше ничего? — удивилась женщина.

— Нет, спасибо, — ответил Карл. — Но, пожалуйста, на троих.

На вопрос женщины, где же остальные двое, Карл вкратце рассказал о своих спутниках, ему было приятно, что его так участливо расспрашивают.

— Но это же еда для арестантов, — все еще недоумевала женщина и явно ждала, не попросит ли Карл чего-нибудь еще. Но тот, опасаясь, что она решила его пожалеть и денег вообще не возьмет, застенчиво промолчал. — Что ж, это-то мы мигом устроим, — сказала она, после чего с удивительной для ее комплекции подвижностью подошла к столу, отрезала длинным, похожим на саблю и таким же острым ножом большой шмат сала, обильно прослоенного мясом, достала с полки каравай хлеба, выхватила из ящика на полу три бутылки пива и, уложив все в легкую соломенную корзинку, протянула корзинку Карлу. Проделывая все это, она еще успела объяснить Карлу, что потому привела его именно сюда, что в зале, на стойке, продукты, хоть они и недолго там задерживаются, все равно теряют свежесть от духоты и табачного дыма. Но для этой публики и так сойдет, они все слопают. Карл и тут промолчал, ибо не мог понять, чем заслужил такое предпочтение. Однако подумал о своих попутчиках, которым, хоть они и мнят себя в Америке старожилами, а до этой вот кладовки вряд ли бы добраться и наверняка пришлось бы довольствоваться прокуренной, испорченной пищей с общего прилавка. Из шумного зала сюда не доносилось ни звука, наверно, только очень толстые стены могли сохранить под этими сводами такую тишину и прохладу. Карл уже довольно долго стоял с корзинкой в руках, но платить вроде бы не думал и с места не двигался. Лишь когда женщина вдобавок ко всему протянула ему бутыль наподобие тех, что стояли в зале на столах, он, словно очнувшись, испуганно поблагодарил и отказался.

— А далеко ли вы направляетесь? — спросила она.

— В Баттерфорд, — ответил Карл.

— О, так это еще очень далеко, — протянула женщина.

— Еще день пути, — пояснил Карл.

— Разве? А не дольше? — удивилась она.

— Да нет, — ответил Карл.

Женщина продолжала что-то перекладывать на столах, тут, торопливо озираясь, вошел официант, женщина указала

ему на большое блюдо с сардинами, слегка присыпанными зеленью петрушки, официант подхватил блюдо и, вскинув над головой, вынес в зал.

— А почему, собственно, вы решили спать на улице? — спросила женщина. — У нас тут места достаточно. Могли бы в гостинице переночевать.

Предложение звучало очень заманчиво, тем более что прошлую ночь Карл провел скверно.

— У меня там багаж, — ответил он в нерешительности, хотя и не без доли тщеславия.

— Так несите его сюда, — удивилась женщина. — Багаж в гостинице не помеха.

— Но мои товарищи... — Карл запнулся, только сейчас поняв, что они-то главная помеха и есть.

— Они, разумеется, тоже могут у нас переночевать, — сказала женщина. — Давайте, приходите! Не заставляйте себя так упрашивать.

— Мои товарищи вообще-то люди славные, — мялся Карл, — но не слишком опрятные.

— Вы что, не видели, какая грязища в зале? — спросила женщина, брезгливо поморщившись. — Уж к нам-то действительно всякий может прийти. Так что я распоряжусь приготовить три постели. Правда, только в мансарде, отель сейчас забит, я сама на мансарду перебралась, но все же это куда лучше, чем под открытым небом.

— Не могу я привести своих товарищей! — вырвалось у Карла. Он живо представил себе, какой шум поднимут эти двое в коридорах респектабельного отеля. Робинсон тут же все что можно перепачкает, а Деламарш наверняка еще и приставать начнет к этой милой женщине.

— Не могу понять, что вас так смущает, — сказала женщина, — но если уж вам так не хочется, оставьте ваших друзей на улице, а сами приходите сюда.

— Нет, это не годится, никак не годится, — возразил Карл. — Они мои товарищи, и я останусь с ними.

— Вы, однако, упрямый, — заметила женщина, отводя глаза. — Вам хотят добра, предлагают помощь, а вы отбиваетесь изо всех сил.

Карл и сам все это прекрасно понимал, но выхода все равно не видел и потому сказал только:

— Большое вам спасибо за вашу любезность. — Но тут же спохватился, что еще не заплатил, и спросил, сколько с него причитается.

— Когда корзину вернете, тогда и сочтемся, — ответила женщина. — Учтите, корзина мне нужна самое позднее к завтрашнему утру.

— Хорошо, — ответил Карл.

Она отворила дверь, что вела из кладовой прямо на улицу, и, когда Карл, поклонившись ей, уже выходил, сказала на прощанье:

— Спокойной ночи. Только все равно поступаете вы неправильно,

Он уже отошел на несколько шагов, когда она крикнула ему вдогонку:

— Так, значит, до завтра!

Едва он очутился на улице, как до слуха его долетел все тот же неутихающий шум из зала, к которому теперь добавилось еще и громыханье духового оркестра. Он порадовался, что ему не пришлось выбираться обратно через эту жуткую толчею. Отель теперь сиял всеми окнами своих шести этажей, ярко и во всю ширь освещая дорогу у него под ногами. Где-то впереди по-прежнему, хоть уже и не столь плотной чередой, проносились машины, вырастая из темноты стремительней, чем днем, они жадно ощупывали полотно дороги белыми лучами своих фар, которые как бы меркли, когда машины пересекали световое пятно отеля, а потом, разгораясь все ярче, снова вбуравливались в черноту ночи и постепенно исчезали вдали.

Спутников своих Карл застал уже спящими глубоким сном, но он и правда отсутствовал слишком долго. Только он собрался аппетитно разложить добытую снедь на листах бумаги, которые тоже нашлись в корзинке, чтобы уж потом, все приготовив, разбудить товарищей, как вдруг с ужасом увидел, что его чемодан, который он оставил запертым, а ключ унес с собой в кармане, теперь разинут настежь и почти все содержимое разбросано вокруг на траве.

— Вставайте! — закричал он в панике. — Пока вы тут дрыхнете, у нас побывали воры!

— Что-нибудь пропало? — заспанным голосом спросил Деламарш.

Робинсон, еще полусонный, сразу же потянулся за бутылкой.

— Не знаю, — крикнул Карл, — но чемодан открыт. Какое разгильдяйство — самим завалиться спать, а чемодан оставить без присмотра!

Оба спутника почему-то рассмеялись, а Деламарш сказал:

— В следующий раз не будете так надолго исчезать. Гостиница в двух шагах, а вы три часа где-то бродите. Мы же

голодные, подумали, может, у вас в чемодане найдется что-то съестное, вот и пощекотали замок, пока он не открылся. Только там нет ничего, так что можете спокойно складывать все обратно.

— Вот как, — только и вымолвил Карл, глядя на стремительно пустеющую корзину и прислушиваясь к странным звукам, издаваемым присосавшимся к бутылке Робинсоном: жидкость сперва тихо булькала в горле, потом как бы с присвистом вырывалась обратно и лишь после этого с утробным урчанием устремлялась внутрь, как в воронку.

— Ну что, вы все съели? — спросил он, когда оба начали сыто отдуваться.

— А вы разве не перекусили в гостинице? — спросил в ответ Деламарш, полагая, видимо, что Карл претендует на свою долю.

— Если вы еще не наелись, извольте поторопиться, — сказал Карл, направляясь к чемодану.

— Э, да он никак капризничает? — притворно изумился Деламарш, обращаясь к Робинсону.

— Я не капризничаю, — ответил Карл, — но мне не нравится, когда в мое отсутствие взламывают мой чемодан и разбрасывают мои вещи. Я знаю, между друзьями допустимы кое-какие вольности, и я был к ним готов, но это уже слишком. Я заночую в гостинице и в Баттерфорд с вами не иду. Доедайте скорей, мне надо вернуть корзинку.

— Видишь, Робинсон, — произнес Деламарш, — как с нашим братом говорят. Вот что значит хорошие манеры. Одно слово — немец. Ты-то меня сразу предупреждал, но я, дурак, тебя не послушал, принял его в компанию. Мы к нему со всей душой, с чистым сердцем, целый день с собой тащим, по меньшей мере полдня из-за него теряем, а он теперь, благо кто-то там его в гостинице поманил, хочет сказать нам до свиданья, и дело с концом. Но поскольку он не просто немец, а плохой немец, он не говорит нам это в открытую, он находит предлог с чемоданом, а поскольку он к тому же еще и немец-грубиян, он не может уйти просто так, не оскорбив напоследок нашу честь и не обозвав нас ворами — и все из-за невинной шутки, которую мы разыграли с его чемоданом.

Укладывая вещи, Карл, не оборачиваясь, сказал:

— Продолжайте в том же духе, мне только легче будет уйти. Уж я-то знаю, что такое товарищество. Там, в Европе, у меня тоже были друзья, и никто из них не упрекнет меня в неверности, а в подлости и подавно. Сейчас-то, конечно, они далеко, но если я когда-нибудь вернусь на родину, все они

встретят меня с радостью и каждый опять будет мне другом. А вас, Деламарш, и вас, Робинсон, — это вас-то я предал, после того как вы, не отрицаю и никогда не стану отрицать, проявили ко мне дружеское участие и даже посулили место ученика в Баттерфорде? Нет, причина не в этом, а совсем в другом. У вас нет ничего, и в моих глазах это нисколько вас не унижает, а вот вы не можете мне простить то немногое, что у меня есть, и всячески стараетесь меня обидеть, чего я, конечно, стерпеть не могу. Теперь же, когда вы вскрыли мой чемодан и ни словом не сочли нужным извиниться, а вместо этого оскорбляете, и не только меня, но и мой народ, — теперь вы сами лишили меня всякой возможности с вами оставаться. Впрочем, к вам, Робинсон, все это, пожалуй, почти не относится. Вас можно упрекнуть лишь в том, что вы слишком зависите от Деламарша.

— Вот теперь-то и видно, — сказал Деламарш, подойдя к Карлу и слегка ткнув его в спину как бы для того, чтобы тот обернулся, — теперь-то и видно, что вы за птица. Сперва он целый день ходит за мной, как за нянькой, чуть ли не за юбку держится, смотрит в рот, каждое движение повторяет и вообще ведет себя пай-мальчиком. А потом, когда его в гостинице кто-то приветил, он начинает нам тут мораль читать. Да вы, оказывается, мелкий прохвост, и я еще не знаю, потерпим ли мы такое обхождение. И не потребуем ли должок за обучение, раз уж вы целый день за нами подглядывали. Ты слыхал, Робинсон, он полагает, мы позавидовали его богатству. Да один день работы в Баттерфорде, не говоря уж о Калифорнии, и у нас будет в десять раз больше монет, чем те, которыми вы тут звенели и которые еще у вас в подкладке припрятаны. Так что поосторожней в выражениях.

Бросив чемодан, Карл встал и увидел, что все еще заспанный, но несколько повеселевший от пива Робинсон тоже направляется к ним.

— Пожалуй, если я тут с вами останусь, меня ждут еще кое-какие сюрпризы, — сказал Карл. — Вы, как я погляжу, собрались меня избить.

— Всякому терпению приходит конец, — изрек Робинсон.

— Вы, Робинсон, лучше помолчите, — оборвал его Карл, не спуская глаз с Деламарша, — в душе-то вы признаете, что я прав, но показать боитесь, потому что вы с ним заодно.

— Что, решили переманить его на свою сторону? — ехидно спросил Деламарш.

— И не подумаю, — ответил Карл. — Я рад, что от вас ухожу, и ни с одним из вас не хочу больше иметь дела. Еще

только одно я вам скажу, раз уж вы попрекнули меня моими деньгами, которые я от вас скрыл. Даже если и так — разве это неправильно по отношению к людям, с которыми ты знаком всего несколько часов, и разве вы своим поведением сейчас не подтвердили правильность моих действий?

— Только спокойно, — сказал Деламарш Робинсону, хотя тот и не думал двигаться. Потом спросил у Карла: — Раз уж вы так обнаглели в своей откровенности, раз уж у нас такой задушевный пошел разговор, то не стесняйтесь, выкладывайте всю правду до конца: что это вас так потянуло в гостиницу?

Карл невольно попятился, перешагнув чемодан, — так близко подступил к нему Деламарш. Но того это ничуть не смутило, он ногой отпихнул чемодан в сторону и сделал еще шаг вперед, водрузив ботинок прямо на белую манишку, что оставалась лежать на траве, и повторил вопрос.

Словно в ответ ему на дороге, где-то внизу, вдруг появился мужчина: светя себе ярким карманным фонариком, он уже взбирался по склону, явно направляясь в их сторону. Это был официант из отеля. Едва завидев Карла, он сказал:

— Я уже полчаса вас разыскиваю. Все кусты вдоль дороги облазил. Госпожа главная кухарка просит вам передать, что корзина, которую она вам одолжила, срочно ей понадобилась.

— Вот она, — ответил Карл сдавленным от волнения голосом.

Деламарш и Робинсон с напускной скромностью тут же отошли в сторонку, как всегда это делали при появлении любого добропорядочного человека. Официант забрал корзинку, но добавил:

— Еще госпожа главная кухарка просила узнать: может, вы все-таки передумали и заночуете в отеле? И двое других господ тоже могут пожаловать, если вы желаете взять их с собой. Постели уже приготовлены. Ночи сейчас, правда, теплые, однако спать на траве совсем небезопасно, у нас тут змеи водятся.

— Раз уж госпожа главная кухарка столь любезна, я, пожалуй, воспользуюсь ее приглашением, — ответил Карл и выжидательно посмотрел на своих спутников.

Но Робинсон стоял столбом, а Деламарш, засунув руки в карманы, изучал звезды. Оба, очевидно, предполагали, что Карл и теперь, после всего, что произошло, возьмет их с собой.

— В таком случае, — продолжил официант, — мне велено проводить вас в отель и доставить ваш багаж.

— Тогда подождите, пожалуйста, минутку, — попросил Карл и нагнулся, чтобы собрать в чемодан немногие оставшиеся вещи.

Внезапно он выпрямился. Фотографии не было, она лежала в чемодане с самого верху, а теперь куда-то подевалась. Все остальное на месте, и лишь фотографии не было.

— Я не вижу фотографию, — почти умоляюще обратился Карл к Деламаршу.

— Какую фотографию? — переспросил тот.

— Фотографию моих родителей, — пояснил Карл.

— Не видели мы никакой фотографии, — сказал Деламарш.

— Не было там никакой фотографии, господин Росман, — поддакнул ему Робинсон со своего места.

— Но этого же быть не может, — простонал Карл, беспомощным взглядом подзывая на подмогу официанта. — Она лежала сверху, а теперь ее нет. И надо было вам устраивать шутки с моим чемоданом!

— Это совершенно исключено, — заявил Деламарш. — Фотографии в чемодане не было.

— Она мне дороже, чем все остальное в чемодане, — сказал Карл официанту, который ходил вокруг, осматривая траву. — Ее ничем не заменишь, второй такой у меня не будет. — И когда официант прекратил безнадежные поиски, сокрушенно добавил: — Это единственная родительская карточка, какая у меня была.

Официант в ответ на это громко и без малейшей щепетильности заявил:

— Что ж, полагаю, тогда надо бы поискать у обоих господ в карманах.

— Да! — немедленно согласился Карл. — Я должен ее найти. Но прежде чем мы обыщем карманы, я хочу им сказать вот что: тот, кто добровольно вернет мне фотографию, получит чемодан со всем содержимым. — Повисло напряженное молчание, потом Карл сказал официанту: — Что ж, очевидно, мои товарищи предпочитают обыск. Но и теперь я по-прежнему обещаю чемодан тому, у кого в кармане найдется фотография. Это все, что я в силах сделать.

Официант тут же приступил к обыску Деламарша, тот показался ему покрепче, чем Робинсон, которого он предоста-

вил Карлу. Он предупредил Карла, что обыскивать надо непременно обоих сразу, чтобы они ничего не могли потихоньку выбросить или передать друг другу. В первом же кармане у Робинсона Карл с ходу обнаружил собственный галстук, но забирать его не стал и крикнул официанту:

— Что бы вы там у Деламарша ни нашли, пожалуйста, все ему оставьте. Мне нужна только фотография, а кроме фотографии — ничего.

Обыскивая внутренние карманы Робинсона, Карл ненароком коснулся его горячей, жирной груди, и только тут до его сознания дошло, что он, должно быть, подвергает своих товарищей страшному унижению. Он заторопился, стараясь поскорей покончить с этим неприятным делом. К тому же все оказалось напрасным: ни у Робинсона, ни у Деламарша фотографии не нашлось.

— Бесполезно, — сказал наконец официант.

— Наверно, они ее порвали, а клочки выбросили, — предположил Карл. — Я-то думал, они мне друзья, но втайне они хотели мне только напакостить. Вряд ли это Робинсон, у него бы ума не хватило догадаться, что фотография для меня — самое дорогое, зато Деламарш наверняка.

Карл говорил это, видя перед собой только официанта, чей фонарик выхватывал из темноты маленький кружок света, за пределами которого все, в том числе Робинсон и Деламарш, тонуло в глубоком мраке.

Теперь, разумеется, и речи не было о том, чтобы брать этих двух с собой в гостиницу. Официант вскинул чемодан на плечо, Карл взял корзинку, и они пошли. Уже на дороге, очнувшись от тягостных дум, Карл остановился и крикнул куда-то вверх, в темноту над склоном:

— Эй, вы, послушайте! Если фотография все еще у кого-то из вас и он принесет мне ее в гостиницу, я отдам ему чемодан и в полицию — клянусь! — заявлять не буду.

Ответа как такового не последовало, долетел какой-то обрывок слова, а может, выкрик Робинсона, которому Деламарш, очевидно, мгновенно зажал рот. Карл долго еще дожидался — может, они там, наверху, передумают. Потом дважды, с расстановкой, крикнул:

— Я все еще тут!

Но ни звука не было в ответ, лишь неожиданно скатился по склону камень — то ли случайно, то ли брошенный наугад чьей-то рукой.

Глава пятая

ОТЕЛЬ «ОКСИДЕНТАЛЬ»

В отеле Карла сразу же отвели в комнату наподобие конторы, где главная кухарка с блокнотом в руках диктовала деловое письмо сидевшей тут же машинистке. Отчетливая, словно наизусть, диктовка и плотный, уверенный перестук клавиш дружно заглушали уловимое лишь изредка тиканье стенных часов, которые показывали уже почти половину двенадцатого.

— Так, — сказала главная кухарка, захлопывая блокнот, после чего машинистка тут же вскочила и накрыла машинку деревянным футляром, проделав это чисто автоматически и не спуская с Карла глаз. Выглядела она еще почти школьницей: передник очень тщательно отутюжен, на плечах даже оборки воланами, волосы аккуратно собраны в довольно высокую прическу, и все эти мелочи как-то не вязались с недетской серьезностью ее лица. Поклонившись сперва начальнице, потом Карлу, машинистка вышла, и Карл невольно перевел на главную кухарку свой вопрошающий взгляд.

— Это замечательно, что вы все-таки пришли, — сказала та. — А где же ваши товарищи?

— Я их не взял, — ответил Карл.

— Они, должно быть, очень рано завтра выходят, — предположила кухарка, словно подыскивая за Карла подходящее объяснение.

«Уж не думает ли она, что и я завтра выхожу с ними?» — мелькнуло у Карла, и во избежание дальнейших недоразумений он пояснил:

— Мы поссорились и расстались окончательно.

Главная кухарка, похоже, восприняла эту новость как приятную.

— Так вы, значит, свободны? — спросила она.

— Да, свободен, — отозвался Карл, и ничто не казалось ему сейчас никчемней его свободы.

— Послушайте, а вы не хотите получить место у нас в отеле? — спросила вдруг главная кухарка.

— Я бы с радостью, — ответил Карл, — только знаний у меня почти никаких. Я вот, к примеру, даже на машинке печатать не умею.

— Это не страшно, — успокоила его главная кухарка. — Начать, конечно, придется с самой скромной должности и потихоньку пробиваться наверх, а уж дальше все будет зави-

сеть от вашего усердия и терпения. Но, по-моему, для вас же лучше где-то осесть и закрепиться, чем так вот по белу свету болтаться. Сдается мне, такая жизнь не для вас.

«Тут бы и дядя под каждым словом подписался», — подумал Карл и утвердительно кивнул. В тот же миг он спохватился — о нем проявляют столько заботы, а он даже не представился.

— Извините, пожалуйста, — сказал он, — я забыл представиться, меня зовут Карл Росман.

— Вы немец, не так ли?

— Да, — подтвердил Карл. — Я недавно в Америке.

— А откуда вы?

— Из Праги, это в Чехии, — пояснил Карл.

— Смотрите-ка! — воскликнула главная кухарка по-немецки с сильным английским акцентом и чуть не всплеснула руками. — Да мы, выходит, земляки; меня зовут Грета Митцельбах, и я из Вены! А Прагу я отлично знаю, ведь я полгода проработала в «Золотом гусе» на площади Святого Вацлава. Нет, подумать только!

— А когда это было? — поинтересовался Карл

— О, много-много лет назад.

— «Золотого гуся» снесли два года назад, — сообщил Карл.

— Да, конечно, — рассеянно кивнула главная кухарка, мыслями все еще витая где-то в прошлом. Но потом, вдруг разом оживившись, схватила Карла за руки и воскликнула: — Но раз уж вы мой земляк, вам ни за что нельзя от нас уезжать! Обещайте мне, что этого не сделаете. Как вы смотрите на то, чтобы, допустим, стать у нас лифтером? Одно ваше слово — и вы им станете. Вот обживетесь немного — сами увидите: получить такое место совсем не просто, ведь для начала ничего лучше не придумаешь. Вы встречаетесь со всеми гостями, всегда у них на виду, они дают вам мелкие поручения, — короче, у вас каждый день есть возможность подыскать что-нибудь получше. А уж об остальном предоставьте позаботиться мне.

— В лифтеры я с удовольствием пойду, — сказал Карл после непродолжительного раздумья.

Было бы величайшей глупостью с его-то пятью классами гимназии — и отказаться от места лифтера. Здесь, в Америке, этих пяти классов впору скорей стыдиться. К тому же мальчишки-лифтеры всегда нравились Карлу, они казались ему как бы украшением отеля.

— А разве не требуется знание языков? — спросил он еще на всякий случай.

— У вас есть немецкий и превосходный английский, этого вполне достаточно.

— Английский я только в Америке выучил, за два с половиной месяца, — сообщил Карл, решив, что глупо умалчивать о своем единственном достоинстве.

— Одно это уже говорит за вас, — похвалила его главная кухарка. — Как вспомню, сколько я в свое время с английским мучилась. Но это, правда, уже давно, тридцать лет назад. Как раз вчера об этом думала. У меня вчера день рожденья был, пятьдесят стукнуло. — И она с улыбкой глянула на Карла, пытаясь по его лицу угадать, какое впечатление произвел на того ее уже столь солидный возраст.

— Я вас поздравляю и желаю счастья, — сказал Карл.

— Это никогда не помешает, — ответила она, пожимая руку Карла и слегка погрустнев от этой вспомнившейся вдруг присказки, произнесенной на родном языке. — Но я совсем вас заговорила, — снова всполошилась она. — Вы же наверняка очень устали, а обсудить все куда лучше будет завтра днем. Пойдемте, я отведу вас в вашу комнату.

— У меня только еще одна просьба, госпожа главная кухарка, — сказал Карл, заметив на одном из столов телефонный аппарат. — Не исключено, что завтра утром, возможно, даже очень рано утром, мои бывшие товарищи занесут фотографию, которая крайне мне нужна. Не затруднит ли вас позвонить портье и сказать, чтобы он этих людей ко мне пропустил или меня к ним вызвал.

— Разумеется, — с готовностью откликнулась главная кухарка, — но почему бы портье просто не взять у них фотографию, а потом передать вам? И что это за фотография, если не секрет?

— Фотография моих родителей, — ответил Карл. — Нет, я должен сам с ними переговорить.

На это главная кухарка ничего больше не сказала, позвонила на стойку портье и передала соответствующее поручение, назвав при этом и номер комнаты Карла — пятьсот тридцать шестой.

Потом они вместе вышли в вестибюль и через дверь, что как раз напротив парадного входа, попали в узкий коридорчик, в конце которого возле лифта, облокотившись на перила, спал стоя совсем еще маленький мальчишка-лифтер.

— Мы и без него справимся, — шепотом сказала главная кухарка, пропуская Карла в лифт. — Конечно, работать по

десять — двенадцать часов многовато для такого мальчика, — пояснила она, пока они поднимались в лифте. — Но в Америке так принято. Взять, к примеру, этого малыша: он итальянец, только полгода, как приехал сюда с родителями. Сейчас у него такой вид, как будто ему эту работу нипочем не осилить: с лица совсем осунулся, засыпает на посту, хотя от природы он совсем не лентяй, но проработает еще полгода здесь или в другом месте и будет с легкостью все выдерживать, а через пять лет станет настоящим сильным мужчиной. Я знаю множество таких примеров и могла бы часами о них рассказывать. При этом вас я даже не имею в виду, вы-то крепкий юноша. Вам ведь семнадцать, верно?

— Через месяц шестнадцать исполнится, — ответил Карл.

— Даже еще только шестнадцать? — удивилась она. — Тем более. Главное — не терять мужества!

Наверху она отвела Карла в комнату, которая скосом одной из стен хоть и обнаруживала свое расположение в мансарде, но в остальном выглядела при веселом свете двух лампочек очень даже уютно.

— Обстановка пусть вас не пугает, — предупредила главная кухарка, — это не гостиничный номер, а всего лишь комната в моей квартире, но у меня три комнаты, так что вы мне нисколько не помешаете. Смежную дверь я запру, так что можете не стесняться. Завтра, став сотрудником отеля, вы, конечно, получите свою комнатушку. Если бы вы пришли с товарищами, я бы распорядилась постелить вам в общем спальном зале для прислуги, ну а так, раз вы один, я думаю, вам здесь будет удобней, хоть и придется спать на софе. Ну, а теперь спите как следует и набирайтесь сил для работы. Завтра, впрочем, день у вас еще не тяжелый.

— Большое вам спасибо за вашу доброту.

— Погодите, — проговорила она, останавливаясь на пороге, — этак вас скоро опять разбудят. — И, подойдя к одной из боковых дверей, постучала в нее и крикнула: — Тереза!

— Слушаю, госпожа главная кухарка! — донесся оттуда голос маленькой машинистки.

— Завтра, когда будешь меня будить, пройди коридором, тут в комнате спит гость. Он до смерти устал. — Говоря все это, она улыбалась Карлу. — Ты поняла?

— Да, госпожа главная кухарка.

— Тогда спокойной ночи.

— Спокойной ночи и вам.

— Дело в том, — сочла нужным объяснить главная кухарка, — что я последние годы ужасно плохо сплю. Сейчас-то

должность у меня хорошая, и можно ни о чем не тревожиться. Но, наверно, прежние тревоги дают себя знать, оттого и бессонница. Если в три удается заснуть, это, считайте, хорошо. Но поскольку в пять, самое позднее в полшестого мне уже надо быть на рабочем месте, приходится просить, чтобы меня будили, причем очень осторожно, иначе я весь день буду еще больше нервничать, чем обычно. Вот Тереза меня и будит. Но теперь вы уж и вправду все знаете, а я никак не уйду. Спокойной ночи!

С этими словами, несмотря на свою полноту, она почти выпорхнула из комнаты.

Карл с радостью предвкушал блаженный сон, ибо день и вправду выдался тяжелый. А более уютного места для сладкого, беспробудного сна и желать было нельзя. Комната, правда, обставлена не как спальня, скорее это жилая комната, если не парадная гостиная главной кухарки, и умывальный столик внесли сюда только на сегодняшний вечер исключительно ради него, тем не менее Карл совсем не чувствовал себя здесь незваным, а, пожалуй, напротив, — желанным гостем, о котором позаботились. Чемодан его уже принесли, вот он, стоит поблизости и, похоже, давно уже не был в большей безопасности. На низком комоде, укрытом вязанной в крупную петлю скатеркой, в рамочках и под стеклом были расставлены фотографии, возле которых Карл, обходя комнату, невольно задержался, и теперь их разглядывал. Фотографии в большинстве были старые и запечатлели в основном молоденьких девушек в чопорных, давно вышедших из моды платьях, в маленьких, но высоких шляпках, чудом удерживающихся на голове, — опираясь правой рукой на зонтик, девушки вроде бы и смотрели прямо перед собой, но перехватить их взгляд не удавалось. Среди мужских снимков внимание Карла привлек портрет молодого солдата: положив перед собой пилотку на столик, он стоял навытяжку, явно гордясь своей буйной черной шевелюрой и с трудом сдерживая распирающий его озорной смех. Пуговицы мундира фотограф тщательно раскрасил позолотой. Все фотографии, судя по всему, были еще из Европы, в чем нетрудно было бы убедиться, прочитав подписи на обороте, но Карл не решился трогать чужие вещи. Вот так же, как здесь, на самом виду, и он мог бы поставить фотографию родителей в своей будущей комнате.

Едва он, весь как следует вымывшись и проделав это как можно тише, дабы не потревожить соседку, в предвкушении блаженного сна растянулся на кушетке, как вдруг ему послы-

шалось, будто в одну из дверей робко постучали. Сразу невозможно было определить, в какую дверь именно, к тому же это мог быть и просто случайный шорох. Звук вроде бы не повторился, и Карл уже почти заснул, когда он раздался снова. Но теперь уже не было сомнений, что это именно стук и доносится он из-за двери машинистки. Карл на цыпочках подбежал к двери и на всякий случай еле слышно, чтобы никого не разбудить, если там все-таки спят, спросил:

— Вам что-нибудь нужно?

Из-за двери тотчас же и так же тихо донеслось:

— Вы не могли бы открыть дверь? Ключ с вашей стороны.

— Конечно, — ответил Карл, — только сперва оденусь.

Возникла небольшая заминка, потом тот же голос произнес:

— Это необязательно. Откройте, а сами ложитесь в кровать, я подожду.

— Хорошо, — сказал Карл и сделал все, как ему посоветовали, только включив вдобавок электричество.

— Я уже лег, — произнес он чуть громче.

В тот же миг из темноты своей комнаты на пороге возникла маленькая машинистка, одетая точно так же, как недавно в конторе, словно все это время она и не думала ложиться спать.

— Простите, ради бога, — пролепетала она и уже очутилась возле кушетки, слегка склоняясь над Карлом, — и, прошу вас, не выдавайте меня. К тому же я совсем ненадолго, я знаю, что вы очень устали.

— Да нет, не настолько, — ответил Карл, — но, наверно, лучше бы мне все-таки было одеться.

Ему приходилось лежать пластом, до подбородка укрывшись одеялом, ведь у него не было ночной рубашки.

— Я только на минуточку, — сказала она, хватаясь за спинку стула. — Можно, я сяду к кушетке?

Карл кивнул. Она тут же села, да так близко, что Карлу пришлось отодвинуться к стене, иначе ему трудно было на нее смотреть. У нее было округлое, правильное лицо, только лоб, пожалуй, высоковат, но, возможно, это из-за прически, которая не очень-то ей шла. Одета очень чистенько и аккуратно. В левой руке она нервно тискала платочек.

— Вы надолго у нас останетесь? — спросила она.

— Это еще не вполне ясно, — ответил Карл, — но думаю, что останусь.

— Хорошо бы, вы остались, — вздохнула она, проводя платком по лицу, — а то мне здесь так одиноко.

— Вот уж не ожидал, — удивился Карл. — По-моему, госпожа главная кухарка очень к вам добра. И относится к вам вовсе не как к подчиненной. Я даже решил, что вы родственницы.

— О нет, — ответила девушка. — Меня зовут Тереза Берхгольд, я из Померании.

Карл тоже представился. В ответ девушка впервые подняла на него глаза, словно он, назвав свое имя, почему-то стал ей чуточку более чужим. Они помолчали немного. Потом она сказала:

— Не подумайте, что я такая неблагодарная. Без госпожи главной кухарки мне бы совсем худо пришлось. Раньше-то я здесь, в отеле, на кухне работала и была уже на волосок от увольнения, потому что не справлялась с тяжелой работой. Тут требования очень суровые. Месяц назад одна девушка, тоже с кухни, от переутомления просто упала в обморок и две недели пролежала в больнице. А я вообще не очень сильная, в детстве много болела и из-за этого такая хилая, вы вон, наверное, тоже не догадались, что мне уже восемнадцать. Но ничего, теперь-то я скоро окрепну.

— Да, служба здесь, похоже, и впрямь не сахар, — сказал Карл. — Только что я видел внизу мальчишку-лифтера, так он стоя спал.

— И это при том, что лифтерам еще живется лучше всех, — живо откликнулась девушка, — они кучу денег зарабатывают на чаевых, и им все же не приходится так надрываться, как людям на кухне. Но тут мне и вправду хоть раз в жизни повезло, госпоже главной кухарке понадобилась помощь — салфетки к банкету приготовить, и она послала на кухню, нас там девчонок человек пятьдесят, я оказалась под рукой и сумела угодить: уж что-что, а салфетки я всегда хорошо складывала. Вот с тех пор она и стала держать меня при себе и постепенно сделала своей секретаршей. Мне, конечно, многому пришлось научиться.

— Неужели тут так много писанины? — удивился Карл.

— Ой, очень много, — пожаловалась девушка, — вы даже представить себе не можете. Вы же видели, я работала сегодня до половины двенадцатого, а это мой самый обычный день. Хотя вообще-то я не все время за машинкой, иногда хожу в город за покупками.

— А что за город, как хоть называется? — поинтересовался Карл.

— Вы разве не знаете? — изумилась она. — Рамзес.

— Большой? — спросил Карл.

— Ой, очень, — ответила девушка. — Я не люблю туда ходить. Но вы правда еще спать не хотите?

— Нет-нет, — заверил ее Карл. — Я ведь еще не знаю, зачем вы пришли.

— Так ведь не с кем поговорить. Не подумайте, что я плакса, но когда у тебя совсем никого нет, такое счастье хоть кому-то излить душу. Я вас еще внизу в зале заметила, пришла позвать госпожу главную кухарку и видела, как она вас в кладовую повела.

— Жуткий зал, — вспомнил Карл.

— А я уже внимания не обращаю, — обронила девушка. — Так я что хотела сказать: госпожа главная кухарка добра ко мне почти как покойная мама, царство ей небесное. Но слишком уж большая разница в нашем служебном положении, чтобы мне говорить с ней по душам. Среди девушек с кухни у меня были раньше хорошие подружки, но их уже давно здесь нет, а новых я почти не знаю. И потом, мне иногда кажется, что нынешняя работа выматывает меня куда больше, чем прежняя, и что справляюсь я с ней даже хуже, чем на кухне справлялась, а госпожа главная кухарка держит меня вроде как только из жалости. В конце концов, не такое уж хорошее у меня образование для секретарши. Грех, конечно, такое говорить, но я страшно боюсь того и гляди сойти с ума. Боже правый! — спохватилась вдруг она и заговорила быстро-быстро, непроизвольно даже тронув Карла за плечо, поскольку руки он спрятал под одеялом. — Только ни слова об этом госпоже главной кухарке, иначе я и вправду пропала. Если вдобавок ко всем хлопотам, которые я причиняю ей на работе, она еще за меня переживать начнет, это уж точно будет конец.

— Разумеется, я ничего ей не скажу, — заверил ее Карл.

— Вот и хорошо, — успокоилась девушка. — Только вы оставайтесь. Я буду рада, если вы останетесь — мы бы подружились, если вы, конечно, не против. Я как вас увидела — сразу почувствовала к вам доверие. Хотя — представляете, какая я нехорошая — мне и страшно сделалось: вдруг госпожа главная кухарка возьмет вас секретарем на мое место, а меня уволит. И только потом, пока вы были внизу в конторе, я тут долго одна сидела и в конце концов решила, что даже хорошо будет, если вы смените меня на этой работе, ведь вы наверняка гораздо лучше в ней разберетесь. А если не захотите делать закупки в городе, эта обязанность могла бы остаться за мной. Хотя вообще-то на кухне от меня куда больше толку, особенно теперь, когда я уже немного окрепла.

— Все уже решено, — сказал Карл. — Я буду лифтером, а вы остаетесь секретаршей. Но если вы хоть словом обмолвитесь госпоже главной кухарке об этих ваших замыслах, я, как ни жаль, буду вынужден рассказать ей все, что вы мне тут наговорили.

Эта шутливая угроза столь сильно, однако, подействовала на Терезу, что та с плачем бухнулась перед кроватью на колени, испуганно зарывшись лицом в одеяло.

— Да не скажу я ничего, — успокаивал ее Карл, — но и вы ничего не говорите.

Теперь уже прятаться под одеялом было просто неловко, Карл осторожно поглаживал девушку по руке, не зная, чем ее утешить, и размышляя о том, какая все-таки несладкая здесь жизнь. Наконец она худо-бедно успокоилась, даже устыдилась своих слез и, подняв на Карла благодарные глаза, стала уговаривать завтра утром спать подольше, обещая, если работа позволит, подняться к нему около восьми и разбудить.

— Я слышал, будить вы умеете замечательно, — польстил ей Карл.

— Да, кое-что я умею, — улыбнулась она, на прощанье ласково провела рукой по его одеялу и убежала к себе.

На следующий день Карл настоял на том, чтобы приступить к службе немедленно, хотя главная кухарка намеревалась предоставить ему этот день для знакомства с городом. Но Карл без обиняков заявил, что на это время еще найдется, а сейчас для него самое главное — начать работать, ибо одно дело в жизни он уже успел в Европе забросить и теперь начинает лифтером в том возрасте, когда его сверстники, по крайней мере наиболее усердные из них, уже на подходе к местам ступенькой повыше. Вполне справедливо, что он начинает простым лифтером, но справедливо и то, что ему надо особенно торопиться. А коли так, то и осмотр города не доставит ему никакой радости. Даже на короткую прогулку, несмотря на уговоры Терезы, он не соблазнился. В голове все время свербила мысль, что если он не будет прилежно трудиться, то в конце концов докатится до того же, что Деламарш и Робинсон.

У гостиничного портного Карлу подобрали лифтерскую форму, на вид просто шикарную, с золотыми галунами и пуговицами, но, надев ее, он невольно содрогнулся — так жестко и зябко стиснул ему плечи форменный сюртук, к тому же под мышками неистребимо влажный от пота всех, кто носил его до Карла. Форму, однако, еще пришлось подгонять по его

фигуре, особенно в груди, поскольку ни один из десяти наличных комплектов решительно не хотел на него лезть. Несмотря на потребовавшиеся пошивочные работы и крайнюю, казалось бы, придирчивость мастера — принесенная и якобы совершенно готовая форма дважды летела от его руки обратно на доделку, — вся процедура заняла не более пяти минут, и Карл покинул ателье уже законченным лифтером в облегающих брюках и весьма узком, несмотря на решительные опровержения мастера, кителькe, который то и дело подбивал своего обладателя на робкие попытки дыхательных упражнений, дабы убедиться, что он еще способен дышать.

Затем Карл явился к одному из старших распорядителей, под чье начало он теперь поступал, — это был стройный, красивый мужчина лет сорока, с большим носом. Времени на разговоры с Карлом у него не было ни секунды, и он звонком немедленно вызвал другого лифтера — по случаю им оказался как раз тот мальчишка, которого Карл вчера видел. Старший распорядитель назвал его только по имени — Джакомо, но Карл даже это выяснил лишь потом, ибо в английском произношении имя изменилось до неузнаваемости. Этому мальчишке и было поручено показать Карлу все необходимое для лифтерской службы, но он проделал это столь запуганно и торопливо, что даже то, в сущности, немногое, что следовало показать, Карл от него не усвоил. К тому же Джакомо явно был не в духе, так как, очевидно, именно из-за Карла лишился вчера лифтерского места и теперь был придан в помощь горничной, что по каким-то соображениям, о которых он, впрочем, умалчивал, воспринималось им как бесчестье. Более всего Карла разочаровало, что лифтер, оказывается, лишь постольку имел дело с механикой лифта, поскольку нажатием кнопки приводил его в движение, тогда как ремонт двигателей и все прочие технические работы выполнялись гостиничными монтерами, так что Джакомо, например, за целых полгода службы ни разу не видел своими глазами ни машинного отделения в подвале, ни механизмов в самом лифте, хотя его, как он честно признался, это очень бы интересовало. Вообще это была монотонная работа, к тому же из-за двенадцатичасовых смен, попеременно то днем, то ночью, до того тяжелая, что, по мнению Джакомо, ее вообще невозможно выдержать, если не научиться хоть на минуточку иногда засыпать стоя. Карл на это ничего не сказал, но про себя подумал, что, наверно, именно это искусство и стоило Джакомо места.

Зато очень порадовало Карла, что лифт, который ему предстояло обслуживать, предназначался лишь для верхних этажей, и, значит, ему не придется иметь дело с богатыми постояльцами, самой капризной и привередливой публикой. Правда, на этом участке и всем тонкостям нового ремесла не обучишься, так что место это хорошо лишь для начала.

Первая же неделя работы убедила Карла, что лифтерская служба вполне ему по плечу. Латунные ручки, решетки и поручни его лифта всегда были отдраены до блеска, ни один из тридцати других лифтов не мог с ним тут соперничать, и они, наверно, сияли бы еще ослепительней, проявляй его сменщик хоть долю такого же усердия, вместо того чтобы пользоваться рвением Карла для прикрытия и поощрения собственной лености. Этот сменщик был урожденный американец, по имени Реннел, темноглазый форсистый парень с чуть впалыми щеками на гладком красивом лице. Предметом его особой гордости был элегантный костюм, в котором он в свободные от работы вечера, слегка надушившись, уходил в город; иногда он и в свою смену просил Карла подменить его вечером, ссылаясь на какие-то семейные обстоятельства и нимало не смущаясь тем, что его внешний вид подобным отговоркам никак не соответствует. Карл тем не менее вполне с ним ладил и даже любил, когда Реннел в такие вечера, перед тем как отправиться в город, неизменно останавливался перед ним возле лифта в своем нарядном костюме, еще раз бормотал какие-то извинения, натягивая перчатки на тонкие пальцы, и уж потом спешил по коридору к выходу. Хотя вообще-то, соглашаясь на такие подмены, Карл всего лишь оказывал дружескую услугу старшему товарищу по работе, что на первых порах считал только естественным, но вводить в привычку отнюдь не собирался. Ибо бесконечная езда в лифте вверх-вниз была все же достаточно утомительна, а уж и подавно вечером, когда ездить приходилось почти беспрерывно.

Вскоре Карл научился и коротким, но почтительным поклонам, которые полагалось делать лифтерам, а чаевые подхватывал на лету. Монеты мигом исчезали в кармане его жилетки, и по его лицу никто бы не смог догадаться, насколько щедрым или, наоборот, скупым было вознаграждение. Перед дамами он распахивал дверь с едва заметным налетом галантности и следовал за ними в лифт с подчеркнутой осторожностью, ибо они, оберегая свои юбки, шляпки и оборки, ступали обычно нерешительней, чем мужчины. В самом лифте он старался держаться как можно неприметней, стоя вплотную к дверцам спиной к пассажирам и ухватившись за

ручки, дабы в момент остановки раздвинуть дверцы как бы внезапно, никого, однако, при этом не испугав. Редко кто из гостей, случалось, трогал его за плечо, чтобы о чем-то узнать, и тогда он стремительно оборачивался, будто только того и ждал, и ясным, четким голосом отвечал на вопрос. Несмотря на то, что лифтов в отеле было много, довольно часто — особенно вечерами после театра или по прибытии некоторых скорых поездов — в вестибюле возникала такая толкучка, что он, едва выпустив наверху очередную партию пассажиров, стремглав летел вниз забрать следующую. В таких случаях у него имелась возможность, подтягивая проходящий через кабину трос, увеличивать обычную скорость лифта, что, впрочем, запрещалось техническим предписанием и вроде бы было опасно. Карл никогда этого не делал, везя пассажиров, но, выпустив их наверху и зная, что внизу ждут новые, он забывал о всякой предосторожности и перебирал трос резкими, равномерными рывками не хуже заправского матроса. Он прекрасно знал, что другие лифтеры поступают точно так же, и не хотел упускать своих пассажиров. Отдельные постояльцы из тех, кто живут в гостинице подолгу, что, кстати, отнюдь не было здесь редкостью, уже стали дружески улыбаться Карлу, показывая, что признали в нем своего лифтера, и Карл принимал эти мелкие знаки отличия хоть и без ответной улыбки, но с видимым удовольствием. В те часы, когда работы было не слишком много, он успевал выполнять и разные мелкие поручения, например, принести гостю, которому лень было возвращаться, позабытую в номере вещицу, — тогда он один взлетал в своем, в такие минуты особенно ему послушном лифте наверх, входил в чужую комнату, полную диковинных, по большей части никогда прежде не виданных им вещей, разложенных вокруг или висящих на вешалках, вдыхал незнакомый запах чужого мыла, духов, зубного эликсира и, найдя, несмотря на обычно весьма приблизительные указания, то, что нужно, ни секунды не задерживаясь, спешил обратно. Порой он весьма сожалел, что не может выполнять более серьезные поручения — для таких надобностей в отеле имелись специальные слуги и рассыльные, которые совершали далекие поездки на велосипедах и даже на мотоциклах, Карл же мог услужить гостям только мелкими побегушками из номера в ресторан или в игорный зал, да и то лишь при благоприятном случае.

Когда он после двенадцатичасовой смены, трижды в неделю в шесть вечера, еще три раза — в шесть утра, приходил с работы, он был настолько измотан, что, никого и ничего

вокруг не замечая, сразу направлялся к своей койке. Койка стояла в спальном зале лифтеров, ибо госпожа главная кухарка, чье положение в отеле, видимо, было все же не столь влиятельно, как ему показалось в первый вечер, хоть и прилагала усилия, дабы раздобыть для него отдельную комнатенку, и усилия эти в конце концов, возможно, даже увенчались бы успехом, но когда Карл увидел, с какими это сопряжено трудностями и как часто ей приходится вести по этому поводу долгие телефонные переговоры с его начальником, тем самым чрезвычайно занятым старшим распорядителем, он сам предложил от этой затеи отказаться и убедил главную кухарку в серьезности своего решения, сославшись на то, что не хочет вызывать зависть других лифтеров этим ничем пока не заслуженным преимуществом.

Правда, чем-чем, а спокойным местом для сна назвать этот спальный зал было никак нельзя. Поскольку каждый из обитателей по-своему распределял двенадцать часов свободного времени на еду, сон, развлечение и побочные заработки, в зале постоянно бурлила жизнь. Одни спали, натянув на голову одеяла, чтобы ничего не слышать, но если все же кто-то просыпался от шума, то в ярости так истошно вопил, требуя тишины, что неминуемо разбудил бы и мертвеца, не говоря уж об остальных спящих. Почти у каждого парня была своя трубка, это считалось здесь особым шиком, Карл тоже завел себе трубку и вскоре пристрастился к курению. Но на службе курить не разрешалось, и, как следствие этого запрета, здесь, в зале, всякий, кто сколько-нибудь бодрствовал, всенепременно и дымил. Вследствие чего каждая койка тонула в своем облаке дыма, а весь зал в общем сизом чаду. Невозможно было добиться, хотя большинство в принципе эту идею с готовностью поддерживало, чтобы ночью свет горел лишь в одном конце зала. Осуществись это предложение — и каждый, кто хотел спать, мог бы спокойно предаться сну в одной, темной половине зала, — а это был большой зал на сорок коек, — тогда как остальные в освещенной части могли бы играть в карты, в кости и предаваться всем прочим занятиям, которым без света предаваться невозможно. Даже если чья-то койка оказывалась в освещенной половине зала, выспаться можно было бы на любой другой, благо свободных коек всегда было в избытке и никто не возражал против такого временного использования своего спального места. Однако не было ни одной ночи, когда удалось бы соблюсти это уже вроде бы всеми одобренное правило. Всегда находились, допустим, двое, которые, худо-бедно отоспавшись под

покровом темноты, решали перекинуться в картишки, положив между собой на кровати доску и, разумеется, включив подходящую для такого случая электрическую лампочку, чей нестерпимый свет яркой вспышкой бил в лицо спящему соседу, отчего тот испуганно вскакивал. Конечно, сосед после этого мог еще некоторое время поворочаться с боку на бок, пытаясь снова заснуть, но в конце концов не находил ничего лучшего, как вместе с другим разбуженным соседом затеять свою партию в карты и включить еще одну лампочку. И, разумеется, все при этом нещадно дымили своими трубками. Были, впрочем, и такие, кто пытался спать любой ценой — Карл, как правило, принадлежал к их числу, — и, вместо того чтобы просто положить голову на подушку, клали подушку на голову или зарывались в нее изо всех сил, но как тут будешь спать, если ближайший сосед встает среди ночи, чтобы перед работой еще успеть в поисках развлечений прогуляться по городу, если он, громко фыркая и брызгаясь, начинает мыться под умывальником, установленным возле изголовья каждой кровати, если он не только надевает и при этом попутно чистит сапоги, но еще и притопывает, чтобы как следует в них влезть, — сапоги здесь почти все носили по американской моде, короткие, с широким голенищем, но почему-то очень узкие на ноге, — и под конец, недосчитавшись какой-то мелочи в своем туалете, попросту сдергивает подушку с головы спящего, который, впрочем, давно уже проснулся и, распираемый яростью, только и ждет повода наброситься на обидчика с кулаками. Но тут каждый был спортсмен, благо ребята все были молодые, в большинстве физически крепкие, и возможность помериться силами не упускал никто. Так что если среди ночи ты вскакивал, разбуженный внезапными криками, можно было не сомневаться, что где-нибудь поблизости, а то и прямо на полу возле твоей койки, ты обнаружишь сцепившихся в яростной схватке противников, а вокруг, при ярком свете электричества, стоящих на всех кроватях заинтересованных болельщиков в кальсонах и ночных рубашках. Однажды во время подобного ночного боксерского поединка один из участников рухнул прямо на спящего Карла, и первое, что тот увидел, раскрыв глаза, была кровь, ручьем хлеставшая у парня из носа и залившая всю постель, прежде чем Карл успел опомниться. Порой Карл все двенадцать часов проводил в тщетных попытках урвать хоть немного сна, как ни подмывало его разделить с остальными их беззаботные развлечения, — однако ему все время казалось, что они, остальные, получили в своей жизни какое-то перед ним преимущество, которое ему надо

наверстывать прилежной работой и отказом от некоторых удовольствий. Так что хоть его — главным образом из-за монотонности работы — то и дело клонило в сон, он ни словом не посетовал ни главной кухарке, ни Терезе на обстановку в спальном зале, ибо, во-первых, от нее в общем-то все ребята страдали одинаково и никто по этому поводу особенно не скулил, а во-вторых, эти мучения, надо понимать, были неотъемлемой частью его лифтерской службы, которую ведь он именно из рук главной кухарки с благодарностью принял.

Раз в неделю, при пересменке, ему полагались сутки отдыха, лучшую часть которых он использовал на то, чтобы заглянуть разок-другой к главной кухарке и повидаться с Терезой, чьи жалкие крохи свободного времени приходилось подкарауливать, дабы перемолвиться с девушкой словечком где-нибудь в уголке или на ходу в коридоре и лишь изредка — у нее в комнате. Иногда он сопровождал Терезу в ее походах в город по делам, которые всегда бывали крайне спешными. Тогда они почти бегом, Карл с ее сумкой в руке, устремлялись к ближайшей станции подземки, поезд мчал их, как во сне, словно влекомый неведомо куда могучей и необоримой силой, и вот они уже вылезали, взбегали, не дожидаясь слишком медленного для них подъемника, вверх по ступенькам, и их взорам распахивались просторные площади со звездообразным разлетом улиц, с грохотом и мельканием стекающегося со всех сторон и столь же торопливо растекающегося бурного и целеустремленного городского движения, но Карлу и Терезе было некогда, рука об руку, чтобы не потеряться в толчее, они спешили в различные конторы, прачечные, склады и магазины, куда надо было передать мелкие, по телефону трудно выполнимые, а вообще-то не слишком ответственные заказы или претензии. Вскоре Тереза убедилась, что помощь Карла в таких делах совсем не пустяк, а напротив, позволяет многие из них весьма ускорить. В сопровождении Карла ей уже не приходилось вопреки обыкновению подолгу дожидаться, пока перегруженные делами приказчики обратят на нее внимание и выслушают. Карл решительно направлялся к конторке и до тех пор требовательно стучал по ней костяшками пальцев, покуда к нему не подходили, он не тушевался перед стеной людских спин, а, привстав на цыпочки, что-то выкрикивал через головы на своем, все еще немножко слишком отчетливом, а потому и среди сотни голосов легко различимом английском, он без колебаний проходил к нужному начальнику, сколь бы высокомерно ни укрывался тот в самых недоступных глубинах бесконечных конторских

залов. И поступал так вовсе не из нахальства, давая понять, что ценит чужую занятость, но исключительно в интересах своей фирмы, которая наделяла его правом на такую настойчивость, ведь как-никак отель «Оксиденталь» не та клиентура, с которой можно шутки шутить, да и Тереза, в конце концов, несмотря на весь ее деловой опыт, явно нуждалась в его мужской помощи.

— Если бы вы всегда со мной ходили! — говорила она иногда со счастливым смехом, когда они возвращались после особенно удачно выполненного поручения.

Лишь трижды за полтора месяца, что Карл провел в Рамзесе, ему удавалось подольше, по нескольку часов, побыть у Терезы в комнатке. Была она, разумеется, поменьше, чем любая из комнат главной кухарки, вся скудная мебель, что тут стояла, можно сказать, теснилась вокруг единственного окна, но Карл по горькому опыту жизни в спальном зале уже мог оценить достоинства собственной, отдельной, более или менее тихой комнаты, и хоть не говорил об этом вслух, однако Тереза заметила, как ему у нее нравится. У нее не было от него секретов, да и нехорошо было бы что-то от него скрывать после того, как она пришла к нему тогда в первый же вечер. Она росла внебрачным ребенком, отец ее устроился в Америке полировщиком на стройке и вызвал их с матерью к себе из Померании, но то ли посчитал на этом свой долг выполненным, то ли ожидал увидеть совсем других людей, а не изможденную женщину с чахлым ребенком, которых он встретил на причале, — как бы там ни было, но вскоре после их приезда он без долгих объяснений перебрался на жительство в Канаду, а они, оставшись в Америке, не имели с тех пор от него ни писем, ни иной весточки, что, впрочем, отчасти и не удивительно, поскольку в бедняцких районах на востоке Нью-Йорка они и сами затерялись без следа.

Однажды Тереза рассказала ему — Карл стоял рядом у окна и смотрел на улицу — о смерти своей матери. О том, как они вместе с мамой — Терезе было тогда, наверно, лет пять — зимним вечером, каждая со своим узлом за плечами, быстро шли куда-то по пустынным улицам в поисках ночлега. Как мама сперва вела ее за ручку, потому что была метель и идти было трудно, пока рука не окоченела, и тогда мама, даже не обернувшись, выпустила ладошку Терезы, которой пришлось теперь идти самой и что есть сил цепляться за мамину юбку. Тереза часто спотыкалась и даже падала, но мама была словно в беспамятстве и не останавливалась. А метели на длинных и прямых нью-йоркских улицах ужас какие! Карл вот

еще не знает, что такое зима в Нью-Йорке. Идешь против ветра, а он такие буруны закручивает, что глаза открыть невозможно — все время снег по лицу, как наждаком, ты бежишь — и не можешь сдвинуться с места, хоть плачь. Ребенку-то по сравнению с взрослым легче, он бежит как бы под ветром, и ему это все даже весело, вроде игры. Вот и Тереза тогда не вполне понимала, что творится с мамой, она и сейчас уверена, веди она себя в тот вечер поумней — но она-то была еще совсем ребенок, — мама не умерла бы такой ужасной смертью. Мама тогда уже два дня была без работы, денег в кармане ни гроша, весь день они провели на улице, без куска во рту, а в узлах одно бесполезное тряпье, выбросить которое они не решались, наверно, просто из суеверия. Но на завтра маме вроде бы пообещали место на стройке, только она очень боялась — и весь день твердила и втолковывала это Терезе — упустить такую удачу, потому что еле жива от усталости, — она еще утром, к ужасу прохожих, прямо на улице кашляла кровью, и очень сильно, а теперь единственным ее желанием было где-нибудь отогреться и прийти в себя. Но как раз в тот вечер, как назло, свободных мест нигде в ночлежках не было. Там, где управляющий домом не гнал их прямо из парадного, в котором все-таки можно хоть немного отдышаться от ветра и стужи, они бродили по длинным стылым коридорам, взбирались с этажа на этаж по высоченным лестницам, обходили темные колодцы дворов, стучась без разбора во все двери, то не решаясь ни с кем заговорить, то умоляя о помощи каждого встречного, а раз или два мама без сил опускалась прямо на ступеньки в тихом подъезде, рывком притягивала к себе Терезу, которая чуть ли не сопротивлялась, и целовала, крепко, до боли прижимаясь губами к ее лицу. Задним числом, зная, что это были последние поцелуи, вообще невозможно понять, до чего надо быть бестолковой — пусть хоть ты и совсем несмышленая кроха, — чтобы этого не почувствовать. В иных комнатах, мимо которых они проходили, двери были настежь, чтобы выпустить дымный чад, что валил оттуда, словно при пожаре, и лишь на пороге можно было разглядеть человеческую фигуру, которая, загородив дверной проем, либо одним своим безмолвным присутствием, либо скупым словом отказа подтверждала невозможность найти в этой комнате пристанище. Припоминая все это, Тереза лишь теперь осознает, что мама только в первые часы искала ночлег по-настоящему, потому что позже, наверно, уже за полночь, она вроде бы ни с кем даже не заговаривала, хотя блуждали они — с короткими передышками — до самых ут-

ренних сумерек, а в домах этих, где ни входные, ни квартирные двери никогда не запираются, жизнь не затихает круглые сутки и люди встречаются на каждом шагу. Конечно, это только от усталости и крайнего изнеможения казалось, будто *они все время куда-то бегут, на самом же деле они, наверно,* еле тащились. К тому же Тереза и не помнит точно, сколько домов они обошли от полуночи до пяти утра — может, двадцать, может, два, а может, и вовсе только один. Коридоры в этих домах бесконечно петляют, в их планировке все подчинено хитроумному расчету — как бы получше использовать жилую площадь, а об удобствах ориентирования никто не думает, так что она и сейчас не может сказать, сколько раз они по одним и тем же коридорам плутали. Смутно Тереза припоминает подъезд какого-то дома, в котором они рыскали целую вечность, а едва вышли в переулок, почему-то — или, может, ей это только показалось — тут же повернули обратно и опять в тот же самый подъезд ввалились. Для нее, ребенка, все это было, конечно, непостижимым бедствием — то мама ее тащит, то она сама в страхе за маму цепляется, и все это без единого словечка утешения, и все время надо куда-то идти, чему она в неразумии своем могла тогда подыскать только одно объяснение: мама, наверное, хочет от нее убежать. Поэтому Тереза, даже когда мама держала ее за руку, для пущей верности тем крепче цеплялась за мамины юбки и то и дело начинала реветь. Она не хотела, чтобы ее тут бросили одну среди этих чужих людей, которые так громко топают, поднимаясь перед ними на лестнице, и тех, что идут следом, еще незримые за поворотом, и тех, что скандалят в коридоре у дверей, грубо заталкивая друг друга в комнату. Пьяные, что-то мыча и напевая, бродили по дому поодиночке и сбиваясь в группы, сквозь которые мама и Тереза едва-едва успевали благополучно прошмыгнуть. Конечно же, совсем поздно ночью, когда уже не так строго соблюдается порядок и мало кто способен настаивать на своем праве, по крайней мере в одной из общих ночлежных комнат — а они прошли таких несколько — они могли бы незаметно приютиться, но Терезе это было невдомек, а мама уже не хотела никакого отдыха. Под утро, когда занимался погожий зимний денек, обе они притулились к стене какого-то дома и то ли вздремнули ненадолго, то ли просто с открытыми глазами смотрели в пустоту. Тут обнаружилось, что Тереза потеряла свой узелок, и в наказание за ротозейство мама принялась ее бить, но Тереза не слышала ударов и не чувствовала их. Потом просыпающимися переулками они пошли дальше, мама вдоль сте-

ны, миновали мост, с чугунных перил которого мама ладонью стряхнула иней, и попали наконец — тогда Тереза восприняла это как должное, а сегодня не могла понять, как они там очутились, — как раз на ту стройку, куда маме утром надо было явиться. Она не сказала Терезе, ждать той или уходить, и Тереза истолковала это как приказ ждать, поскольку это больше отвечало ее желаниям. Так что она присела на груду кирпича и стала смотреть, как мама раскрывает свой узел, достает оттуда какую-то пеструю тряпицу и повязывает на голову прямо поверх платка, который был на ней всю ту ночь. Тереза так устала, что ей даже в голову не пришло помочь маме. Не зайдя, как положено, в будку урядника и никого ни о чем не спросив, мама стала взбираться по лестнице, словно уже сама знала, какая работа ей поручена. Терезу это удивило, ведь обычно подсобные работницы заняты только внизу на гашении извести, подноске кирпича и прочих простых работах. Поэтому она решила, что мама сегодня выбрала себе работу получше, за которую больше платят, и сонно улыбнулась, глядя ей вслед. Стройка еще не очень продвинулась, стены доросли лишь до первого этажа, но высоченные опоры лесов, правда, еще без деревянных перекрытий, взмывали ввысь, упираясь прямо в голубое небо. Наверху мама ловко обходила каменщиков, что споро клали кирпич к кирпичу и почему-то ее не останавливали, нежной рукой она легонько придерживалась за дощатые поручни, а Тереза внизу сквозь дрему восхищалась этой ее ловкостью и однажды, как ей почудилось, поймала на себе мамин ласковый взгляд. Но тут мама дошла до горки кирпича, возле которой кончались поручни и, видимо, сам проход, но мама этого не заметила, она шла прямо на кирпичи, ловкость, похоже, вдруг ей изменила, она наткнулась на кирпичи, повалила их и, потеряв равновесие, рухнула вниз. Следом полетели кирпичи, а потом, не сразу, а словно помедлив, откуда-то сорвалась тяжеленная доска и грохнулась туда же. Последнее, что Тереза помнит о матери, — это как та, с раскинутыми ногами, лежит на земле в своей старой, еще из Померании, клетчатой юбке, почти целиком накрытая этой громадной неструганой доской, как со всех сторон сбегаются люди, а сверху, с лесов, какой-то мужчина в ярости что-то кричит.

Было уже поздно, когда Тереза закончила свой рассказ. Она рассказывала подробно, что вообще-то было ей не свойственно, и как раз в самых, казалось бы, спокойных местах, как-то при описании опор строительных лесов, которые, каждая отдельно, сама по себе, упирались в небо, ей вдруг при-

ходилось умолкать, сдерживая застилающие глаза слезы. Она и сейчас, десять лет спустя, совершенно точно, до самых незначительных мелочей помнила все, что тогда произошло, и поскольку образ мамы там, наверху, на лесах недостроенного первого этажа, был последним ее дочерним воспоминанием, а ей все никак не удавалось сполна поверить его своему другу, она, завершив рассказ, попробовала было объяснить все еще раз, но запнулась, спрятала лицо в ладони и больше не проронила ни слова.

Но ему случалось проводить в комнате Терезы и не столь грустные часы. В первый же визит Карл углядел у нее учебник по коммерческой корреспонденции и, попросив почитать, немедленно его получил. Одновременно было условлено, что Карл будет делать предписанные учебником задания, а Тереза, которая уже освоила книгу в объеме, необходимом для ее скромных обязанностей, будет его проверять. И вот Карл ночи напролет с ватой в ушах лежал внизу на своей койке в спальном зале, принимая для разнообразия всевозможные позы, и чиркал задания в тетрадке, пользуясь для этого авторучкой, которую подарила ему главная кухарка в награду за то, что он весьма умело составил и аккуратно переписал для нее большую инвентарную опись. Многочисленные помехи со стороны соседей ему удалось обернуть к своей пользе, спрашивая у них мелких советов относительно тех или иных английских выражений, покуда тем это не надоело и они не оставили его в покое. Про себя он нередко удивлялся, как это остальные столь беззаботно мирятся со своим нынешним положением, не чувствуют всю его временность и ненадежность — ведь старше двадцати в лифтерах никого не держат, — не осознают необходимость выбора будущей новой профессии и, невзирая на пример Карла, не читают ничего, кроме разве что замызганных и затрепанных до дыр детективных книжонок, что гуляли по залу из койки в койку.

Теперь при встречах Тереза с чрезмерной дотошностью исправляла его работы, у них возникали разногласия. Карл ссылался на своего ученого нью-йоркского профессора, чей авторитет, однако, значил для Терезы ничуть не больше, чем грамматические соображения лифтеров. Она решительно забирала у него ручку и вычеркивала места, в ошибочности которых была убеждена, однако Карл в таких сомнительных случаях — хотя вообще-то ни на чей более высокий суд не рассчитывал — истины ради зачеркивал поправки Терезы. Иногда, впрочем, приходила главная кухарка и неизменно решала в пользу Терезы, что опять-таки еще ничего не дока-

зывало — ведь Тереза была ее секретаршей. Однако ее приход всегда означал всеобщее примирение, ибо тут же заваривался чай, на столе появлялось печенье, а Карлу надо было рассказывать о Европе, правда, то и дело прерываясь, поскольку главная кухарка чуть ли не поминутно его переспрашивала и всему удивлялась, наводя Карла на мысли о том, сколь многое там, в Европе, за относительно короткий срок в корне изменилось и сколь многое, должно быть, стало совсем по-другому за время его отсутствия или сейчас вот становится.

Карл уже около месяца жил в Рамзесе, когда однажды вечером Реннел мимоходом сообщил ему, что возле отеля его остановил какой-то парень по имени Деламарш и расспрашивал о Карле. Реннел, конечно, не счел нужным о чем-либо умалчивать и рассказал все по правде — что Карл, мол, работает лифтером, но благодаря протекции главной кухарки рассчитывает в будущем на совсем другие должности. Про себя Карл тут же отметил, как хитро и осторожно Деламарш обошелся с Реннелом, — по такому случаю даже пригласил того вместе поужинать.

— Я этого Деламарша больше знать не хочу, — сказал Карл. — Советую и тебе его остерегаться.

— Мне? — переспросил Реннел, потянулся и поспешил прочь.

Он был самым смазливым парнем в отеле, и среди остальных ребят ходил слух, источник которого, впрочем, так и не удалось установить, будто бы одна весьма знатная дама, уже давно живущая в отеле, по меньшей мере целовала Реннела в лифте. Для всякого, кто этот слух знал, было, конечно, совершенно особым соблазном пропустить мимо себя в лифт эту надменную даму, весь облик которой — уверенная легкая поступь, нежное шуршание платья, неприступно затянутый корсет — не допускал даже мысли о возможности подобного поведения. Она жила на втором этаже, и лифт Реннела был не ее лифтом, но, разумеется, если другие лифты заняты, таких постояльцев не попросишь минуточку обождать. Так и выходило, что эта дама от случая к случаю пользовалась лифтом Карла и Реннела, причем действительно только тогда, когда работал Реннел. Возможно, это получалось случайно, но в случайность все равно уже никто не верил, и, когда Реннел вслед за дамой скрывался в лифте, всю шеренгу лифтеров охватывало плохо сдерживаемое возбуждение, которое уже привело однажды к вмешательству старшего распорядителя. Вправду ли дама тому причиной или только слух — как бы там ни было, но Реннел сильно переменился, стал мнить о себе

пуще прежнего, уборку и чистку всецело предоставил теперь Карлу — тот уже ждал подходящего случая основательно с ним по этому поводу объясниться — и в спальном зале не объявлялся вовсе. Никто другой не позволял себе столь демонстративно отдалиться от клана лифтеров, ибо вообще-то все они — по крайней мере в служебных вопросах — крепко держались заодно, и эту их сплоченность уважала даже дирекция гостиницы.

Обо всем этом размышлял Карл, успев подумать и о Деламарше, справляя, как обычно, свою службу. Около полуночи выпала ему и маленькая радость: Тереза, которая любила удивлять его неожиданными мелкими подарками, принесла ему большое яблоко и плитку шоколада. Они немножко поболтали, ничуть не смущаясь вынужденными перерывами в беседе, когда Карлу приходилось кого-то отвезти наверх. Потом разговор зашел о Деламарше, и Карл вдруг понял, что это Тереза внушила ему, будто Деламарш очень опасный человек, ибо именно таким он почему-то представлялся Терезе из его, Карла, рассказов. Сам-то Карл считал его всего лишь бродягой, опустившимся под ударами судьбы, но вообще-то ладить с ним вполне можно. Тереза на это, однако, весьма энергично возражала и в пылких речах пыталась вытребовать у Карла обещание, что он с Деламаршем больше и словечком не перемолвится. Не давая такого обещания, Карл снова и снова уговаривал Терезу идти спать, ведь уже давно за полночь, но она продолжала стоять на своем, пока он не пригрозил ей покинуть свой пост и отвести ее в ее комнату. Когда она наконец собралась уходить, он сказал:

— Что ты так всполошилась из-за пустяков, Тереза? Для твоего спокойствия, чтобы ты лучше спала, охотно обещаю тебе, что буду говорить с Деламаршем лишь в самом крайнем случае, когда это уже неизбежно.

Потом начались бесконечные ездки, потому что парня с соседнего лифта отозвали для каких-то других поручений и Карлу пришлось обслуживать оба лифта сразу. Некоторые гости жаловались на непорядок, а один господин, сопровождавший даму, желая поторопить Карла, даже легонько ткнул его тростью в плечо, хотя подгонять его не было никакой нужды. Если бы гости, по крайней мере, — ведь видят же, что один из лифтов стоит без лифтера! — сразу шли в лифт Карла, так нет, они направлялись к соседнему и ждали там, требовательно положив ладонь на ручку, а иные даже самочинно заходили в лифт, чему в соответствии с самым строгим параграфом служебного предписания лифтер должен вос-

препятствовать любой ценой. Так что эта смена обернулась для Карла хлопотной и весьма утомительной беготней взад-вперед, не дав никакой уверенности в точном исполнении своего долга. А тут еще около трех ночи знакомый носильщик, пожилой человек, с которым Карл уже успел слегка подружиться, попросил ему подсобить, чего Карл никак сделать не мог, ибо как раз в эту минуту возле его обоих лифтов дожидались гости и от него требовалось незаурядное присутствие духа, чтобы, выбрав одну из двух нетерпеливых групп, решительным шагом к ней направиться. Поэтому он был просто счастлив, когда наконец появился второй лифтер, но, не сдержавшись, даже крикнул ему что-то укоризненное по поводу его долгого отсутствия, хотя тот, вероятно, отсутствовал вовсе не по своей вине. После четырех наступила долгожданная передышка, в которой Карл, видит бог, уже очень нуждался. Тяжело облокотившись на перила возле своего лифта, он медленно жевал яблоко, из которого уже после первого надкуса заструился душистый аромат, и смотрел вниз в шахту, на окаймляющие ее высокие окна кладовой, в чьих проемах слабым желтым мерцанием проступали гигантские гроздья спеющих в темноте бананов.

Глава шестая

ПРОИСШЕСТВИЕ С РОБИНСОНОМ

Вдруг кто-то тронул его за плечо. Решив, что это, конечно, очередной пассажир, Карл торопливо сунул яблоко в карман и, толком даже не взглянув на гостя, поспешил к лифту.

— Добрый вечер, господин Росман, — произнес, однако, тот. — Это же я, Робинсон.

— Вас, однако, не узнать, — сказал Карл, тряхнув головой.

— Да, у меня теперь все хорошо, — ответил Робинсон, не без гордости оглядывая свой пестрый наряд, каждый из предметов которого сам по себе, возможно, был очень даже неплох, но все вместе они производили скорее жалкое впечатление. Особенно бросалась в глаза явно впервые надетая белая жилетка с четырьмя отороченными черной тесьмой кармашками, на которую Робинсон, выпячивая грудь, изо всех сил старался обратить внимание Карла.

— И одеты вы шикарно, — заметил Карл, невольно вспомнив о своем красивом строгом костюме, в котором и рядом с

Реннелом не стыдно было бы показаться, если бы эти двое, с позволения сказать, дружков его не продали.

— Да, — откликнулся Робинсон, — я почти каждый день что-нибудь себе покупаю. Как вам нравится жилетка?

— Жилетка знатная, — похвалил Карл.

— Но это не настоящие карманы, а так, для виду, — сообщил Робинсон и даже схватил Карла за руку, дабы тот сам мог в этом убедиться. Карл, однако, отпрянул, ибо на него дохнуло нестерпимой волной перегара.

— Опять вы много пьете, — сказал Карл, снова очутившись возле перил.

— Нет, — возразил Робинсон, — вовсе не много. — И вопреки своему только что объявленному благополучию сокрушенно добавил: — Да и что еще остается в жизни нашему брату.

Очередная ездка прервала их беседу, а едва Карл спустился, раздался телефонный звонок и от него потребовали немедленно привести врача, поскольку у дамы с седьмого этажа случился обморок. Направляясь за врачом, Карл втайне надеялся, что Робинсон тем временем уберется восвояси, ибо не хотел, чтобы их видели вместе, и, помня о Терезиных предостережениях, не желал ничего слышать о Деламарше. Но Робинсон по-прежнему его ждал в неестественно прямой и неподвижной позе очень пьяного человека, а тут как раз один из высших чинов гостиничной администрации — в цилиндре и во фраке — мимо прошел, но, по счастью, вроде бы не обратил на Робинсона никакого внимания.

— Почему бы вам, Росман, как-нибудь к нам не зайти, мы шикарно устроились, — сказал Робинсон, глядя на Карла как можно приветливей.

— Меня приглашаете вы или Деламарш? — спросил Карл.

— И я и Деламарш, — ответил тот. — Мы оба вас приглашаем.

— В таком случае я отвечу вам и попрошу передать мои слова Деламаршу: между нами, если это вам еще не ясно, все кончено раз и навсегда. Вы оба причинили мне больше зла, чем кто бы то ни было. Или вы вбили себе в голову и дальше не оставлять меня в покое?

— Но мы же ваши товарищи! — воскликнул Робинсон, и в глазах его блеснули отвратительные пьяные слезы. — Деламарш просил вам передать, что все прежнее он готов с лихвой возместить. Мы теперь живем у Брунельды, она замечательная певица.

В доказательство последних своих слов Робинсон уже изготовился фальцетом затянуть какую-то песенку, если бы Карл вовремя на него не шикнул:

— Да замолчите вы немедленно, вы что, забыли, где находитесь?!

— Росман, — продолжал Робинсон, урезоненный, видимо, лишь по части пения, — я же ваш товарищ, скажите: что для вас сделать? У вас тут такая видная должность, не могли бы вы подбросить мне немного деньжат.

— Так вы их только пропьете, — сказал Карл. — У вас вон, я вижу, даже в кармане бутылка бренди, из которой вы наверняка успели как следует хлебнуть, пока я уходил, потому что вначале-то вы еще были ничего.

— Это только для подкрепления сил, когда я куда-нибудь отправляюсь, — пояснил Робинсон извиняющимся тоном.

— Да я вовсе не желаю вас перевоспитывать, — сказал Карл.

— А как же деньги? — спросил Робинсон, широко раскрыв глаза.

— Видимо, Деламарш поручил вам раздобыть денег. Хорошо, я дам вам денег, но при одном условии: вы немедленно отсюда уйдете и никогда больше не будете меня здесь беспокоить. Если вам понадобится что-то мне сообщить, можете написать. Карлу Росману, лифтеру, отель «Оксиденталь», — такого адреса вполне достаточно. Но сюда, повторяю, вы ко мне приходить не будете. Здесь я на службе, и у меня нет времени принимать гостей. Вы согласны взять деньги на таких условиях? — спросил Карл и уже полез в карман жилетки, решив, так и быть, пожертвовать чаевыми сегодняшней ночи. Робинсон вместо ответа только кивнул и громко сопел. Карла его молчание не устраивало, и он спросил еще раз: — Так да или нет?

На это Робинсон вялым взмахом руки поманил Карла к себе и, уже явственно покачиваясь, прошептал:

— Росман, мне очень худо.

— Вот черт! — вырвалось у Карла, и, обхватив Робинсона обеими руками, он потащил его к перилам.

В тот же миг зловонная жижа полилась изо рта Робинсона в глубину шахты. Разом обмякнув, он только беспомощно тянулся к Карлу в редких промежутках между приступами дурноты.

— Вы и вправду добрый мальчик, — приговаривал он тогда. Или: — Сейчас все пройдет, — хотя до этого было еще

очень далеко. Или: — Сволочи, какой дрянью они меня там напоили!

Карл не мог возле него находиться — не в силах побороть беспокойство и отвращение, он нервно прохаживался взад-вперед. Здесь, в закутке за лифтом, Робинсон еще как-то укрыт от посторонних глаз, но что, если его все-таки заметят — кто-нибудь из капризных богатых постояльцев, которые только и ждут случая заявить претензии шныряющим повсюду представителям гостиничной администрации, а те потом в отместку житья не дают всему обслуживающему персоналу; или, еще того хуже, один из постоянно меняющихся гостиничных детективов, которых, кроме дирекции, никто в лицо не знает, — вот и приходится подозревать шпиона в каждом встречном, едва тот, пусть даже просто по близорукости, глянет на тебя чуть пристальней, чем обычно. А уж внизу, где ресторан работает ночь напролет, стоит кому-то зайти в кладовую и с изумлением обнаружить заляпанные бог весть чем окна световой шахты, как тут же раздастся звонок и Карла потребуют к ответу: что там у вас наверху, черт возьми, происходит? Как тогда быть, как отмежеваться от Робинсона? И если даже, допустим, Карлу это удастся, где гарантии, что Робинсон со страху и по глупости, вместо того чтобы молить о прощении, не свалит все как раз на него, на Карла? А уж тогда — разве не логично будет его, Карла, немедленно уволить, ибо где это видано, чтобы мальчишка-лифтер, распоследний и самый никчемный чин в грандиозной служебной пирамиде гостиничного персонала, поганил отель с помощью своего дружка, приводя в негодование, а то и вовсе отпугивая постояльцев? Да и кто захочет терпеть лифтера, у которого подобные дружки, чьи посещения он к тому же допускает в свое рабочее время? И разве не напрашивается сам собой вывод, что такой лифтер и сам пьяница, если не что похуже, ибо как тут не заподозрить, что он давно уже потчует до положения риз своих дружков из гостиничных припасов, а те потом оскверняют где попало этот образцовый, прямо-таки в безупречной чистоте содержащийся отель, вытворяя в нем всяческие свинства, как вот сейчас Робинсон? И кто поручится, что этот мальчишка ограничивается только кражей спиртного и съестного, когда возможности для воровства при общеизвестной рассеянности постояльцев, оставляющих незапертыми платяные шкафы, забывающих на столах ценные вещи и даже раскрытые денежные шкатулки, бездумно бросающих где придется свои ключи, воистину неисчислимы?

Тут как раз Карл заметил вдалеке группу гостей, что поднимались из винного погребка, где только что закончилось представление гостиничного варьете. Он поспешил занять свой пост, не решаясь даже оглянуться на Робинсона из страха увидеть нечто совсем уж неподобающее. Его мало успокаивало, что оттуда не доносится ни звука, ни даже вздоха. Он, правда, продолжал обслуживать пассажиров, развозя их по этажам, но не мог вполне скрыть свою несобранность, и при всякой ездке вниз сердце его тоскливо сжималось от дурных предчувствий.

Наконец снова выдалась свободная минута, чтобы взглянуть на Робинсона: тот по-прежнему сидел в своем углу, скорчившись комочком и уткнув лицо в колени. Его новенькая, с твердыми полями шляпа сползла на самый затылок.

— Так, а теперь уходите, — сказал Карл тихо, но твердо. — Вот деньги. Если вы поторопитесь, я еще успею показать вам кратчайший путь.

— Не могу я никуда уйти, — промямлил Робинсон, отирая лоб крохотным носовым платочком, — я умру тут. Вы себе представить не можете, до чего мне худо. Деламарш вечно таскает меня с собой по шикарным кабакам, поит дорогими винами, а я этой дряни не переношу, я ему каждый день объясняю.

— Но здесь вам никак нельзя оставаться, — настаивал Карл. — Вспомните, где вы находитесь. Если вас тут найдут, вас оштрафуют, а я лишусь места. Вы этого хотите?

— Не могу я уйти, — твердил Робинсон, — лучше уж мне туда спрыгнуть. — И он ткнул пальцем между прутьями решетки в глубину шахты. — Когда так сижу, еще терпимо, а встать не могу, я уже пробовал, пока вас не было.

— Тогда я сейчас вызову машину, и вас отвезут в больницу, — сказал Карл и слегка потряс Робинсона за коленку, ибо тот уже снова норовил впасть в пьяное забытье.

Однако, едва заслышав слово «больница», по-видимому внушавшее ему неподдельный ужас, Робинсон зарыдал в голос, простирая к Карлу руки в мольбе о пощаде.

— Тише! — прикрикнул на него Карл и даже шлепнул по рукам, чтобы тот успокоился, потом сбегал к лифтеру, которого заменял ночью, попросил ненадолго оказать ему ответную услугу, спешно вернулся к Робинсону, подхватил его, все еще всхлипывающего, под мышки и изо всех сил приподнял, шепча ему на ухо: — Робинсон, если хотите, чтобы я вам помог, потрудитесь держаться на ногах и пройти хоть самую малость. Я уложу вас в свою кровать, а там лежите, пока вам

не полегчает. Но сейчас ведите себя прилично, в коридорах полно людей, да и койка моя тоже в общем спальном зале. Если хоть кто-то обратит на вас внимание, я уже ничем не смогу вас выручить. И глаза держите открытыми, чтобы не подумали, что я тут таскаю припадочных.

— Да я бы рад сделать все, что вы велите, — пробормотал Робинсон, — только один вы меня не доведете. Лучше позовите Реннела.

— Да нет же его!

— Ах да, — вспомнил Робинсон, — Реннел же с Деламаршем. Ведь это они оба меня за вами и послали. Что-то у меня уже все путается.

Пользуясь этим и подобными же невразумительными рассуждениями Робинсона, Карл тем временем тащил его чуть ли не на себе, и они благополучно добрались до поворота, за которым начинался уже не столь ярко освещенный коридор, ведший в спальный зал лифтеров. Оттуда как раз выскочил мальчишка-лифтер и, едва не налетев на них, промчался мимо. Впрочем, никаких опасных встреч у них пока что вроде бы не было; в этот час, между четырьмя и пятью, в отеле самое затишье, и Карл прекрасно знал, что если уж не избавиться от Робинсона теперь, то позже, на рассвете, а тем более в начинающейся утренней суете об этом и вовсе думать нечего.

В спальном зале на дальней от них половине был как раз самый разгар драки или какого-то иного увеселения, оттуда доносилось ритмичное хлопанье в ладоши, возбужденное притопывание и азартные выкрики. Здесь же, возле входа, расположились на кроватях только несколько безучастных ко всему охотников поспать, большинство из которых, впрочем, просто глазели в потолок, лежа на спине, и лишь изредка то один, то другой, в чем есть, одетый или нагишом, вскакивал с койки посмотреть, что творится в другом конце зала. Так что Карл почти незаметно довел Робинсона, который уже мало-помалу начинал передвигаться самостоятельно, до койки Реннела, поскольку та была совсем рядом с дверью и, по счастью, не занята, тогда как в собственной кровати он еще издали разглядел совсем незнакомого парня, который преспокойно там дрыхнул. Едва Робинсон ощутил под собой кровать, как он мгновенно — левая нога, свесившись, еще болталась — заснул. Карл хорошенько натянул ему на голову одеяло и решил, что, по крайней мере, на ближайшее время он от этой заботы избавлен — раньше шести Робинсон точно не проснется, а там уж и он вернется, и, быть может, вместе с

Реннелом они придумают способ, как его отсюда убрать. Проверки же зала всевозможным вышестоящим начальством можно было ждать лишь при чрезвычайном происшествии, отмены подобных проверок, которые прежде устраивались сплошь и рядом, лифтеры добились уже много лет назад, так что и с этой стороны опасаться было вроде бы нечего.

Когда Карл вернулся к своему лифту, он обнаружил, что и его собственный, и соседний лифт только что отъехали наверх. В беспокойстве он стал ждать, как эта странность разъяснится. Его лифт спустился первым, и оттуда вышел тот самый мальчишка, который совсем недавно промчался мимо них по коридору.

— Где ты пропадаешь, Росман? — спросил он. — Почему ты ушел с поста? Почему не сообщил об отлучке?

— Так я же ему сказал, чтобы подменил меня ненадолго, — ответил Карл, указывая на парня с соседнего лифта, который как раз подъехал. — Я же целых два часа его замещал, когда было полно народу.

— Это все замечательно, — отозвался тот, — только этого недостаточно. Разве ты не знаешь, что даже о короткой отлучке во время службы надо предварительно сообщить в кабинет старшего распорядителя. Для того у тебя и телефон. Я-то с удовольствием бы тебя подменил, но ты же сам знаешь, не так-то это просто. Только ты ушел — у обоих лифтов тьма народу с четырехчасового экспресса. Что же мне — к твоему лифту бежать, а своих пассажиров бросить? Конечно, я на своем поехал.

— Ну? — нетерпеливо спросил Карл, поскольку оба парня молчали.

— Ну, — ответил парень с соседнего лифта, — а тут как раз распорядитель идет, видит — возле твоего лифта люди, а тебя нет, приходит в ярость, накидывается на меня, потому что я сразу к твоему лифту помчался, спрашивает, куда ты запропастился, а я понятия не имею, ты же мне даже не сказал, куда идешь, ну, а он сразу же звонить в спальный зал, чтобы немедленно прислали другого лифтера.

— Я же еще встретил тебя в коридоре, — сказал мальчишка, которого вызвали Карлу на смену.

Карл кивнул.

— Я, конечно, первым делом сказал, — заверил другой лифтер, — что ты попросил тебя подменить, да только разве он слушает такие оправдания? Ты, наверно, его еще не знаешь. Приказал только передать тебе, чтобы ты немедленно явился к нему в кабинет. Так что лучше не задерживайся и

беги туда. Может, он тебя еще простит. Тебя ведь и правда всего две минуты не было. Можешь спокойно говорить, что просил меня о подмене, я подтвержу. А вот о том, что ты меня подменял, мой тебе совет, лучше помолчи, мне-то ничего не будет, у меня разрешение, просто у нас о таких вещах говорить не принято, особенно в связи с совсем другим делом, к которому они отношения не имеют.

— В первый раз я покинул свой пост, и вот, — проронил Карл.

— Так оно всегда и бывает, только никто этому не верит, — изрек в ответ парень и опрометью кинулся к своему лифту, завидя приближающихся гостей.

Сменивший Карла лифтер, мальчишка лет четырнадцати, с явным сочувствием в голосе сказал:

— Было уже много случаев, когда такие вещи сходили с рук. Обычно просто переводят на другую работу. Уволили за это, сколько мне известно, только однажды. Но тебе надо придумать хорошее оправдание. Ни в коем случае не говори, что тебе вдруг стало плохо, он тебя просто засмеет. Вот если ты скажешь, что кто-то из постояльцев поручил тебе срочно что-то передать другому постояльцу, которого ты не нашел, а кто передал, не помнишь, это уже лучше.

— Да ладно, — сказал Карл, — обойдется как-нибудь, — хотя после всего, что он сейчас услышал, надежды на благоприятный исход не было. Впрочем, даже если ему простят это служебное упущение, наверху, в спальном зале, живой уликой куда большей его вины лежит Робинсон, а зная въедливую натуру старшего распорядителя, нетрудно предположить, что уж он-то поверхностным расследованием не удовлетворится и рано или поздно до Робинсона докопается. Правда, формально не было запрета приводить в спальный зал посторонних лиц, но не было его лишь потому, что глупо запрещать вещи заведомо недопустимые.

Когда Карл вошел в кабинет распорядителя, хозяин как раз сидел за утренним кофе и только что глотнул из чашки, после чего снова углубился в просмотр какой-то описи, очевидно принесенной ему присутствующим здесь же главным швейцаром на утверждение. Швейцар был мужчина крупный, а пышная, богато украшенная форма — по плечам и даже по рукавам змеились золотые галуны и цепочки — делала его и без того статную фигуру еще внушительней. Лоснистые черные усы на венгерский манер воинственно топорщились в стороны, и острые их концы не подрагивали даже при стремительных поворотах головы. Под тяжестью формы он мог дви-

гаться лишь с трудом, а стоял не иначе как расставив ноги на ширину плеч, дабы распределить свой вес равномерно.

Карл вошел легкой и спешной походкой, которую уже успел усвоить, работая в отеле, ибо степенность и осторожность в движениях, означающие у обычных людей вежливость, считались для лифтера признаком лени. Кроме того, он не хотел прямо с порога всем видом выказывать чувства вины и раскаяния. Старший распорядитель, правда, бросил рассеянный взгляд в сторону открывшейся двери, но затем снова обратился к чтению и кофе, нисколько больше о Карле не заботясь. Швейцар, однако, то ли просто усмотрев в присутствии Карла досадную помеху, то ли желая высказать некое секретное сообщение либо просьбу, ежесекундно и зло поглядывал на Карла исподлобья, чтобы затем, когда взгляды их, явно в соответствии с его желанием, скрещивались, немедленно снова перевести глаза на распорядителя. Карл, однако, счел, что вряд ли произведет хорошее впечатление, если сейчас, раз уж он все равно вошел, снова покинет кабинет, не получив на сей счет недвусмысленных указаний хозяина. Тот между тем продолжал изучать опись, доедая попутно кусок торта, с которого время от времени, не отрываясь от чтения, небрежно стряхивал сахарную пудру. Тут как раз один из листов описи упал на пол, швейцар даже и не шелохнулся, чтобы его поднять, очевидно зная, что ему это все равно не удастся, да это и не требовалось, Карл уже был тут как тут и протянул лист старшему распорядителю, который взял его таким движением, словно тот сам взлетел с пола прямо ему в ладонь. Видно, эта маленькая услуга ничуть Карлу не помогла, ибо швейцар по-прежнему бросал в его сторону злобные взгляды.

Тем не менее Карл приободрился и собрался с духом. Уже одно то, что распорядитель не придает его делу ровно никакой важности, можно считать хорошим знаком. В конце концов, оно и понятно. Кто такой, в сущности, мальчишка-лифтер? Да никто, потому и не имеет права ничего себе позволить, но именно потому, что он никто, он и ничего чрезвычайно злостного натворить не может. В конце концов, распорядитель и сам в юности был лифтером, что, кстати, остается предметом гордости даже нынешнего поколения лифтеров, ведь это именно он был первым, кто организовал лифтеров в их сплоченный союз, и, разумеется, в свое время он тоже хоть разок да покидал без разрешения свой пост, пусть сегодня и нет силы, которая заставила бы его об этом вспомнить, особенно если учесть, что он, именно как бывший лифтер, быть

может, видит теперь свой долг в том, чтобы неусыпно и строго блюсти дисциплину и порядок среди лифтерской братии. А кроме того, немалые надежды Карл возлагал на бег времени. Судя по часам в кабинете, миновало уже четверть шестого, а это значит, что с минуты на минуту может вернуться Реннел, не исключено, что уже вернулся, ведь не мог он не заметить, что Робинсона так долго нет, к тому же Карлу вдруг пришло в голову, что вряд ли Деламарш и Реннел так уж далеко от отеля расположились, иначе Робинсон, в его-то состоянии, просто не нашел бы сюда дорогу. Лишь бы Реннел обнаружил Робинсона в своей кровати, что неминуемо должно случиться, а уж дальше все будет хорошо. Ибо Реннел, при его-то сметливости, особенно когда дело касается его интересов, обязательно найдет способ немедленно убрать Робинсона из отеля, тем более что сейчас, когда Робинсон уже малость пришел в себя, а Деламарш наверняка ждет его около отеля, сделать это будет гораздо легче. А уж когда Робинсона из отеля выпроводят, Карл куда спокойнее будет держать ответ перед старшим распорядителем и на этот раз, быть может, отделается всего лишь наказанием, пусть даже и суровым. А потом посоветуется с Терезой, говорить ли всю правду главной кухарке, — со своей стороны он не видел к тому никаких препятствий, — и если Тереза сочтет такую откровенность возможной, на всем деле можно будет без особого ущерба поставить крест.

Только-только Карл слегка успокоил себя этими размышлениями и уже начал потихоньку подсчитывать в кармане набежавшие за ночь чаевые, ибо чутье подсказывало ему, что в этот раз добыча у него особенно щедрая, как распорядитель, отложив опись на стол со словами: «Погодите-ка еще минутку, Федор», — вдруг упруго вскочил и заорал на Карла так, что от испуга тот в первую секунду вообще ничего не видел, кроме огромной черной дыры его разинутой глотки.

— *Ты без разрешения оставил свой пост! Знаешь, что это* означает? Это означает увольнение! Не желаю слушать никаких оправданий, свои лживые отговорки можешь оставить при себе, мне же вполне достаточно того, что тебя не было на месте. Да если я потерплю такое хоть раз и прощу тебя сегодня, завтра же все сорок лифтеров разбегутся в рабочее время кто куда, а мне придется на своем горбу растаскивать пять тысяч наших гостей по лестницам.

Карл молчал. Швейцар подошел поближе и с силой одернул его сюртук, на котором набежало несколько складок,

проделав это, несомненно, с одной лишь целью — обратить особое внимание начальника на непорядок в выправке Карла.

— Может, тебе стало плохо? — спросил старший распорядитель с подвохом.

Карл пристально посмотрел на него и ответил:

— Нет.

— Значит, тебе даже не стало плохо? — заорал распорядитель пуще прежнего. — Значит, ты придумал какую-то совсем несусветную байку. Что ж, выкладывай. Что ты можешь сказать в свое оправдание?

— Я не знал, что надо испрашивать разрешение по телефону, — ответил Карл.

— Это, однако, прелестно, — сказал распорядитель и, схватив Карла за воротник, почти поднес его к прикнопленному на стене лифтерскому предписанию.

Швейцар тоже поспешил за ними к стене.

— Вот! Читай! — гаркнул распорядитель, тыча пальцем в нужный параграф.

Карл решил, что ему предлагают прочесть про себя.

— Вслух читай! — потребовал, однако, распорядитель.

Вместо того чтобы читать вслух, Карл, в надежде хоть как-то смягчить начальника, сказал:

— Я знаю этот параграф, мне же давали предписание, и я его внимательно прочел. Но как раз те указания, которыми никогда не пользуешься, легче всего забываются. Я служу уже второй месяц и еще ни разу не покидал свой пост.

— Зато теперь ты его покинешь раз и навсегда! — изрек распорядитель, вернулся к столу, взялся было снова за опись, как будто намереваясь продолжить чтение, но тут же раздраженно ее бросил и даже прихлопнул, словно бесполезный клочок бумаги, после чего, багровея пятнами на щеках и на лбу, принялся нервно расхаживать по комнате.

— Из-за какого-то сопляка такие волнения. Да еще в ночную смену! — приговаривал он, пыхтя и отдуваясь. — Да вы знаете, кому потребовалось воспользоваться лифтом как раз тогда, когда этот мерзавец вздумал сбежать? — обратился он к швейцару.

И он назвал какое-то имя, при одном упоминании которого швейцар — а уж он-то наверняка знал всех постояльцев и цену каждому из них — от страха весь передернулся и глянул на Карла с бесконечным изумлением, словно только его, Карла, живьем и во плоти присутствие способно подтвердить, что обладатель такого имени вынужден был попусту терять время из-за мальчишки-лифтера, оставившего свой пост.

— Это ужасно, — все еще не в силах поверить в случившееся, вымолвил швейцар, изумленно покачивая головой и по-прежнему не сводя глаз с Карла, который, в свою очередь, грустно смотрел на него, понимая, что теперь ему еще и за бестолковость этого человека придется расплачиваться.

— Я тебя тоже давно приметил, — сказал вдруг швейцар, наставив на Карла толстый, грозный, подрагивающий от возмущения указательный палец. — Ты единственный мальчишка, который со мной не здоровается. Ишь чего о себе возомнил! Каждый, кто проходит мимо швейцарской, обязан со мной поздороваться. С остальными швейцарами можешь вести себя как вздумается, но я такого обхождения не потерплю. Я, правда, иногда делаю вид, будто не замечаю, но будь уверен, я прекрасно вижу, кто со мной здоровается, а кто нет, наглец ты этакий.

И, отвернувшись от Карла, он торжественно направился к распорядителю, который, однако, ничуть не заинтересовавшись этим новым сообщением, спешил закончить завтрак и пробежать утреннюю газету, только что принесенную в кабинет слугой.

— Господин главный швейцар, — начал Карл, решив воспользоваться временной отрешенностью хозяина, дабы уладить, по крайней мере, это недоразумение, ибо понимал, что страшны не столько сами упреки швейцара, сколько вообще его враждебность. — Я безусловно с вами здороваюсь. Я ведь недавно в Америке, а вырос в Европе, где, как известно, вообще принято здороваться куда чаще, чем следует. И я, конечно, еще не вполне успел избавиться от этой привычки, вот и два месяца назад, в Нью-Йорке, где я по случайности вращался в высшем свете, мне то и дело советовали умерить мою преувеличенную вежливость. И это я-то с вами не здороваюсь! Да я здороваюсь с вами по нескольку раз на дню! Но, конечно, не каждый раз, когда я вас вижу, ведь я иногда по сто раз в день мимо вас прохожу.

— Ты обязан каждый раз со мной здороваться, каждый раз без исключения, и фуражку снимать, когда с тобой разговаривают, и говорить мне: «господин главный швейцар», а не просто «вы». И все это каждый раз, каждый, понятно?

— Каждый раз? — тихо переспросил Карл и только теперь вспомнил, как строго и укоризненно поглядывал на него швейцар все то время, что он, Карл, здесь работал, начиная с того самого первого утра, когда он, еще не вполне осознавая свое подчиненное положение, как раз этого швейцара весьма настырно и не вполне любезно, чересчур, быть может,

придирчиво расспрашивал, не приходили ли к нему двое молодых людей и не оставляли ли для него фотографию.

— Теперь ты видишь, к чему приводит нахальство, — сказал швейцар, снова подойдя совсем близко к Карлу и указывая на все еще склоненного над газетой распорядителя как на живое воплощение своей долгожданной мести. — На новой работе будешь знать, как здороваться со швейцаром, даже если это будет в распоследней ночлежке.

Карл понял: место он считай что потерял, ибо распорядитель свой приговор уже изрек, да и главный швейцар говорил об этом как о свершившемся факте, а подтверждать увольнение какого-то мальчишки-лифтера письменным приказом дирекции, должно быть, вовсе и не требуется — слишком много чести. Все произошло, надо признать, куда быстрей, чем он предполагал, ведь в конце концов он два месяца отслужил не за страх, а за совесть и работал наверняка получше многих. Но когда решается судьба, такие пустяки, видно, нигде на белом свете, ни в Европе, ни в Америке, в расчет не идут — что у кого сгоряча с языка сорвалось, то и получай, вот и весь разговор. Должно быть, лучше всего ему теперь сразу попрощаться и уйти, главная кухарка и Тереза, наверно, еще спят, так что он, по крайней мере, избавит и себя и их от тягостной сцены расставанья, от горестных недоумений и расспросов, — попрощается с ними письмом, быстренько соберет чемодан и уйдет подобру-поздорову. Если же он останется хоть на день — а вообще-то немного соснуть ему бы не помешало, — его ждет только раздувание его дела в грандиозный скандал, упреки со всех сторон, непереносимое зрелище слез Терезы, а быть может, даже главной кухарки, и под конец, в довершение всего, возможно, еще и наказание. С другой стороны, смущало и удерживало его лишь то, что стоит он сейчас против двух врагов и каждое вымолвленное им слово оба они, если не один, так другой, готовы вменить ему в вину и перетолковать к его невыгоде. Поэтому он молчал, наслаждаясь покуда воцарившимся в комнате покоем, ибо старший распорядитель все еще продолжал читать газету, а главный швейцар принялся приводить в порядок свою рассыпавшуюся по столу опись, складывая ее по номерам страниц, что давалось ему при очевидной и сильной близорукости с превеликим трудом.

Наконец распорядитель, зевнув, отложил газету, мельком глянул на Карла, удостоверившись, что тот все еще тут, и пододвинул к себе рупор настольного телефонного аппарата. Он несколько раз крикнул в рупор «алло», но ему никто не ответил.

— Никто не отвечает, — доверительно сообщил он главному швейцару.

Тот, как показалось Карлу, следил за телефонным звонком с каким-то особо пристальным интересом.

— Уже без четверти шесть, — сказал он. — Она наверняка встала. Позвоните еще.

В ту же секунду, прежде чем распорядитель дотронулся до телефона, раздался ответный звонок.

— Старший распорядитель Избари слушает, — сказал тот, хватая трубку. — Доброе утро, госпожа главная кухарка! Надеюсь, я вас часом не разбудил? Мне очень жаль. Да-да, уже без четверти шесть. Но мне, честное слово, искренне жаль, что я вас так перепугал. Вам надо отключать телефон на ночь. Нет-нет, все равно мне нет оправдания, особенно учитывая ничтожность дела, которое я намеревался с вами обсудить. Ну, конечно, это терпит, пожалуйста, я подожду у телефона, ради бога. Говорит, что подбежала к телефону в одной ночной рубашке, — с улыбкой сообщил распорядитель швейцару, который все это время с напряженным выражением лица склонялся над аппаратом. — Я ее и впрямь разбудил, обычно ее будит девчонка, маленькая такая, которая у нее машинисткой работает, но как раз сегодня она почему-то этого не сделала. Жаль, конечно, что я ее перепугал, она и так нервная.

— А сейчас-то она почему молчит?

— Пошла посмотреть, что там с девчонкой, — объяснил распорядитель, прикладывая наушник к уху, ибо телефон снова зазвонил. — Да найдется она, — проговорил он в трубку. — Прежде всего вам нельзя так волноваться, вам действительно пора хорошенько отдохнуть. Да, так вот, мой мелкий вопрос. Тут у меня сейчас мальчишка-лифтер, по имени... — он вопросительно обернулся на Карла, который, внимательно следя за разговором, тут же, конечно, подсказал ему свое имя, — ...по имени Карл Росман, вы, если не ошибаюсь, както еще про него спрашивали. К сожалению, он плохо отплатил вам за вашу доброту, без разрешения покинул свой пост, причинив мне тем самым весьма крупные, я пока что даже не знаю, насколько крупные, неприятности, и я его только что за это уволил. Надеюсь, для вас это не трагедия? Что вы сказали? Да-да, уволил. Да говорю же вам: он покинул свой пост. Нет-нет, дорогая госпожа главная кухарка, тут я и вправду никак не могу пойти вам навстречу. Мне небезразличен мой авторитет, слишком многое тут поставлено на карту, один такой мальчишка способен испортить мне всю эту шайку. Как раз с лифтерами нужно все время быть начеку. Нет-нет, в этом случае я никак не могу оказать вам такую услугу, сколь ни стараюсь обычно вам услужить, вы же знаете. И даже если

бы я вздумал, несмотря ни на что, его все же оставить — исключительно из любви к острым ощущениям, чтобы пощекотать себе нервы, — я бы и тогда ради вашего блага этого не сделал, да-да, ради вашего блага, госпожа главная кухарка, ему никак нельзя здесь оставаться. Вы принимаете в нем участие, которого он совершенно не заслуживает, и поскольку я знаю не только его, но и вас, я прекрасно вижу, что все это принесет вам лишь безмерные огорчения, от которых и хочу вас избавить любой ценой. Говорю вам это со всей прямотой, хотя этот прожженный мальчишка стоит сейчас в двух шагах от меня. Он будет уволен, нет-нет, госпожа главная кухарка, уволен окончательно и бесповоротно, нет-нет, никаких переводов на другую работу, он совершенно непригоден. Кстати, на него поступают и другие жалобы. Главный швейцар, например, — что там было, Федор? — да, так вот, главный швейцар обижен на невежливость и даже наглость этого мальчишки. То есть как этого недостаточно? Но, позвольте, дорогая госпожа главная кухарка, неужели ради этого мальчишки вы готовы поступиться даже вашим безупречным характером? Нет-нет, вы не вправе так на меня наседать.

В это мгновение швейцар склонился к уху распорядителя и начал что-то ему нашептывать. Тот сперва удивленно на него глянул, а потом заговорил в трубку с такой быстротой, что Карл поначалу вообще толком ничего не мог разобрать и на цыпочках подошел чуть ближе.

— Дорогая госпожа главная кухарка, — тараторил распорядитель. — Честно говоря, вот уж не думал, что вы так плохо разбираетесь в людях. Мне тут как раз сообщают некоторые сведения об этом вашем ангеле, которые в корне изменят ваше мнение, мне даже жаль, что именно я вынужден вам об этом говорить. Так вот, этот ваш паинька, которого вы называете *образцом благовоспитанности и порядочности, ни одну* свободную от службы ночь не пропускает без вылазки в город, откуда возвращается лишь под утро. Да-да, госпожа главная кухарка, это подтверждают свидетели, безупречные и надежные свидетели, да. Может, вы мне объясните, откуда у него берутся деньги на подобные увеселения? И как при подобном образе жизни он может внимательно нести службу? Или, может, вы хотите, чтобы я в подробностях вам расписал, чем он там в городе занимается? Ну нет, от такого мальчишки я поспешу избавиться в самом срочном порядке. А вы уж, пожалуйста, примите это как урок на будущее, чтобы впредь быть поосторожнее со всякими проходимцами с улицы.

— Но господин старший распорядитель, — вскричал Карл, испытав истинное облегчение оттого, что, видимо, произошла какая-то вопиющая ошибка, разъяснение которой

скорее всего против всяких ожиданий еще может повернуть его дело в лучшую сторону. — Тут явное недоразумение! Полагаю, это господин главный швейцар вам сказал, будто я каждую ночь ухожу. Но это совершенно не так, я, совсем напротив, каждую ночь бываю в спальном зале, и все ребята это могут подтвердить. Я либо сплю, либо изучаю коммерческую корреспонденцию, но из спального зала я ночью ни ногой. Это же легко доказать. Господин главный швейцар, очевидно, с кем-то меня перепутал, и теперь я понимаю, почему он решил, будто я с ним не здороваюсь.

— Замолчи сейчас же! — заорал главный швейцар, потрясая кулаком, хотя нормальный человек на его месте не погрозил бы и пальцем. — Это я-то тебя с кем-то спутал! Какой из меня тогда главный швейцар, если я буду путать людей? Нет, вы только послушайте, господин Избари, какой же, я спрашиваю, из меня главный швейцар, если я буду людей путать? За тридцать лет службы никого никогда не спутал, и любой из сотни распорядителей, что у нас за это время сменились, может это подтвердить, а начиная с тебя, мерзкий ты мальчишка, я, выходит, стал путать! Это тебя-то я спутал — с твоей-то приметной гладкой рожей! Да что там путать — ты можешь хоть каждую ночь за моей спиной в город шнырять, а я только разок на тебя гляну и сразу скажу, что ты отъявленный мерзавец!

— Оставь, Федор, — сказал распорядитель, чей телефонный разговор с главной кухаркой, похоже, внезапно оборвался. — Дело-то совершенно ясное. А его ночные развлечения, в конце концов, должны нас волновать в последнюю очередь. Не то он, чего доброго, напоследок еще захочет, чтобы по его милости тут учинили подробное разбирательство его ночной жизни. Сдается мне, ему это даже доставит удовольствие. Как же — вызовем всех сорок лифтеров, заслушаем каждого как свидетеля, и все они, конечно, тоже с кем-то его спутают, постепенно в дело втянется весь обслуживающий персонал, а гостиницу, разумеется, на часок-другой можно и прикрыть, так что в итоге, перед тем как его с треском вышибут, он хоть повеселится от души. Нет уж, этого мы затевать не будем. Главную кухарку, эту добрейшую женщину, он уже одурачил, но нас он не проведет. Больше ничего не желаю слушать, за служебное упущение ты с этой минуты уволен. Вот тебе записка в кассу, чтобы тебе выплатили жалованье по сегодняшний день. Вообще-то, между нами говоря, учитывая твое поведение, можешь считать, что это просто подарок, который я тебе делаю исключительно из уважения к госпоже главной кухарке.

Телефонный звонок, однако, не дал ему подписать записку.

— От этих лифтеров мне сегодня житья нет! — заорал он в трубку, едва услышав первые слова. — Но это же неслыханно! — вскричал он немного погодя. И, повернувшись от телефона к главному швейцару, сказал: — Будьте добры, Федор, попридержите-ка немного этого героя, у нас к нему еще будет разговор. — А в трубку приказал: — Немедленно ко мне!

Теперь-то наконец главный швейцар получил возможность выместить на Карле все, что ему не удалось высказать в словах. Он схватил Карла за руку чуть пониже плеча, но не спокойно, просто чтобы попридержать — это бы еще терпимо, — а вцепился всей клешней, то ослабляя хватку, то стискивая все руку больней и больней, что при его недюжинной физической силе превращалось в нескончаемую пытку, от которой у Карла уже темнело в глазах. И он не только держал Карла, а вдобавок, словно получив еще и приказ как следует его оттаскать, подтягивал его вверх и то и дело встряхивал, полувопросительно приговаривая при этом:

— Может, я и сейчас тебя спутал? Может, я и сейчас тебя спутал?

На счастье Карла, тут вошел староста лифтеров, некто Бесс, вечно сопевший толстый увалень, и слегка отвлек внимание главного швейцара на себя. Карл к этому времени был настолько измочален, что едва смог кивнуть, когда с изумлением увидел проскользнувшую вслед за старостой Терезу, бледную как смерть, наспех одетую, с кое-как собранными в пучок волосами. В тот же миг она оказалась подле него и шепотом спросила:

— Главная кухарка уже знает?

— Старший распорядитель ей звонил, — ответил Карл.

— Тогда все хорошо, все будет хорошо, — выпалила она, шныряя глазами по сторонам.

— Да нет, — вздохнул Карл. — Ты же не знаешь, что они мне предъявили. Мне придется уйти, главная кухарка тоже в этом убеждена. Прошу тебя, ни к чему тебе сейчас тут быть, иди к себе, я потом зайду попрощаться.

— Да бог с тобой, Росман, что ты такое говоришь? Прекрасно ты у нас останешься и будешь жить, сколько захочешь. Распорядитель сделает все, что главная кухарка ему скажет, он же в нее влюблен, я только недавно случайно узнала. Так что только не волнуйся.

— Пожалуйста, Тереза, уходи, прошу тебя. Я не смогу при тебе как следует защищаться. А мне нужно защищаться очень точно, потому что меня хотят оболгать. Чем лучше я буду следить и защищаться, тем больше надежды, что я оста-

нусь. Так что, Тереза, — тут, к сожалению, он вдруг не сдержался и тихо добавил: — Если бы еще этот швейцар меня отпустил. Я даже не знал, что он мне враг. Вцепился в меня, как бульдог.

«Зачем я только это говорю! — подумал он в ту же секунду. — Ни одна женщина не может такое спокойно слушать».

И точно, не успел он даже свободной рукой удержать Терезу, как та уже накинулась на швейцара:

— Господин главный швейцар, будьте добры немедленно отпустить Карла Росмана! Вы же делаете ему больно! Госпожа главная кухарка сейчас сама придет, вот тогда и увидите, что он ни в чем не виноват. Отпустите же его, не понимаю, какая вам радость его мучить!

И она даже схватила швейцара за руку.

— Приказ, милая барышня, приказ! — ответил тот, свободной рукой дружески притягивая ее к себе, другой же рукой тем сильнее стискивая Карла, словно не просто хотел причинить ему боль, а имел на его плечо, ставшее теперь его законной добычей, какие-то особые виды, далеко еще не достигнутые.

Понадобилось какое-то время, прежде чем Тереза сумела высвободиться из объятий главного швейцара и направилась было заступаться за Карла к распорядителю, который все еще выслушивал чрезвычайно обстоятельный и многословный рассказ Бесса, когда в комнату быстрым шагом вошла главная кухарка.

— Слава тебе Господи! — воскликнула Тереза, и на секунду этот ее громкий возглас как бы повис в наступившей тишине.

Старший распорядитель тотчас же вскочил, отстранив Бесса движением руки.

— Значит, вы сами пришли, госпожа главная кухарка? Из-за такой-то ерунды? После нашего телефонного разговора я, конечно, мог это предположить, но все равно как-то не верилось. А между тем дело вашего подопечного предстает все в более мрачном свете. Боюсь, я и впрямь не смогу его уволить, потому что его придется арестовать. Вот, послушайте сами, — и он поманил к себе Бесса.

— Сперва я хотела бы переговорить с Росманом, — произнесла главная кухарка, усаживаясь в кресло, которое распорядитель настойчиво ей предлагал. — Карл, пожалуйста, подойди сюда, — попросила она.

Карл подошел — впрочем, скорее это швейцар его подтащил.

— Да отпустите же его, — гневно приказала главная кухарка, — он, в конце концов, не бандит и не убийца.

Главный швейцар и вправду его отпустил, но напоследок стиснул с такой силой, что от натуги у самого на глазах проступили слезы.

— Карл, — спокойно сказала главная кухарка, сложив руки на коленях, и посмотрела на Карла, чуть наклоня голову, так что это вовсе не походило на допрос, — прежде всего хочу тебе сказать, что все еще полностью тебе доверяю. Да и господин старший распорядитель тоже человек справедливый, за это я ручаюсь. И мы оба, в сущности, хотим, чтобы ты тут остался. — В этом месте она мельком глянула на распорядителя, как бы прося ее не перебивать. — Так что забудь все, что тебе тут, возможно, успели наговорить. А прежде всего не принимай слишком близко к сердцу то, что, возможно, сказал тебе господин главный швейцар. Он, правда, человек вспыльчивый, что при его службе совсем не удивительно, но у него тоже есть жена и дети, и он тоже способен понять, что не стоит понапрасну мучить мальчика, у которого никого на свете нет и который и так достаточно наказан жизнью.

В комнате стало совсем тихо. Главный швейцар, ожидая объяснений, требовательно смотрел на распорядителя, но тот не сводил глаз с главной кухарки и только покачивал головой. Лифтер Бесс довольно бессмысленно ухмылялся из-за спины распорядителя. Тереза потихоньку всхлипывала то ли от горя, то ли от радости, изо всех сил стараясь, чтобы ее никто не услышал.

Карл, однако, смотрел — хоть и понимая, что это может выставить его в невыгодном свете, — не на главную кухарку, которая, конечно же, ждала от него взгляда, а упорно изучал пол у себя под ногами. Боль в руке волнами расползалась во все стороны, рубашка налипла на больное место, и ему, по правде сказать, хотелось сейчас снять сюртук и поглядеть, в чем там дело. Все, что говорила главная кухарка, шло, конечно, от чистого сердца, но ему, как на беду, казалось, что как раз поэтому все и решат, что он этой доброты не достоин, что он два месяца незаслуженно пользовался благодеяниями главной кухарки, заслуживая на самом деле лишь одного — попасть в лапы главного швейцара.

— Я к тому это говорю, — продолжала главная кухарка, — чтобы ты отвечал честно и прямо, как ты, сколько я тебя знаю, всегда и отвечаешь.

— Извините, можно я пока сбегаю за врачом, парень-то там весь в крови, — ни с того ни с сего вмешался вдруг лифтер Бесс очень вежливо, но очень некстати.

— Иди, — бросил ему распорядитель, и Бесс стремглав выбежал вон. — Тут вот какая история, — обратился распорядитель к главной кухарке. — Главный швейцар держал мальчишку вовсе не шутки ради. Дело в том, что внизу в лифтерском спальном зале, на кровати обнаружили совершенно постороннего человека, он тщательно укрыт одеялом и пьян в стельку. Его, конечно, разбудили и потребовали немедленно удалиться. Он же в ответ поднял шум, начал кричать, что это спальный зал Карла Росмана, а он его гость, что Росман лично его сюда привел и сурово накажет всякого, кто осмелится хоть пальцем его тронуть. А ждет он, дескать, Росмана потому, что тот обещал ему денег и пошел их где-то раздобыть. Покорнейше прошу обратить внимание, госпожа главная кухарка: обещал денег и пошел их где-то раздобыть. Тебе, Росман, тоже не мешает послушать, — небрежно бросил он Карлу, который как раз оглянулся на Терезу: та, не отрываясь, смотрела на распорядителя во все глаза и лишь время от времени проводила рукой по лбу, то ли убирая выбившийся волосок, то ли просто так. — Или, может, я напомнил тебе еще кое о каких обязательствах? Ведь тот человек внизу среди прочего утверждает, что как только ты вернешься, вы с ним должны совершить ночной визит к некоей певице, чье имя, однако, никто так и не сумел разобрать, ибо нормально его произнести этот чудак не способен и все время норовит пропеть.

Здесь распорядитель прервался, поскольку главная кухарка, явственно побледнев, стремительно встала, даже слегка оттолкнув кресло.

— Лучше я избавлю вас от дальнейших подробностей, — поспешил сказать распорядитель.

— Нет-нет, пожалуйста, — возразила главная кухарка и даже тронула его за руку, — рассказывайте дальше, я хочу услышать все, за тем и пришла.

Тут главный швейцар, в подтверждение своей проницательности громко бия себя в грудь кулачищем, шагнул было вперед, однако распорядитель со словами: «Знаю-знаю, Федор, вы были совершенно правы!» — одновременно и утихомирил его, и поставил на место.

— Да больше, собственно, и рассказывать нечего, — неохотно сказал распорядитель. — Мальчишки — они мальчишки и есть, сперва они этого парня подняли на смех, потом началась ссора, ну, а после, поскольку хороших боксеров там всегда хватало, его попросту нокаутировали, и я даже побоялся выпытывать, сильно ли и что именно они ему там в кровь расквасили, потому что дерутся эти ребята, как звери, а уж пьяного поколотить для них и вовсе плевое дело.

— Так, — вымолвила главная кухарка, взявшись за спинку кресла и глядя прямо перед собой. — Ну а теперь, Росман, пожалуйста, скажи хоть что-нибудь! — попросила она немного погодя.

Тереза, вдруг сорвавшись с места, подбежала к главной кухарке и взяла ее под руку, чего на памяти Карла никогда прежде не делала. Распорядитель, стоя почти вплотную к главной кухарке за спиной, осторожно поправил ее скромный кружевной воротничок, увидев, что тот слегка завернулся. Главный швейцар над самым ухом Карла гаркнул:

— Ну, что же ты? — однако возгласом этим хотел лишь замаскировать тычок в спину, который он Карлу тем временем успел дать.

— Это правда, — ответил Карл, из-за тычка, впрочем, куда менее уверенно, чем ему бы хотелось. — Правда, что я привел этого человека в спальный зал.

— А больше нам ничего и знать не надо, — от имени всех высказался швейцар. Главная кухарка безмолвно оглянулась сперва на распорядителя, потом на Терезу.

— Я просто не мог иначе, — продолжил Карл. — Этот человек мой бывший товарищ, мы с ним два месяца не виделись, а тут он вдруг пришел меня навестить, но так напился, что просто не мог сам уйти обратно.

Старший распорядитель, стоя возле главной кухарки, вполголоса и как бы про себя заметил:

— Он, значит, пришел в гости, а потом так напился, что не мог уйти.

Главная кухарка, оглянувшись, быстро что-то шепнула распорядителю, на что тот с явно не относящейся к делу улыбкой начал тихо возражать. Тереза — Карл смотрел только на нее — в полном отчаянии уткнулась лицом главной кухарке в плечо и никого не желала видеть. Единственным, кого ответ Карла полностью удовлетворил, оказался главный швейцар, который несколько раз со значением повторил:

— Ну конечно, все правильно, собутыльник, надо выручать, — пытаясь взглядами и жестами донести до присутствующих истинный смысл этого своего заявления.

— Так что я виновен, — сказал Карл и сделал паузу, как бы ожидая от своих судей хоть словечка ободрения, которое придаст ему сил для дальнейшей защиты, но так и не дождался. — Виновен лишь в том, что привел этого человека, его зовут Робинсон, он ирландец, в спальный зал. Все остальное, что он там наговорил, он наговорил спьяну и все это неправда.

— Значит, денег ты ему не обещал? — спросил старший распорядитель.

— Ах, да, — спохватился Карл, горько пожалев, что упустил такую важную подробность: видно, то ли второпях, то ли от волнения он слишком уж твердо определил границы своей невиновности. — Я обещал ему денег, потому что он меня об этом просил. Но я не собирался нигде их раздобывать, а хотел отдать чаевые, заработанные сегодня ночью.

В подтверждение своих слов он вынул из кармана и показал на раскрытой ладони несколько мелких монет.

— Ты, я погляжу, завираешься все больше, — сказал старший распорядитель. — Чтоб тебе поверить, надо тут же забыть все, что ты утверждал раньше. Выходит, сперва ты отвел этого Робинсона — кстати, даже тут я тебе не верю, таких фамилий в Ирландии отродясь не было, — сперва ты только отвел этого человека в спальный зал, хотя, между прочим, уже за одно это мог бы с треском отсюда вылететь, а денег вроде бы ему не обещал, но потом, стоит спросить тебя врасплох, выясняется, что ты все-таки обещал ему деньги. Но мы ведь тут не загадки разгадываем, мы хотим услышать твои оправдания. Ты говоришь, что не собирался нигде доставать деньги, хотел отдать ему свои сегодняшние чаевые, а потом оказывается, что чаевые все еще при тебе, значит, ты все-таки хотел раздобыть деньги где-то еще, о чем, кстати, свидетельствует и твое длительное отсутствие. В конце концов, не вижу ничего странного, если бы ты пошел достать деньги из чемодана, но вот то, что ты изо всех сил это отрицаешь, по меньшей мере странно, чтобы не сказать подозрительно. Равно как и твое желание во что бы то ни стало скрыть, что ты этого человека напоил уже здесь, в отеле, в чем нет ни малейших сомнений, ведь ты же сам признался, что пришел он на своих двоих, а уйти не мог, да и сам он на весь спальный зал орал, что он твой гость. Так что неясными остаются пока лишь две вещи, которые ты, для простоты дела, мог бы и сам нам растолковать, но до которых мы рано или поздно докопаемся и без твоей помощи. Это, во-первых, каким образом ты проникал в кладовые и, во-вторых, где ты раздобыл столько денег, чтобы так ими разбрасываться.

«Невозможно оправдываться, когда тебе не хотят верить», — подумал Карл и решил вовсе распорядителю не отвечать, сколь бы ни страдала от этого Тереза. Он знал: что бы он сейчас ни говорил, все будет истолковано превратно, и лишь чужой прихоти предоставлено здесь судить о добре и зле.

— Он не отвечает, — проронила главная кухарка.

— Это самое разумное, что он может сделать, — заметил старший распорядитель.

— Небось сейчас чего-нибудь еще придумает, — изрек главный швейцар, любовно поглаживая бороду своей еще недавно столь свирепой рукой.

— Прекрати! — прикрикнула главная кухарка на Терезу, которая, прижавшись к ней, снова начала всхлипывать. — Ты же видишь, он не отвечает, чем же мне тогда ему помочь? Выходит, я же еще перед господином распорядителем и виновата? Ну скажи, Тереза, или ты считаешь, что я не все для него сделала?

Откуда Терезе это знать и много ли проку от того, что, во всеуслышанье задавая несчастной девушке свой вопрос, главная кухарка как бы оправдывалась и извинялась перед этими двумя господами?

— Госпожа главная кухарка, — сказал Карл, еще раз собравшись с духом, но лишь для того, чтобы избавить Терезу от ответа, и ни с какой другой целью. — Не думаю, чтобы я вас как-то подвел или опозорил, и после тщательного расследования любой другой рассудил бы точно так же.

— Любой другой! — подхватил главный швейцар, указывая на распорядителя пальцем. — Это он в вас метит, господин Избари.

— Что же, госпожа главная кухарка, — произнес тот. — Уже полседьмого, пора, давно пора. Полагаю, вы уж позволите мне сказать заключительное слово в этом более чем терпеливо рассмотренном деле.

Тут в кабинет вошел маленький Джакомо, хотел было приблизиться к Карлу, но, вспугнутый необычной тишиной, не решился и остался стоять у двери.

Главная кухарка, однако, едва Карл произнес свои последние слова, не сводила с него глаз, и казалось, даже не слышит того, что говорит распорядитель. Эти глаза смотрели на Карла в упор — огромные, голубые, но уже слегка затуманенные возрастом и усталостью. Сейчас, когда она так стояла, слегка покачивая перед собой кресло, еще была надежда, что она вот-вот скажет: «Что ж, Карл, дело, как я погляжу, еще не разъяснилось до конца и требует, как ты верно заметил, самого тщательного расследования. И мы его сейчас проведем, не важно, согласны с этим остальные или нет, ибо справедливость прежде всего».

Вместо этого, однако, главная кухарка сказала после непродолжительного раздумья, которое никто не осмеливался нарушить, — лишь часы в кабинете в подтверждение слов старшего распорядителя пробили полседьмого, а вместе с ними, секунда в секунду, это каждый знал, пробили все часы в огромном отеле, и их тяжелый двойной удар пронзил слух и

душу, словно всколыхнув воздух судорогой великого нетерпения и гнева.

— Нет, Карл, нет и нет! Не стоит напрасно себя обманывать. Правое дело — оно и выглядит по-особому, а в твоем случае, должна признать, это совсем не так. Я могу и должна это сказать, ибо сама сюда пришла ради тебя и веря в тебя. Видишь, вот и Тереза молчит.

(Но она же не молчала, она плакала.)

Главная кухарка на секунду запнулась, словно приняв вдруг какое-то трудное решение, потом сказала:

— Карл, подойди-ка сюда.

И, когда он приблизился — старший распорядитель и главный швейцар у него за спиной тотчас же завели между собой оживленную беседу, — обхватила левой рукой его за плечи, прошла с ним и с безвольно плетущейся следом Терезой в глубину комнаты и там, прохаживаясь вместе с обоими взад-вперед, начала говорить:

— Вполне возможно, Карл, и ты, надеюсь, всерьез на это рассчитываешь, иначе я просто отказываюсь тебя понимать, вполне возможно, расследование и докажет твою правоту во всем до последней мелочи. Почему бы и нет? Может, ты и в самом деле здоровался с главным швейцаром. Тут я даже твердо тебе верю, знаю я, чего этот швейцар стоит, видишь, я и сейчас все еще вполне с тобой откровенна. Но подобные оправдания ничуть тебе не помогут. Господин распорядитель, чье умение разбираться в людях я за долгие годы нашего знакомства научилась ценить, он вообще самый надежный человек из всех, кого я знаю, ясно определил твою вину, и вина эта, на мой взгляд, неопровержима. Быть может, ты просто действовал необдуманно, но может, ты и вправду не тот, за кого я тебя принимала. И все же, — тут она прервалась, как бы сделав над собой усилие, и мельком оглянулась на швейцара и распорядителя, — и все же мне трудно пока что отвыкнуть от мысли, что ты, в сущности, добрый и порядочный мальчик.

— Госпожа главная кухарка! Госпожа главная кухарка! — окликнул ее распорядитель, перехватив ее взгляд.

— Мы сейчас, — ответила та и заговорила еще быстрей: — Послушай, Карл, по тому, как мне видится это дело, я даже рада, что распорядитель не хочет затевать расследование, а захоти он его начать, я в твоих же интересах этого бы не допустила. Никто не должен знать, как и чем ты угощал этого человека, который, кстати, вовсе не один из твоих бывших товарищей, как ты уверяешь, ты ведь с ними напоследок рассорился, а теперь, выходит, одного из них вдруг решил потчевать. Так что

это какой-то совсем другой знакомый, с которым ты по легкомыслию подружился ночью где-то в городской пивнушке. Но как ты мог, Карл, скрывать от меня все эти вещи? Если тебе, допустим, непереносима была обстановка в спальном зале, и по этой, в сущности, безобидной причине начались твои ночные похождения, почему ты мне ни слова об этом не сказал? Ты же знаешь, я хотела устроить тебя в отдельную комнату и лишь по твоим же настояниям от этого намерения отказалась. А теперь все выглядит так, будто ты нарочно предпочел спальный зал, тебе так было вольготнее! Но деньги-то свои ты хранил в моей кассе и чаевые каждую неделю мне приносил, откуда же, мальчик мой, скажи на милость, ты доставал деньги на все твои увеселения и где ты сейчас собирался раздобыть денег для твоего дружка? Ведь это все вещи, о которых я, по крайней мере сейчас, старшему распорядителю даже заикнуться боюсь, не то, чего доброго, расследование и впрямь неизбежно. Так что тебе надо обязательно из отеля уходить, и притом как можно скорей. Отправляйся прямо сейчас в пансион Бреннера, — ты там с Терезой уже много раз бывал, — и по этой вот рекомендации они тебя немедленно примут. — И главная кухарка, вынув из кармана блузки золотую авторучку, черкнула несколько строк на своей визитке, продолжая при этом говорить: — Чемодан твой я тебе сегодня же переправлю. Тереза, что же ты стоишь, беги в гардеробную лифтеров и собери его чемодан!

(Но Тереза все еще не трогалась с места, так ей хотелось теперь, вытерпев столько мучений, сполна насладиться и явным поворотом к лучшему, который принимало дело Карла благодаря доброте главной кухарки.)

Кто-то, не осмеливаясь войти, слегка приоткрыл дверь и тут же снова ее захлопнул. Очевидно, это был какой-то знак, относившийся к Джакомо, ибо тот сделал шаг вперед и произнес:

— Росман, мне велено кое-что тебе передать.

— Сейчас, — сказала главная кухарка и торопливо сунула в карман Карлу, который слушал ее, так и не подняв головы, свою визитную карточку. — Твои деньги пока что останутся у меня, ты знаешь, у меня они будут в сохранности. Сегодня посиди дома, обдумай все как следует, а завтра — сегодня у меня времени не будет, я и так слишком долго здесь задержалась, — я зайду к Бреннеру, и мы посмотрим, что для тебя можно сделать. В любом случае я тебя не брошу, говорю тебе об этом уже сегодня. О будущем своем не тревожься, тревожиться тебе надо скорее уж о недавнем прошлом.

С этими словами она потрепала его по плечу и направилась к старшему распорядителю, — Карл поднял голову и посмотрел вслед этой высокой, статной женщине, что удалялась от него легкой поступью и с легким сердцем.

— Ты что же, совсем не рад, — спросила оставшаяся подле него Тереза, — что все так хорошо кончилось?

— Еще бы, — ответил ей Карл и улыбнулся, хотя совершенно не мог понять, с какой стати он должен радоваться тому, что его выгоняют как воришку.

Глаза Терезы лучились неподдельной радостью, словно ей решительно все равно, совершил Карл преступление или нет, справедливо его обвинили или облыжно, главное — его отпускают на свободу, а уж с честью или с позором — не важно. И это Тереза, столь щепетильная на собственный счет, что, случалось, неделями переживала из-за какого-нибудь пустякового замечания главной кухарки, толкуя и перетолковывая его на все лады!

Карл с подвохом спросил:

— Ты чемодан мой сразу соберешь и отправишь?

И от изумления даже поневоле тряхнул головой — столь мгновенно разгадала Тереза его вопрос, так сразу и поверив, что в чемодане, должно быть, хранятся какие-то вещи, которые никто не должен увидеть, она даже не подумала поднять на него глаза, протянуть ему руку, только прошептала чуть слышно:

— Конечно, Карл, конечно, я сейчас же соберу чемодан.

И тотчас же убежала.

Тут и Джакомо не удержался и, взволнованный долгим ожиданием, громко выкрикнул:

— Росман, там внизу человек валяется и не дает себя вынести. Его хотели в больницу отправить, а он отбивается и кричит, ты, мол, никогда не допустишь, чтобы его в больницу запихнули. Надо, мол, нанять машину и отвезти его домой, а за машину ты заплатишь. Будешь платить?

— Ишь, как он на тебя полагается, — заметил старший распорядитель.

Карл пожал плечами и отсчитал в ладонь Джакомо деньги.

— Больше у меня нет, — сказал он.

— А еще он спрашивает, поедешь ты с ним или нет? — спросил Джакомо, позвякивая мелочью.

— Не поедет, — отрезала главная кухарка.

— Итак, Росман, — решительно изрек старший распорядитель, даже не дожидаясь, пока Джакомо уйдет, — с этой минуты ты уволен. — Главный швейцар несколько раз важно кивнул, будто это его собственные слова, а распорядитель их

лишь повторяет. — Причины твоего увольнения я даже не решаюсь назвать вслух, иначе мне пришлось бы тебя задержать. — Главный швейцар с подчеркнутой строгостью глянул на главную кухарку, мол, уж он-то прекрасно знает, кому обязан Карл столь незаслуженно мягким обхождением. — Отправляйся к Бессу, переоденься, сдай ему ливрею, после чего изволь немедленно! — ты слышал, немедленно, — покинуть отель.

Главная кухарка, желая ободрить Карла, успокаивающе прикрыла глаза. Поклонившись на прощанье, Карл мельком успел заметить, что старший распорядитель как бы невзначай схватил ее руку и нежно перебирает в своей. Главный швейцар тяжелым шагом проводил Карла до двери, не дав тому ее закрыть, а, наоборот, попридержал, и все это лишь для того, чтобы крикнуть вслед:

— Через полминуты жду тебя внизу у главного входа и сам прослежу, как ты уйдешь, запомни!

Карл торопился что есть мочи, лишь бы избежать неприятной встречи у главного входа, но все шло куда медленнее, чем ему хотелось. Сперва он долго не мог найти Бесса, потому что было время завтрака и повсюду толпились люди, потом оказалось, что кто-то позаимствовал у Карла его старые брюки, и пришлось ему почти все вешалки у кроватей обыскивать, пока он наконец эти брюки не нашел, так что миновало, наверно, минут пять, прежде чем он появился у главного входа. Прямо перед ним как раз шествовала какая-то дама в сопровождении четверых спутников. Все они направлялись к большому лимузину, который их уже ждал и дверцу которого услужливый лакей держал нараспашку, широко отставив левую руку в сторону, что выглядело, конечно, необычайно торжественно. Но напрасно надеялся Карл незаметно прошмыгнуть в дверь, затесавшись в столь знатное общество. В тот же миг главный швейцар уже цапнул его за рукав и, буквально продернув его между двумя господами, перед которыми он еще успел извиниться, подтащил к себе.

— И это называется полминуты? — спросил он, искоса поглядывая на Карла, как смотрят обыкновенно на неисправные часы. — Ну-ка, пойдем, — сказал он затем и повел его в огромную швейцарскую, в которую Карла, по правде сказать, давно подмывало заглянуть хоть разок, но куда теперь, подталкиваемый швейцаром, он шел недоверчиво и с опаской. Уже в дверях он попытался было повернуть, отстранить швейцара и уйти.

— Нет-нет, тебе сюда, — сказал швейцар, хватая Карла за плечи.

— Но ведь я уже свободен, — запротестовал Карл, имея в виду, что теперь, когда он уволен, никто в отеле ему не указ.

— Пока я тебя держу, ты не свободен, — ответил швейцар, кстати, в полном соответствии с истиной.

В конце концов, рассудил Карл, никаких резонов сопротивляться швейцару вроде бы нет. Ну что еще с ним, в сущности, может случиться? К тому же стены швейцарской сделаны из огромных листов цельного стекла, сквозь которое толпу шныряющих людей в вестибюле видно до того отчетливо, будто ты и сам среди них. Да и во всей швейцарской не было, похоже, такого угла, где можно укрыться от посторонних глаз. И как ни спешили там, в вестибюле, люди, ибо каждый торопился, каждый пробивал себе дорогу сквозь толпу, кто раздвигая встречных рукой, кто сосредоточенно глядя себе под ноги, кто рыская глазами, а кто и вскинув над головой свою кладь, — но редко кто упускал случай бросить взгляд в швейцарскую, за стеклами которой вывешивались всевозможные объявления и правила, памятки и просто записки, предназначенные как для гостей, так и для обслуживающего персонала. Кроме того, между вестибюлем и швейцарской имелась и возможность непосредственного сообщения через два больших раздвижных окна, за которыми располагались два младших портье, чьи обязанности состояли лишь в том, чтобы бесперебойно давать справки по самым различным вопросам. Вот уж у кого была сумасшедшая работа, но Карл, уже зная теперь натуру главного швейцара, готов был поспорить, что тот все долгие годы службы мечтал и тщился заполучить именно это место. Эти двое, посаженные на справки, неизменно видели перед собой — снаружи, из вестибюля, такое трудно было себе представить — по меньшей мере десяток вопрошающих физиономий. И среди этих десяти вопрошателей, всякий раз новых, зачастую царила такая мешанина языков, будто каждого специально прислали сюда из своей страны. То и дело несколько просунувшихся голов спрашивали что-то одновременно, а иные вдобавок успевали переговариваться друг с другом. Большинству нужно было что-то из швейцарской забрать либо, наоборот, там оставить, так что из чехарды лиц тянулись еще и требовательно размахивающие руки. Одному так не терпелось схватить газету, что та от его рывка нечаянно развернулась в воздухе, разом прикрыв собой все галдящие лица. И весь этот натиск двум главным портье надлежало стойко выдерживать. Обыкновенной речи при такой работе было явно недостаточно, они тараторили, особенно один, мрачного вида мужчина с черной бородой во

все лицо, — этот вообще давал справки, не умолкая ни на секунду. Он не глядел ни на стол, на котором беспрестанно что-то перекладывал, ни на лица сменяющих друг друга клиентов, а исключительно и только прямо перед собой, то ли сберегая, то ли накапливая силы. К тому же его борода, видимо, все же мешала разборчивости его речи, так что Карл, ненадолго возле него задержавшись, почти ничего из сказанного им не понял, хотя, как знать, быть может, как раз в это время портье при всей явственности английского акцента говорил на каком-то иностранном языке? Вдобавок сбивала с толку и сама его манера — всякая новая справка до того плотно примыкала к предыдущей и, можно сказать, сливалась с ней, что зачастую клиент с напряженным лицом все еще слушал, полагая, что ответ адресован ему, и лишь немного погодя соображал, что с ним давно покончено. Привыкнуть надо было и к тому, что этот младший портье в случае неясности никогда не просил повторить вопрос, даже если он в целом был понятен и лишь поставлен не вполне четко, — едва заметным движением головы портье давал понять, что на такой вопрос отвечать не намерен, предоставляя клиенту самому додумываться, где и в чем он дал промашку и как задать вопрос правильно. Именно за подобными раздумьями иные просители и проводили у окна довольно много времени. В помощь каждому портье был придан мальчишка-ординарец, которому надлежало — и только бегом — приносить с книжных полок и из всевозможных ящиков все, что младшему портье ежесекундно может понадобиться. Это была самая высокооплачиваемая, хотя и самая тяжелая работа, какую мог получить в отеле подросток, в известном смысле ординарцам доставалось даже похлестче, чем младшим портье, потому что портье надо было только думать и говорить, тогда как мальчишкам приходилось думать и бегать. Если ординарец приносил что-нибудь не то, у младшего портье, разумеется, не было времени на долгие разговоры и поучения, чаще всего по ошибке принесенная вещь, едва оказавшись на столе, тут же летела на пол. Очень интересно было наблюдать смену младших портье, она произошла как раз вскоре после прихода Карла. Подобные смены, должно быть, происходили, по крайней мере днем, довольно часто, ибо нормальный человек не в состоянии выдержать такую нагрузку дольше часа. Когда наступило время смены, ударил гонг, и в тот же миг из боковой двери вышли два младших портье, которым надлежало заступить на пост, каждый в сопровождении своего ординарца. Расположившись за спинами товарищей, они не-

которое время простояли в бездействии, изучая людей за окном и постепенно вникая в суть вопросов и ответов. Затем, улучив подходящую минуту, сменяющий хлопал сменяемого по плечу, и тот, хотя прежде, казалось, представления не имел о том, что творится у него за спиной, мгновенно все понимал и уступал свое место. Происходило все это так стремительно, что люди за окном нередко пугались и, завидя столь внезапно возникшее перед ними новое лицо, в страхе отшатывались. Смененные портье, с наслаждением потянувшись, шли к двум стоящим неподалеку умывальникам остудить свои разгоряченные головы, тогда как их ординарцам еще рано было потягиваться, им полагалось прежде подобрать с пола все сброшенные за время смены вещи и разложить по местам.

Понаблюдав за всем этим считанные мгновенья, но с величайшим интересом, Карл с легкой головной болью безропотно двинулся вслед за швейцаром, который повел его дальше. Очевидно, и от главного швейцара не укрылось впечатление, произведенное на Карла справочной службой, ибо он ни с того ни с сего дернул Карла за руку и сказал:

— Видишь теперь, вот так-то у нас работают.

Карл, правда, здесь в отеле тоже не баклуши бил, но чтобы так работать — этого он даже представить не мог, а потому, почти начисто забыв, что главный швейцар его самый заклятый враг, поднял на него глаза и в знак уважительного согласия безмолвно кивнул головой. Но главный швейцар и этот жест воспринял по-своему, должно быть, усмотрев в нем то ли преувеличение заслуг младших портье, то ли недостаточно почтительное отношение к собственной персоне, ибо с обидой в голосе, будто Карл нарочно решил его позлить, он громко, ничуть не заботясь о том, что его могут услышать, заявил:

— Конечно, это самая дурацкая работа во всем отеле. Часок постоишь, послушаешь, и уже заранее знаешь почти все, о чем могут спросить, а на остальное и отвечать не обязательно. Не будь ты таким наглым, невоспитанным мальчишкой, если бы ты не врал, не шатался, не пил и не воровал, глядишь, я бы и приставил тебя к такому окошку, потому как на это дело только такие тупицы и годятся.

Карл легко пропустил мимо ушей ругань на свой счет, но тем больше его возмутило, что честный и нелегкий труд младших портье, достойный только уважения, можно столь бессовестно чернить, да еще устами человека, который, рискни он хоть разок занять место у такого окошка, уже через несколько минут под хохот клиентов бежал бы с позором.

— Отпустите меня, — потребовал Карл, его любопытство по части швейцарской было утолено с лихвой. — Я вас больше знать не хочу.

— Чтобы уйти, одного хотения мало, — возразил главный швейцар и, стиснув Карла за плечи, так что тот шелохнуться не мог, буквально отнес его в дальний угол швейцарской. Неужто люди в вестибюле не видят, какое насилие учиняет над ним главный швейцар? А если видят, — не могут не видеть! — как же они такое допускают, почему ни один не остановится, хотя бы не постучит по стеклу, показывая швейцару, что за ним наблюдают и не позволят творить с Карлом все, что тому заблагорассудится?

Вскоре, однако, надежда на помощь из вестибюля отпала совсем, поскольку главный швейцар дернул за шнур и половину стеклянных стен швейцарской в мгновение ока до самого потолка закрыли плотные черные портьеры. Правда, и в этой части швейцарской тоже находились люди, но каждый по уши в своей работе, ничего кроме этой работы не видя и не слыша. К тому же все они у главного швейцара в подчинении и, чем помогать Карлу, скорее уж помогут сокрыть любое злодейство, которое главный швейцар замыслит. Тут, к примеру, сидели шесть младших портье при шести телефонах. Обязанности их, как сразу можно было заметить, распределялись на пару: один лишь выслушивал в трубку указания, в то время как другой, выхватывая у него из-под рук записки, по своему телефону передавал распоряжения дальше. Это были те новые, последнего образца, телефоны, для которых не требуются отдельные кабинки, ибо звонок у них совсем тихий, наподобие стрекота, а в трубку можно даже шептать, и все равно благодаря особому электрическому усилению шепот на другом конце провода будет греметь громовым гласом. Вот почему тех троих, что только говорили, было почти не слышно, так что со стороны казалось, будто они, шевеля губами, пристально разглядывают что-то в телефонной трубке, тогда те трое, что только слушали, словно оглохнув от нахлынувших на них шумов, для окружающих, кстати, совершенно не слышных, склоняли головы над листами бумаги, исписывание которой и составляло, собственно, их задачу. Опять-таки и здесь у каждого из тех троих, что только говорили, стоял за спиной мальчишка-ординарец — в подмогу; вся их работа заключалась лишь в том, чтобы, вытянув шею, прислушаться к каждому слову начальника, а потом, дернувшись, будто их кто ужалил, кидаться рыскать в огромных желтых книгах — шелест переворачиваемых страниц заглу-

шал даже стрекот телефонов — в поисках нужного телефонного номера.

Карл, конечно, и от этого зрелища не мог оторваться, хотя главный швейцар, который тем временем сел, по-прежнему держал его перед собой, как в тисках.

— Я обязан, — заговорил главный швейцар, легонько встряхнув Карла, дабы тот повернулся к нему лицом, — именем дирекции хотя бы отчасти наверстать упущения старшего распорядителя, чем бы эти упущения ни были вызваны. И так каждый у нас — всегда готов выручить товарища. В таком большом деле иначе и нельзя. Ты, может, станешь тут говорить, что я не твой непосредственный начальник, — ну и что с того? Тем благородней с моей стороны взяться за дело, которое другой недосмотрел. Хотя вообще-то как главный швейцар я в известном смысле над всеми тут поставлен, ведь я заведую всеми входами-выходами, то бишь этим вот главным входом, тремя парадными и десятью служебными подъездами, не говоря уж о других бесчисленных дверях, дверцах, проходах и лазах. И конечно, в этом смысле весь обслуживающий персонал обязан беспрекословно мне подчиняться. Это, понятное дело, большая честь, но, с другой стороны, и ответственность большая, ибо мне поручено дирекцией никого хоть сколько-нибудь подозрительного из гостиницы не выпускать. А как раз ты, вот захотелось мне так, кажешься мне очень даже подозрительным. — И от удовольствия он на секунду отпустил плечи Карла, чтобы тем крепче и больней по ним прихлопнуть. — Вероятно, ты вполне мог, — добавил он, веселясь от души, — незаметно прошмыгнуть через любую другую дверь, не стану же я из-за какого-то сопляка давать особые указания всем швейцарам. Но раз уж ты здесь, я с тобой позабавлюсь. Я, кстати, и не сомневался, назначая тебе свиданьице у главного входа, что ты придешь как миленький, ибо так уж заведено, все нахалы и неслухи становятся тише воды ниже травы как раз тогда, когда им от этого самый вред. Ты еще не раз на собственной шкуре в этом убедишься.

— Не думайте, — выпалил Карл, вдыхая исходивший от главного швейцара странный замшелый запах, который он только сейчас, стоя к тому вплотную, впервые почувствовал, — не думайте, — выпалил он, — будто я полностью в вашей власти, я ведь могу и закричать.

— А я могу заткнуть тебе рот, — возразил главный швейцар так же быстро и деловито, как он, по-видимому, в случае надобности и осуществил бы это свое намерение. — Да если даже кто и прибежит, неужто ты и вправду думаешь, будто найдется хоть кто-то, кто поверит тебе супротив меня, глав-

ного швейцара. Так что ты эти пустые надежды лучше брось. Знаешь, пока ты еще в форме ходил, в тебе, может, и была какая-то представительность, но в этом костюме, который и впрямь только в Европе и носить...

И он презрительно одернул костюм Карла в самых разных местах — тот и вправду, хотя всего пять месяцев назад выглядел почти как новый, теперь был весь в складках, заношен, а главное, заляпан пятнами, что в первую очередь объяснялось неряшливостью других лифтеров, которые каждый день, следуя неукоснительному предписанию содержать пол спального зала в чистоте и блеске, должны были производить уборку, но, конечно, ленились и вместо этого просто поливали пол какой-то маслянистой дрянью, нещадно забрызгивая при этом всю одежду на вешалках. И где бы и сколь бы тщательно ты ни хранил свою одежду, всегда находился кто-то, кто свое тряпье куда-то задевал, зато чужое, припрятанное, находил с легкостью и, конечно, без спросу одалживал поносить. Причем ее вполне мог одолжить и тот, кому в этот день полагалось делать уборку зала, и тогда уж одежда неминуемо была не просто забрызгана мастикой, а залита ею сверху донизу. Один Реннел хранил свои роскошные наряды в каком-то потайном месте, где до них пока вроде бы никто не добрался, тем более что одалживали-то чужую одежду вовсе не по злобе и не из жадности, просто по небрежности и в спешке каждый хватал, что под руку попадется. Но даже на костюме у Реннела посередке на спине было круглое красноватое пятнышко мастики, так что сведущий человек, встретив элегантного красавца Реннела в городе, безошибочно распознал бы в нем лифтера по этой отметине.

И, вспомнив все это, Карл подумал, что и он в лифтерах хлебнул достаточно горя, а все равно напрасно, потому что его лифтерская служба не стала, как он надеялся, первой ступенькой на пути к хорошему месту, напротив, он отброшен теперь еще ниже и докатился чуть ли не до тюрьмы. А тут еще главный швейцар вцепился в него мертвой хваткой и не отпускает, как видно, раздумывает, чем бы таким еще Карла унизить. И начисто позабыв о том, что главный швейцар совсем не тот человек, которого можно убедить, Карл воскликнул, несколько раз пристукнув себя по лбу, благо как раз рука освободилась:

— Ну даже если я и вправду с вами не здоровался, вы же взрослый человек, как вы можете быть таким злопамятным!

— Я не злопамятный, — ответил главный швейцар, — я только хочу обыскать твои карманы. Я, правда, уверен, что ничего не найду, у тебя наверняка хватило ума сплавлять краденое своему дружку, а уж он мало-помалу, день за днем

все перетаскивал. Но обыскать тебя нужно. — И с этими словами он с такой силой сунул руку Карлу в карман, что боковые швы сразу же лопнули. — Так, тут уже ничего, — произнес он, изучая на ладони содержимое этого кармана: гостиничный рекламный календарик, листок с заданием по коммерческой корреспонденции, несколько запасных пуговиц от брюк и пиджака, визитную карточку главной кухарки, пилку для ногтей, которую бросил однажды Карлу постоялец, второпях пакуя чемодан, старое карманное зеркальце, преподнесенное Реннелом в благодарность за десять, если не больше, подмен по службе, и еще какие-то мелочи. — Тут, значит, ничего, — повторил главный швейцар и швырнул все под скамью, будто само собой разумелось, что собственности Карла, коли уж она не краденая, только там, под скамьей, и место.

«Ну все, с меня хватит!» — сказал себе Карл, — лицо его, должно быть, пылало от стыда, — и, когда главный швейцар, в приступе жадности утратив всякую бдительность, начал шуровать во втором кармане, Карл одним рывком выскользнул из рукавов, сиганул, еще плохо соображая, куда-то в сторону, нечаянно, но довольно сильно толкнув при этом одного из младших портье прямо на его телефон, и побежал — от духоты гораздо медленнее, чем рассчитывал — к двери, но все-таки благополучно выскочил из швейцарской, прежде чем главный швейцар в своей тяжелой шинели успел хотя бы привстать. Видимо, организация охраны поставлена в отеле все же не столь безупречно, с разных сторон, правда, затрезвонили звонки, но один бог ведает, с какой целью, а служащие хоть и сновали туда-сюда по вестибюлю в таком количестве, будто им специально поручено затруднить любому постояльцу вход и выход, ибо какого-то иного смысла в их беспорядочном хождении при всем желании усмотреть было нельзя, — как бы там ни было, Карл вскоре очутился на свежем воздухе, однако все еще вынужден был идти вдоль гостиничного тротуара, не имея возможности попасть на другую сторону, поскольку к главному входу сплошняком выстроилась и медленно, с остановками, переползала шеренга подаваемых к подъезду машин. Машины эти, торопясь как можно скорей добраться до своих хозяев, от нетерпения буквально подталкивали друг друга — каждая упиралась носом в хвост предыдущей. Правда, иные из пешеходов, кому было особенно некогда, чтобы попасть на другую сторону, то тут, то там пролезали прямо через кабины некоторых автомобилей, будто это проходной двор, ничуть не заботясь о том, кто в машине сидит — только ли шофер и прислуга или важные господа.

Подобная смелость показалась Карлу все же чрезмерной, видимо, надо уж очень хорошо знать здешние порядки, чтобы на такое решиться, ведь этак он сдуру угодит в такой автомобиль, пассажирам которого это вовсе не понравится, и его мигом вышвырнут, да еще, чего доброго, устроят скандал, а скандала ему, мелкому гостиничному служащему, к тому же беглому, подозрительному на вид, в одной жилетке, надо остерегаться пуще всего на свете. В конце концов, не вечно же этой шеренге машин тянуться, да и он, покуда как бы прогуливается возле отеля, меньше всего бросается в глаза. Вскоре Карл и впрямь дошел до такого места, где очередь машин хотя и не кончилась, но, завернув за угол, стала пореже. Только он собрался нырнуть наконец в толчею улицы, где уж наверняка свободно разгуливают личности куда более подозрительного вида, нежели он, как вдруг совсем рядом кто-то окликнул его по имени. Он обернулся и увидел знакомые лица двух гостиничных лифтеров: из каких-то низеньких дверей, более всего напоминавших вход в гробницу, они с превеликим трудом вытаскивали носилки, на которых, как он только сейчас догадался, и вправду лежал Робинсон, с ног до головы весь в многочисленных бинтах и повязках. Жутко было смотреть, как он водит руками по глазам, отирая этими повязками слезы — то ли от боли и иных перенесенных страданий, то ли от радости, что снова видит Карла.

— Росман, — воскликнул он с упреком в голосе, — сколько же можно тебя дожидаться! Я уже целый час отбиваюсь, чтобы меня не смели увозить, пока ты не придешь. Эти гады, — тут он закатил одному из лифтеров подзатыльник, словно повязки дают ему право на полную неприкосновенность, — это же звери какие-то! Ах, Росман, вот и ходи к тебе в гости, видишь, во что мне это обошлось.

— Что же они с тобой сделали? — спросил Карл, подходя к носилкам, которые ребята, решив сделать передышку, опустили на землю.

— Ты еще спрашиваешь, — вздохнул Робинсон. — А ведь и сам видишь, на что я похож. Да ты пойми, я теперь, может, на всю жизнь калекой останусь, так меня избили. У меня боли жуткие, все болит от сих до сих, — и он показал сперва на свою голову, потом на пятки. — Видел бы ты, как у меня кровища из носу хлестала. Жилетку всю испортил, я ее даже брать не стал, штаны порвали, я вон в одних кальсонах. — И он приподнял одеяло, предлагая Карлу самому в этом убедиться. — Что теперь со мной будет! Мне же теперь несколько месяцев, это уж точно, пластом лежать, и я тебя сразу

предупреждаю, у меня никого нет, кроме тебя, чтобы за мной ухаживать, у Деламарша на это терпения не хватит. Росман, родненький! — И Робинсон потянулся к слегка отпрянувшему от него Карлу, норовя его погладить и хоть так завоевать его расположение. — Зачем только меня к тебе послали! — причитал он снова и снова, не давая Карлу забыть о том, что в приключившемся с ним несчастье есть и его, Карла, доля вины.

Карл, впрочем, давно уже понял, что истинная причина жалоб и стенаний Робинсона вовсе не увечья, а жесточайшее похмелье, ибо, не успев спьяну заснуть, он был почти сразу же разбужен и, к немалому своему изумлению, тут же в кровь избит, после чего, конечно, с трудом соображал, на каком он свете. Пустяковость же его болячек легко было определить по бесформенным, кое-как накрученным повязкам из старого тряпья, которыми лифтеры потехи ради обмотали его где попало, но с головы до ног. Да и ребята, что несли носилки, то и дело прыскали от смеха. Но сейчас не время и не место было приводить Робинсона в чувство, ибо вокруг них торопливо сновали многочисленные прохожие, ничуть не обращая внимания на странную группу с носилками, некоторые с истинно гимнастической сноровкой даже перепрыгивали через Робинсона, нанятый на деньги Карла шофер уже кричал им: «Живей! Живей!», ребята, собравшись с силами, подняли носилки, а Робинсон, схватив Карла за руку, заискивающе умолял:

— Ну пошли, пошли же!

В этом странном костюме, без пиджака, может, ему и вправду лучше всего укрыться в темном нутре автомобиля? И он уселся рядом с Робинсоном, который тут же положил ему голову на плечо, оставшиеся на тротуаре лифтеры через заднее окошко сердечно пожали ему, бывшему их сотруднику, руку, машина рванула, резко выворачивая поперек улицы, казалось, аварии не избежать, но могучий поток движения спокойно вобрал в себя и эту частицу и понес ее вперед все быстрей и быстрей.

Глава седьмая

Улица, на которой внезапно остановилась машина, залегла где-то в глухом предместье: вокруг было тихо, на тротуаре, сидя на корточках, беззаботно играли дети, и только старьевщик с узлом тряпья через плечо монотонно что-то выкрикивал, хищно поглядывая на окна верхних этажей,— Карл устало вылез из машины и, едва ступив на асфальт, залитый

нестерпимо ярким и знойным утренним солнцем, сразу почувствовал себя неуютно.

— Ты точно здесь живешь? — крикнул он Робинсону в машину. Робинсон, который всю дорогу спал как убитый, буркнул в ответ что-то невнятно утвердительное и, похоже, надеялся, что Карл понесет его на руках.— Тогда мне здесь больше делать нечего. Будь здоров! — бросил Карл и легко шагнул вперед: улица шла под гору.

— Карл, ты куда? — испуганно вскричал Робинсон, мгновенно вскакивая с сиденья, уже вполне способный, как оказалось, держаться на ногах, пусть и не очень твердо.

— Мне надо идти,— просто ответил Карл, окончательно успокоенный признаками столь явного и скорого выздоровления.

— Прямо так, без пиджака? — ехидно поинтересовался Робинсон.

— Ничего, китель я себе еще заработаю,— заверил его Карл, с достоинством кивнув и даже рукой махнув на прощанье, и, наверно, он бы и в самом деле ушел, если бы не водитель, который вдруг его окликнул.

— Минуточку терпения, молодой человек!

Выяснилось — вот ведь незадача,— что таксист требует дополнительной оплаты, ведь с ним рассчитались только за проезд, но не за простой, а он долго ждал у гостиницы.

— Ну да! — выкрикнул из машины Робинсон, подтверждая правоту этих притязаний.— Мы же вон сколько тебя ждали! Так что ты уж ему что-нибудь дай.

— Вот именно,— прибавил таксист со значением.

— Да я бы с удовольствием, если б было что,— растерянно бормотал Карл, шаря по карманам, хотя и знал, что искать там нечего.

— А мне больше не с кого получить,— заявил шофер, расправляя плечи и приосаниваясь.— С того, увечного, какой спрос.

От стены соседнего дома отделился молодой парень с дыркой вместо носа и, подойдя поближе, теперь с интересом прислушивался к разговору. Откуда-то из-за угла возник патрульный полицейский и, завидев посреди улицы человека в жилетке, остановился, исподлобья присматриваясь к происходящему. Робинсон, тоже заметив полицейского, повел себя совсем уж глупо, выкрикнув из машины: «Ничего страшного! Ничего страшного!» — словно полицейского можно отогнать как назойливую муху. Дети, сперва глазевшие на полицейского, только теперь, когда тот остановился, углядели Карла и

шофера и гурьбой бросились к ним. В подъезде напротив, как изваяние, застыла старуха, не спуская с них тяжелого, неподвижного взгляда.

— Росман! — послышалось вдруг откуда-то с высоты. Это был голос Деламарша, доносившийся с балкона последнего этажа. Сам Деламарш был отсюда едва различим, на фоне белесого голубого неба смутно угадывалась лишь чья-то мужская фигура, по-видимому, в домашнем халате,— свесившись с балкона, мужчина рассматривал их в театральный бинокль. Рядом с ним веселым, свежим пятном алел раскрытый солнечный зонт, под которым, судя по всему, расположилась женщина.

— Привет! — крикнул Деламарш еще громче, чтобы Карл его услыхал.— А Робинсон тут?

— Тут! — отозвался Карл, и еще одно, куда более громкое и радостное «Тут!» Робинсона эхом вторило ему из машины.

— Привет! — снова крикнул Деламарш.— Сейчас спущусь.

Робинсон снова привстал с сиденья.

— Вот это человек! — провозгласил он, обращая свой похвальный отзыв о Деламарше и к Карлу, и к таксисту, и к полицейскому, вообще ко всякому, кто пожелал бы его услышать. Наверху, на балконе, куда как бы по инерции все еще были обращены взоры собравшихся, хотя Деламарша там уже не было, действительно, оказалась женщина: очень полная, в красном платье, она теперь встала под зонтом во весь свой внушительный рост, взяла с перил бинокль и направила на людей внизу,— только тогда те мало-помалу начали отводить глаза. Карл, дожидаясь Деламарша, смотрел в арку ворот и еще дальше, во двор, где, очевидно, шла разгрузка товара: почти непрерывной цепочкой двор пересекали люди, и каждый нес на плече небольшой, но, судя по всему, очень тяжелый ящик. Таксист отошел к машине и, чтобы не терять время попусту, принялся протирать тряпкой фары. Робинсон недоверчиво ощупывал свои конечности, как бы изумляясь отсутствию сильных болей даже при столь придирчивом обследовании, а потом, согнувшись в три погибели, начал осторожно разматывать одну из толстенных повязок на ноге. Полицейский, перехватив дубинку за оба конца, терпеливо ждал в позе человека, для которого ждать — не важно, подкарауливая ли преступника или просто следя за порядком,— самая привычная обязанность. Парень с провалившимся носом уселся на каменную тумбу у ворот, вытянув перед собой ноги. Дети исподволь, робкими шажками, приближались к

Карлу,— видимо, он, хоть и не обращал на них никакого внимания, благодаря жилетке казался им здесь самым главным.

По тому, сколько времени прошло до появления Деламарша, нетрудно было судить, какой это высоченный домина. И это при том, что Деламарш не подошел, а почти подбежал к ним в наспех, кое-как запахнутом халате.

— Вот и вы! — выкрикнул он на ходу то ли радостно, то ли сердито. Он шел решительно, и полы халата при каждом шаге слегка распахивались, открывая миру пестрое нижнее белье. Карл не вполне понимал, с какой это стати здесь, прямо в городе, в этом убогом квартале да еще посреди улицы Деламарш расхаживает в халате, будто у себя дома или на даче. Как и Робинсон, Деламарш тоже изменился. Его смугловатое, до синевы выбритое, подозрительно гладкое лицо с заплывшими мешками щек источало самодовольство и надменность. Неприятно поражал его взгляд — колкий, холодный, с почти неизменным теперь прищуром. Фиолетовый халат был хоть и старый, весь в сальных пятнах, к тому же явно ему велик, но из-под этой омерзительной хламиды горделиво топорщился темный шейный платок тяжелого шелка.

— Ну? — спросил он, обращаясь ко всем сразу.

Полицейский подошел чуть ближе и облокотился на капот машины. Карл дал краткое разъяснение:

— Робинсон немного прихворнул, но, если постарается, вполне сможет сам подняться по лестнице, а шофер вот требует доплаты, хотя за проезд я с ним рассчитался. А теперь я пойду, всего хорошего.

— Никуда ты не пойдешь,— отрезал Деламарш.

— А я что ему говорю? — поддакнул из машины Робинсон.

— Нет, пойду,— твердо сказал Карл, порываясь уйти. Но Деламарш уже подскочил к нему сзади и силой тащил обратно.

— А я говорю, ты останешься! — крикнул Деламарш.

— Да пустите же меня! — возмутился Карл, готовый, если потребуется, кулаками добыть себе свободу, сколь ни малы были его надежды на успех в поединке с таким громилой, как Деламарш. Но ведь рядом полицейский, да и таксист тут, а вдалеке по вообще-то тихой улице группами идут рабочие,— разве все эти люди дадут Карла в обиду? Это где-нибудь в комнате, один на один, он бы не стал с Деламаршем связываться — но здесь? Деламарш тем временем спокойно расплатился с шофером, который, беспрерывно кланяясь, засунул в бумажник незаслуженно щедрое вознаграждение и в знак особой благодарности подошел теперь к Робинсону, ве-

роятно, обсуждая с ним, как поудобнее извлечь того из машины. На Карла никто не глядел; наверно, Деламаршу легче смириться с его молчаливым уходом, что ж, если можно избежать ссоры, тем лучше — и Карл ступил с тротуара на мостовую, намереваясь как можно скорей и незаметней уйти. Дети гурьбой кинулись к Деламаршу докладывать о бегстве Карла, но его вмешательства даже не потребовалось, ибо полицейский, ткнув в его сторону дубинкой, произнес: «Стой!»

— Как тебя зовут? — спросил он, зажав дубинку под мышкой и неспешно извлекая из сумки какую-то книгу. Карл впервые глянул на него внимательно — это был сильный мужчина, но уже почти совсем седой.

— Карл Росман,— ответил он.

— Росман,— повторил полицейский, повторил, несомненно, лишь по привычке, просто потому, что он вообще человек спокойный и обстоятельный, но Карлу, который, по сути, впервые столкнулся с американскими властями, уже в самом этом повторе почудилась зловещая подозрительность. Видно, дела его и впрямь плохи, вон даже Робинсон, еще недавно всецело озабоченный только своей персоной, теперь из машины подает Деламаршу отчаянные знаки, призывая того все же помочь Карлу. Но Деламарш только головой тряхнул, мол, отстань, и по-прежнему пребывал в бездействии, засунув руки в необъятные карманы своего халата. Парень, рассевшийся на тумбе, уже объяснял женщине, только что вышедшей из ворот, что тут происходит,— по порядку и с самого начала. Дети полукругом расположились у Карла за спиной и молча, во все глаза смотрели на полицейского.

— Предъяви-ка документы,— сказал полицейский. Видимо, сказал просто так, для проформы, много ли может быть документов у человека без пиджака. Поэтому Карл промолчал, приготовившись подробно ответить на следующий вопрос и тем самым по возможности сгладить неприглядный факт отсутствия у него документов. Но следующий вопрос был:

— Выходит, у тебя нет документов?

Карлу ничего не оставалось, как ответить:

— С собой нет.

— Плохо дело,— произнес полицейский, задумчиво глянув по сторонам и постукивая двумя пальцами по переплету книги.— Ты хоть работаешь где-нибудь? — спросил он наконец.

— Я был лифтером,— ответил Карл.

— Был, а сейчас, значит, уже не лифтер. На что же ты сейчас-то живешь?

— Сейчас я собирался искать новое место.

— Так тебя только что уволили?

— Да, час назад.

— Прямо так, сразу?

— Да,— сказал Карл и, как бы извиняясь, сделал неопределенный жест рукой. Не мог же он рассказать здесь все как было, да если бы и мог, все равно безнадежная это затея — пытаться рассказом о прошлой несправедливости отвести от себя угрозу несправедливости новой. Уж если он не сумел отстоять свою правоту перед лицом доброй кухарки и проницательного распорядителя, то здесь, на улице, от случайных людей ждать сочувствия и подавно не приходится.

— Так прямо без пиджака и уволили? — допытывался полицейский.

— Ну да,— ответил Карл. Выходит, в Америке у представителей власти тоже заведено спрашивать о том, что и так очевидно. (Ох, как злился отец, выправляя ему заграничный паспорт, на бесконечные и бессмысленные расспросы чиновников!) Больше всего Карлу сейчас хотелось просто убежать и куда-нибудь спрятаться — лишь бы не слышать никаких вопросов. Тем более что полицейский как раз задал вопрос, которого Карл пуще всего боялся, в тревожном ожидании которого он и на предыдущие вопросы отвечал не так свободно и складно, как, вероятно, мог бы ответить.

— В каком же отеле ты служил?

Карл потупил голову и промолчал, отвечать на этот вопрос он не станет ни за что на свете. Не хватало еще, чтобы его под конвоем полицейского доставили в отель «Оксиденталь», где начнется новое дознание, на которое вызовут его друзей и его недругов, после чего главная кухарка окончательно изменит свое, и так уже изрядно пошатнувшееся, доброе мнение о Карле, поскольку она-то надеется, что он в пансионе Бреннера, а его, как воришку, в сопровождении полицейского, в одной жилетке, без ее визитной карточки, притащат обратно, и, завидев это, распорядитель, вероятно, ограничится только укоризненно-понимающим кивком, зато уж главный швейцар наверняка изречет что-нибудь о божьей длани, которая, дескать, наконец-то словила шельму.

— Он служил в отеле «Оксиденталь», — сообщил Деламарш, подойдя к полицейскому.

— Нет! — выкрикнул Карл и даже ногой топнул.— Неправда!

Деламарш только глянул на него и издевательски скривил губы с таким видом, будто он еще много о чем мог бы порассказать, но покамест повременит. Среди детей внезапный гнев Карла вызвал тихий переполох, и теперь все они переметнулись к Деламаршу, чтобы наблюдать за Карлом с безопасного расстояния. Робинсон, весь высунувшись из машины и вытянув шею, замер в полной неподвижности,— лишь редкое подрагивание век оживляло его застывшее лицо. Парень у ворот от восторга даже хлопнул в ладоши, но женщина рядом тут же ткнула его локтем в бок, чтобы он успокоился. У грузчиков как раз начался перерыв на завтрак, они гурьбой высыпали на улицу с большими кружками черного кофе в руках, обмакивая в кофе рогалики. Некоторые усаживались поблизости, на бордюр тротуара, а кофе все прихлебывали с невероятным шумом.

— Так вы его знаете? — обратился полицейский к Деламаршу.

— Лучше, чем хотелось бы,— усмехнулся тот.— В свое время я сделал ему немало добра, только отблагодарил он меня не лучшим образом, о чем, полагаю, вы и сами догадываетесь даже после столь краткого предварительного допроса.

— Да,— согласился полицейский.— Мальчишка, похоже, одичал.

— Так оно и есть,— подтвердил Деламарш,— но это бы еще полбеды.

— Вот как? — оживился полицейский.

— О да! — заливался Деламарш, не вынимая рук из карманов, отчего полы его халата распахивались все энергичней и шире.— Он тонкая бестия! Я и мой друг,— вон он, в машине,— встретились с ним случайно, помогли в беде, он ведь тогда ничего не смыслил в здешней жизни, только что из Европы приехал, где, видно, в нем тоже не больно-то нуждались,— так мы потащили его с собой, делили с ним кров и пищу, все ему растолковывали, хотели место ему приискать и вообще надеялись, несмотря на все его дурные задатки, сделать из него человека,— как вдруг однажды ночью он исчезает. Сбежал — и все, да еще при таких сопутствующих обстоятельствах, что об этом я лучше умолчу. Так было дело или не так? — воскликнул он под конец и даже дернул Карла за рукав.

— Назад, ребятня! — прикрикнул на детей полицейский: те подошли так близко, что на одного малыша Деламарш чуть не свалился. Тем временем грузчики, прежде явно недооце-

нив занимательность происходящего, мало-помалу начали прислушиваться к допросу и тесным полукольцом сбились за спиной у Карла, так что теперь он назад и шагу не мог ступить, да к тому же в ушах у него стоял беспрерывный гомон их голосов на совершенно непонятном наречии — смеси английских и еще каких-то, скорее всего славянских, слов,— на котором они то ли переговаривались, то ли вяло переругивались между собой.

— Благодарю за ценные сведения,— сказал полицейский, отдав Деламаршу честь.— Придется мне его забрать и доставить в отель «Оксиденталь».

Но тут Деламарш неожиданно сменил тон.

— Я бы просил вас пока что оставить мальчишку у меня, мне с ним надо кое-что уладить. Разумеется, я обязуюсь потом лично препроводить его в отель.

— Нет, так не пойдет, не могу,— возразил полицейский.

— Вот моя визитка,— важно произнес Деламарш и протянул полицейскому визитную карточку.

Тот взглянул на карточку с уважением, как бы признавая ее значимость, но потом, вежливо улыбнувшись, твердо сказал:

— Нет, это исключено.

Карл, сколь ни остерегался он Деламарша прежде, сейчас лишь в нем одном видел свое спасение. Хоть и подозрительно было, с какой это стати тот захотел вдруг отбить его у полицейского, но Деламарша в любом случае легче уговорить не доставлять его, Карла, обратно в отель. Впрочем, даже если Деламарш хоть силой его притащит, все равно это куда лучше, чем появиться в отеле в сопровождении полицейского. Но пока что, разумеется, нельзя и виду подавать, что он хочет к Деламаршу, иначе все пропало. Он с тревогой посматривал на руку полицейского, готовую, казалось, в любую секунду его сцапать.

— Надо хотя бы выяснить, за что его уволили,— произнес наконец полицейский, как бы оправдываясь перед Деламаршем, который, угрюмо пряча глаза, нервно мял визитку в своих толстых пальцах.

— Да вовсе он не уволен,— ко всеобщему изумлению, вскричал вдруг Робинсон, чуть не вываливаясь из машины и хватаясь за шофера.— Наоборот, у него там очень хорошее место. А в спальном зале он вообще за старшего и имеет право пускать кого захочет. Просто работы у него полно, и, когда к нему приходишь, надо долго его ждать. То он, понимаешь, у распорядителя, то у главной кухарки, он там у всех

в большом доверии. Так что совсем он даже не уволен. Просто не знаю, зачем он так сказал. Да и когда могли его уволить? Я был в отеле, сильно поранился, ему поручили отвезти меня домой, ну, а поскольку он был без пиджака, он без пиджака и поехал. Не ждать же мне, пока он пиджак наденет!

— Вот видите! — разводя руками, произнес Деламарш укоризненным тоном, словно упрекая полицейского в плохом знании людей, и, казалось, двумя этими словами внося абсолютную ясность в путаные рассуждения Робинсона.

— Так это что, тоже правда? — спросил полицейский упавшим голосом.— А если правда, с какой стати мальчишка врет, что его уволили?

— Ну же, объясни! — потребовал Деламарш.

Карл смотрел на полицейского, которому надлежало блюсти порядок среди этих чужих людей, пекущихся каждый только о себе и своем интересе, и какая-то частица его непомерной, всеобъемлющей заботы передалась и ему, Карлу. Лгать он не хотел и только крепче сцепил за спиной руки.

В воротах показался бригадир и хлопнул в ладоши, призывая грузчиков снова приниматься за работу. Разом умолкнув, они вразвалку, тяжелым шагом потянулись во двор, на ходу выплескивая из кружек кофейную гущу.

— Этак мы никогда не разберемся,— сказал полицейский и уже потянулся схватить Карла за плечо.

Карл — еще непроизвольно — отпрянул, но, ощутив за спиной пустоту освобожденного грузчиками пространства, круто повернулся и в несколько прыжков бросился бежать. Взвизгнули дети и, указывая на Карла ручонками, побежали было следом, но быстро отстали.

— Держи его! — крикнул полицейский и, время от времени оглашая этим криком длинную, почти безлюдную улицу, припустился за Карлом упругой и бесшумной побежкой, в которой угадывались и сила, и годами отработанный навык. Еще счастье для Карла, что погоня происходила в рабочем квартале. Рабочие не слишком-то ладят с властями. Карл мчался прямо посреди мостовой, тут было меньше препятствий, и краем глаза видел, как останавливаются по сторонам рабочие и спокойно на него смотрят, игнорируя призывы полицейского,— тот благоразумно бежал по гладкому тротуару, все чаще выкрикивая грозное «Держи его!» и указывая на Карла дубинкой. Впрочем, надежды на спасение было мало, Карл утратил ее почти совсем, когда завидел впереди поперечные улочки, на одной из которых наверняка дежурит еще один патруль, и одновременно услышал за спиной резкие,

прямо-таки оглушительные трели полицейского свистка. Преимущество Карла, правда, состояло в том, что одет он легко,— он несся, вернее, почти летел вниз по все более крутому уличному спуску, но бежал как-то вприпрыжку, то ли спросонок, то ли от усталости все чаще делая совершенно бессмысленные и замедлявшие бег скачки. Кроме того, полицейский-то бежал не раздумывая, он постоянно видел свою цель, тогда как для Карла сам бег был, пожалуй, вторым делом,— надо было соображать, прикидывать возможности и решения выбирать на ходу. Пока что его довольно-таки отчаянный замысел состоял в том, чтобы избегать боковых переулков — неизвестно, что его там ждет, можно с ходу напороться прямо на полицейскую будку; лучше уж, доколе возможно, держаться этой прямой, легко обозримой улицы, в самом конце которой, где-то далеко внизу, смутно угадывались контуры начинающегося моста, тонувшие в дымке реки и в знойном летнем мареве. Приняв это решение, он уже собрался припустить что есть духу и как можно скорей проскочить первый перекресток, как вдруг впереди завидел полицейского,— притаившись на теневой стороне возле темной стены дома, тот уже изготовился выскочить из засады и броситься на Карла. Оставался один путь в переулок, а когда из этого переулка кто-то к тому же тихо окликнул его по имени,— Карл сперва даже решил, что ему почудилось, в ушах-то у него давно гудело,— он, ни секунды уже не раздумывая, резко, чтобы хоть на миг сбить полицейских с толку, метнулся вбок и, чудом удержавшись на ногах, нырнул в переулок.

Едва он — в два прыжка — туда влетел (о том, что кто-то его позвал, он, конечно, мгновенно забыл, тем более что теперь мощно, со свежими силами засвистел и второй полицейский, отчего случайные прохожие вдалеке, казалось, поспешно ускорили шаги), как вдруг из маленькой двери какого-то дома высунулась рука, сгребла Карла в охапку и со словами «Только тихо!» втолкнула в темный подъезд. Это был Деламарш — взмыленный, весь мокрый от пота, с налипшими на лоб и затылок волосами. Халат он держал под мышкой, сам был в одних кальсонах и в рубашке. Дверь, которая, как оказалось, вела даже не в подъезд, а в какой-то черный ход, он тут же захлопнул и запер.

— Сейчас,— выдохнул он, откидывая голову к стене и переводя дух. Карл, почти повиснув у него на руках, в полубеспамятстве уткнулся лицом ему в грудь.— Во бегут, голубчики! — сказал Деламарш, пальцем указывая на дверь и внимательно прислушиваясь. Полицейские действительно пробе-

жали мимо — их тяжелый топот отозвался в тишине переулка грозным звяканьем стали о брусчатку.— Э-э, да ты совсем выдохся,— заметил Деламарш, глянув на Карла, который все еще жадно хватал ртом воздух, не в силах вымолвить ни слова.

Он бережно усадил Карла на пол, сам опустился рядом на колени и даже стал гладить Карла по лбу, озабоченно заглядывая ему в глаза.

— Теперь вроде уже ничего,— произнес наконец Карл, тяжело поднимаясь на ноги.

— Тогда пошли,— сказал Деламарш. Он уже снова был в халате и слегка подталкивал Карла в спину — от слабости тот не мог даже голову поднять. Время от времени Деламарш его встряхивал, стараясь взбодрить.— С чего тебе уставать? — рассуждал он на ходу.— Гони по прямой, как конь по степи, не то что я — шмыгай по этим чертовым подворотням. Но ничего, я тоже бегун что надо! — В приливе гордости он с силой хлопнул Карла по спине.— Иногда полезно побегать наперегонки с легавыми.

— Да я еще раньше усталый был, до того, как побежал,— сказал Карл.

— Не умеешь бегать — нечего и оправдываться,— отрезал Деламарш.— Если бы не я, тебя давно бы сцапали.

— Наверно,— согласился Карл.— Я вам очень обязан.

— Да уж не сомневаюсь,— обронил Деламарш.

Шли они какими-то задами по узкому длинному проходу, вымощенному гладким темным камнем. По сторонам, то слева, то справа, открывался то проем черной лестницы, то щель между домами. Взрослых почти не видно, одни дети, играющие на голых лестничных ступеньках. В одном месте, прижавшись к перилам, горько плакала маленькая девчушка,— все ее личико влажно поблескивало от слез. Едва завидев Деламарша, она ойкнула и, в ужасе раскрыв ротик и беспрерывно оглядываясь, опрометью кинулась наверх и лишь там, на площадке, слегка успокоилась, убедившись, что никто за ней не гонится и, похоже, не намерен гнаться.

— Я ее сшиб только что,— сказал Деламарш с усмешкой и погрозил девчушке кулаком, на что та с испуганным воплем кинулась бежать еще выше.

И дворы, которыми они шли, тоже были почти безлюдны. Лишь тут и там попадался навстречу то рабочий, толкавший перед собой двухколесную тачку, то женщина у колонки набирала воды в ведро, почтальон мерным шагом пересекал двор, старик с седыми усами, скрестив ноги, отдыхал на ла-

вочке возле застекленной двери, попыхивая трубкой, перед каким-то складом разгружали ящики, лошади, наслаждаясь передышкой, лениво поводили головами, а приказчик в рабочем халате с накладной в руках наблюдал за ходом работ; в какой-то конторе было распахнуто окно, там за пультом сидел чиновник и, отвернувшись от своей писанины, в задумчивости смотрел во двор, взгляд его безразлично скользнул по проходившим мимо Карлу и Деламаршу.

— Место тут спокойное, тише не придумаешь,— сказал Деламарш.— Вечером, правда, иногда бывает шумно, зато днем — мертвая тишина.

Карл кивнул, ему-то казалось, что здесь слишком тихо.

— Я бы просто не мог жить где-то в другом месте,— продолжал Деламарш,— ведь Брунельда не выносит ни малейшего шума. Ты не знаешь Брунельду? Сейчас увидишь. Так что рекомендую тебе вести себя как можно тише.

Когда они подошли к подъезду дома, где жил Деламарш, автомобиля там уже не было, а парень с провалившимся носом, не выказав при виде Карла ни малейшего удивления, доложил, что отнес Робинсона наверх. Деламарш на это только кивнул, словно парень его слуга, выполнивший свою повседневную обязанность, и потащил Карла, который было заколебался, оглядываясь на залитую солнцем улицу, за собой по лестнице.

— Сейчас придем,— повторял Деламарш несколько раз, пока они взбирались наверх, но предсказание это все никак не сбывалось, ибо за каждым поворотом или даже незначительным изгибом лестницы открывался очередной, новый ряд ступенек. Однажды Карл даже остановился — не столько от усталости, сколько от беззащитного изумления перед этой нескончаемой лестницей.

— Да, живем мы высоко,— пояснил Деламарш, когда они двинулись дальше.— Но в этом есть и свои выгоды. Из дому выходишь редко, дома целый день в халате, нет, у нас очень уютно. И гости на такую верхотуру уж точно не доберутся.

«Какие уж тут гости!» — подумал Карл.

Наконец показалась площадка, на которой перед закрытой дверью сидел Робинсон,— они пришли; причем выяснилось, что это еще вовсе не последний этаж — лестница ползла дальше вверх и терялась в полумраке, где ничто не предвещало скорого ее окончания.

— Я так и думал,— тихо, словно все еще превозмогая боли, сказал Робинсон.— Я знал: Деламарш его приведет! Росман, что бы ты делал без Деламарша?!

Робинсон, в одном исподнем, без особого успеха пытался закутаться в небольшое одеяльце, на котором его вынесли из отеля «Оксиденталь»,— было совершенно непонятно, почему он не заходит в квартиру, предпочитая оставаться здесь и смешить своим видом жильцов дома, которые, надо полагать, все же изредка ходят по этой лестнице.

— Спит? — спросил Деламарш.

— По-моему, нет,— ответил Робинсон,— но я решил лучше дождаться тебя.

— Сперва надо взглянуть, спит она или нет,— пробормотал Деламарш, наклоняясь к замочной скважине. Прильнув к ней, он долго что-то высматривал, вертя головой то так, то этак, потом наконец распрямился и произнес:

— Не видно толком, штора опущена. Она на кушетке сидит, но может, и спит.

— Она что, больна? — посочувствовал Карл, желая помочь, поскольку Деламарш явно пребывал в растерянности.

Но тот в ответ только резко переспросил:

— Больна?

— Он же ее не знает,— вступился Робинсон, как бы извиняясь за Карла.

Одна из дверей в глубине коридора распахнулась, оттуда вышли две женщины и, вытирая руки о передники, с любопытством уставились на Деламарша и Робинсона, видимо, явно над ними потешаясь. Из другой двери выпорхнула совсем юная девушка с ослепительными белокурыми волосами и кокетливо пристроилась к соседкам, взяв их под руки.

— Вот гнусные бабы,— тихо проговорил Деламарш, понижая голос, впрочем, только из-за Брунельды.— Я все-таки донесу на них в полицию и избавлюсь от них на долгие годы. Не смотри туда! — зашипел он на Карла, который, со своей стороны, не находил ничего дурного в том, что он смотрит на женщин, раз уж все равно приходится торчать у дверей, дожидаясь, пока Брунельда проснется. В знак несогласия он упрямо мотнул головой и, дабы еще яснее показать, что вовсе не обязан подчиняться окрикам Деламарша, направился было к женщинам, но тут Робинсон со словами «Росман, ты куда?!» вцепился ему в рукав, а Деламарш, и так уже разозленный на Карла, заслышав громкий смех девушки, пришел в такую ярость, что, размахивая на ходу руками, решительным шагом устремился к женщинам,— тех вмиг как ветром сдуло: каждая шмыгнула в свою дверь.

— Только и знай шугать их из коридора,— пробормотал Деламарш, медленно возвращаясь назад, и тут же, вспомнив о непокорстве Карла, добавил: — А от тебя я жду совсем другого поведения, не то тебе не поздоровится.

В это время усталый женский голос протянул из-за двери с мягкой интонацией:

— Деламарш?

— Да! — ответил тот, преданно глядя на дверь.— Можно войти?

— О да! — отозвался голос, и Деламарш, предварительно смерив своих спутников долгим взглядом, осторожно отворил дверь.

Они очутились в полной темноте. Опущенная до самого пола штора над балконной дверью почти не пропускала свет, а другого окна не было, к тому же комната была сплошь забита мебелью и висевшей повсюду одеждой, что только усугубляло густой мрак. Спертый воздух отдавал сильным запахом пыли, скопившейся по углам, до которых, видимо, годами не добиралась, да и не могла добраться человеческая рука. Первое, что заметил Карл при входе, были три шкафа, плотным рядком составленные в прихожей.

На кушетке возлежала женщина, та самая, что недавно смотрела на них с балкона. Подол красного платья, перекрутившегося внизу, свисал до полу, открывая почти до колен ноги в толстых белых шерстяных чулках, но без туфель.

— Какая жара, Деламарш,— жалобно произнесла женщина, отворачивая лицо от стены и небрежно протягивая руку, которую Деламарш торопливо подхватил и поцеловал. Из-за его спины Карл успел разглядеть только двойной подбородок, тяжело перекатившийся при повороте головы.

— Может, поднять штору? — заботливо спросил Деламарш.

— Только не это! — простонала женщина, не открывая глаз и как бы не в силах превозмочь свое отчаяние.— Будет еще хуже.

Карл подошел к изножью кушетки, чтобы получше ее разглядеть, про себя удивляясь ее жалобам: никакой такой чрезмерной жары он не ощущал.

— Подожди, сейчас тебе станет немного легче,— боязливо приговаривал Деламарш, одну за другой расстегивая пуговицы на вороте ее платья, и распахнул ворот почти до груди, пока в вырезе не показалось нежное желтоватое кружево рубашки.

— А это еще кто? — спросила вдруг женщина, указывая на Карла пальцем.— И почему он на меня так уставился?

— Скоро и от тебя будет прок,— шепнул Деламарш Карлу, оттесняя того в сторону.— Это просто мальчишка,— успокоил он женщину,— я его привел, он будет тебе прислуживать.

— Но мне не нужен никто! — вскричала она в ответ.— С какой стати ты приводишь мне в дом посторонних!

— Но ты же сама все время говорила, что тебе нужна прислуга,— лепетал Деламарш, опускаясь возле нее на колени, ибо на кушетке при всей солидной ее ширине для него совершенно не было места.

— Ах, Деламарш,— сказала женщина,— ты не понимал меня и никогда не поймешь.

— Тогда я действительно тебя не понимаю,— огорчился Деламарш, нежно беря ее лицо в ладони.— Но ничего страшного, ты только скажи, и он тотчас же уйдет.

— Раз уж он здесь, пусть остается,— капризно распорядилась Брунельда, и Карл, от усталости уже мало что соображавший, приходя в смутный ужас при мысли о нескончаемой лестнице, по которой, видимо, прямо сейчас надо будет плестись обратно, ощутил такой острый прилив благодарности за эти, возможно, вовсе не столь уж радушные слова, что, перешагнув через мирно спящего на своем одеяле Робинсона и не обращая внимания на грозную жестикуляцию Деламарша, сказал:

— Большое вам спасибо за то, что разрешаете мне хоть ненадолго остаться. Я, наверное, уже сутки не спал, довольно много работал, к тому же пережил немало волнений. Устал ужасно. Даже не знаю толком, где я сейчас. Мне бы поспать несколько часов — а потом можете без всяких церемоний меня прогнать.

— Можешь насовсем оставаться,— сказала женщина и с иронией в голосе добавила: — Места, как видишь, у нас сколько угодно.

— Значит, тебе придется уйти,— изрек Деламарш,— ты нам не понадобишься.

— Нет, пусть остается,— возразила женщина уже вполне серьезно.

— Что ж, тогда ложись где-нибудь,— распорядился Деламарш, как бы нехотя подчиняясь ее воле.

— Он может лечь на занавески, только ботинки пусть снимет, а то еще порвет.

Деламарш показал Карлу, куда ему следует лечь. В прихожей между дверью и шкафами обнаружился закуток, где, сваленные в кучу, лежали оконные занавески. Сложив их как следует — тяжелые вниз, те, что полегче, наверх — и вынув заодно всевозможные карнизы с деревянными кольцами, можно было соорудить вполне приличное спальное ложе, а так это была просто бесформенная и вдобавок неустойчивая

груда тряпья, на которую Карл тем не менее тотчас же улегся,— слишком он устал, чтобы затевать долгие приготовления ко сну, да и неловко было беспокоить хозяев всей этой возней.

Он уже почти провалился в сон, как вдруг услышал громкий вскрик и, привстав на локтях, увидел Брунельду: сидя на кушетке, она с жаром раскинула руки и исступленно обнимала Деламарша, ерзавшего перед ней на коленях. Неприятно пораженный этим зрелищем, Карл поспешил лечь и поглубже зарыться в занавески, намереваясь снова уснуть. Если так дальше пойдет, он, видимо, и двух дней здесь не выдержит, но тем важнее было сейчас как следует выспаться, чтобы уж потом, на ясную голову, принять быстрое и верное решение.

Но Брунельда уже успела заметить широко раскрытые, неподвижные от усталости глаза Карла, столь напугавшие ее еще в первый раз, и подняла крик.

— Деламарш,— кричала она,— я умираю от жары, я вся горю, мне надо раздеться, я хочу в ванну, выставь их немедленно из комнаты — куда хочешь, в коридор, на балкон, но чтобы я их тут не видела! В собственном доме — и никакого житья! Ах, Деламарш, если бы мы с тобой были одни! Господи, они все еще тут? Этот наглец Робинсон, да как он смеет валяться в одних кальсонах при даме! А этот мальчишка сперва таращится на меня, как дикарь, а теперь прикидывается, будто уснул! Да выгонишь ты их или нет, наконец, они же не дают мне жить, они меня душат, учти: если я сейчас умру — это из-за них!

— Их сей же миг не будет, раздевайся,— засуетился Деламарш и, подбежав к Робинсону и поставив ногу ему на грудь, начал его расталкивать. Одновременно он крикнул Карлу:— Росман, вставай! Оба на балкон — живо! И горе вам, если сунетесь в комнату прежде, чем вас позовут! Поднимайся, Робинсон, поднимайся,— он тряс Робинсона все сильней,— а ты, Росман, не жди, пока я за тебя примусь! — прикрикнул он снова, дважды хлопнув в ладоши.

— Да сколько же можно! — вопила Брунельда, сидя на кушетке и широко расставив ноги, дабы дать простор своему необъятному телу; с превеликим трудом, пыхтя, с передышками, она сумела наконец наклониться и приспустить до колен чулки,— снять их совсем было явно выше ее сил, это, видимо, предстояло сделать Деламаршу, помощи которого она теперь с нетерпением ждала.

Превозмогая сон, Карл кое-как сполз со своей груды тряпья и, пошатываясь от усталости, направился к балконной

двери — занавеска, которую он зацепил ногой, волочилась за ним по полу, но ему было все равно. Он был настолько не в себе, что, проходя мимо Брунельды, даже пожелал ей спокойной ночи и, миновав Деламарша, который слегка придерживал портьеру, вышел на балкон. Вслед за ним почти сразу же приплелся Робинсон, видимо, ничуть не менее сонный.

— Сколько же можно издеваться над человеком! — бормотал он.— Без Брунельды я на балкон не пойду.

Несмотря на столь решительное несогласие, на балкон он вышел без малейшего сопротивления и, поскольку Карл уже устроился в кресле, без слов улегся прямо на каменный пол.

Когда Карл проснулся, был уже вечер, на небе высыпали звезды и за высокими домами по ту сторону улицы занималось лунное сияние. Лишь с удивлением оглядевшись в незнакомой местности и мало-помалу приходя в себя от освежающей вечерней прохлады, Карл вспомнил наконец, где находится. Как же он был неосторожен, как глупо пренебрег всеми советами главной кухарки, предостережениями Терезы да и собственными опасениями,— и вот, пожалуйста, сидит, как ни в чем не бывало, на балконе у Деламарша, даже проспал здесь целый день, как будто совсем рядом, за портьерой, вовсе не Деламарш, злейший его недруг. На полу вяло зашевелился ленивый Робинсон и потянул Карла за ногу — видимо, он и будил Карла таким же образом, потому что сейчас он сказал:

— Ну, Росман, и силен же ты дрыхнуть! Вот она — беззаботная юность. Сколько ты еще собираешься спать? Я бы и не стал тебя будить, спи себе, но, во-первых, мне тут на полу скучно, а потом — я проголодался. Будь добр, привстань-ка на минутку, у меня там под креслом кое-что припасено, вот, теперь я доберусь. И тебе тоже достанется.

Карл, встав со своего места, не без удивления наблюдал, как Робинсон, перевалившись на живот и вытянув руки, пошарил где-то под креслом и извлек оттуда небольшой посеребренный поднос, на каких складывают обычно визитные карточки. На подносе, однако, оказался кусок темной копченой колбасы, несколько очень тонких сигарет, вскрытая, но отнюдь не пустая банка сардин, аппетитно плавающих в масле, а также множество карамелек, по большей части раздавленных и потому слипшихся в комок. Вслед за подносом из-под кресла был выужен порядочный ломоть хлеба и флакончик — вроде бы от духов, но явно с какой-то иной жидкостью, ибо Робинсон показал его Карлу с особым удовлетворением и даже прищелкнул языком.

— Видишь, Росман,— разглагольствовал Робинсон, отправляя в рот сардинку за сардинкой и время от времени обтирая замасленные руки о шерстяной платок, вероятно, позабытый Брунельдой на балконе,— видишь, Росман, как надо охранять пропитание, ежели не хочешь подохнуть с голоду. Меня же тут совсем замордовали. А коли с тобой все время обходятся как с собакой, то в конце концов начинаешь думать, что ты собака и есть. Хорошо, что ты здесь, Росман, по крайней мере, есть хоть с кем поговорить. Они-то ведь со мной не больно разговаривают. Сволочная жизнь. А все из-за Брунельды. Баба она, что и говорить, роскошная. Слышь, ты,— и он поманил Карла к себе, чтобы шепнуть ему на ухо,— я ее однажды без ничего видел, ну-у, что ты! — и, придя в полный восторг от одного этого воспоминания, принялся тискать Карла за ляжки, пока тот с криком: «Робинсон, ты что, спятил!» — не перехватил его руки и не отпихнул.

— Ты, Росман, еще ребенок,— продолжал Робинсон, вытащив из-под рубашки финку, которая болталась у него на шейном шнурке, стянул с лезвия кожаный чехол и принялся нарезать твердую колбасу.— Тебя еще учить и учить. Но ничего, у нас ты в надежных руках. Да ты садись. Поесть не хочешь? Ну ладно, может, еще захочешь, на меня глядя. Выпить тоже не хочешь? Ты, я смотрю, ничего не хочешь. И к тому же не больно-то разговорчив. Но мне-то все равно, с кем быть на балконе, лишь бы был кто-нибудь. Очень уж часто я тут один торчу. Брунельда обожает меня на балкон выставлять. У нее же вечно прихоти — то холодно ей, то жарко, то она спать хочет, то причесываться, то расстегни ей корсет, то опять застегни, а я, значит, чуть что — марш на балкон. Иногда, может, оно и впрямь нужно, но обычно это просто блажь — лежит, как вот давеча, на кушетке и не шелохнется. Раньше я, бывало, занавеску отодвину чуток и смотрю на них, но с тех пор как Деламарш однажды — сам-то он не хотел, я точно знаю, это Брунельда ему велела — несколько раз стеганул меня плеткой по лицу — вон, видишь рубцы? — я уже боюсь заглядывать. Так вот и лежу на балконе, и никакой тебе радости, кроме жратвы. А позавчера вечером лежу вот тут один, я еще был в своем лучшем костюме, в том самом, который теперь в твоем отеле остался,— вот сволочи, это ж надо, с живого человека хорошую одежду стянуть! — лежу, значит, один, смотрю сквозь перила на улицу, и так мне вдруг тошно стало, хоть вой, ну, я и завыл. А тут как раз — случайно, я сперва даже не заметил — Брунельда ко мне на балкон выходит, в красном платье, оно ей особенно к лицу, посмотрела на меня,

посмотрела, а потом говорит: «Робинсон, ты почему плачешь?» И — веришь ли — юбку подняла и давай мне подолом глаза вытирать. И еще неизвестно, как бы оно дальше обернулось, если бы Деламарш ее не позвал — пришлось ей сразу вернуться в комнату. Ну, я, конечно, подумал, что теперь-то уж мой черед, и спрашиваю через занавеску — можно, мол, мне в комнату. И знаешь, что она мне ответила? «Нет! — говорит.— С чего ты взял?!» Вот что она мне ответила.

— Почему же ты тут остаешься, если с тобой так обращаются? — спросил Карл.

— Извини, Росман, но это дурацкий вопрос,— ответил Робинсон.— С тобой, может, еще похуже моего будут обращаться, а ты все равно тоже останешься. И, кстати, обращаются со мной вовсе не так уж плохо.

— Нет уж,— не согласился Карл,— я-то точно уйду, причем еще сегодня. Я с вами не останусь.

— Интересно, как это ты еще сегодня исхитришься уйти! — полюбопытствовал Робинсон, вырезая мякиш из хлеба и сосредоточенно обмакивая его в коробку из-под сардин.— Как это ты уйдешь, если тебе даже в комнату зайти нельзя?

— А почему нельзя зайти в комнату?

— Пока не позвонят, в комнату заходить нельзя,— просто сказал Робинсон, раскрывая рот как можно шире и запихивая туда пропитавшийся маслом хлеб,— другую руку он заботливо подставил горсткой и ловил в нее капающее с хлеба масло, чтобы потом снова обмакнуть в него остатки хлеба.— Сейчас все строже стало,— продолжал он.— Раньше хоть занавеска была потоньше, не то чтобы прозрачная, но вечером хоть тени было видно. Но Брунельде это не нравилось, и тогда я сшил из ее старой бархатной накидки другую штору и повесил на место прежней. Теперь даже теней не видно, вообще ничего. К тому же раньше я хоть мог в любое время спрашивать, можно мне войти в комнату или нет, и мне, смотря по обстоятельствам, говорили либо «да», либо «нет», но, видно, я слишком часто этим правом пользовался, и Брунельду это стало раздражать,— ты не смотри, что она на вид толстая, на самом-то деле здоровье у нее слабое, мигрень то и дело, да и ноги почти все время болят, подагра у нее,— и тогда решили, что мне больше спрашивать нельзя, а надо дожидаться звонка,— дернут за сонетку, значит, мне можно войти. А звонок очень громкий, даже если я сплю, он меня будит,— раньше я кошку здесь, на балконе, держал, чтоб веселее было, так она от этого трезвона сразу удрала и с тех пор не вернулась. Так вот, сегодня еще не звонили,— кстати, когда позвонят, я не

просто могу, я обязан зайти в комнату; но когда так долго не звонят, значит, могут и еще столько же не позвонить, а то и дольше.

— Да, но то, что обязательно для тебя, вовсе не обязательно для меня,— возразил Карл.— И вообще это обязательно лишь для того, кто сам на такое согласился.

— То есть как,— вскричал Робинсон,— для тебя это не обязательно? Очень даже обязательно, это уж само собой. Сиди спокойно и жди, покуда не позвонят. А там посмотрим, как это тебе удастся уйти.

— А сам-то ты почему не уходишь? Только потому, что Деламарш твой друг или, лучше сказать, был твоим другом? Разве это жизнь? Не лучше ли было уехать в Баттерфорд, как вы собирались? Или в Калифорнию, где у тебя друзья?

— Да,— вздохнул Робинсон,— наперед ничего не загадаешь.— И прежде чем продолжить, со словами: «Будь здоров, Росман!» — сделал затяжной глоток из своего флакончика.— Нам тогда, после того как ты нас так подло бросил, совсем туго пришлось. Работы поначалу никакой, Деламарш, впрочем, и не особенно искал, уж он-то нашел бы, но он только и знал, что меня на поиски посылать, а мне вечно не везет. Сам же просто так где-то болтался, только однажды, ближе к вечеру, дамский кошелек принес, очень красивый, в жемчугах, он его после Брунельде подарил, но внутри считай что пустой. А потом он сказал: будем, мол, по квартирам ходить, просить милостыню, дело нехитрое, да и перепадет, глядишь, кое-что,— ну, мы и пошли, а я, чтобы все это покрасивее обставить, даже пел под дверьми. И, представляешь — я же говорю: Деламаршу всегда везет,— уже возле второй квартиры — шикарная такая господская квартира на первом этаже, но с высокой лестницей,— только мы собрались кухарке и слуге что-то там спеть, глядим, снизу по лестнице идет дама, хозяйка квартиры,— это и была Брунельда. Не знаю, может, она зашнуровалась слишком туго или еще что, только по лестнице она шла еле-еле. Но красивая, Росман, до невозможности! Платье белое-пребелое, и красный солнечный зонтик. Прямо как конфета, так и съел бы, а начинку высосал! Боже ты мой, Росман, какая это была красавица! Какая женщина! Нет, ты мне только скажи: откуда такие женщины берутся? Кухарка и слуга, конечно, кинулись к ней и чуть ли не на руках внесли ее по лестнице. А мы встали у двери, по бокам, как часовые, и отдали ей честь, принято тут так. Она на секунду остановилась, видно, не отдышалась еще, и тут, не

знаю, как это вышло, наверно, у меня с голодухи совсем помутилось в голове, а она вблизи оказалась еще красивей, такая большая, пышная, но при этом — наверно, на ней был ее особенный корсет, я потом покажу тебе в шкафу — вся такая плотная, что я чуть-чуть потрогал ее сзади, но слегка, понимаешь, едва прикоснулся. Разумеется, это наглость: какой-то нищий трогает богатую даму. Хотя я ее, можно считать, и не трогал, но все равно получается, что потрогал. Так что еще неизвестно, чем бы это для меня обернулось, если бы Деламарш тут же не закатил мне оплеуху, да притом такую, что я обеими руками схватился за щеку.

— Ишь вы что вытворяли,— сказал Карл; всецело захваченный этой историей, он даже сел на пол.— Так это, значит, была Брунельда?

— Ну да,— ответил Робинсон,— это была Брунельда.

— Постой, а ты, по-моему, говорил, что она певица,— допытывался Карл.

— Она и есть певица, и притом великая певица,— подтвердил Робинсон, перекатывая на языке огромный ком карамели и время от времени, поскольку он плохо умещался во рту, подпихивая его пальцем.— Но мы-то, конечно, тогда ничего этого не знали, видим, просто богатая дама, шикарная и все такое. Она, конечно, сделала вид, будто ничего не случилось, а может, и вправду ничего не почувствовала, я ведь действительно едва до нее дотронулся, самым кончиком пальца. Но на Деламарша она покосилась, а он — он на такие дела мастак — в ответ поглядел ей прямо в глаза. А она ему на это и говорит: «Ну-ка, зайди на минутку»,— и зонтиком на дверь показывает, мол, проходи в квартиру. Так они оба туда и ушли, а прислуга тут же за ними дверь закрыла. Обо мне они забыли, ну, думаю, вряд ли это надолго, и сажусь на лестнице Деламарша дожидаться. Но вместо Деламарша выходит слуга и выносит мне целую кастрюльку супа. Я еще подумал: «Молодец, Деламарш, настоящий друг!» Начинаю есть, а слуга рядом стоит, и, пока я ем, он мне давай про хозяйку рассказывать,— вот тут-то я и смекнул, как нам повезло, что нас пригласили к Брунельде. Женщина она одинокая, разведенная, у нее большое состояние, и она совершенно ни от кого не зависит. Бывший муж, фабрикант какао, все еще ее любит, но она о нем даже слышать не хочет. Он часто приходит к дверям квартиры, одет с иголочки, как на свадьбу,— это все чистая правда, я сам с ним знаком,— но слуга, несмотря на щедрые чаевые, даже не отваживается о нем доложить, потому что он уже пробовал докладывать, а Брунельда в ответ

всякий раз запускала в него первым, что под руку придется. Однажды даже своей большой фарфоровой грелкой, полной, и выбила ему передний зуб. Вот такие дела, Росман!

— А ты-то откуда знаешь ее мужа? — спросил Карл.

— Так он и сюда иногда взбирается,— ответил Робинсон.

— Сюда?! — от изумления Карл даже прихлопнул ладонью по полу.

— Удивляйся сколько угодно,— продолжал Робинсон,— я сам тоже удивлялся, когда слуга мне все это рассказывал. Сам подумай: когда Брунельды не было дома, этот человек упрашивал слугу пустить его в ее комнату и всякий раз брал на память какую-нибудь безделушку, а Брунельде оставлял дорогой и изысканный подарок, строго-настрого запретив слуге говорить, от кого. Но однажды, когда он принес — так слуга сказал, и я ему верю — какую-то просто бесценную вещицу из фарфора, Брунельда о чем-то то ли вспомнила, то ли догадалась — и сразу хрясь ее об пол, и ногами топтать, и плеваться, а потом и еще кое-что на нее сделала, так что слугу едва не вырвало, когда он осколки убирал.

— Чем же он ей так насолил? — спросил Карл.

— Я и сам толком не знаю,— ответил Робинсон.— Но думаю, ничего особенного, по крайней мере, сам он тоже не знает. Мы с ним уже несколько раз об этом толковали. Он ведь каждый день поджидает меня вон там, на углу, и, если я прихожу, я ему рассказываю, какие новости, а если не могу вырваться, он полчаса ждет, а потом уходит. Кстати, совсем неплохой был приработок, он со мной всегда щедро расплачивался, но с тех пор, как Деламарш об этом пронюхал, приходится все ему отдавать,— я и ходить стал реже.

— Но что ему надо? — допытывался Карл.— Нет, ты скажи: что ему надо? Ведь он же знает, что она не хочет.

— Да,— вздохнул Робинсон, зажигая сигарету и широкими движениями отгоняя от себя дым. Но потом, видимо, что-то про себя решив, добавил: — А мне-то какое дело. Я знаю одно: он был бы рад отвалить кучу денег только за то, чтобы лежать вот здесь, на балконе, как мы с тобой.

Карл встал и, облокотившись на перила, посмотрел вниз, на улицу. Уже выглянула луна, но ее свет еще не проник в глубины уличных расселин. Такой пустынный днем, переулок сейчас был запружен народом: люди толпились у дверей и подъездов или прохаживались не торопясь, рукава мужских рубашек, светлые платья женщин слабо мерцали из темноты, почти все были без головных уборов. Многочисленные балконы вокруг тоже были усеяны людьми, при свете ламп тут

располагались целыми семьями — в зависимости от величины балкона — то вокруг маленького столика, то рядком в креслах, а то и просто стоя или только выглядывая из балконной двери. Мужчины сидели развалясь, уперев ноги в балконную решетку, и читали огромные, свисавшие почти до полу простыни газет; другие играли в карты — казалось, молча, но с тем большим остервенением колотя козырями по столу; женщины, почти все с рукодельем на коленях, лишь изредка отрывались от своего шитья, чтобы бросить взгляд на окружающее или вниз, на улицу; одна — уже немолодая, болезненного вида блондинка на соседнем балконе — то и дело зевала, всякий раз закатывая глаза и прикрывая рот бельишком, которое она штопала; даже на самых тесных балконах дети исхитрялись затеять беготню, вызывая неудовольствие родителей. Во многих квартирах играли граммофоны, оттуда доносилось пение или оркестровая музыка, которую, впрочем, никто особенно не слушал,— лишь изредка глава семейства подавал знак, и кто-то из домочадцев спешил в комнату поставить новую пластинку. В некоторых окнах неподвижно замерли любовные пары, одна как раз стояла в окне напротив: мужчина жадно обнимал девушку, тиская ее грудь.

— Ты хоть кого-нибудь из соседей знаешь? — спросил Карл у Робинсона, который, зябко поеживаясь, встал рядом; помимо своего одеяльца, он теперь укутался еще и в плед Брунельды.

— Да почти никого. В том-то и беда моего положения,— ответил тот и, притянув Карла поближе, шепнул ему на ухо: — Иначе разве стал бы я жаловаться? Но ради Деламарша Брунельда все продала и со всеми своими богатствами переселилась сюда, в эту убогую загородную квартирку, чтобы они могли всецело посвятить себя друг другу и никто их не тревожил,— Деламарш, кстати, тоже этого хотел.

— И прислугу всю уволила? — спросил Карл.

— Именно что,— подтвердил Робинсон.— Да и где ее тут держать? Эти слуги — они тоже с большими претензиями. Деламарш одного из них прямо при Брунельде по щекам отхлестал,— оплеухи так и сыпались, пока тот из комнаты не вылетел. Ну, а остальные, конечно, с ним заодно, собрались перед дверью и давай шуметь, тогда Деламарш к ним выходит (я тогда еще не был слугой, считался вроде как другом дома, но все равно со слугами был) и спрашивает: «В чем дело?» А старший слуга — был такой, Исидором его зовут— на это ему: «Нам с вами говорить не о чем, мы служим только нашей милостивой госпоже». Брунельду они, сам понимаешь, силь-

но уважали. Только Брунельда на них ноль внимания, подбежала к Деламаршу — она тогда еще не такая тучная была, как сейчас,— обняла его при всех, поцеловала и говорит: «Мой любимый Деламарш»,— так прямо и сказала, а потом еще добавила: «Да гони ты прочь всех этих обезьян!» Это она о слугах так — «обезьяны», представляешь, какие у них сделались рожи! Потом она берет Деламарша за руку и кладет его руку себе на пояс, где у нее кошелек висит,— а Деламарш только хвать туда и давай со слугами рассчитываться, а хозяйка их стоит рядом как ни в чем не бывало и только кошелек подставляет. Он много раз туда слазил, потому что деньги раздавал не глядя и без всяких там подсчетов: сколько запросят, столько он и сует. А под конец говорит: «Раз вы со мной разговаривать не желаете, то я вам от имени вашей госпожи приказываю: убирайтесь, только немедленно». Так вот их и уволили, потом было несколько процессов, Деламарша даже как-то раз в суд вызвали, но подробностей я не знаю. А как слуги ушли, Деламарш и говорит Брунельде: «Как же ты теперь без прислуги?» А она в ответ: «Но у нас ведь есть Робинсон». И тогда Деламарш хлопает меня по плечу и говорит: «Значит, ты будешь теперь у нас слугой». А Брунельда вдобавок похлопала меня по щеке; Росман, если представится случай, может, она и тебя по щеке похлопает, вот тогда ты поймешь, как это здорово.

— Значит, ты стал слугой у Деламарша? — подытожил Карл.

Робинсон, уловив в голосе Карла сочувствие, немедленно возразил:

— Да, я слуга, но со стороны это почти не заметно. Видишь, даже ты не догадался, хотя вон уже сколько у нас. Зато видел, как я был одет вчера вечером у вас в отеле? С ниточки, с иголочки, разве слуги так одеваются? Жаль только, выходить я могу не часто, ведь я всегда должен быть под рукой, такое уж хозяйство — дел невпроворот. Столько работы, что одному тут никак не управиться. Ты, верно, заметил, что в комнате полно вещей,— все, что не удалось продать при переезде, мы забрали с собой. Конечно, можно было, наверное, и просто раздать, но Брунельда не такая, чтобы что-то даром раздавать. Представляешь, каково мне было таскать все это по лестнице?

— Как, Робинсон, ты все это перетащил? — вскричал Карл.

— А то кто же? — невозмутимо ответил Робинсон.— Был, правда, еще один подсобный рабочий, лодырь, каких по-

искать, так что пришлось мне почти все на своем горбу выволакивать. Брунельда внизу у машины стояла, Деламарш здесь, наверху, командовал, куда что ставить, а я так и бегал взад-вперед. Целых два дня. Долго, скажешь? Но ты же понятия не имеешь, сколько у нас вещей, все шкафы битком, и на шкафах, и за шкафами от пола до потолка. Конечно, если б людей нанять, мы бы в два счета управились, но Брунельда сказала, что такое дело никому, кроме меня, доверить не может. Мне это, конечно, очень приятно, только вот здоровье свое я на этом переезде вконец подорвал, а что у меня еще в жизни есть, кроме здоровья? Теперь же, стоит малость поднапрячься, у меня во всем теле колет — и тут, и тут, и вот тут. Думаешь, эти сопляки из отеля, гниды эти — а кто же они еще, как не гниды болотные? — смогли бы со мной справиться, если бы не болезнь. Но как бы худо мне ни приходилось, Деламаршу и Брунельде я слова не скажу, буду работать, сколько хватит сил, а как силы кончатся, лягу и помру, вот тогда они поймут, да только поздно будет, что я был болен, а все равно работал на них до последнего и загубил себя у них на службе. Эх, Росман,— всхлипнул он, уткнувшись Карлу в грудь, а немного погодя неожиданно спросил: — Слушай, тебе не холодно так стоять в одной рубашке?

— Хватит, Робинсон,— сказал Карл.— Что ты все хнычешь и хнычешь. Не верю я, что ты так уж болен. Вид у тебя вполне здоровый, просто ты лежишь тут подолгу на балконе, вот и напридумывал бог весть что. Может, у тебя иной раз и кольнет в груди, так это со всяким бывает и со мной тоже. Если из-за каждой болячки нюни распускать, так сейчас вон все люди на балконах обливались бы слезами.

— Мне лучше знать,— обиженно сказал Робинсон, утирая глаза кончиком одеяла.— Вот и студент — он у хозяйки, которая нам стряпает, тоже комнату снимает — недавно, когда я посуду относил, мне говорит: «Послушайте, Робинсон, вы часом не больны?» А мне запрещено с соседями разговаривать, я посуду поставил и собираюсь уходить. Так он ко мне подошел и снова: «Послушайте, как вас там, не доводите себя до крайности, вы точно больны». — «Ну, допустим,— говорю,— так что же мне делать?» А он мне: «Это уж ваша забота»,— и отвернулся. А остальные за столом как давай хохотать, у нас тут кругом одни враги, ну, я и пошел от греха подальше.

— Выходит, людям, которые над тобой издеваются, ты веришь, а тем, кто к тебе по-хорошему, верить не хочешь?

— Но должен же я знать, что со мной! — вскинулся Робинсон, впрочем, тут же снова принимаясь плакать.

— В том-то и дело: ты сам не знаешь, что с тобой, а тебе надо найти приличную работу, чем мыкаться здесь на побегушках у Деламарша. Ведь судя по твоим же рассказам да и по тому, что я сам видел, это никакая не служба, а просто рабство. Ни один человек такого не вынесет, тут я тебе верю. Но ты решил, что как друг Деламарша не имеешь права его бросить. Это неверно: раз он даже не замечает, какую жалкую жизнь ты влачишь по его милости, значит, у тебя нет перед ним никаких обязательств.

— Росман, ты правда думаешь, что я выздоровлю, если перестану им прислуживать?

— Конечно,— ответил Карл.

— Точно? — переспросил Робинсон.

— Точно, точно,— заверил Карл с улыбкой.

— Тогда я уже прямо сейчас могу начинать выздоравливать,— сказал Робинсон, поглядывая на Карла.

— Это как же? — поинтересовался тот.

— А так: мои обязанности перейдут к тебе,— ответил Робинсон.

— Кто же тебе такое сказал? — усмехнулся Карл.

— Так это давно решено. Об этом еще несколько дней назад говорили. Началось все с того, что на меня рассердилась Брунельда: дескать, я недостаточно тщательно убираю квартиру. Я, конечно, пообещал немедленно навести полный лоск. Но это ведь очень трудно. Понимаешь, при моем здоровье не могу я из всех углов пыль выгребать, тут в центре-то комнаты не протиснешься, а уж во все эти щели среди мебели и припасов и подавно. И потом, если уж как следует убираться, надо мебель двигать, а как я ее один сдвину? Да еще чтобы очень тихо, ведь Брунельду нельзя беспокоить, а она почти не выходит из комнаты. Так что я хоть и пообещал все прибрать, но толком, конечно, не прибрал. А Брунельда, когда это углядела, сказала Деламаршу, мол, так дальше не пойдет, нужно нанять кого-то еще мне в подмогу. «Не хочу,— говорит,— Деламарш, чтобы ты потом меня упрекал, будто я плохая хозяйка. Самой мне, как ты понимаешь, переутомляться нельзя, а Робинсон один не справляется; поначалу он был такой шустрый и за всем приглядывал, теперь же чуть что — он устал и все больше в углу сидит. А в такой комнате, как у нас, где столько вещей, порядок сам собой не держится». Ну, Деламарш, конечно, стал думать, что тут можно сделать, потому что первого встречного на такое хозяйство брать не

годится, даже с испытательным сроком,— за нами же все следят. Тут-то я — я же тебе друг и к тому же слышал от Реннела, как ты там в своем отеле надрываешься,— тебя и предложил. А Деламарш сразу согласился, хоть ты и некрасиво тогда себя с ним повел, и я, конечно, очень обрадовался, что сумел оказать тебе такую услугу. Понимаешь, это место как раз по тебе. Парень ты молодой, сильный, ловкий, а я — на что я теперь гожусь. Только учти: это вовсе не значит, что ты уже принят, если ты не приглянешься Брунельде, ты нам не нужен. Так что уж постарайся ей угодить, об остальном я позабочусь.

— А чем же ты займешься, когда я поступлю на службу? — спросил Карл, ощутив прилив необыкновенной свободы: первый страх, который поначалу вызвали у него слова Робинсона, уже миновал. Значит, ничего особенно пакостного Деламарш не задумал, он хочет всего лишь сделать Карла своим слугой — будь у него на уме что похуже, болтливый Робинсон наверняка бы проговорился,— ну, а если только это, подумал Карл, тогда он сегодня же ночью с ними распрощается. Силой никого на работу не нанимают. И если еще совсем недавно, сразу после увольнения из отеля Карла тревожило лишь одно — как не умереть с голоду и поскорее найти новое, желательно подходящее и не слишком невзрачное место, то теперь, в сравнении с этой службой, которую ему хотят навязать и которая ему противна, любое другое место казалось ему благом, даже безработную нужду он предпочел бы такой службе. Однако объяснить все это Робинсону он даже не пытался, тем более что тот в напрасной надежде с помощью Карла облегчить себе жизнь никаких доводов и не хотел слушать.

— Я,— начал Робинсон, облокотившись на перила и сопровождая свою речь рассудительными, спокойными жестами,— первым делом все тебе объясню и покажу, где какие припасы. Парень ты грамотный, и почерк у тебя наверняка красивый, так что ты сразу составишь опись всего, что у нас тут есть. Брунельда давно об этом мечтает. Если завтра с утра погода будет хорошая, мы попросим Брунельду посидеть на балконе; и сами без помех поработаем, и ее не будем беспокоить. Потому что это, Росман, самое главное. Только не беспокоить Брунельду. Она же все слышит, это, наверно, оттого, что она певица, вот у нее и слух. Допустим, выкатываешь ты бочонок с водкой, он за шкафами стоит, а тихо его не выкатишь, потому что, во-первых, тяжеленный, а во-вторых, там еще бог весть чего навалено, тут хочешь не хочешь шум будет. Брунельда в это время, допустим, спокойно лежит на

кушетке и ловит мух, ее вообще очень мухи донимают. Ты думаешь, что ей до тебя никакого дела нет, и катишь бочонок дальше. Она все лежит. Но в тот миг, когда ты этого совсем не ждешь, когда ты уже и не шумишь почти, она вдруг как вскочит на кушетке, как начнет по ней кулаками молотить — пылища поднимается такая, что ее саму почти не видно, я ведь кушетку с самого переезда не выбивал, а как я ее выбью, если Брунельда целый день на ней лежит,— и кричит, жутко так, прямо как мужик, и может кричать часами. Петь-то ей соседи запретили, ну, а кричать кому запретишь, вот она и кричит, не может она без этого,— правда, в последнее время уже редко, мы с Деламаршем ведем себя тише воды, ниже травы. Да и вредно ей кричать. Однажды она в обморок упала, так я — Деламарша, как назло, не было — соседа-студента притащил, а он принес огромную бутыль и из этой бутыли на нее побрызгал, и помогло, только вонь была страшная, от кушетки, кстати, до сих пор этой дрянью пованивает, если обивку как следует понюхать. Студент тоже, конечно, наш враг, тут все враги, так что ты будь начеку, а лучше ни с кем вообще не связывайся.

— Послушай, Робинсон,— перебил его Карл,— это же тяжелая работа. Хорошенькое местечко ты мне подыскал, нечего сказать!

— Не волнуйся,— успокоил его Робинсон и, закрыв глаза, даже головой покачал, как бы заранее отбрасывая все тревоги Карла.— Тут ведь и выгоды, каких нигде больше не сыщешь. Во-первых, ты постоянно будешь возле такой дамы, как Брунельда, иногда даже спать будешь в одной с ней комнате, а это, сам понимаешь, сулит кое-какие удовольствия. Тебе будут хорошо платить, денег-то навалом, это я как друг Деламарша ничего не получал, только когда на улицу шел, Брунельда обязательно что-нибудь давала, но тебе-то, конечно, будут платить, как всякому другому слуге. Да ты и будешь слугой, кем же еще. А потом, самое главное, я же облегчу тебе работу. В первое время я, само собой, ничего делать не буду, потому что мне надо выздороветь, но как только малость оклемаюсь — можешь смело на меня рассчитывать. Собственно, обслуживание Брунельды вообще останется за мной, прическа там, переодевание, когда Деламарш не будет этим заниматься. Ну, а за тобой только уборка, покупка и другая тяжелая работа по дому.

— Нет, Робинсон,— сказал Карл,— меня все это не очень соблазняет.

— Не делай глупостей, Росман,— сказал Робинсон, приблизив к Карлу лицо.— Разве можно упускать такую прекрасную возможность? Да где ты вообще сейчас место найдешь? Кто тебя знает? И кого ты знаешь? Мы, двое взрослых, умудренных опытом мужчин, многое в жизни повидавших, и то неделями без работы бегали. Не так-то это просто, это трудно, даже чертовски трудно.

Карл кивнул, удивляясь тому, как разумно, оказывается, способен рассуждать Робинсон. Для него, впрочем, все эти советы не имели смысла, здесь ему оставаться нельзя, а в таком огромном городе уж где-нибудь найдется для него местечко, ведь ночь напролет, он-то знает, все кафе и рестораны забиты битком, и клиентов кто-то должен обслуживать, а у него в этом деле уже есть навык, нет, он сумеет быстро и неприметно приткнуться к какому-нибудь заведению. Вон в доме напротив внизу как раз разместился ресторанчик, откуда и сейчас гремит музыка. Главный вход прикрыт только большой желтой портьерой, которую иногда порывами сквозняка резко выдувает на улицу. Вообще же в переулке к этому часу стало гораздо тише. На большинстве балконов уже темно, лишь вдалеке кое-где мерцали одинокие огни, но и там, стоило посмотреть подольше, люди через какое-то время поднимались со своих мест, шли в комнату, и только кто-то один, оставшись на миг, тянулся к лампочке и поворачивал выключатель, бросив прощальный взгляд на улицу.

«Ну вот, уже и ночь,— подумал Карл.— Если я еще здесь пробуду, значит, я уже с ними». Он повернулся, собираясь отдернуть портьеру.

— Ты куда? — заслоняя портьеру собой, спросил Робинсон.

— Я ухожу,— сказал Карл.— Пропусти. Пропусти меня!

— Не вздумай их беспокоить! — закричал Робинсон.— Ты в своем уме?

Обхватив Карла за шею и повиснув на нем всей тяжестью, Робинсон заплел ему ноги,— и в тот же миг оба они повалились на пол. Но среди мальчишек-лифтеров Карл тоже немного научился драться, и сейчас он ткнул Робинсона кулаком в подбородок, но слабо — пожалел. Однако тот в ответ без всякой жалости саданул Карла коленом в живот, после чего тут же схватился обеими руками за подбородок и принялся выть, да так громко, что с балкона поблизости кто-то возмущенно захлопал в ладоши и мужской голос яростно крикнул: «Эй, тихо там!» Какое-то время Карл лежал тихо, стараясь перетерпеть боль после подлого удара Робинсона.

Он только голову повернул и посмотрел на портьеру, которая тяжело и неподвижно закрывала вход в комнату. Там, за портьерой, судя по всему, было темно и вроде бы никого не было. Быть может, Деламарш куда-то вышел с Брунельдой, и тогда Карл совершенно свободен. От Робинсона, который и вправду повел себя как сторожевой пес, он теперь-то уж точно отделался.

Но тут откуда-то издали, из глубины переулка послышалось ритмичное буханье барабанов и заливистое пение труб. Отдельные выкрики, стремительно приближаясь, переросли в единый всеобщий рев. Карл обернулся — на все балконы вокруг снова высыпали люди. Он с трудом поднялся и, не в силах как следует разогнуться, тяжело навалился на перила. Внизу показались какие-то парни, они шли широким шагом, почти маршировали по обоим тротуарам, вскинув над головами шляпы и все время оборачиваясь назад. На мостовой пока что было пусто. Некоторые на длинных шестах несли разноцветные бумажные фонарики, они мерно покачивались, окутанные желтоватым дымком. Наконец из темноты появились трубачи и барабанщики, они выползали широкой колонной, за рядом ряд, и Карл уже начал удивляться их количеству, как вдруг услышал за спиной голоса, обернулся и увидел Деламарша — тот стоял у двери, придерживая портьеру, а из темной комнаты на балкон выходила Брунельда, в красном платье, с кружевной накидкой на плечах и в чепце, из-под которого тут и там выглядывали пряди волос,— очевидно, не успев причесаться, она кое-как собрала их в пучок. В руке у нее был развернут маленький веер, она им не обмахивалась, просто прижимала к груди.

Карл посторонился, пропуская обоих к перилам. Ну конечно же, никто его здесь силой удерживать не станет, а если Деламарш и попытается, все равно Брунельда отпустит его по первой же просьбе. Она же терпеть его не может, так напугал ее его взгляд. Но едва он шагнул к двери, она тотчас же это заметила и спросила:

— Ты куда, малыш?

Под строгим взглядом Деламарша Карл смешался, и Брунельда притянула его к себе.

— Разве ты не хочешь посмотреть шествие? — спросила она, всем телом притискивая его к перилам.

Оказавшись к ней спиной, Карл услышал, как она спрашивает у Деламарша: «Ты не знаешь, что там происходит?» — и непроизвольно, но без успеха, сделал попытку освободиться из ее объятий. Он с тоской глянул вниз, на улицу, как будто именно там, внизу, причина всех его несчастий.

Деламарш, скрестив руки на груди, немного постоял у Брунельды за спиной, потом сбегал в комнату и принес ей театральный бинокль. Тем временем внизу вслед за музыкантами на улицу вползла главная часть шествия. На плечах у здоровенного детины важно восседал некий господин,— отсюда, с высоты, можно было разглядеть только его отсвечивающую лысину, над которой он приветственно помахивал цилиндром. Вокруг него толпа несла, очевидно, плакаты на фанерных щитах,— с балкона они казались совершенно белыми; задумано все было так, чтобы плакаты буквально облепляли господина со всех сторон, а он возвышался над ними в центре. Поскольку шествие двигалось, стена из плакатов то и дело разваливалась, но всякий раз выравнивалась и сплачивалась снова. Во всю свою ширину и во всю длину — впрочем, в темноте смутно угадывался лишь короткий ее отрезок — улица была запружена сторонниками господина, они дружно хлопали в ладоши, торжественным хором распевая его имя, краткое, но все равно неразборчивое. То тут, то там, умело рассеянные в толпе, внизу виднелись люди с автомобильными фарами в руках — их резкие, направленные лучи медленно шарили по стенам домов по обе стороны улицы. Здесь, на самом верху, они уже не ослепляли, но было хорошо видно, как люди на нижних балконах, попадая в пятно нестерпимо яркого света, поспешно прикрывают руками глаза.

По просьбе Брунельды Деламарш осведомился у жильцов с соседнего балкона, по какому случаю торжество. Карлу не терпелось услышать, что тому ответят, а главное как. И в самом деле — Деламарш переспросил трижды, но ответа не удостоился. Он уже с риском для жизни свесился через перила, а Брунельда, злясь на соседей, даже в нетерпении притопнула ногой, слегка задев Карла коленкой. Наконец снизу что-то ответили, но одновременно с балкона, битком забитого людьми, раздался дружный взрыв хохота. Разъяренный Деламарш, в свою очередь, что-то крикнул соседям, да так громко, что, если бы не сплошной гул с улицы, все вокруг наверняка умолкли бы от неожиданности. Как бы то ни было, этот окрик возымел свое действие, и смех на балконе подозрительно быстро затих.

— Завтра в нашем округе выбирают судью, и вон тот, которого несут, кандидат,— как ни в чем не бывало сообщил Деламарш, снова подходя к Брунельде.— Да-а,— протянул он, ласково похлопав Брунельду по спине,— этак мы совсем от жизни отстанем!

— Деламарш,— произнесла Брунельда, все еще не в силах забыть о поведении соседей,— с каким бы удовольствием я отсюда съехала, не будь это так утомительно. Но, к сожалению, здоровье мне не позволяет.— И, продолжая тяжело вздыхать, она в рассеянности принялась беспокойно теребить рубашку на груди у Карла, который, в свою очередь, по возможности незаметно пытался отстранить от себя эти маленькие жирные лапки, что ему, кстати, легко удалось, ибо Брунельда, погруженная в свои мысли, не обращала на него ни малейшего внимания.

Но и Карл вскоре позабыл о Брунельде и терпеливо сносил тяжесть ее рук на своих плечах, настолько увлекли его новые события на улице. Повинуясь указаниям группы мужчин, что, энергично жестикулируя, прокладывали кандидату дорогу и, вероятно, сообщали о чем-то важном, — было видно, как все, почтительно прислушиваясь, оборачиваются в их сторону,— толпа неожиданно остановилась перед рестораном. Один из этой командной группы поднял руку, подавая знак одновременно и толпе и кандидату. Толпа послушно умолкла, а кандидат, несколько раз попытавшись привстать с сиденья, водруженного на плечах у носильщика и столько же раз плюхнувшись обратно, произнес краткую речь, подкрепляя ее широкими и энергичными взмахами цилиндра. Все это было легко разглядеть, поскольку, едва он начал говорить, лучи всех автомобильных фар разом уткнулись в него, так что он оказался как бы в центре огромной светящейся звезды.

Теперь стал заметен и интерес всей улицы к происходящему. С балконов, где расположились болельщики кандидата, слышались голоса, в пении скандирующие его имя, тянулись через перила руки, торопясь примкнуть к ритмичным, в такт музыке, рукоплесканиям. С остальных балконов — таких, пожалуй, было даже побольше — в ответ раздавался мощный встречный хор, поначалу, впрочем, не столь слаженный, ибо состоял он из приверженцев разных кандидатов. Но вскоре все противники кандидата нашли способ объединить свои усилия в дружном свисте, а некоторые вдобавок запустили граммофоны. Между отдельными балконами начали назревать политические конфликты, острота которых усугублялась непривычно поздним временем и, соответственно, чрезмерным возбуждением участников. Большинство повыскакивали на балконы в ночных рубашках, в пижамах, наспех накинув халаты, женщины кутались в большие темные платки, оставленные без присмотра дети с леденящей душу решимостью карабкались на балконные решетки и во все большем числе

вышмыгивали из темных комнат, где они только что спали спокойным сном. То с одного, то с другого балкона уже летели трудноразличимые предметы, запущенные особо разгоряченными гражданами в своих политических противников, иногда они даже попадали в цель, но чаще падали вниз, в толпу, вызывая в месте падения яростный вопль негодования. Когда командной группе становилось невмоготу от шума, барабанщики и трубачи получали приказ вступать, и их громоподобный, нескончаемый глас в один миг перекрывал своей мощью разномастный людской галдеж, заполняя все пространство улицы от тротуаров до самых высоких крыш. И потом, всегда с удивительной внезапностью — даже не верилось,— обрывался, после чего толпа на улице, явно специально этому обученная, пользуясь мгновением ошеломленного безмолвия, дружным ревом затягивала свой гимн — в свете фар хорошо были видны самозабвенно разинутые рты, пока их противники, придя в себя после секундного замешательства, не отвечали со всех балконов и подоконников вдесятеро громче, принуждая неприятеля, одержавшего было кратковременную победу, к полному — так, по крайней мере, казалось отсюда, сверху,— молчанию.

— Ну что, малыш, тебе нравится? — спросила Брунельда, налегая на Карла пуще прежнего, поскольку вертелась во все стороны, стараясь все разглядеть в бинокль. Карл в ответ только кивнул. Краем глаза он успел заметить, как Робинсон что-то быстро-быстро нашептывает Деламаршу, очевидно, торопясь доложить о неблаговидном поведении Карла, но Деламарш, судя по всему, не придавал этому никакого значения: обняв Брунельду правой рукой, левой он все время пытался отпихнуть от себя назойливого Робинсона.

— Не хочешь посмотреть в бинокль? — спросила Брунельда и слегка похлопала Карла по груди, давая понять, что имеет в виду именно его.

— Мне и так видно,— ответил Карл.

— А ты попробуй,— настаивала Брунельда,— будет еще лучше.

— У меня хорошее зрение,— заверил ее Карл,— я все вижу.

Когда же она все-таки приблизила бинокль к его лицу, Карл усмотрел в этом жесте отнюдь не любезность, а скорее намеренную навязчивость, тем более что прозвучало при этом одно лишь властное словечко «Ну!», произнесенное хоть и нараспев, но с угрозой в голосе. И вот уже бинокль уткнулся Карлу прямо в глаза, и Карл действительно перестал что-либо видеть.

— Я же ничего не вижу,— сказал он, пытаясь отстраниться, но не тут-то было: бинокль был прижат плотно, голова Карла утонула в пышной груди Брунельды, как в подушках,— ни повернуть ее, ни отклонить назад он не мог.

— Но теперь-то видишь? — нетерпеливо спросила Брунельда, крутя ручку настройки.

— Нет, не вижу,— ответил Карл, успев подумать, что, сам того не желая, уже облегчил жизнь Робинсону: теперь вот Брунельда на нем, а не на Робинсоне вымещает свои несносные капризы.

— Да когда же ты наконец будешь видеть? — раздраженно спросила Брунельда, крутя ручку и обдавая все лицо Карла своим тяжелым дыханием.— А теперь?

— Да нет же, нет, не вижу! — крикнул Карл, хотя теперь-то как раз он видел, правда, еще очень расплывчато, почти все. Но тут Брунельда отвлеклась на Деламарша, слегка отодвинула бинокль от лица Карла, так что он мог теперь незаметно для нее смотреть на улицу поверх бинокля. А потом она уже не настаивала на своей прихоти и смотрела в бинокль сама.

Тем временем внизу из ресторана выскочил официант и, мечась на пороге от одного распорядителя демонстрации к другому, торопливо принимал заказы. Было видно, как он, вытянув шею, высматривает в глубине зала своих товарищей, чтобы позвать их на подмогу. Во время этих приготовлений, предшествовавших, очевидно, задуманной организаторами щедрой бесплатной выпивке, сам кандидат не умолкал ни на секунду. Его носильщик, огромный и только ему одному подчинявшийся детина, после каждых нескольких фраз слегка поворачивался на месте, как бы равномерно распределяя содержание речи среди всех столпившихся. Кандидат же, с трудом сохраняя равновесие при каждом таком повороте и скрючившись как наездник в седле, резко выбрасывал над головой то одну, свободную, руку, то другую, с цилиндром, стараясь придать своей речи максимально возможную убедительность. Но время от времени, с почти безупречной регулярностью, его будто пронзало током,— он весь вскидывался и, обнимая руками воздух, обращался уже не к какой-то группе в отдельности, а ко всем собравшимся, включая и местных жителей вплоть до самых последних этажей, хотя было совершенно ясно, что даже на нижних этажах его никто не слышит, и более того — никто не хочет слушать и с удовольствием бы не слушал, будь такая возможность,— ибо теперь в каждом окне и на каждом балконе уже нашелся по мень-

шей мере один свой громогласный оратор. Официанты между тем вынесли из ресторана огромный, величиной с бильярдный стол, поднос с наполненными до краев золотисто искрящимися кружками. Распорядители немедленно организовали раздачу, которая совершалась как бы в форме парадного марша толпы вдоль ресторанного подъезда. Но хотя пустые кружки на подносе обновлялись мгновенно, на всех этого было явно мало, поэтому официанты, образовав справа и слева от подноса две живые цепочки, сновали взад-вперед из ресторана и обратно, пытаясь таким образом обслужить всех желающих. Кандидат, разумеется, на это время прервал свою речь и, пользуясь паузой, собирался с силами. В стороне от толпы и яркого света носильщик неспешным шагом прогуливал его туда и обратно, и только несколько ближайших соратников семенили рядом, время от времени почтительно, снизу вверх, к нему обращаясь.

— Посмотри-ка на малыша,— сказала Брунельда.— Так загляделся, что просто забыл, где находится.— Неожиданно для Карла она схватила его за голову обеими руками и, с силой повернув к себе лицом, взглянула ему прямо в глаза. Правда, смотрела она недолго — Карл отбросил ее руки и, злясь на то, что его ни на секунду не оставляют в покое, испытывая желание поскорее побежать на улицу, самому вблизи посмотреть на все, что там происходит, изо всех сил рванулся из объятий Брунельды.

— Пожалуйста, отпустите меня,— попросил он.

— Ты останешься у нас,— бросил Деламарш, не отрывая взгляда от улицы, только руку вытянул, преграждая путь Карлу.

— Брось,— сказала Брунельда, отводя руку Деламарша,— он и так никуда не уйдет.

И еще крепче притиснула Карла к перилам,— теперь, захоти он освободиться, ему пришлось бы попросту бороться с ней. Но и тогда, в случае успеха, чего бы он достиг? Слева от него стоял Деламарш, справа как бы невзначай пристроился Робинсон, да он просто в плену.

— Скажи спасибо, что тебя вообще не выбрасывают,— вставил Робинсон, ухитрившись просунуть руку под локтем у Брунельды и похлопать Карла по плечу.

— Зачем же выбрасывать? — рассудительно сказал Деламарш.— Беглых воров положено не выбрасывать, а выдавать полиции. И завтра же утром я могу ему это устроить, если он не утихомирится.

С этой секунды грандиозное зрелище внизу перестало радовать Карла. Лишь поневоле — объятия Брунельды все

равно не давали ему как следует выпрямиться — смотрел он на улицу, слегка склонившись над перилами. Поглощенный своими тревогами, он рассеянным взглядом следил за тем, как люди внизу, сбиваясь в группы человек по двадцать, подходят к ресторанному подъезду, словно по команде, хватают кружки, а затем, дружно повернувшись кругом, салютуют ими кандидату, который даже не смотрел в их сторону, выкрикивают партийное приветствие, опустошают кружки и — наверняка с грохотом, хотя отсюда, с высоты, грохота не слышно — ставят кружки обратно на поднос, чтобы уступить место очередной возбужденно галдящей группе. По команде одного из распорядителей оркестр, игравший до этого в ресторане, теперь в полном составе вышел на улицу, мощные духовые инструменты золотисто поблескивали в черной толпе, но самой музыки было почти не слышно, она терялась во всеобщем шуме. Улица — по крайней мере та ее сторона, где находился ресторан,— была уже битком забита народом. С горы, откуда Карл вчера приехал на автомашине, люди стекались вниз, снизу, где был мост, они со всех ног бежали в гору, и даже те, кто сидел по домам, не устояли перед соблазном, так сказать, приложить руку к даровому угощению,— на балкочах и в окнах остались теперь почти сплошь женщины и дети, зато мужчины валом валили из ворот и подъездов. Но, видимо, музыка и выпивка уже сделали свое дело, народу скопилось достаточно, поэтому один из распорядителей, эскортируемый светом двух автомобильных фар, взмахом руки остановил оркестр и громко свистнул — тут все снова увидели носильщика, уже порядком взмыленного; с кандидатом на плечах он спешно пробирался сквозь толпу по проходу, который прокладывала для него группа помощников.

Едва добравшись до входа в ресторан и снова очутившись в кольце автомобильных фар, на сей раз, правда, наставленных на него почти в упор, кандидат немедленно начал новую речь. Но теперь все шло куда тяжелей, чем раньше, носильщику, стиснутому со всех сторон, было уже не до поворотов, а толпа все напирала. Ближайшие сторонники кандидата, стремившиеся прежде всеми возможными средствами усилить эффект его речи, теперь помышляли лишь об одном — как бы от него не отбиться; человек двадцать из них вцепились в носильщика и держались за него изо всех сил. Но даже этот богатырь не мог уже и шага ступить по своей воле, а уж о том, чтобы как-то повлиять на толпу, подчинить ее каким-то своим маневрам — двинуться вперед, уклониться, отступить,— нечего было и думать. Толпа бурлила водоворотами,

люди наваливались друг на друга, всех куда-то несло, армия противников кандидата, похоже, за счет новоприбывших сильно увеличилась, носильщик какое-то время еще стойко держался подле ресторана, но потом, судя по всему, прекратил сопротивление и вверил себя людскому потоку, который бросал его, как щепку, из стороны в сторону, кандидат у него на плечах по-прежнему говорил без умолку, но было не вполне ясно, излагает ли он свою предвыборную программу или просто зовет на помощь; к тому же, насколько можно было понять, у него обнаружился соперник, и даже не один, ибо то тут, то там в беспорядочных вспышках света над толпой вдруг появлялась фигура то одного, то другого оратора,— бледный, со вскинутым кулаком, он произносил свою речь, сопровождаемую бурными возгласами одобрения.

— Что там происходит? — воскликнул Карл и в полном смятении оглянулся на своих тюремщиков.

— Смотри-ка, как малыш разволновался,— сказала Брунельда Деламаршу и взяла Карла за подбородок, намереваясь снова прижать его голову к своей груди. Но Карлу это решительно не понравилось, и он, видимо, тоже одичав от уличной сумятицы, дернулся с таким остервенением, что Брунельда не только отпустила, но даже оттолкнула его от себя, неожиданно возвращая ему свободу.— Ну, хватит, насмотрелся уже,— сказала она, явно рассерженная строптивостью Карла.— А теперь отправляйся в комнату, постели постель и приготовь все на ночь.

И она властно указала рукой в направлении комнаты. То есть в ту сторону, куда Карл уже который час тщетно рвался — теперь он, естественно, ни словом не возразил. Но тут с улицы донесся звон разбитого стекла, потом еще и еще. Карл не удержался и подскочил к перилам, чтобы напоследок еще разок глянуть вниз. Очередная и, по всей видимости, решающая атака противников кандидата увенчалась успехом, автомобильные фары в руках его приверженцев, чей сильный свет позволял, по крайней мере, основным событиям протекать на глазах общественности и как-то сдерживать их в известных границах, были все и, очевидно, разом разбиты, кандидат и его носильщик мгновенно потерялись в слабом уличном освещении, скудость которого по внезапности контраста смахивала скорее на кромешный мрак. Теперь при всем желании даже приблизительно невозможно было догадаться, где находится кандидат, а обманчивое впечатление полной тьмы только усилилось, когда откуда-то снизу, со стороны моста, вдруг грянуло и, грозно приближаясь, разнеслось по улице мощное многоголосое пение.

— Тебе, по-моему, сказано, чем заняться,— напомнила Брунельда.— Поторопись, я устала,— добавила она и, раскинув руки, потянулась, выпятив свой и без того необъятный бюст. Деламарш, все еще обнимая ее за плечи, увлек ее в угол балкона. Робинсон поспешил за ними, чтобы успеть убрать остатки еды, которые все еще лежали там на полу.

Столь благоприятную возможность Карлу нельзя было упустить, сейчас не время глазеть на улицу, он еще успеет наглядеться — и не издали, сверху, а там, вблизи. В два прыжка проскочив красноватый полумрак комнаты, Карл очутился у двери, но дверь оказалась заперта, и ключа в замке не было. Надо сейчас же его найти, но где же его найдешь в этом бедламе, особенно в спешке, в считанные драгоценные минуты, что у Карла в распоряжении. Подумать только, он бы уже мог быть на лестнице, и уже бежал бы, бежал без оглядки! А он все ищет этот проклятый ключ! Шарит по всем ящикам, роется на столе, где все свалено в кучу — всевозможная посуда, салфетки, какое-то незаконченное вязанье,— тут его взгляд упал на кресло со сваленным на него ворохом старого тряпья, среди которого, возможно, и спрятан ключ, только попробуй его найти в этой груде, потом он кинулся к кушетке, от которой и вправду воняло какой-то дрянью, намереваясь перерыть ее всю в надежде нащупать ключ в складках покрывала или под подушкой. Наконец он бросил поиски и, не зная, как быть, остановился посреди комнаты. Ну конечно, ключ висит у Брунельды на поясе, догадался он, у нее там бог весть что понавешено, так что искать бесполезно.

В отчаянии он схватил два ножа и просунул их лезвиями между дверных створок, один сверху, другой снизу, чтобы распоры получились в двух местах. Едва он нажал на рукоятки, ножи, разумеется, тут же обломились. Карлу только того и надо было, он еще глубже вогнал рукоятки в образовавшуюся щель — лучше будут держаться. И, для упора расставив ноги пошире, обеими руками что есть сил навалился на рукоятки, постанывая от натуги, но при этом внимательно следя за дверью. Долго она не выдержит, Карл с радостью это понял по тихому скрежету защелки в замке, но чем медленнее она подавалась, тем лучше, выламывать замок было никак нельзя, треск наверняка услышат с балкона, нет, его надо именно разжать, раздвинуть, и как можно аккуратней, что Карл и стремился сейчас проделать, все ниже склоняясь над замком.

— Ты посмотри,— услышал он вдруг голос Деламарша. Все трое стояли в комнате, портьера была уже задернута,— видимо, Карл не услышал, как они вошли, теперь же от неожиданности выпустил рукоятки ножей. Но что-либо объяснить или хоть слово сказать в свое оправдание он не успел: в приступе дикой ярости, чрезмерной для столь ничтожного предлога, Деламарш бросился на него — полы распахнутого халата взметнулись в воздухе, как крылья. Карл, однако, в последнюю секунду сумел увернуться, он мог бы, кстати, и ножи выхватить из дверной щели, чтобы обороняться с оружием в руках, но не стал, а вместо этого, поднырнув под Деламарша и внезапно выпрямившись, ухватил того за ворот халата и что есть силы дернул вверх, а потом еще и еще, пока — благо халат был Деламаршу очень велик — весьма ловко не натянул его Деламаршу на голову; первое время Деламарш, ошалев от неожиданности, беспомощно молотил кулаками воздух и только немного погодя, но зато уже со всей мощью, обрушил свои удары на спину Карла, который, стараясь защитить лицо, прятал теперь голову на груди противника. Терпеливо, хотя и содрогаясь от боли, Карл сносил эти удары, с каждым разом все более чувствительные, но он знал, что все стерпит, ибо уже предчувствовал победу. Еще крепче ухватив голову Деламарша, большими пальцами уже нащупывая под халатом его глаза, он тащил его за собой через весь этот беспорядочный лабиринт мебели и еще пытался по пути мысками ботинок зацепить шнур халата и обвить этим шнуром ноги Деламарша, чтобы повалить своего врага на пол.

Но поскольку он всецело сосредоточился только на Деламарше, тем более что сопротивление того возрастало и он чувствовал, как все яростней упирается упругое тело противника, он начисто забыл, что дерется с Деламаршем не один на один. Однако скоро, слишком скоро ему пришлось об этом вспомнить, ибо внезапно ноги перестали его слушаться — это Робинсон, подкравшись сзади, с гиканьем бросился на пол и схватил его за лодыжки. Карл со вздохом отпустил Деламарша, который и после этого по инерции все еще пятился. Необъятная фигура Брунельды возвышалась посреди комнаты: широко расставив ноги и слегка присев от возбуждения, она жадно следила за развитием событий. Словно сама участвуя в драке, она пыхтела как паровоз, грозно вращала глазами и, сжав кулаки, наносила незримому противнику короткие, неуклюжие удары. Деламарш сдернул с головы халат, ну и теперь, когда он снова все видел, поединок как таковой кончился — началось наказание. Схватив Карла за грудки, Дела-

марш шутя оторвал его от пола и, даже не удостоив взглядом, с такой силой отшвырнул от себя, что Карл, отлетев на несколько шагов и со всего маху врезавшись в шкаф, в первый миг оглушительной боли, молнией пронзившей затылок и позвоночник, даже не понял, что это от удара о шкаф и решил, что Деламарш каким-то образом ухитрился напасть на него сзади.

— Ах ты, мразь,— услышал он сквозь черноту, зыбкой пеленой подступающую к глазам, гневный крик Деламарша.

Теряя силы, он стал медленно оседать на пол, и следующие слова Деламарша: «Ну, подожди у меня!» — донеслись до него уже только слабым отголоском.

Очнулся он в полной темноте, видимо, была еще глубокая ночь, и только из-за портьеры в комнату проникал робкий отсвет лунного сияния. Где-то рядом слышалось ровное дыхание спящих, по самому громкому он сразу узнал Брунельду — когда разговаривала, она пыхтела точно так же; однако точнее установить, кто и где спит, было совсем непросто — казалось, мерное сопение заполнило собой всю комнату. Лишь теперь, оглядевшись и мало-помалу придя в себя, Карл вспомнил, где находится, и тут не на шутку испугался, ибо, хотя все тело у него ныло и от боли страшно было шелохнуться, он только сейчас сообразил, что, возможно, серьезно ранен и истекает кровью. И действительно, в голове он чувствовал непривычную тяжесть, а все лицо, шея и грудь под рубашкой были мокрые,— неужто от крови? Надо поскорее на свет, как следует разглядеть, что с ним, может, его вообще изувечили, тогда-то уж Деламарш наверняка его отпустит, только калекой кому он нужен, тогда он и вправду пропал. Ему вспомнился парень с провалившимся носом, и на секунду он даже закрыл руками глаза.

Потом он непроизвольно вспомнил о двери и, ползком, на четвереньках, ощупью двинулся в ту сторону. Вскоре пальцы его наткнулись на сапог, а в сапоге нащупали чью-то ногу. Это, конечно, Робинсон, кто же еще додумается спать в сапогах? Значит, ему приказали лечь в прихожей перед дверью, чтобы не дать Карлу улизнуть. Но разве они не знают, в каком он состоянии? Он пока что и не помышляет о бегстве, ему бы на свет выбраться. Что ж, раз в дверь нельзя, надо ползти на балкон.

Обеденный стол оказался совсем не там, где стоял вечером, а тахта, к которой Карл, разумеется, приближался с особой осторожностью, вообще была пуста, зато посредине комнаты, на самом ходу, он наткнулся на какую-то странную, но очень плотно сложенную груду из одежды, покрывал, за-

навесок, подушек и ковров. Сперва он решил, что это просто небольшая куча разного тряпья наподобие той, что он вчера переворошил в кресле, когда искал ключ,— наверно, ее второпях сбросили на пол,— но, ползя дальше, он с изумлением обнаружил, что это целая свалка вещей, зачем-то специально извлеченных на ночь из шкафов, где они хранились днем. Ползком огибая груду, он вскоре догадался, что это грандиозное спальное ложе, на котором, как он убедился путем осторожного ощупывания, почивают Деламарш и Брунельда.

Теперь он знал наконец, кто где спит, и поспешил на балкон. Здесь, за портьерой, был совсем другой мир, очутившись в котором, Карл с облегчением встал на ноги. Наслаждаясь свежестью ночной прохлады и ярким светом луны, он несколько раз прошелся по балкону туда и обратно. Потом глянул вниз, на улицу: там было совсем тихо, правда, из ресторана еще доносилась музыка, но приглушенно, да дворник у подъезда подметал тротуар,— с трудом верилось, что там, где совсем недавно в несусветном тысячеголосом гаме беспомощно тонули вопли кандидата, теперь только мягкое шарканье метлы по мостовой нарушает сонную тишину.

Скрип отодвинутого стола на соседнем балконе привлек внимание Карла — там, оказывается, кто-то сидел и занимался. Это был молодой человек с острой бородкой, которую он, склонившись над книгой и сосредоточенно шевеля губами, то и дело пощипывал. Он сидел лицом к Карлу за маленьким, заваленным книгами столиком, лампу со стены он снял и приспособил тут же, зажав патрон между двумя толстенными книгами, яркий свет этой лампы освещал его с ног до головы.

— Добрый вечер,— сказал Карл, так как ему показалось, что молодой человек на него смотрит.

Но, по-видимому, он ошибся — молодой человек, похоже, даже не видел его; прикрыв ладонью глаза от слепящего света, он теперь тщетно пытался разглядеть, кто это с ним здоровается, а потом, поскольку разглядеть все равно не удалось, слегка приподнял лампу, чтобы осветить соседний балкон.

— Добрый вечер,— ответил он наконец, какое-то время пристально вглядываясь в Карла, а потом добавил: — Ну, и дальше что?

— Я вам мешаю? — спросил Карл.

— Да уж конечно,— ответил тот, определяя лампу на прежнее место.

После этих слов все пути к знакомству были отрезаны, однако Карл все равно не уходил из балконного угла, откуда до молодого человека было ближе всего. Он молча наблюдал, как тот читает свою книгу, переворачивает страницы, время от времени — неизменно с молниеносной быстротой — хватает другую книгу, чтобы что-то в ней посмотреть, и то и дело что-то записывает в толстую тетрадь, почему-то низко-низко склоняя над ней лицо.

Может, это и есть тот самый студент? Похоже на то, ведь он явно что-то учит. Почти совсем как когда-то Карл,— как же давно все это было! — сидя дома за родительским столом, писал свои домашние задания; отец в это время либо газету читал, либо делал записи в конторской книге и отвечал на корреспонденцию фирмы, а мама шила, высоко выдергивая из ткани иголку на длинной нитке. Чтобы не мешать отцу, Карл клал перед собой на столе только тетрадь и ручку, а учебники и задачники по порядку раскладывал в креслах. Как же тихо было дома! Как редко заходили к ним в комнату чужие люди! Еще совсем маленьким Карл очень любил смотреть, как мама вечером запирает дверь их комнаты щелкающим поворотом ключа. Ей и невдомек, до чего докатился ее сыночек: взламывает чужие двери ножами!

Да и много ли проку было от его ученья? Ведь он же все позабыл, и, случись вдруг снова пойти здесь, в Америке, в школу, ох и трудно бы ему пришлось. Он же помнит, как однажды, еще дома, целый месяц проболел и каких трудов и мучений стоило ему тогда наверстать упущенное. А теперь тем более: ведь, кроме английского учебника коммерческой корреспонденции, он давным-давно ни одной книги в руки не брал.

— Эй, молодой человек! — услышал вдруг Карл обращенные к нему слова.— Вы не могли бы встать где-нибудь в другом месте? Сколько можно глазеть, вы же ужасно мешаете. В два часа ночи на собственном балконе — и то спокойно поработать не дадут. Или вам что-нибудь от меня надо?

— Вы занимаетесь? — спросил Карл.

— Да, да! — ответил молодой человек, используя эти, все равно уже потерянные для работы мгновенья, чтобы навести какой-то новый порядок в своих книгах.

— Тогда не буду вам мешать,— сказал Карл,— я вообще уже ухожу. Спокойной ночи.

Молодой человек даже не ответил: в приступе внезапной решимости, благо помеха теперь была устранена, он с новыми силами уткнулся в свои книги, подперев лоб правой рукой.

Только тут, уже вплотную подойдя к портьере, Карл вспомнил, зачем он, собственно, сюда вышел: он же хотел посмотреть, что с ним. Почему у него такая тяжесть в голове? Он потрогал голову и, к немалому своему изумлению, обнаружил на ней не кровавую ссадину, а тугую и все еще влажную повязку наподобие тюрбана. Судя по свисавшим остаткам кружева, это было старое Брунельдино белье, очевидно, наспех разорванное на бинты, которыми кто-то, скорее всего Робинсон, и обмотал Карлу голову. Только потом забыл снять, и, пока Карл лежал в беспамятстве, вода стекала по лицу и под рубашку Карла, отчего он потом и напугался.

— Вы все еще тут? — спросил молодой человек, подслеповато щурясь на Карла.

— Теперь я и правда ухожу,— успокоил его Карл.— Просто хотел рассмотреть кое-что, а в комнате темно.

— А кто вы такой, собственно? — спросил молодой человек, положив ручку на раскрытую книгу и подходя к перилам.— Как вас зовут? Что вы делаете у этих людей? Вы давно здесь? И что это вам понадобилось рассматривать? Да включите наконец лампу, вас же не видно.

Карл включил, но, прежде чем ответить, поплотнее задернул портьеру, чтобы свет не заметили из комнаты.

— Извините,— сказал он полушепотом,— что я так тихо говорю. Но если они услышат, мне опять устроят взбучку.

— Опять? — переспросил молодой человек.

— Ну да,— с готовностью пояснил Карл.— Я и так сегодня вечером с ними поссорился. Шишка у меня, наверно, здоровущая.— И он осторожно пощупал свой затылок.

— Из-за чего же вы поссорились? — спросил молодой человек и, поскольку Карл замялся с ответом, поспешно добавил: — Можете спокойно выкладывать все, что имеете против этих господ. Я-то их всех троих ненавижу, в особенности мадам. Не удивлюсь, впрочем, если они уже наговорили вам обо мне кучу гадостей. Меня зовут Йозеф Мендель, я студент.

— Да,— сказал Карл,— мне про вас рассказывали, но ничего плохого. Ведь это вы помогли госпоже Брунельде, правильно?

— Точно,— подтвердил студент и засмеялся.— Что, от тахты все еще воняет?

— Еще как!

— Весьма рад,— с удовлетворением произнес студент, проводя рукой по волосам.— А за что вам набивают шишки?

— Поссорились,— задумчиво сказал Карл, не зная, как бы получше все объяснить студенту. Но потом передумал и спросил: — А я вам не мешаю?

— Во-первых,— сказал студент,— вы мне уже помешали, а у меня так плохо с нервами, что, если меня прервут, мне потом долго нужно сосредотачиваться. С тех пор как вы устроили себе моцион на балконе, я ни на йоту не продвинулся. А во-вторых, в три я всегда делаю перерыв. Так что рассказывайте спокойно. К тому же мне это интересно.

— Да все очень просто,— начал Карл,— Деламарш хочет, чтобы я стал у него слугой. А я не хочу. Будь моя воля, я бы еще вечером ушел. Но он меня не пускал, дверь запер, я хотел ее взломать, потом дошло до драки. Мне не повезло, и вот я пока что здесь.

—А у вас есть другое место? — поинтересовался студент.

— Нет,— ответил Карл,— но мне это не важно, мне лишь бы вырваться отсюда.

— Послушайте-ка,— спросил студент,— для вас, значит, это не важно? — Оба немного помолчали.— А почему вы так не хотите у них остаться?

— Деламарш очень скверный человек,— объяснил Карл.— Я давно его знаю. Однажды я с ним целый день прошел пешком и был до смерти рад, когда от него избавился. А теперь мне у него слугой быть? Нет уж.

— Если бы все слуги, выбирая себе хозяев, были столь же щепетильны,— сказал студент и, похоже, усмехнулся.— Взять хотя бы меня: днем я работаю продавцом, причем младшим продавцом, скорее даже мальчиком на побегушках в универмаге Монтли. Этот Монтли, мой хозяин, несомненно, подлец из подлецов, но меня это совершенно не волнует, в ярость меня приводит только мое убогое жалованье. Вот и берите пример с меня.

— Как? — изумился Карл.— Днем вы, значит, продавец, а ночью учитесь?

— Ну да,— ответил студент.— Иначе не выходит. Я уже все перепробовал, и поверьте, такой способ существования еще самый благополучный. Когда-то я был просто студентом, так сказать, и днем, и ночью, так я едва не умер от голода, спал чуть ли не в собачьей будке, а одевался так, что стыдно было ходить на лекции. Но с этим покончено.

— Но когда же вы спите? — спросил Карл, удивляясь все больше.

— Когда сплю? — переспросил тот.— Вот доучусь, тогда и высплюсь. А пока что пью черный кофе.— И с этими словами он нагнулся, вытащил из-под стола большую бутыль, налил себе чашечку кофе и залпом выпил, как горькое лекарство, которое торопятся проглотить, чтобы не успеть почувство-

вать его вкус.— Отличная штука — черный кофе,— проговорил студент.— Жалко, что вы так далеко, а то я бы и вас угостил.

— Я не люблю черный кофе,— сказал Карл.

— Так я тоже не люблю,— студент засмеялся.— Но что прикажете делать? Если бы не кофе, Монтли бы и часа меня не продержал. Да что там, это я только так говорю — Монтли, хотя сам Монтли, конечно, даже не подозревает о моем существовании. Не знаю, право, как бы я смог работать, если бы не держал под прилавком такую же вот бутыль, она у меня всегда под рукой, я еще ни разу не пробовал обойтись без кофе, а если б попробовал, можете не сомневаться, так прямо за прилавком бы и заснул. К сожалению, на работе об этом пронюхали, они меня там так и прозвали — «черный кофе», идиотская кличка, из-за нее-то я наверняка и не могу продвинуться по службе.

— И когда же вы закончите университет? — спросил Карл.

— Это долгое дело,— ответил студент, опустив голову. Он отошел от перил и снова сел за стол, оперев локти на раскрытую книгу, зарылся руками в волосы и потом добавил:— Еще год, а то и два.

— Я тоже хотел учиться,— сказал Карл, словно это желание давало ему право на еще большее доверие, чем то, которое уже проявил к нему студент, снова сосредоточенно умолкший.

— Вот как,— откликнулся тот, и было неясно, то ли он уже углубился в чтение, то ли смотрит в книгу просто так.— Так скажите спасибо, что не учитесь. Я и сам-то последние годы учусь скорее по привычке — просто бросать неохота. Радости от этого мало, а видов на будущее и того меньше. Да какие там виды! В Америке полно шарлатанов с липовыми дипломами.

— А я хотел стать инженером,— торопливо сказал Карл, видя, что студент снова теряет к нему всякий интерес.

— А вместо этого приходится стать слугой, да еще у этих,— студент мельком взглянул на Карла.— Обидно, конечно.

Столь безусловный вывод относительно будущего Карла был, конечно, недоразумением, но, как знать, может, ему это даже на руку. И он спросил:

— А нельзя ли и мне получить место в универмаге?

Вопрос этот настолько озадачил студента, что на миг тот даже позабыл о своих книгах; видимо, мысль о том, чтобы помочь Карлу устроиться на работу, ему даже в голову не приходила.

— Попробуйте,— вяло сказал он,— хотя лучше и не пытайтесь. Место у Монтли — это пока что самый большой успех в моей жизни. И если бы вопрос встал ребром — либо работа, либо университет, я бы, уж конечно, выбрал работу. Другое дело, что саму возможность такого выбора я изо всех сил стараюсь предотвратить.

— Значит, так сложно получить там место,— то ли подумал вслух, то ли спросил Карл.

— А вы как думали? — воскликнул студент.— Да легче стать здесь окружным судьей, чем швейцаром у Монтли!

Карл молчал. Этот студент, а он куда опытней Карла и к тому же по каким-то неизвестным причинам ненавидит Деламарша, а Карлу, напротив, вовсе не желает зла,— и однако же, услышав о желании Карла уйти от Деламарша, он не нашел для него ни слова ободрения. А ведь он и представить себе не может, чем грозит Карлу встреча с полицией, от которой его только один Деламарш и способен хоть как-то защитить.

— Вы ведь видели вчерашнюю демонстрацию? Видели? Так вот, несведущий человек может подумать, что этот кандидат — фамилия его Ломтер — вправе рассчитывать на успех или, по крайней мере, имеет хоть какие-то шансы, верно?

— Я не разбираюсь в политике,— признался Карл.

— И напрасно,— укорил его студент.— Но все равно, глаза и уши-то у вас есть. И вы не могли не заметить, что у этого человека есть и друзья, но есть и враги. Так вот, представьте себе, у него, по моему прогнозу, нет ни малейших шансов на избрание. По чистой случайности мне все про него известно, живет тут у нас один, он хорошо его знает. Человек он не без способностей, и по своим политическим взглядам, да и по политической биографии именно он больше всего подошел бы для нашего округа на место судьи. Вы думаете, кто-нибудь полагает всерьез, что его выберут? Да ни одна душа! Он провалится, причем с таким треском, что дальше некуда, только зря потратится на предвыборную кампанию, считай что выбросит деньги на ветер, вот и все.

Некоторое время Карл и студент молча смотрели друг на друга. Потом студент с улыбкой кивнул и пальцами провел по усталым глазам.

— Ну как, вам еще спать не пора? — спросил он.— А то мне ведь тоже пора заниматься. Видите, сколько еще проработать надо.— С этими словами он быстро пролистнул полкниги, чтобы Карл мог воочию убедиться, какая большая работа ему предстоит.

— Тогда спокойной ночи,— сказал Карл и вежливо поклонился.

— Заходите как-нибудь к нам,— пригласил студент, поплотнее устраиваясь за столом,— если захочется, конечно. У нас тут всегда большое общество. С девяти до десяти вечера у меня и для вас найдется время.

— Значит, вы советуете мне остаться у Деламарша? — спросил Карл напоследок.

— Безусловно,— ответил студент, снова склоняя голову над книгой. И Карлу почудилось, что это вовсе не студент ему ответил, а чей-то другой, мощный и басовитый голос, эхо которого, казалось, все еще звучит у него в ушах. Медленно подошел он к портьере, оглянулся еще раз на студента, который сидел теперь совершенно неподвижно, один посреди бескрайней тьмы, выхваченный ярким кругом света,— и проскользнул в комнату. Со всех сторон его сразу обдало мерное, напористое посапывание. Двигаясь по стенке, он стал искать тахту и, найдя, спокойно растянулся на ней, словно это давнее и привычное его ложе. Раз уж студент, который хорошо знает и Деламарша и здешние порядки, и вообще человек образованный, посоветовал ему остаться, значит, пока и думать не о чем. Таких непомерных целей, как студент, он перед собой не ставит, еще неизвестно, удалось ли бы ему дома закончить школу, а если уж даже дома это казалось делом почти невозможным, то тем более никто не вправе требовать этого от Карла здесь, в чужой стране. Зато надежда найти работу, на которой он смог бы проявить себя и, соответственно, чего-то добиться в жизни,— такая надежда будет верной, если он пока что займет место слуги у Деламарша и уж отсюда, из безопасного укрытия, станет поджидать благоприятную возможность. А на этой улице, судя по всему, полным-полно контор — и средней руки, и совсем третьеразрядных, и уж наверное их хозяева в случае надобности не слишком придирчиво набирают служащих. А он, если надо, с удовольствием пойдет в такую контору даже рассыльным, но ведь, в конце концов, не исключено, что ему предложат и чисто канцелярскую работу, так что со временем, быть может, и он когда-нибудь будет сидеть за своим письменным столом и изредка — но недолго — беззаботно поглядывать в окно, как тот чиновник, которого он сегодня видел, когда они с Деламаршем шли дворами. Он уже закрыл глаза, когда в голову пришла новая успокоительная мысль: он еще очень молод, а Деламарш рано или поздно все-таки должен вернуть ему свободу — ведь и вправду не похоже, что они с Брунельдой обоснова-

лись тут на веки вечные. Ну, а уж если он получит место в бюро, он ничем другим, кроме своей канцелярской работы, заниматься не будет и, в отличие от студента, не станет распылять свои силы. Если понадобится, он и ночами будет работать — пожалуй, при скудных азах его коммерческого образования вначале это даже неизбежно от него потребуется. Он будет думать только об интересах дела, которому служит, и не погнушается никакими обязанностями — даже такими, которыми другие чиновники будут пренебрегать, считая их ниже своего достоинства. Благие намерения сонмом роились у него в голове, словно его будущий начальник уже стоит над тахтой и пристально вглядывается в лицо Карла.

С этими мыслями Карл заснул, но уже в полусне его вспугнул могучий вздох Брунельды,— вероятно, ей привиделся скверный сон, и она тяжело заворочалась на своем ложе.

Глава восьмая

— Вставай-вставай! — услышал Карл голос Робинсона, едва он на следующее утро открыл глаза. Балконная портьера была задернута, но по пробившимся в щели ровным, сильным лучам теплого солнца чувствовалось, что близится полдень. Робинсон с озабоченным лицом метался по комнате взад-вперед, неся в руках то полотенце, то ведро с водой, то различные предметы белья и одежды, и всякий раз, пробегая мимо Карла, кивками головы призывал того вставать поскорее и, приподняв над собой очередную вещь, как бы показывал Карлу: вот, мол, последний раз за тебя отдуваюсь, но уж так и быть, поскольку ты сегодня первый день и все равно не знаешь всех тонкостей службы.

Вскоре, однако, Карл увидел и тех, кого Робинсон обслуживает. В углу, отгороженном от остальной комнаты двумя шкафами,— Карл вчера этого закутка не заметил,— происходила ответственная процедура: там мыли Брунельду. Над шкафом возвышалась ее голова, голая шея — волосы облепили ей лицо — и бычий загривок; вокруг нее то и дело мелькала рука Деламарша с брызжущей во все стороны мыльной губкой. Слышались отрывистые команды, отдаваемые Деламаршем Робинсону, который выполнял их, доставляя требуемые вещи не через проход в закуток — проход этот был сейчас заставлен ширмой,— а воровато просовывал в узкую щель между ширмой и шкафом, причем всякий раз, боязливо протягивая руку, он отворачивал лицо в противоположную сторону.

— Полотенце! Полотенце! — орал Деламарш. И не успевал Робинсон, который как раз в это время лихорадочно нашаривал что-то под столом, вздрогнуть от этого нового приказа и вынырнуть из-под стола, как уже звучал следующий: — Да где же вода, черт возьми! — И разъяренное лицо Деламарша грозно взмывало над шкафом.

Все, что, по мнению Карла, может понадобиться нормальному человеку для мытья и одевания только один раз, здесь требовалось и доставлялось многократно и в самой немыслимой последовательности. На электрической плитке постоянно подогревалось ведро с водой, и то и дело Робинсон, согнувшись и раскорячив ноги, таскал это тяжеленное ведро к банному закутку. При таком объеме работы было не удивительно, что он не всегда точно придерживается указаний, а однажды, когда в очередной раз потребовалось полотенце, просто схватил рубашку с большого спального ложа в центре комнаты и, скомкав ее узлом, перебросил за шкаф.

Но и Деламаршу приходилось не легче, и, возможно, он только потому и злился на Робинсона — в своем раздражении Карла он просто не замечал,— что сам не мог угодить Брунельде.

— Ах! — вопила она, и даже непричастный к мытью Карл вздрагивал от испуга.— Ты мне делаешь больно! Убирайся! Лучше уж самой мыться, чем так мучиться! Опять вся рука онемела — чуть не оторвал. Кто же так трет — этак и изувечить недолго. У меня, наверное, вся спина в синяках. Ты-то, конечно, мне не скажешь. Вот погоди, я попрошу Робинсона посмотреть или нашего малыша. Нет-нет, я этого не сделаю, но будь же немного поласковей. Осторожнее надо, Деламарш, осторожнее, но тебе хоть каждое утро об этом тверди — все без толку. Робинсон! — позвала она вдруг, призывно помахивая над головой кружевными трусиками.— Робинсон! Иди сюда, помоги мне, взгляни, как я страдаю! И эту пытку он еще называет мытьем, этот Деламарш. Робинсон, где же ты? Или у тебя тоже нет сердца?

Карл молча подал Робинсону знак, пальцем указав в сторону Брунельды, но тот только прикрыл глаза и умудренно покачал головой: мол, мне лучше знать.

— Ты что, спятил? — шепнул он, наклоняясь к уху Карла.— Это она только так, в шутку. Один раз я сдуру сходил, с меня хватит. Они в меня как вцепятся — и с головой в ванну, я чуть не утонул. А потом Брунельда целыми днями меня изводила, бесстыдником обзывала, да еще и приставала: «Что-то давненько ты со мной не мылся», или: «Когда же ты

снова придешь посмотреть, как я моюсь?» И только после того, как я несколько раз на коленях просил у нее прощения, перестала. Нет, этого я никогда не забуду.

Пока он все это рассказывал, Брунельда то и дело его звала:

— Робинсон! Робинсон! Да где же этот негодник Робинсон!

И хотя никто на помощь к ней не шел и даже на зов не откликался — Робинсон уселся рядом с Карлом, и они оба молча поглядывали на шкафы, над которыми попеременно высовывались головы Брунельды и Деламарша,— несмотря на это, громкие сетования Брунельды на неуклюжесть Деламарша не прекращались.

— Ну же, Деламарш,— негодовала она.— Теперь я совсем ничего не чувствую! Разве так трут! Где у тебя губка? Так пошевеливайся! Если б я могла нагнуться, если б я сама двигалась! Уж я бы тебе показала, как надо мыть. Где мои девичьи годы, где поместье моих родителей, когда я каждое утро купалась в Колорадо, а уж как плавала — никто из подружек не мог за мной угнаться. А теперь! Когда же ты научишься меня мыть, Деламарш! Ты только губкой туда-сюда водишь и вроде стараешься, а я ничего не чувствую. Если я просила не тереть меня до крови, это еще не значит, что я намерена торчать тут на сквозняке и простудиться. Прямо хоть прыгай из ванны и беги в чем мать родила.

Но до исполнения этой угрозы — хотя Брунельда так и так не в состоянии была ее исполнить — дело не дошло: по-видимому, Деламарш, не на шутку перепуганный упоминанием о простуде, силой запихнул ее в ванну, о чем свидетельствовал мощный бухающий всплеск.

— Это ты умеешь, Деламарш,— послышалось немного погодя, но уже тише.— Подлизываться, только подлизываться, вместо того чтобы хоть что-то сделать как надо.

Потом наступила тишина.

— Теперь они целуются,— сообщил Робинсон, многозначительно вскинув брови.

— Так, какая дальше работа? — спросил Карл. Раз уж он решил здесь остаться, надо немедля приступать к своей новой службе. И, махнув рукой на Робинсона, который, ничего ему не ответив, продолжал сидеть на тахте, Карл принялся разбирать огромное, плотно утрамбованное за ночь телами спящих ложе, намереваясь каждую вещь, извлеченную из этой груды, сложить аккуратно и как следует, что не делалось, по-видимому, уже давным-давно.

— Взгляни-ка, Деламарш,— услышал он вдруг голос Брунельды,— по-моему, они разбрасывают нашу постель. Нет, обо всем надо помнить, ни минуты покоя в доме! Надо тебе быть с ними построже, иначе они совсем отобьются от рук.

— Это, конечно, малыш выслуживается, черт бы его побрал! — воскликнул Деламарш, собираясь, очевидно, выскочить из закутка,— Карл от испуга все выронил из рук,— но к счастью, его удержала Брунельда.

— Не уходи, Деламарш,— произнесла она томным голосом,— не уходи. Ах, какая вода горячая, я так устала. Останься со мной, Деламарш, прошу тебя.

Почему-то только сейчас Карл заметил поднимающийся над шкафами легкий, клубистый парок.

Робинсон, приложив руку к щеке, смотрел на Карла так, будто тот и вправду совершил нечто ужасное.

— Все оставить как есть! — гремел грозный голос Деламарша.— Вы что, забыли, что Брунельда после ванны еще час отдыхает? Ублюдки несчастные! Ну, подождите, я еще до вас доберусь. Робинсон, ты опять там заснул? Учти, ты, ты один мне за все ответишь! Присматривай за мальчишкой, пусть не вздумает наводить здесь свои порядки! Как что надо, их не дождешься, а как делать нечего — у них, видите ли, зуд работать! Убирайтесь куда-нибудь и замрите, пока вас не позовут.

Но в тот же миг все было забыто, ибо Брунельда еле слышно, словно совсем обессилев в горячей воде, прошептала:

— Духи! Принесите мне духи!

— Духи! — вскричал Деламарш.— Пошевеливайтесь!

Хорошо, но только где они? Карл посмотрел на Робинсона, тот — на Карла. Придется ему все брать в свои руки, подумал Карл,— Робинсон понятия не имел, где духи, а потому поспешно улегся на пол и принялся обеими руками шарить под тахтой, но извлек оттуда лишь клубок пыли да спутанных женских волос. Карл первым делом поспешил к умывальному столику, что стоял в прихожей у двери, но там, в ящике обнаружил только несколько старых английских романов, какие-то журналы и ноты, причем все это в таком беспорядке, что, выдвинув ящик, тщетно было бы пытаться задвинуть его обратно.

— Духи! — тем временем причитала Брунельда.— Сколько же можно! Дождусь я сегодня своих духов или нет?!

Ее нетерпение подгоняло Карла, мешая как следует сосредоточиться: пришлось ограничивать поиски поверхностным и торопливым осмотром. В шкафчике над умывальником

флакона не было, на шкафчике вообще стояли только старые пузырьки с лекарствами и какими-то мазями, все остальное, очевидно, уже было отнесено Брунельде в закуток. Может, флакон в ящике обеденного стола? Но, направляясь к столу, Карл — ни о чем, кроме духов, он уже думать не мог — со всего маху налетел на Робинсона, который прекратил наконец поиски под тахтой и, вдруг сообразив, где еще можно поискать духи, в порыве внезапного озарения мчался наперерез Карлу. Послышался глухой удар двух лбов, Карл, оглушенный, молча остановился, а Робинсон, хоть и взвыл, но побежал дальше, продолжая истошно подвывать, чтобы смягчить боль и всех оповестить о своих страданиях.

— Им велено искать духи, а они дерутся! — возмущенно воскликнула Брунельда.— Эти негодяи меня доконают, учти, Деламарш, и я умру у тебя на руках. Духи мне! — крикнула она, с шумом вскидываясь в ванне.— Я требую! Не вылезу из ванны, пока мне не принесут духи, хоть до вечера буду сидеть! — И даже кулаком по воде пристукнула — во все стороны с шумом полетели брызги.

Но и в ящике обеденного стола духов не было, хоть здесь и вправду хранились сплошь туалетные принадлежности Брунельды: старые пудреницы, горшочки с румянами, щетки для волос, накладные локоны и еще ворох всякой иной, замызганной и перепутанной всячины,— но духов там не было. И Робинсон, все еще подвывая, копошившийся в углу над кучей — не меньше сотни — шкатулок и коробочек, каждую из которых он поочередно открывал, вороша и вываливая половину содержимого — по большей части шитье и старые письма — прямо на пол, где они так и валялись, Робинсон тоже не мог найти духов, о чем время от времени нервно сигнализировал Карлу покачиванием головы и пожатием плеч.

Тут из закутка в одном исподнем выскочил Деламарш — Брунельда тем временем зашлась безутешным, судорожным плачем. Карл и Робинсон, прекратив поиски, уставились на Деламарша, который, мокрый до нитки, с волос и по лицу тоже текло, заорал:

— А теперь извольте начать искать! Ты — здесь! — приказал он Карлу.— А ты — там! — это Робинсону.

Карл-то и вправду искал, успевая заодно проверить и те места, что поручены Робинсону, но проку от этого было ничуть не больше, чем от суеты Робинсона, который не столько искал, сколько испуганно косился на Деламарша — тот в ярости топтался по комнате, как зверь в клетке, и, уж конечно, с величайшей радостью предпочел бы просто их обоих избить.

— Деламарш! — крикнула Брунельда.— Иди сюда, вытри меня, по крайней мере. Эти балбесы все равно духи не отыщут, только всю квартиру перевернут. Пусть прекратят искать. Но сейчас же! Пусть все немедленно бросят! И ничего больше не трогают! Им лишь бы превратить дом в свинарник. Сверни им шею, Деламарш, если они сейчас же не перестанут! Как, они все еще безобразничают? Я же слышу, шкатулка упала. Пусть не поднимают, все оставят как есть, и вон из комнаты! Запри за ними дверь и иди ко мне. Я и так слишком долго лежу в воде, ноги совсем застыли!

— Сейчас, Брунельда, сейчас,— отвечал Деламарш, подталкивая Карла и Робинсона к двери. Но прежде чем выпроводить, он велел им принести завтрак и, если найдут, одолжить у кого-нибудь для Брунельды хорошие духи.

— Ну у вас и грязь, ну и беспорядок,— сказал Карл, едва они очутились в коридоре.— Сразу после завтрака начнем уборку.

— Будь у меня здоровье получше,— заныл Робинсон.— А это обхождение!

Конечно, Робинсону было обидно, что Брунельда не делает между ним, который прислуживает ей уже много месяцев, и Карлом, заступившим только вчера, ни малейшего различия. Но лучшего он и не заслуживал, поэтому Карл сказал:

— Тебе надо чуть-чуть собраться.— Но, чтобы уж не совсем оставлять его в отчаянии, добавил: — Это же работа только на один раз. Я устрою тебе за шкафом спальное место, и после того, как мы для начала все хоть немного приберем, будешь лежать там целыми днями, ни о чем не беспокоиться и скоро поправишься.

— Вот, теперь ты и сам видишь, как мне худо,— всхлипнул Робинсон, отворачивая от Карла лицо, чтобы побыть наедине с собой и своим страданием.— Как же, дадут они мне спокойно полежать, жди...

— Если хочешь, я сам поговорю об этом с Деламаршем и Брунельдой.

— Да разве Брунельде есть до кого-нибудь дело?! — горестно воскликнул Робинсон и с досадой,— совершенно неожиданной для Карла,— ткнул кулаком в дверь, к которой они как раз подошли.

Они очутились в кухне, где от плиты, очевидно нуждавшейся в руке печника, едкими облачками поднимался к потолку даже не сизый, а черный сажистый дым. Перед печной дверцей на коленях стояла старуха, которую Карл вчера мельком видел в коридоре, и голыми руками подкладывала в огонь

большие куски угля, стараясь равномерно распределить пламя по всей топке. При этом она кряхтела и постанывала, как это свойственно людям ее возраста в столь неудобном положении.

— Ну конечно, еще и эти на мою голову заявились,— произнесла она, завидев Робинсона, и тяжело поднялась с колен, опершись на ящик с углем, после чего закрыла дверцу, прихватив ее ручку передником.— Пришли, да? В четыре часа дня (Карл с изумлением глянул на часы) завтрак им подавай! Паразиты! — Потом добавила: — Садитесь и ждите, когда у меня руки до вас дойдут.

Робинсон потянул Карла на скамеечку у двери и прошептал:

— Надо ее слушаться. А что делать — мы от нее зависим. Она сдает нам комнату и, конечно, в любой день может отказать. А менять квартиру никак нельзя — куда мы столько вещей денем, а главное, Брунельду невозможно перевезти.

— А здесь, в коридоре, другую комнату снять нельзя? — спросил Карл.

— Нас же не возьмет никто,— вздохнул Робинсон.— Во всем доме никто нас не возьмет.

Так они и сидели на скамеечке и терпеливо ждали. Старуха хлопотала по хозяйству, мечась между двумя столами, плитой и стиральным корытом. Из ее крикливых причитаний мало-помалу выяснилось, что дочь ее занемогла и вся работа — а у нее тридцать человек жильцов, каждого накорми, за каждым убери — свалилась на нее одну. А тут еще печка дымит и еда никак не поспеет — в двух огромных кастрюлях у нее варилась густая похлебка, и сколько старуха ее ни мешала, сколько ни поднимала над кастрюлей половник, сколько ни сливала его содержимое с большой высоты, похлебка ни в какую не хотела поспевать, наверно, все из-за плохой тяги, и тогда она, садясь перед плитой чуть ли не на пол, яростно шуровала раскаленные угли кочергой. Дым, наполнявший кухню, вызывал у нее приступы кашля, иногда столь сильные, что старуха, схватившись за стул, долго за него держалась, не в силах продыхнуть от кашля. Она уже не в первый раз обронила, что завтрака они сегодня, наверно, вообще не получат, нет у нее на это ни времени, ни охоты. Но поскольку у Карла и Робинсона, с одной стороны, был строжайший приказ принести завтрак, с другой же стороны — ни малейшей возможности это сделать, они на замечания старухи не отвечали и продолжали молча сидеть, как будто их это не касается.

Между тем вокруг на стульях и скамейках, на столах и под столами, и даже просто в углу на полу — всюду стояла оставшаяся после завтрака грязная посуда жильцов. Были тут

кофейнички и молочники с остатками кофе и молока, на иных тарелках налипло недоеденное масло, из перевернувшейся жестяной банки горкой просыпалось печенье. При желании вовсе нетрудно собрать из всего этого приличный завтрак, к которому даже Брунельда не придерется, если не узнает о его происхождении. Едва Карл так подумал, едва взгляд на часы показал ему, что они ждут уже полчаса и что Брунельда, наверно, уже в ярости и опять натравливает Деламарша на нерадивых слуг, как старуха, зайдясь в новом приступе и выпученными глазами глядя прямо на Карла, сквозь кашель прокричала:

— Можете ждать сколько угодно, завтрака вы не получите! Вместо завтрака часа через два будет ужин.

— Давай, Робинсон,— сказал Карл.— Мы сами соберем себе завтрак.

— Что? — вскричала старуха, грозно набычив голову.

— Прошу вас, будьте же благоразумны,— попытался урезонить ее Карл,— почему вы не хотите дать нам завтрак? Мы уже полчаса ждем, это достаточно долго. Мы вам за все платим, притом платим наверняка лучше, чем все остальные. Конечно, для вас это хлопотно, что мы так поздно завтракаем, но мы ваши квартиранты и у нас такая привычка — завтракать поздно, значит, пора бы и вам немного к этому приспособиться. Сегодня из-за болезни дочери вам это, конечно, особенно сложно, но и мы зато, со своей стороны, готовы сами собрать себе поесть из этих вот остатков, раз уж иначе нельзя и свежий завтрак вы нам дать не можете.

Но к дружественным переговорам с кем-либо старуха была явно не расположена, а для этих жильцов ей, должно быть, даже объедки чужих завтраков казались слишком шикарной трапезой, но, с другой стороны, их назойливые слуги ей тоже поднадоели, посему она схватила поднос и ткнула его в живот Робинсону, который не сразу понял,— а поняв, страдальчески скривился,— что ему надо держать поднос, куда старуха, так и быть, сложит для них еду. И она, действительно, на скорую руку побросала на поднос много всего, но в целом это выглядело скорее как гора грязной посуды, нежели как приготовленный для постояльцев завтрак. Еще по дороге, когда старуха выталкивала их из кухни, а они, пригнувшись, точно опасаясь, оскорбления или удара, торопились к выходу, Карл перехватил поднос у Робинсона из рук, ибо не слишком на его руки полагался.

В коридоре, подальше от старухиной двери, Карл, не выпуская поднос из рук, уселся на пол: первым делом надо почистить сам поднос и рассортировать еду — слить в один кувшинчик молоко, соскрести с нескольких тарелок остатки

масла, потом устранить все следы предыдущего использования — значит, обтереть ножи и ложечки, надкусанные ломтики хлеба подровнять ножом и вообще придать всему более или менее приличный вид. Робинсон считал всю эту возню совершенно напрасной, уверяя, что им здесь случалось видеть завтраки и похуже, но Карл на эти уверения не поддался и был только рад, что Робинсон не встревает в его работу своими грязными пальцами. Чтобы как-то его успокоить, Карл сразу же милостиво разрешил ему — но, как он подчеркнул, в первый и последний раз — съесть несколько печений и допить толстый слой гущи, оставшейся в кувшинчике из-под шоколада.

Когда они подошли к дверям квартиры и Робинсон без церемоний ухватился за дверную ручку, Карл его остановил: он не знал, можно ли им войти.

— Ну конечно,— удивился Робинсон,— сейчас он ее причесывает, только и всего.

И действительно, посреди комнаты, по-прежнему зашторенной и непроветренной, в кресле, широко расставив ноги, сидела Брунельда, а Деламарш, стоя у нее за спиной и низко над ней склонившись, расчесывал ее короткие, густые и, судя по всему, очень жесткие, спутанные волосы. На Брунельде снова было очень свободное платье, на сей раз блекло-розовое, но, видимо, покороче вчерашнего — во всяком случае, ее ноги в белых, грубой вязки шерстяных чулках оно открывало почти до колен. Утомленная бесконечным ритуалом причесывания, Брунельда в нетерпении водила кончиком толстого, красного языка по губам, а иногда с истерическим криком: «Ну же, Деламарш!» — и вовсе вырывалась от Деламарша, который, приподняв гребень, спокойно ждал, пока она снова не откинет голову на спинку кресла.

— Долго же вы ходили,— встретила их Брунельда, а затем, обращаясь уже к Карлу отдельно, добавила: — Надо быть порасторопнее, если хочешь, чтобы тебя хвалили. И не вздумай брать пример с этого лодыря и обжоры Робинсона. Сами-то, наверно, уже успели где-то позавтракать, так учтите, впредь я этого не потерплю.

Это была вопиющая несправедливость, в опровержение которой Робинсон энергично затряс головой и даже зашевелил губами, правда, беззвучно. Карл, однако, уже смекнул, что убедить хозяев можно лишь безупречностью своей работы. Поэтому он выдвинул из угла низкий японский столик, накрыл его скатертью и быстро расставил принесенную еду. Знающий о происхождении завтрака был бы, несомненно, удовлетворен таким поразительным результатом, но в целом, как отметил про себя Карл, до совершенства было еще далеко.

К счастью, Брунельда была голодна. Наблюдая за приготовлениями Карла, она благосклонно кивала ему, но и мешала изрядно, поскольку ее неопрятная жирная рука, давя и размазывая все на своем пути, то и дело торопилась схватить какой-нибудь лакомый кусочек.

— Он хорошо все сделал,— сказала она, громко чавкая и увлекая Деламарша — который, видимо, на потом, так и оставил гребень в ее волосах — в соседнее с собой кресло.

И Деламарш при виде еды тоже подобрел, они оба сильно проголодались,— их руки так и замелькали над столом. Карл понял: чтобы им угодить, надо просто приносить как можно больше и, вспомнив, сколько еще на кухне на полу осталось съестного, сказал:

— На первый раз я не знал как и что, но завтра обязательно сделаю лучше.

Однако, еще не докончив фразу, он вспомнил, кому все это говорит,— слишком он был захвачен своим новым делом.

Брунельда удовлетворенно кивнула Деламаршу и в награду протянула Карлу пригоршню печенья.

Фрагмент первый

ОТЪЕЗД БРУНЕЛЬДЫ

Однажды утром Карл выкатил коляску, в которой восседала Брунельда, из ворот дома. Произошло это намного позже, чем он рассчитывал. Они-то замышляли тронуться в путь еще с ночи, дабы не привлекать к себе чрезмерного внимания прохожих, что при свете дня — даже учитывая похвальную скромность Брунельды, которая по такому случаю хотела с головой укрыться большим серым платком — все равно было неизбежно. Но спуск Брунельды по лестнице отнял слишком много времени, несмотря на самоотверженную помощь студента, который, как выяснилось при этой оказии, был куда слабее Карла. Сама Брунельда держалась геройски, почти не стонала и как могла стремилась облегчить своим носильщикам их нелегкую работу. Но дело все равно продвигалось медленно, через каждые пять ступенек приходилось сажать Брунельду на лестницу, чтобы и ей, и себе дать необходимую передышку. Утро выдалось прохладное, с улицы веяло стылым, как из погреба, сквозняком, тем не менее Карл и студент напрочь взмокли и во время остановок то и дело утирали потные лица каждый своим концом Брунельдиного платка,

которые та, кстати, сама весьма любезно им протягивала. Вот и вышло, что они лишь через два часа спустились вниз, где еще с вечера стояла коляска. Водрузить туда Брунельду тоже стоило немалых усилий, но когда они и с этим управились, самое трудное, можно считать, было позади, ибо катить удобную, на высоких колесах коляску представлялось делом в общем-то нехитрым и тревожило лишь одно — как бы коляска под Брунельдой не развалилась. Что ж, этот риск Карлу просто пришлось взять на себя, не тащить же, в самом деле, еще и запасную коляску, раздобыть и везти которую, не то в шутку, не то всерьез, вызвался студент. Тут они со студентом распрощались, и даже весьма сердечно. Все раздоры между Брунельдой и студентом были разом забыты, он даже извинился за какое-то давнее оскорбление, сорвавшееся у него с языка, когда Брунельде было плохо, но та ответила, что все это быльем поросло и давно с лихвой заглажено. А напоследок попросила студента принять от нее в подарок доллар, который она потом долго выискивала, роясь в своих необъятных юбках. Учитывая жадность Брунельды, подарок был просто царский и, кстати, весьма обрадовал студента — от радости он даже подбросил монету высоко в воздух. Потом, правда, пришлось ему, бедняге, эту монету долго искать, а Карлу помогать ему в поисках — в конце концов именно Карл ее и нашел у Брунельды под коляской. Прощание Карла со студентом было, разумеется, намного проще: они протянули друг другу руки и оба выразили надежду, что наверняка еще встретятся и что тогда один из них — студент уверял, что это будет Карл, а Карл — что студент,— непременно прославится, хотя пока что этого про них, увы, сказать нельзя. Ну, а потом Карл, собравшись с духом, ухватился за поперечину, стронул коляску с места и выкатил ее со двора. Студент смотрел им вслед и, пока они не скрылись из виду, махал платком. Карл тоже время от времени оглядывался и кивал на прощанье, да и Брунельда с радостью бы обернулась, будь это в ее силах. Все же, давая ей такую возможность, Карл в самом конце улицы описал вместе с коляской широкий круг, так что и Брунельда смогла напоследок еще разок посмотреть на студента, который, видя это, особенно энергично замахал платком.

Но уж после этого Карл твердо сказал, что больше они себе ни единой задержки не позволят, путь неблизкий, а они и так выехали гораздо позже, чем он надеялся. И действительно, то тут, то там по улицам уже громыхали подводы, да и первые, правда редкие, прохожие спешили на работу. И хотя Карл своим замечанием хотел сказать только то, что

сказал, Брунельда при ее душевной тонкости поняла его иначе и с головой накрылась серым платком. Карл не стал возражать: разумеется, покрытая серым платком ручная тележка тоже — и даже очень — бросается в глаза, но все-таки несравненно меньше, чем просто непокрытая Брунельда в тележке. Ехал он очень осторожно, прежде чем завернуть за угол, пристально осматривал улицу, в которую собирался направиться, а при необходимости даже бросал коляску и забегал вперед, если же замечал неладное, то останавливался и выжидал, пока опасность не минует, а то и вовсе выбирал другую дорогу. Он и в этих случаях был уверен, что не даст слишком большого крюка, ибо заблаговременно и тщательно изучил все закоулки и даже проходные дворы по пути следования. Впрочем, все же попадались препятствия, которых хоть и надлежало опасаться, но предусмотреть, а тем более каждое в отдельности предотвратить, не было никакой возможности. Так, на одной из улиц — с пологим подъемом, прямой и легко обозримой, к тому же, по счастью, совершенно безлюдной (удача, которую Карл особенно торопился не упустить, прибавляя ходу) — навстречу им из глухой подворотни внезапно вышел полицейский и спросил у Карла, что это за поклажу он так заботливо укутал в своей тележке. Но, сколь ни суров был полицейский на вид, однако и он не смог удержаться от улыбки, когда, слегка раздвинув складки покрывала, обнаружил под ним раскрасневшуюся и перепуганную Брунельду.

— Как? — воскликнул он.— Я-то думал, у тебя тут мешков десять картошки, а это, оказывается, всего одна баба. Куда это вы едете? И кто вообще такие?

Брунельда, не осмеливаясь взглянуть на полицейского, с отчаянием смотрела на Карла, явно сомневаясь, сумеет ли даже он ее спасти. Карлу, однако, было уже не впервой иметь дело с полицией, и на сей раз он не видел особых причин для страха.

— Покажите же, сударыня,— обратился он к Брунельде,— документ, который вам прислали.

— Ах, да! — спохватилась Брунельда и принялась искать, но с такой неуклюжей суетливостью, что это и впрямь выглядело подозрительно.

— Сударыня документ не найдет,— с нескрываемой иронией произнес полицейский.

— Ну, что вы,— как можно спокойнее возразил Карл.— Документ при ней, просто она его куда-то засунула.

Пришлось Карлу искать самому, и вскоре он, действительно, извлек бумагу у Брунельды из-под спины. Полицейский пробежал ее глазами.

— Вот оно что,— протянул он с ухмылкой.— Вот, значит, сударыня, какая вы сударыня! А вы, малыш, выходит, обеспечиваете клиентов и доставку? Что, получше занятия не нашлось?

На это Карл только передернул плечами, полиции вечно надо во все соваться.

— Ну, тогда счастливого пути,— так и не дождавшись ответа, сказал полицейский.

В его тоне, вполне возможно, звучало презрение, зато и Карл поехал дальше, не попрощавшись, а презрение полиции куда лучше, чем ее пристальный интерес.

Немного погодя их поджидала еще более неприятная встреча. На сей раз к ним привязался какой-то мужик, он толкал перед собой тачку с молочными бидонами, и ему до смерти захотелось узнать, что это такое Карл везет. Навряд ли им было по пути, однако мужик пристроился рядом и не отставал, в какие бы глухие переулки Карл ни сворачивал. Сперва он ограничивался общими замечаниями вроде: «Тяжеленько тебе приходится, верно?», или: «Плоховато нагрузил, верх вон заваливается». Но потом, обнаглев, спросил напрямик:

— Что у тебя там?

— Тебе-то какое дело? — огрызнулся Карл, но, поскольку такой ответ мужика только пуще раззадорил, в конце концов сказал: — Яблоки это.

— Столько яблок! — удивился мужик и, не переставая удивляться, время от времени на все лады повторял свое восклицание. — Это же целый урожай,— заключил он наконец.

— Ну да,— нехотя отозвался Карл.

Но то ли мужик ему не поверил, то ли хотел позлить — во всяком случае, он пошел в своих домогательствах еще дальше: сперва — и все это на ходу — как бы в шутку тянул к платку руку, а под конец уже просто внаглую стал его щупать. Каково было Брунельде все это вынести! Из страха за нее Карл не хотел ввязываться в ссору, а потому просто свернул в первые же открытые ворота, будто ему туда и надо.

Мужик, опешив, остался у ворот и смотрел вслед Карлу, который невозмутимо двигался дальше, готовый хоть весь двор пройти насквозь и если надо, углубиться в следующий. Поняв, что Карл не врет, и желая напоследок хоть как-то выместить досаду, мужик бросил свою тачку, мелкой воровато побежкой нагнал Карла и с такой силой дернул за платок, что чуть было не сорвал его с головы у Брунельды.

— Это чтоб твои яблоки малость подышали! — злобно крикнул он и кинулся обратно.

Карл, так и быть, стерпел и это, лишь бы избавиться от мужика окончательно. Он завел коляску поглубже во двор, в

самый угол, где кучей громоздились сваленные пустые ящики, чтобы там, в укромном месте, шепнуть Брунельде несколько утешительных слов. Но ему пришлось долго ее успокаивать — вся в слезах, она совершенно всерьез умоляла его пробыть весь день здесь, за ящиками, а уж ночью двигаться дальше. Карлу, возможно, так и не удалось бы отговорить ее от этой безумной идеи, но как только по другую сторону кучи ухнул и с жутким грохотом покатился по брусчатке сброшенный кем-то пустой ящик, она так перепугалась, что, не издав больше ни звука, мгновенно накрылась платком и, должно быть, себя не помнила от счастья, когда Карл, недолго думая, снова тронулся в путь.

Между тем на улицах становилось все оживленней, но коляска, вопреки опасениям Карла, отнюдь не привлекала к себе чрезмерного внимания. По здравому размышлению, может, вообще стоило выбрать для перевозки Брунельды другое время. Если понадобится повторить поездку, Карл, пожалуй, рискнет предпринять ее в середине дня. Наконец, проделав остаток пути без сколько-нибудь серьезных злоключений, он свернул в узкий сумрачный переулок, где и располагалось заведение № 25. У дверей, видимо давно их поджидая, стоял управляющий с часами в руках.

— Ты всегда так опаздываешь? — напустился он на Карла.

— Были затруднения,— ответил Карл.

— Затруднения, как известно, имеются всегда,— изрек управляющий.— Но для нас это не оправдание, запомни.

Однако Карл давно уже пропускал подобные речи мимо ушей: на слабом всякий норовит отыграться, власть свою хочет показать, да еще и обругает в придачу. Привыкнув, обращаешь на это не больше внимания, чем на исправный бой часов. Гораздо больше испугала его грязь в помещении, куда он вкатил коляску, хоть он и не ждал, что здесь будет образцовая чистота. Но эта грязь, если присмотреться, была какая-то особенная, неосязаемая. И каменный пол вестибюля вроде бы выметен, покраска стен тоже как будто не старая, искусственные пальмы в кадках лишь слегка запылились — и все же на всем лежал какой-то липкий, мерзкий налет, словно все нарочно осквернили и теперь, сколько ни наводи чистоту, от этой пакости уже не избавиться. Во всяком новом месте Карл, осмотревшись, первым делом любил прикинуть, что тут можно улучшить, испытывая радость при мысли об этой работе и желание немедленно за нее взяться, каких бы, пусть даже бесконечных, трудов она ни потребовала. Но сейчас он не знал, что и как тут можно поправить. Медленно снял он с Брунельды платок.

— Добро пожаловать, сударыня,— заворковал управляющий.

Несомненно, Брунельда произвела на него самое наилучшее впечатление. Едва заметив столь благоприятный эффект, она, к вящему удовольствию Карла, весьма умело им воспользовалась. Все ее недавние страхи как рукой сняло. Она...

Фрагмент второй

На углу улицы Карл увидел большое объявление с броской надписью, которая гласила: *«На ипподроме в Клейтоне сегодня с шести утра до полуночи производится набор в летний театр Оклахомы! Великий театр Оклахомы приглашает вас! Приглашает только сегодня, сегодня или никогда! Кто упустит свой шанс сегодня, упустит его безвозвратно! Если тебе небезразлично собственное будущее — приходи к нам! Мы всякому говорим: добро пожаловать! Если ты хочешь посвятить себя искусству — отзовись! В нашем театре каждому найдется дело — каждому на своем месте! Если ты остановил свой выбор на нас,— поздравляем. Но поторопись, чтобы успеть до полуночи! В двенадцать прием заканчивается и больше не возобновится! Кто не верит — пусть пеняет на себя! Все в Клейтон!»*

Перед объявлением хоть и толпились люди, но особого восторга оно не вызывало. Объявлений всяких много, да только кто им верит? А в этом, похоже, правды еще меньше, чем в остальных. Главное же упущение — ни слова об оплате. Будь оплата хоть сколько-нибудь приличной, о ней наверняка бы упомянули, такую приманку не забывают. Просто «посвятить себя искусству» охотников нету, а вот от работы за деньги какой же дурак откажется?

И все же одно место в объявлении звучало для Карла необыкновенно заманчиво. Ведь написано же: «Мы всякому говорим: добро пожаловать!» Всякому — значит, и Карлу тоже. Обо всем, чем он занимался прежде, можно забыть, и никто не попрекнет его этим неприглядным прошлым. Ему предлагают работу, которая не считается зазорной, напротив,— на нее даже приглашают во всеуслышанье. И так же, во всеуслышанье обязуются принять! Большего ему и не надо, он давно мечтает отыскать достойную дорогу в жизни, может, именно сейчас она ему и открылась! Пусть даже все зазывные слова в объявлении — сплошное вранье, пусть это не великий театр Оклахомы, а всего лишь маленький бродячий цирк,— там требуются люди, этого довольно. Карл не стал перечитывать объявление еще раз, только выхватил

глазами запомнившееся место: «Мы всякому говорим: добро пожаловать!»

Сперва он хотел пойти в Клейтон пешком, но это часа три напряженной ходьбы, и не исключено, что придет он, как говорится, к шапочному разбору. Правда, судя по объявлению, число мест не ограничено, но это только так пишут. В общем, рассудил Карл, надо либо распроститься с надеждами на место, либо ехать. Он пересчитал деньги — если не ехать, хватило бы еще на восемь дней,— и погрузился в задумчивость, перебирая на ладони эти свои последние гроши. Какой-то мужчина, понаблюдав за Карлом, хлопнул его по плечу и сказал:

— Счастливо съездить в Клейтон!

Карл молча кивнул и продолжал считать. Но вскоре решился, приготовил деньги на билет и побежал к подземке.

В Клейтоне, едва сойдя с поезда, он сразу услышал голоса множества труб. Шум стоял невообразимый, ибо трубы играли не в унисон, а каждая сама по себе, зато тем громче. Но Карла это не смутило, скорее даже обрадовало: значит, оклахомский театр и вправду солидное предприятие. Но то, что он увидел, выйдя из вестибюля станции, превзошло все его ожидания — такого размаха он и вообразить не мог и просто не понимал, что же это за предприятие, способное только ради вербовки персонала пойти на такие несусветные расходы. Перед воротами ипподрома был выстроен длинный невысокий помост, на котором, переодетые ангелами, в белых хитонах и с крыльями за спиной, сотни женщин дули в длинные, золотистые трубы. Но стояли они не прямо на помосте, а каждая на своем пьедестале, причем самих пьедесталов видно не было — длинные, ниспадающие одеяния ангелов скрывали их целиком. Поскольку пьедесталы были высокие, иные до двух метров, фигуры женщин выглядели гигантскими, только их маленькие головы несколько нарушали это впечатление величия, да и распущенные волосы казались коротковатыми, даже смешными, куце свисая между огромными крыльями или просто падая на плечи. Во избежание однообразия пьедесталы сделали разной высоты, поэтому и среди женщин одни были низкие, немногим выше нормального человеческого роста, но рядом с ними другие взмывали в такую высь, что при малейшем дуновении ветерка за них становилось боязно. И все они дули в трубы.

Слушателей у них было немного. Коротышки в сравнении с высоченными ангелами, молодые парни, человек десять, слонялись взад-вперед вдоль помоста, поглядывая на женщин. Указывали друг другу на ту, на эту, но видимых намерений идти наниматься на работу не обнаруживали. И лишь один

пожилой мужчина робко стоял в сторонке. Этот зато пришел сразу с женой, а заодно и с ребенком в детской коляске. Жена одной рукой придерживала коляску, другой опиралась мужу на плечо. На их лицах, хоть и захваченных диковинным зрелищем, все же читалось нескрываемое разочарование. Видимо, оба всерьез надеялись получить работу, теперь же вой труб сбивал их с толку.

Карл был в таком же положении. Он подошел к мужчине поближе, еще немного послушал трубы и потом спросил:

— Скажите, ведь это здесь принимают в театр Оклахомы?

— Я тоже так думал,— ответил мужчина.— Но мы уже час ждем и, кроме труб, ничего не слышим. Нигде ни объявления, ни зазывалы, даже спросить и то не у кого.

— Может, ждут, пока народ соберется,— предположил Карл.— Вон людей-то мало.

— Может быть,— согласился мужчина, и они снова замолчали.

Впрочем, в таком грохоте вообще было трудно разговаривать. Но потом женщина что-то шепнула мужу, тот кивнул, и она тотчас же крикнула Карлу:

— Вы не могли бы сходить на ипподром и узнать, где они принимают?

— Да, но ведь это через помост пробираться надо, мимо всех этих ангелов,— заколебался Карл.

— Разве это так уж трудно? — удивилась женщина.

Для Карла, значит, это сущие пустяки, а мужа послать побоялась.

— Ладно,— сказал Карл.— Схожу.

— Вы очень любезны,— обрадовалась женщина, и оба, и она и муж, пожали Карлу руку.

Парни сбежались посмотреть, как Карл полезет на помост. Казалось, что и женщины громче задули в трубы, приветствуя первого смельчака, рискнувшего попытать счастья. А те, мимо чьих пьедесталов Карл проходил, даже отрывали трубы ото рта и наклонялись, глядя ему вслед. На другом конце помоста Карл увидел мужчину, который в нервном ожидании ходил взад-вперед, очевидно, готовый дать желающему любую справку. Карл уже направился было в его сторону, но тут услышал прямо над собой голос, окликающий его по имени.

— Карл! — звал его один из ангелов.

Карл поднял глаза и от радостного изумления даже рассмеялся: это была Фанни.

— Фанни! — крикнул он и помахал ей рукой.

— Иди же сюда! — позвала Фанни.— Ты, надеюсь, не пройдешь мимо?

И она распахнула полы своего одеяния, освобождая от их белоснежного покрова пьедестал и ведущую на него узенькую лесенку.

— А можно подняться? — спросил Карл.

— Кто же нам запретит пожать друг другу руки? — воскликнула Фанни и даже возмущенно оглянулась, словно ища глазами того, кто осмелился бы подступиться к ней с таким запретом.

Но Карл уже взбегал по лесенке.

— Осторожно,— крикнула Фанни.— А то еще свалимся оба.

Но ничего не случилось, Карл благополучно добрался до последней ступеньки.

— Ты посмотри,— сказала Фанни, когда они поздоровались.— Ты только посмотри, какая у меня работа!

— Красиво,— согласился Карл, оглядываясь по сторонам. Все женщины поблизости, конечно, уже заметили Карла и хихикали.— Ты почти самая высокая,— сказал он и вытянул руку, сравнивая, насколько Фанни выше остальных.

— А я тебя сразу увидела,— тараторила Фанни,— как только ты со станции вышел. Но я, к сожалению, здесь в последнем ряду, так что меня не видно, а кричать ведь нельзя. Я, правда, трубила изо всех сил, но ты меня не услышал.

— Трубите вы все ужасно плохо,— сказал Карл.— Дай-ка я попробую.

— Ну, конечно,— Фанни протянула ему трубу.— Только не выбивайся из хора, а то меня уволят.

Карл начал трубить, он-то думал, что это просто какая-нибудь дудка, так, для шума, но оказалось, что это довольно тонкий инструмент, способный выводить любую мелодию. Если и остальные трубы не хуже, значит, используют их из рук вон плохо. Вдохнув полной грудью и стараясь не обращать внимания на окружающий шум, Карл сыграл песенку, которую однажды слышал в каком-то кабачке. Он был рад, что встретил давнюю приятельницу, что его уже выделили, позволив сыграть на трубе, и что, возможно, он совсем скоро получит хорошее место. Многие женщины прекратили трубить и слушали, как он играет; когда он внезапно оборвал мелодию, чуть ли не половина труб безмолвствовала, и лишь постепенно вокруг восстановился прежний невообразимый разнобой.

— Да ты просто артист! — восхитилась Фанни, когда Карл протянул ей трубу.— Просись в трубачи.

— А мужчин тоже принимают? — спросил Карл.

— Конечно,— ответила Фанни.— Мы трубим два часа, а потом нас сменяют мужчины, переодетые чертями. Половина трубит, половина барабанит. Очень красиво, да и вообще тут все оформлено шикарно. Посмотри на наши платья — разве не красиво? А эти крылья? — Она оглядела себя.

— Ты думаешь,— спросил Карл,— мне тоже еще достанется место?

— А как же! — воскликнула Фанни.— Ведь это самый большой театр в мире. Как удачно сошлось, что мы снова будем вместе! Правда, еще неизвестно, какую работу ты получишь. Может выйти и так, что работать будем вроде бы в одной фирме, а видеться не сможем.

— Неужто там все такое огромное? — изумился Карл.

— Это самый большой театр в мире,— повторила Фанни.— Я, правда, сама еще не видела, но некоторые из наших сотрудниц уже побывали в Оклахоме и говорят, что театр почти не имеет границ.

— Но охотников что-то не много,— заметил Карл, указывая на парней и мужчину с семьей.

— Верно,— согласилась Фанни.— Но ты не забывай: мы набираем людей по всем городам, наша рекламная труппа постоянно переезжает с места на место, и таких трупп у нас еще много.

— А разве театр еще не открылся? — спросил Карл

— Что ты! Это очень старый театр, но он постоянно расширяется.

— Удивляюсь,— сказал Карл,— почему люди не валят к вам толпами.

— Да,— подтвердила Фанни,— мне самой странно.

— Может,— предположил Карл,— вся эта кутерьма с чертями и ангелами не столько привлекает народ, сколько отпугивает?

— Ишь ты какой умный,— сказала Фанни.— Хотя, возможно, ты и прав. Скажи об этом нашему директору, вдруг он твоим советом воспользуется.

— А где он? — спросил Карл.

— На ипподроме,— кивнула Фанни,— на судейской трибуне.

— Этого я тоже понять не могу,— продолжал удивляться Карл.— Почему вы набираете людей именно на ипподроме?

— Понимаешь,— объяснила Фанни,— мы везде принимаем максимальные подготовительные меры к максимальному скоплению людей. Ну, а на ипподроме места много. И во всех городах, там, где обычно принимаются ставки на скачки, мы оборудовали свои приемные канцелярии. Говорят, у нас двести таких канцелярий...

— Но откуда,— воскликнул Карл,— откуда у театра такие сумасшедшие доходы, чтобы держать столько рекламных трупп?

— Нам-то какое дело? — беззаботно ответила Фанни.— А теперь, Карл, иди, а то все упустишь, да и мне, сам понимаешь, трубить надо. Постарайся, если получится, устроиться в нашу труппу, а потом сразу приходи ко мне, все расскажешь. Учти, я буду беспокоиться и ждать.

Она пожала ему руку, велела спускаться по лестнице осторожно, снова приставила трубу к губам, но трубить начала лишь после того, как убедилась, что Карл внизу и в полной безопасности. Карл аккуратно прикрыл лестницу полами ее одеяния, чтобы все было как раньше, Фанни благодарно кивнула, и Карл, обдумывая и со всех сторон взвешивая услышанное, направился к мужчине, который давно уже заприметил Карла рядом с Фанни на пьедестале и в нетерпении сам двинулся ему навстречу.

— Желаете к нам поступить? — спросил он.— Я в этой труппе ведаю отделом найма и рад сказать вам: «Добро пожаловать!»

От избытка вежливости он, казалось, никогда не разгибается и, хоть и не двигаясь с места, слегка пританцовывает, поигрывая цепочкой от часов.

— Благодарю,— сказал Карл учтиво.— Я прочел объявление вашей фирмы и вот явился, как там указано.

— И очень правильно сделали,— горячо подхватил мужчина.— К сожалению, отнюдь не каждый ведет себя здесь столь же правильно.

Карл подумал было сказать мужчине о том, что рекламные средства их труппы, возможно, не действуют именно по причине их чрезмерности. Но говорить не стал: ведь это даже не руководитель труппы, а кроме того, вряд ли хорошо вот так, с порога, еще не будучи принятым, предлагать свои усовершенствования. Поэтому он сказал только:

— Там еще один ждет, он тоже хотел явиться, но послал меня разузнать. Можно, я его приведу?

— Разумеется,— ответил мужчина.— Чем больше придут, тем лучше.

— Но у него там еще жена и маленький ребенок в коляске. Им тоже приходить?

— Разумеется,— снова повторил мужчина и, казалось, даже улыбнулся при виде столь странных сомнений.— У нас каждому найдется дело.

— Я сейчас вернусь,— сказал Карл и бегом бросился обратно к краю помоста.

Он махнул супружеской паре и громко крикнул, что приходить можно всем. Потом помог поднять на помост коляску, и они, теперь уже вместе, двинулись к мужчине. Парни, видя это, посовещались между собой и нерешительно, все еще колеблясь, тоже влезли на помост и медленно, руки в карманах, последовали за Карлом и семейством. Как раз в эту же минуту из станции подземки вывалилась большая группа пассажиров, которые при виде ангелов на помосте начали изумленно размахивать руками. Похоже, желающих получить место не так уж мало и дело наконец сдвинулось. Карл был очень рад, что пришел так рано, вероятно, даже самый первый, супруги же, напротив, явно робели и наперебой расспрашивали, какие — и не слишком ли строгие — предъявляются требования. Карл ответил, что в точности еще сам ничего не знает, но, насколько он понял, принимают действительно всех без исключения. Так что, на его взгляд, тревожиться не о чем.

Начальник отдела найма уже спешил им навстречу, он был очень доволен, что их столько пришло, потирая руки, каждого в отдельности поприветствовал легким поклоном, а потом выстроил их всех в очередь. Карл был самый первый, за ним стояла супружеская чета, а уж потом и остальные. Когда они все наконец выстроились — парни сперва устроили толкучку, и понадобилось время, чтобы они успокоились,— трубы внезапно стихли, и начальник сказал:

— От имени театра Оклахомы рад приветствовать вас. Вы пришли заблаговременно,— между тем был уже почти полдень! — наплыв еще не столь велик, тем скорее можно будет уладить все формальности вашего приема. Разумеется, удостоверения личности у всех при себе?

Парни немедленно извлекли из карманов какие-то бумаги и помахали ими, показывая начальнику, мужчина подтолкнул свою жену, и та вытащила из коляски спрятанный под матрасом целый сверток бумаг,— и только у Карла ничего не было. Неужели без документов совсем не принимают? Не исключено, что так. Но по опыту Карл уже знал: немного решимости — и все эти неукоснительные предписания легко можно обойти. Начальник оглядел очередь, удостоверился, что у всех документы при себе, и, поскольку Карл тоже поднял руку, правда, пустую, решил, очевидно, что и у него все в порядке.

— Прекрасно,— сказал он и отмахнулся от парней, которые все еще протягивали свои бумаги, ожидая, когда он их проверит.— Документы у вас проверят в приемной канцелярии. Как вы уже знаете из нашего объявления, у нас каждому

найдется дело. Но, разумеется, мы должны знать, кто чем раньше занимался чтобы поставить каждого на то место, где ему легче будет применить свои навыки.

«Но ведь это же театр»,— мысленно возразил Карл и стал слушать еще внимательней.

— Поэтому,— продолжал начальник отдела найма,— мы оборудовали в букмекерских кабинках приемные канцелярии, по одной канцелярии для каждой профессиональной группы. Члены семьи, как правило, проходят прием по профессии мужа. Немного погодя я каждого из вас направлю в соответствующую канцелярию, где сперва ваши документы, а затем и ваши знания будут проверены специалистами,— экзамен короткий, простой, бояться не надо. После чего вас сразу и оформят и дадут дальнейшие указания. Итак, начнем. Вот это — первая канцелярия, предназначенная, как явствует уже из этой таблички, для инженеров. Может, среди вас есть инженеры?

Карл поднял руку. Он полагал, что раз уж у него нет документов, надо как можно скорее проскочить все формальности, тем более что кое-какие основания вызваться у него были — ведь он и правда хотел стать инженером. Однако парни, заметив, что Карл вызвался, вероятно, позавидовали и тоже подняли руки,— словом, руки подняли все. Привстав на цыпочки и через голову Карла обращаясь к парням, начальник спросил:

— Вы все инженеры?

Тогда все они медленно опустили руки, Карл же, напротив, продолжал свою тянуть. Начальник, хоть и посмотрел на него недоверчиво — слишком жалко одет, да и слишком молод для инженера,— но ничего не сказал, возможно, из благодарности за то, что Карл — во всяком случае, он считал, что это Карл,— привел ему столько претендентов. Поэтому он просто жестом пригласил Карла пройти в канцелярию, что Карл и сделал, а сам снова обратился к оставшимся.

В канцелярии для инженеров по бокам большого прямоугольного пульта сидели два господина и сверяли два длинных списка, положив их перед собой. Один зачитывал фамилии, другой их из своего списка вычеркивал. Как только Карл вошел и поздоровался, оба немедленно отложили списки в сторону и взялись за огромные конторские книги, раскрыв их, как по команде. Один, очевидно просто секретарь, сказал:

— Попрошу ваше удостоверение личности.

— К сожалению, у меня нет с собой удостоверения,— сказал Карл.

— У него нет с собой удостоверения,— сообщил секретарь второму господину и тут же записал ответ Карла в свою книгу.

— Вы инженер? — спросил тот. Похоже, он-то и был начальник канцелярии.

— Пока что нет,— быстро начал Карл,— но...

— Достаточно,— еще быстрее оборвал его господин.— Вы не к нам. Внимательней читайте таблички.— Карл стиснул зубы, и, очевидно, его досада от господина не укрылась.— Ничего страшного,— успокоил он Карла.— У нас каждому найдется дело.— И взмахом руки подозвал одного из служителей, что без толку слонялись между конторскими барьерами.— Отведите этого молодого человека в канцелярию для людей с техническими познаниями.

Служитель воспринял приказ буквально и схватил Карла за локоть. Они пошли бесконечной вереницей комнатушек, по пути Карл увидел одного из парней, того уже приняли, и он благодарно тряс чиновнику руку. В канцелярии, куда Карла доставили на сей раз, произошло, как он и ожидал, примерно то же, что и в первой. Правда, отсюда, услышав, что он учился в средней школе, его отослали в канцелярию для бывших учеников средней школы. Но и там, едва Карл заикнулся, что учился в Европе, с ним не пожелали разговаривать, заявив, что это не по их части, и отправили в канцелярию для бывших учеников европейской средней школы. Это была комнатушка в самом конце, не только меньше, но почему-то еще и ниже остальных. Служитель, приведя его сюда, был уже в бешенстве от долгих хождений и все новых отказов, в которых, как он считал, виноват только сам Карл и больше никто. Здесь он даже не стал дожидаться вопросов и сразу убежал. Впрочем, дальше этой канцелярии, вероятно, и идти было некуда. Завидев начальника канцелярии, Карл чуть не вздрогнул от неожиданности, настолько тот был похож на учителя, который, должно быть, и сейчас еще вел уроки в его, Карла, бывшей школе. Сходство, как тут же выяснилось, было, разумеется, лишь частичным, но водруженные на толстой картофелине носа очки, окладистая, безупречно ухоженная, будто напоказ выставленная русая борода, сутуловатый изгиб спины и резкий, каркающий, а потому всегда как бы неожиданный голос на какое-то время повергли Карла едва ли не в оторопь. К счастью, особой внимательности от него не потребовалось, тут все шло как-то попроще, чем в других канцеляриях. Правда, и здесь в соответствующей графе пометили, что у него нет с собой удостоверения, а начальник даже успел

назвать это необъяснимой халатностью, но секретарь, который, похоже, здесь верховодил, быстро это дело замял и вскоре, как только начальник, задав первые нехитрые вопросы, изготовился наконец приступить к вопросу посложней, неожиданно объявил, что Карл принят. Начальник с разинутым ртом уставился на секретаря, но тот, решительно рубанув рукой воздух, еще раз повторил: «Принят» — и тут же занес этот вердикт в свою книгу. Очевидно, по мнению секретаря, факт обучения в европейской средней школе был уже сам по себе настолько постыдным, что всякий, кто имел мужество в этом признаться, заслуживал безусловного доверия. Со своей стороны и Карл не усмотрел в этом ничего обидного и подошел к секретарю, намереваясь его поблагодарить. Однако тут возникла еще одна заминка: был задан вопрос, как его зовут. Он ответил не сразу, он боялся назвать свое настоящее имя, не хотел, чтобы его записывали. Вот получит хоть самое никудышное местечко, покажет себя дельным работником, тогда пусть и узнают его настоящее имя, а сейчас — нет, слишком долго он его утаивал, чтобы теперь так сразу выдать. И он назвал — поскольку ничего другого в голову не пришло — кличку, которая прилипла к нему на последней работе: Нэгро.

— Нэгро? — переспросил начальник, оборачиваясь к Карлу с такой гримасой, будто в своей лжи тот достиг пределов наглости.

Даже секретарь смерил Карла долгим, испытующим взглядом, но потом повторил: «Нэгро» — и записал в свою книгу.

— Надеюсь, вы не написали «Нэгро»? — напустился на него начальник.

— Ну да, Нэгро,— невозмутимо ответил секретарь и жестом показал начальнику, чтобы тот занимался своим делом и, главное, поскорее его заканчивал.

Тогда, скрепя сердце, начальник встал и объявил:

— Итак, театр Оклахомы... — Но продолжить не смог и, не в силах совладать с собственной совестью, снова сел, сокрушенно уронив: — Его зовут не Нэгро.

Секретарь вскинул брови, но, раз такое дело, встал сам и произнес:

— В таком случае я уведомляю вас, что вы приняты в театр Оклахомы и сейчас будете представлены нашему директору.

Снова позвали служителя, который препроводил Карла к судейской трибуне.

Внизу у лестницы Карл увидел коляску, а по лестнице уже спускалась и знакомая супружеская чета, женщина несла на руках ребенка.

— Вас приняли? — спросил мужчина. Вид у него был куда веселей, чем прежде, да и женщина радостно улыбалась у него из-за плеча. Карл ответил, что его только что приняли и он идет на представление к директору.— Тогда поздравляю,— сказал мужчина.— Нас тоже приняли, фирма вроде и вправду хорошая, только вот вникнуть во все поначалу трудновато, но это везде так.

Они сказали друг другу «До свидания», и Карл полез на трибуну. Он поднимался не спеша, все равно около крохотной площадки наверху теснился народ, ему толкаться не хотелось. Он даже приостановился, засмотревшись на округлый простор скакового поля, окаймленный со всех сторон кромками леса. Ему вдруг страстно захотелось побывать на скачках, в Америке у него пока не было такой возможности. В Европе, еще ребенком, его однажды брали на скачки, но с того раза ему запомнилось только, как мама тащила его через толпу людей, которые нипочем не желали расступаться. То есть, можно считать, он самих скачек вообще еще не видел. Он услышал за спиной механический треск, обернулся и увидел, как на огромном фанерном барабане, с помощью которого во время скачек объявляются имена победителей, теперь поползла вверх табличка с надписью: «Коммерсант Калла с женой и ребенком». Таким образом, очевидно, имена принятых сотрудников сообщались всем канцеляриям.

Тут вниз по лестнице навстречу Карлу бодро сбежали, оживленно о чем-то беседуя, три господина с карандашами и блокнотами в руках. Карл прижался к перилам, давая им дорогу, и, раз уж наверху все равно освободилось место, поднялся на площадку. Там в самом углу огороженной перилами платформы — со стороны все это выглядело как плоская крыша узкой башни — сидел, небрежно бросив руки на перила, важный господин, через всю грудь которого тянулась широкая, белого шелка, лента с надписью: «Директор десятой рекламной труппы театра Оклахомы». Возле него на столике стоял телефонный аппарат, который наверняка тоже использовался во время скачек, но сейчас по этому телефону директор, очевидно, еще до представления узнавал все необходимые данные о кандидатах, поскольку сперва он Карла вообще ни о чем не спрашивал, только бросил другому госпо-

дину, что, скрестив ноги и обхватив рукой подбородок, прислонился рядом с ним к перилам:

— Нэгро, ученик европейской средней школы.

И, словно после этого его интерес к Карлу иссяк окончательно, устремил взгляд на лестницу, не идет ли кто еще. Но, поскольку никто больше не шел, он иногда прислушивался к разговору, который вел с Карлом другой господин, однако чаще просто смотрел на скаковое поле, постукивая пальцами по перилам. Эти длинные, холеные, но сильные и подвижные пальцы то и дело отвлекали Карла, хотя казалось бы, другой господин вовсе не дает ему отвлекаться.

— Так вы были без места? — спросил он для начала.

И этот, и почти все последующие вопросы, которые он задавал, были очень просты, без малейшего подвоха, к тому же он не прерывал ответа уточнениями и промежуточными вопросами,— тем не менее во всей его повадке, в том, как он, округляя глаза, тщательно выговаривает слова, как, весь подавшись вперед, жадно следит за их действием, как, уронив голову на грудь, задумчиво выслушивает ответы, иногда громко их повторяя,— чувствовалось, что он придает своим вопросам какой-то особый смысл, собеседнику хоть и неясный, но наполнявший его душу томительной и безотчетной тревогой. Поэтому, наверно, Карла то и дело подмывало, уже ответив на вопрос, тут же свой ответ опровергнуть, заменить другим, возможно, более благоприятным,— но он всякий раз сдерживался, зная, сколь неприглядное впечатление производят подобные колебания, тем более что последствия ответов, как правило, все равно предугадать невозможно. К тому же его прием был вроде бы делом уже решенным, мысль об этом давала ему спасительную опору.

На вопрос, был ли он без места, Карл ответил простым «да».

— А ваше последнее место работы? — поинтересовался господин. И, не успел Карл ответить, со значением повторил, строго воздев указательный палец: — Последнее!

Карл и так прекрасно понял вопрос, уточнение показалось ему излишним, он даже непроизвольно отбросил его, мотнув головой, и ответил:

— В конторе.

Пока что он сказал правду, но если господину потребуется более точные сведения об этой конторе, придется врать. Гос-

подин, однако, об этом не спросил, а, напротив, задал вопрос, на который вообще было легче легкого ответить правду.

— Вам нравилось там работать?

— Нет! — выкрикнул Карл, даже не дав господину закончить. Краем глаза он заметил, как улыбнулся директор, и пожалел о своей запальчивости, но слишком уж соблазнительно было крикнуть это «Нет!», ведь на той работе Карл каждый день только и мечтал, чтобы к ним зашел какой-нибудь чужой хозяин и задал ему этот вопрос. Однако ответ его был еще и тем плох, что господин теперь мог поинтересоваться, что именно Карлу не нравилось. Но господин вместо этого спросил:

— К какой же работе вы чувствуете склонность?

Этот вопрос, видимо, уж точно был с подвохом, иначе зачем бы его задавать, раз Карла все равно уже наняли актером, но, даже распознав ловушку, не мог он выдавить из себя, что чувствует особую склонность к актерской профессии. Поэтому он уклонился от ответа и, рискуя навлечь на себя подозрение в упрямстве, сказал:

— Я прочел объявление в городе, там написано, что у вас каждому найдется дело, вот я и пришел.

— Это мы знаем,— заметил господин и умолк, всем видом показывая, что продолжает настаивать на вопросе.

— Меня приняли актером... — неуверенно произнес Карл, давая почувствовать господину всю затруднительность своего положения.

— И это верно,— согласился господин и снова выжидательно замолчал.

— Так вот,— решился Карл, и все его надежды получить место разом заколебались,— не знаю, гожусь ли я для театра. Но я буду стараться и готов выполнять любые обязанности.

Господин глянул на директора, оба кивнули, очевидно, Карл ответил правильно. Он снова воспрянул духом и, ободренный удачей, ждал следующего вопроса. Вопрос оказался вот какой:

— Какой же профессии вы намеревались себя посвятить? — И, желая уточнить вопрос — точности он вообще придавал очень большое значение,— господин добавил: — Я имею в виду — еще в Европе.

Тут он даже отнял руку от подбородка и сопроводил сказанное невнятным жестом, словно желая обозначить, как

далеко затерялась Европа и сколь ничтожны давнишние планы, когда-то с нею связанные.

— Я хотел стать инженером,— сказал Карл.

Слова эти дались ему не без труда: оглядываясь на бесславный путь, пройденный тут, в Америке, смешно было воскрешать в памяти детскую мечту, к тому же почти несбыточную — да разве сумел бы он даже в Европе стать инженером? — но другого ответа он не знал, поэтому ответил так.

Однако господин отнесся к его словам серьезно, он ко всему относился серьезно.

— Ну, инженером так сразу не становятся,— сказал он.— Но, быть может, на первых порах вас устроит какая-нибудь несложная техническая работа?

— Конечно,— ответил Карл с радостью: хоть его и переводили из разряда артистов в технический персонал, он и сам надеялся, что на этой работе сумеет лучше проявить себя. А кроме того — это он повторял себе непрестанно,— не важно, какая будет работа, лишь бы получить место и хоть за что-то уцепиться.

— А вы справитесь с тяжелой работой? — спросил господин.

Господин поманил Карла к себе и пощупал его мускулы.

— Сильный мальчик,— заключил он и, все еще удерживая Карла за бицепс, подвел его к директору.

Директор с улыбкой кивнул, не меняя своей расслабленной позы, протянул Карлу руку и сказал:

— Ну вот мы и закончили. В Оклахоме все еще раз проверят. Не уроните честь нашей рекламной труппы!

Карл поклонился, потом хотел попрощаться и с другим господином, но тот с видом человека, закончившего все дела, уже прогуливался по платформе, глядя куда-то в небо. Когда Карл спускался по лестнице, сбоку от него на фанерном барабане появилась и поползла вверх табличка с надписью: «Нэгро, технический сотрудник». Раз уж тут во всем такой порядок, Карл, пожалуй, теперь не слишком бы огорчился, если бы увидел на табличке свое настоящее имя. Да, продумано тут все было даже с чрезмерной тщательностью: у подножия лестницы Карла уже поджидал служитель, повязавший ему нарукавную повязку. Карл выставил локоть, посмотрел, что написано на повязке,— все правильно: «технический сотрудник».

Впрочем, куда бы сейчас Карла ни собирались вести, сперва надо сбегать к Фанни, доложить ей, как удачно все

прошло. Но, к немалой своей досаде, Карл узнал от служителя, что ангелы, равно как и черти, уже отбыли к новому пункту назначения, где им предстоит все подготовить к приезду рекламной труппы на завтра.

— Жаль,— вздохнул Карл, это было его первое разочарование на новой работе.— У меня там среди ангелов знакомая.

— В Оклахоме увидитесь,— сказал служитель.— А теперь пойдемте, вы и так последний.

И он повел Карла вдоль тыльной стороны помоста, где еще недавно стояли ангелы, а теперь сиротливо возвышались пустые пьедесталы. Однако предположение Карла, что без труб и ангелов желающих получить место будет больше, не подтвердилось: теперь перед помостом взрослых вообще не было, и лишь несколько детей затеяли возню из-за длинного белого пера, очевидно оброненного кем-то из ангелов. Один мальчишка держал перо на вытянутой руке, а остальные прыгали вокруг него, норовя пригнуть ему голову и выхватить желанную добычу.

Карл кивнул на детей, но служитель, даже не взглянув в их сторону, сказал:

— Пойдемте скорей, вас и так очень долго принимали. Вероятно, были сомнения?

— Не знаю,— удивленно ответил Карл, он, по крайней мере, так не считал.

Почему всегда, даже при самых безоблачных обстоятельствах, непременно отыщется собрат, готовый испортить тебе настроение? Однако отрадная картина, открывшаяся ему при виде зрительской трибуны, к которой они приближались, заставила Карла забыть о неприятном вопросе служителя. На этой трибуне целая скамья во всю длину была накрыта белой скатертью, а на нижней скамье, спиной к полю, сидели все новопоступившие, приглашенные за этот праздничный стол. Все были радостно возбуждены, и как раз когда Карл, стараясь проскользнуть незамеченным, тихо присел на край скамьи, многие вскочили, подняв бокалы, и кто-то стал произносить тост за директора десятой рекламной труппы, называя его «отцом всех, кто без места». Тут же кто-то другой заметил, что директора отсюда можно увидеть, и действительно,— судейская трибуна находилась отсюда не слишком далеко и два господина на ней были хорошо различимы. Все, конечно, протянули бокалы в ту сторону, Карл тоже схватил стоявший перед ним бокал, но сколько они ни кричали, сколь-

ко ни пытались обратить на себя внимание, ни малейшее движение на судейской трибуне не свидетельствовало о том, что их заметили или хотя бы пожелали заметить. Директор, по-прежнему откинувшись, сидел в своем углу, а другой господин все так же стоял рядом, обхватив рукой подбородок.

Слегка разочарованные, все снова сели, еще какое-то время то один, то другой изредка оглядывался на судейскую трибуну, но вскоре всех увлекло богатое угощение — носили на блюде какую-то диковинную огромную птицу, Карл таких и не видел никогда, с множеством вилок, воткнутых в сочное, с хрустящей корочкой мясо, беспрерывно и как-то незаметно подливали вино,— только склонишься над тарелкой, а в бокал уже падает искристая бордовая струя,— а кто не склонен был участвовать в общей беседе, мог рассматривать открытки с видами театра Оклахомы, которые стопкой лежали на другом конце стола и, по замыслу, должны были передаваться из рук в руки. Но открытки мало кого занимали, и получилось так, что до Карла, который сидел последним, дошла лишь одна. Но, судя по ней, в остальных тоже было на что посмотреть. На этой же была запечатлена ложа президента Соединенных Штатов. С первого взгляда вообще можно было решить, что это не ложа, а, наоборот, сцена,— так плавно, величаво и непреклонно взмывал ее парапет над окружающим пространством. Сам парапет — до последней мелочи — был из чистого золота. Между точеными, словно вырезанными тончайшими ножичками, столбиками балюстрады были укреплены медальоны с портретами бывших президентов, особенно выделялся один, с надменным прямым носом, выпяченными губами и угрюмым, неподвижным взглядом из-под набрякших, приспущенных век. Со всех сторон, по бокам и сверху, ложа была высвечена снопами мягкого света; этот свет, достаточно яркий и одновременно ласковый, буквально заливал ложу снаружи, тогда как глубины ее, надежно укрытые пурпурными складками тяжелого, переливчатого бархата, который окаймлял ложу по всему периметру и раздвигался на шнурах, таили в себе темную, зияющую красноватыми отблесками пустоту. Почти немыслимо было вообразить в этой ложе человека — настолько царственно выглядела она сама по себе. Не забывая о еде, Карл время от времени все же поглядывал на картинку, положив ее рядом со своей тарелкой.

В конце концов ему захотелось взглянуть еще хотя бы на одну из открыток, но пойти и попросить он не осмелился, поскольку служитель в конце стола прикрыл стопку ладонью и, видимо, следил за соблюдением очередности,— тогда Карл оглядел стол, пытаясь обнаружить, нет ли у кого открытки на руках и не передают ли ее в его сторону. И тут с изумлением, поначалу даже не поверив своим глазам, среди физиономий, с особым усердием склонившихся над едой, заметил хорошо знакомую — ну конечно, это Джакомо! Карл радостно кинулся к нему, окликая по имени, Джакомо, как всегда смущенный в минуты неожиданности, оторвался от еды, пытаясь неловко повернуться в узкой щели между скамейками и поспешно утирая рот рукой, но, увидев Карла, очень обрадовался, предложил сесть рядом с собой или, наоборот, перебраться туда, где сидит Карл,— им хотелось многое порассказать друг другу и вообще больше не разлучаться. Но Карл не стал никого беспокоить, пусть пока что каждый сидит, где сел, обед все равно скоро кончится, а уж потом они, конечно же, всюду будут держаться вместе. Однако возвращаться на место не спешил, уж очень приятно было смотреть на Джакомо. Сколько же воды утекло! Где-то теперь главная кухарка? И что поделывает Тереза? Сам Джакомо внешне ничуть не изменился, предсказание главной кухарки, что он через полгода превратится в настоящего, крепкого американца, не сбылось, он по-прежнему был хрупкий, худенький, с впалыми щеками,— сейчас, правда, щеки как раз были круглые, потому что он засунул в рот и тщетно пытался прожевать огромный кусок мяса, то и дело недоуменно извлекая оттуда кости и бросая их на тарелку. Надпись на его нарукавной повязке свидетельствовала, что и Джакомо взяли не артистом, а лифтером, похоже, театр Оклахомы и вправду любому готов был подыскать занятие.

Но, заглядевшись на Джакомо, Карл и так слишком надолго покинул свое место — только он надумал вернуться, как появился начальник отдела найма, влез на одну из скамеек над ними, хлопнул в ладоши и произнес краткую речь, во время которой большинство сразу встали, а те, кто, не в силах оторваться от еды, продолжали сидеть, сделали это чуть позже, понуждаемые тычками и шиканьем остальных.

— Хочу надеяться,— произнес он, пока Карл на цыпочках пробирался к своему месту,— что вы довольны нашим торжественным обедом. Наша рекламная труппа вообще славится

своими обедами. К сожалению, я вынужден завершить вашу трапезу, так как поезд, на котором вы отправитесь в Оклахому, отходит через пять минут. Путь хоть и неблизкий, но, как вы сами убедитесь, о вас хорошо позаботились. Сейчас я вам представлю господина, который отвечает за вашу транспортировку и которому вы должны беспрекословно подчиняться.

Тощий низенький господин вскарабкался на ту же скамью, в спешке не счел нужным даже поклониться, а сразу же, нервно размахивая ручонками, принялся объяснять и показывать, где, кому, как и в каком порядке строиться и куда направляться. Но сперва его не послушались, поскольку тот из их компании, кто уже произносил тост за директора, теперь хлопнул ладонью по столу и начал длинную благодарственную речь, хотя — Карл уже не на шутку беспокоился — ясно ведь было сказано, что поезд вот-вот отходит. Но речистый, не смущаясь даже тем, что начальник давно его не слушает, а поспешно отдает их провожатому последние указания, все не унимался, похоже, он задумал целый доклад, перечислял все блюда, которые им подали, оценивал каждое из блюд по отдельности и, наконец, завершил свое выступление шутливым возгласом:

— Господа, только так нас и надо завоевывать!

Все, кроме тех, к кому он, собственно, обращался, рассмеялись, но правды в этом возгласе было, пожалуй, больше, чем шутки.

За эту его речь всем им вдобавок пришлось расплачиваться ускоренной пробежкой к вокзалу. Что, впрочем, оказалось не так уж тяжело, ибо — Карл только сейчас это заметил — багажа ни у кого не было, единственным предметом багажа была разве что коляска, которая, ведомая отцом семейства, трясясь и подпрыгивая на ухабах, мчалась во главе их странной, неудержимой колонны. Что же это за неимущий, подозрительный сброд, ради которого столь пышный прием и вообще все эти хлопоты? А провожатый так и вовсе, можно подумать, им отец родной: то, ухватившись одной рукой за коляску, другой призывно машет в воздухе, подбадривая колонну, то, уже в самых последних рядах, подгоняет отстающих, то, пристроившись сбоку и выразительно поглядывая на уставших, энергично работает локтями, показывая, как надо бежать.

Когда они ворвались на вокзал, поезд уже стоял под парами. Люди на вокзале оживленно показывали на них друг

другу, слышались возгласы вроде: «Эти из театра Оклахомы», похоже, театр пользовался куда большей известностью, чем Карл предполагал, впрочем, он никогда и не интересовался театром. Для их группы был выделен целый вагон, провожатый руководил их погрузкой куда более рьяно, чем кондуктор. Сперва он тщательно осмотрел каждое купе, кто как расселся, все ли у всех в порядке, и только потом отправился на свое место. Карлу повезло, ему досталось место у окна и он успел усадить рядом с собой Джакомо. Притиснутые друг к другу, они ждали отправления и, стараясь ни о чем больше не думать, радовались предстоящей поездке — ведь так, без забот, без хлопот, им по Америке путешествовать не приходилось. Когда поезд тронулся, они начали махать из окна, а ребята напротив, подталкивая друг друга локтями, смеялись над ними.

Они ехали два дня и две ночи. Только теперь Карлу открылось величие Америки. Без устали смотрел он в окно, и Джакомо так долго и так упорно тянулся туда же, что ребятам, беспрерывно игравшим в карты, это стало надоедать и они сами предложили ему место напротив. Карл их поблагодарил — английский язык Джакомо не каждому был понятен,— и мало-помалу, как это и водится между дорожными попутчиками, они стали вести себя куда дружелюбней, но и дружелюбие их нередко становилось в тягость, когда, например, у них падала карта и они, ползая за ней по полу, пребольно щипали Карла или Джакомо за ногу. Джакомо всякий раз испуганно орал от боли и неожиданности и вскидывал ноги, Карл же иногда пытался ответить пинком, но в основном сносил эти шутки молча. Что бы ни происходило в тесном, даже при открытом окне насквозь прокуренном и дымном купе, все это меркло в сравнении с тем, что он видел в окно.

В первый день они ехали через высокие горы. Черно-синие каменистые громады острыми клиньями подступали вплотную к путям, и, сколько ни высовывайся из окна, тщетно было разглядеть их вершины; мрачные, узкие, обрывистые долины открывались внезапно и тут же исчезали, так что палец, едва успев показать на них, вновь утыкался в каменную стену; мощные горные потоки, упруго вскидываясь на перекатах, неся в своих кипящих водах тысячи пенистых волн, всей тяжестью рушились под опоры моста, по которому торопился проскочить поезд, и были так близко, что их холодное, влажное дыхание ветерком ужаса обдавало лицо.

КОММЕНТАРИИ

РАССКАЗЫ 1904—1922 ГОДОВ

Это жанровое определение утвердилось в кафковедении, хотя его вряд ли можно признать точным. Дело в том, что к рассказам (да и то скорее в русском, чем в западном толковании) у Кафки могут быть отнесены такие вещи, как «Приговор», «Превращение», «В исправительной колонии», «Голодарь», и еще несколько, написанных в той же манере. Вся же его прочая малая проза — как бы фрагменты, лишенные видимого сюжета и действия, что движется от завязки к развязке. «Требования к тому, что должно быть сделано,— писал о Кафке Роберт Музиль,— предъявляет здесь совесть, понукаемая не моральными принципами, а тончайшей, проникновеннейшей возбудимостью, которая непрерывно отыскивает крохотные вопросы громадного значения, а на проблемах, что для всех остальных выглядят гладкими, равнодушными монолитами, обнаруживает странную тектоническую складчатость» (М у з и л ь Р., Дневники, афоризмы, эссе и речи, 1955). Так что, имея дело с малой прозой Кафки, наверное, следовало бы говорить о явлении совершенно самобытном, вряд ли кого-нибудь повторяющем и вряд ли кем-нибудь повторимом.

Среди публикаций этого тома есть и «Описание одной борьбы» — нечто вроде наброска эксцентрической повести, сложенной из нескольких, казалось бы, несогласованных между собою частей. Но есть здесь и миниатюрные, всего в несколько строчек, притчи, вроде «Прометея» или «Правды о Санчо Пансе». Однако и «Описание одной борьбы», и эти притчи, и даже рассказы, которые на первый взгляд вписываются в обычные жанровые представления, объединяет особая интонация, особое настроение, особое отношение к миру, заставляющее угадывать непоправимость разлада с ним. Отсюда и пристальное внимание к сфере чувств вообще и к чувственной детали в частности.

Кафка писал Милене Есенской относительно «Приговора»: «В этом рассказе каждое предложение, каждое слово, вся его музыка (если мне позволено будет так сказать) связаны со «страхом». А связи фабульные, композиционные, напротив, Кафку почти не заботили. И он легко отрывал части от фрагментарного целого, чтобы, не колеблясь, отдать их в печать. Так увидели свет отрывки из «Как строилась китайская стена» (под названием «Императорское посла-

ние», из романа «Процесс» (под названием «Перед Законом»), из романа «Америка» (под названием «Кочегар»). По поводу «Кочегара» Кафка писал Фелице Бауэр: «Все это мне не слишком нравится, как и всякое бесполезно воссозданное искусственно единство»; то есть Кафка понимал, что вне контекста романа отрезанный от него рассказ выглядит голым, но все же пошел на публикацию. И не потому, как утверждал, что связал себя обещанием издателю, а ради тех магических внутренних связей, ради того единства чувств, за которые любил и «Приговор».

В первом томе представлена практически вся малая проза Кафки, которая создавалась до середины 1922 года. Исключение составляют многочисленные, но небольшие, как правило, по объему фрагменты, содержащиеся в дневниках и рабочих тетрадях писателя. В большинстве случаев они представляют собой лишь зачины неосуществленных замыслов (некоторые из них читатель найдет в третьем томе: в текстах публикуемых там дневников).

Из семидесяти одного включенного в том произведения малой прозы при жизни Кафки были изданы тридцать девять, поэтому вся малая проза расположена в согласии со временем написания. И все-таки сохранить полную хронологическую последовательность не представлялось возможным. Причина в том, что большинство произведений сведено в сборники. Некоторые из них составил сам автор, а при составлении тех, что издавались посмертно, в расчет принимались его нереализованные пожелания.

Одна из идей Кафки сводилась к тому, чтобы выпустить одной книгой «Приговор», «Превращение» и «В исправительной колонии» и назвать ее «Кары» («Strafen»). Его издатель Курт Вольф предложил объединить лишь первый и последний рассказы. Кафка этому решительно воспротивился, ибо полагал, что они «были бы соединением отвратительным» и «между ними посредничать» способно лишь «Превращение» (Курту Вольфу. 19 авг. 1916 г.)

Таким образом, в первый том вошли сборники: «Созерцание» (впервые издан в 1913 г.), «Сельский врач» (впервые издан в 1919 г.) и рассказы, ни в какие сборники не входившие, в том числе те, которые Ф.Кафка объединял под общим названием «Кары», а также малая проза, изданная посмертно.

Неизданная при жизни малая проза Кафки впервые публиковалась в следующих изданиях:

K a f k a F r a n z. Beim Bau der Chinesischen Mauer. Berlin, 1931.

K a f k a F r a n z. Beschreibung eines Kampfes. Novellen, Skizzen, Aphorismen aus dem Nachlaβ. Prag, 1936.

K a f k a F r a n z. Hochzeitsvorbereitungen auf dem Lande und andere Prosa aus dem Nachlaβ, New-York, 1953.

ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ (АМЕРИКА)

Рукопись названия не имела. Ее озаглавил Макс Брод, когда издавал в 1927 г.: «Америка». Устно и в письмах Кафка именовал ее по-разному: «роман», «американский роман», «Пропавший без вести» («Der Verschollene»). Работать над этим произведением он начал в 1911 г. Особенно хорошо писалось ему в октябре и ноябре 1912 г., потом начала возрастать неудовлетворенность написанным, сгустившаяся чуть ли не до степени отвращения, и в начале 1913 г. Кафка забросил «Америку». Есть, правда, сведения, что Кафка несколько раз делал попытки возобновить работу над романом в 1914 г. и даже в 1916 г.

К началу 1913 г. Кафка написал восемь следующих одна за другой глав, из них главы седьмая и восьмая остались без названия. Главу восьмую (или, по мнению ряда исследователей и издателей, фрагмент главы восьмой) Макс Брод озаглавил «Убежище». Кроме того, сохранились два фрагмента. Первый, меньший по объему, сюжетно связан с певицей Брунельдой и носит авторское название «Отъезд Брунельды». Второй, более обширный, озаглавленный Максом Бродом «Оклахомский летний театр», представляет собой, по свидетельству того же Брода, неоконченную заключительную главу. Этот последний фрагмент настолько оторван по содержанию от основного текста, что нет никакой возможности восстановить последовательность действия. А это, в свою очередь, затрудняет проникновение в смысл финала.

«Из бесед с ним,— свидетельствовал М. Брод,— я знаю, что неоконченная глава «Оклахомский летний театр», начало которой Кафка особенно любил... должна была стать последней и окончиться примирением. Кафка, таинственно улыбаясь, намекал на то, что в этом «почти безграничном» театре юный герой, как по мановению волшебного жезла, обретет профессию, свободу, опору, даже родину и родителей». Этому как бы противоречит дневниковая запись Кафки, датированная 30 сент. 1915 г.: «Росман и К., невинный и виновный, в конечном счете оба равно наказаны смертью, невиновный — более легкой рукой, он скорее устранен, нежели убит». Согласовать эти высказывания мыслимо лишь в том случае, если принять Оклахомский театр за символ рая, ожидающего Карла Росмана за порогом смерти.

«Америка» (что вообще типично для Кафки) воссоздает злоключения героя в чужом и непонятном ему мире. Но если обычно речь могла идти о «чужести» в переносном, или даже метафорическом, смысле, то здесь присутствует и смысл буквальный: Кафка не только никогда не бывал в Америке, но и как бы выпячивал свое незнакомство с тамошними жизненными реалиями. «Любимая моя девочка,— писал он Фелице,— в моем романе как раз и происходят весьма поучительные вещи. Видела ли ты хоть раз демонстрации, что бывают в американских городах накануне выбора районного судьи? Не видела, как и я, но в моем романе эти демонстрации идут полным ходом». «Чужесть» мира облегчала «остранение» изображаемой

среды, отчего полная ее с героем несовместимость выглядела более наглядной, даже более простой. А простота усугублялась еще и тем, что, в отличие от героя «Процесса», юный Росман толкуется автором как «невинный».

Отсюда и более светлая, чем в прочих кафковских романах, атмосфера «Америки». На нее, впрочем, влиял и избранный классический образец. «Копперфилд» Диккенса, — занес Кафка в дневник 8 окт. 1917 г., — («Кочегар» — прямое подражание Диккенсу; в еще большей степени задуманный роман)... Моим намерением было, как я вижу, написать диккенсовский роман, но обогащенный более резкими осветителями, которые я позаимствовал бы у времени, и более слабыми, которые я извлек бы из себя».

И все-таки «Америка» — это совершенно кафковский роман, только самый ранний, со всеми из этого вытекающими победами и поражениями.

Перевод сделан по текстологически выверенному изданию: Kafka Franz. Der Verschollene. Hrsg. von Jos. Schillemeit, B-de 1-2. Fischer Verlag. Frankfurt a/M, 1983.

Стр. 305. *...меч в ее длани...* — Как известно, статуя Свободы представляет собой фигуру женщины, в руке которой не меч, а факел. Вряд ли Кафка этого не знал — все-таки эта скульптура уже тогда была эмблемой Соединенных Штатов. Скорее этой оптической аберрацией он стремился передать душевное состояние своего героя Карла Росмана, которым владеют недобрые предчувствия, поэтому он и принимает факел за грозный меч.

Стр. 375. *Рамзес*, как и *Баттерфорд* — вымышленные географические названия, которыми Кафка оперирует наряду с реальными: Нью-Йорк, Сан-Франциско и др.

Стр. 387. *...выложить на стол четверть фунта...* — очевидная описка Кафки. Денежная единица в США — доллар, и Кафке, разумеется, это было известно, о чем свидетельствует другой эпизод романа.

Стр. 401. *«Золотого гуся» снесли два года назад...* — Упомянутое Кафкой пражское кафе было снесено в 1907 г., так что этот пассаж позволяет точно датировать время действия романа.

Стр. 403. *Через месяц шестнадцать исполнится...* — В первых строках романа указан другой возраст героя, там сказано, что Карлу Росману семнадцать лет.

Д. Затонский

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие Д. Затонского 5

РАССКАЗЫ 1904 — 1922 ГОДОВ

*Описание одной борьбы. *Перевод С. Апта* 47
*Свадебные приготовления в деревне. *Перевод С. Апта*. 84
«Созерцание»
Дети на дороге. *Перевод Р. Гальпериной* 100
Разоблаченный проходимец. *Перевод Р. Гальпериной* 103
*Внезапная прогулка. *Перевод С. Апта* 104
*Решения. *Перевод С. Апта* 105
Прогулка в горы. *Перевод И. Татариновой* 106
*Горе холостяка. *Перевод С. Апта* 106
Купец. *Перевод И. Татариновой* 106
*Рассеянно глядя в окно. *Перевод С. Апта* 108
*Дорога домой. *Перевод С. Апта* 108
*Бегущие мимо. *Перевод С. Апта* 109
*Пассажир. *Перевод С. Апта*. 109
Платья. *Перевод И. Татариновой* 110
*Отказ. *Перевод С. Апта* 110
*Наездникам к размышлению. *Перевод С. Апта* 111
*Окно на улицу. *Перевод С. Апта* 112
*Желание стать индейцем. *Перевод С. Апта* 112
Деревья. *Перевод И. Татариновой* 112
Тоска. *Перевод И. Татариновой* 112
*Большой шум. *Перевод С. Апта*. 117
«Кары»
Приговор. *Перевод И. Татариновой* 118
Превращение. *Перевод С. Апта* 128
В исправительной колонии. *Перевод С. Апта* 171
Деревенский учитель (Гигантский крот). *Перевод В. Топер* 196

Переводы, отмеченные в содержании *, публикуются впервые.

*Блюмфельд, старый холостяк. *Перевод С. Апта* 209
Охотник Гракх. *Перевод Н. Касаткиной* 229
Верхом на ведре. *Перевод Н. Касаткиной* 234
«Сельский врач»
Новый адвокат. *Перевод Р. Гальпериной* 237
Сельский врач. *Перевод Р. Гальпериной* 238
*На галерее. *Перевод С. Апта* 243
Старинная запись. *Перевод Р. Гальпериной* 244
*Шакалы и арабы. *Перевод С. Апта* 245
Посещение рудника. *Перевод Р. Гальпериной* 249
Соседняя деревня. *Перевод Р. Гальпериной* 251
*Заботы главы семейства. *Перевод С. Апта* 251
Одиннадцать сыновей. *Перевод Р. Гальпериной* 252
Братоубийство. *Перевод Р. Гальпериной* 256
Сон. *Перевод Р. Гальпериной* 258
Отчет для Академии. *Перевод Л. Черновой* 260
Малая проза
Мост. *Перевод С. Апта* 269
Стук в ворота. *Перевод Н. Касаткиной* 270
*Сосед. *Перевод С. Апта* 271
Гибрид. *Перевод Н. Касаткиной* 272
*Воззвание. *Перевод С. Апта* 274
*Новые лампы. *Перевод С. Апта* 275
Железнодорожные пассажиры. *Перевод С. Апта* 276
*Обыкновенная история. *Перевод С. Апта* 276
Правда о Санча Пансе. *Перевод С. Апта* 277
*Молчание сирен. *Перевод С. Апта* 278
*Содружество подлецов. *Перевод С. Апта* 279
Прометей. *Перевод С. Апта* 279
*Возвращение домой. *Перевод С. Апта* 280
*Городской герб. *Перевод С. Апта* 280
Посейдон. *Перевод В. Станевич* 281
*Содружество. *Перевод С. Апта* 282
Ночью. *Перевод В. Станевич* 283
Отклоненное ходатайство. *Перевод И. Татариновой* 283
К вопросу о законах. *Перевод В. Станевич* 288
*Набор рекрутов. *Перевод С. Апта* 290
*Экзамен. *Перевод С. Апта* 292
Коршун. *Перевод В. Станевич* 293
Рулевой. *Перевод В. Станевич* 293
Волчок. *Перевод В. Станевич* 294
*Басенка. *Перевод С. Апта* 295
*Отъезд. *Перевод С. Апта* 295
*Защитники. *Перевод С. Апта* 295
*Супружеская чета. *Перевод С. Апта* 297
Комментарий (Не надейся!). *Перевод С. Апта* 301
О притчах. *Перевод С. Апта* 302

ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ (АМЕРИКА)
Роман
Перевод М. Рудницкого

Глава первая. Кочегар 305
Глава вторая. Дядя 331
Глава третья. Особняк под Нью-Йорком 344
Глава четвертая. Пешком в Рамзес 375
Глава пятая. Отель «Оксиденталь» 400
Глава шестая. Происшествие с Робинсоном 422
Глава седьмая 457
Глава восьмая 504
Фрагмент первый. Отъезд Брунельды 513
Фрагмент второй 518

Комментарии Д. Затонского 537

По вопросам оптовой покупки книг
«Издательской группы АСТ» обращаться по адресу:
Звездный бульвар, дом 21, 7-й этаж
Тел. 215-43-38, 215-01-01, 215-55-13

Книги «Издательской группы АСТ» можно заказать по адресу:
107140, Москва, а/я 140, **АСТ – «Книги по почте»**

Литературно-художественное издание

Кафка Франц

Рассказы
1904 — 1922

Пропавший без вести
(Америка)

Роман

Главный редактор В.И. Галий
Ответственный за выпуск Р.Е. Панченко
Художественный редактор Б.Ф. Бублик
Компьютерное оформление переплета: А.А. Кожанов

Подписано в печать с готовых диапозитивов 10.11.2000. Формат 84×108 1/32.
Бумага офсетная. Гарнитура «Прагматика». Печать офсетная. Усл. печ. л. 27,72.
Усл. кр.-отт. 31,42. Уч.-изд. л. 32,1. Тираж 2500 экз. Заказ 2010.

Налоговая льгота — общероссийский классификатор продукции
ОК-00-93, том 2; 953000 — книги, брошюры.

Гигиеническое заключение № 77.99.14.953.П.12850.7.00 от 14.07.2000 г.

ООО «Издательство АСТ». Лицензия ИД № 02694 от 30.08.2000 г.
674460, Читинская область, Агинский район,
п. Агинское, ул. Базара Ринчино, д. 84.
Наши электронные адреса: WWW.AST.RU. E-mail: astpub@aha.ru.

«Фолио». 61002, Харьков, ул. Артема, 8.

При участии ООО «Харвест». Лицензия ЛВ № 32 от 27.08.97.
220013, Минск, ул. Я. Коласа, 35 — 305.

Налоговая льгота — Общегосударственный классификатор
Республики Беларусь ОКРБ 007-98, ч. 1; 22.11.20.300.

Отпечатано с готовых диапозитивов заказчика в типографии издательства
«Белорусский Дом печати». 220013, Минск, пр. Ф. Скорины, 79. Заказ 2731.

Республиканское унитарное предприятие
«Полиграфический комбинат им. Я. Коласа». 220005, Минск, ул. Красная, 23.

ISBN 5-17-006591-4

KOLLEKTION